This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 861,677

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES ·
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES · SCIENTIA · VERITAS
1817

М. Е. САЛТЫКОВЪ

[Н. ЩЕДРИНЪ]

Печ. со стали Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ

Забытыя слова.

Мнѣ чудилось (не то во снѣ, не то на яву), что н
ная рука обвила меня и неудержимо увлекаетъ въ зі
сознаю себя безпомощнымъ и даже не пытаюсь сопр
ной силѣ, словно нѣчто роковое ждетъ меня впереді
погружаюсь въ необъятную даль, тѣмъ унылѣе стан
тѣмъ быстрѣе свѣтъ смѣняется сумерками, тѣмъ рѣш
вселенская жизнь подъ игомъ всеобщаго омертвѣнія.

Сѣрое небо, сѣрая даль, наполненная скитающі
раками. Въ сѣрѣющемъ окрестъ болотѣ кишатъ и к
въ сѣромъ воздухѣ беззвучно рѣютъ сѣрыя птицы;
сѣрымъ пепломъ усыпана. Сердце мучительно надрыв
загадочной, неизмѣримой тоски.

Удручаютъ сѣрые тоны, но еще болѣе удруч
звука, ни шороха, ничего, кромѣ печати погибели
углубляюсь въ это оголтѣлое царство, тѣмъ болѣе
овладѣваетъ оторопь и сознаніе отупѣлой безнадежн
кругомъ застыло и онѣмѣло. Ощущеніе оскудѣнія п
во все существо, и я начинаю чувствовать, что нед
когда и внутри меня все омертвѣетъ.

Но вотъ я и у цѣли: передо мною кладбище.
море, раскинулось оно на необозримое пространств
усѣянное безчисленными могильными насыпями. Заб
лость вездѣ наложили здѣсь печать свою. Храмъ, ког
твецовъ, стоитъ полуразрушенный, съ раскрытымъ ку
нетопырямъ и ночнымъ птицамъ. Колоколъ нѣкогда
й оплакивавшій мертвыхъ, лежитъ разбитый у подно
ные памятники, ограда—все повалилось и лежитъ ра
мхомъ и бурьяномъ.

Кажется, самъ ветхій Адамъ сложилъ здѣсь
послѣдовали поколѣнія за поколѣніями и наслоялис
пока, наконецъ, земная утроба не насытилась мерт

(1889 г.).

невидимая, но власт-
яющую пустоту. Я
отивляться загадоч-
я. И чѣмъ глубже я
овятся перспективы,
ительнѣе потухаетъ

ямися сѣрыми приз-
лубятся сѣрые гады;
даже дорога словно
ается подъ гнетомъ

аетъ безмолвіе. Ни
. И чѣмъ больше я
всѣмъ существомъ
сти, въ которой все
остепенно заползаетъ
алеко тотъ моментъ,

Точно взволнованное
въ даль и въ ширь,
ошенность и одича-
да-то осѣнявшій мер-
поломъ, давая пріютъ
призывавшій живыхъ
жія храма; надмогиль-
збросанное, заросшее

свои кости. За нимъ
ь одно надъ другимъ,
зецами. . . . . .

Александръ Цивет

СОЧИНЕНІЯ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ:

Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова.—Пошехонская Старина.

Съ портретомъ автора и его факсимиле.

ИЗДАНІЕ АВТОРА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин. 7.

1890.

891.78
S18
09

1685

СОДЕРЖАНІЕ

ДЕВЯТАГО ТОМА.

Портретъ Михаила Евграфовича Салтыкова (1879 г.).
Факсимиле съ послѣдней рукописи автора: „Забытыя слова“ (1889 г.).

	стран.
Программа изданія	VII
Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова.—К. К. Арсеньевъ	XI

ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА.

Введеніе	3
I.—Гнѣздо	5
II.—Мое рожденіе и раннее дѣтство.—Воспитаніе физическое	11
III.—Воспитаніе нравственное	18
IV.—День въ помѣщичьей усадьбѣ (1831—1836 г.)	29
V.—Первые шаги на пути къ просвѣщенію	48
VI.—Дѣти.—По поводу предыдущаго	59
VII.—Портретная галерея.—Тетеньки-сестрицы	66
VIII.—Тетенька Анфиса Порфирьевна	81
IX.—Заболотье	103
X.—Тетенька Сластена	117
XI.—Братецъ Ѳедосъ	128
XII.—Поѣздки въ Москву	139
XIII.—Московская родня.—Дѣдушка Павелъ Борисычъ	147
XIV.—Житье въ Москвѣ	175
XV.—Сестрицыны женихи.—Стриженый	189
XVI.—Продолженіе матримоніальной хроники: Есперъ Клещевиновъ.—Недолгій сестрицынъ романъ.—Женихи-мелкота	202
XVII.—Крѣпостная масса	214
XVIII.—Аннушка	219

285449

XIX.—Маврушка-Новотолка 232
XX.—Ванька-Каинъ 239
XXI.—Продолженіе портретной галереи помѣщиковъ.—Коновъ 247
XXII.—Безсчастная Матренка 255
XXIII.—Сатиръ-скиталецъ 262
XXIV.—Добро пожаловать 269
XXV.—Смерть Ѳедота 275
XXVI.—Помѣщичья среда 282
XXVII.—Предводитель Струнниковъ 289
XXVIII.—Образцовый хозяинъ 325
XXIX.—Валентинъ Бурнакинъ 343
XXX.—Слѣпушкинскія дамы и проч. 366
XXXI.—Заключеніе 383

Хронологическій Указатель къ изданію Сочиненій М. Е. Салтыкова, въ девяти томахъ 395

Программа изданія.

*Только въ самое послѣднее время своей жизни М. Е. Салтыковъ остановился на мысли о собраніи своихъ сочиненій въ одно общее изданіе, къ чему онъ приступилъ на дѣлѣ не болѣе какъ за два мѣсяца до своей кончины. Изъ хронологическаго указателя, прилагаемаго въ концѣ настоящаго тома, видно, что все имъ написанное, почти безъ исключенія *), появлялось первоначально въ періодическихъ изданіяхъ, въ видѣ отдѣльныхъ очерковъ; но эти очерки, безъ сомнѣнія, имѣли въ своемъ основаніи какой-нибудь общій планъ или идею, а потому могли являться впослѣдствіи самостоятельно въ особомъ изданіи. Такихъ особыхъ изданій, при жизни автора, вышло въ свѣтъ 23; всѣ они вошли теперь въ настоящее общее изданіе, и, кромѣ того, авторъ присоединилъ къ нимъ три новыя собранія, не имѣвшія особаго изданія при его жизни, а именно: „Итоги", „Культурные люди" и „Пошехонская Старина". „Итоги" и „Культурные люди" оставались неизданными особо, по незначительности ихъ объема, а третій рядъ очерковъ—„Пошехонская Старина"—остановился на періодѣ дѣтства автора: послѣдняя глава явилась, въ первоначальномъ, журнальномъ изданіи, за мѣсяцъ до его смерти, въ мартѣ 1889 года. За симъ все напечатанное авторомъ за первыя 15 лѣтъ*

**) Кромѣ „Запутаннаго дѣла" (1848 г.).*

*его литературной дѣятельности, начиная съ юношескихъ произведеній (1841 г.) и до 1856 г. *), всѣ его чисто журнальныя и газетныя статьи публицистическаго, полемическаго и библіографическаго характера, изъ которыхъ первыя сосредоточивались преимущественно въ „Современникѣ", а позже въ „Отечественныхъ Запискахъ" послѣдней редакціи,—все это было имъ исключено изъ предпринятаго общаго изданія его сочиненій; въ это изданіе вошло, какъ выше сказано, только то, что было написано авторомъ за послѣдніе 33 года его дѣятельности (1856—1889 г.) и включено имъ теперь въ 26 отдѣльныхъ собраній.*

При распредѣленіи въ общемъ собраніи прежнихъ своихъ особыхъ изданій, авторъ, какъ то видно изъ того же хронологическаго указателя, не руководился строго хронологическимъ порядкомъ ихъ появленія въ свѣтъ: въ порядкѣ времени поставлены только „Губернскіе Очерки" (1856—57 г.) на первомъ мѣстѣ, а на послѣднемъ—„Пошехонская Старина" (1889 г.); въ самой серединѣ изданія (т. V) помѣщены „Господа Головлевы"; все остальное расположено авторомъ между тѣми тремя упомянутыми изданіями, и, повидимому, на основаніи только одного ихъ объема, съ цѣлью наиболѣе равномѣрнаго распредѣленія матеріала между отдѣльными томами.

**) Намъ извѣстно одно такое исключеніе: въ „Мелочахъ жизни", въ первомъ ихъ изданіи, помѣщена вновь цѣлая глава: „Газетчикъ", а въ первоначальномъ, журнальномъ ихъ изданіи на ея мѣстѣ стоитъ одно ея заглавіе и четыре ряда точекъ; такимъ образомъ, эта глава появилась въ печати въ первый разъ прямо въ особомъ изданіи.*

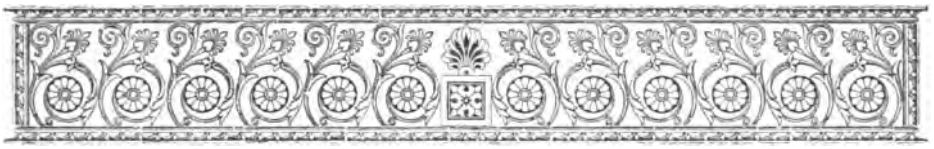
Первый томъ настоящаго общаго изданія былъ начатъ печатаніемъ при жизни автора и успѣлъ выйти въ свѣтъ за недѣлю до его смерти. Предложеніе издать при первомъ томѣ портретъ автора было имъ отклонено; онъ назначилъ для того послѣдній томъ и одобрилъ именно ту фотографію, 1879 года, которая и послужила оригиналомъ для приложенной къ настоящему тому гравюры съ собственноручною подписью автора, заимствованною изъ его письма 1885 года — до начала послѣдней болѣзни.

Факсимиле: „Забытыя слова" — взято изъ найденныхъ бумагъ на столѣ, послѣ смерти автора; оригиналъ былъ написанъ въ самое послѣднее время его жизни, и можно думать, что мы имѣемъ предъ собою черновой набросокъ какого-то очерка, который только-что начиналъ слагаться въ умѣ автора, но ограничился отраженіемъ на себѣ той агоніи, какую онъ уже испытывалъ въ неравной борьбѣ съ наступавшею на него все ближе и ближе смертью.

Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова, прилагаемые къ настоящему тому, содержатъ въ себѣ преимущественно извлеченія изъ бумагъ, найденныхъ въ кабинетѣ автора и имѣвшихъ, видно, цѣну и въ его глазахъ, такъ какъ онѣ были тщательно сохраняемы имъ въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ. Для будущаго біографа значеніе этихъ бумагъ тѣмъ болѣе важно, что онѣ пополняютъ его образъ на другихъ поприщахъ практической жизни такими чертами, которыя могутъ многое выяснить и въ характерѣ его литературной дѣятельности. Извлеченіе изъ переписки съ дѣтьми и предсмертный

имъ завѣтъ вполнѣ обрисовываютъ покойнаго, въ его интимной жизни, какъ семьянина, и притомъ такими симпатичными чертами, какія не могли бы придти на мысль тому, кто захотѣлъ бы судить о его частномъ характерѣ и нравѣ или по его произведеніямъ, или по тому внѣшнему, часто суровому, облику, какой могъ обманывать всѣхъ, мало знавшихъ его при жизни лично.

Февраль, 1890 г.



МАТЕРІАЛЫ

для

БІОГРАФІИ М. Е. САЛТЫКОВА.

I.

15-го января 1826 г.—12-го февраля 1856 г.

„15-го января 1826 года, — писалъ Салтыковъ, 14-го января 1887 г., одному изъ своихъ близкихъ знакомыхъ,—у коллежскаго совѣтника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковыхъ родился сынъ Михаилъ. Принимала бабка-повитушка Ульяна Ивановна, колязинская мѣщанка. Крестилъ священникъ села Спасъ-Уголъ, Иванъ Яковлевъ Новоселовъ; воспріемниками были: угличскій мѣщанинъ Дмитрій Михайловъ Курбатовъ и дѣвица Марья Васильевна Салтыкова. При крещеніи Курбатовъ пророчествовалъ: „сей младенецъ будетъ разгонникъ женскій“. По этому случаю приглашаетесь вы съ фамиліей завтра въ четвергъ вечеромъ для присутствованія при всенощномъ бдѣніи въ домѣ № 62, на Литейной“. Это письмо интересно, между прочимъ, потому, что сообщаемыя въ немъ данныя совпадаютъ съ разсказомъ о рожденіи и крещеніи Никанора Затрапезнаго *). Повитушка, его принимавшая, такъ и именуется Ульяной Ивановой; прозвище крестнаго отца немного измѣнено, онъ названъ Дмитріемъ Никоновымъ Бархатовымъ. Попалъ онъ въ воспріемники къ дворянскому сыну, очевидно, потому, что славился своею набожностью и „прозорливостью“. „На вопросъ матушки,—повѣствуетъ Никаноръ Затрапезный, —что у нея родится, сынъ или дочь, онъ запѣлъ пѣтухомъ и ска-

*) Нѣкоторую наличность „автобіографическаго элемента“ въ „Пошехонской Старинѣ“ не отрицалъ, какъ извѣстно, и самъ авторъ.

залъ: пѣтушокъ, пѣтушокъ, востёръ ноготокъ! Кромѣ того, онъ предсказалъ и будущую судьбу мою, что я многихъ супостатовъ покорю и буду *дѣвичьимъ разгонникомъ*. Не разъ я видалъ впослѣдствіи моего крестнаго отца, идущаго, съ посохомъ въ рукахъ, въ толпѣ народа, за крестнымъ ходомъ. Но познакомиться мнѣ съ нимъ не удалось, потому что родители мои уже разошлись съ нимъ и называли его шалыганомъ". Этимъ не ограничиваются безспорныя точки соприкосновенія между дѣтствомъ Салтыкова и дѣтствомъ Никанора Затрапезнаго. Въ пятой главѣ „Пошехонской Старины" приведены французскіе стихи, заученные Никаноромъ ко дню именинъ отца и матери; между бумагами Салтыкова нашлись эти самые стихи, написанные дѣтскимъ почеркомъ и подписанные такъ: „écrit par votre très humble fils Michel Soltykoff, le 16 octobre 1832" (когда мальчику не было еще, слѣдовательно, и семи лѣтъ). Въ біографическомъ очеркѣ, напечатанномъ, съ вѣдома М. Е. Салтыкова, въ VIII выпускѣ „Русской Библіотеки" (1878 г.), сказано, что первымъ учителемъ Салтыкова былъ крѣпостной человѣкъ его родителей, живописецъ Павелъ, а потомъ съ нимъ занимались, между прочимъ, старшая его сестра (Надежда Евграфовна) и священникъ одного изъ сосѣднихъ селъ (Иванъ Васильевичъ); то же самое разсказываетъ о себѣ и Никаноръ Затрапезный. Едва ли, въ виду всего этого, можно сомнѣваться въ томъ, что „Пошехонская Старина" даетъ вѣрную картину умственнаго и нравственнаго развитія Салтыкова, доведенную, къ сожалѣнію, только до окончанія домашняго воспитанія, т.-е. до десятилѣтняго возраста. Значеніе этой картины громадно; она бросаетъ яркій свѣтъ на всю послѣдующую жизнь Салтыкова. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно прочесть чудесныя страницы, изображающія первое знакомство ребенка съ евангельскими разсказами. Мы напомнимъ лишь заключительныя ихъ строки: „въ признаніи человѣческаго образа тамъ, гдѣ, по силѣ общеустановившагося убѣжденія, существовалъ только поруганный образъ раба, состоялъ главный и существенный результатъ, вынесенный мною изъ тѣхъ попытокъ самообученія, которымъ я предавался въ теченіе года". Въ связи съ этимъ получаютъ настоящій свой смыслъ и слѣдующія слова Затрапезнаго-Салтыкова: „крѣпостное право сближало меня съ подневольною массой. Это можетъ показаться страннымъ, но я и теперь еще сознаю, что крѣпостное право играло громадную роль въ моей жизни, и что только переживъ всѣ его фазисы, я могъ придти къ полному, сознательному и страстному отрицанію его".

Кромѣ сестры и священника, съ Салтыковымъ занимались гувер-

нантка, Авдотья Петровна Василевская (окончившая курсъ, вмѣстѣ съ Надеждой Евграфовной, въ московскомъ екатерининскомъ институтѣ), и студентъ московской духовной академіи, Матвѣй Петровичъ Салминъ, котораго приглашали на лѣтнія вакаціи два года сряду. Первоначальное обученіе мальчика оказалось настолько удовлетворительнымъ, что въ августѣ 1836 г. онъ могъ быть принятъ въ третій классъ шестиклассного московскаго дворянскаго института. По малолѣтству, однако, онъ оставался въ этомъ классѣ два года. Въ 1838 г. Салтыковъ былъ переведенъ въ царскосельскій лицей, въ силу преимущества, которымъ пользовался московскій дворянскій институтъ опредѣлять, каждые полтора года, двоихъ отличнѣйшихъ учениковъ въ лицей, казеннокоштными воспитанниками. Въ лицеѣ Салтыковъ уже въ младшемъ классѣ почувствовалъ влеченіе къ литературѣ и сталъ писать стихи. За это, и за чтеніе книгъ, онъ терпѣлъ всевозможныя преслѣдованія, какъ со стороны гувернеровъ, такъ и въ особенности со стороны учителя русскаго языка, Гроздова. Салтыковъ вынужденъ былъ прятать стихи—особенно тѣ, которые были „неодобрительнаго" содержанія — въ рукава куртки и даже въ сапоги; но контрабанда была находима и тамъ, и оказывала сильное вліяніе на отмѣтки „изъ поведенія". Въ теченіе всего времени пребыванія въ лицеѣ онъ почти не получалъ, при полныхъ 12 баллахъ, свыше девяти. Въ аттестатѣ, данномъ Салтыкову по окончаніи курса, поведеніе его названо *довольно* хорошимъ; а это значитъ, что средній баллъ въ поведеніи, за послѣдніе годы, былъ ниже восьми. И все это началось со стиховъ, къ которымъ впослѣдствіи присоединились „грубости", т.-е. разстегнутая пуговица на курткѣ или мундирѣ, ношеніе треуголки съ поля, а не по формѣ (что̀ было необыкновенно трудно и составляло цѣлую науку), куреніе табаку и иныя школьныя преступленія. Какое воспоминаніе Салтыковъ сохранилъ о своихъ лицейскихъ годахъ, объ этомъ даютъ понятіе слѣдующія слова, написанныя имъ лѣтъ десять спустя послѣ выпуска: „помню я школу, но какъ-то угрюмо и непривѣтливо воскресаетъ она въ моемъ воображеніи... Нѣтъ, я сегодня настроенъ такъ мягко, что все хочу видѣть въ розовомъ свѣтѣ... прочь школу!" („Скука", въ „Губернскихъ Очеркахъ", стр. 171).

Начиная со второго класса, въ лицеѣ дозволялось воспитанникамъ выписывать журналы на свой счетъ. При Салтыковѣ получались, такимъ образомъ, „Отечественныя Записки", „Библіотека для Чтенія", „Сынъ Отечества", „Маякъ", „Revue étrangère". Журналы читались воспитанниками съ жадностью; въ особенности сильно было вліяніе

„Отечественныхъ Записокъ“, благодаря критикѣ Бѣлинскаго, повѣстямъ Панаева, Кудрявцева и др. Вліяніе литературы было тогда вообще очень сильно въ лицеѣ; воспоминаніе о Пушкинѣ какъ будто обязывало, и въ каждомъ курсѣ предполагался продолжатель Пушкина. Такъ, въ XI курсѣ (1841 г.) товарищи указывали на В. Р. Зотова, помѣщавшаго стихи въ „Маякѣ“, редакторъ котораго, Бурачекъ, провозгласилъ его вторымъ Пушкинымъ *). Въ XII курсѣ на пушкинскую вакансію помѣщали Н. П. Семенова (сенаторъ, бывшій членъ редакціонныхъ коммиссій по крестьянскому дѣлу, авторъ сочиненія объ этой эпохѣ, сотрудникъ „Русскаго Вѣстника“); въ XIII — Салтыкова; въ XIV—Виктора Павловича Гаевскаго (недавно умершаго, автора статей о Дельвигѣ и Пушкинѣ, много лѣтъ бывшаго предсѣдателемъ литературнаго фонда). Первое стихотвореніе Салтыкова: „Лира“, было напечатано въ „Библіотекѣ для Чтенія“ 1841 г. (т. 45, стр. 105—6), за подписью: С—въ. Въ слѣдующемъ, 1842 году появилась въ томъ же журналѣ (т. 50, стр. 10) другая его пьеса: „Двѣ жизни“, помѣченная только первой буквой его фамиліи. Приводимъ обѣ пьесы вполнѣ, какъ матеріалъ для характеристики молодого, пятнадцати- или шестнадцати-лѣтняго автора:

ЛИРА.

На русскомъ Парнассѣ есть лира;
Струнами ей—солнца лучи,
Ихъ звукамъ внимаетъ полъ-міра:
Предъ ними самъ громъ замолчи!
И въ черную тучу главою
Небрежно уперлась она;
Могучій утесъ—подъ стопою,
У ногъ его стонетъ волна.
Два мужа на лирѣ гремѣли,
Гремѣли могучей рукой;
Къ нимъ звуки отъ неба слетѣли
И приняли образъ земной.
Одинъ былъ старикъ величавый;
Онъ мощно на лирѣ бряцалъ.
Вѣнцомъ немерцающей славы

*) Одиннадцатому курсу принадлежалъ и другой „продолжатель Пушкина“, имѣвшій гораздо больше правъ на этотъ титулъ—Л. А. Мей (переведенный въ лицей, подобно Салтыкову, изъ московскаго дворянскаго института). Изъ біографіи его, написанной В. Р. Зотовымъ, мы узнаемъ, что онъ писалъ стихи и до вступленія въ лицей, и въ лицеѣ. Какъ и Салтыковъ, онъ былъ постояннымъ нарушителемъ лицейскихъ правилъ и получалъ дурные баллы „изъ поведенія“.

Поэта міръ хладный вѣнчалъ.
Другой былъ любимый сынъ Феба;
Онъ пѣсни допѣть не успѣлъ,
И въ свѣтлой обители неба
Ужъ исповѣдь сердца допѣлъ.
Пѣвецъ тотъ былъ славенъ и молодъ:
Онъ пѣснею смертныхъ увлекъ,
И міра безжизненный холодъ
Въ волшебные звуки облекъ.
Угасли! въ святыя селенья
Умчавшись, съ собой унесли
И лиру, одно утѣшенье
Средь бурь и волненій земли!...

ДВѢ ЖИЗНИ.

Жизнь сладостна и даръ небесъ безцѣнный
Тому, кто вѣровалъ въ Зиждителя вселенной;
Кто юности и счастью прошлыхъ дней
Возможетъ отслужить съ улыбкой ясной тризну;
Поднять покровъ съ картинъ весны своей
Кто можетъ смѣлою рукой, безъ укоризны;
Кто, полный мыслію, умѣлъ блаженно жить,
Роскошно чувствовать и истинно любить;
Въ чьемъ духѣ бодрственномъ, не тяжкія страданья,
Остались сладкія еще воспоминанья;
На жизненномъ пути кто безъ горячихъ слезъ,
Безъ боли крестъ заботъ житейскихъ несъ,
И, вѣнчанный вѣнкомъ изъ розановъ душистыхъ,
Спокойно отойдетъ въ обитель тѣней чистыхъ.
Но жизнь безрадостна и тяжела тому,
Кто сердца не нашелъ отвѣтнаго ему;
Кто, символомъ ничтожества покрытый,
Людьми и всѣмъ, что̀ въ мірѣ, позабытый,
Страстей земныхъ измученный борьбой,
Какимъ-то странникомъ блуждая одинокимъ,
Напрасно силится смѣяться надъ судьбой
И сбросить горя цѣпь въ убѣжищѣ далекомъ.
Кто страшную себѣ анаѳему прочтетъ
Въ всеобщемъ, тягостномъ, убійственномъ забвеньѣ,
И трупомъ проклятымъ, въ отчаяньѣ умретъ
Безъ слезъ напутственныхъ, безъ погребенья,
Священнаго лишенъ поминовенья...

Ко времени пребыванія въ лицеѣ относятся и всѣ остальныя стихотворенія Салтыкова, хотя они появились въ „Современникѣ“—выхо-

дившемъ тогда подъ редакціею Плетнева, — уже послѣ выпуска его изъ лицея, въ 1844 и 1845 г. Напечатаны они не въ томъ порядкѣ, въ какомъ написаны. Въ 34-мъ томѣ „Современника", за 1844 г., помѣщены (стр. 231 и 341) два стихотворенія, написанныя, какъ видно изъ помѣтокъ автора, въ февралѣ и мартѣ того же года *): „Нашъ вѣкъ" и „Весна". Въ 35-мъ томѣ, также 1844 г., помѣщены (стр. 100 и 105) два перевода, изъ Гейне („Рыбачкѣ") и Байрона, относящіеся: первый—къ 1841, второй—къ 1842 г., т.-е. одновременные съ стихотвореніями, напечатанными въ „Библіотекѣ для Чтенія". Въ томѣ 37-мъ, за 1845 г., помѣщены (стр. 119 и 377) два стихотворенія: „Зимняя элегія" и „Вечеръ", изъ которыхъ послѣднее помѣчено 1842 годомъ, первое — 1843-мъ; въ томѣ 39-мъ, также за 1845 г.—одно стихотвореніе (стр. 212), написанное въ 1843 г.— „Музыка" **). Подъ всѣми этими стихотвореніями подпись: М. Салтыковъ. Приведемъ ихъ въ хронологическомъ порядкѣ.

РЫБАЧКѢ (изъ Гейне).

О, милая дѣвочка! быстро
Челнокъ свой направь ты ко мнѣ!
Сядь рядомъ со мною, и тихо
Бесѣдовать будемъ во тьмѣ.
И къ сердцу страдальца ты крѣпко
Головку младую прижми —
Вѣдь морю себя ты ввѣряешь
И въ бурю, и въ ясные дни.
А сердце мое тоже море —
Бушуетъ оно и кипитъ,
И много сокровищъ безцѣнныхъ
На днѣ своемъ ясномъ хранитъ ***).

ИЗЪ БАЙРОНА.

Разбитъ мой талисманъ, исчезло упоенье!
Такъ вѣчно должно намъ здѣсь плакать и страдать;
Мы жизнь свою влачимъ въ нѣмомъ самозабвеньѣ

*) Салтыковъ окончилъ курсъ въ маѣ 1844 г.

**) Въ оглавленіи 39-го тома показано еще одно стихотвореніе Салтыкова: „Изъ Байрона"—но на страницѣ 318, на которую сдѣлана ссылка, напечатано совсѣмъ другое стихотвореніе, озаглавленное: „21 іюля 1845" и подписанное Д. Коптевымъ, имя котораго встрѣчается въ тогдашнемъ „Современникѣ" довольно часто.

***) Вотъ, для сравненія, подлинникъ: Du, schönes Fischermädchen, treibe den Kahn an's Land; komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Leg'an mein Herz dein Köpfchen, und fürchte dich nicht so sehr; vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer. Mein Herz gleicht ganz dem Meere, hat Sturm und Ebb' und Fluth, und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht.

И улыбаемся, когда бъ должны рыдать.
И всякій свѣтлый мигъ покажетъ, что страданье,
Одно страданіе насъ въ жизни нашей ждетъ,
И тотъ, кто здѣсь живетъ далекъ земныхъ желаній,—
Какъ мученикъ живетъ *).

ВЕЧЕРЪ.

Заря вечерняя на небѣ догораетъ;
Прохладой дышетъ все, день знойный убѣгаетъ;
Безсонный соловей одинъ вдали поетъ.
Весенній вечеръ тихъ; клубится и встаетъ
Надъ озеромъ туманъ; межъ листьями играя,
Чуть дышетъ майскій вѣтръ, рядъ бѣлыхъ волнъ качая;
Спитъ тихо озеро. Къ крутымъ его брегамъ
Безмолвно прихожу, и тамъ, склонясь къ водамъ,
Сажуся въ тишинѣ, отъ всѣхъ уединенный.
Наяды рѣзвыя играютъ предо мной —
И любо мнѣ смотрѣть на кругъ ихъ оживленный,
Какъ, на поверхности лобзаемы луной,
Наяды рѣзвыя нагія выплываютъ,
И долго хохотъ ихъ утесы повторяютъ.

МУЗЫКА.

Я помню вечеръ: ты играла,
Я звукамъ съ ужасомъ внималъ,
Луна кровавая мерцала —
И мраченъ былъ старинный залъ.
Твой мертвый ликъ, твои страданья,
Могильный блескъ твоихъ очей,
И устъ холодное дыханье,
И трепетаніе грудей —
Все мрачный холодъ навѣвало.
Играла ты... я весь дрожалъ,
А эхо звуки повторяло,
И страшенъ былъ старинный залъ...
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнитъ душу мнѣ тоской;
Моя любовь живетъ страданьемъ
И страшенъ ей покой!

*) The spell is broke, the charm is flown! thus is it with life's fitful fever: we madly smile when we should groan; delirium is our best deceiver. Each lucid interval of thought recalls the woes of Nature's charter; and he who acts as wise men ought, but lives, as saints have died, a martyr.

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГІЯ.

Какъ скучно мнѣ! Безъ жизни, безъ движенья
Лежатъ поля, снѣгъ хлопьями лежитъ;
Безмолвно все; лишь грустно въ отдаленьѣ
Пѣснь запоздалая звучитъ.
Мнѣ тяжело; уныло потухаетъ
Холодный день за дальнею горой.
Что̀ душу мнѣ волнуетъ и смущаетъ?
Мнѣ грустно; боленъ я душой!
Я здѣсь одинъ: тяжелое томленье
Сжимаетъ грудь; ряды нестройныхъ думъ
Меня тѣснятъ; молчитъ воображенье,
Изнемогаетъ слабый умъ!
И мнится мнѣ, что близко, близко время —
И я умру въ разгарѣ юныхъ силъ...
Да! эта мысль мнѣ тягостна, какъ бремя:
Я жизнь такъ нѣкогда любилъ!
Да! тяжело намъ съ жизнью разставаться...
Но близокъ онъ, нашъ грозный смертный часъ;
Сомнѣнья тяжкія намъ на душу ложатся:
Богъ вѣсть, что̀ ждетъ за гробомъ насъ!

НАШЪ ВѢКЪ.

Въ нашъ странный вѣкъ все грустью поражаетъ.
Немудрено: привыкли мы встрѣчать
Работой каждый день; все налагаетъ
Намъ на душу особую печать.
Мы жить спѣшимъ. Безъ цѣли, безъ значенья
Жизнь тянется, проходитъ день за днемъ —
Куда, къ чему? Не знаемъ мы о томъ.
Вся наша жизнь есть смутный рядъ сомнѣнья.
Мы въ тяжкій сонъ живемъ погружены.
Какъ скучно все: младенческія грезы
Какой-то тайной грустію полны,
И шутка какъ-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслѣдъ за жизнью вѣетъ
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый умъ безвременно коснѣетъ
И чувство въ немъ молчитъ, усыплено.
Что̀ жъ въ жизни есть веселаго? Невольно
Нѣмая скорбь на душу набѣжитъ
И тѣнь сомнѣнья сердце омрачитъ...
Нѣтъ, право, жить и грустно, да и больно!..

ВЕСНА.

(Изъ моихъ отрывковъ.)

У — ву, въ воспоминаніе прошлаго.

Люблю весну я: все благоухаетъ
И смотритъ такъ привѣтливо свѣтло.
Она нашъ духъ унылый пробуждаетъ;
Блистаетъ солнце—на сердцѣ тепло!
Толпятся мысли быстрой чередою.
Ни облачка на небѣ—чудный день!
Скажите же, ужель печали тѣнь
Васъ омрачитъ? Чудесной тишиною
Объятъ весь міръ; чуть слышно, какъ поетъ
Надъ быстрой рѣчкой иволга уныло...
Весною вновь все дышетъ и живетъ
И чувствуетъ невѣдомыя силы.
И часто мы съ тобой вдвоемъ встрѣчали
Весною солнце раннею порой;
Любили мы смотрѣть, какъ убѣгали
Ночныя тѣни; скоро за горой
И солнце появлялось; видъ прелестный!
Чуть дышетъ тихій вѣтеръ; все молчитъ;
Вдали село объято сномъ лежитъ
И рѣчка вьется; свѣжестью чудесной
Проникнутъ воздухъ чистый; надъ рѣкой
Станицы птицъ, кружась, летаютъ; поле
Стадами покрывается; душой
Все вновь живетъ и проситъ сердце воли.
А вечера весенніе?...

Таковы стихотворенія Салтыкова. Судя по тому, что гостепріимствомъ „Современника“ онъ пользовался раньше—для позднѣйшихъ, позже — для болѣе раннихъ произведеній, нужно предположить, что послѣ выпуска изъ лицея онъ вовсе пересталъ сочинять стихи: въ противномъ случаѣ онъ отдавалъ бы въ печать вновь написанное, а не залежавшееся въ его портфелѣ. „Въ стѣнахъ лицея, — говоритъ г. Скабичевскій *),—Салтыковъ оставилъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пушкинымъ. Впослѣдствіи онъ даже не любилъ, когда кто-либо напоминалъ ему о стихотворныхъ грѣхахъ его молодости, краснѣя, хмурясь при этомъ случаѣ и стараясь всячески замять разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, что всѣ они, по-

*) „Новости“, 1889 г., № 116.

его мнѣнію, сумасшедшіе люди.—Помилуйте, объяснялъ онъ, развѣ это не сумасшествіе, по цѣлымъ часамъ ломать голову, чтобы живую, естественную человѣческую рѣчь втискивать, во что бы то ни стало, въ размѣренныя риѳмованныя строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумалъ бы вдругъ ходить не иначе, какъ по разостланной веревочкѣ, да непремѣнно еще на каждомъ шагу присѣдая.—Конечно, это была не больше какъ одна изъ сатирическихъ гиперболъ великаго юмориста, потому что на самомъ дѣлѣ онъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошихъ стиховъ, и Некрасовъ постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стихотворенія". Въ подтвержденіе того, что Салтыковъ рано и безповоротно пересталъ писать стихи, можно привести еще то мѣсто изъ его первой повѣсти „Противорѣчія", гдѣ герой повѣсти, рекомендуемый новому знакомому, какъ поэтъ, замѣчаетъ: „эта рекомендація нѣсколько смутила меня, потому что я довольно давно уже не предаюсь никакому разврату". Тотъ же герой пишетъ своему молодому другу: „неужели всю жизнь сочинять стихотворенія, и не пора ли заговорить простою здоровою прозою?"

Извѣстно, что Тургеневъ также не любилъ вспоминать о своихъ стихотвореніяхъ, хотя писалъ въ стихахъ гораздо больше и дольше, чѣмъ Салтыковъ. Разница между ними, съ этой точки зрѣнія, заключается въ томъ, что Салтыковъ почти вовсе не обладалъ даромъ стихотворной рѣчи, тогда какъ Тургеневъ владѣлъ имъ въ довольно высокой степени. Въ Тургеневѣ стремленіе забыть и заставить забыть о своихъ стихотвореніяхъ вызывалось крайнею требовательностью къ самому себѣ. Сознавая, что въ прозѣ онъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ стихахъ, что въ одной лишь первой коренится истинная его оригинальность, онъ не хотѣлъ и думать о попыткахъ, наполнявшихъ первые годы его творчества; онѣ казались ему неудачными уже потому, что не были *вполнѣ* удачны. Въ глазахъ Салтыкова лицейскія стихотворенія очень скоро должны были сдѣлаться не чѣмъ инымъ, какъ пробой пера, ищущаго своей дороги. Какъ только отъ него отлетѣли первыя юношескія иллюзіи, онъ не могъ не понять, что у него вовсе нѣтъ поэтическаго таланта. Въ самомъ дѣлѣ, въ формѣ его стихотвореній незамѣтно никакого движенія впередъ; въ восемнадцать лѣтъ онъ писалъ, съ внѣшней стороны, не лучше, чѣмъ въ пятнадцать. Переводъ гейневской „Рыбачки" очень хорошъ и только немногимъ уступаетъ переводу той же пьесы, сдѣланному впослѣдствіи А. Н. Плещеевымъ; переводъ изъ Байрона гораздо слабѣе и менѣе близокъ къ подлиннику. Въ „Нашемъ вѣкѣ" меньше удачныхъ стиховъ, чѣмъ въ

„Двухъ жизняхъ". Чѣмъ дальше, тѣмъ больше встрѣчается у Салтыкова словъ, введенныхъ въ пьесу исключительно для соблюденія размѣра. Авторъ не столько описываетъ свои чувства, сколько *называетъ* ихъ („какъ скучно мнѣ! мнѣ тяжело! мнѣ грустно! боленъ я душой!" — всѣ эти восклицанія взяты нами изъ одной только „Зимней элегіи"). Повторяются и мотивы стихотвореній (напримѣръ, тишина—въ „Вечерѣ" и въ „Веснѣ"), и даже самыя выраженія („чуть дышетъ вѣтеръ"). Многія пьесы производятъ впечатлѣніе варіацій на давно знакомыя темы; въ „Музыкѣ" слышится Бенедиктовъ, въ „Вечерѣ"—А. Майковъ, въ „Нашемъ вѣкѣ" — Лермонтовъ. И все-таки стихотворенія Салтыкова интересны, какъ выраженіе душевной жизни молодого лицеиста. Если „Лира" похожа еще на ученическое упражненіе, то въ „Двухъ жизняхъ" чувствуется уже настроеніе автора — настроеніе отчасти заимствованное, навѣянное извнѣ, но быстро привившееся къ натурѣ Салтыкова. Меланхолическая нота звучитъ въ немъ искренно и сердечно *). Жизнь кажется ему, по временамъ, тяжелымъ бременемъ, хотя ему и страшенъ призракъ смерти. Успокоительно дѣйствуетъ на него только пейзажъ—русскій сѣверный пейзажъ, обаянію котораго поддавались Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ, Некрасовъ. Если, кромѣ природы, все остальное „поражало его грустью", то это не удивительно; въ эпоху, которую переживало тогда русское общество, печальныхъ картинъ на каждомъ шагу представлялось слишкомъ много. Чтобы видѣть и понимать ихъ, не нужно было долго жить на свѣтѣ; достаточно было присмотрѣться поближе къ „пошехонскимъ" порядкамъ—и потомъ сравнить ихъ непроглядную тьму съ ослѣпительнымъ свѣтомъ, очагомъ котораго служила тогдашняя Франція. И о томъ, и о другомъ мы имѣемъ подлинныя свидѣтельства Салтыкова. Какія чувства заронила въ немъ тьма—это мы уже знаемъ; напомнимъ теперь, что онъ говоритъ объ источникѣ свѣта.

„Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ, — читаемъ мы въ четвертой главѣ „За рубежемъ",—для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да

*) Вотъ что говоритъ о Салтыковѣ-лицеистѣ А. Я. Головачева (см. „Воспоминанія" ея въ „Историческомъ Вѣстникѣ" за 1889 г., № 11, стр. 272—273): „я видѣла его въ началѣ сороковыхъ годовъ, въ домѣ М. А. Языкова. Онъ и тогда не отличался веселымъ выраженіемъ лица. Его большіе сѣрые глаза сурово смотрѣли на всѣхъ и онъ всегда молчалъ. Онъ всегда садился не въ той комнатѣ, гдѣ сидѣли всѣ гости, а помѣщался въ другой, противъ дверей, и оттуда внимательно слушалъ разговоры". Улыбка „мрачнаго лицеиста" считалась чудомъ. По словамъ Языкова, Салтыковъ ходилъ къ нему, „чтобы посмотрѣть на литераторовъ".

и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе. Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подростающее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только-что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабé, Фурьé, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда. Въ Россіи, — впрочемъ, не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ, — мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли *образъ жизни*. Ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе „Собранія русскихъ пословицъ", являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками. Такъ что когда министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій началъ издавать таксы на мясо и хлѣбъ, то и это заинтересовало насъ только въ качествѣ анекдота, о которомъ слѣдуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатью сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранѣе предположено не разыскивать; во Франціи —

все какъ будто только-что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малѣйшаго желанія кончиться... Въ особенности симпатіи къ Франціи обострились около 1848 г. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ двухъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались „Исторіей десятилѣтія", Луи Блана. Луи-Филиппъ, и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ, все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, чѣмъ Л. В. Дуббельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ — радовалъ. Процессъ министра Теста, агитація въ пользу избирательной реформы, высокомѣрныя рѣчи Гизо по этому поводу, февральскіе банкеты — все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто происходило вчера"... Мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что настроеніе, описанное въ этихъ строкахъ, зародилось въ Салтыковѣ еще во время бытности его въ лицеѣ. Даже въ концѣ сороковыхъ, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, послѣ грозы 1848 г., послѣ дѣла петрашевцевъ, въ которомъ не случайно оказались замѣшанными многіе изъ бывшихъ лицеистовъ (Петрашевскій, Спѣшневъ, Кашкинъ, Европеусъ), между воспитанниками лицея бродили еще идеи, вдохновлявшія юношу-Салтыкова. Многіе изъ нихъ читали Фурье, Сенъ-Симона, Луи Блана и знакомили своихъ младшихъ товарищей съ содержаніемъ запретныхъ книгъ, которыя въ училищѣ правовѣдѣнія (да, вѣроятно, и въ другихъ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ того же времени) едва-ли были извѣстны даже по имени *). Само собою разумѣется, что, ставъ на ноги, освободившись отъ школьнаго контроля, Салтыковъ отдался съ бо̀льшимъ еще жаромъ изученію французской политической и экономической литературы.

Изъ лицея выходили въ то время — какъ и теперь—съ чиномъ девятаго, десятаго или двѣнадцатаго класса, смотря по успѣхамъ въ наукахъ и болѣе или менѣе одобрительному „поведенію". Салтыковъ, какъ мы уже знаемъ, получалъ плохіе баллы „изъ поведенія" — и вышелъ, поэтому, съ чиномъ десятаго класса, семнадцатымъ по списку. Всего выпущено было въ 1844 г. двадцать-два ученика: двѣнадцать— девятымъ классомъ, пять — десятымъ, пять — двѣнадцатымъ **). Съ

*) Пишущій эти строки самъ поступилъ въ училище правовѣдѣнія въ 1849 г., и имѣвъ родственниковъ и знакомыхъ въ лицеѣ, говоритъ объ этомъ на основаніи собственныхъ воспоминаній.

**) Эти цифры, не вполнѣ совпадающія съ свѣдѣніями біографическаго очерка „Русской Библіотеки", заимствованы нами изъ оффиціальнаго источника—памятной книжки Александровскаго лицея на 1855-1856 г.

чиномъ десятаго класса вышли изъ лицея, какъ извѣстно, и Пушкинъ, и Дельвигъ, и Мей. Между товарищами Салтыкова никто не составилъ себѣ имени въ литературѣ или въ общественной дѣятельности; высокихъ положеній по службѣ достигли кн. А. Б. Лобановъ-Ростовскій (посолъ въ Вѣнѣ) и гр. А. П. Бобринскій (бывшій московскій губернскій предводитель дворянства, умершій недавно членомъ государственнаго совѣта). Сохранилъ ли Салтыковъ близкія отношенія къ кому-либо изъ своихъ товарищей—не знаемъ; искать между ними того, кому посвящена „Весна", нельзя, потому что ни одинъ изъ нихъ не носилъ фамиліи, начинающейся съ буквы У. О службѣ Салтыкова въ Петербургѣ мы знаемъ только то, что онъ 23-го августа 1844 г. былъ зачисленъ въ канцелярію военнаго министра, а два года спустя, 8-го августа 1846 г., получилъ тамъ мѣсто помощника секретаря. По словамъ г. Скабичевскаго, первые три года по выходѣ изъ лицея Салтыковъ, подобно Пушкину, провелъ очень бурно и разсѣянно справлялъ „праздникъ жизни, молодости годы". „По своей страсти все представлять въ комическомъ видѣ, не щадя и самого себя, Салтыковъ,—продолжаетъ г. Скабичевскій,—разсказывалъ о себѣ нѣсколько анекдотовъ изъ этого періода своей жизни, которые по своей крайней курьезности вполнѣ совпадаютъ съ жанромъ его сатиръ". Съ достовѣрностью можно сказать пока только одно: Салтыкова продолжало тянуть къ литературѣ, больше чѣмъ когда-либо привлекавшей къ себѣ въ то время всѣхъ лучшихъ представителей нашей интеллигенціи. Оставивъ стихи, онъ скоро сталъ пробовать свои силы въ прозѣ. До сихъ поръ предполагалось, что первымъ прозаическимъ опытомъ Салтыкова была повѣсть: „Противорѣчія", напечатанная въ ноябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ" за 1847 г. Оказывается, однако, что онъ уже раньше сталъ помѣщать въ томъ же журналѣ, въ отдѣлѣ Библіографической Хроники, рецензіи на нѣкоторыя вновь выходящія русскія книги. До 1846 г. этимъ отдѣломъ завѣдывалъ Бѣлинскій; потомъ, до лѣта 1847 г., главную роль игралъ въ немъ Валеріанъ Майковъ. Послѣ смерти Майкова веденіе библіографической хроники стало, повидимому, цѣлымъ коллективнымъ. Салтыкову приходилось писать, большею частью, объ учебникахъ и книгахъ для дѣтскаго чтенія. Изъ рецензій, черновыя которыхъ, собственноручно написанныя Салтыковымъ, находятся передъ нашими глазами, въ этой рубрикѣ отмѣчены лишь о семи книгахъ: только одна называется брошюрой П. Лебедева „Нѣсколько словъ о военномъ краснорѣчіи"—но эта рецензія, можно думать, остается ненапечатанной, потому что во второй

части т. 55-го „Отечественныхъ Записокъ“ (стр. 103) о брошюрѣ Лебедева имѣется совсѣмъ другая замѣтка, гораздо менѣе благопріятная для автора, чѣмъ составленная Салтыковымъ. Въ томъ же 55-мъ томѣ (стр. 21), но въ другой, первой его части *) напечатана замѣтка Салтыкова о „Логикѣ“ Зубовскаго, профессора могилевской семинаріи. „И въ наше время,—такъ начинается рецензія, — существуютъ еще люди съ наивнымъ убѣжденіемъ, что логика можетъ научить мыслить... Никому не придетъ въ голову назвать смѣшнымъ стремленіе познать самого себя, привесть въ ясное сознаніе тѣ законы, по которымъ человѣкъ мыслитъ; но учить мыслить... трудную задачу вы взяли на себя, г. Зубовскій!“ Дальше Салтыковъ возражаетъ противъ преувеличеннаго значенія, придаваемаго, въ заурядной логикѣ, силлогизмамъ: онъ замѣчаетъ, что силлогизмъ — не что иное, какъ „безконечный, безвыходный кругъ, въ которомъ общее предложеніе доказывается частнымъ и потомъ въ свою очередь доказываетъ частное“. „Намъ случилось слышать, — восклицаетъ рецензентъ, — какъ одинъ господинъ весьма серьезно увѣрялъ другого, весьма почтенной наружности, но посмирнѣе, что тотъ долженъ ему повиноваться, дѣлая слѣдующій силлогизмъ: я человѣкъ, ты человѣкъ; слѣдовательно ты рабъ мой. И смирный господинъ повѣрилъ (такова ошеломляющая сила силлогизма!), и отдалъ тому господину все, что у него было: и жену, и дѣтей, и самого себя, и вдобавокъ остался даже очень доволенъ собою“. Эти слова направлены, очевидно, не противъ „Логики“ Зубовскаго, а противъ модной, по тогдашнему времени, крѣпостнической логики.

Въ разборѣ дѣскихъ книгъ и учебниковъ, предназначенныхъ для дѣтей — „Географіи въ Эстампахъ“, Ришома и Вангольда, „Курса физической географіи“, Петровскаго, „Руководства къ первоначальному изученію всеобщей исторіи“, Фолькера, „Разсказовъ дѣтямъ изъ древняго міра“, Беккера, „Потемкина“, исторической повѣсти Фурмана, „Альманаха для дѣтей“ **),—Салтыковъ возстаетъ съ особенною силой противъ прописной морали, противъ неуклюжаго подчеркиванья нравственныхъ сентенцій, противъ обремененія памяти массой мелочныхъ подробностей и сухихъ фактовъ. Многія изъ его разсужденій не потеряли своей цѣны и въ наше время. „Странная, право, участь дѣтей!“ — говоритъ онъ, напримѣръ, въ замѣткѣ о „Руководствѣ къ

*) Это та самая ноябрьская книжка 1847 г., въ которой напечатана первая повѣсть Салтыкова: „Противорѣчія“.

**) Рецензія на повѣсть Фурмана напечатана въ январьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1848 г. (т. 56), рецензія на „Разсказы“ Беккера—въ апрѣльской книжкѣ того же года (т. 57), т.-е. уже послѣ „Запутаннаго дѣла“.

первоначальному изученію всеобщей исторіи".—„Чему не учать ихъ, какіе методы не употребляются при преподаваніи! Одно только забываютъ объяснить дѣтямъ мудрые наставники—именно то, что наиболѣе занимаетъ пытливый умъ ребенка: то, что находится у него безпрестанно подъ руками, тѣ предметы физическаго міра, въ кругу которыхъ онъ вращается. Отъ этого-то именно и происходитъ, что человѣкъ, сошедшій съ школьной скамьи, насытившійся вдоволь и греками, и римлянами, узнавшій въ конецъ всѣ свойства души, воли и другихъ невѣсомыхъ, которыми живетъ жизнь бѣднаго школьника, при первомъ столкновеніи съ дѣйствительностью оказывается совершенно несостоятельнымъ, при первомъ несчастіи упадаетъ духомъ, и если ему по какому-нибудь случаю любезные родители не приготовили ни душъ, которыя могли бы прокормить вѣчнаго младенца, ни серебряныхъ родственниковъ, нашъ философъ умираетъ съ голоду, именно отъ того, что любезные родители никакъ не могли предвидѣть подобный пассажъ. По настоящему, слѣдовало бы подстерегать натуру ребенка, уловить его наклонности, не навязывать ему такой науки, которая или антипатична, или не по лѣтамъ ему. Какъ это возможно! а на что же существуютъ возлюбленные родители? Въ ихъ умѣ ужъ заранѣе начертаны всѣ занятія, всѣ судьбы юнаго рожденія ихъ: на то онъ ихъ рожденіе, ихъ *собственное* рожденіе, чтобы они могли по произволу располагать имъ. Юноши, въ которыхъ эта *система постепеннаго ошеломленія* (совершенно уже салтыковское „словечко"!) не совсѣмъ еще утушила энергію пытливаго духа, обыкновенно начинаютъ, по выходѣ изъ школы, образованіе совершенно сызнова, но и тутъ, въ борьбѣ съ безпрестанно возстающими недоразумѣніями, большею частью падаютъ подъ бременемъ своего тяжелаго перевоспитанія. Что касается до остальныхъ,—а этихъ остальныхъ болѣе девяти десятыхъ,—то они, разъ подвергнутые *разслабляющей ваннѣ энциклопедическаго образованія*, уже навсегда пребываютъ въ состояніи совершеннаго нравственнаго одурѣнія". Много мѣткихъ замѣчаній разсѣяно и въ другихъ рецензіяхъ Салтыкова. „Ошибка дѣтскихъ писателей заключается въ томъ, что они непремѣнно хотятъ бесѣдовать съ дѣтьми не какъ съ людьми, а какъ съ низшими организмами, немного чѣмъ повыше минераловъ"... „Почему вы думаете, что если взрослому покажется дикимъ, что десятилѣтній Гриша, не хуже любого сантиментальнаго патріота-офицера, крѣпко жметъ руку матери отъ умиленія при видѣ Москвы, то еще большею дикостью не покажется это ребенку?".. „Ребенокъ видитъ въ саду цвѣтокъ; онъ хочетъ

знать его составныя части, хочетъ добиться до законовъ его питанія. Увы! тутъ стоитъ величавая фигура педагога, гласящая ему, что это все вздоръ, а вотъ поди да возьми въ руки исторію Фолькера; тамъ ты узнаешь, что Кекропсъ", и т. д. (въ наше время на мѣсто учебника исторіи явился бы, по всей вѣроятности, учебникъ латинскаго или греческаго языка). Въ замѣткѣ о „Географіи въ Эстампахъ" очень забавно осмѣяна обычная манера нравочуительныхъ разсказовъ. Въ одномъ изъ нихъ выведена на сцену дѣвочка, подавшая милостыню тремъ бѣднякамъ; первый, вслѣдъ затѣмъ, защищаетъ ее противъ разбойниковъ, второй предохраняетъ ея имущество отъ пожара, третій спасаетъ ее отъ укушенія бѣшеной собакой. „Мораль этого разсказа,— восклицаетъ рецензентъ,—можетъ быть выражена такъ: быть добрымъ никогда не мѣшаетъ, потому что это даетъ человѣку случай спекулировать на услугу въ сто разъ бо̀льшую со стороны облагодѣтельствованнаго субъекта. Впрочемъ можно, съ равной достовѣрностью, предположить и то, что если благодѣтельная дѣвушка, не давши заранѣе бѣдному мальчику пять су, опять встрѣтится съ бѣшеною собакой, то бѣдный мальчикъ, по смыслу повѣсти, не поспѣшитъ уже къ ней на помощь. Откуда мораль: не подавши заранѣе пять су бѣдному мальчику, нужно избѣгать встрѣчи съ бѣшеными собаками"...

Въ рецензіи на книгу Беккера: „Разсказы дѣтямъ изъ древняго міра", Салтыковъ преклоняется передъ Гомеромъ, „одинъ стихъ котораго часто даетъ намъ болѣе ясное понятіе о древнемъ мірѣ, нежели цѣлые томы ученыхъ изысканій"; но именно потому онъ протестуетъ противъ искаженій, производимыхъ надъ „Иліадой" и „Одиссеей" подъ предлогомъ приспособленія ихъ къ дѣтскому или юношескому возрасту. Онъ желалъ бы, чтобы въ руки юношества былъ данъ полный гнѣдичевскій переводъ „Иліады", снабженный только дѣльнымъ предисловіемъ, въ которомъ было бы объяснено все необходимое для правильнаго пониманія великой поэмы. Что̀ касается до дѣтей, то для нихъ Гомеръ, въ настоящемъ своемъ видѣ, недоступенъ, а „приноровленіе его къ дѣтскимъ понятіямъ" Салтыковъ считаетъ не только безполезнымъ, но прямо вреднымъ. „Въ основѣ поэмъ Гомера,—говоритъ онъ,—лежитъ чудесное. Поставленное на своемъ мѣстѣ, обставленное извѣстными обстоятельствами, понимаемое какъ выраженіе духа страны и времени, чудесное принимаетъ должные размѣры и наконецъ дѣлается весьма и весьма объяснимымъ. Но не такъ бываетъ это съ дѣтьми. Умъ ихъ, по природѣ наклонный къ чудесному, на немъ одномъ только и останавливается съ охотою, и все сверхъесте-

ственное принимаетъ за наличную монету, такъ что изъ всей поэмы Гомера, можетъ быть, одно оно только и привяжетъ къ себѣ ребенка. Отсюда наклонность къ мечтательности, которую надобно было бы сдерживать въ разумныхъ границахъ, пріобрѣтаетъ, напротивъ того, самые гигантскіе размѣры, и ребенокъ, сдѣлавшись впослѣдствіи мужемъ, является человѣкомъ неспособнымъ заниматься интересами близкими и дѣйствительными и цѣлый вѣкъ блуждаетъ мыслью въ мечтательныхъ мірахъ, созданныхъ его больною фантазіей. И пусть не обвиняютъ насъ въ преувеличеніи: зло, о которомъ мы говоримъ, такъ тонко, такъ незамѣтно, что его не увидишь сразу: оно издалека и медленно подкрадывается и сосетъ все существованіе ребенка, но тѣмъ не менѣе глубоко пагубны и разрушительны будутъ его результаты".

Мысли, выраженныя Салтыковымъ въ его рецензіяхъ, занимали его, очевидно, чрезвычайно сильно: онѣ встрѣчаются и въ первой повѣсти его: „Противорѣчія", напечатанной, какъ мы уже сказали, въ февральской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ" 1847 г. (т. 55, ч. I, стр. 1—106), подписанной: „М. Неваловъ", и не включенной Салтыковымъ ни въ прежніе выпуски его произведеній, ни въ выходящее теперь собраніе ихъ *. „Пожирающая насъ жажда привязанности,— говоритъ герой повѣсти, Нагибинъ,— не имѣетъ предметомъ чего-либо дѣйствительнаго: напротивъ, мы съ какимъ-то презрѣніемъ отворачиваемся отъ той среды, въ которой живемъ, и создаемъ себѣ особый мечтательный міръ, который населяемъ призраками своего воображенія... Все это объясняется воспитаніемъ, болѣе направленнымъ къ пустой мечтательности, нежели къ прямому взгляду на жизнь, и кругомъ знаній такихъ, которыя отличаются только спекулятивными науками, такъ что человѣкъ какого рода, чтобы ни изучалъ науку съ какой, изучаетъ ее съ тѣмъ, а потомъ и кажется, что ничего новаго не можетъ въ этомъ заглядѣ спекулятивномъ. Такое воспитаніе с[illegible] губитъ насъ: потерявшій естественныя умственныя разрѣшенія, человѣкъ уже теряетъ способность видѣть въ глаза дѣйствительности, не имѣетъ [illegible], чтобы объяснить сокровенныя пружины и объяснить себѣ какую-нибудь противорѣчія ея". Въ концѣ повѣсти Нагибинъ опять возвращается въ той же тенѣ. Жалуясь на нравственную свою дряхлость, съ горечью упрекаясь за „уклоненіе своего сознанія прямо", онъ спрашиваетъ

* [illegible] Салтыковымъ за [illegible]

себя: отчего все это?—и отвѣчаетъ: „оттого, что мнѣ не дано практическаго пониманія дѣйствительности, оттого, что умъ мой воспитали мечтаніями, не дали ему окрѣпнуть, отрезвиться, и пустили на удачу по столбовой дорогѣ жизни... Что̀ было въ моей прежней жизни? Сомнѣнія! Что̀ въ настоящемъ моемъ? Сомнѣнія! Что̀ въ будущемъ? Сомнѣнія!.. Что̀ въ томъ, что я много наблюдалъ, многому выучился? Все это знаніе больше ничего, какъ слова, слова, слова!.. Да и вся моя жизнь — не болѣе какъ противорѣчія, противорѣчія, противорѣчія!“... Если Салтыковъ вложилъ, такимъ образомъ, въ уста Нагибина нѣкоторыя изъ своихъ задушевныхъ убѣжденій, то отсюда не слѣдуетъ еще, конечно, чтобы онъ изобразилъ въ немъ самого себя. Внутренняя жизнь Салтыкова отразилась въ героѣ „Противорѣчій“ развѣ настолько, насколько внутренняя жизнь Гёте—въ Вертерѣ или Клавиго. И тамъ, и тутъ нѣкоторыя черты берутся изъ душевнаго міра самого автора—но такія черты, съ которыми онъ борется, отъ которыхъ хочетъ отрѣшиться. Онѣ доводятся, въ разсказѣ или драмѣ, до своего полнаго развитія, до своего логическаго конца—и въ этомъ объективированіи ихъ авторъ находитъ желанную свободу. Нагибинъ — это одинъ изъ первыхъ, въ хронологическомъ порядкѣ, „лишнихъ людей“, „заѣденныхъ рефлексіей“; это—родной братъ героя „Аси“, это—„русскій человѣкъ на rendez-vous“, десятью годами позже, именно по поводу „Аси“, изображенный Чернышевскимъ. Героиня „Противорѣчій“, Таня, также напоминаетъ Асю — насколько блѣдный абрисъ мо̀жетъ напоминать художественно-законченную картину. Таня беретъ на себя иниціативу, на которую неспособенъ Нагибинъ; она первая говоритъ ему о любви, первая зоветъ его на свиданье; она упрекаетъ его въ трусости, какъ Рудина—Наталья. Нагибинъ безсиленъ идти за нею; безсиленъ и оставить ее, пока гордіевъ узелъ не разсѣкается грубою рукой родителей Тани. Выходъ изъ „противорѣчій“, не находимый Нагибинымъ, но безмолвно указываемый авторомъ — это признаніе правъ жизни и страсти, тѣхъ правъ, за которыя съ такимъ блескомъ, десятью или пятнадцатью годами раньше, ратовала Ж.-Зандъ. На это намекаетъ и эпиграфъ повѣсти, заимствованный изъ Сенеки: „natura duce utendum est; hanc ratio observat, hanc consulit; idem est ergo beate vivere, et secundum naturam“ (вождемъ человѣка должна быть природа; ей слѣдуетъ, съ ней совѣтуется разумъ; жить блаженно — значитъ жить согласно съ требованіями природы).

Изложеніе сюжета первой повѣсти Салтыкова, равно какъ и критическая ея оцѣнка, не входитъ въ составъ нашей задачи; мы бе-

ремъ изъ нея только то̀, что̀ имѣетъ сколько-нибудь автобіографическій характеръ. Съ этой точки зрѣнія заслуживаютъ вниманія еще слѣдующія слова Нагибина: „будущее обѣщаетъ мнѣ только горестный рядъ преслѣдованій и лишеній, лишеній ничтожныхъ и мелкихъ, если хотите, но тѣмъ не менѣе безпрестанныхъ и безотвязныхъ, съ которыми нельзя бороться — до того они неуловимы, до того ничтожны. Еще еслибъ меня ждало какое-нибудь сильное несчастіе — но нѣтъ, меня ждутъ умѣренность и аккуратность, двѣ большія добродѣтели, коли хотите, но въ которыхъ скорѣе слышится отрицаніе жизни, нежели жизнь". Страхъ передъ „мелочами жизни", боязнь попасть подъ иго „умѣренности и аккуратности" — это первая форма глубокаго отвращенія къ нимъ, проникающаго позднѣйшую дѣятельность Салтыкова. Съ отголосками того же страха мы встрѣчаемся еще разъ много лѣтъ спустя, когда Салтыковъ, уѣзжая изъ Вятки, съ ужасомъ говоритъ объ ожидающихъ его „новыхъ хлопотахъ, новыхъ искательствахъ", когда ему кажется, что „въ сердцѣ его царствуетъ преступная вялость" („Губернскіе Очерки"—„Дорога", стр. 350). Примиреніе съ будничной „тиной", погруженіе въ омутъ мелкихъ житейскихъ дрязгъ—вотъ, очевидно, кошмаръ, пугавшій Салтыкова, пока въ немъ не окрѣпла вѣра въ самого себя. И здѣсь нѣтъ ничего удивительнаго: на его глазахъ тысячи людей, обезсиленныхъ тепличнымъ воспитаніемъ и беззащитныхъ противъ вліяній среды, тонули въ этомъ омутѣ, погрязали въ этой тинѣ... Въ другомъ мѣстѣ Нагибинъ сокрушается о томъ, что, познавъ настоящую дѣйствительность и нарисовавъ себѣ образъ иной, будущей дѣйствительности — „не только возможной, но непремѣнно имѣющей быть",—онъ одинаково неспособенъ найти утѣшеніе какъ въ той, такъ и въ другой. „Не сопоставляй я этихъ двухъ несовмѣстныхъ другъ съ другомъ противоположностей, существуй для меня одно какое-нибудь изъ двухъ представленій дѣйствительности, я былъ бы вполнѣ счастливъ: былъ бы или нелѣпымъ утопистомъ, въ родѣ новѣйшихъ соціалистовъ, или прижимистымъ консерваторомъ — во всякомъ случаѣ я былъ бы доволенъ собою. Но я именно по серединѣ стою между тѣмъ и другимъ пониманіемъ жизни: я не утопистъ, потому что уношу свою закваску изъ историческаго развитія дѣйствительности, потому что вижу ее за мрачными туманами, а какими глазами — я не [illegible] потому что не хочу быть, а требую жизни, требую [illegible] жизнь". И въ этихъ словахъ, быть можетъ, отразились отчасти и [illegible] Салтыкова. Въ [illegible] —

дѣйствующія лица (Алексисъ и Беобахтеръ), несомнѣнно похожія на „нелѣпыхъ утопистовъ“, а общая мысль повѣсти меньше всего отзывается „консерватизмомъ quand même“ или расположеніемъ къ „застою“... Укажемъ, въ заключеніе, на несомнѣнное сходство между супругами Крошиными въ „Противорѣчіяхъ“ и родителями Никанора Затрапезнаго въ „Пошехонской Старинѣ“; особенно много общаго между Марьей Ивановной Крошиной и Анной Павловной Затрапезной. Марья Ивановна—„женщина-кулакъ, типъ встрѣчающійся весьма часто, и особенно въ провинціяхъ, гдѣ жизнь женщины исключительно сосредоточена въ узенькихъ рамкахъ фамильныхъ ея отношеній... Вокругъ нея все тихо, все умерло. Надо же какъ-нибудь доканать, добить это несносно-тянущееся время, потому что праздность душитъ человѣка; вотъ она и погрязаетъ по уши въ своей семейной грязи, и нѣтъ мѣры обвѣшиваньямъ, обмѣриваньямъ, сплетнямъ и тому подобнымъ дрязгамъ! И по совѣсти, нельзя сказать, чтобы она на волосъ во всемъ этомъ была виновата. Окружите ее другою срединою, и вся физіономія ея внезапно измѣняется. Тутъ просто фатумъ, и она безсильна противъ него“. Все это можно было бы сказать и объ Аннѣ Павловнѣ Затрапезной.

„Противорѣчія“ посвящены В. А. Милютину (родному брату Николая и Дмитрія Алексѣевичей). Это былъ талантливый молодой писатель, такъ же много обѣщавшій въ области политическихъ и соціальныхъ наукъ, какъ сверстникъ его, Валеріанъ Майковъ—въ области критики. Оба они умерли слишкомъ рано; продолжателемъ ихъ обоихъ явился Н. Г. Чернышевскій. Дружба съ В. А. Милютинымъ служитъ, до извѣстной степени, указаніемъ на то, въ какомъ направленіи работала тогда мысль Салтыкова; еще яснѣе свидѣтельствуютъ о немъ воспоминанія Салтыкова, приведенныя нами выше. Если въ „Противорѣчіяхъ“ чувствуется вліяніе первыхъ романовъ Ж.-Занда („Indiana“, „Valentine“, „Jacques“), то слѣдующая затѣмъ повѣсть Салтыкова: „Запутанное дѣло“, напечатанная въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ 1848 г. (т. 57), за подписью М. С., внушена отчасти второю—соціалистическою — полосой дѣятельности Ж.-Занда, отчасти прямо чтеніемъ авторовъ, подъ обаяніемъ которыхъ находилась въ то время французская писательница, отчасти, наконецъ, „Шинелью“ Гоголя и „Бѣдными людьми“ Достоевскаго *). Господствующая нота „Запутаннаго дѣла“ — сочувствіе къ униженнымъ и

*) Эта мысль развита нами болѣе подробно въ нашей статьѣ: „Русская общественная жизнь въ сатирѣ Салтыкова“.

оскорбленнымъ; отсюда только одинъ шагъ до несочувствія къ общественному строю, подъ сѣнью котораго благоденствуютъ унижающіе и оскорбляющіе. На бѣду для Салтыкова, первое сколько-нибудь открытое выраженіе его взглядовъ совпало съ впечатлѣніемъ, произведеннымъ на наши правительственныя сферы февральской революціей во Франціи и мартовскимъ движеніемъ въ Германіи. „Я былъ утромъ, на масляной, въ итальянской оперѣ,—разсказываетъ Салтыковъ („За рубежемъ", стр. 89-90),—какъ вдругъ, словно электрическая искра, всю публику пронизала вѣсть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладѣло всѣми. Именно всѣми, потому что хотя тутъ было множество людей самыхъ противоположныхъ воззрѣній, но навѣрно не было такихъ, которые отнеслись бы къ событію съ тѣмъ жгучимъ равнодушіемъ, которое впослѣдствіи сдѣлалось какъ бы нормальною окраской русской интеллигенціи. Молодежь едва сдерживала безкорыстные восторги. Помнится, къ концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобнаго рода извѣстія доходили до публики какъ-то неправильно и по секрету). Затѣмъ, въ теченіе какихъ-нибудь двухъ-трехъ дней, пало регентство, оказалось несостоятельнымъ эфемерное министерство Одилона Барро и, въ заключеніе, бѣжалъ самъ Луи-Филиппъ. Провозглашена была республика, съ временнымъ правительствомъ во главѣ; полились рѣчи, какъ изъ рога изобилія... Громадность событія на все набрасывала покровъ волшебства. Франція казалась страною чудесъ. Можно ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое, вдобавокъ, отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только плѣнялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги отъ глазъ бодрствующаго начальства. И вотъ, вслѣдъ за возникновеніемъ движенія во Франціи, произошло соотвѣтствующее движеніе и у насъ: учрежденъ былъ негласный комитетъ для разсмотрѣнія злокозненностей русской литературы". Въ этомъ комитетѣ, по словамъ біографическаго очерка „Русской Библіотеки", „было обращено особое вниманіе на повѣсти Салтыкова, хотя онѣ и были пропущены цензурою". „Въ мартѣ мѣсяцѣ,—читаемъ мы все въ той же главѣ „За рубежемъ",—я написалъ повѣсть („Запутанное дѣло"), а въ маѣ уже былъ зачисленъ въ штатъ вятскаго губернскаго правленія". Сопоставленіе этихъ отзывовъ, изъ которыхъ одинъ идетъ прямо отъ Салтыкова, а другой имъ просмотрѣнъ и одобренъ, доказываетъ несомнѣнно, что иниціатива

административной кары противъ молодого писателя принадлежала—по крайней мѣрѣ по убѣжденію самого Салтыкова — „негласному“ (Бутурлинскому) комитету по дѣламъ печати; не совсѣмъ ясно только одно — послужила ли поводомъ къ ней одна вторая повѣсть Салтыкова, или обѣ. Всего вѣроятнѣе, что въ „соображеніе“ были приняты обѣ, но главные обвинительные пункты были почерпнуты изъ второй. Нѣсколько иначе разсказанъ ходъ дѣла г. Скабичевскимъ, въ статьѣ, на которую мы уже ссылались. „Надо было случиться, — говоритъ г. Скабичевскій,—чтобы однимъ изъ первыхъ распоряженій Бутурлинскаго комитета было строгое замѣчаніе, данное военному министру, гр. Чернышеву, за цензурныя неисправности въ „Русскомъ Инвалидѣ“. Это обстоятельство вооружило гр. Чернышева противъ литераторовъ, и, какъ нарочно, въ то время какъ гр. Чернышевъ находился еще подъ впечатлѣніемъ полученнаго имъ замѣчанія, явился къ нему Салтыковъ, какъ подчиненный, проситься въ отпускъ. Дѣло было подъ Рождество, и Салтыковъ намѣревался провести праздники на свободѣ, вѣроятно у родныхъ. Упустивши совершенно изъ виду, что чиновникъ его занимается литературой, гр. Чернышевъ тутъ только вспомнилъ объ этомъ. „Вы, кажется, въ журналахъ пишете?“ — спросилъ онъ Салтыкова. На утвердительный отвѣтъ послѣдняго гр. Чернышевъ потребовалъ, чтобы онъ представилъ ему свои сочиненія. „Тогда мы и посмотримъ, можно ли васъ отпустить“,—прибавилъ онъ къ этому. Салтыковъ представилъ министру свои два разсказа: министръ поручилъ Н. Кукольнику написать ему о нихъ докладъ. Заклятый врагъ натуральной школы, Н. Кукольникъ представилъ докладъ министру въ такомъ родѣ, что гр. Чернышевъ только ужаснулся, что такой опасный человѣкъ, какъ Салтыковъ, служитъ въ его министерствѣ — и тотчасъ же препроводилъ докладъ Кукольника въ Бутурлинскій комитетъ, а Салтыкова уволилъ изъ министерства. Бутурлинскій комитетъ препроводилъ докладъ Кукольника въ третье отдѣленіе—и вотъ, въ одинъ прекрасный день, передъ квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка съ жандармомъ, и объявлено было ему повелѣніе тотчасъ же ѣхать въ Вятку. Все это было сдѣлано такъ поспѣшно, что Салтыковъ едва успѣлъ сложить въ чемоданъ свои пожитки и долженъ былъ сѣсть на тройку въ легкой шубенкѣ, едва достаточной для петербургскаго обихода. Лишь по снисходительности жандарма брату Салтыкова было дозволено, пріобрѣтя на скорую руку шубу, вполнѣ годную для далекаго путешествія на перекладныхъ, нагнать путешественника уже за шлиссельбургской заставой и избавить его отъ

опасности замерзнуть дорогою". Въ этомъ разсказѣ есть одна явная ошибка или описка: дѣло не могло происходить „подъ Рождество", потому что „Запутанное дѣло" появилось въ печати только въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ". Рѣчь идетъ, очевидно, о Пасхѣ, которая дѣйствительно была близка. Вынужденный отъѣздъ Салтыкова изъ Петербурга состоялся 28 апрѣля 1848 г.—ровно за сорокъ одинъ годъ до его смерти.

О служебной дѣятельности Салтыкова въ Вяткѣ извѣстно, до сихъ поръ, очень мало. Онъ былъ зачисленъ сначала (3-го іюля 1848 г.) въ канцелярскіе чиновники при губернскомъ правленіи, т.-е. пониженъ по службѣ, поставленъ въ самые послѣдніе ряды губернской административной іерархіи; но уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ того же 1848 года служебное положеніе его улучшилось—онъ былъ назначенъ старшимъ чиновникомъ особыхъ порученій при вятскомъ гражданскомъ губернаторѣ. Губернаторомъ въ Вяткѣ былъ тогда Середа, бывшій прежде правителемъ канцеляріи у оренбургскаго военнаго губернатора Перовскаго *). Какъ человѣкъ честный, онъ не могъ не оцѣнить молодого чиновника, рѣзко выдѣлявшагося изъ среды провинціальной бюрократіи. Салтыковъ два раза исправлялъ при немъ должность правителя губернаторской канцеляріи (съ мая по августъ 1849 и въ іюнѣ 1850 г.); сверхъ того ему было поручено составленіе по городамъ вятской губерніи инвентарей недвижимыхъ имуществъ, статистическихъ описаній и соображеній о мѣрахъ къ лучшему устройству общественныхъ и хозяйственныхъ городскихъ дѣлъ. 5-го августа 1850 г. Салтыковъ былъ назначенъ совѣтникомъ вятскаго губернскаго правленія. Было ли это при Середѣ, или при его преемникѣ Семеновѣ — не можемъ сказать съ точностью. Въ статьѣ г. Михайлова назначеніе Салтыкова приписывается Семенову, но вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ сообщаетъ, что Середа оставилъ Вятку въ 1851 г. (онъ былъ переведенъ, по просьбѣ оренбургскаго генералъ-губернатора Перовскаго, наказнымъ атаманомъ оренбургскаго казачьяго войска)—а Салтыковъ, какъ видно изъ формулярнаго его списка, получилъ должность совѣтника въ 1850 г. Какъ бы то ни было, дѣятельность Салтыкова при новомъ губернаторѣ становится еще болѣе разнообразной. Продолжая работы по описанію и изу-

*) См. статью г. Михайлова: „Щедринъ, какъ чиновникъ", въ „Одесскомъ Листкѣ" (выдержки изъ нея въ № 213 „Новостей", 5-го августа 1889 г.).

ченію городовъ, онъ состоитъ дѣлопроизводителемъ въ трехъ комитетахъ: о рабочемъ и смирительномъ домахъ, о новомъ порядкѣ отдачи въ арендное содержаніе почтовыхъ станцій и о выставкѣ сельскихъ произведеній въ Петербургѣ. На него возлагается также распоряженіе вятской очередной выставкой сельскихъ произведеній (лѣтъ за пятнадцать передъ тѣмъ дѣятельную роль по устройству выставки въ той же Вяткѣ игралъ Герценъ; таковъ, видно, былъ удѣлъ „опальныхъ" или „ссыльныхъ" чиновниковъ, какъ наиболѣе энергичныхъ и интеллигентныхъ). Въ 1853 г. Салтыковъ получаетъ командировку въ Нолинскъ, для обревизованія дѣлопроизводства тамошняго земскаго суда. Всѣ эти порученія—какъ и многія другія, не оставившія слѣдовъ въ формулярномъ спискѣ Салтыкова—сослужили большую службу русской литературѣ; они увеличили запасъ матеріала, изъ котораго создались „Губернскіе Очерки". Одной изъ служебныхъ командировокъ Салтыкова мы обязаны, быть можетъ, нѣкоторыми сценами „Въ острогѣ", другой—разговоромъ: „Что такое коммерція", третьей — „Святочнымъ разсказомъ".

Въ бумагахъ Салтыкова уцѣлѣла, къ счастію, копія съ донесенія, представленнаго имъ губернатору, въ ноябрѣ 1852 г., по весьма интересному дѣлу. Будучи совѣтникомъ губернскаго правленія, Салтыковъ былъ посланъ губернаторомъ, вмѣстѣ съ жандармскимъ офицеромъ, въ Слободской уѣздъ, для принятія мѣръ къ прекращенію безпорядковъ, возникшихъ между государственными крестьянами двухъ сельскихъ обществъ (Путейскаго и Нелѣсовскаго) Трушниковской волости. Поводъ къ безпорядкамъ былъ слѣдующій: въ сосѣдствѣ съ землей вышеназванныхъ сельскихъ обществъ находилась казенная оброчная статья, носившая наименованіе *камской*. Числилось въ ней 1846 десятинъ, но съ точностью размѣры ея и границы, при первой сдачѣ ея въ арендное содержаніе (въ 1836 г.), опредѣлены не были. Первый содержатель ея вносилъ за нее въ казну только 120 рублей ассигнаціями въ годъ. Платя столь ничтожную сумму, онъ не имѣлъ надобности стѣснять крестьянъ требованіемъ обременительнаго для нихъ оброка за лѣсныя поляны, которыми они пользовались съ давняго времени безоброчно. Источникомъ дохода для этого арендатора служили только поемные луга по рѣкѣ Камѣ, которые онъ сдавалъ по участкамъ мѣщанамъ заштатнаго города Кая и наиболѣе зажиточнымъ крестьянамъ Трушниковской волости. Въ 1841 г. оброчная статья переходитъ въ содержаніе самихъ крестьянъ Путейскаго и Нелѣсовскаго обществъ, платящихъ за нее 320 рублей въ годъ. Въ

*

1844 г. преемникомъ ихъ становится кайскій мѣщанинъ Дмитрій Гуднинъ, съ платою по 332 рубля. Въ вводномъ листѣ, выданномъ ему въ 1845 г., не было показано ни число десятинъ, входящихъ въ составъ оброчной статьи, ни положеніе ея. Вслѣдъ за этимъ начинаются споры крестьянъ съ содержателемъ камской статьи. Послѣдній предъявляетъ претензію на полученіе съ крестьянъ арендной платы за пользованіе починками (лѣсными полянами); крестьяне обязываются къ тому подпиской, но не исполняютъ обязательства, потому что считаютъ починки невходящими въ составъ оброчной статьи. Пререканія между обѣими сторонами не прекращаются во все время аренды Дмитрія Гуднина, продолжавшейся до 1847 г. При новомъ арендаторѣ, крестьянинѣ Трушниковѣ (платившемъ по 339 рублей въ годъ), наступаетъ затишье; арендаторъ никакихъ требованій къ сосѣдямъ-крестьянамъ не предъявляетъ. Въ контрактѣ, заключенномъ съ Трушниковымъ, пространство оброчной статьи опредѣляется по прежнему въ 1846 десятинъ, но въ подробной описи, выданной арендатору, количество земли показано только въ 720 десятинъ съ саженями. Въ 1849 г. мѣстный лѣсничій доноситъ палатѣ государственныхъ имуществъ, что камская оброчная статья заросла во многихъ мѣстахъ порослью и не имѣетъ межевыхъ признаковъ. Это не мѣшаетъ тому же лѣсничему выдать новому (съ 1850 г.) арендатору камской статьи, мѣщанину Ивану Гуднину (сыну Дмитрія), опись, существенно отличную отъ прежней; десятинъ, входящихъ въ составъ оброчной статьи, показано здѣсь уже 991, и въ такихъ, между прочимъ, мѣстахъ, которыя на самомъ дѣлѣ въ пользованіи предшествовавшаго арендатора вовсе не состояли. Крестьяне, очевидно, сохраняютъ за собою фактическое обладаніе землею, которою безпрепятственно пользовались при Трушниковѣ; противъ этого протестуетъ новый арендаторъ, требуя возвращенія хлѣба и сѣна, свезенныхъ крестьянами съ лѣсныхъ полянъ. Между тѣмъ границы оброчной статьи по прежнему остаются неопредѣленными; землемѣръ, еще зимой 1849-50 г. получившій предписаніе возобновить межевые признаки, отказывается, полтора года спустя, подъ неосновательнымъ предлогомъ, отъ исполненія этого порученія, а другой землемѣръ, прибывъ на мѣсто лѣтомъ 1852 г., ничего не предпринимаетъ, вслѣдствіе нежеланія понятыхъ указать границы оброчной статьи. Крестьяне то даютъ подписку о согласіи своемъ платить Гуднину оброкъ, то берутъ назадъ это согласіе; Гуднинъ отказывается, наконецъ, отъ дальнѣйшаго содержанія камской статьи; палата предписываетъ лѣсничему принять ее въ хозяйственное распоряженіе — но лѣсничій, вмѣсто

того, возобновляетъ переписку о взысканіи съ крестьянъ. Въ непокорныя деревни является временное отдѣленіе земскаго суда; крестьяне не только отказываются отъ платежа взыскиваемыхъ денегъ, но вынуждаютъ станового пристава, помощника окружного начальника и самого арендатора дать подписку, оправдывающую ихъ образъ дѣйствій. При такомъ положеніи дѣла пріѣзжаетъ на мѣсто Салтыковъ. Изъ разспроса крестьянъ онъ узнаетъ еще новое обстоятельство, объясняющее ихъ „упорство“: въ 1844 г. спорная земля была нарѣзана имъ землемѣромъ по числу душъ, т.-е. предназначена къ включенію въ составъ земельнаго ихъ надѣла. Правда, эта нарѣзка была только предварительною, требовавшею еще утвержденія начальства; но крестьянамъ мало понятны такія юридическія различія, и они настаиваютъ на своемъ, несмотря на всѣ старанія Салтыкова убѣдить ихъ въ необходимости исполненія предъявляемыхъ къ нимъ требованій. Болѣе уступчивыми крестьяне дѣлаются только тогда, когда трехъ изъ нихъ, считавшихся подстрекателями, берутъ подъ стражу и отсылаютъ въ уѣздный городъ. Арендаторъ, съ своей стороны, соглашается разсрочить взысканіе, даже вовсе отказывается отъ своихъ претензій къ бѣднѣйшимъ крестьянамъ. Дѣло, такимъ образомъ, оканчивается миролюбиво, еще до прибытія вытребованной военной команды.

Заурядный чиновникъ тогдашняго—да и не только тогдашняго—времени счелъ бы свою задачу исполненной и спокойно возвратился бы къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Не такъ отнесся къ дѣлу Салтыковъ. Онъ не только раскрылъ всѣ обстоятельства, вызвавшія „неповиновеніе“ крестьянъ, но подумалъ и о томъ, какъ предупредить повтореніе подобныхъ явленій. Вотъ что онъ пишетъ въ концѣ рапорта: „Крестьяне (данной мѣстности) всѣ вообще находятся въ самомъ бѣдномъ положеніи, и хотя и есть между ними довольно зажиточные, но и они кажутся таковыми только сравнительно съ другими, которые не имѣютъ почти никакихъ средствъ къ существованію. Землею на число душъ по 8-й ревизіи крестьяне до сихъ поръ не надѣлены; нынѣшній надѣлъ произведенъ еще по генеральному межеванію и тогда, конечно, былъ достаточенъ, но въ настоящее время въ нѣкоторыхъ селеніяхъ едва-едва приходится на душу отъ двухъ до трехъ десятинъ удобной земли. Это, вѣроятно, и понудило крестьянъ дѣлать въ свободныхъ казенныхъ земляхъ расчистки, которыя впослѣдствіи были введены въ составъ камской оброчной статьи. Земля, находящаяся во владѣніи крестьянъ, самаго посредственнаго качества; хлѣба родятся едва-едва самъ-третій, а большею частью самъ-другъ и самъ-другъ съ

половиной. Сѣнокосовъ хорошихъ нѣтъ вовсе, ибо всѣ крестьянскіе сѣнокосы лежатъ по болотистымъ мѣстамъ, а лучшіе луга, понимаемые весеннимъ разливомъ р. Камы, введены въ составъ оброчной статьи и изъ пользованія крестьянъ изъяты. Само собою разумѣется, что при недостаткѣ луговъ скотоводство крестьянъ находится въ самомъ жалкомъ положеніи, а отъ этого необходимо должно страдать и самое хлѣбопашество. Промыслы, которыми занимаются крестьяне для заработки денегъ, потребныхъ на уплату податей, заключаются въ выработкѣ и поставкѣ угля для сосѣднихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ, въ поставкѣ дровъ для солеваренныхъ заводовъ Пермской губерніи и въ занятіи бурлачествомъ по рѣкѣ Камѣ. Выгоды, пріобрѣтаемыя этими промыслами, такъ незначительны, что вырабатываемыхъ денегъ едва достаточно на уплату государственныхъ податей за семейства, состоящія нерѣдко изъ трехъ и четырехъ душъ при одномъ работникѣ, на прокормленіе самихъ работниковъ во время отсутствія изъ дома и на покупку самыхъ необходимыхъ домашнихъ потребностей, какъ-то соли и пр. Соображая все объясненное выше, я съ своей стороны нахожу, что причины, побудившія крестьянъ къ возмущенію, заключаются въ слѣдующемъ: 1) въ самомъ положеніи крестьянъ, которое, дѣйствительно, представляется столь бѣдственнымъ, что съ перваго взгляда обращаетъ на себя особенное вниманіе, и 2) въ томъ недоразумѣніи, которое возникло между крестьянами отъ неотграниченія и неприведенія въ извѣстность камской статьи. Крестьяне, видя, что при одномъ содержателѣ статьи сей въ составъ ея входитъ болѣе, при другомъ—менѣе пространства, легко могли заподозрить въ этомъ дѣлѣ пронзвол[illegible] как со стороны содержателя, так и со стороны [illegible], [illegible] его во [illegible] статьи *). Хотя въ настоящее время [illegible] прекратились и будущая [illegible] въ [illegible] [illegible], я не могу, однако, не сказать, что, по моему мнѣнію, [illegible] [illegible] между крестьянами [illegible] [illegible] заключается въ [illegible] [illegible] [illegible]

отъ нихъ же значительнаго труда и издержекъ, которые могутъ вознаградиться развѣ черезъ весьма долгое время, то я полагалъ бы въ число земель, предполагаемыхъ къ надѣлу крестьянамъ по восьмой ревизіи, включить и камскую статью, въ полномъ ея составѣ. Тѣмъ болѣе, по мнѣнію моему, предположеніе это заслуживаетъ уваженія, что статья сія составилась изъ лѣсныхъ полянъ, на расчистку которыхъ этими же крестьянами употребленъ не одинъ десятокъ лѣтъ".

Исторія камской оброчной статьи представляетъ прекрасный образчикъ экономическихъ отношеній и служебныхъ нравовъ, съ которыми на каждомъ шагу приходилось встрѣчаться Салтыкову. Съ одной стороны—бѣдность, граничащая съ нищетой, тяжелый трудъ изъ-за насущнаго хлѣба, незнаніе и непониманіе закона; съ другой стороны—бездушное бумагомараніе, игнорированіе самыхъ вопіющихъ народныхъ нуждъ, безконечная канцелярская волокита. Въ продолженіе шестнадцати лѣтъ учрежденія, завѣдующія государственными имуществами, не могутъ установить съ точностью ни пространства, ни границъ земельнаго участка, нѣсколько разъ переходящаго изъ однѣхъ рукъ въ другія. Содержателю оброчной статьи сдается нѣчто неопредѣленное, безпрестанно измѣняющееся въ объемѣ. Крестьянъ точно дразнятъ, то отнимая, то возвращая необходимую имъ землю, многолѣтнимъ ихъ трудомъ отвоеванную изъ-подъ лѣса. Виноватыми являются, очевидно, не одни только лѣнивые или недобросовѣстные исполнители; значительная доля отвѣтственности падаетъ на систему, при которой двѣнадцати-рублевая прибавка къ арендной платѣ признается достаточнымъ основаніемъ къ отобранію земли отъ крестьянскихъ обществъ, не могущихъ существовать безъ нея, и къ передачѣ ея частному лицу, дѣлающему изъ нея предметъ аферы. Эта система пережила эпоху реформъ и поколебалась лишь недавно, когда крестьянскимъ обществамъ предоставлено было преимущественное право на арендованіе свободныхъ казенныхъ земель. Настаивая на передачѣ камской оброчной статьи сосѣднимъ крестьянскимъ обществамъ, Салтыковъ предугадалъ тотъ путь, на который наше законодательство вступило, и то не вполнѣ, только по прошествіи трехъ десятилѣтій. Бумага, написанная Салтыковымъ въ 1852 г., составляетъ какъ бы приступъ къ позднѣйшей борьбѣ противъ крестьянскаго малоземелья. Онъ не побоялся предложить отдачу крестьянамъ именно той земли, изъ-за которой возникли безпорядки. Ему могли сказать, что удовлетвореніе „бунтовщиковъ" было бы равносильно поощренію „бунта"—а при его положеніи въ губерніи такое толкованіе его словъ было бы далеко не безопасно. Не

останавливаясь передъ личными соображеніями, онъ выразилъ свое мнѣніе съ искренностью и силой, необычными въ до-реформенномъ административномъ мірѣ. Само собою разумѣется, что онъ не скрылъ при этомъ многочисленныхъ упущеній, допущенныхъ въ дѣлѣ о камской оброчной статьѣ вѣдомствомъ государственныхъ имуществъ. Чѣмъ было тогда это вѣдомство въ провинціи—живымъ памятникомъ тому служатъ „Губернскіе Очерки" (припомнимъ „Озорника" или „чиновниковъ хозяйственнаго управленія" въ „Непріятномъ посѣщеніи"), а также „Тяжелый годъ" въ „Благонамѣренныхъ рѣчахъ". Герой послѣдняго разсказа, Владиміръ Онуфріевичъ Удодовъ—второй экземпляръ или продолженіе „озорника" — стоитъ во главѣ губернскаго управленія государственными имуществами.

По словамъ г. Михайлова, на статью котораго мы уже ссылались, между вятскими сослуживцами Салтыкова было нѣсколько хорошихъ людей, съ которыми можно было „по человѣчески переговорить". Одного изъ нихъ, А. П. Тиховидова, Салтыковъ рекомендовалъ Муравьеву (сыну извѣстнаго министра и генералъ-губернатора), когда послѣдній, уже послѣ возвращенія Салтыкова изъ ссылки, былъ назначенъ вятскимъ губернаторомъ *). Тиховидовъ, окончивъ курсъ въ казанскомъ университетѣ, былъ учителемъ въ вятской гимназіи и преподавалъ, между прочимъ, реторику и піитику. Замѣтивъ въ Тиховидовѣ выдающіяся способности, Салтыковъ посовѣтовалъ ему оставить преподаваніе „искусства, какъ изъ песку веревки вить", и вступить въ гражданскую службу. Тиховидовъ послѣдовалъ этому совѣту и сдѣлался уѣзднымъ судьею, а потомъ совѣтникомъ уголовной палаты. Во всякомъ случаѣ, Тиховидовъ принадлежалъ къ числу исключеній, и исключеній рѣдкихъ. Вятскій чиновный міръ пятидесятыхъ годовъ состоялъ, большею частью, изъ оригиналовъ портретной галереи, наполняющей „Губернскіе Очерки". Съ постояннымъ ихъ сосѣдствомъ Салтыковъ примириться никакъ не могъ. Яркую картину настроенія, овладѣвшаго имъ черезъ нѣсколько лѣтъ вятской жизни, мы находимъ въ „Скукѣ" („Губернскіе Очерки", стр. 168). „Когда я ѣхалъ въ Крутогорскъ (т.-е. въ Вятку), то мнѣ казалось, что я долженъ на дѣлѣ принесть хоть частичку той пользы, которую каждый гражданинъ обязанъ положить на алтарь отечества. Думалось мнѣ, что въ самой случайности, бросившей меня въ этотъ край, скрывается своего рода предопре-

*) Если вѣрить г. Михайлову, указаніямъ Салтыкова слѣдуетъ приписать большую часть опредѣленій и увольненій, послѣдовавшихъ въ Вятской губерніи при губернаторѣ Муравьевѣ

дѣленіе... Юношескія мечты, тщетныя мечты!.. Что̀ я сдѣлалъ, какіе подвиги совершилъ?.. О, провинція! ты растлѣваешь людей, ты истребляешь всякую самодѣятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!.. Какая возможность развиваться, когда горизонтъ мышленія такъ обидно съуживается? Какая возможность мыслить, когда кругомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль?.. Да, жалко, по истинѣ жалко положеніе молодого человѣка, заброшеннаго въ провинцію! Незамѣтно, мало-по-малу, погружается онъ въ тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имѣетъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, самъ безсознательно дѣлается молчаливымъ поборникомъ ея. А тамъ подкрадется матушка-лѣнь, и такъ крѣпко сожметъ въ своихъ объятіяхъ новобранца, что и очнуться некогда". Эта участь не постигла Салтыкова— но его страшилъ ея призракъ, его мучила мысль о возможности успокоенія и усыпленія. Съ такими будильниками, какъ дѣло о камской оброчной статьѣ, до-реформенный чиновникъ встрѣчался, безъ сомнѣнія, крайне рѣдко; не даромъ же между бумагами Салтыкова нашлась только одна, относящаяся къ его вятской службѣ...

Точекъ опоры для того, чтобы устоять противъ засасывающаго дѣйствія провинціальной „тины", Салтыковъ искалъ, повидимому, въ своихъ воспоминаніяхъ о прошедшемъ и въ литературно-научныхъ занятіяхъ. О характерѣ первыхъ свидѣтельствуетъ несомнѣнно тотъ же очеркъ („Скука"), на который мы только-что ссылались. „Были у меня иныя времена, окружали меня иные люди, все иное! Были глубокія вѣрованія, горячія убѣжденія, была страсть къ добру!.. Гдѣ-то вы, друзья и товарищи моей молодости?.. Помню я долгіе зимніе вечера и наши дружескія, скромныя бесѣды, заходившія далеко за полночь. Какъ легко жилось въ это время, какая глубокая вѣра въ будущее, какое единодушіе надеждъ и мысли оживляло всѣхъ *насъ*! Помню я и тебя, многолюбивый незабвенный другъ и учитель нашъ! Гдѣ ты теперь? Какая желѣзная рука сковала твои уста, изъ которыхъ лились на насъ слова любви и упованія?" Недостатокъ живой бесѣды съ единомышленниками-друзьями Салтыковъ старался пополнить чтеніемъ. Въ его бумагахъ сохранились замѣтки, озаглавленныя: „Объ идеѣ права"; сохранился также приступъ къ біографіи Беккаріи; и то, и другое написано на бланкахъ „совѣтника вятскаго губернскаго правленія". Въ бланкъ, на которомъ начата біографія Беккаріи, вложенъ листъ бумаги съ нѣсколькими выписками изъ этого писателя; къ одной изъ нихъ присоединено возраженіе Салтыкова. „Люди,—

говоритъ Беккаріа,—согласились, молчаливымъ контрактомъ, пожертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться остальнымъ спокойно и чтобы воздерживать постоянныя усилія отдѣльныхъ лицъ къ возстановленію полной свободы". Нельзя себѣ представить,—замѣчаетъ по этому поводу Салтыковъ, — „чтобы человѣкъ могъ добровольно отказаться отъ части свободы, да и нѣтъ въ томъ никакой необходимости". Замѣтки „объ идеѣ права" также, повидимому, внушены чтеніемъ Беккаріи; но, судя по нѣкоторымъ выраженіямъ, онѣ принадлежатъ, всецѣло или большею частью, самому Салтыкову. Мы приведемъ изъ нихъ все болѣе существенное. Начинаются онѣ указаніемъ на важность сравнительнаго изученія уголовныхъ законовъ, въ которыхъ „отражается, со всѣми ея безобразными или симпатическими сторонами, внутренняя и внѣшняя жизнь народовъ. Если нравы народа мягки, если въ сознаніи народномъ живетъ идея правды, то законодатель является не исключительнымъ запретителемъ или равнодушнымъ карателемъ извѣстной категоріи дѣйствій, называемыхъ преступленіями. Спускаясь въ глубочайшіе тайники природы человѣческой, онъ приходитъ если не къ полному признанію ея слабостей и заблужденій, то, по крайней мѣрѣ, къ тому полному любви и снисхожденія взгляду, при которомъ извѣстное дѣйствіе является не столько преступленіемъ, сколько результатомъ ненормальнаго, болѣзненнаго состоянія человѣка. Напротивъ того, если дикость и необузданность составляютъ главную черту народнаго характера, уголовный кодексъ его является полнымъ жесткости и исключительности, принимаетъ формы отрицательныя, не хочетъ имѣть дѣла ни съ побудительными причинами дѣйствій, ни съ ихъ послѣдствіями. Рѣдко случается такъ, что уголовный кодексъ является не продуктомъ народной жизни, а чѣмъ-то случайнымъ, внѣшнимъ, примѣненнымъ къ народу безъ всякой живой съ нимъ связи. Такіе факты никогда не проходятъ даромъ; рано или поздно народъ разобьетъ это Прокустово ложе, которое лишь безполезно мучило его. Какъ бы ни былъ младенчески неразвитъ народъ (а гдѣ же онъ развитъ?), онъ все-таки никогда не хочетъ улечься въ тѣсныя рамки искусственно задуманной административной формы". За этимъ общимъ вступленіемъ—не лишеннымъ, думается намъ, внутренней связи съ служебнымъ опытомъ Салтыкова *),—идутъ отдѣльныя замѣчанія, изъ

*) Чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ и совѣтникъ губернскаго правленія часто являлись, въ до-реформенное время, чѣмъ-то въ родѣ судебныхъ слѣдователей по особенно важнымъ дѣламъ. Что Салтыковъ не избѣгъ этой участи—доказательствъ тому въ „Губернскихъ Очеркахъ" немало. Отсюда неизбѣжно проистекало знакомство съ уложеніемъ о наказаніяхъ.

которыхъ, повидимому, должно было, въ посл[illegible]
житься нѣчто цѣлое. „Что такое преступленіе? Не [illegible]
ствіе воли человѣка, направленное къ увеличенію суммы [illegible]
состоянія, дѣйствіе вполнѣ законное, если оно направлено [illegible]
не приноситъ ущерба другимъ, и преступное, если оно [illegible]
ущербъ“... „Причины, имѣющія вліяніе на мѣру наказанія—[illegible]
ванность, чувствительность, предразсудки касты и т. п.—[illegible]
вимы, что не могутъ быть принимаемы въ разсчетъ. Притомъ [illegible]
грубой кастѣ могутъ быть исключенія; почему же это исключ[illegible]
несетъ на себѣ инфамію, сопряженную съ идеей всей касты? [illegible]
самое лучшее тутъ—обслѣдовать всю жизнь преступника“. Чтобы [illegible]
нять мысль Салтыкова объ „инфаміи, сопряженной съ идеей касты“, нужно припомнить, что для лицъ непривилегированныхъ сословій наказаніе плетьми и наложеніе клеймъ служило *прибавкой* къ главному наказанію (ссылкѣ въ каторгу или на поселеніе), которому они подвергались наравнѣ съ лицами привилегированными... „Есть преступленія прямо противъ естественнаго права, противъ личности; есть преступленія противъ гражданскаго (искусственнаго) права, но которое такъ срослось съ нами, что принадлежитъ къ первой категоріи (преступленія противъ собственности, противъ чести и т. д.); наконецъ, есть преступленія, принадлежащія исключительно духу времени (политическія). Первыя для всѣхъ запрещены, вторыя — только для тѣхъ, которые достаточно развиты... *Развить это* *). Первыя не требуютъ подробнаго указанія въ законѣ; вторыя и особенно третьи должны быть указаны до мельчайшей подробности“. Несмотря на всю отрывочность всѣхъ этихъ вышеприведенныхъ нами замѣчаній, они показываютъ съ достаточною ясностью, въ какомъ направленіи работала мысль Салтыкова... На другомъ листѣ, относящемся, судя по почерку и бумагѣ, приблизительно къ тому же времени, начато, повидимому, разсужденіе о томъ, имѣетъ ли всякій членъ общества право требовать отъ него насущнаго хлѣба. На этотъ вопросъ дается отрицательный отвѣтъ, но въ такихъ выраженіяхъ, которыя едва-ли заключаютъ въ себѣ настоящую мысль автора. „Пусть всякій въ этомъ мірѣ отвѣчаетъ за себя и для себя! Тѣмъ хуже для тѣхъ, которые считаются лишними на землѣ! Слишкомъ много было бы хлопотъ, еслибы нужно было давать хлѣба всѣмъ вопіющимъ о голодѣ!.. Такъ

*) Этой оговоркой объясняется кажущаяся парадоксальность нѣкоторыхъ изъ числа вышеприведенныхъ замѣтокъ. Мы имѣемъ здѣсь дѣло, очевидно, только съ бѣглыми набросками мыслей, занимавшихъ и волновавшихъ Салтыкова.

какъ населеніе безпрестанно стремится превзойти средства къ существованію, то милосердіе есть безуміе, есть поощреніе къ нищенству". Мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что Салтыковъ хотѣлъ выставить въ самомъ яркомъ свѣтѣ крайности мальтузіанства — и затѣмъ перейти къ его опроверженію... Между бумагами Салтыкова оказалось еще нѣсколько страницъ выписокъ, въ русскомъ переводѣ, изъ Токвиля („De la démocratie en Amérique"), Вивьена („Etudes administratives") и Шерюеля („Histoire de l'administration monarchique en France"), также, кажется, сдѣланныхъ въ Вяткѣ или вскорѣ послѣ выѣзда оттуда. И здѣсь можно найти нѣкоторыя указанія не только на тò, чтò занимало Салтыкова, но и на тò, чтò ему нравилось. Вотъ, напримѣръ, чтò онъ выписываетъ изъ Токвиля и Вивьена: „Центральная власть, какъ бы ни была просвѣщенна, не можетъ обнять всѣ подробности жизни великаго народа; когда она хочетъ своими средствами управлять многоразличными пружинами народной жизни, она истощается въ безплодныхъ усиліяхъ"... „Предупредительный элементъ ослабляетъ правительство. Оно дѣлается отвѣтственнымъ за все, дѣлается причиною всѣхъ золъ и порождаетъ къ себѣ ненависть. Съ другой стороны, граждане теряютъ всякую самодѣятельность"...

Къ вятскому періоду жизни Салтыкова относится, наконецъ, составленіе для сестеръ Е. А. и А. А. Болтиныхъ, изъ которыхъ одной суждено было сдѣлаться его женою *), „Краткой исторіи Россіи". Написанная, какъ сказано въ заглавіи, по разнымъ источникамъ и доведенная до Петра Великаго, она заключаетъ въ себѣ сорокъ довольно мелко исписанныхъ листовъ, и стоила Салтыкову, очевидно, не малаго труда. Характеристичнаго въ ней немного, сходнаго съ будущей „Исторіей одного города"—ровно ничего. Это объясняется, конечно, самымъ назначеніемъ рукописи — служить какъ бы учебникомъ для молодыхъ дѣвушекъ, почти дѣвочекъ. Въ самомъ способѣ изложенія ничто не напоминаетъ позднѣйшую манеру автора. Приведемъ нѣсколько выписокъ, только для того, чтобы показать, какъ мало Салтыковскаго въ этомъ юношескомъ произведеніи Салтыкова. „Личность сына Василія Темнаго — одна изъ самыхъ замѣчательныхъ въ русской исторіи. Іоаннъ Третій является довершителемъ намѣреній и политики своихъ предковъ, и довершителемъ не только счастливымъ,

*) Отецъ Е. А. и А. А. Болтиныхъ былъ вятскимъ вице-губернаторомъ; въ его домѣ Салтыковъ скоро сталъ своимъ человѣкомъ. „Краткая исторія Россіи" написана Салтыковымъ въ тверской его деревнѣ, куда онъ получилъ позволеніе съѣздить въ 1853 или 1854 г. Онъ присылалъ ее оттуда листами, чтобы напомнить о себѣ своимъ добрымъ знакомымъ.

но и въ высшей степени благоразумнымъ"... „До Ѳедора Іоанновича крестьяне обыкновенно переходили отъ одного помѣщика къ другому. Обыкновеніемъ этимъ болѣе всего пользовались богатые помѣщики, имѣвшіе обширныя земли. Они имѣли всѣ средства принимать крестьянъ на болѣе выгодныхъ условіяхъ, нежели помѣщики бѣдные, и потому земли послѣднихъ почти всегда оставались необработанными. Для пресѣченія этого зла постановлено было, чтобы крестьяне отнынѣ навсегда оставались на тѣхъ земляхъ, на которыхъ застало ихъ царское повелѣніе" (больше о закрѣпощеніи крестьянъ не сказано ни слова)... „Уложеніе царя Алексѣя Михайловича—сводъ законоположеній по различнымъ частямъ государственнаго управленія, разсмотрѣнный и одобренный выборными чинами изъ всѣхъ сословій. Главнѣйшею мыслью его было равенство суда для всѣхъ лицъ и званій; смягчены были также многія наказанія" (этимъ исчерпывается оцѣнка уложенія)... „Язвою русскаго государства были старовѣры. Секта эта возникла по случаю исправленія церковныхъ книгъ. Нѣкоторые изъ исправителей издали имѣвшіеся у нихъ въ рукахъ списки не только безъ исправленій, но даже съ ложными толкованіями. Патріархъ Никонъ жестоко преслѣдовалъ такихъ ересіарховъ и высылалъ ихъ изъ Москвы. Возникла ересь, распространившаяся съ необычайной быстротой. Дерзость старовѣровъ дошла до того, что они не усомнились окружить Успенскій соборъ во время патріаршаго служенія и настойчиво требовали публичнаго пренія". Заслуживаетъ вниманія, самъ по себѣ, только взглядъ Салтыкова на Іоанна Грознаго, почти всецѣло совпадающій съ мнѣніемъ Кавелина *). „Ничто не укрывалось отъ взора Іоанна,—говоритъ Салтыковъ, характеризуя лучшую эпоху его царствованія (1547-60);—вездѣ, во всѣхъ принятыхъ мѣрахъ видно непосредственное участіе его, всѣ онѣ отмѣчены его геніемъ". Грозному царю ставится въ заслугу борьба съ боярствомъ, въ особенности на почвѣ мѣстнаго управленія; упоминается объ учрежденіи судныхъ старостъ и цѣловальниковъ, призванныхъ къ тому, „чтобы лишить областныхъ правителей возможности грабить народъ". Съ этой же точки зрѣнія одобряется значеніе, данное дьякамъ, а также введеніе въ думу „начала личныхъ заслугъ", установленіемъ званія думныхъ дворянъ. Перемѣна, происшедшая въ Іоаннѣ, объясняется „тѣми

*) Мнѣніе Кавелина объ Іоаннѣ Грозномъ было выражено въ статьѣ: „Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи". Эта статья, впослѣдствіи вошедшая въ составъ „Сочиненій" Кавелина (изд. 1859 г., т. I; см. въ особенности стр. 355—363), была напечатана въ „Современникѣ" 1847 г. и, слѣдовательно, была извѣстна Салтыкову, который несомнѣнно руководствовался ею.

неудачами, тѣмъ постояннымъ противодѣйствіемъ, которое Іоаннъ встрѣчалъ со стороны всѣхъ окружавшихъ его для приведенія въ исполненіе своихъ реформъ". Упрекъ въ корыстолюбіи, въ „непониманіи государственныхъ интересовъ" распространяется и на тѣхъ „незнатныхъ людей", которыми Іоаннъ думалъ замѣнить бояръ. Россія—таково заключеніе автора—„была еще недовольно развита" для реформъ, задуманныхъ Іоанномъ. Даже учрежденіе опричнины оправдывается тѣмъ, что оно, „повидимому, имѣло цѣлью осуществленіе давней мысли Іоанна: создать служебное дворянство и замѣнить имъ родовое вельможество". Неудачу опричнины Салтыковъ приписываетъ опять-таки „недостаточной развитости" Россіи; „люди, которыхъ Іоаннъ удостоивалъ своею довѣренностью, отнюдь не оправдывали ея, а напротивъ того, употребляли ее во зло, возмущая душу царя разными навѣтами и клеветами". О злодѣйствахъ Іоанна Салтыковъ не говоритъ почти вовсе, щадя, можетъ быть, чувствительность своихъ учениць, а можетъ быть—и репутацію своего любимца. Чѣмъ вызывалось снисходительное отношеніе Салтыкова къ Іоанну Грозному — это, въ виду приведенныхъ нами выписокъ, не требуетъ дальнѣйшихъ объясненій. Салтыкову, какъ и Кавелину, было симпатично общее направленіе внутреннихъ реформъ грознаго царя.

Насталъ, наконецъ, моментъ освобожденія Салтыкова изъ семилѣтняго вятскаго плѣна. Снятіемъ съ него полицейскаго надзора онъ былъ обязанъ, по словамъ г. Михайлова, новому вятскому губернатору, Ланскому. Вскорѣ послѣ того, 12-го февраля 1856 г., онъ былъ уволенъ отъ должности совѣтника вятскаго губернскаго правленія, съ причисленіемъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Выѣхалъ онъ изъ Вятки еще раньше, въ ноябрѣ, „по первому снѣгу („Губернскіе Очерки", „Дорога", стр. 347). „Я оставляю Крутогорскъ окончательно,—пишетъ Салтыковъ въ той же „Дорогѣ";—предо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечталъ, къ которой устремлялся всѣми силами души своей... И между тѣмъ внутри меня совершается странное явленіе! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосетъ мое сердце... Я огорченъ, я подавленъ и уничтоженъ... Мнѣ кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любилъ, чѣмъ былъ счастливъ, что я неожиданно очутился одинъ, отторгнутый отъ всего живого... Ужели я въ Крутогорскѣ оставилъ часть самого себя? Да! не могъ же я жить даромъ столько лѣтъ, не могъ не оставить послѣ себя никакого слѣда! И безсознательная былинка не живетъ даромъ,

и та своей жизнью хоть незамѣтно, но непремѣнно воздѣйствуетъ на окружающую природу... ужели же я ниже, ничтожнѣе этой былинки? Или, быть можетъ, я сожалѣю о напрасно прожитыхъ лучшихъ годахъ моей жизни? Быть можетъ, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь перемѣны жизни, которая предстоитъ мнѣ? И въ самомъ дѣлѣ, что̀ ждетъ меня впереди? Новыя борьбы, новыя хлопоты, новыя искательства? А я такъ усталъ ужъ, такъ разбитъ жизнью, какъ разбита почтовая лошадь ежечасною ѣздою по каменистой дорогѣ! И не то чтобъ я, въ самомъ дѣлѣ, много жилъ, много извѣдалъ, много выстрадалъ... Нѣтъ, я чувствую, что въ этомъ отношеніи я еще свѣжъ и непороченъ, какъ дѣвственница, и между тѣмъ сознаю, что душа моя дѣйствительно огрубѣла, а въ сердцѣ царствуетъ преступная вялость. Ужели же я погибну, не живши? — спрашиваю я себя, и вдругъ чувствую нестерпимый приливъ крови въ жилахъ. Мнѣ хо̂чется бѣжать-бѣжать, кричать-кричать... Но вмѣстѣ съ тѣмъ я, какъ выздоравливающій больной, ощущаю, что мнѣ сильный моціонъ еще не по силамъ, что одно желаніе моціона порождаетъ уже разслабленіе и усталость во всѣхъ моихъ членахъ"...

„Выздоровленіе" Салтыкова совершилось, какъ извѣстно, весьма быстро — или, лучше сказать, самая болѣзнь его была только кажущаяся. Представимъ себѣ богатыря, много лѣтъ просидѣвшаго съ связанными руками, въ небольшой тюремной кельѣ. Внезапно освобожденный, онъ не сразу чувствуетъ въ себѣ присутствіе дремавшей силы; пройдетъ нѣсколько времени, прежде чѣмъ онъ расправитъ могучія руки и опять двинется впередъ исполинскими шагами... У Салтыкова переходный періодъ былъ тѣмъ болѣе неизбѣженъ, что судьба бросила его въ Вятку молодымъ, едва испробовавшимъ свое дарованіе и наклоннымъ, какъ мы уже видѣли, къ сомнѣнію въ самомъ себѣ. Въ центрѣ Россіи, куда онъ возвращался, многое, вдобавокъ, перемѣнилось; наступала другая эпоха, пока заявившая себя, по позднѣйшему выраженію Салтыкова, только „замѣной мундирныхъ фраковъ мундирными полукафтанами", но обѣщавшая нѣчто иное, гораздо бо̀льшее... Салтыкову снилась въ дорогѣ погребальная процессія „прошлыхъ временъ"; но въ голосѣ того, кто объяснялъ ему ея значеніе, слышалась „болѣзненная иронія". Надежды на будущее смѣшивались съ опасеніями, основанными на близкомъ знакомствѣ съ прошедшимъ—прошедшимъ, олицетвореніемъ котораго служилъ для Салтыкова чиновный Крутогорскъ.

За чиновнымъ, оффиціальнымъ Крутогорскомъ разстилался, однако,

цѣлый крутогорскій край, „далекій и никѣмъ нетронутый, просторный и простодушный“ (см. введеніе къ „Губернскимъ Очеркамъ“). Этотъ край былъ милъ Салтыкову; о немъ онъ жалѣлъ, даже вырываясь на волю. Здѣсь Салтыковъ въ первый разъ почувствовалъ свою близость къ той „пошехонской *странѣ*“, которая оставалась ему „родственной и достолюбезной“ до самой смерти. „Дороги мнѣ и зыбучіе ея пески, и болота, и хвойные лѣса; но въ особенности милъ населяющій ее людъ, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, какъ бы задумавшійся надъ разрѣшеніемъ какой-то непосильной задачи. Бѣдная эта страна — ее надо любить“ *). Эти слова написаны почти тридцать лѣтъ спустя послѣ возвращенія Салтыкова изъ ссылки; но основная ихъ нота звучитъ уже въ „Губернскихъ Очеркахъ“. Она запала въ душу Салтыкова еще въ его „Крутогорскѣ“.

II.

12-го февраля 1856—28-го апрѣля 1889.

Въ 1856 г. надворный совѣтникъ Салтыковъ былъ переведенъ изъ Вятки въ Петербургъ—и въ томъ же году „надворный совѣтникъ Щедринъ“ помѣстилъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ первые изъ своихъ „Губернскихъ Очерковъ“, сразу поставившихъ ему громкую извѣстность. Къ тому же году относится и женитьба Салтыкова на Е. А. Болтиной, такъ что этотъ годъ во всѣхъ отношеніяхъ представляется [illegible] въ жизни нашего писателя.

Сначала [illegible] въ министерству внутреннихъ дѣлъ Салтыковъ [illegible] 20-го іюня 1856 г. былъ назначенъ въ томъ же министерствѣ, [illegible] особыхъ порученій [illegible] Уже раньше 12-го мая [illegible] сотрудничать [illegible] и министерствѣ внутреннихъ дѣлъ [illegible] 1857 года [illegible] интересовать [illegible] Вятку и Калугу, [illegible] Результатомъ [illegible] и [illegible] Салтыкова [illegible] 1857 г.

Салтыковъ переходитъ къ главной своей задачѣ—къ обозрѣнію распоряженій, состоявшихся въ дополненіе и поясненіе положенія о государственномъ ополченіи, а также способа исполненія этихъ распоряженій. Онъ говоритъ сначала объ инспекторской части (т.-е. о численномъ составѣ ополченія и о назначеніи начальствующихъ лицъ), потомъ о хозяйственной части, о врачебной части и наконецъ о роспускѣ ополченія. Въ отдѣлѣ, посвященномъ инспекторской части, нѣкоторый интересъ представляютъ, въ настоящее время, лишь немногіе факты, относящіеся къ избранію офицеровъ ополченія. Въ Владимірской губерніи допущена была, вопреки закону, замѣна однихъ лицъ другими, по добровольному между ними соглашенію — то-есть, какъ выражается Салтыковъ, нѣчто въ родѣ личнаго найма. Въ Московской губерніи половина офицеровъ оказалась набранною изъ отставныхъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ зазорнаго поведенія, недостойныхъ офицерскаго званія. Виновниками такого набора были признаны нѣкоторые уѣздные предводители дворянства, остававшіеся вполнѣ равнодушными къ устройству ополченія. Офицеры, избранные въ тверское ополченіе, на половину не явились къ своимъ мѣстамъ, вслѣдствіе чего пришлось грозить имъ преданіемъ военному суду. О неблагонадежности нѣкоторыхъ офицеровъ ярославскаго и костромского ополченій понадобилось произвести слѣдствіе. Переходя къ обзору хозяйственной части, Салтыковъ замѣчаетъ, прежде всего, что губернскіе комитеты ополченія, въ составъ которыхъ, вмѣстѣ съ высшими должностными лицами губерніи, входили и представители сословій, — обмундировали ополченіе, въ большинствѣ случаевъ, не только весьма дорого, но и весьма недоброкачественно. Покупка сукна и другихъ принадлежностей для незатѣйливаго костюма ополченцевъ производилась, большею частью, въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, особо командированными чиновниками или коммиссіонерами, что̀ влекло за собою усиленный расходъ и на прогоны, и на провозъ матеріала. Въ Калужской губерніи обмундировка ратниковъ оказалась дурною, сапоги—сдѣланными изъ конины, а подошвы — изъ лубковъ; нѣчто подобное было найдено и при осмотрѣ костромского ополченія. Вообще слухи о дѣйствіяхъ губернскихъ комитетовъ были таковы, что для ихъ провѣрки министерство внутреннихъ дѣлъ нашлось вынужденнымъ командировать въ нѣкоторыя губерніи особыхъ чиновниковъ. Результатомъ этой мѣры явилось обнаруженіе многихъ злоупотребленій или по меньшей мѣрѣ крайней нераспорядительности, особенно по Саратовской губерніи. Въ Тверской губерніи комитетъ ополченія постановилъ, въ предупрежденіе возвы-

шенія цѣнъ, неизбѣжнаго при общемъ заподрядѣ, произвести заготовку одежды въ каждомъ уѣздѣ отдѣльно, черезъ посредство уѣздныхъ предводителей; но вслѣдъ за этимъ большинство предводителей (участвовавшихъ въ постановленіи комитета), а также тверская палата государственныхъ имуществъ, сдали заготовку одному и тому же лицу— купцу Ветошкину. За обмундированіе каждаго ратника Ветошкину платилось 14 руб. 22 коп., между тѣмъ какъ за тѣ же вещи для кадровыхъ нижнихъ чиновъ тотъ же Ветошкинъ, въ то же самое время, получалъ по 9 руб. 95½ коп., т.-е. почти въ полтора раза меньше. А эта послѣдняя цѣна была назначена коммиссаріатскимъ департаментомъ, репутація котораго, какъ охранителя казенныхъ интересовъ, слишкомъ хорошо извѣстна. Затѣмъ губернскій комитетъ вообще —и предсѣдатель его, губернаторъ, въ особенности—являются ревностными защитниками Ветошкина. Для разбора жалобъ на Ветошкина, приносимыхъ начальникомъ осташковской дружины, посылаются губернаторомъ коммиссіи, оправдывающія подрядчика; въ концѣ концовъ, губернаторъ отвѣчаетъ начальнику дружины, что назначеніе новой коммиссіи, въ виду безрезультатности прежнихъ, представляется ненужнымъ. Начальникъ одной изъ кашинскихъ дружинъ отказывается принять ополченскіе армяки, какъ сдѣланные изъ коровьей шерсти; губернаторъ отвѣчаетъ, что это быть не можетъ, потому что армяки сдѣланы изъ армейскаго сукна (доказаннымъ, другими словами, признается именно то, что еще слѣдовало доказать). Начальникъ бѣжецкой дружины доноситъ, что полушубки для кадровыхъ нижнихъ чиновъ сдѣланы не изъ русскихъ, а изъ ордынскихъ овчинъ: губернаторъ отвѣчаетъ, что ордынскія овчины — тѣ же русскія. Нѣчто подобное происходитъ и въ Владимірской губерніи, гдѣ обмундировку всего ополченія беретъ на себя, безъ торговъ, купецъ Никитинъ, городской голова и членъ губернскаго комитета ополченія. Цѣны, ему платимыя, также превышаютъ въ полтора раза цѣнность обмундированія мѣстныхъ кадровыхъ нижнихъ чиновъ... Въ снаряженіи ополченія злоупотребленій было меньше, потому что максимальныя цѣны были назначены здѣсь коммиссаріатскимъ департаментомъ. Вотъ, однако, что мы читаемъ въ запискѣ Салтыкова о подвигахъ все того же тверского купца Ветошкина. Начальникъ новоторжской дружины доноситъ, что поставленныя Ветошкинымъ ранцы и патронташи негодны: губернаторъ отвѣчаетъ, что они сдѣланы въ Москвѣ и подрядчикъ долженъ былъ принять ихъ тамъ въ настоящемъ ихъ видѣ, изъ опасенія ничего не получить. Начальникъ корчевской дружины сообщаетъ, что дерево

на патронныхъ ящикахъ дало щели и краска отстала; губернаторъ предлагаетъ начальнику дружины задѣлать щели и окрасить ящики на счетъ экономическихъ суммъ дружины. Начальникъ бѣжецкой дружины доноситъ, что патронные ящики не имѣютъ замковъ, и лопасти для штыковыхъ ноженъ сдѣланы изъ горѣлой кожи. Губернаторъ отвѣчаетъ, что замки нужно изготовить на счетъ экономическихъ суммъ дружины, а лопасти слѣдуетъ принять, потому что онѣ были свидѣтельствованы комитетомъ и найдены хорошими... По врачебной части достаточно отмѣтить слѣдующее общее заключеніе Салтыкова: „несмотря на принятыя правительствомъ мѣры, врачебная часть въ ополченіи почти не существовала".

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что съ нѣкоторыми закулисными сторонами снаряженія и обмундированія ополченскихъ дружинъ Салтыковъ имѣлъ случай познакомиться еще въ Вяткѣ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть „Тяжелый годъ", написанный во время послѣдней восточной войны, но относящійся къ эпохѣ крымской кампаніи („Благонамѣренныя рѣчи", стр. 590). Мы видимъ здѣсь картину захолустья, въ верхнихъ слояхъ котораго народное бѣдствіе отражается только все бо́льшимъ и бо́льшимъ обостреніемъ хищническихъ аппетитовъ. Пока дѣло ограничивается учащенными рекрутскими наборами, около него хлопочутъ и грѣютъ руки предсѣдатель казенной палаты, управляющій палатой государственныхъ имуществъ, командиръ батальона внутренней стражи, совѣтникъ ревизскаго отдѣленія; когда приходитъ вѣсть о созывѣ государственнаго ополченія, движеніе захватываетъ самого губернскаго „патріарха", до тѣхъ поръ довольствовавшагося добровольными даяніями, въ видѣ рыбы, икры, миндалю, изюму и т. п. „Патріархъ прозрѣлъ окончательно. Прежде всего его поразила цифра. Всего, всего тутъ было много: и холста, и сукна, и сапожныхъ подметокъ, не говоря уже о людяхъ. Ядреная, вкусная, сочная, эта цифра разомъ разрѣшила связывавшія его узы.— Ни безпокойныхъ людей, ни критиковъ я не потерплю,—сказалъ онъ.— Критики вообще вредны, а у насъ въ особенности. Государство у насъ обширное, а потому и операціи въ немъ обширныя. И притомъ въ самоскорѣйшемъ времени. Слѣдовательно, если выслушивать критики, то для одного разсмотрѣнія ихъ придется учредить особую коммиссію (припомнимъ мнѣніе тверского губернатора о безполезности коммиссій). А ополченіе тѣмъ временемъ будетъ безъ сапогъ (припомнимъ, почему начальнику новоторжской дружины рекомендовалось принять никуда негодные ранцы и патронташи). Не критиковать на-

добно, а памятовать, что въ мірѣ все подвержено тлѣнію, а аммуничныя вещи въ особенности. Одинъ ратницкій сапогъ дойдетъ до Севастополя, другой—до первой станціи (припомнимъ калужскія подметки изъ лубковъ). Никакая критика въ этомъ не поможетъ, потому что достоинство сапога зависитъ не отъ критики, а отъ сапожника. Законъ это предвидѣлъ, и потому ни въ какомъ вѣдомствѣ критика не установилъ". Правда, вожделѣнія крутогорскаго „патріарха" остались втунѣ—но это произошло совершенно независимо отъ его воли, просто потому, что нашелся другой хищникъ, болѣе смѣлый и болѣе ловкій (управляющій палатой государственныхъ имуществъ). „Неслыханнѣйшая оргія взволновала нашъ скромный городъ. Весь мало-мальски смышленый людъ заволновался. Всякій спѣшилъ какъ-нибудь поближе пріютиться около пирога, чтобъ нѣчто урвать, утаить, ушить, укроить и вообще, по силѣ возможности, накласть въ загорбокъ любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. Нашъ тихій городъ словно ошалѣлъ. Обѣды, балы слѣдовали другъ за другомъ, съ патріотическими тостами, съ пѣніемъ моднаго тогдашняго романса о воеводѣ Пальмерстонѣ. Безсознательно, но тѣмъ не менѣе безпощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Кто не могъ ничего урвать, тотъ продавалъ самого себя. Все, что было въ присутственныхъ мѣстахъ пьяненькаго, неспособнаго, лѣниваго — все потянулось въ ополченіе" (припомнимъ „личный наемъ" — во владимірскомъ ополченіи, составъ офицеровъ — въ московскомъ). Какъ глубоко запало въ душу Салтыкова печальное зрѣлище толпы, эксплуатирующей государственную невзгоду, объ этомъ можно судить и по слѣдующему отрывку изъ „Отголосковъ", также написанному во время послѣдней восточной войны („Въ средѣ умѣренности и аккуратности", стр. 483): „я помню очень многое, и, между прочимъ, 1853—55 годы. Помню ликующихъ жуликовъ, помню людей, одолѣваемыхъ простымъ долгоязычіемъ, и людей, пользовавшихся долгоязычіемъ какъ подходящимъ средствомъ, чтобъ запускать руку въ карманъ ближняго или казны. Мало того: я помню, что этихъ людей называли тогда благонамѣренными, несмотря на то, что ихъ лганье было шито бѣлыми нитками. И что всего ужаснѣе: не только не представлялось возможности обличить ихъ, но даже устраниться, уйти отъ нихъ было нельзя"... На ловца, гласитъ поговорка, и звѣрь бѣжитъ; первое порученіе, данное Салтыкову по возвращеніи его изъ ссылки, показало ему наглядно, что „крутогорскіе" обычаи и нравы существуютъ повсемѣстно, что „дворянскія" губерніи ничѣмъ, въ этомъ отношеніи,

не отличаются отъ „не-дворянскихъ". Мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что это усилило интенсивность щедринской сатиры. Печатая „Губернскіе Очерки", Салтыковъ не только догадывался—онъ *зналъ*, что ведетъ борьбу съ общимъ, всероссійскимъ зломъ, глубоко проникшимъ въ чиновную и сословную почву.

Кромѣ свода распоряженій по призыву государственнаго ополченія, въ послужномъ спискѣ Салтыкова упомянуто только одно занятіе, возложенное на него (въ октябрѣ 1856 г.), какъ на чиновника особыхъ порученій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ *): это—составленіе предположеній объ улучшеніи устройства земскихъ повинностей. Въ чемъ состояли эти предположенія—мы не знаемъ. На самомъ дѣлѣ, Салтыковъ исполнялъ, по всей вѣроятности, и другія служебныя работы. Между его бумагами нашлась черновая записка объ устройствѣ православныхъ церквей въ западныхъ губерніяхъ, относящаяся, очевидно, именно ко времени бытности его чиновникомъ особыхъ порученій. Основная мысль этой записки, написанной отъ имени министра внутреннихъ дѣлъ, заключается въ томъ, что понужденіе помѣщиковъ западнаго края къ постройкѣ или исправленію православныхъ храмовъ было бы несовмѣстно съ достоинствомъ правительства и православной церкви; увеличеніе числа храмовъ и приведеніе ихъ въ надлежащій видъ можетъ быть достигнуто только воззваніемъ къ добровольнымъ жертвователямъ изъ среды всего православнаго народа и устройствомъ, для сбора пожертвованій и распоряженія ими, особаго общества, съ центральнымъ управленіемъ въ Петербургѣ и отдѣленіями въ Москвѣ и во всѣхъ губернскихъ городахъ имперіи. Гораздо болѣе обширна и болѣе замѣчательна другая служебная записка, также сохранившаяся въ бумагахъ Салтыкова: объ устройствѣ градскихъ и земскихъ полицій. Съ содержаніемъ ея необходимо познакомиться подробно.

„Въ Россіи,—такъ начинаетъ Салтыковъ, — *благотворное* дѣйствіе полиціи почти незамѣтно; что касается до ея злоупотребленій и сопряженныхъ съ всеобщимъ ущербомъ вмѣшательствъ въ частные интересы, то они не только замѣтны, но оставляютъ по себѣ несомнѣнно весьма вредное впечатлѣніе. Всякій, кто не праздно жилъ въ провинціи и всматривался въ окружающія явленія, безъ труда пойметъ справедливость этого замѣчанія. Въ провинціи существуетъ не *дѣйствіе*, а произволъ полицейской власти, совершенно убѣжден-

*) Онъ былъ утвержденъ въ этой должности 6-го ноября 1857 г.

ной, что не она существуетъ для народа, а народъ для нея". Послѣ этого характеристичнаго вступленія, иллюстраціей которому можетъ служить любая страница „Губернскихъ Очерковъ", Салтыковъ подчеркиваетъ различіе между полиціей въ обширномъ смыслѣ, обнимающей собою всю сумму дѣйствія центральной власти на народъ, и полиціей въ тѣсномъ смыслѣ, составляющей особую отрасль государственной администраціи. Понимаемая въ обширномъ смыслѣ, полиція не поддается точному опредѣленію; она стремится подчинять себѣ всякое проявленіе жизни и не признаетъ законности ни въ чемъ, развивающемся самобытно. Понимаемая въ тѣсномъ смыслѣ, полиція имѣетъ задачей преслѣдованіе правонарушеній, въ сферѣ государственной, общественной и частной; ея характеръ — чисто репрессивный: она не заслоняетъ собою самобытной дѣятельности гражданъ, а напротивъ, является къ ней на помощь, въ особенности если осуществленіе дѣйствія полиціи возложено на самихъ гражданъ. Область полицейской власти расширяется тамъ, гдѣ господствуетъ централизація, съуживается тамъ, гдѣ преобладаетъ противоположное начало. Въ поясненіе этой мысли Салтыковъ ссылается на примѣръ Франціи и Англіи. Во Франціи правительство постоянно стремилось подчинить своему вліянію какъ частные, такъ и общинные интересы народа. „Это не помѣшало ей, однакоже, въ теченіе 60 лѣтъ, волноваться революціями. Мало того: можно безъ преувеличенія сказать, что централизація власти весьма сильно способствовала тому волненію умовъ, которое и донынѣ во Франціи не прекращается. Въ Англіи, гдѣ правительство ограничивается наблюденіемъ народной жизни, государственный организмъ развивается безъ всякихъ потрясеній". Могутъ возразить, что это объясняется развитіемъ въ англійскомъ народѣ чувства законности и консерватизма. Но чѣмъ же воспиталось это чувство? Не тѣмъ ли, что народъ всегда сознавалъ свою личность, свое право, что онъ никогда не былъ тѣмъ бездушнымъ и безсмысленнымъ субъектомъ, который правительство могло гнуть въ ту или другую сторону по усмотрѣнію? „Азбука всякой системы администраціи,—продолжаетъ Салтыковъ,—гласитъ, что предметомъ ея должно быть благо народное. Но понятіе объ этомъ благѣ, особливо въ государствахъ обширныхъ, весьма относительно и измѣняется сообразно съ условіями мѣстности, обычаевъ и т. д. Претензія подчинить всѣ мѣстности однимъ и тѣмъ же началамъ не значила ли бы то же, что уложить всѣ личности на Прокустово ложе?" Въ особенности сильно значеніе мѣстнаго элемента проявляется въ обсуж-

деніи интересовъ „земства“ *), составляющихъ плоть и кровь мѣстности, касающихся каждаго ея обитателя. Правительство, по мнѣнію Салтыкова, не имѣетъ надобности навязывать земству такіе-то и такіе-то интересы, а не тѣ, которые стоятъ на первомъ планѣ у самого земства. Задача правительства ограничивается согласованіемъ мѣстныхъ интересовъ съ общегосударственными. Разительный примѣръ преобладанія ценральной власти въ дѣлахъ чисто домашняго свойства представляетъ наше законодательство по вопросу о переложеніи натуральныхъ повинностей въ денежныя. Это переложеніе допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія высшей центральной власти. Почему? Потому, что правительству извѣстна наклонность бюрократіи выискивать во всякомъ предписаніи закона такую сторону, которая давала бы пищу для злоупотребленій—а злоупотребленіямъ денежная повинность поддается еще легче, чѣмъ натуральная. Въ бытность Салтыкова, въ 1854 г., въ Пермской губерніи (по дѣламъ службы), онъ имѣлъ случай удостовѣриться, что сборъ съ казенныхъ крестьянъ денегъ на отправленіе ямской гоньбы, взамѣнъ натуральной повинности, простирался, въ нѣкоторыхъ волостяхъ, до ужасной цифры 90 коп. сер. съ души **) — и за всѣмъ тѣмъ лошади все-таки выставлялись натурой, потому что подрядчикъ, пользуясь покровительствомъ начальства, содержалъ количество лошадей недостаточное. Гдѣ же, однако, источникъ подобныхъ явленій? Не въ томъ ли, что чиновники совершенно чужды интересамъ земства, на которое они смотрятъ какъ на pays conquis, какъ на средство покормиться? Совсѣмъ иной оборотъ приняло бы дѣло, еслибы забота о лучшемъ устройствѣ интересовъ земства лежала на немъ самомъ. Оно было бы заинтересовано въ бережливомъ отношеніи къ собственнымъ силамъ— а излишняя бережливость или скупость могла бы быть предупреждена вмѣшательствомъ центральной власти. „Какая, напримѣръ, надобность требовать въ Вятской губерніи, чтобы земскія лошади имѣли не ме-

*) Выраженіе: *земство* можетъ возбудить мысль, что излагаемая нами записка Салтыкова составлена уже послѣ введенія земскихъ учрежденій. Опроверженіемъ этой мысли служитъ все содержаніе записки. Понятіе о *земствѣ* существовало у насъ и тогда, когда не было еще рѣчи о земскихъ учрежденіяхъ. Въ упомянутой выше запискѣ Салтыкова о православныхъ храмахъ въ западныхъ губерніяхъ идетъ рѣчь о *земствѣ* этихъ губерній, въ которыхъ, какъ извѣстно, земскихъ учрежденій никогда не было и нѣтъ въ настоящее время.

**) Чтобы понять значеніе этой дѣйствительно „ужасной“ цифры, необходимо припомнить, что большею частью ее не превышаетъ теперешній земскій сборъ, удовлетворяющій столь многочисленнымъ и разнообразнымъ потребностямъ крестьянскаго населенія.

нѣе 2 арш. 2 вер. роста, если мѣстная порода лошадей, славящаяся во всей имперіи своею крѣпостью и выносливостью, представляетъ такой ростъ лишь какъ исключеніе? И отчего сотскій или разсыльный земскаго суда или окружного начальника, и даже сами эти вельможи не могутъ ѣхать въ легкомъ плетеномъ тарантасикѣ, имѣющемся у каждаго крестьянина, а должны трястись въ обширной телѣгѣ, окрашенной зеленою краскою?.. Какая существенная надобность государству знать, какъ я хозяйствую у себя, дома, если я въ точности исполняю всѣ обязанности, лежащія на мнѣ какъ на гражданинѣ? То же замѣчаніе въ такой же степени вѣрно и по отношенію къ земству, съ тою только разницей, что хозяйство послѣдняго происходитъ, такъ сказать, при открытыхъ дверяхъ, и слѣдовательно не только правительству, но и всякому частному человѣку представляется полная возможность контроля"... Дальше Салтыковъ перечисляетъ главныя неудобства административной централизаціи. Первое изъ нихъ — солидарность между высшимъ правительствомъ и его агентами, тогда какъ на самомъ дѣлѣ между министромъ внутреннихъ дѣлъ и какимъ-нибудь становымъ приставомъ нѣтъ ничего общаго. Отсюда безпрестанныя жалобы на правительство, которое будто бы не имѣетъ надзора за своими агентами, будто бы не преслѣдуетъ злоупотребленій и не печется объ искорененіи ихъ. Второе неудобство централизаціи заключается въ томъ, что она какъ бы стираетъ всѣ личности, составляющія государство. Вмѣшиваясь во всѣ мелочныя отправленія народной жизни, принимая на себя регламентацію частныхъ интересовъ, правительство тѣмъ самымъ какъ бы освобождаетъ гражданъ отъ всякой самобытной дѣятельности. Третьимъ неудобствомъ централизаціи Салтыковъ признаетъ обусловливаемое ею „существованіе массы чиновниковъ, чуждыхъ населенію и по духу, и по стремленіямъ, не связанныхъ съ нимъ никакими общими интересами, безсмысленно на мѣстахъ и въ обществѣ для являющихся страшной, разъѣдающей силой. Правитель[illegible] не имѣетъ служить какъ матеріальный [illegible] чиновникъ. Многіе ли изъ [illegible] [illegible] безгрѣшными [illegible] [illegible] губернаторы [illegible] и всей Россіи. Важно не [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]

торое она погружаетъ правительство. „Рапорты о благополучіи“ — необходимая принадлежность чиновничества, чуждаго населенію и равнодушнаго къ его потребностямъ. Исключеніе дѣлается только для тѣхъ предметовъ, которые, какъ извѣстно чиновникамъ, обращаютъ на себя особое вниманіе правительства. Примѣръ: раскольники. Въ отношеніи къ этимъ предметамъ все „неблагополучно“. „Пишутся донесенія, отъ чтенія которыхъ становится страшно; подумаешь, что пробилъ послѣдній часъ для государства. А ларчикъ открывается весьма просто: чиновнику нужно отличиться — онъ описываетъ все какъ ему хочется“.

Покончивъ съ централизаціей, „составляющей въ настоящемъ дѣлѣ главный вопросъ“, Салтыковъ переходитъ къ слѣдующимъ вопросамъ „второстепенной важности“: 1) должно ли устройство полиціи быть коллегіальнымъ; 2) слѣдуетъ ли подвергать агентовъ полиціи какимъ-либо требованіямъ и испытаніямъ въ отношеніи къ способностямъ ихъ и знанію дѣла; 3) возможно ли допустить въ самомъ духѣ полицейскихъ учрежденій элементъ предупредительный, или же слѣдуетъ дать ихъ дѣйствіямъ исключительно репрессивный характеръ, и 4) какія должны быть самыя формы, въ которыхъ имѣетъ проявляться дѣйствіе полиціи? *По первому вопросу* Салтыковъ находитъ, что и коллегія, и единоличная власть имѣютъ свои выгоды и свои невыгоды. Самая лучшая система — та, которая соединяетъ хорошія стороны обоихъ порядковъ; но такое соединеніе возможно только при децентрализаціи, когда коллегія является принадлежностью земства, а принципъ единаго агента — принадлежностью центральной власти. *По второму вопросу* Салтыковъ признаетъ необходимымъ и теоретическое, и практическое испытаніе полицейскихъ чиновниковъ. Замѣною теоретическаго испытанія служитъ дипломъ учебнаго заведенія; степени образованія, удостовѣряемой дипломомъ, должно соотвѣтствовать и право на полученіе той или другой должности въ административной іерархіи. Обойтись безъ теоретической подготовки могутъ только низшіе полицейскіе чиновники. Практическимъ испытаніемъ должна быть безвозмездная служба, ограниченная опредѣленнымъ срокомъ. Чѣмъ шире роль, предоставленная земству, тѣмъ меньше чиновниковъ—тѣмъ легче, слѣдовательно, для правительства убѣждаться въ ихъ способности и благонадежности. *По третьему вопросу* Салтыковъ высказывается за необходимость предупредительнаго элемента въ полицейской дѣятельности, но лишь подъ условіемъ децентрализаціи. Чиновникъ, живущій въ постоянномъ отдаленіи отъ

народа, не имѣетъ ни средствъ, ни даже охоты заботиться о предупрежденіи правонарушеній. Мѣстность, которою онъ завѣдываетъ, извѣстна ему лишь поверхностно, въ общихъ чертахъ; сегодня онъ здѣсь, завтра—тамъ, и чѣмъ онъ способнѣе, тѣмъ быстрѣе переходитъ съ одного мѣста на другое. Расширеніе полицейской дѣятельности, при господствѣ централизаціи, представляется не только непрактичнымъ, но и нежелательнымъ, потому что всякому агенту централизованной власти, даже при полной добросовѣстности его, свойственно стремленіе къ произволу. Здѣсь Салтыковъ затрогиваетъ попутно вопросъ о судѣ и является защитникомъ *суда общиннаго*, разумѣя подъ этимъ именемъ нѣчто весьма похожее на судъ присяжныхъ. Общественнымъ началомъ въ судѣ онъ дорожитъ до такой степени, что высказывается даже противъ предполагавшагося въ то время сліянія уѣздныхъ судовъ съ городовыми магистратами *). *По четвертому вопросу*, наконецъ, Салтыковъ требуетъ возможно большаго ограниченія письменной полицейской процедуры, возможно большаго развитія *матеріальной* дѣятельности, т.-е. реальной, а не бумажной охраны интересовъ, ввѣренныхъ заботливости полицейскихъ учрежденій. Въ концѣ этого отдѣла записки, авторъ еще разъ предпринимаетъ une charge à fond противъ централизаціи, сравнивая ея идею съ идеей учрежденія іезуитскаго ордена. „И тамъ, и тутъ, — восклицаетъ онъ,—царствуетъ общее недовѣріе и пастырей къ паствѣ, и пастырей между собою. И тамъ, и тутъ все до такой степени искусственно, что не знаешь, чему болѣе удивляться: терпѣнію ли людей, которые придумали призрачную машину, не имѣющую никакихъ корней въ природѣ человѣческой, или долговѣчности этой машины, которая, несмотря на всю свою противоестественность, продолжаетъ и доднесь существовать и пользоваться правами гражданственности“.

Въ Россіи торжество централизаціи при Петрѣ Великомъ очень скоро принесло горькіе плоды и вызвало реакцію, признаки которой Салтыковъ видитъ уже въ преобразованіяхъ Екатерины. Чтобы смягчить крайности централизаціи, императрица предоставила извѣстныя права купечеству и дворянству; но это не привело къ желанной цѣли. „Дворянство, въ сословномъ его значеніи, уже не существовало: оно слилось съ чиновничествомъ и приняло всѣ его формы“. О серьезномъ значеніи купечества тѣмъ болѣе не могло быть и рѣчи. Развитію

*) Уѣзднымъ судамъ, составленнымъ изъ представителей дворянства и крестьянства, было подсудно уѣздное населеніе; городовымъ магистратамъ, члены которыхъ выбирались горожанами—городское населеніе.

административныхъ мѣръ Екатерины много препятствовало и то обстоятельство, что онѣ были слишкомъ исключительно сословныя. Преемники Екатерины не продолжали начатаго ею дѣла, и оно заглохло въ тинѣ постепенно расширяющейся централизаціи. „Настоящее положеніе полицейскаго управленія въ Россіи представляетъ поучительную, но крайне грустную картину. Это какое-то странное смѣшеніе произвола и дисциплины, хаоса и регламентаціи". Истинной централизаціи въ Россіи нѣтъ, потому что она предполагаетъ ясно сознанную государственную идею, а у насъ интересы государства непонятны не только для становыхъ приставовъ, но даже и для многихъ губернаторовъ. Въ Россіи существуютъ лишь попытки къ централизаціи, выражающіяся въ преобладаніи произвола и въ невозможности самобытнаго развитія народныхъ силъ. Кругъ дѣйствій полиціи несоразмѣрно великъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не опредѣленъ съ достаточною ясностью; общая полиція безпрестанно сталкивается съ спеціальными (въ примѣръ этому Салтыковъ приводитъ дорожное дѣло: общая полиція настаиваетъ на немедленномъ исправленіи дороги, не принимая въ разсчетъ никакихъ побочныхъ обстоятельствъ — окружной начальникъ, облеченный полицейскою властью по отношенію къ государственнымъ крестьянамъ, противопоставляетъ этому требованію хозяйственныя нужды крестьянъ, въ данную минуту не оставляющія имъ досуга для починки дороги). Наши коллегіальныя присутственныя мѣста (губернскія правленія, земскіе суды) представляютъ собою пародіи на коллегію въ истинномъ смыслѣ этого слова; все зависитъ здѣсь отъ усмотрѣнія одного лица, „наставленія" котораго равносильны предписаніямъ. Отдѣльные агенты правительства сплошь и рядомъ могутъ быть названы его врагами, потому что ежечасно подрываютъ довѣріе къ нему народа. Въ видѣ иллюстраціи Салтыковъ ссылается на положеніе слѣдственной части, отличительная черта которой—необузданный произволъ слѣдователя. „Бюрократія,—восклицаетъ онъ, — до того уже охватила всѣ формы русской жизни, что благонамѣренному чиновнику ничего не остается болѣе дѣлать, какъ заняться перепискою бумагъ". Другое зло нашей административной жизни — это крайнее размноженіе переписки. Салтыковъ объясняетъ его двумя главными причинами: раздробленіемъ властей, изъ которыхъ каждая, считая себя чѣмъ-то независимымъ, стремится защищать свой взглядъ и отстаивать свои мнимыя права, и несоразмѣрностью штатовъ съ числомъ и значеніемъ предметовъ, входящихъ въ кругъ дѣйствій извѣстнаго мѣста или лица. Если штатъ слишкомъ великъ, чи-

новники стараются доказать свою необходимость и напрасно плодятъ переписку; если штатъ слишкомъ малъ, они плодятъ ее для того, чтобы сбросить съ себя часть непосильнаго бремени, зачисливъ какъ можно больше дѣлъ за посторонними вѣдомствомъ. Основываясь на собственномъ опытѣ, Салтыковъ осмѣиваетъ практику ревизіонныхъ столовъ губернскихъ правленій, разсылающихъ ежегодно десятки тысячъ никому не нужныхъ и ни къ чему не ведущихъ подтвержденій. „Что дѣлаютъ совѣтники губернскаго правленія? А если совѣтники дѣльные, то чѣмъ занимаются секретари ихъ отдѣленій? По большей части или тѣ, или другіе, а часто и оба вмѣстѣ—люди древніе, доживающіе свой вѣкъ подъ сѣнію коллегіи, дающей имъ возможность, ничего не дѣлая, состоять на службѣ. Надобно прочитать любой журналъ губернскаго правленія, чтобы убѣдиться въ томъ, что весь онъ—результатъ работы писца, его перебѣлявшаго. Работа столоначальника заключается въ томъ только, что онъ на подлинныхъ бумагахъ обозначаетъ, съ которыхъ поръ до которыхъ слѣдуетъ переписать. Изъ этого проистекаетъ галиматья неописанная. Встрѣчаются мѣста, которыхъ никакими силами понять нельзя, а *приказали*, т.-е. то мѣсто, въ которомъ должна выразиться самобытная дѣятельность коллегіи, бываетъ, по выраженію народному, короче утинаго носа и обыкновенно выражается въ словахъ: *о содержаніи справки дать знать такому-то*, или: *предписать такому-то, чтобы поступилъ на законномъ основаніи*".

Изъ всѣхъ приведенныхъ выше фактовъ и соображеній Салтыковъ выводитъ заключеніе о необходимости общаго переустройства губернской и уѣздной администраціи—но, оставаясь въ предѣлахъ возложенной на него задачи, онъ говоритъ болѣе подробно только о преобразованіи полиціи. Прежде всего ему кажется излишнимъ обособленіе полиціи земской (т.-е. уѣздной) отъ полиціи городской; отдѣльная городская полиція должна быть оставлена только въ большихъ городахъ. Дальше онъ предлагаетъ совершенно отдѣлить полицію исполнительную отъ судной и слѣдственной и передать первую въ вѣдѣніе земства. Организацію земства Салтыковъ представляетъ себѣ такъ. Образуется уѣздный земскій совѣтъ, изъ девяти членовъ: трехъ — по выбору дворянства, трехъ—по выбору городского сословія, трехъ — по выбору казенныхъ крестьянъ (припомнимъ, что записка Салтыкова относится ко времени, предшествующему отмѣнѣ крѣпостного права). Этотъ сословный составъ совѣта рекомендуется Салтыковымъ не какъ наилучшій (наоборотъ, сословная организація кажется ему противо-

рѣчащей интересамъ массы), а какъ наиболѣе соотвѣтствующій тогдашней дѣйствительности; на этомъ же основаніи предсѣдательство въ совѣтѣ возлагается имъ на уѣзднаго предводителя дворянства. Характеръ занятій совѣта не долженъ быть исключительно полицейскій, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и даже преимущественно, административный; совѣтъ долженъ замѣнить собою всѣ нынѣ существующія уѣздныя административныя учрежденія. Ему должно принадлежать обсужденіе всѣхъ мѣръ по общему управленію уѣздомъ и городомъ, по устройству повинностей, развитію торговли и промышленности, наблюденію за правильнымъ ихъ производствомъ, *учрежденію школъ*, охраненію тишины и спокойствія и т. п. Разъѣздовъ члены совѣта не должны предпринимать и общее присутствіе совѣта должно быть созываемо только извѣстное число разъ въ году, когда это не можетъ быть для членовъ совѣта обременительнымъ. Въ прочее время года совѣтъ можетъ дѣйствовать въ уменьшенномъ составѣ. Содержаніе, низшая цифра котораго должна быть опредѣлена закономъ, члены совѣта получаютъ отъ своихъ сословій. Въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ постановленія совѣта исполняются волостными и сельскими управленіями; что касается до помѣщичьихъ имѣній, то они раздѣляются на группы, и для каждой группы избирается дворянами особый полицейскій начальникъ, исполняющій постановленія совѣта и производящій судно-полицейское разбирательство. Городъ раздѣляется на участки, и въ каждый участокъ опредѣляется полицейскій начальникъ, по выбору городского общества. Правительство, съ своей стороны, назначаетъ въ каждый уѣздъ стряпчаго и нѣсколькихъ его помощниковъ; первый присутствуетъ въ засѣданіяхъ совѣта; послѣдніе производятъ слѣдствія, при участіи депутата отъ сословія, къ которому принадлежитъ обвиняемый. По дѣламъ, касающимся интересовъ государства, голосъ стряпчаго обязателенъ для совѣта; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ его мнѣнія имѣютъ только „руководительное“ значеніе. Права и обязанности земскаго совѣта, а также подчиненныхъ ему мѣстъ и лицъ, должны быть со всею точностью опредѣлены закономъ. Протоколы и резолюціи земскаго совѣта (протоколы—по общимъ вопросамъ, резолюціи—по частнымъ дѣламъ) должны быть излагаемы просто и ясно. „Справки должны быть въ головѣ у присутствующихъ, и потому нѣтъ надобности наполнять ими цѣлые десятки листовъ“. Сношенія стряпчаго съ совѣтомъ происходятъ на словахъ. У полицейскихъ начальниковъ переписка должна быть самая ничтожная. Заканчивается записка такъ: „Предположенія, высказанныя здѣсь лишь въ общихъ чертахъ, необ-

ходимо должны уясниться при болѣе подробномъ развитіи ихъ. Порученіе, возложенное на меня, сопряжено съ большимъ трудомъ и требуетъ много самыхъ разнообразныхъ работъ и разысканій. По мнѣнію моему, оно должно обнять слѣдующія главныя части: 1) Обозрѣніе всѣхъ предположеній, собранныхъ по настоящее время въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ по этому предмету. Эти предположенія составятъ четырнадцать огромныхъ томовъ. 2) Обозрѣніе, по источникамъ, отечественнаго законодательства, какъ по самому устройству полицій, такъ и по опредѣленію ихъ обязанностей. Обозрѣніе сіе должно быть сдѣлано во всей подробности и снабжено критическимъ взглядомъ. Для достиженія сей послѣдней цѣли представляется необходимымъ изъ ревизіи нѣкоторыхъ земскихъ судовъ и градскихъ полицій убѣдиться практически, какимъ образомъ приводятся въ исполненіе на мѣстахъ предписанія закона. 3) Критическій обзоръ законодательствъ главнѣйшихъ государствъ Европы по этому дѣлу. Эта часть труда необходима не для того, чтобы рабски слѣдовать, въ новомъ уставѣ, примѣру иностранныхъ государствъ, но для того, чтобы, при сообщеніи сему дѣлу дальнѣйшаго хода, оно могло отвѣчать на всѣ вопросы. 4) Наконецъ, самый проектъ полицейскаго устава, который долженъ быть, безъ сомнѣнія, не что иное, какъ логическій результатъ предшествующихъ трехъ частей труда".

Такова любопытная записка, представляющая Салтыкова въ новой для насъ роли административнаго реформатора. Мы предполагали сначала, что она составлена въ 1860 г., когда Салтыковъ, будучи рязанскимъ вице-губернаторомъ (онъ назначенъ на эту должность 6-го марта 1858 г.), участвовалъ, какъ видно изъ формулярнаго его списка, въ занятіяхъ учрежденной при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ коммиссіи о губернскихъ и уѣздныхъ учрежденіяхъ. Ближайшее знакомство съ запиской привело насъ къ другому заключенію; мы думаемъ, что она написана раньше, еще въ бытность Салтыкова чиновникомъ особыхъ порученій. Въ ней нѣтъ и намека на предстоящее освобожденіе помѣщичьихъ крестьянъ,—а это едва-ли было бы возможно въ 1860 г., наканунѣ отмѣны крѣпостного права; нѣтъ также никакихъ указаній на преобразованіе слѣдственной части, состоявшееся въ 1860 г. (учрежденіе судебныхъ слѣдователей). Вездѣ, гдѣ Салтыковъ ссылается на собственный свой служебный опытъ, онъ говоритъ только о Вятской губерніи, только о должности совѣтника губернскаго правленія; о Рязанской губерніи въ запискѣ вовсе нѣтъ рѣчи, о должности вице-губернатора сказано лишь нѣсколько словъ. Работу, пред-

назначенную для коммиссіи *о губернскихъ и уѣздныхъ учрежденіяхъ*, Салтыкову не зачѣмъ было бы, наконецъ, искусственно замыкать въ тѣсныя рамки вопроса о земскихъ и градскихъ полиціяхъ. Если наша догадка о времени составленія записки основательна, то этимъ объясняется многое въ ея содержаніи—напримѣръ, соединеніе полицейской и судебной власти, по отношенію къ помѣщичьимъ имѣніямъ, въ рукахъ полицейскаго начальника, избираемаго дворянствомъ. При существованіи крѣпостного права такое учрежденіе было бы несомнѣннымъ шагомъ впередъ, потому что замѣнило бы, до извѣстной степени, произволъ помѣщика болѣе или менѣе правомѣрною дѣятельностью должностного лица, подчиненнаго всесословному земскому совѣту... Чѣмъ раньше составлена записка, тѣмъ больше она заслуживаетъ удивленія. И въ 1860 году немного было должностныхъ лицъ, способныхъ и готовыхъ говорить, въ формальной служебной бумагѣ, такъ рѣшительно и такъ откровенно, какъ говоритъ авторъ записки. Еще меньше, конечно, ихъ было за два или три года передъ тѣмъ, когда только-что начиналась новая эра. Безпощаднаго анализа системы, едва поколебленной и оффиціально еще не осужденной, всего труднѣе было ожидать отъ молодого чиновника, только-что вернувшагося изъ продолжительной ссылки и занимавшаго весьма скромное положеніе въ административномъ мірѣ. Салтыковъ не остановился передъ соображеніями личной безопасности и личной выгоды; получивъ возможность высказаться, онъ воспользовался ею широко и смѣло. Оружіемъ ему послужили и личный служебный опытъ и теоретическія знанія, пріобрѣтенныя имъ во время вынужденныхъ вятскихъ досуговъ. Первый помогъ ему нарисовать вѣрную картину дѣйствительности; въ послѣднихъ онъ почерпнулъ масштабъ для критики и исходную точку для преобразовательнаго плана. Разсужденія о вредѣ административной централизаціи, конечно, не составляютъ авторской собственности Салтыкова, но ему принадлежитъ честь примѣненія ихъ къ русской жизни, подтвержденія ихъ данными, взятыми изъ прошедшаго и настоящаго Россіи. Многое въ запискѣ Салтыкова не устарѣло до сихъ поръ, какъ потому, что уцѣлѣли нѣкоторыя изъ тогдашнихъ учрежденій (напримѣръ—губернскія правленія), нѣкоторые изъ тогдашнихъ обычаевъ (канцелярскія отписки, доклады, составляемые съ помощью отмѣтокъ: отъ А до Б), такъ и потому, что далеко не во всемъ измѣнился общій духъ администраціи... Въ самомъ проектѣ реформы, набросанномъ Салтыковымъ, есть, конечно, очевидныя ошибки — очевидныя *теперь*, при свѣтѣ всего совершившагося въ продолженіе

трехъ послѣднихъ десятилѣтій; но въ главномъ, общемъ, цѣли и пути указаны Салтыковымъ совершенно вѣрно, и рано или поздно могутъ осуществиться нѣкоторыя изъ его желаній. Къ ошибкамъ слѣдуетъ отнести, какъ намъ кажется, предположенія Салтыкова о составѣ земскаго совѣта, слишкомъ малочисленномъ для учрежденія обсуждающаго, слишкомъ многочисленномъ для учрежденія исполняющаго. Земскій совѣтъ, проектируемый Салтыковымъ—это въ одно и то же время и земское собраніе, и земская управа; именно потому онъ не могъ бы быть какъ слѣдуетъ ни тѣмъ, ни другимъ. Не вполнѣ ясно и послѣдовательно установлено также у Салтыкова различіе между полиціей благоустройства и полиціей безопасности. Чрезвычайно плодотворной является за то мысль объ объединеніи всего уѣзднаго управленія, совершенно упущенная изъ виду въ эпоху великихъ реформъ, всплывшая наверхъ въ земскихъ проектахъ восьмидесятыхъ годовъ, но до сихъ поръ не проведенная въ дѣйствительность. Не менѣе цѣнно и то, что это объединеніе пріурочивалось Салтыковымъ къ *земской* почвѣ; отношеніе между земствомъ и центральною властью понималось имъ именно такъ, какъ оно рисуется лучшими представителями современнаго государственнаго права.

Мы уже сказали, что въ мартѣ 1858 г. Салтыковъ былъ назначенъ рязанскимъ вице-губернаторомъ. 3-го апрѣля 1860 г. онъ былъ переведенъ на ту же должность въ Тверь и нѣсколько разъ исполнялъ тамъ обязанности губернатора. Служебная дѣятельность не мѣшала Салтыкову отдавать много времени литературѣ. Въ 1857 г. окончилось появленіе „Губернскихъ Очерковъ" въ „Русскомъ Вѣстникѣ", и вслѣдъ затѣмъ они вышли въ свѣтъ особой книжкой; въ томъ же году Салтыковъ напечаталъ еще нѣсколько произведеній, отчасти вошедшихъ, отчасти не вошедшихъ въ полное собраніе его сочиненій. Къ послѣдней категоріи принадлежатъ комедія: „Смерть Пазухина" („Русскій Вѣстникъ", № 19) и „Женихъ", картина провинціальныхъ нравовъ („Современникъ", № 10). Въ 1858 и 1859 г. произведенія Салтыкова появлялись въ „Русскомъ Вѣстникѣ", „Атенеѣ", „Современникѣ", „Библіотекѣ для Чтенія" и „Московскомъ Вѣстникѣ"; почти все написанное имъ за это время вошло въ составъ „Невинныхъ разсказовъ". Съ 1860 г. Салтыковъ становится постояннымъ сотрудникомъ „Современника"; изъ другихъ ежемѣсячныхъ журналовъ только „Время" (1862 г., №№ 4 и 9) получаетъ отъ него нѣсколько сценъ и разсказовъ, перепечатанныхъ, впослѣдствіи, въ „Сатирахъ въ прозѣ". Совершенно забыты, въ настоящее время, небольшія

публицистическія статьи, помѣщенныя Салтыковымъ, за его подписью, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 1861 г. (редакторомъ этой газеты былъ въ то время В. Ѳ. Коршъ, двумя годами позже сдѣлавшійся редакторомъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“); онѣ не попали въ „Библіографическій очеркъ литературной дѣятельности Салтыкова“, напечатанный въ № 7 „Русской Мысли“ 1889 г. А между тѣмъ онѣ заслуживаютъ полнѣйшаго вниманія. Мы изложимъ содержаніе ихъ по находящимся въ нашихъ рукахъ черновымъ рукописямъ Салтыкова. Первая изъ нихъ, въ рукописи озаглавленная: „Къ крестьянскому дѣлу“, въ печати—„Объ истинномъ значеніи недоразумѣній по крестьянскому дѣлу“, появилась въ свѣтъ весьма скоро послѣ обнародованія положеній 19-го февраля. Она имѣетъ двоякую цѣль: раскрыть главный источникъ замѣшательствъ и волненій, неизбѣжныхъ въ началѣ новаго фазиса народной жизни, и указать лучшее средство къ ихъ предупрежденію. „Представьте себѣ,—такъ начинаетъ авторъ,—бѣднаго петербургскаго чиновника, который, въ теченіе тридцати и болѣе лѣтъ своей службы, ежедневно прохаживался изъ Галерной Гавани въ тотъ департаментъ, гдѣ имѣлъ честь состоять писцомъ, и который давнымъ давно забылъ мечтать о томъ, что есть на свѣтѣ мѣста помощниковъ столоначальника, дающія возможность износить въ годъ лишнюю пару сапоговъ; предположите, что этотъ забитый и загнанный судьбою человѣкъ совсѣмъ неожиданно получаетъ извѣстіе о доставшемся ему милліонномъ наслѣдствѣ. Какъ поступитъ, какъ поведетъ себя нашъ труженикъ? Прежде всего, думаю я, онъ не повѣритъ полученному извѣстію, и сомнѣнія его разсѣются уже тогда, когда объявляющій ему эту вѣсть квартальный поручикъ назоветъ его сіятельствомъ и поцѣлуетъ у него руку. Потомъ онъ сочтетъ первымъ долгомъ нагрубить своему столоначальнику и не встать съ мѣста при появленіи начальника отдѣленія. Потомъ онъ примется переписывать брошенную ему на столъ бумагу, но работа будетъ идти худо и не споро, и онъ, не кончивъ ея, сбѣжитъ изъ департамента въ свою любезную Гавань. Тамъ онъ закричитъ благимъ матомъ, созоветъ товарищей своего прежняго безотраднаго существованія и учинитъ дебошъ. Я даже не прочь отъ мысли, что онъ напьется пьянъ и что-нибудь напаскудитъ мимоходомъ“. Безспорно, было бы лучше, еслибы счастливецъ поступилъ иначе — сходилъ въ храмъ Божій, потомъ въ баню, испросилъ у добрыхъ начальниковъ отпускъ для устройства домашнихъ дѣлъ, и т. д.; но вѣдь въ жилахъ его течетъ кровь, сердце у него заиграло отъ радостной вѣсти, а въ такомъ настроеніи есте-

ственно и даже законно „подпрыгнуть до потолка и показать, въ нѣкоторомъ родѣ, языкъ своему прошедшему“. Съ положеніемъ внезапно разбогатѣвшаго чиновника имѣетъ много общаго положеніе крестьянъ, только-что выслушавшихъ добрую вѣсть о свободѣ. Возможно ли, чтобы эта вѣсть не потрясла ихъ до глубины души, чтобы при полученіи ея они сохранили все благоразуміе, все хладнокровіе? „Конечно, было бы весьма пріятно слышать, что они, одѣвшись въ синіе армяки или праздничные сарафаны, вышли на улицу и стали кроткимъ манеромъ играть хороводы, а потомъ спокойно разошлись по домамъ, съ тѣмъ, чтобы на другой день благонравно приняться за исполненіе старыхъ обязанностей. Но увы! какъ ни соблазнительна подобнаго рода идиллія, она едва ли возможна. Всякій благоразумный помѣщикъ пойметъ, что крестьянину, преисполненному новымъ для него чувствомъ свободы и довольства, трудно воздержаться отъ того, чтобы даже не попривередничать малость“. А между тѣмъ выискиваются люди, предъявляющіе къ крестьянамъ неисполнимыя требованія. Они ужасно волнуются при мысли, что душою крестьянина чувство благодарности за дарованныя права владѣетъ не всецѣло. Отсюда тѣ дикіе вопли, которые нерѣдко слышатся въ такъ-называемомъ образованномъ обществѣ; отсюда неистовыя воззванія къ насилію, какъ единственному убѣжищу противъ черной неблагодарности и единственному средству для насажденія надлежащихъ чувствъ въ черствой душѣ крестьянина. Обычнымъ орудіемъ такого насилія являются „полицейскія мѣры“ — и именно противъ нихъ съ особенною силой возстаетъ Салтыковъ. Онъ желалъ бы, чтобы въ „недоразумѣнія“ между помѣщиками и крестьянами вовсе не вмѣшивалась полиція, предоставляя разрѣшеніе ихъ исключительно новымъ крестьянскимъ учрежденіямъ. Отъ послѣднихъ Салтыковъ ожидаетъ образа дѣйствій, свободнаго отъ старыхъ административныхъ традицій. „Не на завладѣніе ферулой, а на исторженіе ея изъ рукъ прочихъ административныхъ мѣстъ и на преданіе ея всенародно сожженію, должно быть обращено ревнивое вниманіе крестьянскихъ учрежденій“. Главная ихъ задача—„толковое и терпѣливое разъясненіе крестьянамъ ихъ правъ и обязанностей“; необходимо также устранять „излишнія и стѣснительныя для крестьянъ требованія помѣщиковъ“, запрещенныя закономъ даже во времена крѣпостного права и еще менѣе допустимыя послѣ освобожденія крестьянъ. На степень безпорядка, неповиновенія, противодѣйствія слишкомъ часто, притомъ, возводятся такіе поступки крестьянъ, которые вовсе не имѣютъ этого характера. „Какая-нибудь

ключница Мавра донесетъ барынѣ, что дядя Корнѣй, лежа на печи, бормоталъ; вы-ста, да мы-ста—вотъ ужъ и злоумышленіе. Какой-нибудь староста Акимъ подольстится къ барынѣ, что у насъ-де, сударыня, давеча Васька-скотъ на всю сходку оралъ—а пойдемте-ка, братцы, къ барынѣ, пускай она водки намъ поднесетъ!—вотъ ужъ и бунтъ. Васька-скотъ летитъ въ становую квартиру, а дядя-Корнѣй записывается въ книжечку, какъ будущій зачинщикъ и подстрекатель. Кстати о зачинщикахъ. Одна дама спрашивала нѣкотораго глубокомысленнаго администратора, хвалившагося, что онъ въ такомъ-то случаѣ взялъ столько-то зачинщиковъ и поступилъ съ ними по всей строгости (есть такія плоскодонныя головы, которыя и этимъ хвалятся!):—скажите, пожалуйста, какимъ образомъ вы умѣете отличить зачинщиковъ?—Администраторъ вытаращилъ глаза и, повидимому, изумился, какъ это ему никогда не приходилъ въ голову подобный вопросъ. — Вы, можетъ быть, отличаете ихъ по волосамъ: одинъ разъ зачинщики—бѣлокурые, другой разъ—брюнеты?—Администраторъ побагровѣлъ отъ злости, но удовлетворительнаго отвѣта не далъ. Увы! я и самъ до сихъ поръ не знаю, какіе отличительные наружные признаки зачинщика. Мнѣ все сдается, что зачинщикъ — время, и что его-то именно и слѣдуетъ подвергнуть полицейскому взысканію. Очень можетъ быть, что я ошибаюсь"... Возможность исключительныхъ случаевъ, вызывающихъ полицейскія мѣры, Салтыковъ признаетъ, но думаетъ, что они почти всегда могли бы быть предупреждены *своевременнымъ* увѣщаніемъ и соглашеніемъ. Въ самомъ своемъ началѣ безпорядокъ можетъ быть прекращенъ гораздо легче, чѣмъ тогда, когда онъ уже успѣлъ, такъ сказать, организоваться. Конечно, услѣдить за чуть примѣтными зачатками безпокойства довольно трудно; но власть не для того существуетъ, чтобы дѣйствовать спустя рукава. Отвѣтственности за безпорядки должны подлежать, поэтому, не только крестьяне, но и учрежденія или лица, допустившія развитіе безпорядковъ. Салтыковъ вполнѣ убѣжденъ, что даже и въ серьезныхъ случаяхъ мѣры, не выходящія изъ предѣловъ законности, принесутъ пользу несравненно болѣе дѣйствительную и прочную, чѣмъ мѣры „экстренныя". Впечатлѣнія, вызванныя употребленіемъ силы, болѣе интенсивны, но менѣе продолжительны. Самая медленность законной процедуры имѣетъ свою хорошую сторону, потому что даетъ раздраженію время притупиться, а лицу дѣйствующему противъ этого раздраженія позволяетъ оглядѣться и приступить къ искорененію зла съ полнымъ знаніемъ его сущности... Въ заключеніе Салтыковъ выска-

*

зывается за гласность засѣданій губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій и за доведеніе особыхъ мнѣній, подаваемыхъ членами этихъ присутствій, до свѣдѣнія центральной власти.

Непосредственнымъ продолженіемъ этой статьи является небольшая замѣтка, посвященная спеціально членамъ отъ дворянства въ губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіяхъ *). На нихъ въ особенности разсчитываетъ Салтыковъ для достиженія цѣлей, указанныхъ имъ раньше—для разъясненія крестьянамъ ихъ правъ и обязанностей и для предупрежденія „недоразумѣній", изъ которыхъ возникаютъ „безпорядки". Въ появленіи ихъ на мѣстѣ Салтыковъ видитъ одну изъ гарантій противъ ненавистныхъ ему полицейскихъ мѣръ. „Дѣйствіе полиціи, какъ оно до сихъ поръ представлялось въ понятіяхъ народа, есть нѣчто не успокоивающее, но даже производящее результаты совершенно противоположные... То, въ чемъ полицейская власть видитъ неповиновеніе или сопротивленіе закону, въ глазахъ добросовѣстнаго члена губернскаго присутствія можетъ принять характеръ событія, коего основа лежитъ, быть можетъ, въ неясномъ пониманіи обязанностей съ одной стороны, а быть можетъ и въ стараніи удержаться на прежней почвѣ произвола—съ другой".

Слѣдующая замѣтка Салтыкова: „Объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ", помѣщенная въ № 91 „Московскихъ Вѣдомостей" (все за тотъ же 1861 г.), написана по поводу статьи Ржевскаго (довольно извѣстнаго, въ свое время, сторонника консервативно-дворянской партіи): „Нѣсколько словъ о дворянствѣ", напечатанной въ № 11 „Нашего Времени". Статья Ржевскаго, насколько она касалась мировыхъ посредниковъ, была проникнута полнѣйшимъ, безграничнымъ оптимизмомъ. Авторъ не сомнѣвался въ безусловной пригодности новыхъ должностныхъ лицъ къ возложенному на нихъ дѣлу; онъ не допускалъ даже и мысли, чтобы кто-нибудь изъ нихъ могъ употребить во зло независимое положеніе, предоставленное имъ закономъ. Салтыковъ не раздѣляетъ этого прекраснодушія. Онъ напоминаетъ, что въ Россіи еще слишкомъ крѣпка привычка смотрѣть на всякую должность не столько съ точки зрѣнія обязанностей, съ нею сопряженныхъ, сколько съ точки зрѣнія доставляемыхъ ею личныхъ выгодъ. Слишкомъ мало распространена въ средѣ дворянства подготовка къ серьезному труду, къ пониманію крестьянскихъ интересовъ. Не даромъ

*) Такихъ членовъ въ каждомъ губернскомъ присутствіи было четыре: двое—по назначенію министра внутреннихъ дѣлъ, двое — по выбору собранія губернскаго и уѣздныхъ предводителей.

наша литература изображала помѣщиковъ либо самодурами, либо неумѣлыми мечтателями; соединеніе добрыхъ намѣреній съ умѣньемъ проводить ихъ въ жизнь встрѣчается у насъ весьма рѣдко; помѣщики въ родѣ Костанжогло существуютъ только на бумагѣ. Слишкомъ велико, наконецъ, значеніе „рекомендацій", слишкомъ много рекомендующихъ и рекомендуемыхъ. „Не дремлетъ Матрена Ивановна, не дремлетъ статскій совѣтникъ Стрекоза — и та, и другой неустанно строчатъ рекомендательныя письма. Первая рекомендуетъ своего protégé по причинѣ comme il faut, второй своего—за скромность. Матрена Ивановна — хорошая женщина, отличные подаются у нея пироги за обѣдомъ; Стрекоза припоминаетъ въ письмѣ о пріятныхъ минутахъ, тогда-то вмѣстѣ проведенныхъ. Согласитесь, что какъ-то трудно, неловко отвѣчать отказомъ на такое въ душу лѣзущее приставанье". Въ виду всего этого трудно думать, чтобы выборъ въ мировые посредники всегда и вездѣ былъ безупреченъ. И у нихъ могутъ быть слабости, коррективомъ которыхъ должна служить строгая отвѣтственность. Независимому положенію мировыхъ посредниковъ Салтыковъ сочувствуетъ вполнѣ, но протестуетъ противъ смѣшенія независимости съ безотвѣтственностью. Законъ „оградилъ мировыхъ посредниковъ отъ придирчивости вліянія мѣстной власти на дѣйствія ихъ и убѣжденія, но не снялъ съ нихъ отвѣтственности за послѣдствія тѣхъ и другихъ". Иначе въ дѣятельности мировыхъ посредниковъ сталъ бы господствовать тотъ же произволъ, какимъ отличалась у насъ до тѣхъ поръ вся дѣятельность администраціи. Правда, привлечь мирового посредника къ отвѣту можетъ только сенатъ—но возбудить вопросъ о такомъ привлеченіи зависитъ отъ губернскаго начальства, и если оно не пользуется, въ случаѣ надобности, своимъ правомъ, то въ этомъ заключается явное нарушеніе обязанности. Салтыковъ разсчитываетъ впрочемъ не на одну только служебную отвѣтственность посредниковъ. Онъ предлагаетъ организацію ежегодныхъ губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, замѣчая, что нѣчто подобное было устроено въ одной изъ внутреннихъ губерній (вѣроятно, Тверской) по отношенію къ судебнымъ слѣдователямъ. На съѣздѣ, по его мнѣнію, мировымъ посредникамъ слѣдовало бы не только обмѣниваться мыслями и совѣщаться о возникающихъ въ ихъ практикѣ вопросахъ, но и представлять отчетъ о всей своей дѣятельности. Журналы посредниковъ одного уѣзда могли бы быть повѣряемы посредниками другого уѣзда. Кромѣ посредниковъ, участіе въ губернскомъ съѣздѣ должны были бы принимать члены губернскаго крестьянскаго

присутствія и правительственные члены уѣздныхъ мировыхъ съѣздовъ. Результаты совѣщаній съѣзда и повѣрки отчетовъ слѣдовало бы публиковать въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. „Мы убѣждены,—говоритъ Салтыковъ,—что одна мысль о возможности взаимной повѣрки дѣйствій мировыхъ посредниковъ много очиститъ этотъ рождающійся у насъ институтъ. Надъ нею задумается не одинъ изъ сторонниковъ идеи самоуправленія, переложеннаго на русскіе нравы; не одинъ изъ тѣхъ, которые въ юношескомъ восторгѣ повторяли другъ другу: mon cher, nous sommes indépendants! оставитъ свою затѣю и уѣдетъ восвояси пасти гусей. Но за то тѣ, которые останутся, будутъ дѣйствительно хорошими и полезными мировыми посредниками".

Почти одновременно съ статьей объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ написана Салтыковымъ статья: „Гдѣ истинные интересы дворянства". Она также начинается возраженіемъ Ржевскому. „Покуда г. Ржевскій приглашаетъ дворянъ воспользоваться какимъ-то единственнымъ въ исторіи случаемъ, чтобы утвердить свое политическое преобладаніе надъ прочими сословіями, благоразумнѣйшіе и образованнѣйшіе изъ дворянъ помышляютъ не о преобладаніи и даже не о томъ, чтобы удержаться, такъ сказать, на поверхности возникающаго въ Россіи земства, а о томъ, чтобы просто-на-просто сдѣлаться членами этого земства—членами не случайными, признающими за собой только право, а не обязанности, но дѣйствительными членами, связанными съ земствомъ всей совокупностью условій, налагаемыхъ этимъ званіемъ. И это весьма понятно. Какими бы правами ни пользовалось извѣстное сословіе, дѣйствительная сила свободнаго государства лежитъ въ земствѣ. Тамъ источникъ матеріальнаго его благосостоянія; тамъ же залоги дальнѣйшаго его политическаго и умственнаго развитія. Оторваться отъ всего этого—значило бы оторваться отъ общей жизни государства, значило бы стать въ классъ бобылей, тотъ самый классъ, въ который нѣкоторые благодѣтели человѣческаго рода такъ усердно хлопотали пристроить крестьянъ". Въ Россіи необходимость дружной, единодушной работы всѣхъ общественныхъ силъ понималась до сихъ поръ довольно слабо: помѣхи и преграды такая работа встрѣчала со всѣхъ сторонъ. „Тутъ сословія, тамъ вѣдомства, тутъ чины, тамъ гильдіи и разряды: все помѣшается, все предъявляетъ свои особенныя права, на къ чему нельзя приступиться, не сдѣлавши напередъ особеннаго и совершенно безсмысленнаго маневра. Однако русскій человѣкъ покладистъ, привыкъ ко всему. Привыкъ и къ маневрамъ,—такъ привыкъ, что безъ нихъ ему и жизнь не въ жизнь: все равно,

что безъ клоповъ спать и безъ тараканов щи хлебать. И еслибы расплодившіяся въ Петербургѣ коммиссіи не доказали намъ фактически, что мы ежечасно приносимъ въ жертву наши интересы нѣкоторому чудовищу, именуемому гилью, то мы и до сихъ поръ были бы вполнѣ довольны своей судьбой". Искусственныя дробленія, созданныя администраціей, ею же могутъ быть и уничтожены. Съ этимъ уничтоженіемъ не легко примириться большинству, — а между тѣмъ примиреніе необходимо. Съ отмѣной крѣпостного права сословные интересы дворянства потеряли прежнее значеніе. „Напрасно толпа (увы! въ каждомъ сословіи, какъ бы высоко оно ни было поставлено, есть своя толпа!) старается удержаться за немногія крохи, упавшія съ паскудной трапезы крѣпостного права и несметенныя лишь по недоразумѣнію; напрасно философы и юристы этой толпы усиливаются эскамотировать благодѣтельныя послѣдствія реформы, придумывая новыя, обманывающія только зрѣніе формы для упроченія того же крѣпостного права. Усилія эти останутся безплодными уже потому, что они ставятъ дворянство внѣ общей жизни государства, а ему необходимо войти въ самое сердце этой жизни". Констатировавъ признаки увеличивающагося сближенія между народомъ и дворянствомъ, Салтыковъ указываетъ на единственное средство упрочить это сближеніе, сдѣлать его дѣйствительнымъ и дѣятельнымъ: помѣщикъ долженъ стать членомъ сельскаго общества и волости. Законъ этого не требуетъ, но и не воспрещаетъ, предоставляя разработку вопроса времени и общественному мнѣнію. Разрѣшеніе его въ утвердительномъ смыслѣ было бы одинаково полезно и для помѣщиковъ, и для крестьянъ, подъ однимъ только условіемъ: чтобы сближеніе было искреннее. Крестьяне съумѣютъ различить волка отъ сторожевого пса, и дѣло, испорченное однимъ, долго не поправится даже при соединенныхъ усиліяхъ многихъ. Помѣщикъ, желающій вступить въ составъ сельскаго общества и волости, долженъ предварительно окончить, путемъ выкупной сдѣлки, всѣ разсчеты съ бывшими своими крестьянами, и затѣмъ участвовать, наравнѣ съ прочими членами общества, въ платежѣ податей и повинностей, лежащихъ на обществѣ.

Статья Салтыкова вызвала возраженіе Ржевскаго (въ „Русскомъ Вѣстникѣ"), на которое, въ свою очередь, отвѣчалъ Салтыковъ. На личной сторонѣ спора, принявшаго довольно желчный характеръ, мы останавливаться не будемъ; для насъ важно въ немъ только то, что способствуетъ разъясненію мысли Салтыкова. Ржевскій назвалъ Салтыкова *бюрократомъ*. „Извѣстно мнѣ, — говоритъ по этому поводу

Салтыковъ,—что въ глазахъ Собакевичей и Маниловыхъ это ужасно ругательное слово, все равно, что *моветонъ* въ глазахъ Земляники и Ляпкина-Тяпкина. Слушать, какъ разсуждаютъ эти господа о централизаціи и бюрократіи, бываетъ по истинѣ уморительно. Одинъ доказываетъ, что децентрализація заключается въ учрежденіи сатрапій; другой мнитъ, что децентрализація въ томъ состоитъ, чтобы водку во всякое время пить. Что такое бюрократъ?—спрашиваетъ Мижуевъ.— А вотъ, братецъ, объясняетъ Ноздревъ: хочу я, напримѣръ, теперь водки выпить — анъ тутъ бюрократъ: стой, говоритъ, водку велѣно пить въ двѣнадцать часовъ, а не теперь... Меня, однакожъ, это слово отнюдь не пугаетъ; во-первыхъ, оно выражаетъ собою принципъ, котораго участіе въ жизненныхъ отправленіяхъ государства столь же необходимо, какъ и участіе земства, а во-вторыхъ, я сомнѣваюсь, чтобы даже наученѣйшіе изъ Ноздревыхъ могли удовлетворительно объяснить, какое отношеніе имѣетъ понятіе о бюрократіи собственно къ русской почвѣ. Гдѣ взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократію, отдѣльную отъ русскаго дворянства—это тайна, разгадки которой слѣдуетъ искать въ трущобахъ сердецъ ноздревскихъ. Быть можетъ, ихъ сбило съ толку наше подъячество; но оно представляетъ собою не бюрократію, а скорѣе пародію на адвокатуру, и стоитъ въ самомъ чиновничествѣ (дворянство тожъ) такимъ особнякомъ, что служитъ для него предметомъ постоянныхъ потѣхъ и насмѣшекъ. Называя меня бюрократомъ, г. Ржевскій, очевидно, не сознавалъ, что употребляетъ выраженіе, которому въ русской жизни нѣтъ соотвѣтствующаго понятія. Въ Россіи, какъ между служащимъ дворянствомъ, такъ и между неслужащимъ (но служившимъ), могутъ быть ералашисты, могутъ быть преферансисты, могутъ быть даже люди весьма серьезные и начитанные, но бюрократіи, какъ корпораціи дисциплинированной, служащей опредѣленнымъ цѣлямъ, нѣтъ и быть не можетъ, по той естественной причинѣ, что нѣтъ еще въ виду земства. Ужели гоголевскій губернаторъ, отлично вышивающій по канвѣ, можетъ быть названъ бюрократомъ? Нѣтъ, воля ваша, это совсѣмъ не бюрократъ; это патріархъ, бесѣдующій съ пасомымъ имъ стадомъ въ халатѣ, запросто, и только въ указанные дни натягивающій на себя досадный мундиръ"... Именуя Салтыкова *образцомъ благорасположенія начальствующихъ лицъ*, Ржевскій обвинялъ его въ томъ, что онъ хлопочетъ о распространеніи на мировыхъ посредниковъ *неделикатныхъ стѣсненій*, на которыя губернскія власти имѣютъ право во всемъ касающемся исправниковъ и становыхъ. „Отвращеніе, которое

я питаю къ неделикатнымъ отношеніямъ, — отвѣчаетъ на это Салтыковъ, — достаточно доказывается всей моей литературной дѣятельностью, которая почти исключительно направлена къ обнаруженію ихъ нелѣпости". Намекалъ Ржевскій и на то, что Салтыковъ „увлекается направленіемъ извѣстной школы реформаторовъ, желающихъ во что̀ бы то ни стало благодѣтельствовать низшимъ классамъ". Салтыковъ, приводя эти слова, сопровождаетъ ихъ комментаріемъ: „вотъ оно, истинное-то значеніе слова *бюрократъ*"! Заключеніе отвѣтной статьи Салтыкова посвящено подробному развитію мысли о губернскихъ съѣздахъ мировыхъ посредниковъ. Ржевскій старался осмѣять эту мысль, представляя ее въ такомъ видѣ, что одни мировые посредники, повѣряя другихъ, будутъ просить ихъ „быть старательнѣе, писать четче, не капать чернилами и т. п." Не смущаясь этими претензіями на остроуміе, Салтыковъ поясняетъ свой проектъ цѣлымъ рядомъ наглядныхъ примѣровъ. „Вообразите себѣ,—говоритъ онъ, — что такой-то посредникъ замѣчается въ излишнемъ пристрастіи къ тѣлеснымъ наказаніямъ. Губернскій съѣздъ, свѣдавъ о подобномъ явленіи, можетъ однимъ молчаніемъ своимъ весьма краснорѣчиво выразить свое неодобреніе подобному пристрастію. Другой посредникъ слишкомъ часто прибѣгаетъ для разрѣшенія недоразумѣній къ вмѣшательству полиціи; губернскій съѣздъ можетъ сдѣлать только: *гм!* и, конечно, посредникъ, о которомъ идетъ рѣчь, хорошо пойметъ значеніе этого *гм*". Салтыковъ не желаетъ, чтобы мысль о губернскихъ съѣздахъ была осуществлена приказаніемъ свыше; ему хотѣлось бы, чтобы она была принята посредниками motu proprio, безъ всякаго принужденія.

Послѣдняя замѣтка Салтыкова направлена противъ новаго отвѣта, напечатаннаго Ржевскимъ въ № 30 „Современной Лѣтописи" (такъ называлось тогда еженедѣльное прибавленіе къ „Русскому Вѣстнику"). Въ этомъ отвѣтѣ Ржевскимъ было дано слѣдующее опредѣленіе бюрократіи: „безпрерывная регламентація, безпрерывное вмѣшательство въ частную жизнь, стремленіе замѣнить не только жизнь, но и самую совѣсть предписаніями начальства". „Гораздо справедливѣе и проще было бы сказать,—возражаетъ Салтыковъ, — что бюрократія представляетъ собою въ государствѣ органъ центральной власти, которая въ свою очередь служитъ представительницей интересовъ и цѣлей государственныхъ... Г. Ржевскій напрасно беретъ на себя трудъ формулировать мою мысль такъ: вездѣ, гдѣ нѣтъ земства, господствуетъ бюрократія. Нѣтъ, я сказалъ и желалъ сказать:

гдѣ нѣтъ земства, тамъ нѣтъ и бюрократіи, а есть чепуха, есть безконечная путаница понятій и отношеній, при существованіи которыхъ всякій отдѣльный общественный дѣятель получаетъ возможность играть въ свою собственную дудку"... Ржевскій обвинялъ Салтыкова въ неуваженіи къ общественному мнѣнію. Отвергая это обвиненіе, Салтыковъ замѣчаетъ, что и по отношенію къ общественному мнѣнію не всегда подобаетъ играть роль Молчалина. „Бываютъ общества, гдѣ эксплуатація человѣка человѣкомъ, біеніе по зубамъ и пр. — считаются не только обыденнымъ дѣломъ, но даже разсматриваются мѣстными философами и юристами съ точки зрѣнія права. Благоговѣть передъ мнѣніями такихъ обществъ было бы не только безразсудно, но и безсмысленно".

Прежде чѣмъ сказать нѣсколько словъ по поводу шести вкратцѣ изложенныхъ нами статей Салтыкова, замѣтимъ, что вопросъ о значеніи административной власти, о ея правахъ и обязанностяхъ, объ отношеніяхъ ея къ обществу и земству не переставалъ интересовать Салтыкова и много лѣтъ спустя, когда онъ окончательно оставилъ службу и всецѣло посвятилъ себя литературѣ. Въ его бумагахъ нашлось нѣсколько нумеровъ „Московскихъ Вѣдомостей" и „Современной Лѣтописи" 1870 г., въ которыхъ напечатана замѣтка о губернаторахъ, по поводу тогдашняго проекта административной реформы. Свѣдѣнія, заключавшіяся въ этой замѣткѣ, должны были, очевидно, послужить Салтыкову матеріаломъ для статьи, отъ которой сохранилось въ рукописи только начало, вмѣстѣ съ наброскомъ программы дальнѣйшаго изложенія. Основная мысль статьи, предназначавшейся, вѣроятно, для „Отечественныхъ Записокъ", заключалась, повидимому, въ томъ, что губернаторская власть подлежитъ не усиленію (какъ тогда предполагалось), а введенію въ законные предѣлы. „Власть губернаторовъ,—говоритъ Салтыковъ,—въ настоящее время настолько обширна, что усилить ее нѣтъ возможности. Какъ расширить тò, чтò уже само по себѣ не имѣетъ точныхъ границъ? Когда все дано, то трудно себѣ представить, чтобы существовало что-нибудь такое, чтò было бы болѣе этого всего".

Публицистическія статьи Салтыкова, напечатанныя въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" 1861 г., замѣчательны, прежде всего, уже тѣмъ, что появились въ свѣтъ за полною его подписью. Онъ не счелъ нужнымъ скрыться даже подъ прозрачнымъ псевдонимомъ Щедрина, къ которому такъ часто прибѣгалъ въ другихъ случаяхъ. Онъ не могъ не знать, что его статьи многихъ раздражатъ, многихъ испугаютъ,

подвергнутся злостнымъ перетолкованіямъ, — и несмотря на го, или именно потому, выступилъ на сцену съ поднятымъ забраломъ. Это было почти равносильно отказу отъ дальнѣйшей административной карьеры *). Въ вѣдомствѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, гдѣ служилъ тогда Салтыковъ, охлажденіе къ только-что совершившейся реформѣ наступило весьма быстро, и горячая ея защита не могла нравиться власть имущимъ лицамъ. Когда Салтыковъ утверждалъ, что „недоразумѣнія" между помѣщиками и крестьянами почти всегда могутъ быть покончены миролюбиво, путемъ увѣщанія и соглашенія, его слова должны были показаться косвеннымъ осужденіемъ „экстренныхъ мѣропріятій", которыми былъ такъ богатъ 1861 годъ. Когда онъ предлагалъ устройство губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, его могли обвинить въ стремленіи поставить общественный контроль на мѣсто или выше правительственнаго надзора. Когда онъ рекомендовалъ дворянамъ вступленіе въ составъ сельскаго общества и волости, его могли заподозрить въ ультра-демократическихъ тенденціяхъ, въ непризнаніи границъ, установленныхъ обычаемъ и закономъ. Не останавливаясь передъ подобными соображеніями, Салтыковъ рѣшился высказать, по возможности, все то̀, что̀ накопилось у него на душѣ во время службы въ двухъ центральныхъ губерніяхъ. Онъ видѣлъ, какую массу дурныхъ чувствъ возбудило освобожденіе крестьянъ, какими опасностями и затрудненіями окружено новое дѣло. Онъ зналъ, что всѣ огорченные и обиженные реформой стоятъ на стражѣ „недоразумѣній", чтобы тотчасъ же закричать о необходимости экстренныхъ полицейскихъ мѣръ, а потомъ изъ самаго факта принятія этихъ мѣръ вывести заключеніе о преждевременности освобожденія. Настаивая на миролюбивомъ прекращеніи „недоразумѣній", Салтыковъ касался именно того вопроса, который имѣлъ тогда наибольшую важность; онъ указывалъ тотъ единственный путь, на которомъ было возможно безостановочное и безпрепятственное движеніе впередъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что многіе изъ крестьянскихъ „бунтовъ", омрачившихъ великій 1861 годъ, могли быть предупреждены своевременнымъ, *терпѣливымъ* разъясненіемъ новыхъ поземельныхъ и личныхъ отношеній — а чѣмъ меньше было бы бунтовъ, тѣмъ меньше было бы матеріаловъ для реакціи, первые признаки которой замѣчаются уже въ 1862 году.

---

*) Комическое впечатлѣніе производитъ, поэтому, намекъ Ржевскаго на желаніе Салтыкова сдѣлаться „крутогорскимъ" губернаторомъ.

Обвиненіе Салтыкова въ бюрократизмѣ возбуждаетъ невольную улыбку, въ особенности теперь, когда записка объ устройствѣ полиціи познакомила насъ съ взглядами Салтыкова на задачи и пріемы управленія. И тогда впрочемъ нетрудно было понять, что защитникъ гласности и общественнаго контроля, систематическій противникъ „экстренныхъ" мѣръ не имѣетъ ничего общаго съ бюрократомъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ понималъ это слово оппонентъ Салтыкова—Ржевскій. Отличительный признакъ истаго бюрократа — это недовѣріе къ суду и къ обществу, а Салтыковъ требовалъ формальной отвѣтственности посредниковъ передъ судомъ, нравственной отвѣтственности ихъ передъ обществомъ. Огражденію мировыхъ посредниковъ отъ административнаго усмотрѣнія онъ сочувствовалъ вполнѣ; онъ хотѣлъ только, чтобы надзоръ сената не былъ пустымъ словомъ и чтобы къ нему присоединялся надзоръ товарищей, соединяемыхъ этимъ самымъ въ одну крѣпко сплоченную корпорацію. Какимъ же образомъ могло случиться, что къ Салтыкову была примѣнена столь мало подходящая къ нему кличка бюрократа? Объясняется это, какъ намъ кажется, довольно просто. Мировые посредники, какъ извѣстно, могли быть избираемы только изъ числа дворянъ-землевладѣльцевъ, т.-е. изъ числа бывшихъ помѣщиковъ. Естественно было предполагать, что они будутъ дѣйствовать, большею частью, въ интересахъ своего сословія. Кто желалъ этого, тотъ настаивалъ, подобно Ржевскому, на возможно большей независимости мировыхъ посредниковъ, на возможно большемъ нейтралитетѣ представителей власти, лично не заинтересованныхъ въ дѣлѣ переустройства аграрныхъ отношеній и потому, сравнительно, безпристрастныхъ. Кто, наоборотъ, опасался односторонняго покровительства помѣщичьимъ интересамъ, тотъ, подобно Салтыкову, искалъ гарантій противъ посредническаго произвола и находилъ ихъ въ разныхъ формахъ отвѣтственности. Открыть свои карты сторонникамъ помѣщичьихъ интересовъ было не совсѣмъ удобно; и вотъ, зная недовѣріе тогдашняго общества къ администраціи, нерасположеніе его къ принципу правительственнаго вмѣшательства, они пускаютъ въ ходъ страшное словечко: *бюрократъ*. Бюрократами слыли тогда, въ извѣстныхъ сферахъ, Николай Милютинъ, Яковъ Соловьевъ и другіе дѣятели редакціонныхъ коммиссій; неудивительно, что къ тому же сонму оказался сопричисленнымъ и Салтыковъ, и столь же понятно, что онъ отнесся довольно хладнокровно къ этому сопричисленію. Истинный его смыслъ сдѣлается для насъ совершенно понятнымъ, если мы припомнимъ, что Салтыковъ изобличался одновременно

въ бюрократизмѣ и въ сочувствіи „извѣстной школѣ реформаторовъ, желающихъ во что бы то ни стало благодѣтельствовать низшимъ классамъ населенія“... Слабымъ пунктомъ въ полемикѣ Салтыкова противъ Ржевскаго кажется намъ одно лишь теоретическое опредѣленіе бюрократіи и противопоставленіе ея земству. Администрація, предоставляющая земству широкую свободу въ завѣдываніи мѣстными дѣлами и удерживающая за собою, въ общегосударственныхъ интересахъ, только общій контроль надъ дѣятельностью земства, едва-ли можетъ быть названа бюрократіей. Характеристическіе признаки бюрократіи совсѣмъ другіе: это—высокомѣрное отношеніе къ „ограниченному уму“ простыхъ гражданъ, стремленіе къ вездѣсущію и всевластію чиновничества, безусловная вѣра въ спасительную силу запрещеній и предписаній. Господство бюрократіи, съ этой точки зрѣнія, вполнѣ возможно и тамъ, гдѣ нѣтъ земства. Въ до-реформенной Россіи преобладала бюрократія грубая, первобытная, неумѣлая, но все-таки бюрократія, къ которой принадлежали, до извѣстной степени, и „даровые полиціймейстеры“, т.-е. помѣщики, какъ начальники надъ своими крѣпостными. Ошибка Салтыкова заключалась, впрочемъ, исключительно въ неправильномъ выборѣ термина. Въ своихъ газетныхъ статьяхъ, какъ и въ запискѣ о переустройствѣ полиціи, онъ исходилъ изъ совершенно правильнаго пониманія взаимныхъ отношеній администраціи и земства. Мысли его по этому предмету и въ послѣдующее время—можно сказать—сохранили всю свою цѣну и далеко не утратили прежней своей силы.

Намъ могутъ замѣтить, что дѣятельность мировыхъ посредниковъ перваго призыва, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, не давала повода къ подозрѣніямъ, съ которыми относился къ ней Салтыковъ. Совершенно справедливо; но изъ того, что̀ мы это видимъ *теперь*, еще не слѣдуетъ, что это должны были видѣть и современники. Надежды крѣпостниковъ оказались тщетными, но это еще не значитъ, что онѣ не существовали. Уже одно то обстоятельство, что за возможно бо̀льшую безотвѣтственность посредниковъ стояли такіе публицисты, какъ Ржевскій, оправдываетъ недовѣрчивость Салтыкова. Въ первой половинѣ 1861 года, къ которой относятся его статьи, нельзя было еще предугадать общій характеръ дѣятельности новыхъ учрежденій, а отдѣльные случаи злоупотребленій или бездѣйствія власти, подъ вліяніемъ которыхъ, очевидно, писалъ Салтыковъ, позволяли опасаться широкаго развитія подобныхъ явленій. Въ чемъ Салтыковъ былъ правъ безусловно—это въ проповѣди сближенія между помѣщиками и крестья-

нами и въ указаніи путей, къ нему ведущихъ. Обязательное включеніе помѣщиковъ въ составъ сельскаго общества и волости, если оно состоялось вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ, принесло бы болѣе вреда, чѣмъ пользы; крестьяне, привыкшіе повиноваться, слишкомъ легко могли бы подпасть подъ исключительное вліяніе своихъ недавнихъ господъ. Другое дѣло — добровольное присоединеніе помѣщика, покончившаго всѣ разсчеты съ бывшими крѣпостными. Оно дало бы сельскимъ обществамъ и волостямъ дружественныхъ совѣтниковъ и руководителей, въ которыхъ они тогда такъ нуждались, и послужило бы естественнымъ переходомъ къ созданію настоящей всесословной волости, своевременное осуществленіе которой послужило бы залогомъ правильнаго развитія нашей государственной и общественной жизни.

9-го февраля 1862 г., Салтыковъ въ первый разъ вышелъ въ отставку. Сначала онъ хотѣлъ поселиться въ Москвѣ и основать тамъ двухнедѣльный журналъ; но когда ему это, какъ мы увидимъ, не удалось, онъ переѣхалъ въ Петербургъ и съ начала 1863 г. сдѣлался, de facto, однимъ изъ редакторовъ „Современника". Нѣсколько раньше—повидимому, въ концѣ 1862 г.—онъ написалъ „Замѣчанія на проектъ устава о книгопечатаніи", составленный въ это время особой коммиссіей при министерствѣ народнаго просвѣщенія, подъ предсѣдательствомъ князя Д. А. Оболенскаго (впослѣдствіи этотъ проектъ былъ пересмотрѣнъ другой коммиссіей, учрежденной при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, и послужилъ основаніемъ закона 6-го апрѣля 1865 г.). Замѣчанія на проектъ—черновая рукопись ихъ сохранилась въ бумагахъ Салтыкова—начинаются съ указанія на общіе его недостатки. По мнѣнію Салтыкова, они заключаются въ слѣдующемъ: 1) Проектъ направленъ исключительно къ огражденію отъ злоупотребленія печатнымъ словомъ. Въ этомъ убѣждала его та предусмотрительность, съ которою цензура вооружалась не столько для преслѣдованія преступленій совершившихся, сколько для предупрежденія преступленій воображаемыхъ. Такая предусмотрительность,—писалъ онъ,—можетъ быть умѣстной только во Франціи, гдѣ вся внутренняя политика устремлена исключительно къ охраненію династическихъ интересовъ Наполеона III, или въ странахъ покоренныхъ и потому находящихся на военномъ положеніи. 2) Не представляя ничего существенно новаго, проектъ замѣняетъ лишь произволъ безпорядочный, существовавшій доселѣ, произволомъ систематическимъ и формально узаконеннымъ (право высшей администраціи разрѣшать или не разрѣшать періодическое изданіе, принимать или не принимать

мнѣніе главнаго управленія относительно административныхъ взысканій или преданія суду). Коррективомъ произвола, дѣйствовавшаго безъ правилъ и даже безъ права, могли служить личныя послабленія; на будущее время нельзя разсчитывать даже на этотъ коррективъ. 3) Предварительная цензура, оставляемая въ силѣ для многихъ произведеній печати, будетъ строже, чѣмъ прежде, потому что дозволенная цензурой книга все-таки можетъ быть запрещена, съ отвѣтственностью цензора за убытки, понесенные издателемъ или авторомъ. 4) Проектъ имѣетъ видъ сколка съ французскаго (наполеоновскаго) законодательства о печати. Хотя коммиссія изучила даже бразильское законодательство, но сердце ея, очевидно, лежало къ французскому. При существующемъ въ публикѣ мнѣніи насчетъ зависимыхъ отношеній нашего правительства къ французскому,—говоритъ Салтыковъ,—едва-ли было бы желательно, чтобы законодательство о книгопечатаніи представляло подтвержденіе этой мысли *). 5) Коммиссія не должна забывать, что въ публикѣ ожидается законъ, облегчающій свободу слова, а не такой, который регламентируетъ лишь способы стѣсненія ея. Не должно скрывать отъ себя также, что въ публикѣ и безъ того ходятъ преувеличенные слухи о вліяніи правительства на направленіе литературы: не лишнее было бы, чтобы новое законодательство ослабило эту мысль, принявъ за исходный пунктъ возможность существованія въ Россіи самостоятельной литературы. Подобное признаніе произведетъ впечатлѣніе выгодное и для самого правительства, которое не настолько слабо, чтобы публично сознаваться въ неимѣніи другихъ средствъ защиты.

Отъ общихъ замѣчаній на весь проектъ Салтыковъ переходитъ къ разбору отдѣльныхъ его статей, а также нѣкоторыхъ изъ числа соображеній, которыми руководилась составлявшая его коммиссія. Необходимость особенно строгихъ предупредительныхъ мѣръ по отношенію къ періодическимъ изданіямъ коммиссія мотивировала, между прочимъ, тѣмъ, что эти изданія дѣйствуютъ непрерывно, систематически, образуя цѣлое направленіе, неуловимое для преслѣдованія. „Что это за направленіе,—спрашиваетъ Салтыковъ,—которое всѣ чувствуютъ, но уловить не могутъ? Положительно можно сказать, что такихъ направленій нѣтъ и быть не можетъ, *преимущественно* въ

*) Салтыковъ намекаетъ здѣсь, вѣроятно, на упорно державшійся въ обществѣ, хотя и явно нелѣпый слухъ о вліяніи французскаго правительства на освобожденіе крестьянъ. Предположеніямъ о „зависимости“ положили конецъ знаменитыя апрѣльскія ноты кн. Горчакова (1863 г.) по польскому вопросу.

журналахъ и газетахъ. Журналъ и газета имѣютъ дѣло съ *фактомъ*, съ подробностями общественной жизни; связанные этимъ, они волей или неволей должны высказываться опредѣлительно, такъ какъ въ противномъ случаѣ потеряютъ всякое значеніе для публики". Дѣйствовать посредствомъ направленія, выражающагося въ умолчаніи, въ неясныхъ намекахъ, можетъ только подцензурная, несвободная печать; при свободѣ печати кто же станетъ подписываться на изданіе, потчующее *направленіемъ*, тогда какъ рядомъ съ нимъ другой органъ печати обсуждаетъ жизненные факты ясно и безбоязненно?.. Коммиссія опасалась, далѣе, что журналамъ и газетамъ удастся утомить преслѣдующую власть, выходя за предѣлы дозволеннаго безпрестанно, но не слишкомъ далеко и не слишкомъ замѣтно. „Неужели, — возражаетъ на это Салтыковъ, — наша литература имѣетъ такое громадное развитіе, что можетъ даже утомить силы преслѣдующей власти? И что же такое эта преслѣдующая власть, которая такъ скоро утомляется?" Не имѣетъ никакихъ основаній, по мнѣнію Салтыкова, право администраціи освобождать или не освобождать періодическое изданіе отъ предварительной цензуры. Если и смотрѣть на слово какъ на нѣчто въ родѣ смертоноснаго орудія, „то все-таки нельзя отнимать у писателей право, которымъ обладаетъ всякій разбойникъ: право подвергать себя наказанію за совершонное преступленіе". Право автора и издателя такихъ произведеній, которыя освобождены отъ предварительной цензуры, подчиняться ей добровольно—Салтыкову кажется излишнимъ. „Какая надобность правительству предлагать свою опеку для всѣхъ нищихъ духомъ? Вѣдь не учреждаетъ же оно особой палаты для управленія тѣми имѣніями, владѣльцы которыхъ не умѣютъ извлечь изъ нихъ всѣхъ выгодъ". Во-вторыхъ, благонамѣренные издатели могутъ, если встрѣтятъ сомнѣніе въ своей благонамѣренности, посовѣтоваться съ своими пріятелями, а не затруднять правительство. Въ-третьихъ, наконецъ, проектируемый порядокъ можетъ породить въ литературѣ „дурныя привычки": могутъ найтись люди, подчиняющіеся цензурѣ съ цѣлью заявить о своей благонамѣренности. Чѣмъ больше найдется такихъ людей, тѣмъ болѣе подозрительными будутъ казаться послѣдующіе ихъ примѣру... Отъ перехода цензуры въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ Салтыковъ не ожидалъ пользы для литературы. Литература—одинъ изъ могущественнѣйшихъ рычаговъ народнаго просвѣщенія; слѣдовательно ей и приличнѣе было бы оставаться въ вѣдомствѣ того министерства, которое завѣдуетъ просвѣщеніемъ. Во всякомъ случаѣ слѣдовало, по крайней мѣрѣ, сдѣлать въ ограж-

денію интересовъ науки и литературы. „Что сдѣлано въ этомъ отношеніи проектомъ?“—спрашиваетъ Салтыковъ. „Предположено учредить при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ совѣтъ главнаго управленія по дѣламъ печати. Изъ кого онъ долженъ состоять? Изъ предсѣдателя и членовъ, назначаемыхъ министромъ. Какія права членовъ? Право представлять министру свои замѣчанія и видѣть ихъ оставленными безъ вниманія“... Гораздо цѣлесообразнѣе было бы „наблюдательное учрежденіе“, пользующееся извѣстною степенью независимости и самостоятельности—другими словами, избираемое самими литераторами. Противъ такого избранія Салтыковъ предвидитъ два возраженія: *первое*—что литераторы стали судьями въ собственномъ дѣлѣ, *второе* — что нѣтъ литературной корпораціи, которой могло бы быть поручено производство выборовъ. Первое изъ этихъ возраженій Салтыковъ опровергаетъ тѣмъ, что „литература нигдѣ и ни въ какія времена не составляетъ однороднаго цѣлаго; напротивъ, въ ней имѣются самые разнообразные оттѣнки, начиная отъ крайне консервативнаго до крайне оппозиціоннаго. Нѣтъ никакого основанія думать, чтобы изъ выборовъ вышли люди крайностей, по той простой причинѣ, что крайняя партія прежде всего опасается торжества партіи ей противоположной“. Отсюда вѣроятность соглашенія на чемъ-либо среднемъ, представляющемъ большія гарантіи безпристрастія. Подтвержденіе этого предположенія Салтыковъ видитъ въ составѣ комитета литературнаго фонда. Что касается до второго возраженія, то Салтыковъ считаетъ вполнѣ возможнымъ созывъ представителей отъ существующихъ органовъ русскаго слова — по два отъ большихъ и по одному отъ менѣе значительныхъ. Составленный такимъ образомъ совѣтъ пользовался бы безусловнымъ довѣріемъ литературы и былъ бы въ то же время соединяющимъ звеномъ между правительствомъ и общественнымъ мнѣніемъ.

Возражая противъ той статьи проекта, которою разрѣшеніе или неразрѣшеніе новыхъ періодическихъ изданій ставилось въ зависимость отъ усмотрѣнія администраціи, Салтыковъ считаетъ ее, прежде всего, излишней, въ виду другихъ предупредительныхъ и репрессивныхъ мѣръ, установляемыхъ проектомъ. Каждое новое изданіе увеличитъ количество труда, лежащаго на министерствѣ; отсюда вѣроятность неосновательныхъ отказовъ—а между тѣмъ отказъ равносиленъ сопричисленію просителя къ разряду людей неблагонамѣренныхъ. „Пишущій эти строки,—продолжаетъ Салтыковъ,—на себѣ испыталъ неудобство такого порядка вещей. Въ апрѣлѣ настоящаго (очевидно, 1862) года онъ просилъ, черезъ московскій цензурный комитетъ, разрѣшенія на

изданіе въ Москвѣ двухнедѣльнаго журнала, но г. министръ народнаго просвѣщенія не счелъ нужнымъ дать просимое разрѣшеніе на томъ основаніи, что такъ какъ разсматриваются новыя законоположенія о книгопечатаніи, то и принято за правило до окончанія этого дѣла не разрѣшать новыхъ журналовъ. Законоположенія эти до сихъ поръ не разсмотрѣны, а между тѣмъ съ тѣхъ поръ разрѣшено не мало-таки новыхъ журналовъ. Что̀ означаетъ этотъ фактъ? Не то ли, что просто-на-просто хотѣли отказать въ изданіи журнала именно Салтыкову; но почему же Салтыкову, который четырнадцать лѣтъ служилъ по министерству внутреннихъ дѣлъ, и изъ нихъ четыре года былъ вице-губернаторомъ? Салтыковъ могъ, на общемъ законномъ основаніи, принести жалобу сенату; почему же онъ не воспользовался этимъ правомъ? А потому, просто, что въ то время, когда вышелъ отказъ, онъ думалъ, что и въ самомъ дѣлѣ существуетъ какое-то правило о временномъ неразрѣшеніи журналовъ; когда же онъ впослѣдствіи убѣдился, что такого правила нѣтъ или что оно нарушается, то срокъ на подачу жалобы прошелъ". Возможность такихъ фактовъ заставляетъ Салтыкова отдать предпочтеніе австрійской системѣ, требующей отъ редактора только одного условія: безукоризненной нравственности. Чтобы отказать въ разрѣшеніи на изданіе, правительство, при этой системѣ, должно доказать претенденту на редакторство его безнравственность. „Если оно докажетъ это—ну, и съ Богомъ; по крайней мѣрѣ и то утѣшительно, что въ Австріи разговариваютъ, а то такъ, безъ разговоровъ... Это уже слишкомъ легко!"... Остальныя замѣчанія Салтыкова, мотивированныя гораздо короче, направлены противъ требованія залога отъ подцензурныхъ изданій, противъ проектированнаго порядка разрѣшенія типографій и повѣрки производимыхъ въ типографіи работъ и противъ безапелляціонности административныхъ взысканій, налагаемыхъ на органы печати. Были ли представлены кому-либо замѣчанія Салтыкова на проектъ устава о книгопечатаніи, и если были, то кому именно—не знаемъ. По всей вѣроятности они не были оставлены имъ подъ спудомъ и имѣлись въ виду при дальнѣйшей разработкѣ проекта. Весьма любопытно, что они не содержатъ въ себѣ ни слова противъ личной отвѣтственности писателей, противъ которой такъ сильно ратовалъ Салтыковъ въ 1880 г., когда ожидался пересмотръ законодательства о печати (т. VI, „За рубежемъ", стр. 80—82). Замѣну административныхъ каръ, направленныхъ противъ *изданія*, карами судебными, направленными противъ *автора*, Салтыковъ признаетъ здѣсь желательною только подъ слѣдующими условіями:

1) чтобы процедура преданія суду сопровожд[illegible] нымъ, а обыкновеннымъ порядкомъ; 2) чтобы [illegible] сверхъестественные, а обыкновенные, такіе же, [illegible] 3) чтобы „кутузки ни подъ какимъ видомъ по дѣламъ [illegible] не полагалось". „Ежели эти мечтанія осуществятся, — [illegible] Салтыковъ,—да еще ежели денежными штрафами не [illegible] мать будутъ, то будетъ совсѣмъ хорошо".

Въ продолженіе двухъ лѣтъ (1863 и 1864), проведенныхъ [illegible] въ редакціи „Современника", Салтыковъ писалъ чрезвычайно мно[illegible]. Только небольшая часть напечатаннаго имъ въ это время вошла въ составъ отдѣльныхъ изданій („Невинные разсказы", „Признаки времени", „Помпадуры и Помпадурши") и полнаго собранія его сочиненій. Обозрѣніе остальныхъ его статей, относящихся къ самымъ разнообразнымъ предметамъ, сдѣлано было А. Н. Пыпинымъ *).

Вотъ составленный имъ списокъ статей Салтыкова, помѣщенныхъ въ „Современникѣ" за 1863—1864 годы:

— 1863. Книги 1—2.—Невинные разсказы. I. Деревенская тишь. II. Для дѣтскаго возраста. III. Миша и Ваня. Н. Щедрина, стр. 161—208.

— Нѣсколько словъ по поводу замѣтки, помѣщенной въ октябрьской книжкѣ „Русскаго Вѣстника" за 1862 годъ, *Т—на*, стр. 1—16.

— Немного лѣтъ назадъ, романъ Лажечникова, стр. 111—123; Кремуцій Кордъ, Н. Костомарова, стр. 123—126; Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго. Воспитанница Сара. А. Вельтмана, стр. 126—129; Стихи Вс. Крестовскаго, стр. 129—136; Гражданскіе мотивы, сборн. современныхъ стихотвореній, изд. подъ редакціей А. П. Пятковскаго; Пѣсни скорбнаго поэта, стр. 136—140; Литературная подпись, А. Скавронскаго („Время" за 1862 г., № 12), стр. 140—142; О старомъ и новомъ порядкѣ и объ устроенномъ трудѣ (travail organisé) въ примѣненіи къ нашимъ помѣстнымъ отношеніямъ. Члена вольнаго экономическаго общ. Н. А. Безобразова, стр. 142—146 (разборы книгъ, безъ подписи).

— Московскія письма. I. *К. Гурина*, стр. 163—176.

— Петербургскіе театры (безъ подписи), стр. 177—198.

„ — Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 357—376.

„ Книга 3-я.—Послѣ обѣда въ гостяхъ. *Н. Щедрина*, стр. 163—174.

— Московскія письма, II. *К. Гурина*, стр. 12—22.

— Нѣсколько полемическихъ предположеній. Изъ письма въ редакцію (безъ подписи), стр. 1—10.

— Анаѳема или торжество православія и пр. Быстротокова (разборъ книги, безъ подписи), стр. 128—130.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 175—202.

„ Книга 4-я.—Нѣсколько серьезныхъ словъ, по поводу новѣйшихъ событій въ С.-Петербургѣ. М. Беницкаго; Замѣтки и отзывы „Русск. Вѣстн." 1863 г., № 1-й, стр. 285—295; Князь Серебряный. Повѣсть временъ Іоанна Грознаго, гр. А. К. Толстого (разборы книгъ, безъ подписи), стр. 295—306.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 375—402.

---

*) См. №№ 10, 11 и 12 „Вѣстника Европы" за 1889 г.

— Свистокъ: Цензоръ въ попыхахъ (лесть въ видѣ грубости). *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 12—19; Письма отца къ сыну, стр. 19—32; Московскія пѣсни объ искушеніяхъ и невинности. Гимнъ публицистовъ. Элегія. *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 32—37; Неблаговонный анекдотъ о г. Юркевичѣ или исканіе розы безъ шиповъ (безъ подписи), стр. 37—51; Секретное занятіе, комедія въ четырехъ сценахъ (безъ подписи), стр. 51—54; Пѣснь московскаго дервиша, *Михаила Зміева-Младенцева*, стр. 71—72; Сопѣлковцы, стр. 81—82; Заявленіе отъ Свистка, стр. 87—88.

1863 Книга 5-я.—Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 219—258.

„ Книга 8-я.—Какъ кому угодно. Разсказы, сцены, размышленія и афоризмы, стр. 567—610.

— Въ деревнѣ (безъ подписи), стр. 173—198.

„ Книга 9-я.—„Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!" Провинціальный романсъ въ дѣйствіи. *Н. Щедрина*, стр. 292—311.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 127—148.

„ Книга 11-я.—Петербургскіе театры. Горькая судьбина, Писемскаго (разборъ безъ подписи), стр. 90—106.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 138—164.

„ Книга 12-я.—Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 197—242

— Воля. Два романа изъ быта бѣглыхъ. А. Скавронскаго, стр. 243—252; Полное собраніе сочиненій Г. Гейне. Въ русскомъ переводѣ, изд. подъ редакціей Ѳ. Берга (разборы книгъ, безъ подписи), стр. 252—253.

— 1864. Книга 1-я.—„Здравствуй, милая, хорошая моя!" Провинціальный романсъ въ дѣйствіи, *Н. Щедрина*, стр. 42—64.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 17—48.

— Новыя стихотворенія А. Плещеева, стр. 79—82; Наши безобразники, сцены Н. Потѣхина, стр. 82—83; Сказки Марко-Вовчка, стр. 83—85 (разборы книгъ, безъ подписи).

„ Книга 2-я.—Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 17—48.

— Новыя стихотворенія А. Н. Майкова, стр. 260—271; Воздушное путешествіе черезъ Африку, Юлія Верна, переводъ съ франц., изданіе Алексѣя Головачева, стр. 289—290 (разборы книгъ, безъ подписи).

„ Книга 3-я.—„На зарѣ ты ее не буди". Романсъ, *Н. Щедрина*, стр. 189—224.

— Наша общественная жизнь (безъ подписи), стр. 27—62.

„ Книга 4-я.—Записки и письма М. С. Щепкина и проч., стр. 255—258; Моя судьба, М. Камской, стр. 258—261; Разсказы изъ записокъ стараго письмоводителя, Александра Высоты, стр. 261; Сборникъ изъ исторіи старообрядства, изд. Н. И. Попова, стр. 266—267 (разборы книгъ безъ подписи).

„ Книга 5-я.—Литературныя мелочи (безъ подписи), стр. 1—26.

— Чужая вина, комедія Ѳ. Устрялова (разборъ безъ подписи), стр. 57—59.

„ Книга 8-я.—„Она еще едва умѣетъ лепетать". *Н. Щедрина*, стр. 343—368.

— Ролла, поэма Мюссе (разборъ, безъ подписи), стр. 201—207.

„ Книга 10-я.—Въ своемъ краю. Романъ К. Н. Леонтьева, стр. 177—183 (разборъ, безъ подписи).

„ Книга 12-я.—Письмо въ редакцію М. Салтыкова, стр. 176.

Къ началу тѣхъ же шестидесятыхъ годовъ относится характеристика Салтыкова, встрѣчающаяся въ „Воспоминаніяхъ" госпожи Головачевой *). „Сумрачное выраженіе лица",—которое госпожа Го-

*) См. „Историческій Вѣстникъ" 1889 г., № 11, стр. 273-4.

ловачева замѣчала въ Салтыковѣ-лицеистѣ,—„еще болѣе усилилось. Я замѣтила, что у него появилось нервное движеніе шеи, точно онъ желалъ высвободить ее отъ туго завязаннаго галстуха. Изъ молчаливаго онъ сдѣлался очень говорливъ... Я была однажды свидѣтельницей страшнаго раздраженія Салтыкова противъ литературы. Не могу припомнить названія его очерка или разсказа, запрещеннаго цензоромъ. Это запрещеніе было очень непріятно и Некрасову, потому что нужно было дать набирать вновь что-нибудь другое, отчего нумеръ журнала долженъ былъ очень запоздать. Салтыковъ явился въ редакцію въ страшномъ раздраженіи и нещадно сталъ бранить русскую литературу, говоря, что можно поколѣть съ голоду, если писатель разсчитываетъ жить литературнымъ трудомъ, что одни дураки могутъ посвящать себя литературному труду при такихъ условіяхъ, когда какой-нибудь вислоухій камергеръ имѣетъ власть не только исказить, но запретить печатать умственный трудъ литератора, что чиновничья служба имѣетъ передъ литературой хоть то преимущество, что человѣка не грабятъ. Салтыковъ увѣрялъ, что онъ навсегда прощается съ литературой, и набросился на Некрасова, который, усмѣхнувшись, ему замѣтилъ, что не вѣритъ этому". Весьма можетъ быть, что въ одномъ изъ такихъ настроеній Салтыковъ рѣшился оставить литературу или, по крайней мѣрѣ, журналистику и вновь поступить на службу. Были дѣлаемы попытки объяснить его выходъ изъ „Современника" размолвкой съ редакціею, вызванной, будто бы, нападеніями на Салтыкова со стороны „Эпохи" и въ особенности „Русскаго Слова"; но это опровергается свидѣтельствомъ А. Н. Пыпина *) и самымъ фактомъ продолжавшагося сотрудничества Салтыкова въ „Современникѣ", продолжавшейся близости его къ Некрасову. Какъ бы то ни было, 6-го ноября 1864 г., черезъ два года и девять мѣсяцевъ послѣ перваго выхода въ отставку, Салтыковъ былъ назначенъ предсѣдателемъ пензинской казенной палаты. Два года спустя, 2-го ноября 1866 г., онъ былъ переведенъ на ту же должность въ Тулу, а въ октябрѣ 1867 г. — въ Рязань. Время службы Салтыкова въ вѣдомствѣ министерства финансовъ было временемъ наименьшей дѣятельности его въ области литературы. Въ продолженіе трехъ лѣтъ (1865, 1866 и 1867 г.) напечатана, сколько намъ извѣстно, только одна его статья (впослѣдствіи вошедшая въ составъ сборника: „Признаки времени"): „Завѣщаніе моимъ дѣтямъ" („Современникъ" 1866 г., № 1). Очевидно, Салты-

*) См. „Вѣстникъ Европы" 1889 г. № 11, стр. 228—229.

ковъ хотѣлъ-было порвать съ литературой; но влеченіе его къ ней было слишкомъ сильно. Когда Некрасовъ пригласилъ Салтыкова къ участію въ преобразованныхъ (съ 1-го января 1868 г.) „Отечественныхъ Запискахъ", Салтыковъ сразу сталъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ сотрудниковъ этого журнала *), а 14-го іюня 1868 года окончательно вышелъ въ отставку, поселился въ Петербургѣ и сдѣлался, фактически, однимъ изъ редакторовъ „Отечественныхъ Записокъ". Въ 1877 г., послѣ смерти Некрасова, онъ былъ утвержденъ редакторомъ журнала и руководилъ имъ до самаго его запрещенія (въ апрѣлѣ 1884 г.). По единогласному отзыву бывшихъ его сотрудниковъ (Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, Я. В. Абрамова и др.), онъ работалъ, какъ редакторъ, чрезвычайно много. Въ рукописяхъ, особенно беллетристическихъ, онъ часто дѣлалъ большія сокращенія и измѣненія, значительно поднимавшія достоинство произведеній и способствовавшія ихъ успѣху. По свидѣтельству тѣхъ же лицъ, подъ суровою внѣшностью и рѣзкими манерами у него скрывалась величайшая доброта, дѣлавшая его дорогимъ для всѣхъ имѣвшихъ случай узнать его поближе. Понятно, что запрещеніе журнала должно было оставить большой пробѣлъ въ жизни Салтыкова, хотя возможность продолжать литературную дѣятельность представилась для него весьма скоро. Въ бумагахъ его нашлось начало „оправдательной записки" слѣдующаго содержанія: „Я никогда не могъ похвалиться ни хорошимъ здоровьемъ, ни физическою силой, но съ 1875 г. не проходило почти ни одного дня, въ который я могъ бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болѣзненные припадки и мучительная воспріимчивость, съ которою я всегда относился къ современности, положили начало тому злому недугу, съ которымъ я сойду и въ могилу. Не могу также пройти молчаніемъ и непрерывнаго труда: могу сказать смѣло, что до послѣднихъ минутъ вся моя жизнь прошла въ трудѣ, и только когда мнѣ становилось ужъ очень тяжко, я бросалъ перо и впадалъ въ мучительное забытье. Наконецъ, закрытіе „Отечественныхъ Записокъ" и болѣзнь сына окончательно сломили меня. Недугъ охватилъ меня со всѣхъ сторонъ и сдѣлался главнымъ факторомъ моей жизни"...

Неизданныхъ или мало извѣстныхъ матеріаловъ, которые относились бы къ послѣднимъ двадцати-пяти годамъ жизни Салтыкова, въ нашихъ рукахъ нѣтъ почти вовсе. Намъ доставлено лишь нѣ-

*) Изъ числа шести первыхъ книжекъ „Отечественныхъ Записокъ" 1868 г. вышедшихъ до отставки Салтыкова, его статей нѣтъ только въ двухъ (3-й и 6-й); во второй книжкѣ помѣщены, за то, двѣ его статьи.

сколько писемъ Салтыкова къ его дѣтямъ и одно письмо, отъ 2 января 1881 г., къ писателю, только-что передъ тѣмъ напечатавшему разборъ одного изъ произведеній Салтыкова („Круглаго года"). Это послѣднее письмо очень интересно, но, къ сожалѣнію, напечатаніе его вполнѣ было бы еще преждевременно, а потому мы ограничимся однимъ отрывкомъ. „Мнѣ кажется,—пишетъ Салтыковъ,—что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практическихъ идеаловъ, то они такъ разнообразны, что останавливаться на этихъ стадіяхъ—значитъ добровольно стѣснять себя. Я положительно увѣренъ, что большее или меньшее совершенство этихъ идеаловъ зависитъ отъ бо́льшаго или мѐньшаго усвоенія человѣкомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ... Устраиваться въ подробностяхъ, отстаивать одни и разрушать другія—дѣло публицистовъ. Читая романъ Чернышевскаго: *Что дѣлать*, я пришелъ къ заключенію, что ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ черезчуръ задался практическими идеалами. Кто знаетъ, будетъ ли оно такъ? И можно ли назвать указываемыя въ романѣ формы жизни окончательными? Вѣдь и Фурье былъ великій мыслитель, а вся прикладная часть его теоріи оказывается болѣе или менѣе несостоятельною и остаются только неумирающія общія положенія. Это дало мнѣ поводъ задаться болѣе скромною миссіей, а именно спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ *основамъ*, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается"...

Письма Салтыкова къ дѣтямъ—сыну Константину и дочери Елизаветѣ — написаны весной и лѣтомъ 1880 и 1881 г., когда семья Салтыкова находилась за границей, а онъ самъ временно оставался въ Петербургѣ. Сыну его было въ 1880 г. около девяти, дочери — около семи лѣтъ. „Доношу вамъ, — пишетъ Салтыковъ въ первомъ письмѣ (12 мая 1880 г.),—что безъ васъ скучно и пусто. Когда вы были тутъ, то бѣгали и прятались въ моей комнатѣ, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и въ цѣлости. Имъ тоже скучно, что никто ихъ не ломаетъ. А еще доношу, что сегодня Арапка (только-что оперившаяся канарейка, очевидно—большая любимица маленькихъ Салтыковыхъ), когда я вошелъ въ игральную, сѣлъ сначала мнѣ на плечо, а потомъ забрался на голову, и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ. Вотъ такъ

сюрпризъ. Что же касается до Крылатки (также канарейка), то она еще совсѣмъ голенькая, но мать начинаетъ уже летать отъ нея. Ни конфектъ, ни апельсиновъ послѣ вашего отъѣзда въ Петербургѣ ужъ нѣтъ; всѣ уѣхали слѣдомъ за вами въ Баденъ. Я думаю, что вы ужъ возобновили съ ними знакомство. Будьте умники и учитесь. Пишите ко мнѣ что̀ вздумается, но непремѣнно пишите. Я буду прятать ваши письма, и когда вы будете большіе, мы станемъ вмѣстѣ ихъ перечитывать. Цѣлую васъ обоихъ крѣпко-на-крѣпко. Какъ только можно будетъ, прилечу. Не забывайте папу". Это письмо мы привели почти цѣликомъ; изъ другихъ заимствуемъ только отрывки. „Дѣла наши въ томъ же положеніи. Куколка лежитъ въ кроваткѣ и почиваетъ; Арапка летаетъ совсѣмъ какъ большой; Бепка (отецъ канареечнаго семейства) обходится съ нимъ совсѣмъ какъ съ товарищемъ... А я все кашляю, и все на старый манеръ, даже новаго ничего выдумать не могу. И скучно мнѣ очень, что не слышу больше вашего дѣтскаго милаго шума" (№ 2, 17 мая). „Совѣтую тебѣ (дочери) писать по линейкамъ. Ты еще маленькая, и надо привыкать писать прямо. Попроси маму, чтобы она васъ по-нѣмецки говорить пріучала: теперь вы легко научитесь, а потомъ будетъ очень трудно. Я всѣ дни сижу дома и скучаю. И дѣлать ничего не хочется. Птицы тоже скучаютъ безъ васъ и одичали. Арапка совсѣмъ дикій сдѣлался и даже не ночуетъ въ клѣткѣ, а забирается на карнизъ на печку" (№ 3, 20 мая). „Имѣю честь доложить вамъ, что Крылатка вышелъ изъ гнѣзда, а мадамъ (канарейка-мать) опять начала нести яйца. Крылатка—премиленькій, весь въ Бепку; жолтенькій, съ сѣрымъ хохолкомъ и сѣрыми крылушками. Лизина кукла все почиваетъ; никакъ разбудить нельзя" (№ 4, безъ числа)... „Костя! пересталъ ли ты вертѣться? Смотри, пріѣду, увижу, что ты вертишься — и заплачу. Мадамъ уже три дня какъ сидитъ на яйцахъ, но сколько яицъ—не знаю, потому что какъ ни придешь, а она все сидитъ. Скучно она, бѣдная, лѣто проводитъ" (№ 5, безъ числа). „Сегодня madame вывела одного маленькаго, а другое яйцо еще цѣло. Какъ назвать новорожденнаго? Я предлагаю назвать Милкой или Голубчикомъ. А впрочемъ, какъ прикажете, такъ и будетъ. Коверъ твоей куклы, Лиза, цѣлъ и спрятанъ отъ моли; ты можешь быть спокойна. Я очень радъ, что ты мнѣ сама, безъ диктовки, пишешь. Такъ и впередъ дѣлай. Мнѣ хочется знать, что̀ ты думаешь" (№ 8, 9 іюня). „Я скоро пріѣду и буду часа полтора каждый день читать и заниматься съ вами. Вижу, что вы извольничались безъ меня и никто васъ не наказываетъ. А я буду съ вами

ходить и покупать ягоды и шоколадъ пить—вотъ и наказанье" (№ 9, безъ числа). „Объ какихъ куклахъ вы мнѣ пишете? Какія я могу вамъ привезти отсюда — не лучше ли купить тамъ или въ Парижѣ, гдѣ куклы и красивѣе, и дешевле. Я думаю, что вы и сами, подумавши, согласитесь съ этимъ. Лиза! ты хоть и не поцѣловала меня въ письмѣ, но я знаю, что это не нарочно случилось и что ты непремѣнно сейчасъ же объ этомъ вспомнила и мысленно поцѣловала меня. И я тебя, дружокъ, крѣпко цѣлую" (№ 10, безъ числа). Другія три письма относятся къ 1881 году. Въ первомъ, отъ 22 мая, Салтыковъ проситъ сына обратить вниманіе на почеркъ. „Буквы у тебя выходятъ пузатенькія, съ ножками и рожками. Надо получше писать, потому что члену литературнаго фонда безъ этого стыдно глаза въ свѣтъ показать. Лиза гораздо пріятнѣе пишетъ и надо ее догонять. Очень я радъ, голубчики, что вамъ хорошо живется. Гуляйте и пользуйтесь случаемъ, чтобы по-нѣмецки научиться. Научитесь—будете родителей за границей выручать, потому что родители ваши по-нѣмецки не мастера говорить. А мнѣ здѣсь очень скучно; цѣлые дни на своемъ мѣстѣ сижу и все молчу или кашляю". Въ двухъ другихъ письмахъ разсказывается дѣтямъ сказка объ удивительныхъ похожденіяхъ канареекъ—Бепки, поступившаго въ гимназію, Арапки, вышедшей замужъ за чижа, и т. п. Вся эта переписка не требуетъ комментаріевъ; слишкомъ ясны, сами по себѣ, симпатичныя черты, которыя она прибавляетъ къ образу Салтыкова. Его отношеніе къ семьѣ обрисовывается особенно рельефно въ предсмертномъ письмѣ къ сыну — столь же рельефно, какъ и отношеніе его къ литературѣ. Вотъ полный текстъ этого письма, отрывки изъ котораго были напечатаны въ газетахъ вскорѣ послѣ смерти Салтыкова: „Милый Костя, такъ какъ я каждый день могу умереть, то вотъ тебѣ мой завѣтъ: люби мать и береги ее; внушай то же и сестрѣ. Помни, что ежели вы не сбережете ее, то вся семья распадется, потому что до совершеннолѣтія вашего еще очень-очень далеко. Старайся хорошо учиться и будь безусловно честенъ въ жизни. Вотъ все. Любящій тебя отецъ.—Еще: паче всего люби родную литературу, и званіе литератора предпочитай всякому другому".

Еще въ октябрѣ 1887 г., вѣроятно въ виду усилившихся припадковъ болѣзни, М. Е. Салтыковъ началъ обнаруживать въ первый разъ опасеніе близости смерти и приготовилъ письмо къ В. И. Лиха-

чеву (на конвертѣ написано: „вскрыть по смерти"), „какъ къ будущему попечителю" —говорится въ письмѣ—его несовершеннолѣтнихъ дѣтей. Съ трогательною заботливостью покойный старался тогда предвидѣть все, что, по его мнѣнію, могло бы оградить его дѣтей, въ ихъ нѣжномъ возрастѣ, отъ всякихъ случайностей, и въ своихъ заботахъ онъ доходилъ до такихъ подробностей, что не забылъ упомянуть и о томъ, какъ устроить сыну-лицеисту его праздники-каникулы въ томъ случаѣ, еслибы семьѣ его понадобилось лѣтомъ отправиться за границу. „Вообще, я умоляю—пишетъ онъ въ заключеніе письма—обратить вниманіе на мою семью". Возвращаясь опять къ заботамъ о сынѣ, М. Е. Салтыковъ прибавляетъ: „Я бы желалъ, чтобы онъ, по выходѣ изъ лицея, поступилъ на службу; будьте такъ великодушны, помогите ему"...

Въ послѣдній годъ жизни покойный, очевидно, подъ вліяніемъ все болѣе и болѣе усиливавшихся припадковъ, началъ дѣлать распоряженія, касавшіяся уже его самого лично; повидимому, онъ дѣлалъ сначала такія распоряженія на клочкахъ бумаги, попадавшихъ ему подъ руки, иногда перомъ, иногда карандашомъ, и складывалъ ихъ въ свой бюваръ на письменномъ столѣ, впослѣдствіи же соединилъ все это вмѣстѣ на отдѣльномъ листкѣ, болѣе тщательно переписанномъ, и озаглавилъ: „Предсмертныя желанія". Въ числѣ такихъ желаній на первомъ мѣстѣ стоитъ ограниченіе суммы расходовъ на его похороны, причемъ онъ не забылъ присоединить: „если не будетъ наличныхъ денегъ, то продать изъ бумагъ"; далѣе слѣдуетъ не только указаніе, въ какихъ именно газетахъ помѣстить объявленіе въ день его смерти, но и самое содержаніе объявленія: „Такого-то числа и мѣсяца, тамъ-то, скончался М. Е. Салтыковъ (Щедринъ); погребеніе тамъ-то". Ниже говорится: „Желаю быть погребеннымъ на Волковомъ кладбищѣ, если можно, около Тургенева; желаю, чтобъ тѣло мое было *непремѣнно* (подчеркнуто авторомъ) вскрыто; на памятникѣ поставить бюстъ, Беренштама, бронзовый" (стоявшій въ квартирѣ покойнаго). Въ заключеніе своихъ „предсмертныхъ желаній", М. Е. Салтыковъ говоритъ: „Прошу продать мои сочиненія"—и тутъ же прибавляетъ, что С—овъ давалъ ему 50.000 рублей; — „можно согласиться,—пишетъ Салтыковъ, — только чтобы немедленно же печатать; съ капиталомъ за сочиненія поступить какъ сказано въ завѣщаніи".

Послѣдній пунктъ даетъ возможность нѣсколько болѣе точно опредѣлить время составленія самихъ „предсмертныхъ желаній": это могло быть не позже декабря 1888 года, когда переговоры между покой-

нымъ и другими новыми [illegible]
въ февралѣ 1889 г. были [illegible]
что, какъ говорятъ, ему предлагали [illegible]
но съ такими условіями, которыя [illegible]
отношеніяхъ, такъ какъ дорожилъ [illegible]
выми выгодами, а именно, желали имѣть [illegible]
такими сокращеніями, какія найдетъ [illegible]
слѣднее обстоятельство и заставило, главнымъ [illegible]
тыкова взять на самого себя изданіе своихъ [illegible]
шлось въ числѣ 6.500 экземпляровъ гораздо [illegible]
завершиться годъ послѣ кончины автора.

К. К. Арсеньевъ.

ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНІЯ НИКАНОРА ЗАТРАПЕЗНАГО.

Введеніе *).

Я, Никаноръ Затрапезный, принадлежу къ старинному пошехонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смирные и уклончивые. Въ пограничныхъ городахъ и крѣпостяхъ не сидѣли, побѣдъ и одолѣній не одерживали, кресты цѣловали по чистой совѣсти, кому прикажутъ, безпрекословно. Вообще, не покрыли себя ни славою, ни позоромъ. Но за то ни одинъ изъ нихъ не былъ битъ кнутомъ, ни одному не выщипали по волоску бороды, не урѣзали языка и не вырвали ноздрей. Это были настоящіе помѣстные дворяне, которые забились въ самую глушь Пошехонья, безъ шума сбирали дани съ кабальныхъ людей и скромно плодились. Иногда ихъ расплодилось множество, и они становились въ ряды захудалыхъ; но по временамъ словно моръ настигалъ Затрапезныхъ, и въ рукахъ одной какой-нибудь пощаженной отрасли сосредоточивались имѣнія и маетности остальныхъ. Тогда Затрапезные вновь расцвѣтали и играли въ своемъ мѣстѣ видную роль.

Дѣдъ мой, гвардіи сержантъ Порфирій Затрапезный, былъ однимъ изъ взысканныхъ фортуною и владѣлъ значительными помѣстьями. Но такъ какъ отъ него родилось много дѣтей — сынъ и девять дочерей, — то отецъ мой, Василій Порфирычъ, за выдѣломъ сестеръ, вновь спустился на степень дворянина средней руки. Это заставило его подумать о выгодномъ бракѣ, и, будучи уже сорока лѣтъ, онъ женился на пятнадцатилѣтней купеческой дочери Аннѣ Павловнѣ Глуховой, въ чаяніи получить за нею богатое приданое.

Но разсчетъ на богатое приданое не оправдался; по купеческому обыкновенію, его обманули, а онъ, въ свою очередь, выказалъ при этомъ непро-

*) Прошу читателя не принимать Пошехонья буквально. Я разумѣю подъ этимъ названіемъ вообще страну, аборигены которой, по мѣткому выраженію русскихъ присловій, въ трехъ соснахъ заблудиться способны. Прошу также не смѣшивать мою личность съ личностью Затрапезнаго, отъ имени котораго ведется разсказъ. Автобіографическаго элемента въ моемъ настоящемъ трудѣ очень мало; онъ представляетъ собой просто-на-просто сводъ жизненныхъ наблюденій, гдѣ чужое перемѣшано съ своимъ, а въ то же время дано мѣсто и вымыслу.—*Авторъ.*

стительную слабость характера. Напрасно сестры уговаривали его не ѣхать въ церковь для вѣнчанія, покуда не отдадутъ договоренной суммы полностью; онъ довѣрился льстивымъ обѣщаніямъ и обвѣнчался. Вышелъ такъ-называемый неравный бракъ, который впослѣдствіи сдѣлался источникомъ безконечныхъ укоровъ и семейныхъ сценъ самаго грубаго свойства.

Бракъ этотъ былъ неровенъ во всѣхъ отношеніяхъ. Отецъ былъ по тогдашнему времени порядочно образованъ; мать — круглая невѣжда; отецъ вовсе не имѣлъ практическаго смысла и любилъ разводить на бобахъ; мать, напротивъ того, необыкновенно цѣпко хваталась за дѣловую сторону жизни, никогда вслухъ не загадывала, а дѣйствовала молча и навѣрняка; наконецъ, отецъ женился уже почти старикомъ и притомъ никогда не обладалъ хорошимъ здоровьемъ, тогда какъ мать долгое время сохраняла свѣжесть, силу и красоту. Понятно, какое должно было оказаться, при такихъ условіяхъ, совмѣстное житье.

Тѣмъ не менѣе, благодаря необыкновеннымъ пріобрѣтательнымъ способностямъ матери, семья наша начала быстро богатѣть, такъ что въ ту минуту, когда я увидалъ свѣтъ, Затрапезные считались чуть не самыми богатыми помѣщиками въ нашей мѣстности. О матери моей всѣ сосѣди въ одинъ голосъ говорили, что Богъ послалъ въ ней Василію Порфирычу не жену, а кладъ. Самъ отецъ, видя возрастаніе семейнаго благосостоянія, примирился съ неудачнымъ бракомъ, и хотя жилъ съ женой несогласно, но въ концѣ концовъ вполнѣ подчинился ей. Я по крайней мѣрѣ не помню, чтобы онъ когда-нибудь въ чемъ-нибудь проявилъ въ домѣ свою самостоятельность.

Затѣмъ, приступая къ пересказу моего прошлаго, я считаю нелишнимъ предупредить читателя, что въ настоящемъ трудѣ онъ не найдетъ сплошного изложенія *всѣхъ* событій моего житія, а только рядъ эпизодовъ, имѣющихъ между собою связь, но въ то же время представляющихъ и отдѣльное цѣлое. Главнымъ образомъ я предпринялъ мой трудъ для того, чтобъ возстановить характеристическія черты такъ-называемаго добраго стараго времени, память о которомъ, благодаря рѣзкой чертѣ, проведенной упраздненіемъ крѣпостного права, все больше и больше сглаживается. Поэтому я и въ формѣ веденія моего разсказа не намѣренъ стѣсняться. Иногда буду вести его лично отъ себя, иногда—въ третьемъ лицѣ, какъ будетъ для меня удобнѣе.

I.—Гнѣздо.

Дѣтство и молодые годы мои были свидѣтелями самаго разгара крѣпостного права. Оно проникало не только въ отношенія между помѣстнымъ дворянствомъ и подневольною массою—къ нимъ въ тѣсномъ смыслѣ и прилагался этотъ терминъ — но и во всѣ вообще формы общежитія, одинаково втягивая всѣ сословія (привилегированныя и непривилегированныя) въ омутъ унизительнаго безправія, всевозможныхъ изворотовъ лукавства и страха передъ перспективою быть ежечасно раздавленнымъ. Съ недоумѣніемъ спрашиваешь себя: какъ могли жить люди, не имѣя ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ иныхъ воспоминаній и перспективъ, кромѣ мучительнаго безправія, безконечныхъ терзаній поруганнаго и ни откуда не защищеннаго существованія? — и, къ удивленію, отвѣчаешь: однакожъ жили! И что̀ еще удивительнѣе—объ руку съ этимъ сплошнымъ мучительствомъ шло и такъ-называемое пошехонское „раздолье", къ кототорому и понынѣ не безъ тихой грусти обращаютъ свои взоры старички. И крѣпостное право, и пошехонское раздолье были связаны такими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то вслѣдъ за нимъ въ судорогахъ покончило свое постыдное существованіе и другое. И то, и другое одновременно заколотили въ гробъ и снесли на погостъ, а какое иное право и какое иное раздолье выросли на этой общей могилѣ—это вопросъ особый. Говорятъ однакожъ, что выросло нѣчто—не особенно важное.

Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но нѣкоторые признаки убѣждаютъ, что, издыхая, она отравила своимъ ядомъ новую злобу дня, и, что, несмотря на измѣнившіяся формы общественныхъ отношеній, сущность ихъ остается нетронутою. Конечно, свидѣтели и современники старыхъ порядковъ могутъ до извѣстной степени и въ одномъ упраздненіи формъ усматривать существенный прогрессъ, но молодыя поколѣнія, видя, что исконныя жизненныя основы стоятъ по прежнему незыблемо, не легко примиряются съ однимъ измѣненіемъ формъ и обнаруживаютъ нетерпѣніе, которое получаетъ тѣмъ болѣе мучительный характеръ, что въ него уже въ значительной мѣрѣ входитъ элементъ сознательности...

Мѣстность, въ которой я родился и въ которой протекло мое дѣтство, даже въ захолустной пошехонской сторонѣ считалось захолустьемъ. Какъ будто она самой природой предназначена была для мистерій крѣпостного права. Совсѣмъ гдѣ-то въ углу, среди болотъ и лѣсовъ, вслѣдствіе чего жители ея, по простонародному, назывались „заугольниками“ и „лягушатниками“. Тѣмъ не меньше, по части помѣщиковъ и здѣсь было людно (селеній, въ которыхъ жили такъ-называемые экономическіе крестьяне, почти совсѣмъ не было). Изстари болѣе сильные люди захватывали мѣстности по берегамъ большихъ рѣкъ, куда ихъ влекла цѣнность угодій: лѣсовъ, луговъ и проч. Мелкая сошка забивалась въ глубь, гдѣ природа представляла, относительно очень мало льготъ, но за то никакой глазъ туда не заглядывалъ, а слѣдовательно крѣпостныя мистеріи могли совершаться вполнѣ безпрепятственно. Мужицкая спина съ избыткомъ вознаграждала за отсутствіе цѣнныхъ угодій. Во всѣ стороны отъ нашей усадьбы было разбросано достаточное количество дворянскихъ гнѣздъ, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ отдѣльными подгнѣздками ютилось по нѣскольку помѣщичьихъ семей. Это были семьи по преимуществу захудалыя, и потому около нихъ замѣчалось особенное крѣпостное оживленіе. Часто четыре-пять мелкопомѣстныхъ усадьбъ стояли о-бокъ или черезъ дорогу; поэтому круговое посѣщеніе сосѣдей сосѣдями вошло почти въ ежедневный обиходъ. Появилось раздолье, хлѣбосольство, веселая жизнь. Каждый день гдѣ-нибудь гости; а гдѣ гости, тамъ вино, пѣсни, угощенье. На все это требовались ежели не деньги, то даровой припасъ. Поэтому, ради удовлетворенія цѣлямъ раздолья, неустанно выжимался послѣдній мужицкій сокъ, и мужики, разумѣется, не сидѣли сложа руки, а кишѣли, какъ муравьи, въ окрестныхъ поляхъ. Вслѣдствіе этого оживлялся и сельскій пейзажъ.

Равнина, покрытая хвойнымъ лѣсомъ и болотами—таковъ былъ общій видъ нашего захолустья. Всякій, сколько-нибудь предусмотрительный, помѣщикъ-аборигенъ захватилъ столько земли, что не въ состояніи былъ ее обработывать, несмотря на крайнюю растяжимость крѣпостного труда. Лѣса горѣли, гнили на корню и загромождались валежникомъ и буреломомъ; болота заражали окрестность міазмами; дороги не просыхали въ самые сильные лѣтніе жары; деревни ютились около самыхъ помѣщичьихъ усадьбъ, а особнякомъ проскакивали рѣдко на разстояніи пяти-шести верстъ другъ отъ друга. Только около мелкихъ усадьбъ прорывались свѣженькія прогалины, только тутъ *всю* землю старались обработать подъ пашню и луга. За то непосильною барщиной мелкопомѣстный крестьянинъ до того изнурялся, что даже по наружному виду можно было сразу отличить его въ толпѣ другихъ крестьянъ. Онъ былъ и испуганнѣе, и тощѣе, и слабосильнѣе, и малорослѣе. Однимъ словомъ, въ общей массѣ измученныхъ людей былъ самымъ измученнымъ. У многихъ мелкопомѣстныхъ мужикъ работалъ на себя только по праздникамъ, а въ будни —въ ночное время. Такъ что лѣтняя страда этихъ людей просто-на-просто превращалась въ сплошную каторгу.

Лѣса́, какъ я уже сказалъ выше, стояли нетронутыми, и лишь у немногихъ помѣщиковъ представляли не то чтобы доходную статью, а скорѣе средство добыть большую сумму денегъ (этотъ порядокъ вещей впрочемъ сохранился и доселѣ). Вблизи отъ нашей усадьбы было устроено два стеклянныхъ

завода, которые въ немного лѣтъ безъ толку истребили громадную площадь лѣсовъ. Но на болота никто еще не простиралъ алчной руки, и они тянулись безъ перерыва на многіе десятки верстъ. Зимой по нимъ пролагали дороги, а лѣтомъ объѣзжали, что̀ удлиняло разстоянія почти вдвое. А такъ какъ, несмотря на объѣзды, все-таки приходилось захватить хоть краешекъ болота, то въ такихъ мѣстахъ настилались безконечные мостовники, память о которыхъ не изгладилась во мнѣ и до-днесь. Въ самое жаркое лѣто воздухъ былъ насыщенъ влажными испареніями и наполненъ тучами насѣкомыхъ, которыя не давали покою ни людямъ, ни скотинѣ.

Текучей воды было мало. Только одна рѣка Перла, да и та не важная, и еще двѣ рѣчонки: Юла̀ и Вопля *). Послѣднія еле-еле брели среди топкихъ болотъ, по мѣстамъ образуя стоячіе бочаги, а по мѣстамъ и совсѣмъ пропадая подъ густой пеленой водяной заросли. Тамъ-и-сямъ виднѣлись небольшія озерки, въ которыхъ водилась немудреная рыбёшка, но къ которымъ въ лѣтнее время невозможно было ни подъѣхать, ни подойти.

По вечерамъ надъ болотами поднимался густой туманъ, который всю окрестность окружалъ сизою клубящеюся пеленой. Однакожъ на вредное вліяніе болотныхъ испареній, въ гигіеническомъ отношеніи, никто не жаловался, да и вообще, сколько мнѣ помнится, повальныя болѣзни въ нашемъ краю составляли рѣдкое исключеніе.

И лѣса, и болота изобиловали птицей и звѣремъ, но по части ружейной охоты было скудно, и тонкой красной дичи, въ родѣ вальдшнеповъ и дупелей, я положительно не припомню. Помню только большихъ кряковныхъ утокъ, которыми отъ времени до времени чуть не задаромъ одѣлялъ всю округу единственный въ этой мѣстности ружейный охотникъ, экономическій крестьянинъ Лука. Псовыхъ охотниковъ (конечно, помѣщиковъ) впрочемъ было достаточно, и такъ какъ отъ охоты этого рода очень часто страдали озими, то онѣ служили источникомъ безпрерывныхъ раздоровъ и даже тяжбъ между сосѣдями.

Помѣщичьи усадьбы того времени (я говорю о помѣщикахъ средней руки) не отличались ни изяществомъ, ни удобствами. Обыкновенно онѣ устраивались среди деревни, чтобъ было сподручнѣе наблюдать за крестьянами. Сверхъ того мѣсто для постройки выбиралось непремѣнно въ лощинкѣ, чтобы было теплѣе зимой. Дома̀ почти у всѣхъ были одного типа: одноэтажные, продолговатые, на манеръ длинныхъ комодовъ; ни стѣны, ни крыши не красились: окна имѣли старинную форму, при которой нижнія рамы поднимались вверхъ и подпирались подставками. Въ шести-семи комнатахъ такого четырехугольника, съ колеблющимися полами и нештукатуренными стѣнами, ютилась дворянская семья, иногда очень многочисленная, съ цѣлымъ штатомъ дворовыхъ людей, преимущественно дѣвокъ, и съ наѣзжавшими отъ времени до времени гостями. О паркахъ и садахъ не было и въ поминѣ; впереди дома раскидывался крохотный палисадникъ, обсаженный стриженными акаціями, и наполненный—по части цвѣтовъ—барскою спѣсью, царскими кудрями и буржелтыми бураками. Сбоку, поближе къ скотнымъ дворамъ, выкапывался

*) Само собой разумѣется, названія эти вымышленныя.

небольшой прудъ, который служилъ скотскимъ водопоемъ и поражалъ своею неопрятностью и вонью. Сзади дома устраивался незатѣйливый огородъ, съ ягодными кустами и наиболѣе цѣнными овощами: рѣпой, русскими бобами, сахарнымъ горохомъ и проч., которые еще на моей памяти подавались въ небогатыхъ домахъ послѣ обѣда въ видѣ дессерта. Разумѣется, у помѣщиковъ болѣе зажиточныхъ (между прочимъ, и у насъ) усадьбы были обширнѣе. Но общій типъ для всѣхъ существовалъ одинъ и тотъ же. Не о красотѣ, не о комфортѣ и даже не о просторѣ тогда думали, а о томъ, чтобъ имѣть теплый уголъ и въ немъ достаточную степень сытости.

Только одна усадьба сохранилась въ моей памяти, какъ исключеніе изъ общаго правила. Она стояла на высокомъ берегу рѣки Перлы, и изъ большого каменнаго господскаго дома, утопавшаго въ зелени обширнаго парка, открывался единственный въ нашемъ захолустьи красивый видъ на поемные луга и на дальнія села. Владѣлецъ этой усадьбы (называлась она, какъ и слѣдуетъ, „Отрадой“), былъ выродившійся, совсѣмъ разслабленный представитель стариннаго барскаго рода, который по зимамъ жилъ въ Москвѣ, а на лѣто пріѣзжалъ въ усадьбу, но съ сосѣдями не якшался (таково ужъ исконное свойство пошехонскаго дворянства, что бѣдный дворянинъ отъ богатаго никогда ничего не видитъ, кромѣ пренебреженія и притѣсненія). Объ отраднинскихъ цвѣтникахъ, оранжереяхъ и прочей роскоши ходили между обитателями нашего захолустья почти фантастическіе разсказы. Были тамъ пруды съ каскадами, гротами и чугунными мостами; были бесѣдки съ гипсовыми статуями; былъ конскій заводъ съ манежемъ и обширнымъ обгороженнымъ кругомъ, на которомъ происходили скачки и бѣга; былъ свой театръ, оркестръ, пѣвчіе. И всѣмъ этимъ выродившійся аристократъ пользовался самъ-другъ съ второстепенной французской актрисой Селиной Архиповой Бульмишъ, которая особенныхъ талантовъ по драматической части не предъявила, но за то безошибочно могла отличать la grande cochonnerie отъ la petite cochonnerie. Самъ-другъ съ нею онъ слушалъ домашнюю музыку, созерцалъ лошадиную случку, наслаждался конскими ристалищами, ѣлъ фрукты и нюхалъ цвѣты. Съ теченіемъ времени онъ женился на Селинѣ, и по смерти его, имѣніе перешло къ ней.

Не знаю, жива ли она теперь, но послѣ смерти мужа она долгое время каждое лѣто появлялась въ Отрадѣ, въ сопровожденіи француза съ крутыми бедрами и дугообразными, словно писанными, бровями. Жила она, какъ и при покойномъ мужѣ, изолированно, съ сосѣдями не знакомилась, и преимущественно занималась тѣмъ, что придумывала, вмѣстѣ съ крутобедрымъ французомъ, какую-нибудь новую ѣду, которую они и проглатывали съ глазу-на-глазъ. Но и ее, и крутобедраго француза крестьяне очень любили за то, что они вели себя по-дворянски. Не шильничали, сами по грибы въ лѣсъ не ходили, а другимъ собирать въ своихъ лѣсахъ не препятствовали. И на деньги были чивы, за все платили безъ торга; принесутъ имъ лукошко ягодъ или грибовъ, спросятъ двугривенный — слова не скажутъ, отдадутъ, точно двугривенный и не деньги. А дѣвкѣ такъ и ленту, сверхъ того, подарятъ. И когда объявлено было крестьянамъ освобожденіе, то и съ уставной грамотой Селина первая въ уѣздѣ покончила, безъ жалобъ, безъ гвалта, безъ судого-

вореній: что слѣдуетъ отдала, да и себя не обидѣла. Дворовыхъ тоже не забыла: молодыхъ распустила, не выжидая срока, старикамъ—выстроила избы, отвела огороды и назначила пенсіи.

Въ сентябрѣ, съ отъѣздомъ господъ, сосѣдніе помѣщики наѣзжали въ Отраду, и за ничтожную мзду садовнику и его подручнымъ запасались тамъ сѣменами, корнями и прививками. Такимъ образомъ, появились въ нашемъ уѣздѣ первыя георгины, штокрозы и проч., а матушка даже нѣкоторыя куртины въ нашемъ саду распланировала на манеръ отраднинскихъ.

Что касается до усадьбы, въ которой я родился и почти безвыѣздно прожилъ до десятилѣтняго возраста (называлась она „Малиновецъ"), то она, не отличаясь ни красотой, ни удобствами, уже представляла нѣкоторыя претензіи на то и другое. Господскій домъ былъ трехъ-этажный (третьимъ этажемъ считался большой мезонинъ), просторный и теплый. Въ нижнемъ этажѣ, каменномъ, помѣщались мастерскія, кладовыя и нѣкоторыя дворовыя семьи; остальные два этажа занимала господская семья и комнатная прислуга, которой было множество. Кромѣ того, было нѣсколько флигелей, въ которыхъ помѣщались застольная, приказчикъ, ключникъ, кучера, садовники и другая прислуга, которая въ горницахъ не служила. При домѣ былъ разбитъ большой садъ, вдоль и поперекъ раздѣленный дорожками на равныя куртинки, въ которыхъ были насажены вишневыя деревья. Дорожки были окаймлены кустами мелкой сирени и цвѣточными рабатками, наполненными большимъ количествомъ розъ, изъ которыхъ гнали воду и варили варенья. Такъ какъ въ то время существовала мода подстригать деревья (мода эта проникла въ Пошехонье... изъ Версаля!), то тѣни въ саду почти не существовало, и весь онъ раскинулся на солнечномъ припекѣ, такъ что и гулять въ немъ охоты не было.

Еще въ бо́льшемъ размѣрѣ были разведены огороды и фруктовый садъ съ оранжереями, теплицами и грунтовыми сараями. Обиліе фруктовъ—и въ особенности ягодъ—было такое, что съ конца іюня до половины августа господскій домъ положительно превращался въ фабрику, въ которой съ утра до вечера производилась ягодная эксплоатація. Даже въ парадныхъ комнатахъ всѣ столы были нагружены ворохами ягодъ, вокругъ которыхъ сидѣли группами сѣнныя дѣвушки, чистили, отбирали ягоду по сортамъ, и едва успѣвали справиться съ одной грудой, какъ на смѣну ей появлялась другая. Нынче одна эта операція стоила бы большихъ денегъ. Въ это же время, въ тѣни громадной старой липы, подъ личнымъ надзоромъ матушки, на разложенныхъ въ видѣ четырехугольниковъ кирпичахъ, варилось варенье, для котораго выбирались самыя лучшія ягоды и самый крупный фруктъ. Остальное утилизировалось для наливокъ, настоекъ, водицъ и проч. Замѣчательно, что въ свѣжемъ видѣ ягоды и фрукты даже господами употреблялись умѣренно: какъ будто опасались, что вотъ-вотъ недостанетъ въ прокъ. А „хамкамъ" и совсѣмъ ничего не давали (я помню, какъ матушка безпокоилась во время сбора ягодъ, что вотъ-вотъ подлянки ее объѣдятъ); развѣ ужъ когда, что называется, ягодѣ обору нѣтъ, но и тутъ непремѣнно дождутся, что она отъ долговременнаго стоянія на погребѣ начнетъ плѣсневѣть. Эта масса лакомства

привлекала въ комнаты такія несмѣтныя полчища мухъ, что онѣ положительно отравляли существованіе.

Для чего требовалась такая масса заготовокъ—этого я никогда не могъ понять. Можно назвать это явленіе особымъ терминомъ: „алчностью будущаго". Благодаря ей, хоть цѣлая гора съѣдобнаго матеріала лежитъ передъ глазами человѣка, а все ему кажется мало. Утроба человѣческая ограничена, а жадное воображеніе приписываетъ ей размѣры несокрушимые, и въ то же время рисуется въ будущемъ грозная перспектива. Въ самомъ расходованіи заготовленныхъ припасовъ, въ теченіе года, наблюдалась экономія, почти скупость. Думалось, что хотя „часъ" еще и не наступилъ, но непремѣнно наступитъ, и тогда разверзнется таинственная прорва, въ которую придется валить, валить и валить. Отъ времени до времени производилась ревизія погребовъ и кладовыхъ, и всегда оказывалось порченнаго запаса почти на половину. Но даже и это не убѣждало: жаль было и испорченнаго. Его подваривали, подправляли, и только уже совсѣмъ негодное рѣшались отдать въ застольную, гдѣ послѣ такой подачки нѣсколько дней сряду „валялись животами". Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы особенно умное.

И вотъ, когда все было поварено, насолено, настоено и наквашено, когда, вдобавокъ къ лѣтнему запасу, присоединялся запасъ мороженой домашней птицы, когда болота застывали и устанавливался санный путь—тогда начиналось пошехонское раздолье, то раздолье, о которомъ нынче знаютъ только по устнымъ преданіямъ и разсказамъ.

Къ этому предмету я возвращусь впослѣдствіи, а теперь познакомлю читателя съ первыми шагами моими на жизненномъ пути и той обстановкой, которая дѣлала изъ нашего дома нѣчто типичное. Думаю, что многіе изъ моихъ сверстниковъ, вышедшихъ изъ рядовъ осѣдлаго дворянства (въ отличіе отъ дворянства служебнаго, кочующаго) и видѣвшихъ описываемыя времена, найдутъ въ моемъ разсказѣ черты и образы, отъ которыхъ на нихъ повѣетъ чѣмъ-то знакомымъ. Ибо общій укладъ пошехонской дворянской жизни былъ вездѣ одинаковъ, и разницу обусловливали лишь нѣкоторыя частныя особенности, зависѣвшія отъ интимныхъ качествъ тѣхъ или другихъ личностей. Но и тутъ главное отличіе заключалось въ томъ, что одни жили „въ свое удовольствіе", то-есть слаще ѣли, буйнѣе пили и проводили время въ безусловной праздности; другіе, напротивъ, сжимались, ѣли съ осторожностью, усчитывали себя, ухичивали, скопидомствовали. Первые обыкновенно страдали тоской по предводительствѣ, достигнувъ котораго—разорялись въ прахъ; вторые держались въ сторонѣ отъ почестей, подстерегали разорявшихся, издалека опутывая ихъ, и при помощи темныхъ оборотовъ оказывались въ концѣ концовъ людьми не только состоятельными, но даже богатыми.

II.—Мое рожденіе и раннее дѣтство.—Воспитаніе физическое.

Родился я, судя по разсказамъ, самымъ обыкновеннымъ пошехонскимъ образомъ. Въ то время барыни наши (по нынѣшнему, представительницы правящихъ классовъ) не ѣздили, въ предвидѣніи родовъ, ни въ столицы, ни даже въ губернскіе города, а довольствовались мѣстными, подручными средствами. При помощи этихъ средствъ увидѣли свѣтъ всѣ мои братья и сестры; не составилъ исключенія и я.

Недѣли за три передъ тѣмъ какъ матушкѣ приходилось родить, послали въ городъ за бабушкой-повитухой, Ульяной Ивановной, которая привезла съ собой мыльца отъ раки преподобнаго (въ городскомъ соборѣ почивали мощи) да банку моренковской мази. Въ этомъ состоялъ весь ея родовспомогательный снарядъ, ежели не считать усердія, опытности и „легкой руки". Въ крайнемъ случаѣ во время родовъ отворяли въ церкви царскія двери, а домъ нѣсколько разъ обходили кругомъ съ иконой. Помощь Ульяны Ивановны обходилась баснословно дешево. А именно: все время, покуда она жила въ домѣ (иногда мѣсяца два-три) ее кормили и поили за барскимъ столомъ; кровать ея ставили въ той же комнатѣ, гдѣ спала роженица, и слѣдовательно ея кровью питали приписанныхъ къ этой комнатѣ клоповъ; затѣмъ, по благополучномъ разрѣшеніи, ей уплачивали деньгами десять рублей на ассигнаціи и посылали зимой въ ея городской домъ возъ или два разной провизіи, разумѣется, со всячинкой. Иногда, сверхъ того, отпускали къ ней на полгода или на годъ въ безвозмездное услуженіе дворовую дѣвку, которую она впрочемъ обязана была, въ теченіе этого времени, кормить, поить, обувать и одѣвать на собственный счетъ.

Тѣмъ не менѣе, когда въ ней больше ужъ не нуждались, то и этотъ ничтожный расходъ не проходилъ ей даромъ. Такъ по крайней мѣрѣ практиковалось въ нашемъ домѣ. Обыкновенно ее называли „подлянкой и прорвой", до слѣдующихъ родовъ, когда она вновь превращалась въ „голубушку Ульяну Ивановну".

— Это ты подлянкѣ индюшекъ-то послать собралась?—негодовала матушка на ключницу, видя приготовленныхъ къ отправкѣ въ сѣняхъ пару или двѣ замороженныхъ индеекъ:—будетъ съ нея, и старыми курами прорву себѣ заткнетъ.

Добрая была эта Ульяна Ивановна, бойкая, веселая, словоохотливая. И хотя я узналъ ее уже будучи восьми лѣтъ, когда родные мои были съ ней въ ссорѣ (думали, что услугъ отъ нея не потребуется), но она такъ тепло меня приласкала и такъ привѣтливо назвала умницей и погладила по головкѣ, что я невольно расчувствовался. Въ нашемъ семействѣ не было въ обычаѣ по головкѣ гладить — можетъ быть, поэтому ласка чужого человѣка такъ живо на меня и подѣйствовала. И не на меня одного она производила пріятное впечатлѣніе, а на всѣхъ восемь нашихъ дѣвушекъ—по числу матушкиныхъ родовъ—бывшихъ у нея въ услуженіи. Всѣ онѣ отзывались о ней съ

восторгомъ и возвращались тучныя (одна даже съ приплодомъ). Щи у нея ѣли такія, что не продуешь, въ кашу лили масло коровье, а не льняное. Называла она всѣхъ именами ласкательными, а не ругательными, и никогда ни на кого господамъ не пожаловалась.

Жила она въ собственномъ ветхомъ домикѣ на краю города, одиноко, и питалась плодами своей профессіи. Былъ у нея и мужъ, но въ то время, какъ я зазналъ ее, онъ ужъ лѣтъ десять какъ пропадалъ безъ вѣсти. Впрочемъ, кажется, она знала, что онъ куда-то усланъ, и поэтому случаю въ каждый большой праздникъ возила въ тюрьму калачи.

— Благой у меня былъ мужъ, говорила она:—не было промежъ насъ согласія. Портнымъ ремесломъ занимался и хорошія деньги зарабатывалъ, а въ домъ копѣечки щербатой никогда не принесъ — все въ кабакъ. Были у насъ и дѣти, да такъ и перемерли ангельскія душеньки, и всѣ не настоящей смертью, а либо съ лавки свалится, либо кипяткомъ себя ошпаритъ. Мое дѣло такое, что все въ уѣздѣ да въ уѣздѣ, а мужъ—день въ кабакѣ, ночь —либо въ канавѣ, либо на съѣзжей. Прислуга тоже съ бору да съ сосенки. Присмотрѣть-то за дѣточками и некому. А наконецъ, возвращаюсь я однажды съ родовъ домой, а меня прислуга встрѣчаетъ: „вѣдь Прохоръ-то Семенычъ —это мужъ-то мой—ужъ съ недѣлю дома не бывалъ“! Не бывалъ да не бывалъ, да такъ съ тѣхъ поръ словно въ воду и канулъ. Осталась я одна: по началу жутко сдѣлалось, думаю: ну, теперь пропала! А вышло, напротивъ того, еще лучше прежняго зажила.

И вотъ, какъ разъ въ такое время, когда въ нашемъ домѣ за Ульяной Ивановной окончательно утвердилась кличка „подлянки“, матушка (она ужъ лѣтъ пять не рожала), сверхъ ожиданія, сдѣлалась въ девятый разъ тяжела, и такъ какъ годы ея были уже серьёзные, то она задумала ѣхать родить въ Москву. Пришлось звать Ульяну Ивановну для сопровожденія. Послали въ городъ меня—тутъ-то я съ нею и познакомился. И добрая женщина не только не попомнила зла, но когда, по пріѣздѣ въ Москву, былъ призванъ ученый акушеръ и явился „съ щипцами, ножами и долотами“, то Ульяна Ивановна просто не допустила его до роженицы, и съ помощью мыльца въ девятый разъ вызволила свою паціентку и поставила на ноги. Но эта послуга обошлась ужъ роднымъ моимъ „въ копѣечку“. Повитушкѣ вмѣсто красной дали бѣленькую деньгами, да одинъ возъ провизіи послали по первопуткѣ, а другой къ масляницѣ. А дѣвка въ услуженіе—сама по себѣ.

И такъ, появленіе мое на свѣтъ обошлось дешево и благополучно. Столь же благополучно совершилось и крещеніе. Въ это время у насъ въ домѣ гостилъ мѣщанинъ—богомолъ Дмитрій Никонычъ Бархатовъ, котораго въ уѣздѣ считали за прозорливаго.

Между прочимъ, и по моему поводу, на вопросъ матушки, что у нея родится, сынъ или дочь, онъ запѣлъ пѣтухомъ и сказалъ: „пѣтушокъ, пѣтушокъ, востёръ ноготокъ!“ А когда его спросили, скоро ли совершатся роды, то онъ началъ черпать ложечкой медъ—дѣло было за чаемъ, который онъ пилъ съ медомъ, потому что сахаръ скоромный—и, остановившись на седьмой ложкѣ, молвилъ: „вотъ теперь въ самый разъ!“—„Такъ по его и случилось: какъ разъ на седьмой день маменька распросталась“, — разсказывала

мнѣ впослѣдствіи Ульяна Ивановна. Кромѣ того, онъ предсказалъ и будущую судьбу мою, — что я многихъ супостатовъ покорю и буду дѣвичьимъ разгонникомъ. Вслѣдствіе этого, когда матушка бывала на меня сердита, то, давая шлепка, всегда приговаривала: „а вотъ я тебя высѣку, супостатовъ покоритель!“

Вотъ этого-то Дмитрія Никоныча и пригласили быть моимъ воспріемникомъ вмѣстѣ съ одною изъ тетенекъ-сестрицъ, о которыхъ рѣчь будетъ впереди.

Кстати скажу: не разъ я видалъ впослѣдствіи моего крестнаго отца, идущаго съ посохомъ въ рукахъ въ толпѣ народа, за крестнымъ ходомъ. Онъ одѣвался въ своеобразный костюмъ, въ родѣ поповскаго подрясника, подпоясывался широкимъ, вышитымъ шерстями, поясомъ, и ходилъ съ распущенными по плечамъ волосами. Но познакомиться мнѣ съ нимъ не удалось, потому что родители мои уже разошлись съ нимъ и называли его шалыганомъ. Вообще, по мѣрѣ того какъ семейство мое богатѣло, старые фавориты незамѣтно исчезали изъ нашего дома. Но, сверхъ того, надо сказать правду, что Бархатовъ, несмотря на прозорливость и званіе „богомола“, черезчуръ часто заглядывалъ въ дѣвичью, а матушка этого не долюбливала и неукоснительно блюла за нравственностью „подлянокъ“.

Кормилица у меня была своя, крѣпостная, Домна, къ которой я впослѣдствіи любилъ бѣгать украдкой въ деревню. Она готовила для меня яичницу и подливала сливками; и тѣмъ, и другимъ я съ жадностью насыщался, потому что дома насъ держали впроголодь. Въ кормилицы бабы шли охотно, потому что это, во-первыхъ, освобождало ихъ на время отъ барщины; во-вторыхъ, исправная выкормка барченка или барышни обыкновенно сопровождалась отпускомъ на волю кого-нибудь изъ кормилкиныхъ дѣтей. Впрочемъ отпускали исключительно дѣвочекъ, такъ какъ увольненіе мальчика (будущаго тяглеца) считалось убыточнымъ; дѣвка же, и по достиженіи совершенныхъ лѣтъ, продавалась на выводъ не дороже пятидесяти рублей ассигнаціями. Моей кормилицѣ не повезло въ этомъ случаѣ. Домъ ея былъ изъ бѣдныхъ, и „вольную“ ея дочь Дашутку не удалось выдать замужъ на-сторону за вольнаго человѣка. Поэтому она вошла въ семью своего же однодеревенца, и такимъ образомъ закрѣпостилась вновь.

Нянекъ я помню очень смутно. Онѣ мѣнялись почти безпрерывно, потому что матушка была вообще гнѣвлива и сверхъ того держалась своеобразной системы, въ силу которой крѣпостные, не изнывавшіе съ утра до ночи на работѣ, считались дармоѣдами.

— Зажирѣла въ нянькахъ, ишь мясищи-то нагуляла! — говорила она, и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, опредѣляла няньку въ прачки, въ ткачихи, или засаживала за пяльцы и пряжу.

Замѣчательно, что между многочисленными няньками, которыя пѣстовали мое дѣтство, не было ни одной сказочницы. Вообще весь нашъ домашній обиходъ стоялъ на вполнѣ реальной почвѣ, и сказочный элементъ отсутствовалъ въ немъ. Дѣтскому воображенію приходилось искать пищи самостоятельно, создавать свой собственный сказочный міръ, не имѣвшій никакого соприкосновенія съ жизнью и ея преданіями, но за то наполненный все-

возможными фантасмагоріями, содержаніемъ для которыхъ служило богатство, а еще болѣе—генеральство. Послѣднее представлялось высшимъ жизненнымъ идеаломъ, такъ какъ всѣ въ домѣ говорили о генералахъ, даже объ отставныхъ, не только съ почтеніемъ, но и съ боязнью.

Я помню, однажды отецъ получилъ отъ предводителя письмо съ приглашеніемъ на выборы, и на конвертѣ было написано: „его превосходительству" (отецъ въ молодости служилъ въ Петербургѣ и дослужился до коллежскаго совѣтника, но многіе изъ его бывшихъ товарищей пошли далеко и занимали видныя мѣста). Догадкамъ и удивленію конца не было. Отецъ съ недѣлю носилъ конвертъ въ карманѣ и всѣмъ показывалъ.

— А кто знаетъ, взяли да въ превосходительные и произвели!—говорилъ онъ.—Бывали же прежде такіе случаи — отчего жъ не случиться и теперь? Сижу я въ своемъ Малиновцѣ, ничего не знаю, а *тамъ*, можетъ быть, кто-нибудь изъ старыхъ товарищей взялъ да и шепнулъ...

Впрочемъ я не могу сказать, чтобы фактическая сторона моихъ дѣтскихъ воспоминаній была особенно богата. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ у меня было много старшихъ сестеръ и братьевъ, которые уже учились въ то время, когда я ничего не дѣлалъ, а только прислушивался и приглядывался, то память моя все-таки сохранила нѣкоторыя достаточно яркія впечатлѣнія. Припоминается безпрерывный дѣтскій плачъ, раздававшійся за классным столомъ; припоминается цѣлая свита гувернантокъ, слѣдовавшихъ одна за другой и съ непонятною для нынѣшняго времени жестокостью сыпавшихъ колотушками направо и налѣво. Помнится родительское равнодушіе. Какъ во снѣ проходятъ передо мной и Каролина Карловна, и Генріетта Карловна, и Марья Андреевна, и француженка Даламберша, которая ничему учить не могла, но пила ерофеичъ и ѣздила верхомъ по-мужски. Всѣ онѣ безчеловѣчно дрались, а Марью Андреевну (дочь московскаго мѣщанина-сапожника) даже строгая наша мать называла фуріей. Такъ что во все время ея пребыванія уши у дѣтей постоянно бывали покрыты болячками.

Внѣшней обстановкой моего дѣтства, въ смыслѣ гигіены, опрятности и питанія, я похвалиться не могу. Хотя въ нашемъ домѣ было достаточно комнатъ, большихъ, свѣтлыхъ и съ обильнымъ содержаніемъ воздуха, но это были комнаты парадныя; дѣти же постоянно тѣснились: днемъ—въ небольшой классной комнатѣ, а ночью—въ общей дѣтской, тоже маленькой, съ низкимъ потолкомъ и въ зимнее время, особенно, жарко натопленной. Тутъ было настолько четыре-пять дѣтскихъ кроватей, а на полу, на войлокахъ, спали еще. Само собою разумѣется, не обошлось безъ клоповъ, не въ тараканахъ, не въ блохахъ. Эти послѣднія были какъ бы домашними тварями. Когда клопы уже черезчуръ плодились, то кровати выносили и обсыпали порошкомъ, а таракановъ по зимнимъ вечерамъ.

Дѣтямъ мы еще сколько-нибудь обязаны тѣмъ вліяніемъ свѣжаго воздуха, которымъ мы пользовались въ четырехъ стѣнахъ. На свѣжій струи свѣжаго воздуха не [illegible] что форточка въ [illegible] и [illegible] только при [illegible]. Гораздо въ [illegible] и только по [illegible] въ церковь,

отстоявшую отъ дома саженяхъ въ пятидесяти, но и тутъ закутывали до того, что трудно было дышать. Это называлось *нѣжнымъ* воспитаньемъ. Очень возможно, что вслѣдствіе такихъ безсмысленныхъ гигіеническихъ условій всѣ мы впослѣдствіи оказались хилыми, болѣзненными и не особенно устойчивыми въ борьбѣ съ жизненными случайностями. Печально существованіе, въ которомъ жизненный процессъ равносиленъ непрерывающейся невзгодѣ, но еще печальнѣе жизнь, въ которой сами живущіе какъ бы не принимаютъ никакого участія. Съ больною душою, съ тоскующимъ сердцемъ, съ неокрѣпшимъ организмомъ, человѣкъ всецѣло погружается въ призрачный міръ имъ самимъ созданныхъ фантасмагорій, а жизнь проходитъ мимо, не прикасаясь къ нему ни одной изъ своихъ реальныхъ усладъ. Что̀ такое блаженство? въ чемъ состоитъ душевное равновѣсіе? почему оно наполняетъ жизнь отрадой? въ силу какого злого волшебства міръ живыхъ, полный чудесъ, для него одного превратился въ пустыню? — вотъ вопросы, которые ежеминутно мечутся передъ нимъ, и на которые онъ тщетно будетъ искать отвѣта...

Объ опрятности не было и помина. Дѣтскія комнаты, какъ я уже сейчасъ упоминалъ, были переполнены насѣкомыми и нерѣдко оставались по нѣскольку дней неметенными, потому что ничей глазъ туда не заглядывалъ; одежда на дѣтяхъ была плохая и чаще всего перешивалась изъ разнаго старья или переходила отъ старшихъ къ младшимъ; бѣлье перемѣнялось рѣдко. Прибавьте къ этому прислугу, одѣтую въ какую-то вонючую, заплатанную рвань, распространявшую запахъ, и вы получите ту невзрачную обстановку, среди которой копошились съ утра до вечера дворянскія дѣти.

То же можно сказать и о питаніи: оно было очень скудное. Въ семействѣ нашемъ царствовали не то чтобы скупость, а какое-то непонятное скопидомство. Всегда казалось мало, и всего было жаль. Грошъ прикидывался къ грошу, и когда образовывался гривенникъ, то помыслы устремлялись къ цѣлковому. „Ты думаешь, какъ состоянія-то наживаются?“ — эта фраза раздавалась во всѣхъ углахъ съ утра до вечера, оживляла всѣ сердца, давала тонъ и содержаніе всему обиходу. Это было своего рода исповѣданіе вѣры, которому всѣ безусловно подчинялись. Даже дворовые, насчетъ которыхъ собственно и происходилъ процессъ прижиманія гроша къ грошу — и тѣ внимали афоризмамъ стяжанія не только безъ ненависти, но даже съ какимъ-то благоговѣніемъ.

Утромъ намъ обыкновенно давали по чашкѣ чая, приправленнаго молокомъ, непремѣнно снятымъ (синеватымъ), несмотря на то, что на скотномъ дворѣ стояло болѣе трехсотъ коровъ. Къ чаю полагался крохотный ломоть домашняго бѣлаго хлѣба; затѣмъ завтрака не было, такъ что съ восьми часовъ до двухъ (время обѣда) дѣти буквально оставались безъ пищи. За обѣдомъ подавались кушанья, въ которыхъ главную роль играли вчерашніе остатки. Иногда чувствовался и запахъ лежалаго. Въ особенности ненавистны намъ были соленые полоткѝ изъ домашней живности, которыми въ лѣтнее время, изъ опасенія, чтобы совсѣмъ не испортились, насъ кормили чуть не ежедневно. Кушанье раздавала дѣтямъ матушка, но при этомъ (за исключеніемъ любимцевъ) одѣляла такими микроскопическими порціями, что сѣнныя

дѣвушки, которыхъ семьи содержались на мѣсячинѣ *), нерѣдко изъ жалости приносили подъ фартуками ватрушекъ и лепешекъ, и тайкомъ давали намъ поѣсть. Какъ сейчасъ помню процедуру *приказыванья* кушанья. Въ дѣвичьей на обѣденномъ столѣ красовались вчерашніе остатки, не исключая похлебки, и матушкою, совмѣстно съ поваромъ, обсуждался вопросъ, что̀ и ка̀къ „подправить" къ предстоящему обѣду. Затѣмъ, если вчерашнихъ остатковъ оказывалось недостаточно, то прибавлялась свѣжая провизія, которой предстояла завтра та же участь, то-есть быть подправленной на завтрашній обѣдъ. Такимъ образомъ дѣло шло изо дня въ день, такъ что совсѣмъ свѣжій обѣдъ готовился лишь по большимъ праздникамъ да въ тѣ дни, когда наѣзжали гости. На случай нечаянныхъ пріѣздовъ нѣсколько кушаньевъ *получше* приготовлялись особо и хранились на погребѣ. Пріѣдетъ нечаянный гость—бѣгутъ на погребъ и несутъ оттуда какое-нибудь заливное или легко разогрѣваемое: вотъ, дескать, мы каждый день такъ ѣдимъ!

Но даже мы, не избалованные сытнымъ и вкуснымъ столомъ, приходили въ недоумѣніе при видѣ пирога, который по воскресеньямъ подавался на закуску попу съ причтомъ. Начинка этого пирога представляла смѣшеніе всевозможныхъ отбросковъ, накоплявшихся въ теченіе недѣли, и наполняла столовую своеобразнымъ запахомъ лежалой солонины. Пирогъ этотъ такъ и назывался „поповскимъ", да и посуда къ закускѣ подавалась особенная, поповская: сѣрыя, прыщеватыя тарелки, ножи съ сточенными лезвеями, поломанныя вилки, стаканы и рюмки зеленаго стекла. Впрочемъ надо сказать правду, что и попъ у насъ былъ совсѣмъ особенный, *таковскій*, какъ тогда выражались.

Однакожъ при матушкѣ ѣда все-таки была сноснѣе; но когда она уѣзжала на болѣе или менѣе продолжительное время въ Москву или въ другія вотчины, и домовничать оставался отецъ, тогда наступало сущее бѣдствіе. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ отцу оставлялась сторублевая ассигнація, на все про все, а затѣмъ призывался церковный староста, которому наказывалось, чтобы въ случаѣ ежели оставленныхъ барину денегъ будетъ недостаточно, то давать ему заимообразно изъ церковныхъ суммъ. Отецъ не былъ жаденъ, но, желая угодить матушкѣ, старался изъ всѣхъ силъ сохранить довѣренную ему ассигнацію въ цѣлости. Поэтому онъ доводилъ экономію до самыхъ безобразныхъ размѣровъ. Даже сосѣди это знали, и никогда къ намъ въ отсутствіе матушки не ѣздили. Результаты такихъ экономическихъ усилій почти всегда сопровождались блестящимъ успѣхомъ: отцу удавалось возвратить оставленный капиталъ неприкосновеннымъ, ибо

*) Существовало два способа продовольствовать дворовыхъ людей. Однимъ (исключительно впрочемъ семейнымъ и служившимъ во дворѣ, а не въ горницѣ) дозволяли держать корову и пару овецъ на барскомъ корму, отводили крошечный огородъ подъ овощи и отсыпали на каждую душу извѣстную пропорцію муки и крупъ. Это и называлось мѣсячиной. Другихъ кормили въ застольной. Первые считали себя относительно счастливыми. Я еще помню мѣсячину; но такъ какъ этотъ способъ продовольствія считался менѣе выгоднымъ, то съ теченіемъ времени онъ былъ въ нашемъ домѣ окончательно упраздненъ, и всѣ дворовые были поверстаны въ застольную. Я помню ропотъ и даже слезы по этому поводу.

ежели и случался неотложный расходъ, то онъ скорѣе рѣшался занять малость изъ церковныхъ суммъ, нежели размѣнять сторублевую. Тѣмъ не менѣе, хотя мы и голодали, но у насъ оставалось утѣшеніе: при отцѣ мы могли роптать, тогда какъ при матушкѣ малѣйшее слово неудовольствія сопровождалось немедленнымъ и жестокимъ возмездіемъ.

Какъ ни вредно отражалось на дѣтскихъ организмахъ недостаточное питаніе, но въ нравственномъ смыслѣ еще болѣе вредное вліяніе оказывалъ самый способъ распредѣленія пищи. Въ этомъ отношеніи господствовало совершенное неравенство и пристрастіе. Дѣти въ нашей семьѣ (впрочемъ тутъ я разумѣю по преимуществу матушку, которая давала тонъ всему семейству) раздѣлялись на двѣ категоріи: на любимыхъ и постылыхъ, и такъ какъ высшее счастіе жизни полагалось въ ѣдѣ, то и преимущества любимыхъ надъ постылыми проявлялись главнымъ образомъ за обѣдомъ. Матушка, раздавая кушанья, выбирала для любимчика кусокъ и побольше, и посвѣжѣе, а для постылаго—непремѣнно какую-нибудь разогрѣтую и вывѣтрившуюся чурку. Иногда, одѣливъ любимчиковъ, она говорила постылымъ: „а вы сами возьмите!“ И тогда происходило постыдное зрѣлище борьбы, которой предавались голодные постылые.

Матушка исподлобья взглядывала, наклонившись надъ тарелкой и выжидая, что̀ будетъ. Постылый, въ большинствѣ случаевъ, чувствуя устремленный на него ея пристальный взглядъ и сознавая, что предоставленіе выбора куска есть не что иное, какъ игра въ кошку и мышку, самоотверженно бралъ самый дурной кусокъ.

— Что̀ же ты получше куска не выбралъ? вонъ сбоку, смотри, жирный какой! — заговаривала матушка притворно ласковымъ голосомъ, обращаясь къ несчастному постылому, у котораго глаза были полны слезъ.

— Я, маменька, сытъ-съ! — отвѣчалъ постылый, стараясь быть развязнымъ и нервно хихикая.

— То-то сытъ! а губы зачѣмъ надулъ? смотри ты у меня! я вѣдь насквозь тебя, тихо̀ня, вижу!

Но иногда постылому приходила несчастная мысль побравировать, и онъ начиналъ тыкать вилкой по блюду, выбирая кусокъ получше. Какъ вдругъ раздавался окрикъ:

— Ты что̀ это разыгрался, мерзавецъ! ишь новую моду завелъ, вилкой по блюду тыкать! Подавай сюда тарелку!

И постылому накладывалась на тарелку уже дѣйствительно совсѣмъ подожженная и неимѣвшая ни малѣйшей питательности щепка.

Вообще весь процессъ насыщенія сопровождался тоскливыми заглядываніями въ тарелки любимчиковъ, и очень часто разрѣшался долго сдерживаемыми слезами. А за слезами неизбѣжно слѣдовали шлепки по затылку, приказанія продолжать обѣдъ стоя, лишеніе блюда, и непремѣнно любимаго, и т. д.

То же самое происходило и съ лакомствомъ. Зимой намъ давали полакомиться очень рѣдко; по лѣту ягодъ и фруктовъ было такое изобиліе, что и дѣтей ежедневно одѣляли ими. Обыкновенно для вида всѣхъ вообще одѣ-[illegible]ровну, но любимчикамъ клали особо въ потаенное мѣсто двойную

порцію фруктовъ и ягодъ, и, конечно, посвѣжѣе, чѣмъ постылымъ. Происходило шушуканье между матушкой и любимчиками, и постылые легко догадывались, что ихъ настигла обида...

Существовалъ и еще пріемъ, который чувствительно отзывался на постылыхъ. Обыкновенно матушка сама собирала фрукты, т.-е. персики, абрикосы, шпанскія вишни, сливы и т. п. Уходя въ оранжерею, она очень часто брала съ собой кого-нибудь изъ любимчиковъ, и давала ему тамъ фрукты *прямо съ дерева*. Можете себѣ представить, какія картины рисовало воображеніе постылыхъ, покуда происходила процедура сбора фруктовъ и въ воротахъ сада показывалась процессія съ лотками, горшками и мисками, наполненными массою спѣлыхъ персиковъ, вишенъ и проч.! И въ этой процессіи слѣдомъ за матушкой, рѣзвясь и играя, возвращался любимчикъ...

Да, мнѣ и теперь становится неловко, когда я вспоминаю объ этихъ дѣлежахъ, тѣмъ больше, что раздѣленіе на любимыхъ и постылыхъ не остановилось на рубежѣ дѣтства, но прошло впослѣдствіи черезъ всю жизнь и отразилось въ очень существенныхъ несправедливостяхъ...

— Но вы описываете не дѣйствительность, а какой-то вымышленный адъ! — могутъ сказать мнѣ. Что описываемое мною похоже на адъ — объ этомъ я не спорю; но въ то же время утверждаю, что этотъ адъ не вымышленъ мною. Это „пошехонская старина“ — и ничего больше. И, воспроизводя ее, я могу, положа руку на сердце, подписаться: съ подлиннымъ вѣрно.

Я не отрицаю впрочемъ, что встрѣчалась и тогда другого рода дѣйствительность, мягкая и даже сочувственная. Я и ее впослѣдствіи не обойду. Въ настоящемъ „житіи“ найдется мѣсто для всего разнообразія стихій и фактовъ, изъ которыхъ составлялся порядокъ вещей, называемый „стариною“.

III.—Воспитаніе нравственное.

Вообще весь тонъ воспитательной обстановки былъ необыкновенно суровый и, что всего хуже, въ высшей степени извращенный. Но нравственно-педагогическій элементъ былъ даже ниже физическаго. Начну съ взаимныхъ отношеній родителей.

Какъ я уже упоминалъ, отецъ мой женился сорока лѣтъ на дѣвушкѣ, еще не вышедшей изъ ребяческаго состоянія. Это былъ первый и главный [illegible] [illegible]. Затѣмъ, отецъ принадлежалъ къ старинному дворянскому роду (выгаданный — шутка сказать!), а мать была по рождению купчиха, при выдачѣ которой замужъ, вдобавокъ, не отдали [illegible] [illegible]. Ни въ характерахъ, ни въ воспитаніи, ни въ [illegible] не было ничего общаго, и такъ какъ матушка была изъ Москвы привезена въ деревню, въ совершенно чуждую ей семью, то въ [illegible] [illegible] было до крайности безпо[illegible] и [illegible]. И ей съ [illegible] грубостью и даже жестокостью [illegible]

Въ особенности донимали ее на первыхъ порахъ золовки, которыя всѣ жили неподалеку отъ отцовской родовой усадьбы и которыя встрѣтили молодую хозяйку въ высшей степени враждебно. А такъ какъ всѣ онѣ были „чудихи", то приставанія ихъ имѣли удивительно нелѣпыя и досадныя формы. Примутся, напримѣръ, безъ всякой причины хохотать между собой и при этомъ искоса взглядывать на матушку. Или, при появленіи ея, шепчутъ: „купчиха! купчиха! купчиха!"—и при этомъ опять такъ и покатываются со смѣха. Или обращаются къ отцу съ вопросомъ: „а скоро ли вы, братецъ, имѣніе на приданое молодой хозяюшки купите?" Такъ что даже отецъ, несмотря на свою вялость, по временамъ гнѣвался и кричалъ: „язвы вы, язвы! какъ у васъ языкъ не отсохнетъ!" Что же касается матушки, то она, натурально, возненавидѣла золовокъ, и впослѣдствіи доказала не безъ жестокости, что память у нея относительно обидъ не короткая.

Впрочемъ въ то время, какъ я началъ себя помнить, роли уже перемѣнились. Командиршею въ домѣ была матушка; золовки были доведены до безмолвія и играли роль приживалокъ. Отецъ тоже стушевался; однакожъ сознавалъ свою приниженность и отплачивалъ за нее тѣмъ, что при всякомъ случаѣ осыпалъ матушку безсильною руганью и укоризнами. Въ теченіе цѣлаго дня они почти никогда не видались; отецъ сидѣлъ безвыходно въ своемъ кабинетѣ и перечитывалъ старыя газеты; мать въ своей спальнѣ писала дѣловыя письма, считала деньги, совѣщалась съ должностными людьми и т. д. Сходились только за обѣдомъ и вечернимъ чаемъ, и тутъ начинался настоящій погромъ. Къ несчастію, свидѣтелями этихъ сценъ были и дѣти. Иниціатива брани шла всегда отъ отца, который, какъ человѣкъ слабо-характерный, не могъ выдержать, и первый, безъ всякой наглядной причины, начиналъ семейную баталію. Раздавалась брань, припоминалось прошлое, слышались намеки, непристойныя слова. Матушка почти всегда выслушивала молча, только верхняя губа у нея сильно дрожала. Все притихало; люди ходили на цыпочкахъ; дѣти опускали глаза въ тарелки; однѣ гувернантки не смущались. Онѣ открыто принимали сторону матушки и какъ будто про себя (но такъ, чтобы матушка слышала) шептали: „страдалица!"

Такія сцены повторялись почти каждый день. Мы ничего не понимали въ нихъ, но видѣли, что сила на сторонѣ матушки, и что въ то же время она чѣмъ-то кровно обидѣла отца. Но вообще мы хладнокровно выслушивали возмутительныя выраженія семейной свары, и она не вызывала въ насъ никакого чувства, кромѣ безотчетнаго страха передъ матерью и полнаго безучастія къ отцу, который не только кому-нибудь изъ насъ, но даже себѣ никакой защиты дать не могъ. Скажу больше: мы только по имени были дѣтьми нашихъ родителей, и сердца наши оставались вполнѣ равнодушными ко всему, что касалось ихъ взаимныхъ отношеній.

Да оно и не могло быть иначе, потому что отношенія къ намъ родителей были совсѣмъ неестественныя. Ни отецъ, ни мать не занимались дѣтьми, почти не знали ихъ. Отецъ — потому что былъ устраненъ отъ всякаго дѣятельнаго участія въ семейномъ обиходѣ; мать—потому что всецѣло была погружена въ процессъ благопріобрѣтенія. Она являлась между нами только тогда, когда, по жалобѣ гувернантки, ей приходилось карать. Являлась гнѣв-

ная, неумолимая, съ закушенною нижнею губою, рѣшительная на руку, злая. Родительской ласки мы не знали, ежели не считать лаской тѣ безнравственныя подачки, которыя кидались любимчикамъ, на зависть постылымъ. Былъ впрочемъ и еще одинъ видъ родительской ласки, о которомъ стоитъ упомянуть. Когда матушка занималась „дѣлами", то всегда затворялась въ своей спальнѣ. Тутъ она выслушивала старостъ и бурмистровъ, тутъ принимала оброчную сумму, запродавала хлѣбъ, тальки, полотна и прочія произведенія; тутъ же происходило и ежедневное подсчитыванье денежной кассы. Матушка не любила производить свои денежныя операціи при свидѣтеляхъ, но любимчики составляли въ этомъ случаѣ исключеніе. Замѣтивъ, что матушка „затворилась", они тихонько бродили около ея спальни, и материнское сердце, почуявъ ихъ робкіе шаги, растворялось.

— Кто тамъ?—раздавался голосъ изъ спальни.

— Это я, маменька, Гриша...

— Ну, войди. Войди, посмотри, какъ мать-старуха хлопочетъ. Вонъ сколько денегъ Максимушка (бурмистръ изъ ближней вотчины) матери привезъ. А мы ихъ въ ящикъ уложимъ, а потомъ, вмѣстѣ съ другими, въ дѣло пустимъ. Посиди, дружокъ, посмотри, поучись. Только сиди смирно, не мѣшай.

Гриша садился и застывалъ на мѣстѣ. Онъ былъ безконечно счастливъ, ибо понималъ, что маменькино сердце раскрылось и маменька любитъ его.

Разумѣется, любимчикъ передавалъ о слышанномъ и видѣнномъ прочимъ братьямъ и сестрамъ, и тогда между дѣтьми происходили своеобразныя собесѣдованія.

— И куда она такую прорву деньжищъ копитъ! — восклицалъ кто-нибудь изъ постылыхъ.

— Все для нихъ вотъ, для любимчиковъ этихъ, для Гришки да для Надьки!—отзывался другой постылый.

— Ты бы, Гришка, сказалъ матери: вы, маменька, не все для насъ копите, у васъ и другія дѣти есть...

— Да,—скажетъ онъ!

И т. д., и т. д.

Таковы были единственныя выраженія, въ которыхъ родительская ласка исчерпывалась вполнѣ.

Такимъ образомъ, къ отцу мы, дѣти, были совершенно равнодушны, какъ и всѣ вообще домочадцы, за исключеніемъ, быть можетъ, старыхъ слугъ, помнившихъ еще холостые отцовскіе годы; матушку, напротивъ, боялись какъ огня, потому что она являлась послѣднею карательною инстанціей, и притомъ не смягчала, а, наоборотъ, всегда усиливала мѣру наказанія.

Вообще тѣлесныя наказанія во всѣхъ видахъ и формахъ являлись главнымъ педагогическимъ пріемомъ. Къ сѣченію прибѣгали не часто, но колотушки, какъ болѣе сподручныя, сыпались со всѣхъ сторонъ, такъ что „постылымъ" совсѣмъ житья не было. Я лично росъ отдѣльно отъ большинства братьевъ и сестеръ (старше меня было три брата и четыре сестры, причемъ между мною и моею предшественницею-сестрой было три года разницы), и потому менѣе другихъ участвовалъ въ общей оргіи битья; но впрочемъ, когда и для меня подоспѣла пора ученья, то, на мое несчастье, пріі-

ѣхала вышедшая изъ института старшая сестра, которая дралась съ такимъ ожесточеніемъ, какъ будто мстила за прежде вытерпѣнные побои. Благодаря этому педагогическому пріему, во время классовъ раздавались неумолкаемые дѣтскіе стоны; за то въ неклассное время дѣти сидѣли смирно, не шевелясь, и весь домъ погружался въ такую тишину, какъ будто вымиралъ. Словомъ сказать, это былъ подлинный дѣтскій мартирологъ, и въ настоящее время, когда я пишу эти строки и когда многое въ отношеніяхъ между родителями и дѣтьми настолько измѣнилось, что малѣйшая боль, ощущаемая ребенкомъ, заставляетъ тоскливо сжиматься родительскія сердца, подобное мучительство покажется чудовищнымъ вымысломъ. Но сами созидатели этого мартиролога отнюдь не сознавали себя извергами—да и въ глазахъ постороннихъ не слыли за таковыхъ. Просто говорилось: „съ дѣтьми безъ этого нельзя". И допускалось въ этомъ смыслѣ только одно ограниченіе: какъ бы не застукать совсѣмъ! Но кто можетъ сказать, сколько „не до конца застуканныхъ" безвременно снесено на кладбище? кто можетъ опредѣлить, сколькимъ изъ этихъ юныхъ страстотерпцевъ была застукана и изуродована вся послѣдующая жизнь?

Но ежели несправедливыя и суровыя наказанія ожесточали дѣтскія сердца, то поступки и разговоры, которыхъ дѣти были свидѣтелями, развращали ихъ. Къ сожалѣнію, старшіе даже на короткое время не считали нужнымъ сдерживаться передъ нами и безъ малѣйшаго стѣсненія выворачивали ту интимную подкладку, которая давала ключъ къ уразумѣнію цѣлаго жизненнаго строя.

Нормальныя отношенія помѣщиковъ того времени къ окружающей крѣпостной средѣ опредѣлялись словомъ: „гнѣваться". Это было какъ бы естественное право, которое нынче совсѣмъ пришло въ забвеніе. Нынче всякій такъ-называемый „господинъ" отлично понимаетъ, что, гнѣвается ли онъ, или нѣтъ, результатъ все одинъ и тотъ же: „наплевать!" но при крѣпостномъ правѣ выраженіе это было обильно и содержаніемъ, и практическими послѣдствіями. Господа „гнѣвались"; прислуга имѣла свойство „прогнѣвлять". Это былъ, такъ сказать, волшебный кругъ, въ которомъ обязательно вращались всѣ тогдашнія несложныя отношенія. По крайней мѣрѣ всякій разъ, когда намъ, дѣтямъ, приходилось сталкиваться съ прислугой, всякій разъ мы видѣли испуганныя лица и слышали одно и то же шушуканье: „барыня изволятъ гнѣваться", „баринъ гнѣваются"...

За обѣдомъ прежде всего гнѣвались на повара. Поваръ у насъ былъ старый (были и молодые, но ихъ отпускали по оброку), полуслѣпой и довольно нечистоплотный. Ежели кушанье оказывалось черезчуръ посоленнымъ, то его призывали и объявляли, что недосолъ на столѣ, а пересолъ на спинѣ; если въ супѣ отыскивали таракана — повара опять призывали и заставляли таракана разжевать. Иногда матушка не доискивалась куска, который утромъ, заказывая обѣдъ, собственными глазами видѣла—опять повара за бока: „куда дѣвалъ кусокъ? любовницѣ отдалъ?" Словомъ сказать, рѣдкій обѣдъ проходилъ, чтобы несчастный старикъ чѣмъ-нибудь да не прогнѣвилъ господъ.

Кромѣ повара, гнѣвались и на лакеевъ, прислуживавшихъ за столомъ.

Мотивы были самые разнообразные: не такъ ступилъ, не такъ подалъ, не такъ взглянулъ. „Что фордыбакой-то смотришь, или ужъ намеднешнюю баню позабылъ?“ „Что словно во снѣ веревки вьешь — или по намеднешнему напомнить надо?“ Такіе вопросы и ссылки на недавнее прошлое сыпались безпрерывно. Драться во время ѣды было неудобно; поэтому отецъ, какъ человѣкъ набожный, нерѣдко прибѣгалъ къ наложенію эпитиміи. Прогнѣвается на какого-нибудь „не такъ ступившаго“ верзилу, да и поставитъ его возлѣ себя на колѣни, а не то такъ прикажетъ до конца обѣда земные поклоны отбивать.

Однако не всегда же домашнія встрѣчи ознаменовывались семейными сварами, не всегда господа гнѣвались, а прислуга прогнѣвляла. Отъ времени до времени выпадали дни, когда воюющія стороны встрѣчались мирно, и свара уступала мѣсто обыкновенному разговору. Увы! разговоры эти своимъ пошлымъ содержаніемъ и формой засоряли дѣтскіе мозги едва ли не хуже, нежели самая жестокая брань. Обыкновенно они вращались или около средствъ наживы и сопряженныхъ съ нею разнообразнѣйшихъ формъ объегориванія, или около половыхъ проказъ родныхъ и сосѣдей.

— Ты знаешь ли, какъ онъ состояніе-то пріобрѣлъ? — вопрошалъ одинъ (или одна), и тутъ же объяснялись всѣ подробности стяжанія, въ которыхъ торжествующую сторону представлялъ человѣкъ, пользовавшійся кличкой не то „шельмы“, не то „умницы“, а угнетенную сторону — „простофиля“ и „дуракъ“.

Или:

— Ты что глаза-то вытаращилъ? — обращалась иногда матушка къ кому-нибудь изъ дѣтей: — Чай, думаешь, скоро отецъ съ матерью умрутъ, такъ мы, дескать, живо спустимъ, что они хребтомъ да потомъ, да кровью нажили! Успокойся, мерзавецъ! Умремъ, все вамъ оставимъ, ничего въ могилу съ собой не унесемъ!

А иногда къ этому прибавлялась и угроза.

— А хочешь, я тебя, балбесъ, въ Суздаль-монастырь сошлю? да, возьму и сошлю! И никто меня за это не осудитъ, потому что я мать: что хочу, то надъ дѣтьми и дѣлаю! Сиди тамъ да и жди, пока мать съ отцомъ умрутъ, да имѣніе свое тебѣ, шельмецу, предоставятъ!

Что касается до оцѣнки дѣйствій родныхъ и сосѣдей, то она почти исключительно исчерпывалась фразами:

— И легъ, и всталъ у своей любезной!

Или:

— Любовники-то настоящіе бросили, такъ она за попа принялась...

И все это говорилось безъ малѣйшей тѣни негодованія, безъ малѣйшей попытки скрыть гнусный смыслъ словъ, какъ будто рѣчь шла о самомъ обыденномъ фактѣ. Въ словѣ: „шельма“, слышалась не укоризна, а скорѣе что-то ласкательное, въ родѣ „молодца“. Напротивъ, „простофиля“ не только не встрѣчалъ ни въ комъ сочувствія, но возбуждалъ нелѣпое злорадство, которое и формулировалось въ своеобразномъ афоризмѣ: „такъ и надо учить дураковъ!“

Но судаченіемъ сосѣдей дѣло ограничивалось очень рѣдко; въ боль-

шинствѣ случаевъ оно перерождалось въ взаимную семейную перестрѣлку. Начинали съ сосѣдей, а потомъ постепенно переходили къ самимъ себѣ. Возникали бурныя сцены, сыпались упреки, выступали на сцену откровенія...

Впрочемъ виноватъ: кромѣ такихъ разговоровъ, иногда (преимущественно по праздникамъ) возникали и богословскіе споры. Такъ напримѣръ, я помню въ Преображеньевъ день (нашъ престольный праздникъ), по поводу словъ тропаря: *Показавый ученикомъ своимъ славу твою, яко же можаху* — спорили о томъ, что̀ такое „жеможаха"? сіяніе, что-ли, особенное? А однажды помѣщица-сосѣдка, изъ самыхъ почетныхъ въ уѣздѣ, интересовалась узнать: „что̀ это за „жезаны" такіе? — И когда отецъ замѣтилъ ей: — Какъ же вы, сударыня, Богу молитесь, а не понимаете, что тутъ не одно, а три слова: же, за, ны... „за насъ" то-есть...

То она очень развязно отвѣчала:

— Толкуй, троесловъ! Еще неизвѣстно, чья молитва Богу угоднѣе. Я вотъ и однимъ словомъ молюсь, а моя молитва доходитъ, а ты и тремя словами молишься, анъ Богъ-то тебя не слышитъ! и проч. и проч.

Разговоры старшихъ, конечно, полагались въ основу и нашихъ дѣтскихъ интимныхъ бесѣдъ, любимою темою для которыхъ служили маменькины благопріобрѣтенія и наши предположенія, кому что̀ по смерти ея достанется. Объ отцовскомъ имѣніи мы не поминали, потому что оно, сравнительно, представляло небольшую часть общаго достоянія, и притомъ всецѣло предназначалось старшему брату Порфирію (я въ дѣтствѣ его почти не зналъ, потому что онъ въ это время воспитывался въ московскомъ университетскомъ пансіонѣ, а оттуда прямо поступилъ на службу); прочія же дѣти должны были ждать награды отъ матушки. Въ этомъ пунктѣ матушка вынуждена была уступить отцу, хотя Порфирій и не былъ изъ числа любимчиковъ. Тѣмъ не менѣе, не всѣ изъ насъ находили это распоряженіе справедливымъ, и не совсѣмъ охотно отдавались на милость матушки.

— Малиновецъ-то вѣдь золотое дно, даромъ-что въ немъ только триста-шестьдесятъ-одна душа!—претендовалъ братъ Степанъ, самый постылый изъ всѣхъ:—въ прошломъ году одного хлѣба на десять тысячъ продали, да пустоша въ кортому отдавали, да масло, да яйца, да тальки. Лѣсу-то сколько, лѣсу! Тамъ *она* дастъ или не дастъ, а тутъ *свое, законное*. Нельзя изъ родового законной части не выдѣлить. Вотъ Заболотье — и велика Ѳедора, да дура,—что̀ въ немъ!

— Ну, нѣтъ, и Заболотье недурно, — резонно возражалъ ему любимчикъ Гриша:—а притомъ папенькино желанье такое, чтобъ Малиновецъ въ цѣломъ составѣ перешелъ къ старшему въ родѣ Затрапезныхъ. Надо же уважить старика.

— Что̀ отецъ! только слава, что отецъ! Вотъ мнѣ, небось, Малиновца не подумалъ оставить, а вѣдь и я чѣмъ не Затрапезный? Вотъ увидите: отвалитъ *она* мнѣ вологодскую деревнюшку въ сто душъ и скажетъ: пей, ѣшь и веселись! И манже, и буаръ, и сортиръ—все тутъ!

— А мнѣ въ Меленкахъ деревнюшку выброситъ!—задумчиво отзывалась сестра Вѣра:—съ такимъ приданымъ кто меня замужъ возьметъ!

— Нѣтъ, Меленковская деревушка — Любкѣ, а съ тебя и въ Ветлужскомъ уѣздѣ сорока душъ будетъ!

— А можетъ, вдругъ, расщедрится — скажетъ: и Меленковскую, и Ветлужскую деревни Любкѣ отдать! Вѣдь это ужъ въ своемъ родѣ кусъ!

— Кому-то она Бубново съ деревнями отдастъ! вотъ это такъ кусъ! Намеднись мы ѣхали мимо: скирдовъ-то, скирдовъ-то наставлено! Кучеръ Алемпій говоритъ: „точно Украйна!"

— Разумѣется, Бубново — Гришкѣ! Недаромъ онъ матери на насъ шпіонитъ. Тебѣ, что-ли, Гришка-шпіонъ?

— Я всѣмъ буду доволенъ, что милость маменьки назначитъ мнѣ, — кротко отвѣчаетъ Гриша, потупивъ глазки.

— Намеднись мы съ Вѣркой считали, что̀ *она* доходовъ съ имѣній получаетъ. Считали-считали, до пятидесяти тысячъ насчитали... ей Богу!

— И куда она экую прорву деньжищъ копитъ!

— Намеднись Петръ Дормидонтовъ изъ города пріѣзжалъ. Заперлись, завѣщанье писали. Я, было, у двери подслушать хотѣлъ, да только и успѣлъ услышать: „а *его* за неповиновеніе"... Въ это время, слышу, потихоньку кресло кресло отодвигаютъ—я какъ дамъ стрекача, только пятки засверкали. Да чтожъ впрочемъ, подслушивай не подслушивай, а *его*—это непремѣнно означаетъ меня! Ушлетъ она меня къ тотемскимъ чудотворцамъ, какъ пить дастъ!

— Кому-то она Заболотье отдѣлитъ!—безпокоится сестра Софья.

— Тебѣ, Сонька, тебѣ, кроткая дѣвочка... дожидайся!—остритъ Степанъ.

— Да вѣдь не унесетъ же она его, въ самомъ дѣлѣ, въ могилу!

— Нѣтъ, господа! этого дѣла нельзя оставлять! надо у Петра Дормидонтыча досконально выпытать!

— Я и то спрашивалъ: что̀, молъ, кому и какъ? Смѣется, каналья: „все, говоритъ, вамъ, Степанъ Васильичъ! ни братцамъ, ни сестрицамъ ничего—все вамъ!"

И т. д.

Иногда Стёпка-балбесъ поднимался на хитрости. Доставалъ у дворовыхъ ла̀данки съ безсмысленными заговорами и подолгу носилъ ихъ, въ чаяньи приворожить сердце маменьки. А одинъ разъ поймалъ лягушку, подрѣзалъ ей лапки и еще живую зарылъ въ муравейникъ. И потомъ всѣмъ показывалъ бѣленькую косточку, увѣряя, что она принадлежитъ той самой лягушкѣ, которую объѣли муравьи.

— Мнѣ этотъ секретъ Ванька-портной открылъ. „Сдѣлайте, говоритъ: вотъ увидите, что маменька совсѣмъ другія къ вамъ будутъ!" А что̀ ежели она вдругъ... „Стёпа, скажетъ, поди ко мнѣ, сынъ мой любезный! вотъ тебѣ Бубново съ деревнями"... Да деньжищъ малую толику отсыплетъ: „катайся, каналья, какъ сыръ въ маслѣ!"

— Дожидайся! — огорчался Гриша, слушая эти похвальбы, и даже принимался плакать съ досады, какъ будто у него и въ самомъ дѣлѣ отнимали Бубново.

Матушка, благодаря наушникамъ, знала объ этихъ *дѣтскихъ* разго-

ворахъ, и хотя не часто (у нея было слишкомъ мало на это досуга), но временами обрушивалась на брата Степана.

— Ты опять, балбесъ безчувственный, надъ матерью надругаешься! — кричала она на него:—мало тебѣ, постылому сыну, намеднешней потасовки!— И вслѣдъ за этими словами происходила новая жестокая потасовка, которая даже у мало-чувствительнаго „балбеса“ извлекала изъ глазъ потоки слезъ.

Вообще нужно сказать, что система шпіонства и наушничества была въ полномъ ходу въ нашемъ домѣ. Наушничала прислуга, въ особенности должностная; наушничали дѣти. И не только любимчики, но и постылые, желавшіе хоть на нѣсколько часовъ выслужиться.

— Марья Андреевна! *онъ* васъ кобылой назвалъ!—слышалось во время классовъ, и, разумѣется, доносъ не оставался безъ послѣдствій для „виноватаго“. Марья Андреевна съ истинно адскою хищностью впивалась въ *его* уши и острыми ногтями до крови ковыряла ушную мочку, приговаривая:

— Это тебѣ за кобылу! это тебѣ за кобылу! Гриша, поди сюда, поцѣлуй меня, добрый мальчикъ! Вотъ такъ. И впередъ мнѣ говори, коли что дурное про меня будутъ братцы или сестрицы болтать.

Выше я упоминалъ о формахъ, въ которыхъ обрушивался барскій гнѣвъ на прогнѣвлявшую господъ прислугу, но все сказанное по этому поводу касается исключительно мужского персонала, который подвертывался подъ руку, сравнительно, довольно рѣдко. Несравненно въ болѣе горькомъ положеніи была женская прислуга, и въ особенности сѣнныя дѣвушки, которыя на тогдашнемъ циническомъ языкѣ назывались „дѣвками“ *).

„Дѣвка“ была существо не только безотвѣтное, но и дешевое, что̀ въ значительной степени увеличивало ея безотвѣтность. О „дѣвкѣ“ говорили: „дешевле пареной рѣпы“ или „по грошу пара“—и соотвѣтственно съ этимъ цѣнили ея услуги. Дворовымъ человѣкомъ до извѣстной степени дорожили. Во-первыхъ, въ большинствѣ случаевъ, это былъ мастеровой или искусникъ, котораго не такъ-то легко замѣнить. Во-вторыхъ, если за нимъ и не водились ремесла, то онъ зналъ барскія привычки, умѣлъ подавать брюки, обладалъ снаровкой, разговоромъ и т. д. Въ-третьихъ, двороваго человѣка можно было отдать въ солдаты въ зачетъ будущихъ наборовъ; и квитанцію съ выгодою продать. Ничего подобнаго „дѣвки“ не представляли. Изъ нихъ былъ поводъ дорожить только ключницей, барыниной горничной да, можетъ быть, какой-нибудь особенно искусной мастерицей, обученной въ Москвѣ на Кузнецкомъ-Мосту. Всѣ прочія составляли безразличную массу, каждый членъ которой могъ быть безъ труда замѣненъ другимъ. Всѣ пряли, всѣ вязали чулки, вышивали на пяльцахъ, плели кружева. И изъ-за взрослыхъ всегда выглядывалъ на смѣну контингентъ подростковъ.

---

*) Выраженіе это напоминаетъ мнѣ довольно оригинальный случай. Въ половинѣ семидесятыхъ годовъ мнѣ привелось провести зиму въ одной изъ такъ-называемыхъ stations d'hiver на берегу Средиземнаго моря. Узнавъ, что въ городѣ имѣется пансіонъ, содержимый русской старушкой—барыней изъ Бронницъ, я, конечно, поспѣшилъ туда. И какъ же я былъ обрадованъ, когда на мой вопросъ о прислугѣ, милая старушка отвѣтила: „да скличьте дѣвку, вотъ и прислуга!“ Такъ на меня и пахнуло словно изъ печки.

Поэтому ихъ плохо кормили, одѣвали въ затрапезъ и мало давали спать, изнуряя почти непрерывной работой *). И было ихъ у всѣхъ помѣщиковъ великое множество.

Въ нашемъ домѣ ихъ тоже было не меньше тридцати штукъ. Всѣ онѣ занимались разнаго рода шитьемъ и плетеньемъ, покуда свѣтло, а съ наступленіемъ сумерекъ ихъ загоняли въ небольшую дѣвичью, гдѣ онѣ пряли, при свѣтѣ сальнаго огарка, часовъ до одиннадцати ночи. Тутъ же онѣ обѣдали, ужинали и спали на полу, въ-повалку, на войлокахъ.

Вслѣдствіе непосильной работы и худого питанія дѣвушки очень недомогали, и всѣ имѣли уныло-заспанный видъ и землистый цвѣтъ лица. Красивыхъ не было. Многія были удивительно терпѣливы, кротки и горячо вѣрили, что смерть возвѣститъ имъ тѣ радости и услады, въ которыхъ такъ сурово отказала жизнь. Въ послѣдніе дни страстной недѣли, подъ вліяніемъ ежедневныхъ службъ, эта вѣра въ особенности оживлялась, такъ что вся дѣвичья наполнялась тихими, сосредоточенными вздохами. Затѣмъ, наступившій Свѣтлый праздникъ былъ едва ли не единственнымъ днемъ, когда лица рабовъ и рабынь расцвѣтали и крѣпостное право какъ бы упразднялось.

Но что̀ было всего циничнѣе и возмутительнѣе—это необыкновенно настойчивое выслѣживаніе „дѣвокъ".

У большинства помѣщиковъ было принято за правило не допускать браковъ между дворовыми людьми. Говорилось прямо: разъ вышла дѣвка замужъ—она ужъ не слуга; ей впору дѣтей родить, а не господамъ служить. А иные къ этому цинично прибавляли: „на нихъ, кобылъ, и жеребцовъ не напасешься". Съ дѣвки всегда спрашивалось больше, нежели съ замужней женщины: и лишняя талька пряжи, и лишній вершокъ кружева и т. д. Поэтому былъ прямой разсчетъ, чтобы дѣвичье цѣломудріе не нарушалось.

Процедура выслѣживанья была омерзительна до послѣдней степени Устраивали засады, подстерегали по ночамъ, рылись въ грязномъ бѣльѣ и проч. И когда, наконецъ, улики были на-лицо, начинался цѣлый адъ. Иногда, не дождавшись разрѣшенія отъ бремени, виновную (какъ тогда говорили: „съ кузовомъ") выдавали за крестьянина дальней деревни, непремѣнно за бѣднаго и притомъ вдовца съ большимъ семействомъ. Словомъ сказать, трагедіи самыя несомнѣнныя совершались на каждомъ шагу, и никто и не подозрѣвалъ, что это трагедія, а говорили резонно, что съ „подлянками" иначе поступать нельзя.

И мы, дѣти, были свидѣтелями этихъ трагедій, и глядѣли на нихъ не только безъ ужаса, но совершенно равнодушными глазами. Кажется, и мы не прочь были думать, что съ „подлянками" иначе нельзя...

Были впрочемъ и либеральные помѣщики. Эти не выслѣживали дѣвичьихъ беременностей, но замужъ выходить все-таки не позволяли, такъ что, сколько бы ни было у „дѣвки" дѣтей, ее продолжали считать „дѣвкою", до смерти, а дѣти ея отдавались въ дальнія деревни, *въ дѣти* кре-

*) Разумѣется, встрѣчались помѣщичьи дома, гдѣ и дворовымъ дѣвкамъ жилось изрядно, но въ большинствѣ случаевъ тутъ примѣшивался гаремный оттѣнокъ.

стьянамъ. И все это хитросплетеніе допускалось ради лишней тальки пряжи, ради лишняго вершка кружева.

Люди позднѣйшаго времени скажутъ мнѣ, что все это было и быльемъ поросло, и что, стало-быть, вспоминать объ этомъ не особенно полезно. Знаю я и самъ, что фабула этой были дѣйствительно поросла быльемъ; но почему же однако она и до сихъ поръ такъ ярко выступаетъ передъ глазами отъ времени до времени? Не потому ли, что, кромѣ фабулы, въ этомъ трагическомъ прошломъ было нѣчто еще, что̀ далеко не поросло быльемъ, а продолжаетъ и до-днесь тяготѣть надъ жизнію? Фабула исчезла, но въ характерахъ образовалась извѣстная складка, въ жизнь проникли извѣстныя привычки... Спрашивается: исчезли ли, вмѣстѣ съ фабулой, эти привычки, эта складка?

Въ заключеніе не могу не упомянуть здѣсь и еще объ одномъ существенномъ недостаткѣ, которымъ страдало наше нравственное воспитаніе. Я разумѣю здѣсь совершенное отсутствіе общенія съ природой.

Бываютъ счастливыя дѣти, которыя съ пеленокъ ощущаютъ на себѣ прикосновеніе тѣхъ безконечно разнообразныхъ сокровищъ, которыя мать-природа на всякомъ мѣстѣ расточаетъ передъ каждымъ, имѣющимъ очи, чтобъ видѣть, и уши, чтобъ слышать. Мнѣ было уже за тридцать лѣтъ, когда я прочиталъ „Дѣтскіе годы Багрова внука", и, признаюсь откровенно, прочиталъ почти съ завистью. Правда, что природа, лелѣявшая дѣтство Багрова, была богаче и свѣтомъ, и тепломъ, и разнообразіемъ содержанія, нежели бѣдная природа нашего сѣраго захолустья; но вѣдь для того, чтобы и богатая природа осіяла душу ребенка своимъ свѣтомъ, необходимо чтобы съ самыхъ раннихъ лѣтъ создалось то стихійное общеніе, которое, захвативъ человѣка въ колыбели, наполняетъ все его существо и проходитъ потомъ черезъ всю его жизнь. Если этого общенія не существуетъ, если между ребенкомъ и природою нѣтъ никакой непосредственной и живой связи, которая помогла бы первому заинтересоваться великою тайною вселенской жизни, то и самыя яркія и разнообразныя картины не разбудятъ его равнодушія. Напротивъ того, при наличности общенія, ежели дѣти не закупорены наглухо отъ вторженія воздуха и свѣта̀, то и скудная природа можетъ пролить радость и умиленіе въ дѣтскія сердца.

Что касается до насъ, то мы знакомились съ природою случайно и урывками—только во время переѣздовъ на долгихъ въ Москву или изъ одного имѣнія въ другое. Остальное время все кругомъ насъ было темно и безмолвно. Ни о какой охотѣ никто и понятія не имѣлъ; даже ружья, кажется, въ цѣломъ домѣ не было. Раза два-три въ годъ матушка позволяла себѣ нѣчто въ родѣ partie de plaisir и отправлялась всей семьей въ лѣсъ по грибы или въ сосѣднюю деревню, гдѣ былъ большой прудъ и происходила ловля карасей.

Караси были диковинные и по вкусу, и по величинѣ, но ловля эта имѣла характеръ чисто хозяйственный и съ природой не имѣла ничего общаго. А кромѣ того мы даже въ смыслѣ лакомства черезчуръ мало пользовались плодами ея, потому что почти все наловленное солилось, вялилось и сушилось немедленно впрокъ, и потомъ неизвѣстно куда исчезало. Затѣмъ, ни звѣрей, ни птицъ въ живомъ видѣ въ нашемъ домѣ не водилось; вообще ничего сверх-

штатнаго, что̀ потребовало бы лишняго куска на прокормъ. И звѣрей, и птицъ мы знали только въ соленомъ, вареномъ и жареномъ видѣ. Исключеніе составлялъ рыжій Васька-котъ, котораго впрочемъ очень кстати плохо кормили, чтобы онъ усерднѣе ловилъ мышей. Да еще я помню двухъ собакъ: Плутонку и Трезорку, которыхъ держали на цѣпи около застольной, а въ домъ не пускали.

Вообще въ нашемъ домѣ избѣгалось все, что̀ могло давать пищу воображенію и любознательности. Не допускалось ни одного слова лишняго, всѣ были на счету. Даже предразсудки и примѣты были въ пренебреженіи, но не вслѣдствіе свободомыслія, а потому что слѣдованіе имъ требовало возни и безплодной траты времени. Такъ что ежели, напримѣръ, староста докладывалъ, что хорошо было бы съ понедѣльника рожь жать начать, да день-то тяжелый, то матушка ему неизмѣнно отвѣчала: „начинай-ка, начинай! тамъ что̀ будетъ, а коли, чего добраго, съ понедѣльника рожь сыпаться начнетъ, такъ кто намъ за убытки заплатитъ?“ Только чорта боялись, о немъ говорили: „кто его знаетъ, не то онъ есть, не то его нѣтъ—а ну какъ есть?!“ Да о домовомъ достовѣрно знали, что онъ живетъ на чердакѣ. Эти два предразсудка допускались, потому что отъ нихъ никакое дѣло не страдало.

Религіозный элементъ тоже сведенъ былъ на степень простой обрядности. Ходили къ обѣднѣ аккуратно каждое воскресенье, а наканунѣ большихъ праздниковъ служили въ домѣ всенощныя и молебны съ водосвятіемъ, причемъ строго слѣдили, чтобы дѣти усердно крестились и клали земные поклоны. Отецъ каждое утро запирался въ кабинетѣ и, выходя оттуда, раздавалъ намъ по кусочку зачерствѣлой просвиры. Но во всемъ этомъ царствовала полная машинальность, и не чувствовалось ничего, что̀ напоминало бы возгласъ: „горѣ имѣехъ сердца!“ Колѣни пригибались, лбы стукались объ полъ, но сердца оставались нѣмы. Только въ Свѣтлый праздникъ домъ своей тишиной нѣсколько напоминалъ объ умиротвореніи и умиленіи сердецъ...

Попы въ то время находились въ полномъ повиновеніи у помѣщиковъ, и обхожденіе съ ними было полу-презрительное. Церковь, какъ и все остальное, была крѣпостная, и попъ при ней—крѣпостной. Захочетъ помѣщикъ—у попа будетъ хлѣбъ; не захочетъ—попъ безъ хлѣба насидится. Нашъ попъ былъ полу-грамотный, выслужившійся изъ дьячковъ; это былъ домовитый и честный старикъ, который пахалъ, косилъ, жалъ и молотилъ на ряду со всѣми крестьянами. Обыкновенно онъ велъ трезвую жизнь, но въ большіе праздники напивался до безобразія. Обращались съ нимъ нехорошо (даже въ глаза называли Ванькой). Я помню, что нерѣдко, во время чтенія евангелія, отецъ черезъ всю церковь поправлялъ его ошибки. Помню также ежегодно повторявшійся скандалъ на вечернѣ Свѣтлаго праздника. Попъ порывался затворить царскія врата, а отецъ не допускалъ его, такъ что дѣло доходило между ними до борьбы. А по окончаніи службы попъ выходилъ на амвонъ, становился на колѣни и кланялся отцу въ ноги, прося прощенія. Разумѣется, соотвѣтственно съ такимъ обращеніемъ соразмѣрялась и плата за требы. За всенощную платили двугривенный, за молебенъ съ водосвятіемъ—гривенникъ. Самыя монеты, назначавшіяся въ вознагражденіе причту, выбирались до того слѣпыя, что даже „пятнышекъ“ не было видно.

Тѣмъ не менѣе, несмотря на почти совершенное отсутствіе религіозной подготовки, я помню, что когда я въ первый разъ прочиталъ евангеліе, то оно произвело на меня потрясающее дѣйствіе. Но объ этомъ я разскажу впослѣдствіи, когда пойдетъ рѣчь объ ученіи.

IV.—День въ помѣщичьей усадьбѣ.

Іюнь въ началѣ; шестой часъ утра. Окно въ дѣвичьей поднято, и въ комнату со двора врывается свѣжая струя воздуха. Рои мухъ такъ и кишатъ въ воздухѣ, и въ особенности скучиваются подъ потолкомъ, откуда слышится неистовое гудѣніе. Женская прислуга уже встала, убрала съ полу войлоки, собралась около стола и завтракаетъ. На этотъ разъ на столѣ стоитъ чашка съ толокномъ, и деревянныя ложки усиленно работаютъ. Черезъ десять минутъ завтракъ конченъ; дѣвицы скрываются въ рабочую комнату, гдѣ разставлены пяльцы и подушки для кружевъ. Въ дѣвичьей остается одна деньщица, обыкновенно изъ подростковъ, которая убираетъ посуду, мететъ комнату и принимается вязать чулокъ, чутко прислушиваясь, не раздадутся ли въ барыниной спальнѣ шаги Анны Павловны Затрапезной.

Рабочій день начался, но работа покуда идетъ вяло. До тѣхъ поръ, пока не заслышится грозный барынинъ голосъ, у нѣкоторыхъ дѣвушекъ слипаются глаза; другія ведутъ праздные разговоры. И иглы, и коклюшки двигаются медленно.

Хотя время еще раннее, но въ рабочей комнатѣ солнечные лучи уже начинаютъ исподволь нагрѣвать воздухъ. Впереди предвидится жаркій и душный день. Бесѣда идетъ о томъ, какое барыня сдѣлаетъ распоряженіе. Хорошо, ежели пошлютъ въ лѣсъ за грибами или за ягодами, или нарядятъ въ саду ягоды обирать; но бѣда ежели на цѣлый день за пяльцы да за коклюшки засадятъ; хоть умирай отъ жары и духоты.

— Сказываютъ, во ржахъ солдатъ бѣглый притаился, — сообщаютъ другъ другу дѣвушки: — намеднись Дашутка, съ села, въ лѣсъ по грибы ходила, такъ онъ какъ прыснетъ изъ-за ржи, да на нее. Хлѣбъ съ ней былъ, молочка малость—отнялъ и отпустилъ.

— Смотри, не съозорничалъ ли?

— Нѣтъ, говоритъ, ничего не сдѣлалъ; только, что̀ взяла съ собой поѣсть, то̀ отнялъ. Да и солдатъ-то, слышь, здѣшній, изъ Великановской усадьбы Сережка фалетуръ.

— А въ Лому медвѣдь проявился. Вотъ коли туда пошлютъ, да онъ въ гости къ себѣ позоветъ!

— Меня онъ въ одинъ глотокъ съѣстъ!—отзывается карлица Полька.

Это — несчастная и вѣчно-больная дѣвушка, лѣтъ двадцати-пяти, ростомъ аршинъ съ четвертью, съ кошачьими глазами и выпятившимся клиномъ животомъ. Однакожъ ее заставляютъ работать наравнѣ съ большими, только пяльцы устроили низенькія и дали низенькую скамеечку.

— А правда ли,—повѣствуетъ одна изъ собесѣдницъ:—въ Москалевѣ одну бабу медвѣдь въ берлогу увелъ да цѣлую зиму у себя тамъ и держалъ?

— Какъ же! въ кухаркахъ она у него жила!—смѣются другія.

Въ эту минуту въ рабочую комнату, какъ угорѣлая, вбѣгаетъ деньщица и шопотомъ возглашаетъ:

— Барыня! барыня идетъ!

Дѣвичій гомонъ мгновенно стихаетъ; головы наклоняются къ работѣ, иглы проворно мелькаютъ, коклюшки стучатъ. Въ дверяхъ показывается заспанная фигура барыни, нечесанной, немытой, въ засаленной блузѣ. Она зѣваетъ и креститъ ротъ; иногда такъ постоитъ и уйдетъ, но въ иной день заглянетъ и въ работы. Въ послѣднемъ случаѣ рѣдко проходитъ, чтобы не раздалось, для начала дня, двухъ-трехъ пощечинъ. Въ особенности достается подросткамъ, которые еще учатся и очень часто портятъ работу.

На этотъ разъ однакожъ все обходится благополучно. Анна Павловна, постоявъ нѣсколько секундъ, грузными шагами направляется въ дѣвичью, гдѣ, заложивъ руки за спину, ее ожидаетъ старикъ-поваръ въ рваной курткѣ и засаленномъ передникѣ. Тутъ же, въ глубинѣ комнаты, притулилась ключница. Барыня садится на ларь къ столу, на которомъ разложены на блюдахъ остатки „вчерашняго", и между прочимъ, въ кастрюлькѣ, вчерашняя похлебка. Сбоку лежитъ немного свѣжей провизіи: солонина, гусиный полотокъ, телячья головка, коровье масло, яйца, нѣсколько кусковъ сахару, пшеничная мука и т. п. Барыня начинаетъ приказывать.

— Супецъ-то у насъ, кажется, ужъ третій день? — спрашиваетъ она, заглядывая въ кастрюлю.

— Да, ужъ третій денекъ-съ. Прокисъ-съ.

— Ну, такъ и быть, сегодня новый завари. Говядина-то есть ли?

— Говядину послѣднюю извели.

— Какъ? кусочекъ, кажется, остался? Еще ты говорилъ: старому барину на котлетки будетъ.

— Третьяго-дня они двѣ котлетки и скушали.

— И куда такая пропасть выходитъ говядины? Покупаешь-покупаешь, а какъ ни спросишь—все нѣтъ да нѣтъ... Дѣлать нечего, курицу зарѣжь... Или лучше вотъ что: щецъ съ солониною свари, а курица-то пускай походитъ... Да за говядиной въ Мялово сегодня же пошлите, чтобы пуда два... Ты смотри у меня, старый хрычъ. Говядинка-то нынче кусается... четыре рублика (ассигнаціями) за пудъ... Поберегай, не швыряй зря. Ну, горячее готово; на холодное что?

— Вчерашняго галантиру малость осталось, да тоже одно званіе...

Анна Павловна разсматриваетъ остатки галантира. Клейкая масса расползлась по блюду, и изъ нея торчатъ обрывки мозговъ и телячьей головки.

— А ты съумѣй подправить; на то ты поваръ. Старый-то галантиръ въ формочки влей, а изъ новой головки свѣжаго галантирцу сдѣлай.

Барыня откладываетъ въ сторону телячью голову и продолжаетъ.

— Соусу вчерашняго тоже, кажется, не осталось... или нѣтъ, стой! печонка, что-ли, вчера была?

— Печонка-съ.

— Сама собственными глазами видѣла, что два куска на блюдѣ остались! Куда они дѣвались?

— Не знаю-съ.

Барыня вскакиваетъ и приближается къ самому лицу повара.

— Сказывай! куда печонку дѣвалъ?

— Виноватъ-съ.

— Куда дѣвалъ? сказывай!

— Собака съѣла... не досмотрѣлъ-съ...

— Собака! Василисушкѣ своей любезной скормилъ? Хоть роди да подай мнѣ вчерашнюю печонку!

— Воля ваша-съ.

Поваръ стоитъ и смотритъ барынѣ въ глаза. Анна Павловна съ минуту колеблется, но наконецъ примиряется съ совершившимся фактомъ.

— Ну, такъ соусу у насъ ныньче не будетъ,—рѣшаетъ она.—Такъ и скажу всѣмъ: старый хрѣнъ любовницѣ соусъ скормилъ. Вотъ ужò баринъ за это тебя на колѣнки поставитъ.

Очередь доходитъ до жаркого. Передъ барыней лежитъ на блюдѣ баранья нога, до такой степени изскобленная, что даже намека на мякоть нѣтъ.

— Ну, на нѣтъ и суда нѣтъ. Вчера Андрюшка изъ Москалева зайца привезъ; видно, его придется изжарить.

— Позвольте, сударыня, вамъ посовѣтовать. На погребѣ ужъ пять дней жареная телячья нога, на случай пріѣзда гостей, лежитъ, такъ вотъ ее бы сегодня подать. А заяцъ и повисѣть можетъ.

Анна Павловна облизываетъ указательный палецъ и показываетъ повару шишъ.

— Натко!

— Помилуйте, сударыня, отъ телятины-то ужъ запашòкъ пошелъ.

— Какъ запашокъ? На льду стоитъ всего пятый день, и ужъ запошòкъ! Льду, что-ли, у тебя нѣтъ? — строго обращается барыня къ ключницѣ.

— Ледъ есть, да сами изволите знать, какая на дворѣ жарынь, — оправдывается ключница.

— Жарынь да теплынь... только и словъ отъ васъ! Вотъ я тебя, старая псовка, за индейками ходить пошлю, такъ ты и будешь знать, какъ барское добро гноить! Ну, инъ быть такъ: телячью ногу разогрѣть на сегодняшнее жаркое. Такъ оно и будетъ: посидимъ безъ соуса, за то телятинки побольше поѣдимъ. А на случай гостей—новую ногу зажарить. Ахъ, ужъ эти мнѣ гости! обопьютъ, объѣдятъ, да тебя же и обругаютъ! Да еще хамовъ да хамокъ съ собой навезутъ—всѣхъ-то напой, всѣхъ-то накорми! А чтò добра на лошадей ихнихъ изойдетъ! Пріѣдутъ шестерикомъ... И сѣна то имъ, и овса-то!

— Это ужъ извѣстно...

— Да ты смотри, Тимошка, старую баранью ногу все-таки не бросай. Еще найдутся обрѣзочки, на винегретъ пригодятся. А хлѣбеннаго (пирожнаго) ничего отъ вчерашняго не осталось?

— Ничего-съ.

— Ну, бабу изъ клубники сдѣлай. И то сказать, безъ пути на погребѣ

— А! такъ я „нанята“! еще грубить смѣетъ!.. безъ чаю!

— Безъ чаю да безъ чаю! только вы и знаете! А я вотъ возьму да и выпью!

— Не смѣешь! Еслибы ты попросилъ прощенія, я, можетъ быть, простила бы, а теперь... безъ чаю!

Степанъ отодвигаетъ чашку и смиряется.

— Позвольте хоть хлѣбъ съѣсть!—проситъ онъ.

— Хлѣбъ...: можешь!

Такимъ образомъ, день только-что начался, а жертва уже найдена.

Выпивши чай, дѣти скрываются въ классную и садятся за ученье. Имъ и въ лѣтніе жары не дается отдыха.

Анна Павловна между тѣмъ, въ той же замасленной блузѣ, нечесанная, сидитъ въ своей спальнѣ и тоже кушаетъ чай. Она любитъ пить чай одна, потому что кладетъ сахару вдоволь, и при этомъ ей подается горшочекъ съ густыми топленными сливками, на поверхности которыхъ запеклась румяная пѣнка. Комната еще не выметена, горничная взбиваетъ пуховики; въ воздухѣ летаютъ перья, пухъ; мухи не даютъ покоя; но барыня привыкла къ духотѣ, ей и теперь не душно, хотя на лбу и на открытой груди выступили капли пота. Перестилая постель, горничная рапортуетъ:—Что Липка съ кузовкомъ—это вѣрно; и про солдата правду говорили: Сережка отъ Великановыхъ. Кирюшка столяръ вчера ночью именины справлялъ, пьянъ напился и Мареу кухарку напоилъ. Пѣсни пѣли, барыню толстомясой честили...

— Гдѣ водку взяли? кто принесъ? откуда? сейчасъ же пойди, призови обоихъ: и Кирюшку, и Мареушку!

Горничная удаляется; Анна Павловна остается одна и предается размышленіямъ. Всѣ-то живутъ въ спокоѣ да въ холѣ, она одна цѣлый день какъ въ котлѣ кипитъ. За всѣмъ-то она присмотри! всѣмъ-то припаси, обо всемъ-то подумай! Еще восемь часовъ только, а ужъ какую пропасть она дѣлъ придѣлала! И кушанье заказала, и насчетъ дѣвокъ распоряженіе сдѣлала, всѣхъ выслушала, всѣмъ отвѣтъ дала! Даже хамкамъ—и тѣмъ не въ примѣръ вольнѣе! Вотъ хоть бы Акулька-ключница, чѣмъ ей не житье? Сбѣгала на погребъ, въ кладовую, что̀ слѣдуетъ—выдала, что̀ слѣдуетъ—приняла... Потомъ опять сбѣгала. Или дѣвки опять... Убѣжали теперь въ лѣсъ по малину, дерутъ тамъ пѣсни да аукаются или съ солдатомъ амурничаютъ... и горюшка мало! Въ лѣсу имъ прохладно, ни вѣтерокъ не вѣнетъ, ни мушка не тронетъ... словно въ раю! А устанутъ—сядутъ и отдохнутъ! Хлѣбца поѣдятъ, толоконца разведутъ... сытёхоньки! А она цѣлый день все на ногахъ да на ногахъ. И туда пойди, и тамъ побывай, и того выслушай, и тѣмъ распорядись! И все одна, все одна. У другихъ хоть мужъ помога — вотъ у Александры Ѳедоровны—а у нея только слово, что мужъ! Сидитъ запершись въ кабинетѣ или бродитъ по коридору да по ляжкамъ себя хлопаетъ! Глядитко-те, солдатъ бѣглый проявился, а имъ никому и горя нѣтъ! А что̀, ежели онъ въ усадьбу заберется да подожжетъ или убьетъ... вѣдь на то онъ солдатъ! Или опять Кирюшка—подлецъ! Пьянъ напиться изволилъ! И гдѣ они вино достаютъ? Безпремѣнно это раскрыть надо.

Сидитъ Анна Павловна и все больше и больше проникается сожалѣніемъ къ самой себѣ, и наконецъ начинаетъ даже разсуждать вслухъ.

— И добро бы я кого-нибудь обидѣла,—говоритъ она:—кого бы нибудь обокрала, наказала бы занапрасно или изувѣчила, убила... Ничего за мной этакого нѣтъ! За что̀ только Богъ забылъ меня — ума приложить не могу! Родителей я завсегда чтила, а кто чтитъ родителей — тому это въ заслугу ставится. Только мнѣ одной—шишкъ вмѣсто награды! Что чти что не чти — все одно! Получила я отъ нихъ, какъ замужъ выдавали, грошъ мѣдный, а теперь, смотри, какое имѣньище взбодрила! А все какъ? — все шеей, да грудью, да хребтомъ! Сюда забѣжишь, тамъ хвостомъ вильнешь... въ опекунскомъ-то совѣтѣ со сторожами табакъ нюхивала! передъ какимъ-нибудь ледащимъ приказнымъ чуть не въ присядку плясала: „только справочку, голубчикъ, достань!“ Вотъ какъ я имѣнья-то пріобрѣтала! И кому все это я припасаю? Кто меня за мои труды отблагодаритъ? Такъ, прахомъ всѣ хлопоты пойдутъ... послѣ смерти и помянуть-то никто не вздумаетъ! И умру я одна-одинёшенька, и похоронятъ меня... гроба-то, пожалуй, настоящаго не сдѣлаютъ, такъ, колоду какую-нибудь... Намеднись спрашиваю Степку: радъ будешь, Степка, ежели я умру?.. Смѣется... Такъ-то и всѣ. Иной, пожалуй, и скажетъ: я, маменька, плакать буду... а кто его знаетъ, что̀ у него на душѣ!..

Неизвѣстно, куда бы завели Анну Павловну эти горькія мысли, еслибы не воротилась горничная и не доложила, что Кирюшка съ Мареушкой дожидаются въ дѣвичьей.

Черезъ минуту въ дѣвичьей происходитъ обмѣнъ мыслей.

Прежде всего Анна Павловна начинаетъ иронизировать.

— Такъ вотъ вы какъ, Кириллъ Филатычъ! винцо покушиваете?— говоритъ она, держась впрочемъ въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ обвиняемаго.

Но Кирюшка не изъ робкихъ. Онъ принадлежитъ къ числу „закоснѣлыхъ“, и знаетъ, что барыня давно уже готовитъ его подъ красную шапку.

— Пилъ-съ, — спокойно отвѣчаетъ онъ, какъ будто это такъ и быть должно.

— Именины изволили справлять?

— Такъ точно, былъ именинникъ.

— И Мареѣ Васильевнѣ поднесли?

— И ей поднесъ. Тетка она мнѣ...

— А гдѣ, позвольте узнать, вы вина достали?

— Стало-быть, сорока на хвостѣ принесла.

Лицо Анна Павловны мгновенно зеленѣетъ; губы дрожатъ, грудь тяжело дышетъ, руки трясутся. Въ одинъ прыжокъ она подскакиваетъ къ Кирюшкѣ.

— Не извольте драться, сударыня!—твердо предупреждаетъ послѣдній, отстраняя барынины руки.

— Сказывай, подлецъ, гдѣ вино взялъ?—кричитъ она на весь домъ.

— Гдѣ взялъ, тамъ его ужъ нѣтъ.

Съ минуту Анна Павловна стоитъ словно ошеломленная. Кирюшка,

напротивъ, не только не изъявляетъ намѣренія попросить прощенія, но продолжаетъ смотрѣть ей прямо въ глаза.

— Хорошо, я съ тобой справлюсь! — наконецъ изрекаетъ барыня. — Иди съ моихъ глазъ долой! А съ тобой,—обращается она къ Мареѣ,—расправа короткая! Сейчасъ же сбирайся на скотную, индеекъ пасти! Тамъ тебѣ вольготнѣе будетъ съ именинниками винцо распивать...

Аудіенція кончена. Дѣловой день въ самомъ разгарѣ; весь домъ приходитъ въ обычный порядокъ. Василій Порфирычъ роздалъ дѣтямъ по микроскопическому кусочку просфоры, напился чаю и засѣлъ въ кабинетъ. Дѣти зубрятъ уроки. Анна Павловна тоже удалилась въ спальню, забывъ, что голова у нея осталась нечесанною.

Она запираетъ дверь на ключъ, присаживается къ большому письменному столу и придвигаетъ денежный ящикъ, который постоянно стоитъ на столѣ, противъ изголовья барыниной постели, такъ, чтобы всегда имѣть его въ глазахъ. Въ денежномъ ящикѣ, кромѣ денегъ, хранится и дѣловая корреспонденція, которая содержится Анной Павловной въ большомъ порядкѣ. Переписка съ каждой вотчины завязана въ особенную пачку; такія же особыя пачки посвящены перепискѣ съ судами, съ опекунскимъ совѣтомъ, съ старшими дѣтьми, и т. д.

Прежде всего Анна Павловна пересчитываетъ кассу и убѣждается, что вся сумма на-лицо. Потомъ начинаетъ развязывать пачки съ перепискою. Провѣряется, не забыто ли что̀, не требуется ли на что-нибудь отвѣтъ или приказъ. Все это занимаетъ много времени и выполняется безъ задержки. Въ этомъ отношеніи Анна Павловна смѣло можетъ поставить себя въ образецъ. У нея день очищается днемъ, и независимо отъ громадной памяти, сохраняющей всякую мелочь, на всякое распоряженіе имѣется оправдательный документъ. И старосты, и приказчики знаютъ это, и никогда не осмѣливаются опровергать то̀, что̀ она утверждаетъ. Весь ходъ тяжебныхъ дѣлъ, которыхъ у нея достаточно, она помнитъ такъ твердо, что даже повѣренный ея сутяжныхъ тайнъ, Петръ Дормидонтычъ Могильцевъ, приказный изъ мѣстнаго уѣзднаго суда, ни разу не рѣшался продать ее противной сторонѣ, зная, что она чутьемъ угадаетъ предательство.

Вообще Могильцевъ не столько руководитъ ее въ дѣлахъ, сколько выслушиваетъ ея внушенія, облекаетъ ихъ въ законную форму и указываетъ, гдѣ, кому и въ какомъ размѣрѣ слѣдуетъ вручить взятку. Въ послѣднемъ отношеніи она слѣпо ему повинуется, сознавая, что въ тяжебныхъ дѣлахъ лучше переложить, чѣмъ не доложить.

На этотъ разъ дѣлъ оказывается достаточно, такъ какъ имѣются въ виду „оказіи“ и въ Москву, и въ одну изъ вотчинъ.

Анна Павловна беретъ листъ сѣро-желтой бумаги и разрѣзываетъ его на четвертушки. Бумагу она жалѣетъ, и всю корреспонденцію ведетъ по возможности на лоскуткахъ. Избѣгаетъ она и почтовыхъ расходовъ, предпочитая отправлять письма съ оказіей. И тутъ, какъ вездѣ, наблюдается самая строгая экономія.

Перо ея быстро бѣгаетъ по четвертушкѣ. Лишнихъ словъ не допускается; всякая мысль выражена въ приказательной формѣ, кратко и опре-

дѣленно, такъ, чтобы все нужное умѣстилось на лицевой сторонѣ четвертушки. Затѣмъ письмо складывается на манеръ узелка и въ свое время отправляется по назначенію, незапечатанное. Сургучъ, какъ вещь покупная, употребляется только въ крайнихъ случаяхъ. Ухитряются даже свой собственный сургучъ приготовлять, вырѣзывая сургучныя печати изъ получаемыхъ писемъ и перетапливая ихъ; но вѣдь и его не наготовишься, если зря тратить.

— Состоянія-то и все такъ составляются,—проповѣдуетъ Анна Павловна: — тутъ копѣечку сбережешь, въ другомъ мѣстѣ урвешь — смотришь, и гривенничекъ!

А Василій Порфирычъ идетъ даже дальше; онъ не только вырѣзываетъ сургучныя печати, но и самые конверты сберегаетъ: можетъ быть, внутренняя, чистая сторона еще пригодится коротенькое письмецо написать.

Наконецъ, всѣ нужныя дѣла прикончены. Анна Павловна припоминаетъ, что она еще что-то хотѣла сдѣлать, да не сдѣлала, и наконецъ догадывается, что до сихъ поръ сидитъ нечесанная. Но въ эту минуту за дверьми раздается голосъ садовника:

— Скоро ли персики собирать будете? Сегодня паданцевъ два горшка набралъ.

При этомъ напоминаніи, мелькнувшая на мгновеніе мысль о необходимости причесаться вновь оставляетъ Анну Павловну.

— Фу ты прòпасть!—восклицаетъ она:—то туда, то сюда! вздохнуть не дадутъ! Ступай, Сергѣичъ! сейчасъ, слѣдомъ же за тобой иду.

Садовникомъ Анна Павловна дорожитъ и обращается съ нимъ мягче, чѣмъ съ другими дворовыми. Во-первыхъ, онъ — хранитель всей барской сласти, а во-вторыхъ, она его *купила* и заплатила довольно дорого. Поэтому ей не разсчетъ, ради минутнаго каприза, „ухлопать“ затраченный капиталъ.

Выше уже было упомянуто, что Анна Павловна, отправляясь въ оранжереи для сбора фруктовъ, почти всегда беретъ съ собой кого-нибудь изъ любимчиковъ. Такъ поступаетъ она и теперь.

— Ну что̀, Марья Андреевна, ка̀къ сегодня у васъ Гриша?—спрашиваетъ она, входя въ классъ.

Дѣти шумно отодвигаютъ табуретки и наперерывъ другъ передъ другомъ спѣшатъ подойти къ маменькиной ручкѣ.

— Сегодня мы похвастаться не можемъ, — жеманится Марья Андреевна:—изъ катехизиса—слабо, а изъ „Поэзіи“ *)—даже очень...

— Ну, вотъ видишь, а я иду въ ранжереи, и тебя хотѣла взять. А теперь...

— О, нѣтъ, — поправляется Марья Андреевна, видя, что аттестація ея не понравилась Аннѣ Павловнѣ:—я надѣюсь, что мы исправимся. Гриша! вѣдь ты къ вечеру скажешь мнѣ свой урокъ изъ „Поэзіи“?

— Скажу-съ,—весь красный и съ глазами полными слезъ бормочетъ Гриша.

— Въ такомъ случаѣ можешь отправиться съ мамашей.

---

*) Былъ особый предметъ преподаванія, «Поэзіей» называемый.

Гриша бросаетъ на мамашу умоляющій взглядъ.

— Чтожъ, ежели Марья Андреевна... встань и поцѣлуй у нея ручку! скажи: merci, Марья Андреевна, что вы такъ милостивы... вотъ такъ!

И черезъ двѣ минуты балбесы и постылые уже видятъ въ окно, какъ Гриша, подскакивая на одной ножкѣ, спѣшитъ за маменькой черезъ красный дворъ въ обѣтованную землю.

Оранжереи довольно обширны. Два корпуса и въ каждомъ нѣсколько отдѣленій, по сортамъ фруктовъ: персики, абрикосы, сливы, ренклоды (по тогдашнему „венгерки"). Теплица и грунтовые сараи стоятъ особнякомъ. Сверхъ того, при оранжереѣ имѣется обширное и плотно обгороженное подстриженными елями пространство, называемое „выставкой" и наполненное рядами горшковъ, тоже съ фруктами всѣхъ сортовъ. Рамы въ оранжереяхъ сняты и воздухъ пропитанъ теплымъ, душистымъ паромъ созрѣвающихъ плодовъ. Отъ этого пара занимается духъ. А солнце такъ и обливаетъ сверху лучами, словно огнемъ. Сердце Анны Павловны играетъ; фруктовъ уродилось множество, и все отличные. Садовникъ подаетъ ей два горшка съ падалицами, которые она пересчитываетъ и перекладываетъ въ другіе порожніе горшки. Фруктамъ въ Малиновцѣ ведется строгій счетъ. Какъ только персики начнутъ выходить „въ косточку", такъ ихъ тщательно пересчитываютъ, и затѣмъ уже всякій плодъ, хотя бы и не успѣвшій дозрѣть, долженъ быть сохраненъ садовникомъ и поданъ барынѣ для учета. При этомъ, конечно, допускается и уронъ, но самый незначительный.

Отдѣливъ помятые падалицы, Анна Павловна даетъ одинъ персикъ Гришѣ, который не ѣстъ его, а въ одинъ мигъ всасываетъ въ себя и выплевываетъ косточку.

— Ахъ, маменька, какъ вкусно!—восклицаетъ онъ въ упоеніи, цѣлуя у маменьки ручку:—какъ эти персики называются?

— Это персикъ ранжевый, а вотъ по отдѣленіямъ пойдемъ, тамъ и другихъ персиковъ поѣдимъ. Кто меня любитъ—и я тѣхъ люблю; а кто не любитъ—и я тѣхъ не люблю.

— Ахъ, маменька, васъ всѣ любятъ!

— Я знаю, что ты добрый мальчикъ, и готовъ за всѣхъ заступаться. Но не увлекайся, мой другъ! впослѣдствіи, ой-ой, какъ можешь раскаяться!

Къ шпалерамъ съ задней стороны приставляются лѣстницы, и садовникъ съ двумя помощниками влѣзаютъ наверхъ, гдѣ персики зрѣлѣе, чѣмъ внизу. Начинается сборъ. Анна Павловна, сопровождаемая ключницей и горничной, съ горшками въ рукахъ, переходитъ изъ отдѣленія въ отдѣленіе; совсѣмъ спѣлые фрукты кладетъ особо; посырѣе (для варенья) особо. Работа идетъ медленно, за-то фруктовъ набирается масса.

— Вотъ эти бѣлобокіе—съ кваскомъ, а эти, съ крапинками, я въ Отрадѣ прививочковъ достала да развела,—поучаетъ Анна Павловна Гришу.

Сборъ кончился. Нѣсколько лотковъ и горшковъ нагружено верхомъ румяными, сочными и ароматическими плодами. Процессія изъ пяти человѣкъ возвращается во-свояси, и у каждаго подъ мышками и на головѣ драгоцѣнная ноша. Но Анна Павловна не спѣшитъ; она заглядываетъ и въ ма-

линникъ, и въ гряды клубники, и въ смородину. Все уже созрѣваетъ, а клубника даже къ концу приходитъ.

— Малину-то хоть завтра обирай! — говоритъ она, всплескивая руками.

— Сегодня бы надо, а вы въ лѣсъ дѣвокъ угнали! — отвѣчаетъ садовникъ.

— Какъ мы со всей этой прорвой управимся? — тоскуетъ она. — И обирать, и чистить, и варить, и солить!

— Богъ милостивъ, сударыня; дѣвокъ побольше нагоните—разомъ очистятъ.

— Хорошо тебѣ, старый хрѣнъ, говорить: у тебя одно дѣло, а я цѣлый день и туда, и сюда! Нѣтъ! силъ моихъ нѣтъ! Брошу все и уѣду въ Хотьковъ, Богу молиться!

— Ахъ, маменька! — восклицаетъ Гриша, и двѣ слезинки навертываются на его глазахъ.

Но Анна Павловна уже вступила въ колею чувствительности и продолжаетъ роптать. Непремѣнно она броситъ все и уѣдетъ въ Хотьковъ. Построитъ себѣ келійку, огородецъ разведетъ, коровушку купитъ, и будетъ жить да поживать. Смирнехонько, тихохонько; ни она никого не тронетъ, ни ее никто не тронетъ. А то нàтко! такая прорва всего уродилась, что и въ два мѣсяца врядъ справиться, а у нея всего недѣли двѣ впереди. А кромѣ того сколько еще другихъ дѣлъ—и вездѣ она поспѣвай, всѣ къ ней за приказаніями бѣгутъ! Нѣтъ, будетъ съ нея! надо и объ душѣ подумать, уѣдетъ она въ Хотьковъ...

Все это она объясняетъ вслухъ и съ удовольствіемъ убѣждается, что даже купленный садовникъ Сергѣичъ сочувствуетъ ей. Но въ самомъ разгарѣ сѣтованій въ воротахъ сада показывается запыхавшаяся дѣвчонка, и объявляетъ, что баринъ „гнѣваются", потому что два часа ужъ пробило, а обѣдъ еще не поданъ.

Анна Павловна ускоряетъ шагъ, потому что Василій Порфирычъ на этотъ счетъ очень пунктуаленъ. Онъ ѣстъ всего одинъ разъ въ сутки и требуетъ, чтобы обѣдъ былъ поданъ ровно въ два часа. По настоящему, слѣдовало бы ожидать съ его стороны цѣлой бури (такъ какъ четверть часа уже перешло за положенный срокъ), но при видѣ массы благоухающихъ плодовъ сердце стараго барина растворяется. Онъ стоитъ на балконѣ и издали креститъ приближающуюся процессію; наконецъ сходитъ на крыльцо и встрѣчаетъ жену тамъ. Да, это все *она* завела! Когда онъ былъ холостой, у него былъ крохотный садъ, съ нѣсколькими десятками ягодныхъ кустовъ, между которыми были разсажены яблони самыхъ незатѣйливыхъ сортовъ. Теперь „заведеніе" господъ Затрапезныхъ чуть не первое въ уѣздѣ, и онъ совершенно законно гордится имъ. Поэтому онъ не только не встрѣчаетъ Анну Павловну словами: „купчиха", „вѣдьма", „чортъ" и проч., но, напротивъ, ласково креститъ ее и прикладывается щекой къ ея щекѣ.

— Этакую ты, матушка, махину набрала!—говоритъ онъ, похлопывая себя по ляжкамъ: — ну, и урожай же нынче! Такъ и быть, и я передъ чаемъ полакомлюсь, и мнѣ удѣлите персичекъ... вонъ хоть этотъ!

Онъ выбираетъ самый помятый персикъ, изъ числа падапцевъ, и бережно кладетъ его на порожній поддонникъ.

— Да возьми получше персикъ!—убѣждаетъ его Анна Павловна: — этотъ до вечера на половину сгніетъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, будетъ съ меня! А ежели и попортится, такъ я порченное мѣстечко вырѣжу... Хорошіе-то и на варенье пригодятся.

Обѣдъ, сверхъ обыкновенія, проходитъ благополучно. И повару, и прислугѣ какъ-то удается не прогнѣвить господъ; даже Степанъ-балбесъ ускользаетъ отъ наказанія, хотя отсутствіе соуса вызываетъ съ его стороны ироническое замѣчаніе: — „соусъ-то ныньче, видно, курица украла". — Легкомысленное это изреченіе сопровождается не наказаніемъ, а сравнительно мягкой угрозой:

— Только рукъ сегодня марать не хочется,—говоритъ Анна Павловна: —а ужъ когда-нибудь я тебя, балбесъ, за такія слова отшлепаю!

И только.

Послѣ обѣда Василій Порфирычъ ложится отдохнуть до шести часовъ вечера; дѣти бѣгутъ въ садъ, но не надолго: черезъ часъ они опять засядутъ за книжки, и будутъ учиться до шести часовъ. Сама Анна Павловна удаляется въ спальню и, усталая, грузно валится на постель. Но нынѣшній день ужъ такой выдался, что видно ей и отдохнуть не придется. Не прошло часу, какъ чуткое ея ухо уже заслышало шумъ, и она, какъ встрепанная, вынырнула изъ пуховиковъ. Отъ села шла цѣлая толпа народа, впереди которой вели связаннаго человѣка. Это былъ пойманный бѣглый солдатъ. Анна Павловна проворно выскочила на дѣвичье крыльцо.

Солдатъ изможденъ и озлобленъ. На немъ пестрядинные, до клочьевъ истрепанные портки и почти истлѣвшая рубашка, изъ-за которой виднѣется черное, какъ голенище, тѣло. Блѣдное лицо блеститъ крупными каплями пота; впалые глаза безпокойно бѣгаютъ; связанныя сзади въ локтяхъ руки безсильно сжимаются въ кулаки. Онъ идетъ, понуждаемый толчками, и кричитъ:

— Я казенный человѣкъ — не смѣете вы меня бить!.. Я самъ, коли захочу, до начальства дойду... Не смѣете вы! и безъ васъ есть кому меня бить!

Но провожатые, озлобленные, что у нихъ пропала, благодаря бѣглецу, лучшая часть дня сѣнокоса, не убѣждаются его воплями и продолжаютъ награждать его тумаками.

— Добро, добро!—раздается въ толпѣ:—ужо барыня тебя на всѣ четыре стороны пуститъ, а теперь пошевеливайся-ко, поспѣвай!

Барыня между тѣмъ уже вышла на крыльцо и ждетъ. Всѣ наличные домочадцы высыпали на дворъ; даже дѣти выглядываютъ изъ окна дѣвичьей. Вдали, по направленію къ конюшнямъ, бѣжитъ дѣвчонка съ приказаніемъ нести скорѣе колодки.

— Ну-ка, иди, казенный человѣкъ!—по обыкновенію начинаетъ иронизировать Анна Павловна: — Фу ты, какой франтъ! да никакъ и впрямь это великановскій Сережка... извините, не знаю, какъ васъ по отчеству звать... Поверните-ка его... вотъ такъ! какъ разъ по послѣдней модѣ одѣтъ!

— Я казенный человѣкъ!—продолжаетъ безсмысленно орать солдатъ: —не смѣете вы меня...

— Знаемъ мы, что ты казенный человѣкъ, затѣмъ и сторожу къ тебѣ приставили, что казенное добро беречь велѣно. Ужò, одѣнемъ мы тебя какъ слѣдуетъ въ колодки, нарядимъ подводу, да и отправимъ въ городъ по холодку. А оттуда тебя въ полкъ... да скрозь строй... да розочками, да палочками... какъ это въ пѣснѣ у васъ поется?..

— „Пройдись, пройдись, молодецъ, скрозь зеленые лѣса"!—отвѣчаетъ изъ толпы голосъ отставного солдата.

— Слышишь? Ну, вотъ, мы такъ и сдѣлаемъ: нарядимъ тебя, милый дружокъ, въ колодки, да вечеркомъ по холодку...

— Я казен...—начинаетъ опять солдатъ, но голосъ его внезапно прерывается. Напоминаніе о „скрозь строѣ" повидимому вноситъ въ его сердце нѣкоторое смущеніе. Быть можетъ, онъ уже имѣетъ довольно основательное понятіе объ этомъ угощеніи, и повтореніе его (въ усиленной пропорціи за вторичный побѣгъ) не представляетъ въ будущемъ ничего особенно лестнаго.

— Матушка ты моя! заступница! — не кричитъ, а какъ-то безобразно мычитъ онъ, рухнувшись на колѣни: — смилуйся ты надъ солдатомъ! Вѣдь я... вѣдь мнѣ..., ахъ, Господи! да что жъ это будетъ! Матушка! да ты посмотри! ты на спину-то мою посмотри! вотъ онѣ, скулы-то мои... Ахъ ты, Господи милосливый!

Но Анна Павловна не разъ уже была участницей подобныхъ сценъ, и знаетъ, что онѣ представляютъ собой одну формальность, въ концѣ которой стоитъ неизбѣжная развязка.

— Не властна я, голубчикъ, и не проси! — резонно говоритъ она: — кабы ты самъ ко мнѣ не пожаловалъ, и я бы тебя не ловила. И жилъ бы ты поживалъ тихохонько да смирнехонько въ другомъ мѣстѣ... вотъ хоть бы то у экономическихъ... Тебѣ бы тамъ и хлѣбца, и молочка, и яишенки... Они люди вольные, сами себѣ господа, что хотятъ, то и дѣлаютъ! А я, мой другъ, не властна! я себя помню, и знаю, что я тоже слуга! И ты слуга, и я слуга, только ты невѣрный слуга, а я—вѣрная.

— Матушка! да взгляни ты...

— Нѣтъ, ты пойми, что ты сдѣлалъ! Вѣдь ты, легко сказать, съ царской службы бѣжалъ! Съ царской! Что ежели вы всѣ разбѣжитесь, а тутъ вдругъ французъ или турокъ... глядь-поглядь, а солдатушки-то у насъ въ бѣгахъ! Съ кѣмъ мы тогда на встрѣчу лиходѣямъ нашимъ пойдемъ?

— Заступница!

— Нѣтъ-нѣтъ-нѣтъ... Или, опять, то возьми: видишь, сколько мужичковъ тебя ловить согнали, а вѣдь они черезъ это цѣлый день работы потеряли! А время теперь горячее, сѣнокосъ! Цѣлый день ловили тебя, а вечеромъ еще подводу подъ тебя нарядить надо да двоихъ провожатыхъ... Опять у мужичковъ цѣлыя сутки пропали, а не то такъ и двое! Какое ты, подлецъ ты этакой, право имѣлъ всю эту кутерьму затѣвать?—вдругъ раздражается она гнѣвно: — Эй! что тамъ копаются! забить ему руки-ноги въ колодки! Ишь мерзавецъ! на спину его взгляни! Да коли ты казенный человѣкъ — стало-быть, и спина у тебя казенная, вотъ и вся недолга.

Подбѣгаютъ два конюха, валятъ солдата на землю и начинаютъ набивать ему колодки на руки и на ноги. Колодки разсохлись и мучительно сжимаютъ солдату кости.

— Колодки! колодки забиваютъ! — раздаются изъ оконъ дѣтскіе голоса.

— Ишь печальникъ нашелся!—продолжаетъ поучать Анна Павловна: — ужъ не на всѣ ли четыре стороны тебя отпустить? Сдѣлай милость, воруй, голубчикъ, поджигай, грабь! Вотъ ужо въ городѣ тебѣ покажутъ... Скажите на милость! цѣлое утро словно въ котлѣ кипѣла, только-что отдохнуть собралась—не тутъ-то было! солдата нелегкая принесла, съ нимъ валандаться изволь! Прочь съ моихъ глазъ... поганецъ! Уведите его да накормите, а не то еще издохнетъ, чего добраго! А часамъ къ девяти приготовить подводу и съ Богомъ!

Сдѣлавши это распоряженіе, Анна Павловна возвращается во-свояси, въ надеждѣ хоть на короткое время юркнуть въ пуховики; но часы уже показываютъ половину шестого; черезъ полчаса воротятся изъ лѣсу „дѣвки", а тамъ чай, потомъ староста... Не до спанья!

— Брысь, пострѣлята! Еще ученье не кончилось, а они натко куда забрались! вотъ я васъ!—кричитъ она на дѣтей, все еще скучившихся у окна въ дѣвичьей и смотрящихъ, какъ солдата, едва ступающаго въ колодкахъ, ведутъ по направленію къ застольной.

Она уходитъ въ спальню и садится къ окну. Ей предстоитъ цѣлыхъ полчаса праздныхъ, но на этотъ разъ ее выручаетъ котъ Васька. Онъ тихо-тихо подкрадывается по двору за какой-то добычей, и затѣмъ въ одинъ прыжокъ настигаетъ ее. Въ зубахъ у него замерла крохотная птица.

— Ишь вѣдь, мерзавецъ, все птицъ ловитъ — нѣтъ чтобы мышь! — ропщетъ Анна Павловна.—Отъ мышей спасенья нѣтъ, и въ амбарахъ, и въ погребѣ, и въ кладовыхъ тучами ходятъ, а онъ все птицъ да птицъ. Нѣтъ, надо другого кота завести!

Несмотря однакожъ на негодованіе, которое возбуждаетъ въ ней Васька своимъ поведеніемъ, она не безъ интереса смотритъ на игру, которую котъ заводитъ съ изловленной птицей. Онъ несетъ свою жертву въ зубахъ на край дороги и выпускаетъ ее изо рта. Птица еще жива, но уже совсѣмъ безнадежно киваетъ головой еле-еле шевелитъ помятыми крылышками. Васька то отбѣжитъ въ сторону и начинаетъ умывать себѣ морду лапкой, то опять подскочитъ къ своей жертвѣ, какъ только она сдѣлаетъ какое-нибудь движеніе, куснетъ ее слегка за крыло и опять отбѣжитъ. Маневръ этотъ повторяется нѣсколько разъ сряду, пока Васька, какъ бы изъ опасенія, чтобы птица въ самомъ дѣлѣ не издохла, не рѣшается перекусить ей горло. Начинается процессъ ощипыванія.

— Ахъ, злецъ! ахъ, подлецъ!—шепчетъ Анна Павловна,—ишь вѣдь что дѣлаетъ... мучитель! А что вы думаете, вѣдь и изъ людей такіе же подлецы бываютъ! То подскочитъ, то отбѣжитъ; то куснетъ, то отдохнуть дастъ. Я помню, одинъ палатскій секретарь со иной вотъ этакъ же игралъ.—„Вы, говоритъ, полагаете, что ваше дѣло правое, сударыня?" — Правое, говорю. —„Такъ вы не безпокойтесь: коли ваше дѣло правое, мы его въ вашу пользу

и рѣшимъ. Навѣдайтесь черезъ недѣльку!“ А черезъ недѣльку опять: — „Такъ вы думаете“... Третъ да мнетъ. Водилъ онъ меня, водилъ, сколько деньжищъ изъ меня въ ту пору вызудилъ... Я было къ столоначальнику: что̀, молъ, это за игра такая? А онъ въ отвѣтъ: „да ужъ потерпите; это у него характеръ такой!.. не можетъ безъ того, чтобъ спервоначалу не измучить, а потомъ вдругъ возьметъ да въ одночасье и рѣшитъ ваше дѣло“.—И точно, рѣшилъ... въ пользу противной стороны! Я къ нему. — Что̀ же вы, Иванъ Иванычъ, со мной сдѣлали?—А онъ только хохочетъ... наглецъ! — „Успокойтесь, сударыня, говоритъ, я такое рѣшеніе написалъ, что сенатъ безпремѣнно его отмѣнитъ!“ — Такъ вотъ какіе люди бываютъ! Свяжутъ тебя по рукамъ, по ногамъ, да и бьютъ сколько вздумается!

Наконецъ Васька ощипалъ птицу и съѣлъ. Вдали показываются дѣвушки съ лукошками въ рукахъ. Онѣ поютъ пѣсни, а нѣкоторыя, не подозрѣвая, что глазъ барыни уже запримѣтилъ ихъ, черпаютъ въ лукошкахъ и ѣдятъ ягоды.

— Ишь жрутъ!—ворчитъ Анна Павловна.—Кто бы это такая? Аришка долговязая — такъ и есть. А вотъ и другая! такъ и уписываетъ за обѣ щеки, такъ и уписываетъ!... безпремѣнно это Наташка... Вотъ я васъ ужо̀... ошпарю!

Черезъ десять минутъ дѣвичья полна и производится пріемъ ягодъ. Принесено немного; кто принесъ полъ-лукошка, а кто и совсѣмъ на донышкѣ. Только карлица Полька принесла полное лукошко.

— Что̀ такъ, красавицы? Всего-на-все только десять часовъ по лѣсу бродили, а какую пропасть принесли?

— Совсѣмъ еще ягоды мало поспѣло,—оправдываются дѣвушки.

— Такъ. А Полька отчего же полное лукошко набрала?

— Стало-быть, ей посчастливилось.

— Такъ, такъ. А нутко, открой хайло̀, дохни на меня, долговязая!

Аришка подходитъ къ барынѣ и дышетъ ей въ лицо.

— Что-то малиной попахиваетъ! Нутко и ты, Наташка! Подходи, голубушка, подходи!

Наташка дѣлаетъ то̀ же, что̀ и Аришка.

— Чудо! Для господъ ягода не поспѣла, а отъ нихъ малиной такъ и разитъ!

— Ей Богу, сударыня...

— Не божитесь. Сама изъ окна видѣла. Видѣла собственными глазами, какъ вы, идучи по мосту, въ хайло̀ себѣ ягоды пихали! Вы думаете, что барыня далеко, анъ она—вотъ она! Вотъ вамъ за это! вотъ вамъ! Завтра цѣлый день за пяльцами сидѣть!

Раздается трескъ пощечинъ. Затѣмъ малина высыпается въ одно лукошко и сдается на погребъ, а часть отдѣляется для дѣтей, которыя уже отъучились и бѣгаютъ по длинной террасѣ, выстроенной вдоль всей лицевой стороны дома.

Бьетъ семь часовъ. Дѣтей одѣлили лакомствомъ. Василію Порфирычу тоже поставили на чайный столъ давешній персикъ и немножко малины на блюдечкѣ. Въ столовой кипитъ самоваръ; начинается чаепитіе тѣмъ же по-

рядкомъ, какъ и утромъ, съ тою разницей, что при этомъ присутствуютъ и баринъ съ барыней. Анна Павловна освѣдомляется, хорошо ли учились дѣти.

— Сегодня у насъ счастливый день выдался, — аттестуетъ Марья Андреевна:—даже Степанъ Васильичъ, и тотъ хорошо уроки отвѣчалъ.

— Ну, пей чай!—обращается Анна Павловна къ балбесу:—пейте чай всѣ... живо! Надо васъ за прилежаніе побаловать; сходите съ ними, голубушка Марья Андреевна, погуляйте по селу! Пускай деревенскимъ воздухомъ подышутъ!

Анна Павловна и Василій Порфирычъ остаются съ глазу на глазъ. Онъ медленно проглатываетъ малинку за малинкой и приговариваетъ: — Новая новинка, въ первый разъ въ нынѣшнемъ году! раненько поспѣла! — Потомъ такъ же медленно берется за персикъ, вырѣзываетъ загнившій бокъ и, разрѣзавъ остальное на четыре части, не торопясь кушаетъ ихъ одну за другой, приговаривая:—Вотъ хоть и подгнилъ маленько, а сколько еще хорошаго мѣста осталось! — У Анны Павловны сердце такъ и кипитъ, видя, какъ онъ копается.

Старикъ, очевидно, въ духѣ и собирается покалякать о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Но Анну Павловну такъ и подмываетъ уйти. Она не любитъ празднословія мужа, да ей и некогда. Того гляди староста придетъ, надо докладъ принять, на завтра распоряженіе сдѣлать. Поэтому она сидитъ какъ на иголкахъ, и въ ту минуту, какъ Василій Порфирычъ произноситъ:— Разно бываетъ: иной годъ на малину урожай, иной на клубнику. А иногда яблоковъ уродится столько, что обору нѣтъ... какъ Богу угодно...—она грузно встаетъ съ кресла, чтобъ удалиться.

— Что̀, ужъ и поговорить-то со мной не хочешь!—обижается старикъ: —ахъ, дьяволъ! именно дьяволъ!

— Некогда мнѣ тебя слушать! — равнодушно отвѣчаетъ Анна Павловна, уходя:—у меня дѣловъ по горло, не время съ тобой на бобахъ разводить!

— Чортъ! дьяволъ!—гремитъ ей вслѣдъ Василій Порфирычъ, но сейчасъ же стихаетъ и обращается уже къ лакею Коняшкѣ, который стоитъ за его стуломъ въ ожиданіи приказаній.

— Такъ-то, братъ!—говоритъ онъ ему:—прошлаго года рожь хорошо родилась, а нынче рожь похуже, за то на овесъ урожай. Конечно, овесъ не рожь, а все-таки лучше, что хоть что-нибудь есть, нежели ничего. Такъ ли я говорю?

— Точно такъ, сударь!

— Василій Порфирычъ самъ завариваетъ чай въ особливомъ чайникѣ и начинаетъ пить, переговариваясь съ Коняшкой, за отсутствіемъ другихъ собесѣдниковъ.

Дѣти тѣмъ временемъ, сгруппировавшись около гувернантки, степенно и чинно бредутъ по поселку. Поселокъ пустыненъ, рабочій день еще не кончился; за молодыми барами издали слѣдуетъ толпа деревенскихъ ребятишекъ.

Дѣти перекидываются замѣчаніями.

— Вонъ Антипка какую избу взбодрилъ, а теперь она пустая стоитъ! —разсказываетъ Степанъ:—бѣдный былъ и пилъ здорово, да икону откуда-

то добылъ, — съ тѣхъ поръ и пошелъ разживаться. И пить пересталъ, и деньги проявились. Шире да шире, четверку лошадей завелъ, одна другой лучше, коровъ, овецъ, избу эту самую выстроилъ... Наконецъ, на оброкъ выпросился, торговать сталъ... Мать только дивилась: откуда на Антипку пошло-поѣхало? Вотъ и скажи ей кто-то: такая, молъ, у Антипки икона есть, которая ему счастье приноситъ. Она взяла да и отняла. Антипка-то въ ту пору въ ногахъ валялся, деньги предлагалъ, а она одно твердитъ: „тебѣ все равно, какой иконѣ Богу ни молиться"... Такъ и не отдала. Съ тѣхъ поръ Антипка опять захудалъ. Сталъ пить, тосковать, день ото дня хуже да хуже... Теперь хорошій-то домъ пустѣетъ, а онъ съ семействомъ сзади въ хибаркѣ живетъ. Съ нынѣшняго года опять на барщину посадили, а съ недѣлю тому назадъ ужъ и на конюшнѣ наказывали...

— А вотъ Катькина изба! — отзывается Любочка! — я вчера изъ-за садовой рѣшетки видѣла, съ сѣнокоса идетъ: черная, худая.—Что̀, Катька, спрашиваю: сладко за мужикомъ жить? — „Ничего, говоритъ, буду-таки за вашу маменьку Бога молить. По смерть ласки ея не забуду!"

— Изба-то у нея... посмотрите! бревна живого нѣтъ!

— И подѣломъ ей,—рѣшаетъ Сонечка:—ежели бы всѣ дѣвушки... .

Въ такихъ разговорахъ проходитъ вся прогулка. Нѣтъ ни одной избы, которая не вызвала бы замѣчанія, потому что за всякой числится какая-нибудь исторія. Дѣти не сочувствуютъ мужичку и признаютъ за нимъ только право терпѣть обиду, а не роптать на нее. Напротивъ, поступки мамаши по отношенію къ крестьянамъ встрѣчаютъ ихъ безусловное одобреніе. Они называютъ ее „молодцомъ", говорятъ, что у нея „губа не дура", и что еслибы не она—сидѣли бы они теперь при отцовскихъ трехстахъ-шестидесяти душахъ. Даже голосъ постылаго „балбеса" сливается въ общемъ хвалебномъ хорѣ—до такой степени всѣ поражены цифрою три тысячи душъ, которыми теперь владѣютъ Затрапезные.

— Этакую махинищу соорудила!—восторженно восклицаетъ Степанъ.

— И мы должны вѣчно ее за это благодарить!—отзывается Гриша.

— Что̀ бы мы безъ нея были!—продолжаетъ восторгаться балбесъ:—такъ, какіе-то Затрапезные! „Сколько у васъ душъ, господинъ Затрапезный!"—Триста шестьдесятъ-съ... Ахъ, ты!

— Вотъ теперь вы правильно разсуждаете,—одобряетъ дѣтей Марья Андреевна:—я и маменькѣ про ваши добрыя чувства разскажу. Ваша маменька — мученица. Папенька у васъ старый, ничего не дѣлаетъ, а она съ утра до вечера о васъ думаетъ, чтобъ вамъ лучше было, чтобъ будущее ваше было обезпечено. И, можетъ быть, скоро Богъ увѣнчаетъ ея старанія новымъ успѣхомъ. Я слышала, что продается Никитское, и маменька уже начала по этому поводу переговоры.

Извѣстіе это производитъ фуроръ. Дѣти прыгаютъ, бьютъ въ ладоши, визжатъ.

— Вѣдь въ Никитскомъ-то съ деревнями пятьсотъ душъ! — восклицаетъ Степанъ.—Ай да мамахенъ!

— Четыреста-восемьдесятъ-три, — поправляетъ брата Гриша, кото-

рому ужъ нѣчто извѣстно объ этихъ переговорахъ, но который покуда еще никому не выдавалъ своего секрета.

Солнце уже догорѣло; въ домъ проникаютъ сумерки, а въ дѣвичьей даже порядочно темно. Дѣвушки сошлись около стола и хлебаютъ пустыя щи. Тутъ же, на ларѣ, поджавши ноги, присѣла Анна Павловна и бесѣдуетъ со старостой Ѳедотомъ. Ѳедоту уже лѣтъ подъ-семьдесятъ, но онъ еще бодръ, и ежели вѣрить мужичкамъ, то рука у него порядочно-таки тяжела. Онъ чинно стоитъ передъ барыней, опершись на клюку, и неторопливо отвѣчаетъ на ея вопросы. Анна Павловна любитъ старосту; она знаетъ, что онъ не потатчикъ, и что клюка въ его рукахъ не бездѣйствуетъ. Сверхъ того, она знаетъ, что онъ изъ немногихъ, которые сознаютъ себя во истину крѣпостными, не только за страхъ, но и за совѣсть. Въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ она уважаетъ его опытность и нерѣдко измѣняетъ свои распоряженія, согласно съ его совѣтами. Короче сказать, это два существа, которыя вполнѣ сошлись сердцами и между которыми очень рѣдко встрѣчаются недоумѣнія.

— Что̀, кончили въ Шиловѣ?—спрашиваетъ Анна Павловна.

— Остатній стогъ дометывали, какъ я уходилъ. Наказалъ: безъ того не расходиться, чтобы не кончить.

— Хорошо сѣно-то?

— Сѣно нынче за рѣдкость: сухое, звонкое. Не слишнимъ только много его, а ужъ уборка такая—изъ годовъ вонъ!

— Боюсь, достанетъ ли до весны?

— Какъ сказать, сударыня... какъ будемъ кормить... Ежели зря будемъ скотинѣ кормъ бросать — мало будетъ; а ежели съ разсчетомъ, такъ достанетъ. Коровамъ-то можно и яровой соломки подавывать, благо нынче урожай на овесъ хорошъ. Упреждалъ я васъ въ ту пору съ пустошами погодить, не всѣ въ кортому сдавать...

— Ну, ужъ прости, Христа ради! Какъ-нибудь обойдемся... На завтра какое распоряженіе сдѣлаешь?

— Мужиковъ-то во Владыкино бы косить надо нарядить, а бабъ безпремѣнно въ Игумново рожь жать послать.

— Жать? что̀ больно рано?

— Годъ нонѣ ранній. Все сразу. Прежде объ эту пору еще и званія малины не бывало, а нонче всѣ малинники усыпаны спѣлой ягодой.

— А мнѣ мои фрелины на донышкѣ въ лукошкахъ принесли.

— Не знаю: нужно бы по цѣлому, да и то не убрать.

— Слышите? — обращается Анна Павловна къ дѣвицамъ. — Стало-быть, мужикамъ завтра—косить, а бабамъ—жать? все, что-ли?

Староста мнется, словно не рѣшается говорить.

— Еще что-нибудь есть?—встревоженно спрашиваетъ барыня.

— Есть дѣльце... да нужно бы его промежъ себя разсудить...

Анна Павловна заранѣе блѣднѣетъ и чуть не бѣгомъ направляется въ спальню.

— Что̀ тамъ еще? сказывай! говори!

— Да мертвое тѣло на нашей землѣ проявилось,—неохотно докладываетъ Ѳедотъ.

— Вотъ такъ денекъ выбрался! Давеча бѣглый солдатъ, теперь мертвое тѣло... Кто видѣлъ? гдѣ? когда?

— Да Антонъ мяловскій видѣлъ.—Иду я, говоритъ,—ужъ солнышко книзу пошло — лѣсомъ около великановской межи, а „онъ“ на березовомъ суку виситъ.

— Висѣльникъ?

— Стало-быть, висѣльникъ.

— А другіе знаютъ объ этомъ?

— Зачѣмъ другимъ сказывать! Я Антону строго-нà-строго наказывалъ, чтобъ никому ни-гугу. Да не угодно ли самимъ Антона разспросить. Я на всякій случай его съ собой захватилъ...

— Не нужно. Такъ вотъ чтò ты сдѣлай. Ты говоришь, что мертвое тѣло въ лѣсу около великановской межи виситъ, а лѣсъ тутъ одинаковый, чтò у насъ, чтò у Великановыхъ. Такъ возьми сейчасъ Антошку, да еще на подмогу ему Михайлу сельскаго, да сейчасъ же втроемъ этого висѣльника съ нашей березы снимите да и перевѣсьте за великановскую межу, на ихнюю березу. А завтра, чуть свѣтъ, опять сходите, и ежели окажутся слѣды ногъ, то все какъ слѣдуетъ сдѣлайте, чтобъ не было замѣтно. Да и днемъ посматривайте: пожалуй великановскіе замѣтятъ, да и опять на нашу березу перенесутъ. Да смотри у меня: ежели кто-нибудь провѣдаетъ, ты въ отвѣтѣ! Усталъ ты, поди, старикъ, день-то маявшись — ну, да ужъ нечего дѣлать, постарайся!

— Ничего, сударыня, день работали, и ночку поработаемъ! Съ устатку-то любёхонько!

Докладъ конченъ; ключница подаетъ старостѣ рюмку водки и кусокъ хлѣба съ солью. Анна Павловна нѣсколько времени стоитъ у окна спальни и вперяетъ взоръ въ сгустившіяся сумерки. Черезъ полчаса она убѣждается, что приказъ ея отчасти уже выполненъ, и что съ села пробираются три тѣни по направленію къ великановской межѣ.

Наконецъ, въ столовой раздается лязганье тарелокъ и ложекъ.

Докладываютъ, что ужинъ готовъ. Ужинъ представляетъ собой повтореніе обѣда, за исключеніемъ пирожнаго, которое не подается. Анна Павловна зорко слѣдитъ за каждымъ блюдомъ и замѣчаетъ, сколько уцѣлѣло кусковъ. Къ великому ея удовольствію, телятины хватитъ на весь завтрашній день, щецъ тоже порядочно осталось, но съ галантиромъ придется проститься. Ну, да вѣдь и то сказать—третій день галантиръ да галантиръ! можно и полоточкомъ полакомиться, покуда не испортились.

Рабочій день кончился. Дѣти цѣлуютъ у родителей ручки и проворно взбѣгаютъ на мезонинъ въ дѣтскую. Но въ дѣвичьей еще слышно движеніе. Дѣвушки, словно заколдованныя, сидятъ въ темнотѣ и не ложатся спать, покуда голосъ Анны Павловны не сниметъ съ нихъ чары.

— Ложитесь!—кричитъ она имъ, проходя въ спальню.

На сонъ грядущій она отпираетъ денежный ящикъ и удостовѣряется, все ли въ немъ лежитъ въ томъ порядкѣ, въ которомъ она всегда привыкла укладывать. Потомъ она припоминаетъ: не забыла ли чего.

— Никакъ я сегодня не причесывалась?—спрашиваетъ она горничную.

— Не причесывались и есть...

— Вотъ такъ оказія! А впрочемъ и то сказать, цѣлый день туда да сюда. По-неволѣ замотаешься! Какъ бы и завтра не забыть! Напомни.

Она снимаетъ съ себя блузу, чехолъ и исчезаетъ въ пуховикахъ. Но тутъ ее настигаетъ еще одно воспоминаніе:

— Ахъ, да вѣдь я и лба-то сегодня не перекрестила... Ахъ, грѣхъ какой! Ну, на этотъ разъ Богъ проститъ! Сашка! подтычь одѣяло-то... плотнѣе... вотъ такъ!

Черезъ четверть часа весь домъ спитъ мертвымъ сномъ.

Такъ проходитъ лѣтній день въ господской усадьбѣ. Зимой, подъ вліяніемъ внѣшнихъ условій, картина видоизмѣняется, но, въ сущности, крѣпостная страда не облегчается, а, напротивъ, даже усиливается. Краски сгущаются, мракъ и духота доходятъ до крайнихъ предѣловъ.

Кто повѣритъ, что было время, когда вся эта смѣсь алчности, лжи, произвола и безсмысленной жестокости, съ одной стороны, и придавленности, доведенной до поруганія человѣческаго образа, — съ другой, называлась... жизнью?!

V.—Первые шаги на пути къ просвѣщенію.

Какъ начали ученье старшіе братья и сестры — я не помню. Въ то время, когда наша домашняя школа была уже въ полномъ ходу, между мною и непосредственно предшествовавшей мнѣ сестрой было разницы четыре года, такъ что волей-неволей пришлось воспитывать меня особо.

Дѣти въ нашей семьѣ раздѣлялись на три группы. Старшіе братъ и сестра составляли первую группу и были уже отданы въ казенныя заведенія. Вторую группу составляли два брата и три сестры погодки, и хотя старшему брату, Степану, было уже четырнадцать лѣтъ въ то время, когда сестрѣ Софьѣ минуло только девять, но и первый, и послѣдняя учились у однѣхъ и тѣхъ же гувернантокъ. Несомнѣнно, что предметы преподаванія были у нихъ разные, но какъ ухитрялись согласовать эту разноголосицу за однимъ и тѣмъ же классным столомъ—рѣшительно не понимаю.

Братъ Степанъ былъ чѣмъ-то въ родѣ изгоя въ нашемъ обществѣ. Съ нимъ не только обращались сурово, но даже не торопились отдать въ заведеніе (старшаго брата отдали въ московскій университетскій пансіонъ по двѣнадцатому году), чтобъ не платить лишнихъ денегъ за его воспитаніе. Къ счастію, у него были отличныя способности, такъ что когда матушка, наконецъ, рѣшилась везти его въ Москву, то онъ выдержалъ экзаменъ въ четвертый классъ того же пансіона. Съ нимъ вмѣстѣ отдали въ одинъ изъ московскихъ институтовъ и двухъ сестеръ постарше: Вѣрочку и Любочку. Затѣмъ, черезъ годъ, тѣмъ же порядкомъ исчезли изъ дома Григорій и Софья.

Осталась дома третья группа или, собственно говоря, двое одиночекъ: я—да младшій братъ Николай, который былъ совсѣмъ еще малъ, и на котораго матушка, съ отъѣздомъ Гриши, перенесла всю свою нѣжность. Что же касается до меня лично, то я, не будучи „постылымъ", не состоялъ и въ числѣ любимчиковъ, а былъ, какъ говорится, ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ. Вообще я прожилъ дѣтство какъ-то незамѣтно, и не любилъ попадаться на глаза, такъ что когда матушка случайно встрѣчала меня, то и она словно недоумѣвала, какимъ образомъ я очутился у нея на дорогѣ.

Я помню, что когда уѣхали послѣднія старшія дѣти, отъѣздъ этотъ произвелъ на меня гнетущее впечатлѣніе. Домъ вдругъ словно помертвѣлъ. Прежде хоть плачъ слышался, а иногда и дѣтская возня; мелькали дѣтскія лица, происходили судбища, расправы — и вдругъ все разомъ опустѣло, замолчало и— что̀ еще хуже— наполнилось какими-то таинственными шопотами. Даже для обѣда не раздвигали стола, потому что собиралось всего пять человѣкъ: отецъ, мать, двѣ тетки и я.

Нѣсколько дней сряду я ходилъ по опустѣлымъ комнатамъ, гдѣ прежде ютились братья и сестры, и заглядывалъ во всѣ углы. И долго мнѣ чудилось, что кто-то меня зоветъ, и я озирался кругомъ, въ надеждѣ встрѣтить знакомое лицо. Но это было своего рода марево, которое только увеличивало тоску одиночества. Становилось жутко въ этихъ замолчавшихъ комнатахъ, потому что безмолвіе распространилось не только на дѣтскія помѣщенія, но и на весь домъ. Не говоря объ отцѣ, который продолжалъ вести свою обычную замкнутую жизнь, даже матушка какъ-то угомонилась съ отъѣздомъ дѣтей и, затворившись въ спальнѣ, или щелкала на счетахъ и писала, или раскладывала гран-пасьянсъ.

Тѣмъ не менѣе, такъ какъ я былъ дворянскій сынъ и притомъ мнѣ минуло уже семь лѣтъ, то волей-неволей приходилось подумать о моемъ ученьи.

Но я росъ одинъ, а для одного матушкѣ изъяниться не хотѣлось. Поэтому она рѣшилась не нанимать гувернантки, а въ ожиданіи выхода изъ института старшей сестры начать мое обученіе съ помощью домашнихъ средствъ.

Считаю впрочемъ не лишнимъ оговориться. Болтать по-французски и по-нѣмецки я выучился довольно рано, около старшихъ братьевъ и сестеръ, и, помнится, гувернантки въ дни именинъ и рожденій родителей заставляли меня говорить поздравительные стихи; одни изъ этихъ стиховъ и теперь сохранились въ моей памяти. Вотъ они:

On dit assez communément
Qu'en parlant de ce que l'on aime,
Toujours on parle éloquemment.
Je n'approuve point ce système;
Car moi qui voudrai en ce jour
Vous prouver ma reconnaissance,
Mon coeur est tout brûlant d'amour,
Et ma bouche est sans éloquence.

Но ни читать, ни писать--ни по-каковски, даже по-русски, я не умѣлъ.

И вотъ, вскорѣ послѣ отъѣзда старшихъ дѣтей, часовъ въ десять утра, отслужили молебенъ и приказали мнѣ идти въ классную. Тамъ меня ждалъ нашъ крѣпостной живописецъ Павелъ, которому и поручили обучить меня азбукѣ.

Какъ сейчасъ вижу я передъ собой этого Павла. То былъ высокій, худой и, кажется, чахоточный человѣкъ, съ блѣднымъ, осунувшимся лицомъ и свѣтлыми, желтоватыми волосами на головѣ. Ступалъ онъ бережно, говорилъ чуть слышно, никогда никому не прекословилъ и отличался чрезвычайною набожностью. Обучался онъ живописи въ Суздалѣ, потомъ ходилъ нѣкоторое время по оброку и работалъ по монастырямъ; наконецъ матушка разсудила, что въ четырехъ-пяти церквахъ, которыя находились въ разныхъ ея имѣніяхъ, и своей работы достаточно. Вслѣдствіе этого Павелъ былъ взятъ въ домъ, гдѣ постоянно писалъ образа̀, а по временамъ ему поручали писать и домашніе портреты, которые онъ впрочемъ потрафлялъ очень неудачно. Отецъ любилъ его чрезвычайно, частенько захаживалъ къ нему въ мастерскую и руководилъ его работами. Матушка тоже его „не трогала". Жена его, происхожденіемъ изъ мѣщанокъ (рѣшилась закрѣпоститься ради Павла), была тоже добрая, кроткая и хворая женщина. И ее „не трогали" и не угнетали работой, но такъ какъ она умѣла печь бѣлый хлѣбъ, то опредѣлили пекаршей при домѣ и просвирней при церкви. Вообще имъ жилось легче, чѣмъ другимъ; даже когда мѣсячина была нарушена, за ними сохранили ее и отвели имъ особую комнату въ нижнемъ этажѣ дома.

Павелъ явился въ классъ пріодѣтый, въ желтомъ фризовомъ сюртукѣ и въ бѣломъ галстухѣ на шеѣ. Въ рукахъ у него была азбука и красная „указка". Училъ онъ меня по-старинному: „азами". На первой страницѣ „азы" были напечатаны крупнымъ шрифтомъ, и каждая буква была снабжена соотвѣтствующей картинкой: Азъ — арбузъ, Буки—баринъ, Вѣди — Вавило, и т. д. На слѣдующихъ страницахъ буквы были напечатаны все болѣе и болѣе мелкимъ шрифтомъ; за буквами слѣдовали склады, одногласные, двугласные, трехгласные, потомъ слова̀ и наконецъ цѣлыя изреченія нравоучительнаго свойства. Этимъ азбука оканчивалась, а вмѣстѣ съ нею оканчивалась и Павлова „наука".

Азбуку я усвоилъ быстро; отчетливо произносилъ склады даже въ такомъ родѣ, какъ *мря*, *нря*, *цря*, *чря* и т. д., а недѣли черезъ три уже бойко читалъ нравоученія.

Павелъ доложилъ матушкѣ, что я готовъ, и я въ ея присутствіи съ честью выдержалъ свой первый экзаменъ. Матушка осталась довольна, но затѣмъ послѣдовалъ вопросъ:

— А дальше какъ?

— Дальше ужъ какъ угодно.

— Да вѣдь писать, чай, надо?

Оказалось, что Павелъ хоть и зналъ гражданскую печать, но писать по-гражданскому не разумѣлъ. Онъ могъ писать лишь полууставомъ, насколько это требовалось для надписей къ образамъ...

Весь этотъ день я былъ радостенъ и гордъ. Не сидѣлъ, по обыкновенію, притаившись въ углу, а бѣгалъ по комнатамъ и громко выкрикивалъ:

„иря, иря, цря, чря!“ За обѣдомъ матушка давала мнѣ лакомые куски, отецъ погладилъ по головѣ, а тетеньки-сестрицы, гостившія въ то время у насъ, подарили цѣлую тарелку съ яблоками, турецкими рожками и пряниками. Обыкновенно онѣ дѣлывали это только въ дни именинъ.

Но матушка задумалась. Она мечтала, что приставитъ ко мнѣ Павла, дастъ книгу въ руки, и ученье пойдетъ само собой — и вдругъ, на первомъ же шагу, разсчеты ея рушились...

Тѣмъ не менѣе, какъ женщина изобрѣтательная, она нашлась и тутъ. Вспомнила, что отъ старшихъ дѣтей остались книжки, тетрадки, а въ томъ числѣ и прописи, и немедленно перебрала весь учебный хламъ. Отыскавъ прописи, она сама разлиновала тетрадку и, усадивъ меня за столъ въ смежной комнатѣ съ своей спальней, указала, насколько могла, какъ слѣдуетъ держать въ рукахъ перо.

— Видишь, вотъ палки... съ нихъ и копируй! Сначала по палкамъ выучись, а потомъ и дальше пойдешь,—сказала она, уходя.

Я помню, что этотъ первый опытъ писанія самоучкой былъ очень для меня мучителенъ. Перо вертѣлось между пальцами, а по временамъ и вовсе выскользало изъ нихъ; чернилъ зачерпывалось больше, чѣмъ нужно; не прошло четверти часа, какъ разлинованная четвертушка уже была усѣяна кляксами; даже верхняя часть моего тѣла какъ-то неестественно выгнулась отъ напряженія. Сверхъ того, я слышалъ по близости шорохъ, который производила матушка, продолжая рыться въ учебныхъ программахъ, и при одной мысли, что вотъ-вотъ она сейчасъ нагрянетъ и увидитъ мои проказы, у меня душа уходила въ пятки.

Цѣлый часъ я проработалъ такимъ образомъ, стараясь утвердить пальцы и вывести хоть что-нибудь похожее на палку, изображенную въ лежавшей передо мною прописи; но пальцы отъ чрезмѣрныхъ усилій все меньше и меньше овладѣвали перомъ. Наконецъ матушка вышла изъ своего убѣжища, взглянула на мою работу и, сверхъ ожиданія, не разсердилась, а только сказала:

— Вотъ такъ огородъ нагородилъ! Ну, ничего, и всегда такъ начинаютъ. Вотъ она палочка-то! кажется, мудрено ли ее черкнуть, а выходитъ, что привычка да привычка нужна! Главное, старайся не тискать перо между пальцами, держи руку вольно, да и самъ сиди вольнѣе, не пригибайся. Ну, ничего, ничего, не конфузься! Богъ милостивъ! ступай, побѣгай!

Недѣли съ три каждый день я, не разгибая спины, мучился часа по два сряду, покуда наконецъ не достигъ кой-какихъ результатовъ. Перо вертѣлось уже не такъ сильно, рука почти не ёрзала по столу; кляксъ становилось меньше; рядъ палокъ уже не представлялъ собой расшатавшейся изгороди, а шелъ довольно ровно. Словомъ сказать, я уже началъ мечтать о копированіи палокъ съ закругленными концами.

Какъ и прочихъ братьевъ, матушка предположила помѣстить меня въ московскій университетскій пансіонъ, состоявшій изъ восьми классовъ и одного приготовительнаго. Требованія для поступавшихъ въ приготовительный классъ были самыя ограниченныя. Изъ закона Божія — ветхій завѣтъ до „царей“ и знаніе главнѣйшихъ молитвъ; изъ русскаго языка — правильно

читать и писать и элементарныя понятія о частяхъ рѣчи; изъ ариѳметики — первыя четыре правила. Ни географіи, ни исторіи, ни иностранныхъ языковъ при испытаніи не требовалось. Въ головѣ матушки мелькнула мысль, не отдать ли меня въ приготовительный классъ? Для этого слѣдовало только пригласить изъ сосѣдняго села Рябова священника, который, въ теченіе времени, оставшагося до пріемныхъ экзаменовъ, конечно, успѣетъ приготовить меня.

Но когда она вспомнила, что при такомъ оборотѣ дѣла ей придется платить за меня, въ теченіе девяти лѣтъ, по шести сотъ рублей ассигнаціями въ годъ, то испугалась. Высчитавши, что платежи эти составятъ, въ общей сложности, круглую сумму въ пять тысячъ четыреста рублей, она гнѣвно щелкнула щетами и даже съ негодованіемъ отодвинула ихъ отъ себя.

— Держи карманъ! — крикнула она: — и безъ того семь балбесовъ на шеѣ сидятъ, каждый годъ за нихъ слишкомъ четыре тысячи рубликовъ вынь да положь, а тутъ еще восьмой явится!

Руководясь этимъ соображеніемъ, она рѣшилась до времени ничего окончательнаго не предпринимать, а ограничиться, въ ожиданіи пріѣзда старшей сестры, приглашеніемъ рябовскаго священника. А тамъ — что̀ будетъ.

— Вотъ тебѣ книжка, — сказала она мнѣ однажды, кладя на столъ „Сто-двадцать-четыре исторіи изъ ветхаго завѣта“: — завтра рябовскій попъ придетъ, я съ нимъ переговорю. Онъ съ тобой займется, а ты все-таки и самъ просматривай книжки, по которымъ старшіе учились. Можетъ быть и пригодятся.

Рябовскій священникъ пріѣхалъ. Довольно долго онъ совѣщался съ матушкой, и результатомъ этого совѣщанія было слѣдующее: три раза въ недѣлю онъ будетъ наѣзжать къ намъ (Рябово отстояло отъ насъ въ шести верстахъ) и посвящать мнѣ по два часа. Плата за ученье была условлена въ такомъ размѣрѣ: деньгами восемь рублей въ мѣсяцъ, да два пуда муки, да въ дни уроковъ обѣдать за господскимъ столомъ.

Опять отслужили молебенъ и принялись уже за настоящую науку.

Отецъ Василій слѣдовалъ въ обученіи той же методѣ, какъ и всѣ педагоги того времени. Въ концѣ урока онъ задавалъ двѣ-три страницы изъ ветхаго завѣта, два-три параграфа изъ краткой русской грамматики, и по пріѣздѣ черезъ день „спрашивалъ“ заданное. Толковать приходилось только ариѳметическія правила. Оказалось впрочемъ, что я многое уже зналъ, прислушиваясь, въ классные часы, къ ученью старшихъ братьевъ и сестеръ, а молитвы и заповѣди съ малолѣтства заставляли меня учить наизусть. Поэтому двухъ часовъ, въ продолженіе которыхъ, по условію, батюшка долженъ былъ „просидѣть“ со мною, было даже черезчуръ много, такъ что послѣдній часъ обыкновенно посвящался разговорамъ. Преимущественно шли разспросы о томъ, сколько у отца Василія въ приходѣ душъ, деревень, какъ послѣднія называются, сколько онъ получаетъ за требы, за славленіе въ Рождество Христово, на Святой и въ престольные праздники, часто ли служитъ сорокоусты, какъ дѣлятся доходы между священникомъ, дьякономъ и при-

четниками, и т. п. Почему все это меня интересовало—объяснить не могу, но вѣроятно тутъ оказывало свое дѣйствіе общее скопидомческое направленіе семьи.

Отецъ Василій былъ доволенъ своимъ приходомъ: онъ получалъ съ него до пятисотъ рублей въ годъ и, кромѣ того, обработывалъ свою часть церковной земли. На эти средства въ то время можно было прожить хорошо, тѣмъ больше, что у него было всего двое дѣтей-сыновей, изъ которыхъ старшій уже кончалъ курсъ въ семинаріи. Но были въ уѣздѣ и лучше приходы, и онъ не безъ зависти указывалъ мнѣ на нихъ.

— Вонъ, у Николы-на-Воплѣ, отецъ Семенъ однѣхъ свадебъ до пятидесяти въ прошломъ году повѣнчалъ. Сочти-ко, ежели по пяти рублей за свадьбу, сколько тутъ денегъ будетъ! Приходъ у него тысяча-двѣсти душъ въ одномъ клину, да все экономическіе. Народъ исправный, вольный; да и земли у причта, кромѣ указанной, жертвованной много; озеро рыбное есть, щуки вотъ экія водятся. Волостной голова, писарь, сельскій старшина—все пріятели. Это чтобъ онъ самъ въ поле съ сохой выѣхалъ — ни въ жизнь никогда! Шепнетъ старшинѣ наканунѣ, а на другой день къ вечеру готово. Развѣ что по чарочкѣ обнесетъ, такъ и вино у него не купленное, а откупщиково положеніе, потому у Николы кабакъ. Конечно, иной разъ, и онъ съ косой позабавиться выйдетъ, два-три прокоса сдѣлаетъ, для примѣра, да и домой. А сверхъ того пчелъ водитъ, лошадьми торгуетъ, деньги подъ проценты даетъ. Въ прошломъ году пятую дочь замужъ выдалъ, однѣми деньгами пятьсотъ рублей въ приданое далъ, да корову, да разнаго тряпья женскаго. Да въ губернію съѣздилъ, тамъ рублей двѣсти истрясъ, чтобъ зятя въ городъ въ священники опредѣлили. Вотъ онъ, отецъ Семенъ, какъ живетъ!

— За то у васъ помѣщиковъ восемь семействъ въ приходѣ считается! —возразилъ я.

— Что помѣщики! помѣщики-помѣщики, а какой въ нихъ прокъ? Твоя маменька и богатая, а много ли она на попа расщедрится. За всенощную двугривенный, а не то и весь пятиалтынный. А попъ между тѣмъ отягощается, часа полтора на ногахъ стоитъ. Придетъ усталый съ работы, — цѣлый день либо пахалъ, либо косилъ, — а тутъ опять полтора часа стой да пой! Нѣтъ, я отъ своихъ помѣщиковъ подальше. Первое дѣло, прибытокъ отъ нихъ пустой, а во-вторыхъ, онъ же тебя жеребцомъ или шалыганомъ обозвать норовитъ.

Такимъ образомъ я мало-по-малу узналъ подробности церковно-служительскаго быта того времени. Какъ обучались въ семинаріяхъ, какъ доставались священническія и дьяконскія мѣста, какъ происходило посвященіе въ попы, что представлялъ собой благочинный, духовное правленіе, консисторія и т. д.

— Чтобъ мѣсто-то получить, надо либо на отцово мѣсто проситься, или въ домъ къ старому попу, котораго дочь-невѣста, войти, — повѣствовалъ отецъ Василій.—Въ консисторіи и списки приходамъ ведутся, въ которыхъ у поповъ-стариковъ невѣсты есть. Мой-то отецъ причетникомъ былъ, онъ бы хоть сейчасъ мнѣ свое мѣсто предоставилъ, такъ я изъ первенькихъ въ семинаріи курсъ кончилъ, въ причетники-то идти не хотѣлось. Года че-

тыре я по губерніи шатался, все невѣсты искалъ. Что̀ я тутъ нужды натерпѣлся, этого и въ сказкахъ не сказать. У самого грошъ въ карманѣ, а вездѣ, что̀ ни шагъ, деньги подавай. Народъ все завистливый, жадный. Заплатишь въ консисторіи что̀ требуется, поѣдешь къ невѣстѣ, анъ либо она съ изъяномъ, либо приходъ такой, что и старики-то еле-еле около него пропитываются. Наконецъ ужъ Богъ въ Рябово привелъ. Ничего, живемъ съ женой согласно, не нуждаемся.

— Сыну, что-ли, вы мѣсто свое передать хотите?

— Покуда еще намѣренія такого не имѣю. Я еще и самъ, слава Богу... Развѣ лѣтъ черезъ десять что̀ будетъ. Да старшій-то сынъ у меня и пристрастія къ духовному званію не имѣетъ, хочетъ по гражданской части идти. Урокъ, вишь, у какого-то начальника нашелъ, такъ тотъ его обнадеживаетъ.

— А меньшой сынъ?

— Меньшой — въ монахи ладитъ. Не всякому монахомъ быть лестно, однако, ежели кто можетъ вмѣстить, такъ и тамъ не безъ пользы. Коли черезъ академію пройдетъ, такъ либо въ профессора, а не то такъ въ ректоры въ семинарію попадетъ. А бываетъ, что и въ архіереи, яко вельбудъ сквозь игольное ушко, проскочитъ.

— Вотъ кабы къ намъ въ губернію!

— Чтожъ, милости просимъ! буду сынка съ колокольнымъ звономъ встрѣчать!

— А правда ли, батюшка, что когда посвящаютъ въ архіереи, то они отца съ матерью проклинаютъ?

— Ну, ужъ и проклинаютъ! Такъ, малую толику... всѣхъ партикулярныхъ вообще...

На одномъ изъ подобныхъ собесѣдованій насъ застала однажды матушка и порядочно-таки разсердилась на отца Василія. Но когда послѣдній объяснилъ, что я ужъ почти всю науку произошелъ, а вслѣдъ затѣмъ неожиданно предложилъ, не угодно ли, молъ, по-латыни немножко барчука подъучить, то гнѣвъ ея смягчился.

— Ахъ, вотъ это безподобно!—воскликнула она:—по программѣ хоть въ приготовительный классъ и не требуется, а все-таки...

— А мы его въ первый классъ подготовимъ; пожалуй, и въ другихъ предметахъ дальше пойдемъ. Напримѣръ, дроби и все такое...

— Безподобно! безподобно!

Отецъ Василій надѣялся на меня, и, нужно сказать правду, не ошибался въ своихъ ожиданіяхъ. Я дѣйствительно былъ прилеженъ. Кромѣ урочныхъ занятій, которыя мнѣ почти никакихъ усилій не стоили, я, по собственному почину, перечитывалъ оставшіеся послѣ старшихъ дѣтей учебники, и скоро̀ почти зналъ наизусть „Краткую всеобщую исторію", Кайданова, „Краткую Географію", Ивановскаго, и проч. Даже въ синтаксисъ заглядывалъ и не чуждался реторики. Все это, конечно, усвоивалось мною безпорядочно, безъ всякой системы; тѣмъ не менѣе, запасъ фактовъ накоплялся, и я не разъ удивлялъ родителей, разсказывая за обѣдомъ такіе историческіе эпизоды, о которыхъ они и понятія не имѣли. Только ариѳметика давалась плохо, потому что тутъ я самъ себѣ помочь не могъ, а отецъ Василій по части

дробей тоже былъ не особенно силенъ. За то латынь пошла отлично, и я черезъ три-четыре недѣли такъ отчетливо склонялъ „mensa“, что отецъ Василій въ восторгѣ хлопалъ меня по лбу ладонью и восклицалъ:

— Башка́!

Замѣчу здѣсь мимоходомъ: несмотря на обиліе книгъ и тетрадей, которыя я перечиталъ, я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о существованіи русской литературы. По части русскаго языка у насъ были только учебники, т.-е. грамматика, синтаксисъ и реторика. Ни хрестоматіи, ни даже басенъ Крылова не существовало, такъ что я, въ буквальномъ смыслѣ слова, почти до самаго поступленія въ казенное заведеніе не зналъ ни одного русскаго стиха, кромѣ тѣхъ немногихъ обрывковъ, безъ начала и конца, которые были помѣщены въ учебникѣ реторики, въ качествѣ примѣровъ фигуръ и троповъ...

Матушка видѣла мою ретивость и радовалась. Въ головѣ ея зрѣла коварная мысль, что я и безъ посторонней помощи, руководствуясь только программой, съумѣю приготовить себя, года въ два, къ одному изъ среднихъ классовъ пансіона. И мысль, что я *одинъ* изъ всѣхъ дѣтей почти ничего не буду стоить подготовкою, даже сдѣлала ее нѣжною.

Такимъ образомъ прошелъ цѣлый годъ, въ продолженіе котораго я всѣхъ поражалъ своими успѣхами. Но не были ли эти успѣхи только кажущимися—это еще вопросъ. Настоящаго руководителя у меня не было, системы въ усвоеніи знаній—тоже. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи, какъ я сейчасъ упомянулъ, вмѣсто всякой системы, у меня была программа для поступленія въ пансіонъ. Матушка дала мнѣ ее, сказавъ:

— Вотъ, смотри! тутъ все написано, въ какой классъ что̀ требуется. Такъ и приготовляйся.

Такъ я и приготовлялся; но, будучи предоставленъ самому себѣ, переходилъ отъ одного предмета къ другому, смотря по тому, что̀ меня въ данную минуту интересовало. Я быстро усвоивалъ, но усвоиваемое накоплялось безъ связи, въ формѣ одиночныхъ фактовъ, не вытекавшихъ одинъ изъ другого. Само собой разумѣется, что такого рода работа, какъ бы она по наружности ни казалась успѣшною, не представляла устойчивыхъ элементовъ, изъ которыхъ могла бы выработаться способность къ логическому мышленію. Къ концу года у меня образовалось такое смѣшеніе въ головѣ, что я съ невольнымъ страхомъ заглядывалъ въ программу, не имѣя возможности опредѣлить, въ состояніи ли я выдержать серьезное испытаніе въ другой классъ, кромѣ приготовительнаго. Я чувствовалъ, что мнѣ недостаетъ чего-то *средняго*, какого-то связующаго звена, и что, благодаря этому недостатку, самое умѣренное требованіе объясненія, самый легкій вопросъ въ сторону отъ текста учебника поставитъ меня втупикъ.

Въ этомъ смыслѣ ученье мое шло даже хуже, нежели ученье старшихъ братьевъ и сестеръ. Тѣхъ мучили, но въ ученьи ихъ все-таки присутствовала хоть какая-нибудь послѣдовательность, а кромѣ того ихъ было пятеро, и они имѣли возможность провѣрять другъ друга. Эта провѣрка устанавливалась сама собою, по естественному ходу вещей, и несомнѣнно помогала имъ. Меня не мучили, но за то и помощи я ни откуда не имѣлъ.

Вообще одиночество и отсутствіе надзора предоставляли мнѣ, сравнительно, бо́льшую сумму свободы, нежели старшимъ дѣтямъ, но эта свобода не привела за собой ничего похожаго на самостоятельность. По наружности я дѣлалъ все, что̀ хотѣлъ, но въ дѣйствительности надо мной тяготѣла та же невидимая сила, которая тяготѣла надъ всѣми домочадцами, и которой я, въ свою очередь, подчинялся безусловно. Этой силой была не чья-нибудь рука, непосредственно придавливающая человѣка, но вообще весь домашній укладъ. Весь онъ такъ плотно сложился и до того пропиталъ атмосферу, что невозможно было, при такой силѣ давленія, выработать что-нибудь свое. Предстояло жить, какъ живутъ всѣ, дышать, какъ всѣ дышутъ, идти по той же стезѣ, по какой всѣ идутъ. Только внезапное появленіе сильнаго и горячаго луча можетъ, при подобныхъ условіяхъ, разбудить человѣческую совѣсть и разорвать цѣпи той вѣковѣчной неволи, въ которой обязательно вращалась цѣлая масса людей, начиная съ всевластныхъ господъ и кончая какимъ-нибудь постылымъ Кирюшкой, котораго не нынче—завтра ожидала „красная шапка".

Такимъ животворнымъ лучомъ было для меня Евангеліе.

Роясь въ учебникахъ, я отыскалъ „Чтеніе изъ четырехъ евангелистовъ": а такъ какъ книга эта была въ числѣ учебныхъ руководствъ, и знакомство съ ней требовалось для экзаменовъ, то я принялся и за нее наравнѣ съ другими учебниками.

Выказывалъ ли я до тѣхъ поръ задатки религіозности — это вопросъ, на который я могу отвѣтить скорѣе отрицательно, нежели утвердительно.

Я понимаю, что религіозность самая горячая можетъ быть доступна не только начетчикамъ и богословамъ, но и людямъ, не имѣющимъ яснаго понятія о значеніи слова: „религія". Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмомъ простолюдинъ имѣетъ полное право называть себя религіознымъ, несмотря на то, что приноситъ въ храмъ, вмѣсто формулированной молитвы, только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и вздыханія представляютъ собой безсловную молитву, которая облегчаетъ его душу и просвѣтляетъ его существо. Подъ наптіемъ ея онъ искренно и горячо вѣритъ. Онъ вѣритъ, что въ мірѣ есть нѣчто высшее, нежели дикій произволъ, которому онъ отъ рожденія отданъ въ жертву по волѣ рокового, ничѣмъ не объяснимаго колдовства; что есть въ мірѣ Правда, и что въ нѣдрахъ ея кроется Чудо, которое придетъ къ нему на помощь и изведетъ его изъ тьмы. Пускай каждый новый день удостовѣряетъ его, что колдовству нѣтъ конца: пускай вериги рабства съ каждымъ часомъ все глубже и глубже впиваются въ его изможденное тѣло — онъ вѣритъ, что злосчастіе его не безсрочно, и что наступитъ минута, когда Правда осіяетъ его, наравнѣ съ другими алчущими и жаждущими. И вѣра его будетъ жить до тѣхъ поръ, пока въ глазахъ не изсякнетъ источникъ слезъ и не замретъ въ груди послѣдній вздохъ. Да! колдовство рушится, цѣпи рабства падутъ, явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма! Ежели не жизнь, то смерть совершитъ это чудо. Недаромъ у подножія храма, въ которомъ онъ молится, находится сельское кладбище, гдѣ сложили кости его отцы. И они молились тою же безсловной молитвой, и они вѣрили въ то же чудо. И чудо совершилось: при-

шла смерть и возвѣстила имъ свободу. Въ свою очередь она придетъ и къ нему, вѣрующему сыну вѣровавшихъ отцовъ, и, свободному, дастъ крылья, чтобы летѣть въ царство свободы, на встрѣчу свободнымъ отцамъ...

Въ этомъ горячемъ душевномъ настроеніи замыкается весь смыслъ, вся сила молитвы; но—увы!—ничего подобнаго я лично за собою не помнилъ. Я зналъ очень много молитвъ, отчетливо произносилъ ихъ въ урочные часы, молился и стоя, и на колѣняхъ, но не чувствовалъ себя ни умиленнымъ, ни умиротвореннымъ. Я поступалъ въ этомъ случаѣ, какъ поступали всѣ въ нашемъ домѣ, то-есть совершалъ извѣстный обрядъ. Всѣ въ домѣ усердно молились, но главное значеніе молитвы полагалось не въ сердечномъ просвѣтленіи, а въ тѣхъ вещественныхъ результатахъ, которые она, по общему корыстному убѣжденію, приносила за собой. Говорили: будешь молиться — и дастся тебѣ все, о чемъ просишь; не будешь молиться — насидишься безо всего. Самое Евангеліе вовсе не считалось краеугольнымъ камнемъ, на которомъ создался храмъ, въ которомъ крестились и клали земные поклоны, — а немногимъ чѣмъ выше всякой другой книги церковно-служебнаго круга. Большинство даже разумѣло подъ этимъ словомъ извѣстный церковно-служебный моментъ. Говорилось. „мы пришли къ обѣднѣ, когда еще Евангеліе не отошло“; или: „это случилось, когда звонили ко второму Евангелію“, и т. д. Внутреннее содержаніе книги оставалось закрытымъ и для наиболѣе культурныхъ людей. И не потому, чтобы это содержаніе представляло собой обличеніе, а просто вслѣдствіе общей низменности жизненнаго строя, который весь сосредоточивался около запросовъ утробы...

Когда я въ первый разъ познакомился съ Евангеліемъ, это чтеніе пробудило во мнѣ тревожное чувство. Мнѣ было не по себѣ. Прежде всего меня поразили не столько новыя мысли, сколько новыя слова, которыхъ я никогда ни отъ кого не слыхалъ. И только повторительное, все болѣе и болѣе страстное чтеніе объяснило мнѣ дѣйствительный смыслъ этихъ новыхъ словъ и сняло темную завѣсу съ того міра, который скрывался за ними.

Все это очень кстати случилось какъ разъ во время великаго поста, и хотя великопостные дни, въ смыслѣ крѣпостной страды и заведенныхъ порядковъ, ничѣмъ не отличались въ нашемъ домѣ отъ обыкновенныхъ дней, кромѣ того, что господа кушали „грибное“, но все-таки какъ будто становилось посмирнѣе. Ради говѣльщиковъ-крестьянъ (господа и вся дворня говѣли на страстной недѣлѣ, а отецъ съ тетками, сверхъ того, на первой и на четвертой) въ церкви каждый день совершались службы, а это, въ свою очередь, тоже напоминало ежели не о покаяніи, то о сдержанности. Даже матушка, какъ бы сознавая потребность тишины, сидѣла, затворившись въ спальнѣ, и только въ крайнихъ случаяхъ выходила изъ нея творить судъ и расправу.

Для меня эти дни принесли полный жизненный переворотъ. Я не говорю ни о той восторженности, которая переполнила мое сердце, ни о тѣхъ совсѣмъ новыхъ образахъ, которые вереницами проходили передъ моимъ умственнымъ взоромъ—все это было въ порядкѣ вещей, но въ то же время играло второстепенную роль. Главное, что я почерпнулъ изъ чтенія Евангелія, заключалось въ томъ, что оно посѣяло въ моемъ сердцѣ зачатки общечеловѣческой

совѣсти и вызвало изъ нѣдръ моего существа нѣчто устойчивое, *свое*, благодаря которому господствующій жизненный укладъ уже не такъ легко порабощалъ меня. При содѣйствіи этихъ новыхъ элементовъ я пріобрѣлъ болѣе или менѣе твердое основаніе для оцѣнки какъ собственныхъ дѣйствій, такъ и явленій и поступковъ, совершавшихся въ окружавшей меня средѣ. Словомъ сказать, я уже вышелъ изъ состоянія прозябанія и началъ сознавать себя человѣкомъ. Мало того: право на это сознаніе я переносилъ и на другихъ. Доселѣ я ничего не зналъ ни объ алчущихъ, ни о жаждущихъ и обремененныхъ, а видѣлъ только людскія особи, сложившіяся подъ вліяніемъ несокрушимаго порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осіянные свѣтомъ, и громко вопіяли противъ прирожденной несправедливости, которая ничего не дала имъ, кромѣ оковъ. То „свое", которое внезапно заговорило во мнѣ, напоминало мнѣ, что и *другіе* обладаютъ такимъ же, равносильнымъ „своимъ". И возбужденная мысль невольно переносилась къ конкретной дѣйствительности, въ дѣвичью, въ застольную, гдѣ задыхались десятки поруганныхъ и замученныхъ человѣческихъ существъ.

Я не хочу сказать этимъ, что сердце мое сдѣлалось очагомъ любви къ человѣчеству, но несомнѣнно, что съ этихъ поръ обращеніе мое съ домашней прислугой глубоко измѣнилось, и что подлая крѣпостная номенклатура, которая дотолѣ оскверняла мой языкъ, исчезла навсегда. Я даже могу съ увѣренностью утверждать, что моментъ этотъ имѣлъ несомнѣнное вліяніе на весь позднѣйшій складъ моего міросозерцанія.

Въ этомъ признаніи человѣческаго образа тамъ, гдѣ, по силѣ общеустановившагося убѣжденія, существовалъ только поруганный образъ раба, состоялъ главный и существенный результатъ, вынесенный мной изъ тѣхъ попытокъ самообученія, которымъ я предавался въ теченіе года.

. . . . . .

Весной (мнѣ былъ ужъ девятый годъ) пріѣхала изъ Москвы сестра, и я поступилъ въ ея распоряженіе. Она привезла изъ института множество тетрадокъ, и принялась за меня очень строго. Надежды матушки, что подъ ея руководствомъ я буду въ состояніи, въ теченіе года, приготовиться ко второму или третьему классу пансіона, и что, слѣдовательно, за меня не придется платить лишнихъ денегъ, — оживились. Но я не считаю себя вправѣ сказать, что педагогическіе пріемы сестры были толковѣе, нежели тѣ, которые я выработалъ для себя самъ. Одинъ только пріемъ былъ для меня вполнѣ ощутителенъ, а именно тотъ, что отнынѣ знанія усвоивались мною не столько при помощи толкованій и объясненій, сколько при помощи побоевъ и тѣлесныхъ истязаній. Однимъ словомъ, для меня возобновилась та же ученическая страда, которая тяготѣла и надъ старшими братьями и сестрами.

VI.—Дѣти.—По поводу предыдущаго.

И вотъ теперь, когда со всѣхъ сторонъ меня обступило старчество, я вспоминаю дѣтскіе годы, и сердце мое невольно сжимается всякій разъ, какъ я вижу дѣтей. Пускай впрочемъ читатель не пугается: я не поведу его по этому поводу въ область отвлеченностей и обобщеній. Не стану, напримѣръ, доказывать, что отношусь тревожно къ дѣтскому вопросу, потому что съ разрѣшеніемъ его тѣсно связано благополучіе или злополучіе страны; не буду ссылаться на то, что мы съ школьной скамьи научились провидѣть въ дѣтяхъ устроителей грядущихъ историческихъ судебъ. Нѣтъ, я просто, безъ околичностей, говорю: мнѣ жаль дѣтей не ради какихъ-нибудь соціологическихъ обобщеній, а ради нихъ самихъ.

Тѣмъ не менѣе, прошу читателя не думать, что я считаю отвлеченности и обобщенія пустопорожнею фразой. Нѣтъ; я вѣрилъ и теперь вѣрю въ ихъ живоносную силу; я всегда былъ убѣжденъ и теперь не потерялъ убѣжденія, что только съ ихъ помощью человѣческая жизнь можетъ получить правильные и прочные устои. Формулированію этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной дѣятельности, всего моего существа.—Не погрязайте въ подробностяхъ настоящаго,—говорилъ и писалъ я,—но воспитывайте въ себѣ идеалы будущаго: ибо это своего рода солнечные лучи, безъ оживотворяющаго дѣйствія которыхъ земной міръ обратился бы въ камень. Не давайте окаменѣть и сердцамъ вашимъ; вглядывайтесь часто и пристально въ свѣтящіяся точки, которыя мерцаютъ въ перспективахъ будущаго. Только недальнозоркимъ умамъ эти точки кажутся безпочвенными и оторванными отъ дѣйствительности; въ сущности же онѣ представляютъ собой не отрицаніе прошлаго и настоящаго, а результатъ всего лучшаго и человѣчнаго, завѣщаннаго первымъ и вырабатывающагося въ послѣднемъ. Разница заключается только въ томъ, что, создавая идеалы будущаго, просвѣтленная мысль отсѣкаетъ всѣ злыя и темныя стороны, подъ игомъ которыхъ изнывало и изнываетъ человѣчество.

Къ сожалѣнію, увѣты мои были голосомъ вопіющаго въ пустынѣ. Конечно, прорывались минуты, когда мнѣ казалось, что общество вступаетъ на стезю вѣрованій—и сердце мое оживлялось. Но это было лишь кратковременное марево, которое немедленно же смѣнялось самою суровою дѣйствительностью. У мами снова овладѣвала „злоба дня“, общество снова погружалось въ безсодержательную суматоху; мракъ сгущался и безсрочно одолѣвалъ робкіе лучи свѣта, на мгновеніе озиравшіе жизнь. И—кто знаетъ,—можетъ быть, недалеко время, когда самыя скромныя ссылки на идеалы будущаго будутъ возбуждать только ничѣмъ не стѣсняющійся смѣхъ...

Но возвращаюсь къ дѣтямъ. Если дать вѣру общепризнанному мнѣнію, то нѣтъ возраста болѣе счастливаго, нежели дѣтскій. Дѣтство безпечно и не смущается мыслью о будущемъ. Ежели у него есть горе, то это горе дѣтское, слезы—тоже дѣтскія; тревоги—мимолетныя, которыя даже формулировать съ полною опредѣлительностью нельзя. Посмотрите на Гришу или Маню — ихъ личики еще не обсохли отъ слезъ, какъ уже снова расцвѣли улыбкой.

Посмотрите, какъ дѣти беззаботно и весело рѣзвятся, всецѣло погруженныя въ свои насущныя радости, и даже не подозрѣвая, что въ окружающемъ ихъ мірѣ гнѣздится какое-то злое начало, которое подтачиваетъ милліоны существованій. Жизнь ихъ течетъ, свободная и спокойная, въ однѣхъ и тѣхъ же рамкахъ, сегодня какъ вчера, но самое однообразіе этихъ рамокъ не утомляетъ, потому что содержаніемъ для нихъ служитъ непрерывное душевное ликованіе. Всѣ дѣйствія дѣтей свидѣтельствуютъ о невозмутимомъ душевномъ равновѣсіи, благодаря которому они мгновенно забываютъ о чуть замѣтныхъ горестяхъ, встрѣчающихся на ихъ пути. Нужно только слѣдить, чтобы развитіе дѣтей шло правильно; нужно оградить ихъ отъ матеріальныхъ опасностей и зачатковъ нравственныхъ увлеченій, которыя могутъ повредить имъ въ будущемъ. Эту задачу возьметъ на себя разумная педагогика и выполнитъ ее такъ, что дѣти и не почувствуютъ тяготѣющей надъ ними ферулы.

Такъ гласитъ общепризнанное мнѣніе. Такъ долгое время думалъ и я, забывая о своемъ личномъ прошломъ. Внѣшность оказывала на меня подкупающее дѣйствіе. Безпечно рѣзвиться, пребывать въ невѣдѣніи зла, ничего не провидѣть даже въ собственномъ будущемъ, всѣмъ существомъ отдаваться наслажденію насущной минутой — развѣ возможно представить себѣ болѣе завидный удѣлъ? О, дѣти, дѣти! Какую благодарную, воспріимчивую почву представляютъ ихъ сердца для руководительства! Скажутъ имъ: нужно любить папеньку съ маменькой—они любятъ; прикинутъ сюда тетенекъ, дяденекъ, сестрицъ, братцевъ и даже православныхъ христіанъ—они и ихъ помянутъ въ молитвахъ своихъ. Таковы несложныя дѣтскія обязанности относительно присныхъ и ближнихъ; а рядомъ съ ними преподаются и житейскія правила, столь же простыя и удобныя для воспринятія. Рѣзвиться, но не шумѣть, за обѣдомъ сидѣть прямо и не вмѣшиваться въ разговоры старшихъ; смотрѣть весело вообще, и въ особенности при гостяхъ, и т. д. Какой родитель, не исключая самаго заурядного, затруднится внѣдрить эти элементарныя правила въ воспріимчивое дѣтское сердце? И какое дѣтское сердце не понесется на встрѣчу такимъ необременительнымъ правиламъ? А когда ребенокъ вступитъ въ отроческій возрастъ и родителямъ покажется недосужно или затруднительно заниматься его воспитаніемъ, то на мѣсто ихъ появится разумная педагогика и напишетъ на порученной ей tabula rasa *свои* письмена. Она научитъ почитать старшихъ, избѣгать общества неблаговоспитанныхъ людей, вести себя скромно, не увлекаться вредными идеями и т. д. При помощи этихъ новыхъ правилъ сфера „воспитанія" постепенно расширится, доведетъ до надлежащей мягкости восковое дѣтское сердце и въ то же время не дозволитъ червю сомнѣнія заползти въ тайники дѣтской души.

Сомнѣнія! — развѣ совмѣстима рѣчь о сомнѣніяхъ съ мыслью о вѣчноликующихъ дѣтяхъ? Сомнѣнія—вѣдь это отрава человѣческаго существованія. Благодаря имъ, человѣкъ впервые получаетъ понятіе о несправедливостяхъ и тяготахъ жизни; съ ихъ вторженіемъ онъ начинаетъ сравнивать, анализировать не только свои собственныя дѣйствія, но и поступки другихъ. И горе, глубокое, неизбывное горе, западаетъ въ его душу; за горемъ слѣдуетъ ропотъ, а отсюда только одинъ шагъ до озлобленія...

О, нѣтъ! ничего подобнаго, конечно, не допустятъ разумные педагоги.

Они сохранятъ дѣтскую душу во всемъ ея невѣдѣніи, во всей непочатости и оградятъ ее отъ злыхъ вторженій. Мало того: они употребятъ всѣ усилія, чтобы продлить дѣтскій возрастъ до крайнихъ предѣловъ, до той минуты, когда сама собой вторгнется всеразрушающая сила жизни и скажетъ: отнынѣ начинается пора зрѣлости, пора искупленія непочатости и невѣдѣнія!

. . . . . .

Повторяю: такъ долгое время думалъ я, вслѣдъ за общепризнаннымъ мнѣніемъ о привилегіяхъ дѣтскаго возраста. Но чѣмъ больше я углублялся въ дѣтскій вопросъ, чѣмъ чаще припоминалось мнѣ мое личное прошлое и прошлое моей семьи, тѣмъ больше раскрывалась передо мной фальшь моихъ воззрѣній.

Прежде всего мнѣ представилась мысль о необычайной интенсивной силѣ злополучія, разлитого въ человѣческомъ обществѣ. Злополучіе такъ цѣпко хватается за все живущее, что только очень рѣдкіе индивидуумы ускользаютъ отъ него, но и они въ большинствѣ случаевъ пользуются незавидной репутаціей простодушныхъ людей. Куда вы ни оглянитесь, вездѣ увидите присутствіе злосчастія и массу людей, задыхающихся подъ игомъ его. Форма злосчастія разнообразна; разнообразна также степень сознательности, съ которою переноситъ человѣкъ настигающее его иго, но обязательность послѣдняго одинакова для всѣхъ. Неправильность устоевъ, на которыхъ зиждется общественный строй—вотъ гдѣ кроется источникъ этой обязательности, и потому она не можетъ миновать ни одного общественнаго слоя, ни одного возраста человѣческой жизни. Пронизывая общество сверху до низу, она не оставляетъ внѣ своего вліянія и дѣтей.

Говорятъ: посмотрите, какъ дѣти безпечно и весело рѣзвятся, — и отсюда дѣлаютъ посылку къ ихъ счастію. Но вѣдь рѣзвость, въ сущности, только свидѣтельствуетъ о потребности движенія, свойственномъ молодому, не надломленному организму. Это явленіе чисто физическаго порядка, которое не имѣетъ ни малѣйшаго вліянія на будущія судьбы ребенка, и которое, слѣдовательно, можно совершенно свободно исключить изъ счета элементовъ, совокупность которыхъ дѣлаетъ завиднымъ дѣтскій удѣлъ.

Затѣмъ вглядитесь пристальнѣе въ волнующуюся передъ вами дѣтскую среду, и вы безъ труда убѣдитесь, что *не всѣ* дѣти рѣзвятся, и что во всякомъ случаѣ не всѣ рѣзвятся *одинаково*. Одни рѣзвятся смѣло и искренно, какъ бы сознавая свое право на рѣзвость; другіе — рѣзвятся робко, урывками, какъ будто возможность рѣзвиться составляетъ для нихъ нѣчто въ родѣ милости; третьи, наконецъ, угрюмо прячутся въ сторону и издали наблюдаютъ за играми сверстниковъ, такъ что даже когда ихъ случайно *заставляютъ* рѣзвиться, то они дѣлаютъ это вяло и неумѣло. Но этого мало: вы убѣдитесь, что существуетъ на свѣтѣ цѣлая масса дѣтей, забытыхъ, приниженныхъ, оброшенныхъ съ самыхъ пеленокъ.

Я знаю, что въ глазахъ многихъ выводы, полученные мною изъ наблюденій надъ дѣтьми, покажутся жестокими. На это я отвѣчаю, что ищу не утѣшительныхъ (во что бы ни стало) выводовъ, а правды. И во имя этой правды иду даже далѣе, и утверждаю, что изъ всѣхъ жребіевъ, выпавшихъ

на долю живыхъ существъ, нѣтъ жребія болѣе злосчастнаго, нежели тотъ, который достался на долю дѣтей.

Дѣти ничего не знаютъ о качествахъ экспериментовъ, которые надъ ними совершаются—такова общая формула дѣтскаго существованія. Они не выработали ничего *своего*, что̀ могло бы дать отпоръ попыткамъ извратить ихъ природу. Колея, по которой имъ предстоитъ идти, проложена произвольно, и всего чаще представляетъ собой дѣло случая.

Не всѣ родители обязательно опытны и разумны; не всѣ педагоги настолько проницательны, чтобы угадать природу ребенка, ввѣреннаго ихъ воспитанію. По бо̀льшей части въ этомъ дѣлѣ господствуетъ полное смѣшеніе, которое способно извратить даже наиболѣе счастливо одаренную дѣтскую природу. Но, кромѣ случайности, дѣтей преслѣдуетъ еще „система". Система представляетъ собой плодъ временнаго общественнаго настроенія и на все живущее накладываетъ свою тяжелую руку. Она вырабатываетъ массу разнообразнѣйшихъ жизненныхъ формулъ, по бо̀льшей части искусственныхъ и удовлетворяющихъ исключительно взглядамъ и требованіямъ минуты. Дѣти въ этомъ смыслѣ составляютъ самую легкую добычу, которою она овладѣваетъ вполнѣ безнаказанно, въ полной увѣренности, что восковое дѣтское сердце всякую педагогическую затѣю приметъ безъ противодѣйствія.

Припомните: развѣ исторія не была многократно свидѣтельницей мрачныхъ и жестокихъ эпохъ, когда общество, гонимое паникой, перестаетъ вѣрить въ освѣжающую силу знанія и ищетъ спасенія въ невѣжествѣ? Когда мысль человѣческая осуждается на бездѣйствіе, а дѣйствительное знаніе замѣняется массою безполезностей, которыя отдаютъ жизнь въ жертву неосмысленности; когда идеалы меркнутъ, а на вѣрованія и убѣжденія налагается безусловный запретъ?... Гдѣ ручательство, что подобныя эпохи не могутъ повториться и впредь?

Мучительно жить въ такія эпохи; но у людей, уже вступившихъ на арену зрѣлой дѣятельности, есть, по крайней мѣрѣ, то преимущество, что они сохраняютъ за собой право бороться и погибать. Это право избавитъ ихъ отъ душевной пустоты и наполнитъ ихъ сердца сознаніемъ выполненнаго долга,—долга не только передъ самимъ собой, но и передъ человѣчествомъ.

Это послѣднее сознаніе въ особенности важно, ибо оно составляетъ не только преимущество, но и утѣшеніе. Для убѣжденной и вѣрующей мысли представленіе о человѣчествѣ является отнюдь не отдаленнымъ и индифферентнымъ, какъ объ этомъ гласитъ недальновидная „злоба дня". Нѣтъ, между первымъ и послѣднею существуетъ неразрывная цѣпь, каждое звено которой обладаетъ передаточною силой, доведенной до крайнихъ предѣловъ чуткости. Съ помощью этой цѣпи борьба настоящаго неизбѣжно откликнется въ тѣхъ глубинахъ, въ которыхъ таятся будущія судьбы человѣчества, и заронитъ въ нихъ плодотворное сѣмя. Не всѣ лучи свѣта погибнутъ въ перипетіяхъ борьбы, но часть ихъ прорѣжетъ мракъ и дастъ исходную точку для грядущаго обновленія. Эта мысль заставляетъ усиленнѣе биться сердца поборниковъ правды и укрѣпляетъ силы, необходимыя для совершенія подвига. Ибо это во истину сладчайшій изъ подвиговъ, и сознаніе, что онъ выполненъ бодро и безъ

колебаній, во истину можетъ пролить утѣшеніе въ поруганныя и измученныя сердца.

Никакимъ подобнымъ преимуществомъ не пользуются дѣти. Они чужды всякаго участія въ личномъ жизнестроительствѣ; они слѣпо слѣдуютъ указаніямъ случайной руки, и не знаютъ, что̀ эта рука сдѣлаетъ съ ними. Поведетъ ли она ихъ къ торжеству, или къ гибели; укрѣпитъ ли ихъ настолько, чтобы они могли выдержать напоръ неизбѣжныхъ сомнѣній, или отдастъ ихъ въ жертву послѣднимъ? Даже пріобрѣтая знанія нерѣдко цѣною мучительныхъ усилій, они не отдаютъ себѣ отчета въ томъ, дѣйствительно ли это знанія, а не безполезности...

Какъ я упомянулъ выше, дѣйствительное назначеніе дѣтей, какъ оно представлялось до сихъ поръ — это играть роль animae vilis, для производства всякаго рода воспитательныхъ опытовъ.

Начните съ родителей. Папаша желаетъ, чтобы Сережа шелъ по гражданской части; мамаша настаиваетъ, чтобы онъ былъ офицеромъ. Папаша говоритъ, что назначеніе человѣка — творить судъ и расправу. Мамаша утверждаетъ, что есть назначеніе еще болѣе высокое — защищать отечество противъ враговъ.

— А вотъ убьютъ его у тебя при первой же войнѣ!—угрожаетъ папаша.

— Не безпокойся, не убьютъ! Мы его тогда домой выпросимъ!—возражаетъ мамаша.

Неумные эти разговоры, съ незначительными видоизмѣненіями, возобновляются безпрерывно въ присутствіи самого Сережи, который чутко вслушивается, и колеблется, къ какой сторонѣ пристать. Но родители у него не промахъ. Они смекаютъ, что настоять на своемъ они не могутъ иначе, какъ при содѣйствіи самого Сережи; и знаютъ, какъ добиться этого содѣйствія. Пускай онъ хоть не понимаючи скажетъ: „ахъ, папаша! какъ бы мнѣ хотѣлось быть прокуроромъ, какъ дядя Коля!“ или: „ахъ, мамаша! когда я сдѣлаюсь большой, у меня непремѣнно будутъ на плечахъ такіе же густые эполеты, какъ у дяди Паши, и такіе же душистые усы!“ Эти наивныя пожеланія навѣрное возъимѣютъ свое дѣйствіе на родительскія рѣшенія.

— Вотъ видишь, онъ самъ свое призваніе чувствуетъ!—молвитъ папаша!

— Ахъ, Serge, Serge! а что̀ ты вчера говорилъ! объ эполетахъ-то и позабылъ?—укоритъ Сережу мамаша.

И вотъ, чтобы получить Сережино содѣйствіе, съ обѣихъ сторонъ употребляется давленіе. Съ стороны папаши оно заключается въ томъ, что онъ отъ времени до времени награждаетъ Сережу тычками и говоритъ:

— Вотъ, погоди ты у меня, офицеръ!

Со стороны мамаши давленіе имѣетъ болѣе привлекательныя формы. Она прикармливаетъ Сережу конфектами и пирожками, приговаривая:

— Будешь, Сережа, офицеромъ? да?

Въ концѣ концовъ мамаша побѣждаетъ; Сережа надѣваетъ офицерскій мундиръ и, счастливый, самодовольный, мчится въ собственной пролеткѣ и на собственномъ рысакѣ по Невскому.

Но очарованіе въ нашъ разсчетливый вѣкъ проходитъ быстро. Черезъ три-четыре года Сережа начинаетъ задумываться и склоняется къ мысли, что папаша былъ правъ.

Да, въ наши дни истинное назначеніе человѣка именно въ томъ состоитъ, чтобы творить судъ и расправу. Большинство Сережиныхъ сверстниковъ уже съ успѣхомъ предается этой профессіи. Митя Потанчиковъ—товарищъ прокурора; Ѳедя Стригуновъ—членъ окружного суда, а Макаръ Полудинъ даже на чеку быть вице-губернаторомъ. А онъ, Сережа, все еще субалтернъ-офицеръ. Онъ не можетъ пожаловаться, что служба его идетъ туго и что начальство равнодушно къ нему, но есть что-то въ самой избранной имъ карьерѣ, что̀ дѣлаетъ его жребій не вполнѣ удовлетворительнымъ. Внѣшніе враги примолкли, слухи о близкой войнѣ оказываются несостоятельными—слѣдовательно не предвидится и случая для покрытія себя славою. Притомъ же, слава славой, а что̀ ежели убьютъ?

— Ah, sacrrrrrebleu!

Остаются враги внутренніе, но борьба съ ними даже въ отличіе не вмѣняется. Какъ субалтернъ-офицеръ, онъ не играетъ въ этомъ дѣлѣ никакой самостоятельной роли, а лишь слѣдуетъ указаніямъ того же Мити Потанчикова.

— Я покуда разговаривать буду,—говоритъ Митя:—а ты тѣмъ временемъ постереги входы и выходы...

Сережѣ становится горько. Потребность творить судъ и расправу такъ широко развилась въ обществѣ, что начинаетъ подтачивать и его существованіе. Помилуйте! какой же онъ офицеръ! и здоровье у него далеко не офицерское, да и совсѣмъ онъ не такъ храбръ, чтобы летѣть на встрѣчу смерти, ради стяжанія лавровъ. Нѣтъ, надо какъ-нибудь это дѣло поправить! И вотъ онъ больше и больше избѣгаетъ собесѣдованій съ мамашей, и чаще и чаще совѣщается съ папашей...

Въ одно прекрасное утро Сережа является домой въ штатскомъ платьѣ. Мамаша падаетъ въ обморокъ, восклицая:

— Но я надѣюсь, что ты по крайней мѣрѣ будешь камеръ-юнкеромъ!

— Мамаша! простите ли вы меня? — умоляетъ онъ, падая на колѣни.

Я знаю, что страданія и неудачи, описанныя въ сейчасъ приведенномъ примѣрѣ, настолько малозначительны, что не могутъ считаться особенно-убѣдительными. Но вѣдь дѣло не въ силѣ страданій, а въ томъ, что они падаютъ на голову неожиданно, что творцомъ ихъ является слѣпой случай, не признающій никакой надобности вникать въ природу воспитываемаго и не встрѣчающій со стороны послѣдняго ни малѣйшаго противодѣйствія.

Гораздо болѣе злостными оказываются послѣдствія, которыя влечетъ за собой „система“. Въ этомъ случаѣ дѣтская жизнь подтачивается въ самомъ корнѣ, подтачивается безвозвратно и неисправимо, потому что на помощь системѣ являются мастера своего дѣла, — педагоги, которые служатъ ей не только за страхъ, но и за совѣсть.

Въ согласность ея требованіямъ они ломаютъ природу ребенка, погру-

жаютъ его душу въ мракъ, и ежели не всегда съ полною откровенностью ратуютъ въ пользу полнаго водворенія невѣжества, то потому только, что у нихъ есть подходящее средство обойти эту слишкомъ крайнюю мѣру общественнаго спасенія и замѣнить ее другою, не столь рѣзко возмущающею человѣческую совѣсть, но столь же дѣйствительною. Средство это, какъ я уже сказалъ выше, заключается въ замѣнѣ дѣйствительнаго знанія массою безполезностей, которыми издревле торгуетъ педагогика.

Спрашивается: что̀ могутъ дѣти противопоставить этимъ попыткамъ искалѣчить ихъ жизнь? Увы! подавленныя игомъ фатализма, они не только не даютъ никакого отпора, но сами идутъ на встрѣчу своему злополучію и безропотно принимаютъ удары, сыплющіеся на нихъ со всѣхъ сторонъ. Бѣдныя, злосчастныя дѣти!

И вотъ, погруженныя въ невѣжество, съ полными руками безполезностей, съ единственнымъ идеаломъ въ душѣ: творить судъ и расправу — они постепенно достигаютъ возмужалости и наконецъ являются на арену дѣятельности. Нѣтъ у нихъ мѣрила ни для оцѣнки поступковъ, ни для различенія добра отъ зла. Сердца ихъ поражены преждевременною дряблостью, умы не согрѣты стремленіемъ къ добру и человѣчности; понятіе о Правдѣ отсутствуетъ. Успѣхъ или неуспѣхъ въ уловленіи насущныхъ подробностей минуты —вотъ что̀ становится предметомъ ихъ вожделѣній, вотъ что̀ помогаетъ имъ изо дня въ день влачить безплодную жизнь.

Въ дѣтскомъ возрастѣ „система“ пользовалась невѣдѣніемъ дѣтей, чтобъ довести ихъ умы до ограниченности. Теперь, по мѣрѣ возмужалости, та же система является единственною руководительницею всѣхъ ихъ помысловъ и поступковъ. Покорно слѣдуя указаніямъ дѣтской традиціи, они все глубже и глубже погружаются въ мрачныя извилины случайнаго общественнаго настроенія и становятся послушнымъ орудіемъ его жестокихъ велѣній. Возмужалые, они продолжаютъ оставаться дѣтьми, съ тѣмъ же невѣдѣніемъ, съ тѣмъ же отсутствіемъ силы противодѣйствія, которое могло бы помочь имъ разобраться въ путаницѣ преходящихъ явленій.

Бѣдныя, злополучныя дѣти! вотъ что̀ готовитъ вамъ въ будущемъ слѣпая случайность, и вотъ тотъ удѣлъ, который общепризнанное мнѣніе называетъ счастливымъ!

Возраженія противъ изложеннаго выше, впрочемъ, очень возможны. Мнѣ скажутъ, напримѣръ, что я обличаю такія явленія, на которыхъ лежитъ обязательная печать фатализма. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, вооружить вѣдѣніемъ дѣтей, коль скоро ихъ возрастъ самою природою осужденъ на невѣдѣніе. Нельзя возложить на нихъ заботу объ устройствѣ будущихъ ихъ судебъ, коль скоро они не обладаютъ необходимымъ для этого умственнымъ развитіемъ.

Все это я отлично знаю и охотно со всѣмъ соглашаюсь. Но и за всѣмъ тѣмъ тщетно стараюсь понять, гдѣ же тутъ элементы, на основаніи которыхъ можно было бы вывести заключеніе о счастливыхъ преимуществахъ дѣтскаго возраста?

Правда, что дѣти не сознаютъ, куда ихъ ведутъ и что̀ съ ними дѣлается, и это освобождаетъ ихъ отъ массы сердечныхъ мукъ, которыя истер-

зали бы ихъ, еслибы они обладали сознательностью. Но что же значитъ это временное облегченіе въ виду тѣхъ угрозъ, которыми чревато ихъ будущее?

Вотъ почему я продолжаю утверждать, что, въ абсолютномъ смыслѣ, нѣтъ возраста болѣе злополучнаго, нежели дѣтскій, и что общепризнанное мнѣніе глубоко заблуждается, поддерживая противное. По моему мнѣнію, это заблужденіе вредное, потому что оно отуманиваетъ общество и мѣшаетъ ему взглянуть трезво на дѣтскій вопросъ.

Затѣмъ, я вовсе не отрицаю существенной помощи, которую можетъ оказать дѣтямъ педагогика, но не могу примириться съ тѣмъ педагогическимъ произволомъ, который, нагромождая систему на систему, ставитъ послѣднія въ зависимость отъ случайныхъ настроеній минуты. Педагогика должна быть прежде всего независимою; ея назначеніе — воспитывать въ нарождающихся отпрыскахъ человѣчества идеалы будущаго, а не подчинять ихъ смутѣ настоящаго. Ибо, повторяю: бываютъ эпохи, когда общество, гонимое паникой, отвращается отъ знанія и ищетъ спасенія въ невѣжествѣ. Ужели подобная задача, поставленная прямо или подъ какимъ бы то ни было прикрытіемъ, можетъ приличествовать педагогикѣ?

VII.—Портретная галерея.—Тетеньки-сестрицы.

Бьетъ четыре часа. Дѣти собрались на балконѣ, выходящемъ на красный дворъ, и вглядываются въ даль по направленію къ церкви и къ длинному-длинному мостовнику, ведущему отъ церкви вплоть до пригорка, на которомъ стоитъ деревенька Ильинка.

Цѣль ихъ пребыванія на балконѣ двоякая. Во-первыхъ, ихъ распустили сегодня раньше обыкновеннаго, потому что завтра, 6-го августа, главный престольный праздникъ въ нашей церкви, и наканунѣ будутъ служить въ домѣ особенно-торжественную всенощную. Въ шесть часовъ изъ церкви, при колокольномъ звонѣ, понесутъ въ домъ мѣстные образа, и хотя до этой минуты еще далеко, но дѣтскія сердца нетерпѣливы, и дѣтямъ уже кажется, что около церкви происходитъ какое-то приготовительное движеніе.

Во-вторыхъ, съ минуты на минуту ждутъ тетенекъ-сестрицъ (прислуга называетъ ихъ „барышнями"), которыя наканунѣ преображеньева дня пріѣзжаютъ въ Малиновецъ и съ этихъ поръ гостятъ въ немъ всю зиму, вплоть до конца апрѣля, когда возвращаются въ свое собственное гнѣздо „Уголокъ", въ тридцати-пяти верстахъ отъ нашей усадьбы. Три подводы съ тетеньки-нымъ скарбомъ, сундуками, пуховиками, подушками и проч., еще вчера пришли вмѣстѣ съ горничной Липкой, которая уже приготовила ихъ комнату, разставила въ двухъ кіотахъ образа, выварила клоповъ изъ кроватей и постлала постели.

Дѣйствительно, въ половинѣ пятаго у околицы на выѣздѣ Ильинки показывается желтая четверомѣстная карета, которую трусцой спускаетъ

съ пригорка четверка старыхъ, совсѣмъ бѣлыхъ лошадей. Затѣмъ карета въѣзжаетъ на мостовникъ и медленно ползетъ по немъ до самой церкви.

— Тетеньки! тетеньки!— раздается на балконѣ.

— Барышни ѣдутъ! — откликаются голоса въ дѣвичьей и въ коридорахъ.

А братъ Степанъ, у котораго въ рукахъ подзорная трубка, слѣдитъ за каретой и сообщаетъ:

— Тетенька Марья Порфирьевна капоръ сняла, чепчикъ надѣваетъ... Смотрите! смотрите! вынула румяна... румянится! Сколько онѣ пряниковъ, черносливу, изюму везутъ... страсть! А завтра дадутъ намъ по пятачку на пряники. И вдругъ расщедрятся, да по гривеннику... Онѣ по гривеннику да мать по гривеннику... на торгу пряниковъ, рожковъ накупимъ! Смотрите! да никакъ старикъ Силантій на козлахъ... еще не умеръ! Ишь пользутъ старушенціи! Да стегни же ты. старый хрѣнъ, правую-то пристяжную! видишь, совсѣмъ не везетъ!

По обыкновенію, рѣчь Степана не отличается связностью, но онъ безъ умолку продолжаетъ болтать все время, покуда карета ползетъ да ползетъ по мостовнику. Наконецъ она у церкви поворачиваетъ вправо и рысцой катится по направленію къ дому. Дѣти крестятся и спѣшатъ на парадное крыльцо.

Тамъ уже стоитъ старикъ отецъ и ждетъ сестрицъ. Матушка на крыльцо не выходитъ и встрѣчаетъ сестрицъ въ раскрытыхъ дверяхъ лакейской. Этотъ обрядъ встрѣчи установился съ тѣхъ поръ, какъ власть въ домѣ отъ тетенекъ перешла безраздѣльно къ матушкѣ.

Тетеньки-сестрицы—старушки. Онѣ погодки: одной шестьдесятъ-два, другой шестьдесятъ-три года. Обѣ маленькаго роста. Старшая, Марья Порфирьевна, еще молодится. Она употребляетъ бѣлила и румяна, сурмитъ брови, носитъ бѣлый чепчикъ, изъ-подъ котораго выглядываютъ завитки изъ сырцоваго шолка, и выпавшіе зубы замѣняетъ восковыми. Ходитъ съ прискочкой, кокетничаетъ съ образами, посылая имъ воздушные поцѣлуи, и безпрестанно дуетъ налѣво, отгоняя отъ себя нечистаго. Вообще, это проказливая старуха, которая причиняетъ не мало досады сестрѣ и слыветъ въ семьѣ малоумною. Младшая сестра, Ольга Порфирьевна, смотритъ гораздо солиднѣе и слыветъ умною. Косметиковъ она не употребляетъ, но зубы у нея почти сплошь восковые, и какъ она ими орудуетъ—никто этого понять не можетъ. Молится она истово, какъ слѣдуетъ солидной старушкѣ, и хотя знаетъ, что съ лѣваго бока ее сторожитъ дьяволъ но во избѣжаніе соблазна дуетъ на него лишь тогда, когда предполагаетъ, что никто этого не видитъ. Сверхъ того, она умѣетъ читать и писать, тогда какъ Марья Порфирьевна совершенно безграмотна. Мы называемъ ихъ тетеньками, отецъ и матушка—сестрицами; отсюда общая кличка: тетеньки-сестрицы.

Наконецъ карета у крыльца. Тетеньки вылѣзаютъ изъ нея и кланяются отцу, касаясь рукой до земли, а отецъ въ это время креститъ ихъ; потомъ онѣ ловятъ его руку, а онъ ловитъ ихъ руки, такъ что никакого цѣлованія изъ этого взаимнаго ловленія не выходитъ, а происходитъ клеванье носами,

[illegible] Потомъ тетеньки [illegible]

[illegible] и тряпку.

[illegible] тѣмъ, очень горько [illegible]

[illegible] корыто — такъ и [illegible]

[illegible] Порфирьевна, [illegible]

[illegible] и тотъ же [illegible]

[illegible] противно предложе[illegible]

[illegible] по лѣстницѣ, [illegible]

[illegible] и [illegible]. И дѣйствите[illegible]

[illegible] какъ послѣдняя сво[illegible]

[illegible] заключается въ томъ, что [illegible]

[illegible] и [illegible] тетенекъ, [illegible]

[illegible] въ [illegible], гдѣ [illegible] [illegible] жизнѣнная спу[illegible]

[illegible] тетенекъ зазна[illegible]

[illegible] въ одно окно, узка[illegible] [illegible] постоянный по[illegible] [illegible] образами и вяз[illegible] [illegible] стоятъ двѣ кро[illegible] [illegible] изразцовая печка: [illegible] у самой двери, втится Ан[illegible] [illegible] и затрапезной, плоской [illegible] тетеньки-сестрицы уже вступаютъ во владѣ[illegible] [illegible] и сейчасъ же запираютъ дверь на крючокъ. Имъ нужно сбросить [illegible] и [illegible], чтобы потомъ, прибравшись и приободрившись, идти на встрѣчу образамъ.

Оставаясь одинокъ на время тетенекъ, чтобы дать короткое описаніе, какъ праздновался нашъ престольный праздникъ.

Дѣти опять скучились на балконѣ и на этотъ разъ убѣждаются, что около церкви дѣйствительно происходитъ движеніе. Вотъ прошелъ дьячокъ и громаднымъ ключомъ отперъ церковную дверь. Слѣдомъ за нимъ прошелъ пономарь и церковный староста, сопровождаемый нѣсколькими мужичками съ кельи. Всѣ они понесутъ образа и будутъ присутствовать въ „горницѣ“ при всенощной. Около шести часовъ, проходитъ въ церковь священникъ, и изъ церкви выбѣгаетъ пономарь и становится у веревки, протянутой къ языку главнаго колокола. Колоколъ этотъ вѣситъ всего десять пудовъ, и сколько отецъ ни настаиваетъ, чтобы купили новый, но матушка, подъ всякими предлогами, уклоняется отъ исполненія его желанія. Точно также остаются неисполненными просьбы отца, чтобы обѣдня въ престольный праздникъ слу-

жилась соборне, или, по крайней мѣрѣ, хоть приглашали бы дьякона. Вообще матушка не любитъ отцовской усадьбы, и нерѣдко мечтаетъ, что, со смертью мужа, устроитъ себѣ новое гнѣздо въ одномъ изъ собственныхъ имѣній. Ровно въ шесть часовъ, по знаку изъ дома, ударяетъ нашъ жалкій колоколъ; у церковной ограды появляется толпа народа; раздается трезвонъ, и вслѣдъ за нимъ въ дверяхъ церкви показывается процессія съ образами, предшествуемая священникомъ въ облаченіи.

Всенощная идетъ въ образной комнатѣ и длится болѣе часа; за всенощной слѣдуетъ молебенъ съ водосвятіемъ и трэмя-четырьмя акаѳистами, тоже продолжительный, такъ что все вмѣстѣ кончается, когда уже на землю спустились сумерки. Въ образной слушаютъ всенощную господа, въ сосѣдней комнатѣ и въ дѣвичьей — дворовые; въ палисадникѣ прислушивается къ богослуженію большая толпа, преимущественно ребятишки, которымъ не нашлось мѣста въ горницѣ. Всѣ молятся съ особеннымъ усердіемъ, потому что завтра—главный престольный праздникъ, котораго ждутъ цѣлый годъ. При пѣніи праздничнаго тропаря отецъ становится на колѣни и кладетъ земные поклоны; за нимъ съ шумомъ то же самое дѣлаетъ и прочій молящійся людъ.

Наконецъ отошелъ и молебенъ. Процессія съ образами тѣмъ же порядкомъ обратно направляется въ церковь. Комнаты наполнены кадильнымъ дымомъ; молящіеся расходятся безшумно; чай и вслѣдъ за нимъ ужинъ проходятъ въ той спеціальной тишинѣ, которая обыкновенно предшествуетъ большому празднику, а часовъ съ десяти огни вездѣ потушены, и только въ господскихъ спальняхъ да въ образной тускло мерцаютъ лампады.

Въ день праздника съ ранняго утра свѣтитъ солнышко, но въ воздухѣ уже начинаетъ чувствоваться приближеніе осени. Въ домѣ поднимается обычная праздничная суматоха. Прихорашиваются, чистятся. Дѣти встали спозаранку и стоятъ у оконъ въ праздничныхъ казакинчикахъ и бѣлыхъ панталонцахъ. Сѣнныя дѣвушки, въ новыхъ холстинковыхъ платьяхъ, наполняютъ шумомъ и вѣтромъ дѣвичью и коридоръ; мужская прислуга, въ синихъ суконныхъ сюртукахъ, съ бѣлыми платками на шеяхъ, ждетъ въ лакейской удара колокола; два лакея въ ливреяхъ стоятъ у входныхъ дверей, выжидая появленія господъ. Чаю въ этотъ день до обѣдни не пьютъ даже дѣти, и такъ какъ всѣ приказанія отданы еще наканунѣ, то дѣлать рѣшительно нечего.

Отецъ, въ длиннополомъ сюртукѣ аглицкаго сукна, въ бѣломъ шейномъ платкѣ и въ козловыхъ сапогахъ, безпокойно бродитъ взадъ и впередъ по коридору, покрикивая:—Бѣгите на конную! лошадей! проворнѣе! — Даже матушка прифрантилась; на ней надѣтъ коричневый казимировый капотъ, обшитый домашними кружевами; на голову накинута тюлевая вышитая косынка. Въ этомъ нарядѣ она и теперь еще хоть куда. Она стоитъ въ ожиданіи экипажа въ комнатѣ смежной съ спальней и смотритъ въ окно на раскинутые передъ церковью бѣлые шатры съ разнымъ крестьянскимъ лакомствомъ и на вереницу разряженныхъ богомольцевъ, которая тянется мимо дома по дорогѣ въ церковь.

— Никакъ Архипъ-то съ утра пьянъ!—обращается она къ ключницѣ,

которая на всякій случай стоитъ возлѣ нея: — смотри, какія мыслете выдѣлываетъ!

— И то пьянъ!—подтверждаетъ ключница.

— Ну, теперь пойдутъ сряду три дня дебоширствовать! того и гляди, деревню сожгутъ! И зачѣмъ только эти праздники сдѣланы! Ты смотри у меня! чтобъ во дворѣ было спокойно! по очереди „гулять“ отпускай: сперва одну очередь, потомъ другую, а наконецъ и остальныхъ. Будетъ съ нихъ и по одному дню... налопаются винища! Да дѣвки чтобы отнюдь пьяныя не возвращались!

Матушка волнуется, потому что въ престольный праздникъ она чувствуетъ себя безсильною. Сряду три дня идетъ по деревнямъ гульба, въ которой принимаетъ дѣятельное участіе самъ староста Ѳедотъ. Онъ не является по вечерамъ за приказаніями, хотя матушка машинально всякій день спрашиваетъ, пришелъ ли Ѳедотка-пьяница, и всякій разъ получаетъ одинъ и тотъ же отвѣтъ, что староста „не годится“. А между тѣмъ овсы еще на половину несжатые въ полѣ стоятъ, того гляди, сыпаться начнутъ; сѣнокосъ тоже не весь убранъ...

— Вотъ ужъ подлинно наказанье!—ропщетъ она:—ишь вѣдь, и погода, какъ нарочно, сухая да свѣтлая—жать бы да жать! И кому это вздумалось на Спасъ-Преображенье престольный праздникъ назначить! Ну что бы на Рождество Богородицы или на Покровъ! любёхонько бы.

Наконецъ раздается первый ударъ колокола, и къ крыльцу подъѣзжаетъ старая-старая долгушка-трясучка, влекомая маленькой саврасой лошадкой, у которой верхняя губа побѣлѣла отъ старости. Это экипажъ отца, который и усаживается въ немъ вмѣстѣ съ сестрицами, поспѣшая къ „Часамъ“. Вскорѣ послѣ этого бѣшеная шестерня караковыхъ жеребцовъ мчитъ къ тому же крыльцу четвероместную коляску, въ которую, съ первымъ ударомъ трезвона, садится матушка съ дѣтьми и съ двумя ливрейными лакеями на запяткахъ. Пристяжныя завиваются, дышловыя грызутся и гогочутъ, едва сдерживаемыя сильною рукою кучера Алемпія; матушка труситъ и крестится, но не можетъ отказать себѣ въ удовольствіи проѣхаться въ этотъ день на стоялыхъ жеребцахъ, которые въ одинъ мигъ домчатъ ее до церкви.

Утро проходитъ томительно. Прежде всего происходитъ обрядъ поздравленія. Въ лакейской собралась домашняя мужская прислуга и именитѣйшіе изъ дворовыхъ. Отецъ, съ полштофомъ въ одной рукѣ и рюмкой въ другой, принимаетъ поздравленія и по очереди подноситъ по рюмкѣ водки поздравляющимъ. Это одинъ изъ укоренившихся дѣдовскихъ обычаевъ, который матушка давно старается упразднить, но безуспѣшно. Въ дѣвичьей стоитъ самоваръ и дѣвушекъ поятъ чаемъ. Потомъ пьютъ чай сами господа (а въ томъ числѣ и тетеньки, которымъ въ другіе дни посылаютъ чай „на верхъ“), и въ это же время дѣтей надѣляютъ деньгами: матушка каждому даетъ по гривеннику, тетеньки—по свѣтленькому пятачку. Около полудня приходятъ „попы“, и происходитъ славленіе, послѣ котораго подается та самая поповская закуска, о которой упоминалось уже въ одной изъ первыхъ главъ. Изрѣдка пріѣзжаетъ къ престольному празднику кто-нибудь изъ сосѣдей, но матушка, вообще не отличающаяся гостепріимствомъ, въ этотъ день просто

ненавидитъ гостей и говоритъ про нихъ: „гость не во-время хуже татарина“.

Въ особенности тоскливо дѣтямъ. Имъ надоѣло даже смотрѣть на бѣлѣющіе передъ церковью шатры и на снующую около нихъ толпу крестьянскихъ дѣвушекъ и парней. Они уходятъ до обѣда въ садъ, но въ праздничныхъ костюмчикахъ имъ и порѣзвиться нельзя, потому что, того гляди, упадешь и измараешь „хорошее“ платье. Поэтому они ходятъ чинно, избѣгая всякаго шума, чтобы неосторожнымъ движеніемъ не навлечь на себя гнѣва пристально слѣдящей за ними гувернантки и не лишиться послѣобѣденнаго гулянья. Послѣднее случается впрочемъ довольно рѣдко, потому что и гувернантка въ такой большой праздникъ признаетъ для себя обязательнымъ быть снисходительной

Наконецъ отошелъ и обѣдъ. Въ этотъ день онъ готовится въ изобиліи и изъ свѣжей провизіи, и хотя матушка по обыкновенію сама накладываетъ кушанье на тарелки дѣтей, но на этотъ разъ одѣляетъ всѣхъ поровну, такъ что дѣти *всѣ* сыты. Шумно встаютъ они, по окончаніи обѣда, изъ-за стола и хоть сейчасъ готовы бѣжать, чтобы растратить на торгу подаренные имъ капиталы, но и тутъ приходится ждать маменькинаго позволенія, а иногда она довольно долго не догадывается дать его.

Но вотъ вожделѣнный мигъ насталъ, и дѣти чинно, не смѣя прибавить шагу, идутъ къ церкви, сопровождаемыя въ догонку наставленіями матушки:

— Смотрите же, не пачкайте платьицевъ!—да къ шести часамъ чтобъ быть домой.

У шатровъ толпится народъ. Въ двухъ изъ нихъ разложены лакомства, въ третьемъ идетъ торгъ ситцами, платками, нитками, иголками и т. д. Мы направляемся прямо къ шатру стараго Агея, который изстари посѣщаетъ нашъ праздникъ и охотно намъ уступаетъ, зная, что дома не очень-то насъ балуютъ.

Главныя лакомства—мятый, мокрый черносливъ, бѣлый изюмъ, тоже мятый и влажный, пряники медовые, изображающіе лошадей, коровъ и пѣтуховъ, съ налѣпленнымъ по мѣстамъ сусальнымъ золотомъ, цареградскіе рожки, орѣхи, изобилующіе свищами, мелкій крыжовникъ, который щелкаетъ на зубахъ, и т. д. Мы съ жадностью набрасываемся на сласти, и такъ какъ насъ пятеро, и въ совокупности мы обладаемъ довольно значительною суммою, то въ теченіе пяти минутъ въ нашихъ рукахъ оказывается масса всякой всячины. Съ какою жадностью мы пожирали эту всякую всячину!—теперь, при одномъ воспоминаніи о томъ, что проскакивало въ этотъ знаменательный день въ мой желудокъ, мнѣ становится не по себѣ.

Въ село насъ гулять въ этотъ день не пускаютъ, — боятся, чтобы картины мужицкой гульбы не повліяли вредно на дѣтскія сердца. Но до насъ доносятся пѣсни, и издали мы видимъ, какъ по улицѣ разряженныя дѣвушки и парни водятъ хороводы, а мальчишки играютъ въ бабки. Мы сравниваемъ наше подневольное житье съ временною свободою, которою пользуется гуляющее простонародье, и завидуемъ. Во всякомъ случаѣ мы не понимаемъ, почему насъ не пускаютъ въ село. Не для того, разумѣется, мы рвемся туда,

чтобы участвовать въ крестьянскихъ увеселеніяхъ — упаси Боже Затрапезныхъ отъ такого общенія!—а просто хоть посмотрѣть.

Настоящая гульба впрочемъ идетъ не на улицѣ, а въ избахъ, гдѣ не сходитъ со столовъ всякаго рода угощеніе, подкрѣпляемое водкой и домашней брагой. Въ особенности чествуютъ старосту Ѳедота, котораго подъ руки, совсѣмъ пьянаго, водятъ изъ дома въ домъ. Вообще всѣ поголовно пьяны; даже пастухъ распустилъ сельское стадо, которое забрело на господскій красный дворъ, и конюха то-и-дѣло убираютъ скотину на конный дворъ.

Вечеромъ матушка сидитъ запершись въ своей комнатѣ. Съ села доносится до нея густой гулъ, и она боится выйти, зная, что не въ силахъ будетъ поручиться за себя. Отпущенныя на праздникъ дѣвушки постепенно возвращаются домой... веселыя. Но ихъ сейчасъ же убираютъ по чуланамъ и укладываютъ спать. Матушка чутьемъ угадываетъ эту процедуру, и—ой-ой, какъ колотится у нея въ груди всевластное помѣщичье сердце!

Наконецъ, часамъ къ одиннадцати ночи, гулъ смолкаетъ, и матушка посылаетъ на село посмотрѣть, вездѣ ли потушены огни. По полученіи извѣстія, что все въ порядкѣ, что было столько-то дракъ, но никто не изувѣченъ, она, измученная, кидается въ постель.

Первый день праздника кончился; завтра гульба возобновится, но уже по деревнямъ. По крайней мѣрѣ, хоть за глазами, и барское сердце будетъ меньше болѣть.

Извиняюсь передъ читателемъ за длинное отступленіе и возвращаюсь къ тетенькамъ-сестрицамъ.

Онѣ были старше отца, и до самой его женитьбы жили вмѣстѣ съ нимъ, пользуясь въ Малиновцѣ правами полныхъ хозяекъ. Хотя Марья Порфирьевна имѣла собственную усадьбу „Уголокъ“, въ тридцати-пяти верстахъ отъ насъ, но домъ въ ней былъ такъ неуютенъ и ветхъ, что жить тамъ, въ особенности зимой, было совсѣмъ невозможно. Во всякомъ случаѣ имѣніе отца и обѣихъ сестеръ составляло нѣчто нераздѣльное, находившееся подъ общимъ управленіемъ, какъ было при дѣдушкѣ Порфирьѣ Григорьичѣ. Доходы—впрочемъ очень ограниченные — со всѣхъ имѣній получалъ отецъ, выдавая сестрицамъ по малости на самое необходимое. Братъ и сестры жили дружно; послѣднія даже благоговѣли передъ младшимъ братомъ и здоровались съ нимъ не иначе, какъ кланяясь до земли и цѣлуя его руку.

У Ольги Порфирьевны никогда не было жениховъ, и вообще за нею не числилось никакихъ амурныхъ исторій. Она была дурна собой и росла строго, какъ бы заранѣе осудивъ себя на всегдашнее дѣвство. Что касается до Марьи Порфирьевны, то она была миловиднѣе сестры, и, кажется, молодость ея прошла не столь безмятежно, какъ сестрина. По крайней мѣрѣ матушка, отъ времени до времени, желая особенно больно кольнуть сестрицъ, припоминала *при всѣхъ* про какого-то драгунскаго офицера. Старушки при этомъ блѣднѣли, а Марья Порфирьевна потихоньку произносила:—тьфу! тьфу!—словно отрицаясь отъ навожденія. Даже старикъ-отецъ не выдерживалъ и выговаривалъ матушкѣ:

— И какъ тебѣ, сударыня, не стыдно!

Теперь, когда Марья Порфирьевна перешагнула уже за вторую половину седьмого десятилѣтія жизни, конечно, не могло быть рѣчи о драгунскихъ офицерахъ, но даже мы, дѣти, знали, что у старушки надъ самымъ изголовьемъ постели висѣлъ образокъ Іосифа Прекраснаго, которому она особенно усердно молилась и въ память котораго, 31-го марта, одѣвалась въ бѣлое каленкоровое платье и тщательнѣе, нежели въ обыкновенные дни, взбивала свои, сырцеваго шолка, кудри.

Такимъ образомъ спокойно и властно поживали тетеньки въ Малиновцѣ, какъ вдругъ отецъ, уже будучи сорока лѣтъ, вздумалъ жениться. Съ тѣхъ поръ значеніе сестеръ начало быстро падать. Хотя матушкѣ было только пятнадцать лѣтъ, когда она вышла замужъ, но молодость какъ-то необыкновенно скоро соскочила съ нея. Ходило въ семьѣ преданіе, что по началу она была веселая и разбитная молодка, называла горничныхъ подружками, любила играть съ ними пѣсни, побѣгать въ горѣлки и ходить веселой гурьбой въ лѣсъ по ягоды. Часто ѣздила въ гости и къ себѣ зазывала гостей, и вообще не отказывала себѣ въ удовольствіяхъ. Очень возможно, что она и навсегда удержалась бы на этой стезѣ, еслибъ не золовки. Онѣ съ самаго начала вознамѣрились сдѣлать изъ нея нѣчто въ родѣ семейной потѣхи, и всячески язвили ее колкостями, въ особенности допекая по поводу недоданнаго приданаго. Однакоже отецъ, какъ человѣкъ слабохарактерный, не поддержалъ ихъ. На первыхъ порахъ онъ даже держалъ сторону молодой жены и защищалъ ее отъ золовокъ, и какъ ни коротко было время ихъ супружескаго согласія, но этого было достаточно, чтобы матушка рѣшилась дать золовкамъ серьезный отпоръ.

Года черезъ четыре послѣ свадьбы въ ея жизни совершился крутой переворотъ. Изъ молодухи она какъ-то внезапно сдѣлалась „барыней“, перестала звать сѣнныхъ дѣвушекъ подруженьками, и слово „дѣвка“ впервые слетѣло съ ея языка, слетѣло самоувѣренно, грозно и безповоротно.

Борьба съ золовками началась, разумѣется, съ тѣхъ пустяковъ, которыми такъ богатъ низменный домашній бытъ. Въ одно прекрасное утро матушка призвала къ себѣ повара и сама заказала ему обѣдъ, такъ что когда сестрица Ольга Порфирьевна узнала объ этомъ, то совершившійся фактъ уже былъ на-лицо. За обѣдомъ матушка сама разливала супъ, что̀ тоже до тѣхъ поръ составляло одну изъ прерогативъ Ольги Порфирьевны. Послѣдняя угадала, что это только первые уколы, за которыми послѣдуютъ и другіе. И точно: вечеромъ матушка въ первый разъ принимала старосту, выслушивала его докладъ и отдавала приказанія.

— Да что̀ ты, мать моя, бѣлены, что-ли, объѣлась!—не выдержала Ольга Порфирьевна.

А тетенька Марья Порфирьевна, не понимая, что въ домѣ произошло нѣчто весьма серьезное, хохотала и дразнилась:

— Ахъ, купчиха! ахъ, богатѣя! Покажи-ка сундуки, въ которыхъ приданое изъ Москвы привезла!

— Можетъ, другой кто бѣлены объѣлся,—спокойно отвѣтила матушка Ольгѣ Порфирьевнѣ:—только я знаю, что я здѣсь хозяйка, а не нахлѣбница.

У васъ есть Уголокъ, въ которомъ вы и можете хозяйничать. Я у васъ не гащивала и куска вашего не ѣдала, а вы, по моей милости, здѣсь круглый годъ сыты. Поэтому, ежели желаете и впередъ жить у брата, то живите смирно. А вашихъ словъ, Марья Порфирьевна, я не забуду...

Этимъ сразу старинные порядки были покончены. Тетеньки пошептались съ братцемъ, но безъ успѣха. Всѣ дворовые почувствовали, что надъ ними тяготѣетъ не прежняя сутолока, а настоящая хозяйская рука, покамѣстъ молодая и неопытная, но обѣщающая въ будущемъ распорядокъ и властность. И хотя молодая „барыня" еще продолжала играть пѣсни съ дѣвушками, но забава эта повторялась все рѣже и рѣже, а наконецъ дѣвичья совсѣмъ смолкла и веселыя игры замѣнились цѣлодневнымъ вышиваніемъ въ пяльцахъ и перебираніемъ коклюшекъ.

Тетеньки однакожъ серьезно обидѣлись, и на другой же день въ „Уголокъ" былъ посланъ нарочный съ приказаніемъ приготовить что̀ нужно для принятія хозяекъ. А черезъ недѣлю ихъ уже не стало въ нашемъ домѣ.

Проводы, разумѣется, были самые родственные. Всѣ домочадцы высыпали на крыльцо; сестрицы честь-честью перецѣловались; братецъ перекрестилъ отъѣзжавшихъ и сказалъ: — Напрасно! — а сестрицѣ Марьѣ Порфирьевнѣ даже пригрозилъ, вымолвивъ:—Это все ты, смутьянка! — Затѣмъ желтый рыдванъ покатился.

Увы! сестрицы не обладали даромъ предвидѣнія. Онѣ уѣзжали, когда лѣто было въ самомъ разгарѣ, и забыли, что осенью и зимой „Уголокъ" представляетъ очень плохую защиту отъ стужи и непогодъ.

Дѣйствительно, не успѣлъ наступить сентябрь, какъ отъ Ольги Порфирьевны пришло къ отцу покаянное письмо съ просьбою пустить на зиму въ Малиновецъ. Къ этому времени матушка настолько уже властвовала въ домѣ, что отецъ не рѣшился отвѣчать безъ ея согласія.

— Пустишь, что-ли, сударыня?—спросилъ онъ нерѣшительно.

— Пускай живутъ! Отведу имъ наверху боковушку — тамъ и будутъ зиму зимовать, — отвѣтила матушка. — Только, чуръ, ни въ какія распоряженія не вмѣшиваться, а съ мая мѣсяца чтобъ на все лѣто отправлялись въ свой „Уголокъ". Не хочу я ихъ видѣть лѣтомъ — мѣшаютъ. Прыгаютъ, егозятъ, въ хозяйствѣ ничего не смыслятъ. А я хочу, чтобъ у насъ все въ порядкѣ было. Что̀ мы получали, покуда сестрицы твои хозяйничали? грошъ мѣдный! А я хочу...

Матушка уже начинала мечтать. Въ ея молодой головѣ толпились хозяйственные планы, которые должны были установить экономическое положеніе Малиновца на прочномъ основаніи. Къ тому же у нея въ это время уже было двое дѣтей, и надо было подумать о нихъ. Разумѣется, въ основѣ ея плановъ лежала та же рутина, какъ и въ прочихъ сосѣднихъ хозяйствахъ, но ничего другого и перенять было неоткуда. Она желала добиться хоть одного: чтобы въ хозяйствѣ существовалъ вѣсъ, счетъ и мѣра.

Въ этомъ отношеніи малиновецкая экономія представляла верхъ безпорядочности. Зерно безъ мѣры принималось съ гумна, и безъ мѣры же ссыпалось въ амбары.

— Никто не украдетъ! всѣ будутъ сыты!—говорили сестрицы, и докладывали братцу, что молотьба кончилась, и сусѣки, слава Богу, до верху полны зерномъ.

Очень возможно, что дѣйствительно воровства не существовало, но всякій бралъ безъ счета, сколько нужно или сколько хотѣлъ. Особенно одолѣвали дворовые, которые плодились какъ грибы, и всѣ, за исключеніемъ одиночекъ, состояли на мѣсячинѣ. Къ концу года оставалась въ амбарахъ самая малость, которую почти задаромъ продавали мѣстнымъ прасоламъ, такъ что деньги считались въ домѣ рѣдкостью.

Въ такомъ же безпорядочномъ видѣ велось хозяйство и на конномъ и скотномъ дворахъ. Несмотря на изобиліе сѣнокосовъ, сѣна почти никогда недоставало, и къ веснѣ скотина выгонялась въ поле чуть живая. Молочнаго хозяйства и въ заводѣ не было. Каждое утро посылали на скотную за молокомъ для господъ, и были вполнѣ довольны, если круглый годъ хватало достаточно масла на столъ. Это было счастливое время, о которомъ впослѣдствіи долго вздыхала дворня.

Матушка во всѣхъ отрасляхъ хозяйства ввела мѣру, вѣсъ и счетъ.

Она самолично простаивала цѣлые дни при молотьбѣ и вѣяніи и заставляла при себѣ мѣрять вывѣянное зерно и при себѣ же мѣрою ссыпать въ амбары. Кромѣ того, завела книгу, въ которую записывала приходъ и расходъ, и раза два въ годъ провѣряла наличность. Она уже не говорила, что у нея сусѣки наполнены верхомъ, а прямо заявляла, что умолотъ далъ столько-то четвертей, изъ которыхъ, по ея соображеніямъ, столько-то должно поступить въ продажу.

Затѣмъ она обратила вниманіе на мѣсячину. Сразу уничтожить ее она не рѣшалась, такъ какъ обычай этотъ существовалъ повсемѣстно, но сдѣлала въ ней очень значительныя сокращенія. Самое главное сокращеніе заключалось въ томъ, что нѣкоторыя дворовыя семьи держали на барскомъ корму по двѣ и по три коровы и по нѣскольку овецъ, и она сразу сократила число первыхъ до одной, а число послѣднихъ до пары, а лишнихъ, безъ дальнихъ разговоровъ, взяла на господскій скотный дворъ.

Словомъ сказать, вездѣ завелись новые и дотолѣ неслыханные порядки. Дворня до того была поражена, что въ теченіе двухъ-трехъ дней чувствовалось между дворовыми нѣчто въ родѣ волненія. Самъ отецъ не одобрялъ этихъ новшествъ. Онъ привыкъ, чтобы кругомъ было тихо и смирно, чтобы никто не жаловался и не роптал, а теперь пошли ежедневныя судбища, разбирательства, учеты. Въ особенности же сѣтовалъ онъ на то, что матушка смѣнила прежнихъ старосту и ключницу. Онъ даже попробовалъ заступиться за нихъ, но по обыкновенію сдѣлалъ это нерѣшительно и вяло, такъ что молодой хозяйкѣ почти не стоило никакого труда устоять на своемъ.

Въ результатѣ этихъ усилій оказалось, что года черезъ два Малиновецъ уже началъ давать доходъ.

Но годы шли, и вмѣстѣ съ ними росла наша семья.

Послѣ двѣнадцати лѣтъ брака, во второй половинѣ двадцати годовъ, она уже считала восемь человѣкъ дѣтей (я только-что родился), и матушка начала серьезно задумываться, какъ ей справиться съ этой оравой. Въ домѣ

завелись гувернантки; старшей сестрѣ уже минуло одиннадцать лѣтъ, старшему брату — десять; надо было везти ихъ въ Москву, помѣстить въ казенныя заведенія и воспитывать на свой счетъ. Въ предвидѣніи этого и чтобы получить возможность сводить концы съ концами, матушка съ каждымъ годомъ больше и больше расширяла хозяйство въ Малиновцѣ, поднимала новыя пашни, расчищала луга, словомъ сказать, извлекала изъ крѣпостного труда все, что онъ могъ дать. Но вѣдь и крѣпостной трудъ не безконечно растяжимъ, и триста-шестьдесятъ душъ отцовскихъ все-таки оставались тѣми же триста-шестидесятью душами, сколько ни налегали на нихъ.

Какъ бы то ни было, но съ этихъ поръ матушкой овладѣла та страсть къ скопидомству, которая не покинула ее даже впослѣдствіи, когда наша семья могла считать себя уже вполнѣ обезпеченною. Благодаря этой страсти, всѣ куски были на-счету, всѣ лишніе рты сдѣлались ненавистными. Въ особенности возненавидѣла она тетенекъ-сестрицъ, видя въ нихъ нѣчто въ родѣ хронической язвы, подтачивавшей благосостояніе семьи.

Тетеньки окончательно примолкли. По установившемуся обычаю онѣ появлялись въ Малиновцѣ наканунѣ преображеньяго дня и исчезали въ Уголокъ въ концѣ апрѣля, какъ только сливали рѣки и устанавливался маломальски сносный путь. Но и тамъ, и тутъ существованіе ихъ было самое жалкое.

Господскій домъ въ Уголкѣ почти совсѣмъ развалился, а средствъ поправить его не было. Крыша протекала; стѣны въ комнатахъ были испещрены слѣдами водяныхъ потоковъ; половицы колебались; изъ оконъ и даже изъ стѣнъ проникалъ вѣтеръ. Владѣлицы никогда прежде не заглядывали въ усадьбу; имъ и въ голову не приходило, что онѣ будутъ вынуждены жить въ такой руинѣ, какъ вдругъ ихъ постигла невзгода.

Хозяйство въ Уголкѣ велось такъ же безпорядочно, какъ и въ Малиновцѣ во время ихъ управленія, а съ прибытіемъ владѣлицъ элементъ безалаберности еще болѣе усилился.

Онѣ были не только лишены всякаго хозяйственнаго смысла, но, сверхъ того, были чудихи и отличались тою назойливостью, которая даже самыхъ усердныхъ слугъ выводила изъ терпѣнія. Въ особенности проказлива была Марья Порфирьевна, которой собственно и принадлежалъ Уголокъ.

Переѣзжая на лѣто къ себѣ, она чувствовала себя свободною и какъ бы спѣшила вознаградить себя за тѣ стѣсненія, которыя преслѣдовали ее во время зимы. Цѣлые дни она придумывала проказу за проказой. То мазала жеваннымъ хлѣбомъ кресты на стѣнахъ и окнахъ; то выбирала что ни на есть еле-живую половицу и скакала по ней, рискуя провалиться; то ставила среди комнаты аналой и ходила вокругъ него съ зажженной свѣчей, воображая себя невѣстой и посылая воздушные поцѣлуи Іосифу Прекрасному. Однажды даже нарисовала углемъ усы благовѣрной княгинѣ Ольгѣ, а преподобному Нестору вывела на лбу рога. И сестра, и прислуга неотступно слѣдили за нею, опасаясь, чтобъ она не сожгла усадьбы или чтобъ съ ней самой чего-нибудь не случилось.

Имѣньице было крохотное, всего сорокъ душъ, но сестрицы и эту ограниченную хозяйственную силу не стѣснялись сокращать почти на половину.

Въ самую страдную пору онѣ разсылали пѣшкомъ крестьянъ по церквамъ и монастырямъ съ кутьею и поминальными книжками, или съ подводами, нагруженными провизіей, которая предназначалась разнымъ богомоламъ, пользовавшимся ихъ почитаніемъ. По временамъ, прослышавъ, что въ такомъ-то городѣ или селѣ (хотя бы даже за сто и болѣе верстъ) долженъ быть крестный ходъ, или принесутъ икону, онѣ собирались и сами на богомолье. Закладывалась извѣстная всему околотку желтая карета, и сестры на недѣлю и на двѣ пропадали, переѣзжая съ богомолья на богомолье. Эти поѣздки могли бы, въ хозяйственномъ смыслѣ, считаться полезными, потому что хоть въ это время можно было бы управиться съ работами; но своеобычныя старухи и заочно не угомонялись, безпрерывно требуя присылки подводъ съ провизіей, такъ что, не будучи въ собственномъ смыслѣ слова жестокими, онѣ до такой степени въ короткое время изнурили крестьянъ, что послѣдніе считались самыми бѣдными въ цѣломъ уѣздѣ.

Ни отецъ, ни матушка, въ теченіе болѣе десяти лѣтъ, никогда не заглядывали въ Уголокъ. Матушка любила и поѣсть, и попить въ людяхъ, а сестрицамъ угощать было нечѣмъ. Благодаря своей безалаберности, онѣ сами жили впроголодь, питаясь молокомъ, ягодами и хлѣбомъ, и еслибъ не возможность прожить зиму въ Малиновцѣ, то неизвѣстно, какъ бы онѣ извернулись. Къ счастью, у Ольги Порфирьевны были двѣ дальнія деревушки, около тридцати душъ, которыя платили небольшой оброкъ. Эта ничтожная сумма, размѣненная на двугривенные и пятиалтынные, и выручала ихъ.

Зиму онѣ проводили въ Малиновцѣ, въ полномъ смыслѣ слова, затворницами. Однажды вступивъ во владѣніе „боковушкой“, онѣ выходили изъ нея только къ обѣду да въ праздники къ обѣднѣ. Въ мезонинѣ у насъ никто не жилъ, кромѣ сестрицъ, да еще дѣтей, которыя приходили въ свои дѣтскія только для спанья. Прочія комнаты стояли пустыя и раздѣлялись на двѣ половины длиннымъ темнымъ коридоромъ, въ который вела снизу крутая темная лѣстница. Днемъ у всѣхъ было своего дѣла по горло, и потому наверхъ рѣдко кто ходилъ, такъ что къ темнотѣ, наполнявшей коридоръ, присоединялась еще удручающая тишина. Малѣйшій шорохъ заставлялъ сестрицъ вздрагивать и посылать Аннушку поглядѣть, нѣтъ ли кого. Но въ особенности ихъ пугало, что коридоръ обоими концами упирался въ чердаки, которые, какъ извѣстно, составляютъ любимое мѣстопребываніе нечистой силы. Марья Порфирьевна пыталась ограждать себя отъ послѣдней тѣмъ, что мазала на дверяхъ чердаковъ кресты; но матушка, узнавъ объ этомъ, приказала вымыть двери и пригрозила сестрицамъ выпроводить ихъ изъ Малиновца.

Съ утра до вечера онѣ сидѣли однѣ въ своемъ заключеніи. У Ольги Порфирьевны хоть занятіе было. Она умѣла вышивать шелками и дѣлала изъ разноцвѣтной фольги нѣчто въ родѣ окладовъ къ образамъ. Но Марья Порфирьевна ничего не умѣла, и занималась только тѣмъ, что бѣгала взадъ и впередъ по длинной комнатѣ, производя искусственный вѣтеръ и намѣренно мѣшая сестрѣ работать.

Кормили тетенекъ болѣе чѣмъ скупо. Утромъ посылали наверхъ по чашкѣ холоднаго чаю безъ сахара, съ тоненькимъ ломтикомъ бѣлаго хлѣба;

за обѣдомъ имъ первымъ подавали кушанья, предоставляя *право* выбирать самые худые куски. Помню, какъ робко онѣ входили въ столовую за четверть часа до обѣда, чтобы не заставить ждать себя, и становились къ окну. Когда появлялась матушка, онѣ приближались къ ней, но она почти всегда съ безпощадною жестокостью отвѣчала имъ, говоря:

— Ну, еще цѣловаться вздумали! не Богъ знаетъ сколько времени не видались!

Въ теченіе всего обѣда онѣ сидѣли, потупивъ глаза въ тарелки, и безмолвствовали. Ѣли только супъ и пирожное, такъ какъ остальное кушанье было не по зубамъ.

Присутствіе матушки приводило ихъ въ оцѣпенѣніе, и что̀ бы ни говорилось за столомъ, какія бы ни происходили бурныя сцены, онѣ ни однимъ движеніемъ не выказывали, что принимаютъ въ происходящемъ какое-нибудь участіе. Молча садились онѣ за обѣдъ, молча подходили послѣ обѣда къ отцу и къ матушкѣ и отправлялись наверхъ, чтобъ не сходить оттуда до завтрашняго обѣда.

Чѣмъ онѣ были сыты—это составляло загадку, надъ разрѣшеніемъ которой никто не задумывался. Даже отецъ не интересовался этимъ вопросомъ и, повидимому, былъ очень доволенъ, что его не безпокоятъ. По временамъ Аннушка, завтракавшая и обѣдавшая въ дѣвичьей, вмѣстѣ съ женской прислугой, отливала въ небольшую чашку людскихъ щецъ, толокна или кулаги и, крадучись, относила подъ фартукомъ эту подачку „барышнямъ". Но однажды матушка узнала объ этомъ и строго-на-строго запретила.

— Онѣ дворянки,—сказала она язвительно:—а дворянкамъ не пристало холопскія щи ѣсть. Я купчиха—и то не ѣмъ.

Вообще сестрицы сдѣлались чѣмъ-то въ родѣ живыхъ мумій; забитыя, брошенныя въ тѣсную конуру, лишенныя притока свѣжаго воздуха, онѣ даже перестали сознавать свою безпомощность, и въ безмолвномъ отупѣніи жили, какъ въ гробу, въ своемъ обязательномъ убѣжищѣ. Но и за это жалкое убѣжище онѣ цѣплялись всею силою своихъ костенѣющихъ рукъ. Въ немъ, по крайней мѣрѣ, было тепло... Что̀, ежели разсердится сестрица Анна Павловна и скажетъ: мнѣ и безъ васъ есть кого поить-кормить!—куда онѣ дѣнутся?

Даже Марья Порфирьевна притихала и съёживалась, когда ей напоминали о возможности подобной катастрофы. Вообще она до того боялась матушки, что при упоминовеніи ея имени бросалась на постель и прятала лицо въ подушки.

Увы! предчувствіе не обмануло сестрицъ. Минуты, когда ворота малиновецкой усадьбы заперлись передъ ними навсегда, были сочтены.

Матушка въ это время уже могла считать себя богатою. Въ самомъ началѣ тридцатыхъ годовъ она успѣла пріобрѣсти значительное имѣніе, верстахъ въ сорока отъ Малиновца и всего въ пяти верстахъ отъ Уголка. Это было большое торговое село Заболотье, заключавшее въ себѣ съ деревнями болѣе трехъ тысячъ душъ. Принадлежало оно троимъ владѣльцамъ, и часть одного изъ нихъ, около тысячи-двухсотъ душъ, продавалась въ опекунскомъ совѣтѣ съ аукціона. Прослышавъ о предстоящей продажѣ, матушка рѣшила

рискнуть своимъ небольшимъ приданнымъ капиталомъ и поѣхала въ Москву. Успѣхъ превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія. На аукціонъ никто не явился, кромѣ подставного лица, и имѣніе осталось за матушкой, „съ переводомъ долга“ и съ самой небольшой приплатой изъ приданныхъ денегъ.

Имѣніе было малоземельное, но оброкъ съ крестьянъ получался исправно. А по тогдашнему времени это только и было нужно. Операція была настолько выгодна, что сразу дала матушкѣ лишнихъ пятнадцать тысячъ чистаго годового дохода, не считая уплаты процентовъ и погашенія. Сверхъ того, лѣтомъ изъ Заболотья наряжалась въ Малиновецъ такъ-называемая помочь, которая въ три-четыре дня оканчивала почти все жнитво и значительную часть сѣнокоса. Вслѣдствіе этого и Малиновецъ началъ давать все болѣе и болѣе серьезный доходъ. Благосостоянію семьи было положено прочное основаніе.

Но тутъ-то именно и случилось нѣчто въ высшей степени прискорбное для сестрицъ. Матушка, никогда не любившая Малиновца, начала, съ покупкой новаго имѣнія, положительно скучать въ родовомъ отцовскомъ гнѣздѣ. Въ Заболотьѣ былъ тоже господскій домъ, хотя тѣсный и плохо устроенный, но матушка была неприхотлива. Ей нравилась оживленная улица села, съ постоянно открытыми лавками, въ которыхъ, по ея выраженію, только птичьяго молока нельзя было достать, и съ еженедѣльнымъ торгомъ, на который съѣзжались толпы народа изъ сосѣднихъ деревень; нравилась заболотская пятиглавая церковь, съ пятисотъ-пудовымъ колоколомъ; нравилась новая кипучая дѣятельность, которую представляло оброчное имѣніе. Оброки собирались по мелочамъ, такъ что надо было наблюдать да и наблюдать, записывать да и записывать. Да и одинъ ли оброкъ? ежели къ такому имѣнію да приложить руки, такъ и другихъ полезныхъ статей не мало найдется. Обложить торговцевъ сборомъ, свои лавки построить, постоялый дворъ, трактиръ... Одно горе: имѣніе черезполосное; мужики остальныхъ двухъ частей, при заглазномъ управленіи, совсѣмъ извольничались и, пожалуй, не скоро пойдутъ на затѣи новой помѣщицы. Но вѣдь и это представляло пищу для дѣятельности. Пойдутъ разговоры, совѣщанія; иное уладится само собой, а иногда и до суда дойдетъ. Обо всемъ надо подумать, переговорить. Матушка и о тяжбѣ начала помышлять безъ особеннаго страха.

Первые три года она только урывками наѣзжала въ Заболотье. Пробудетъ мѣсяцъ, другой, и опять воротится въ Малиновецъ. Но мысль ея все больше и больше склонялась къ тому, чтобы изъ Заболотья сдѣлать зимнюю резиденцію. Зимой въ Малиновцѣ рѣшительно нечего было дѣлать. Шла только молотьба (иногда до самой масляницы); но для наблюденія за нею былъ подъ рукой староста Ѳедотъ, которому можно было безусловно довѣрить барское дѣло. Господскій домъ оказывался слишкомъ обширнымъ и опустѣлымъ (почти всѣ дѣти ужъ были размѣщены по казеннымъ заведеніямъ въ Москвѣ), и отопленіе такой махины требовало слишкомъ много дровъ. Оставалось убѣдить отца—но вѣдь матушкѣ было не привыкать стать къ домашнимъ сценамъ. Побурлитъ старикъ, а она все-таки на своемъ поставитъ. А о томъ, что гдѣ-то наверху, въ боковушкѣ, словно мыши скребутся сестрицы, она забыла и думать.

Участь тетенекъ-сестрицъ была рѣшена. Условлено было, что сейчасъ послѣ Покрова, когда по первымъ умолотамъ уже можно будетъ судить объ общемъ урожаѣ озимаго и ярового, семья переѣдетъ въ Заболотье. Часть дворовыхъ переведутъ туда же, а часть размѣстится въ Малиновцѣ по флигелямъ, и затѣмъ господскій домъ заколотятъ.

Сверхъ ожиданія, отецъ принялъ это рѣшеніе безъ особенныхъ возраженій. Его соблазняло, что при заболотской церкви состоятъ три попа и два дьякона, что тамъ каждый день служатъ обѣдню, а въ праздничные дни даже двѣ, раннюю и позднюю, изъ которыхъ послѣднюю—соборне.

Матушка сама извѣстила сестрицъ объ этомъ рѣшеніи. „Намъ это необходимо для устройства имѣній нашихъ,—писала она,—а вы и не увидите, какъ зиму безъ милыхъ сердцу проведете. Ухитите вашъ домичекъ соломкой да жердочками сверху обрѣшетите—и будетъ у васъ и тепленько, и уютненько. А соскучитесь однѣ — въ Заболотье чайку попить милости просимъ. Всего пять верстъ—мигомъ лошадушки домчатъ“...

Въ половинѣ декабря уголковскій староста Осипъ явился въ Заболотье и просилъ доложить о себѣ матушкѣ.

— Барышня Ольга Порфирьевна у насъ плоха,—доложилъ онъ ей.

— Что̀ съ нею?

— Да стужа въ домишкѣ-то... простудилась, стало быть.

— Я вѣдь писала, чтобы домъ соломой снаружи ухитить...

— Что̀ солома! бревна сгнили... Стужа лютѣе, чѣмъ на дворѣ.

— А я тутъ при чемъ? что ты ко мнѣ присталъ? Я развѣ причинна, что домъ у васъ сгнилъ?

— Я не къ тому... такъ, доложить пришелъ... Какъ бы потомъ въ отвѣтѣ не быть...

— Лежитъ она, что-ли?

— Пока еще бродитъ... кашель дюже одолѣлъ. Такъ бьетъ, такъ бьетъ, ни на что не похоже... на бокъ жалуются...

— Что̀-жъ я-то могу?.. Богъ милостивъ, отходится. За докторомъ, коли что̀, пошлите.

Съ тѣмъ староста и ушелъ. Матушка впрочемъ нѣсколько разъ порывалась велѣть заложить лошадей, чтобъ съѣздить къ сестрицамъ, но въ концѣ концовъ махнула рукой и успокоилась.

На святкахъ староста опять пріѣхалъ и объявилъ, что Ольга Порфирьевна ужъ кончается. Я въ это время учился въ Москвѣ, но на зимнюю вакацію меня выпросили въ Заболотье. Матушка въ нѣсколько минутъ собралась и вмѣстѣ съ отцомъ и со мной поѣхала въ Уголокъ.

Домишко былъ дѣйствительно жалкій. Онъ стоялъ на юру, окутанный промерзлой соломой и незащищенный даже рощицей. Когда мы изъ крытаго возка перешли въ переднюю, насъ обдало морозомъ. Встрѣтила насъ тетенька Марья Порфирьевна, укутанная въ толстый ваточный капотъ, въ капорѣ и въ валеныхъ сапогахъ. Лицо ея осунулось и выражало младенческое отупѣ-

ніе. Завидѣвъ насъ, она машинально замахала руками, словно говорила: тише! тише! Сзади стояла старая Аннушка и плакала.

Ольга Порфирьевна уже скончалась, но ее еще не успѣли снять съ постели. Миніатюрная головка ея, сморщенная, съ обострившимися чертами лица, съ закрытыми глазами, безпомощно высовывалась изъ-подъ груды всякаго тряпья, наваленнаго ради тепла; у изголовья, на стулѣ, стоялъ непочатый стаканъ малиноваго настоя. Въ углу, у образовъ, священникъ, въ ветхой рясѣ, служилъ панихиду.

Матушка заплакала. Отецъ, въ шубѣ и большихъ мѣховыхъ сапогахъ, закрывалъ рукою ротъ и носъ, чтобъ не глотнуть морознаго воздуха.

Когда кончилась панихида, матушка сунула священнику въ руку полтинникъ и сказала:—„Ужъ вы, батюшка, постарайтесь!"—Затѣмъ всѣ на минуту присѣли, дали Аннушкѣ и старостѣ надлежащія наставленія, поклонились покойницѣ и стали поспѣшно сбираться домой. Марью Порфирьевну тоже взяли съ собой въ Заболотье.

Черезъ три дня Ольгу Порфирьевну схоронили на бѣдномъ погостѣ, къ которому Уголокъ былъ приходомъ. Похороны впрочемъ произошли честь-честью. Матушка выписала изъ города средненькій, но очень приличный гробикъ, средненькій, но тоже очень приличный покровъ, и пригласила изъ Заболотья старшаго священника, который и служилъ заупокойную литургію соборне. Мало того: она заказала два сорокоуста и внесла въ приходскую церковь сто рублей вклада на *вѣчныя* времена, для поминовенія души усопшей рабы Божіей Ольги.

Спустя мѣсяцъ, тетеньку Марью Порфирьевну, вмѣстѣ съ Аннушкой, помѣстили въ ближайшій женскій монастырь. Матушка сама ѣздила хлопотать и купила въ монастырской оградѣ особую келью, чтобы старушкѣ жилось уютненько и тепленько.

Словомъ сказать, устроили дѣло такъ, чтобъ и душа покойной, глядючи съ небеси, радовалась, да и передъ людьми было не стыдно...

VIII.—Тетенька Анфиса Порфирьевна.

Тетенька Анфиса Порфирьевна была младшая изъ сестеръ отца (въ описываемое время ей было немногимъ больше пятидесяти лѣтъ) и жила отъ насъ недалеко.

Я не помню впрочемъ, чтобъ до покупки Заболотья мы когда-нибудь ѣзжали къ ней, да и не помню, чтобы и она у насъ бывала, такъ что я совсѣмъ ея не зналъ. Уже въ семьѣ дѣдушки Порфирія Васильича, когда она еще была „въ дѣвкахъ", ее не любили, и называли варваркой; впослѣдствіи же, когда она вышла замужъ и стала жить на своей волѣ, репутація эта за ней окончательно утвердилась. Разсказывали почти чудовищные факты изъ ея помѣщичьей практики и нѣчто совсѣмъ фантастическое объ ея семейной жизни. Говорили, напримѣръ, что она, еще будучи въ дѣвушкахъ, защипала до

смерти данную ей въ услуженіе дѣвчонку; что она находится замужемъ за покойникомъ и т. д. Отецъ избѣгалъ разговоровъ о ней, но матушка, которая вообще любила позлословить, называла ее не иначе, какъ тиранкой и распутницей. Вообще, и родные, и помѣщики-сосѣди чуждались Савельцевыхъ (фамилія тетеньки по мужу), такъ что они жили совершенно одни, всѣми оброшенные.

Разсказы эти передавались безъ малѣйшихъ прикрасъ и утаекъ, во всеуслышаніе, при дѣтяхъ, и, разумѣется, сильно дѣйствовали на дѣтское воображеніе. Я, напримѣръ, отъ роду не видавши тетеньки, представлялъ себѣ ее чѣмъ-то въ родѣ скелета (такую женщину я на картинкѣ въ книжкѣ видѣлъ), въ сѣро-пепельномъ хитонѣ, съ простертыми впередъ руками, концы которыхъ были вооружены острыми когтями вмѣсто пальцевъ, съ зіяющими впадинами вмѣсто глазъ и съ вьющимися на головѣ змѣями вмѣсто волосъ.

Но съ покупкой Заболотья обстоятельства измѣнились. Дѣло въ томъ, что тетенькино имѣніе, Овсецово, лежало какъ разъ на полпути отъ Малиновца къ Заболотью. А такъ какъ пряжка въ сорокъ слишкомъ верстъ для непривычныхъ лошадей была утомительна, то необходимость заставляла кормить на половинѣ дороги. Обыкновенно мы дѣлали привалъ на постояломъ дворѣ, стоявшемъ на берегу рѣки Вопли, наискосокъ отъ Овсецова; но матушка, съ своей обычной разсчетливостью, рѣшила, что чѣмъ изъяниться на постояломъ дворѣ *), выгоднѣе будетъ часа два-три посидѣть у сестрицы, которая, конечно, будетъ рада возобновленію родственныхъ отношеній и постарается удоволить дорогую гостью.

И вотъ, однажды—это было лѣтомъ—матушка собралась въ Заболотье и меня взяла съ собой. Это былъ нашъ первый (впрочемъ и послѣдній) визитъ къ Савельцевымъ. Я помню, любопытство такъ сильно волновало меня, что мнѣ буквально не сидѣлось на мѣстѣ. Воображеніе работало, рисуя заранѣе уже созданный образъ фуріи, грозно выступающей намъ на-встрѣчу. Матушка тоже безпрестанно колебалась и переговаривалась съ горничной Агашей.

— Заѣзжать, что-ли?

— Это какъ вамъ, сударыня, будетъ угодно.

— Еще не приметъ, пожалуй!

— Какъ не принять... помилуйте! даже съ радостью!

Матушка задумывалась на минуту въ нерѣшимости, и потомъ продолжала:

— Чай, и Ѳомку своего покажетъ!

---

*) О томъ, какъ великъ былъ этотъ изъянъ, можно судить по слѣдующему разсчету: пудъ сѣна лошадямъ (овесъ былъ свой)—20 коп.; завтракъ кучеру и лакею—30 коп; самоваръ и кринка молока — 30 коп. Господа кушали свое, домашнее, и я какъ сейчасъ вижу синюю бумагу, въ которой была завязана жареная курица, нѣсколько пшеничныхъ колобушекъ съ запеченными яйцами и половина ситнаго хлѣба. Горничная питалась остатками отъ барской трапезы. За „постоялое" платилось только въ ненастье (около 20 коп.); въ вёдро же матушка располагалась отдохнуть въ огородѣ. Итого, восемьдесятъ копѣекъ, и въ крайнемъ случаѣ рубль на ассигнаціи!

— Можетъ, и посовѣстится. А впрочемъ, сказываютъ, онъ зáвсе съ барыней за однимъ столомъ обѣдаетъ...

— Ну, ладно, ѣдемъ!

Черезъ короткое время, однакожъ, рѣшимость оставляла матушку, и разговоръ возобновлялся на противоположную тему.

— Нѣтъ, ужъ что̀ срамиться,—говорила она, и, обращаясь къ кучеру, прибавляла:—ступай на постоялый дворъ!

Поэтому сердце мое сильно забилось, когда при поворотѣ въ Овсецово матушка крикнула кучеру:

— Въ Овсецово!

Экипажъ своротилъ съ большой дороги и покатился мягкимъ проселкомъ по направленію къ небольшому господскому дому, стоявшему въ глубинѣ двора, обнесеннаго тыномъ и обсаженнаго березками.

Дѣйствительно, насъ ожидало нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Дворъ былъ пустыненъ; рѣшетчатыя ворота заперты; за тыномъ не слышалось ни звука. Солнце палило такъ, что даже собака, привязанная у амбара, не залаяла, услышавъ насъ, а только лѣниво повернула морду въ нашу сторону.

Казалось, само Забвеніе поселилось здѣсь и покрыло своимъ пологомъ все живущее. Черезъ двѣ-три минуты однакожъ изъ-за угла дома вынырнула человѣческая фигура въ затрапезномъ сюртукѣ, остановилась, приложила руку къ глазамъ и на окрикъ нашъ:—„Анфиса Порфирьевна дома?“ — мгновенно скрылась. Потомъ съ дѣвичьяго крыльца выбѣжала женщина въ рваномъ сарафанѣ, и тоже скрылась. Наконецъ, сквозь рѣшетчатыя ворота мы увидѣли начавшееся въ домѣ движеніе, бѣготню. Отворилось парадное крыльцо, и изъ него выбѣжалъ босоногій подростокъ въ нанковомъ казакинѣ, который и отворилъ намъ ворота.

Тетенька уже стояла на крыльцѣ, когда мы подъѣхали. Это была преждевременно одряхлѣвшая, костлявая и почти беззубая старуха съ морщинистымъ лицомъ и сѣдыми космами на головѣ, развѣвавшимися по вѣтру. Моему настроенному воображенію представилось, что въ этихъ космахъ шевелятся змѣи. Къ довершенію всего, на ней былъ надѣтъ старый-старый ситцевый балахонъ сѣро-пепельнаго цвѣта, точь-въ-точь какъ на картинкѣ.

— Ахъ, родные мои! ахъ, благодѣтели! вспомнила-таки про старуху, сударушка!—дребезжащимъ голосомъ привѣтствовала она насъ, протягивая руки, чтобы обнять матушку:—чай, на полпути въ Заболотье... все-таки дешевле, чѣмъ на постояломъ кормиться. Слышала, сударушка, слышала! Купила ты ко̀ко съ со̀комъ... Ну, да и молодецъ же ты! Лёгко ли дѣло, сама-одна какое дѣло сварганила! Милости просимъ въ горницы! спасибо, сударка, что хоть ненарокомъ да вспомнила.

Покуда тетенька безпорядочно и не безъ ироніи произносила свое привѣтствіе, я со страхомъ ждалъ своей очереди.

— И мальца съ собой привезла... ну, обрадовала! Это который?—обратилась она ко мнѣ и, взявъ меня за плечи, поцѣловала тонкими, запекшимися губами.

— Осьмой... да дома еще остался...

— Девятый... Ай да молодецъ братъ Василій! Седьмой десятокъ, а поди

еще какъ проказничаетъ! Того гляди, и десятый недалеко... Ну, дай тебѣ Богъ, сударыня, дай Богъ! Постой-ка, постой, душенька, дай посмотрѣть, на кого ты похожъ! Ну, такъ и есть, на братца Василья Порфирьича, точка въ точку вылитый въ него!

Она поворачивала меня къ свѣту и осматривала со всѣхъ сторонъ.

Я долженъ сказать, что такого рода балагурство было мнѣ не въ диковинку. И въ нашемъ домѣ, и у сосѣдей, къ женской чести относились не особенно осторожно. Сосѣди и сосѣдки клепали другъ на друга почти шутя. Была ли хоть искра правдоподобія въ этихъ поклепахъ—объ этомъ никто не думалъ. Они составляли какъ бы круговую поруку и въ то же время были единственнымъ общедоступнымъ предметомъ собесѣдованій, которому, и въ гостяхъ, и у семейнаго очага, съ одинаковой страстью посвящали свои досуги и кавалеры, и дамы, въ особенности же послѣднія. Я лично почти не понималъ, въ чемъ заключается суть этого балагурства, но слова уже настолько прислушались, что я не поражался ими.

Матушка однакожъ поняла, что попала въ ловушку, и что ей не ускользнуть отъ подлыхъ намековъ въ продолженіе всѣхъ двухъ-трехъ часовъ, покуда будутъ кормиться лошади. Поэтому она, еще не входя въ комнаты, начала уже торопиться, и приказала, чтобъ лошадей не откладывали. Но тетенька и слышать не хотѣла о скоромъ отъѣздѣ дорогихъ родныхъ.

— Ахъ-ахъ-ахъ! да никакъ ты на меня обидѣлась, сударка!—воскликнула она:—и не думай уѣзжать—не пущу! вѣдь я, мой другъ, ежели и сказала что̀, такъ спроста!.. Та̀къ вотъ... Проста я, куда какъ проста нынче стала! Иногда чего и на умѣ нѣтъ, а я все говорю, все говорю! Изволь-ка, изволь-ка въ горницы идти—безъ хлѣба-соли не отпущу, и не думай! А ты, малецъ,—обратилась она ко мнѣ:—погуляй, ягодокъ въ огородѣ пощипли, покуда мы съ маменькой побесѣдуемъ! Ахъ, родные мои! ахъ, благодѣтели! сколько лѣтъ, сколько зимъ!

Дѣлать нечего, пришлось оставаться. Я, разумѣется, съ радостью поспѣшилъ воспользоваться даннымъ мнѣ отпускомъ, и въ нѣсколько прыжковъ ужъ очутился на дворѣ.

Дворъ былъ пустыненъ по-прежнему. Обнесенный кругомъ частоколомъ, онъ придавалъ усадьбѣ характеръ острога. Съ одного краю, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ дома, виднѣлись хозяйственныя постройки: конюшни, скотный дворъ, людскія и проч., но и тамъ не слышно было никакого движенія, потому что скотъ былъ въ стадѣ, а дворовые на барщинѣ. Только вдали, за службами, бѣжалъ, по направленію къ полю, во всю прыть мальчишка, котораго вѣроятно послали на сѣнокосъ за прислугой.

Въ дѣтствѣ я очень любилъ все, что̀ относилось до хозяйства, а потому и въ настоящемъ случаѣ прежде всего отправился къ службамъ. Требовалось сравнить, все ли тутъ такъ же прочно, солидно и просторно, какъ у насъ, въ Малиновцѣ; какъ устроены стойла для лошадей, много ли стоитъ жеребцовъ, которыхъ въ стадо не гоняютъ, а держатъ постоянно на сухомъ корму; обширенъ ли скотный дворъ; похожа ли Савельцевская кухарка въ застольной на нашу кухарку Василису и т. д. Сверхъ того, я видѣлъ, что у воротъ коннаго двора стоитъ наша коляска съ поднятымъ фордекомъ, и около

нея сидитъ нашъ кучеръ Алемпій, пускаетъ дымъ изъ трубки-носогрѣйки и разговариваетъ съ сгорбленнымъ старикомъ въ синемъ, вылинявшемъ отъ употребленія, крашенинномъ сюртукѣ. Навѣрное, думалось мнѣ, они ведутъ рѣчь о лошадяхъ, и Алемпій хвалится нашимъ небольшимъ конскимъ заводомъ, который и меня всегда интересовалъ. Но по мѣрѣ того, какъ я приближался къ службамъ, до слуха моего доносились сдерживаемые стоны, которые сразу возстановили въ моемъ воображеніи всю послѣдовательность разсказовъ изъ тетенькиной крѣпостной практики. Черезъ нѣсколько секундъ я былъ уже на мѣстѣ.

Дѣйствительность, представившаяся моимъ глазамъ, была по истинѣ ужасна. Я съ дѣтства привыкъ къ грубымъ формамъ помѣщичьяго произвола, который выражался въ нашемъ домѣ въ формѣ сквернословія, пощечинъ, зуботычинъ и т. д.,—привыкъ до того, что онѣ почти не трогали меня. Но до истязанія у насъ не доходило. Тутъ же я увидалъ картину такого возмутительнаго свойства, что на минуту остановился какъ вкопанный, не вѣря глазамъ своимъ.

У конюшни, на кучѣ навоза, привязанная локтями къ столбу, стояла дѣвочка лѣтъ двѣнадцати и рвалась во всѣ стороны. Былъ уже часъ второй дня; солнце такъ и обливало несчастную своими лучами. Рои мухъ поднимались изъ навозной жижи, вились надъ ея головой и облѣпляли ея воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По мѣстамъ образовались уже небольшія раны, изъ которыхъ сочилась сукровица. Дѣвочка терзалась, а тутъ же, въ двухъ шагахъ отъ нея, преспокойно гуторили два старика, какъ будто ничего необыкновеннаго въ ихъ глазахъ не происходило.

Я самъ стоялъ въ нерѣшимости передъ смутнымъ ожиданіемъ отвѣтственности за непрошенное вмѣшательство, — до такой степени крѣпостная дисциплина смиряла даже въ дѣтяхъ человѣческіе порывы. Однакожъ сердце мое не выдержало, я тихонько подкрался къ столбу и протянулъ руки, чтобы развязать веревки.

— Не тронь... тетенька забранитъ... хуже будетъ! — остановила меня дѣвочка:—вотъ лицо фартукомъ оботри... Баринъ!... миленькій!

И въ то же время сзади меня раздался старческій голосъ:

— Не суйся не въ свое дѣло, пащёнокъ! И тебя къ столбу тетенька привяжетъ!

Это говорилъ Алемпіевъ собесѣдникъ. При этихъ словахъ во мнѣ совершилось нѣчто постыдное. Я мгновенно забылъ о дѣвочкѣ и съ поднятыми кулаками, съ словами: „молчать, подлый халуй!“—бросился къ старику. Я не помню, чтобы со мной случался когда-либо такой припадокъ гнѣва, и чтобы онъ выражался въ такихъ формахъ, но очевидно, что крѣпостная практика уже свила во мнѣ прочное гнѣздо и ожидала только случая, чтобы всплыть наружу.

Старикъ, въ свою очередь, замахнулся на меня, и кто знаетъ, что̀ бы тутъ произошло, еслибы Алемпій не вступился за меня.

— Что̀ вы! что̀ вы, сударь!—успокоивалъ онъ меня: — вѣдь это баринъ... Маменька гнѣваться будутъ...

А остервенившійся старикъ въ то же время кричалъ:

— Я не халуй, а твой дядя, вотъ я кто! Я тебя...

Не дослушавъ дальнѣйшихъ угрозъ, я опрометью побѣжалъ въ домъ. Дорогой мнѣ казалось, что передо мной встало привидѣніе и преслѣдовало меня по пятамъ.

Въ залѣ ужъ накрывали на столъ; въ гостиной добрыя родственницы дружелюбно бесѣдовали.

Безпорядочно, прерывая разсказъ слезами, я передалъ мои жалобы матушкѣ, упомянувъ и о несчастной дѣвочкѣ, привязанной къ столбу, и о какомъ-то лакеѣ, осмѣлившемся назвать себя моимъ дядей; но, къ удивленію, матушка выслушала мой разсказъ морщась, а тетенька совершенно равнодушно сказала:

— Это онъ, видно, моего „покойничка" видѣлъ!—И затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, прибавила:—А тебѣ, мой другъ, не слѣдовало не въ свое дѣло вмѣшиваться. Въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ. Дѣвчонка провинилась, и я ее наказала. Она моя, и я что хочу, то съ ней и дѣлаю. Такъ-то.

А матушка прибавила:

— Разумѣется. Ты у тетеньки въ гостяхъ, и, стало-быть, долженъ вести себя прилично. Не слѣдъ тебѣ по конюшнямъ бѣгать. Сидѣлъ бы съ нами, или въ саду бы погулялъ, ничего бы и не было. И впередъ этого никогда не дѣлай. Тетенька слишкомъ добра, а я на ея мѣстѣ поставила бы тебя на колѣнки, и дѣло съ концомъ. И я бы не заступилась, а сказала бы: за дѣло!

Къ счастію, тетенька не только не поставила меня на колѣнки, но на этотъ разъ рѣшилась быть доброю, кликнула дѣвку и приказала отпустить наказанную.

— Признаться сказать, я и забыла про Наташку,—сказала она.—Не слѣдовало бы дѣвчонку баловать, ну да ужъ, для дорогихъ гостей, такъ и быть; пускай за племянничка Бога молитъ. Ахъ, трудно мнѣ съ ними, сестрица, справляться! Народъ все сорванецъ—долго ли до грѣха!

— Долго ли!—подтвердила и матушка.—Ну, а твой „покойничекъ", сестрица... живъ и здоровъ?

— Что ему, псу несытому, дѣлается! ѣстъ да пьетъ, ѣстъ да пьетъ! Только что онъ мнѣ однѣми взятками стоитъ... ахъ, распостылый! Весь земскій судъ, по его милости, на свой счетъ содержу... Смерти на него нѣтъ! Умеръ бы, и дѣло бы съ концомъ!

— А не буйствуетъ онъ?

— Нѣтъ, смирился. Насчетъ этого пожаловаться не могу, благородно себя ведетъ. Ну, да вѣдь, мать моя, со мною не много поговоритъ. Я сейчасъ локти къ лопаткамъ, да и къ исправнику... Проявился, молъ, бродяга, мужемъ моимъ себя называетъ... Дѣлайте съ нимъ что хотите, а онъ мнѣ ненадобенъ!

— А отвѣчать не боишься?

— Отвѣчать-то? Да тутъ всѣ въ отвѣтѣ, и не разберешь. Я и то иногда подумываю: одинъ конецъ! возьму да сошлю его въ Сибирь... Онъ вѣдь по ревизіи въ дворовыхъ у меня числится, и будь хошь исправникъ, хошь раз-

исправникъ, а долженъ будетъ сдѣлать по моему! Въ ту пору у насъ, случилось, столяръ Потапка померъ, такъ его подъ именемъ болярина Савельцева схоронили, а моего-то сокола, чтобъ солдатства миновать, дворовымъ человѣкомъ Потапомъ Семеновымъ окрестили. Стало-быть, я теперь что̀ хочу, то̀ съ нимъ и дѣлаю! Ахъ, да проста я нынче стала, куда проста! Подумаю, подумаю: ну, непремѣнно, какъ святъ Богъ, его, поганца, сошлю! а потомъ и жалко станетъ! Лёгко ли дѣло! Невступно двадцать лѣтъ подъячіе около меня кормятся, словно мушиный рой такъ и жужжатъ... Въ раззоръ разорили, хоть по міру ступай! И хозяйство немило, потому что̀ ни продамъ, что̀ ни получу—все на на нихъ, каторжныхъ, уходитъ! Да не хочется ли тебѣ посмотрѣть на чудушку-то моего?..

— Нѣтъ, что̀ ужъ! Христосъ съ нимъ... А хорошенькое у тебя, сестрица имѣньице, кругленькое.. Ѣхала я мимо озимаго... ахъ, хороша родилась рожь! Будешь съ хлѣбцемъ нынѣшній годъ!

Дальнѣйшій разговоръ свернулъ на хозяйственныя темы, которыя вѣроятно служили ему содержаніемъ и тогда, когда я своимъ неожиданнымъ появленіемъ прервалъ его. Я узналъ, что у тетеньки своихъ сорокъ душъ; да̀ мужниныхъ восемьдесятъ она какъ-то съумѣла на свое имя перевести. Имѣніе мужа выгоднѣе, потому что тамъ люди поголовно поверстаны въ дворовые, работаютъ на барщинѣ ежедневно, а она своихъ крестьянъ не успѣла въ дворовые перечислить, предводитель препятствовалъ, пригрозилъ дѣло завести. И земли у нея довольно, и лѣсокъ есть; всѣмъ было бы хорошо, кабы не донимали подъячіе.

— А все изъ-за него, изъ-за постылаго! Разорилъ меня подлый человѣкъ, не беретъ его смерть, да и вся недолга! — безпрестанно прибавляла тетенька, прерывая свой разсказъ.

Наконецъ, около половины третьяго насъ позвали обѣдать. Войдя въ залу, мы застали тамъ громаднаго роста малаго, лѣтъ подъ-тридцать, широкоплечаго, съ угреватымъ широкимъ лицомъ, маленькими, чуть-чуть видными глазами и густою гривой волосъ на головѣ. Онъ былъ одѣтъ въ свѣтло-зеленый казинетовый казакинъ, на-глухо застегнутый на крючки, сквозь которые была продернута серебряная цѣпочка съ часами, которые онъ безпрестанно вынималъ. На заплывшемъ лицѣ его написано было тупое самодовольство и неизреченная животненная плотоядность. Онъ ловко расшаркнулся передъ матушкой и подошелъ ей къ ручкѣ.

— А это мой Ѳомушка! — рекомендовала его тетенька: — только онъ одинъ и помогаетъ мнѣ. Не знаю, какъ бы я и справилась безъ него съ здѣшней вольницей!

Матушка чуть-чуть сконфузилась, но не отняла руки, и даже поцѣловала Ѳомушку въ лобъ, какъ этого требовалъ тогдашній этикетъ.

— Сестрица ржи наши хвалитъ,—обратилась тетенька къ Ѳомушкѣ:— поблагодари ее!—Ѳомушка снова расшаркался.—Вотъ бы тебѣ, сударка, такого же Ѳомушку найти! Ужъ такой слуга! такой слуга! на рѣдкость!

Я не помню, какъ прошелъ обѣдъ; помню только, что кушанья были сытныя и изготовленныя изъ свѣжей провизіи. Такъ какъ Савельцевы жили всѣми оброшенные и никогда не ждали гостей, то у нихъ не хранилось на

погребѣ парадныхъ блюдъ, захватанныхъ лакейскими пальцами, и обѣдъ всякій день готовился незатѣйливый, но свѣжій.

Тетенька, повидимому, была не скупа и усердно, даже съ нѣкоторою назойливостью, насъ потчивала.

— Кушай, кушай!—понуждала она меня:—ишь вѣдь ты какой худой! Въ Малиновцѣ-то, видно, не слишкомъ подкармливаютъ. Знаю я ваши обычаи! Кушай на здоровье! Будешь больше кушать, и наука пойдетъ спорѣе...

И затѣмъ, обращаясь къ матушкѣ, продолжала:—А ты, сударыня, что̀ по сторонамъ смотришь... кушай! Заѣхала, такъ не накормивши не отпущу! Знаю я, какъ ты дома изъ третьеводнишнихъ остатковъ соусы выкраиваешь... слышала! Я хоть и въ углу сижу, а все знаю, что̀ на свѣтѣ дѣлается! Вотъ нагряну когда-нибудь къ вамъ, посмотрю, ка̀къ вы тамъ живете... богатѣи! Что̀? испугалась!

Матушка, дѣйствительно, нѣсколько измѣнилась въ лицѣ при одной перспективѣ будущаго визита Анфисы Порфирьевны. Тутъ только, повидимому, она окончательно убѣдилась, какую сдѣлала ошибку, заѣхавши въ Овсецово.

— Ну, ну... не пугайся! небось, не пріѣду! Куда мнѣ, оглашенной, къ большимъ барамъ ѣздить... проживу и одна!—шутила тетенька, видя матушкино смущеніе:—живемъ мы здѣсь съ Ѳомушкой въ уголку, тихохонько, смирнѣхонько, ничего намъ не надобно! Гостей не зовемъ, и сами въ гости не ѣздимъ... некуда! А коли ненарокомъ вспомнятъ добрые люди, милости просимъ! Вотъ только жеманницъ смерть не люблю, прошу извинить.

Но въ особенности понуждала она Ѳомушку:

— Ѣшь, Ѳомушка, ѣшь! Вишь ты какой кряжъ выросъ! есть куда хлѣбъ-соль класть! Ѣшь!

На что̀ Ѳомушка неизмѣнно, слегка поглаживая себя по животу, отвѣчалъ:

— Наѣлся-съ; не въ моготу-съ!

И таинственнымъ урчаніемъ подтверждалъ свой отвѣтъ.

— Ѣшьте, сударики, ѣшьте!—не умолкала тетенька.—Ты бы, сестрица, небось, на постояломъ курицу черствую глодала, такъ ужъ, по крайности, хоть то̀ у тебя въ барышахъ, что пріѣдешь ужо̀ вечеромъ въ Заболотье, — анъ курица-то на ужинъ пригодится!..

Тетушка задержала насъ до пятаго часа. Напрасно отпрашивалась матушка, ссылаясь, что лошади давно уже стоятъ у крыльца; напрасно указывала она на черную полосу, выглянувшую на краю горизонта и обѣщавшую черную тучу прямо на-встрѣчу намъ. Анфиса Порфирьевна упорно стояла на своемъ. Послѣ обѣда, который подавался чрезвычайно медлительно, послѣдовалъ кофей; потомъ надо было по родственному побесѣдовать—наѣлись, напились, да сейчасъ ужъ и ѣхать! — потомъ посидѣть на дорожку, потомъ Богу помолиться, перецѣловаться...

— И куда ты только торопишься!—уговаривала тетенька:—успѣешь еще насидѣться въ своемъ ненаглядномъ Заболотьѣ! А знаешь ли что̀! кабы мое было это Заболотье, ужъ я бы... Не посмотрѣла бы я, что тамъ мужики въ синихъ кафтанахъ ходятъ, а бабы въ штофныхъ тѣлогрѣяхъ... я бы... Вотъ землицы тамъ мало, нѐ у чего людей занять,—ну, да я бы нашла за-

нятіе... А впрочемъ, что̀ мнѣ тебя учить: ученаго учить — только портить. Догадаешься и сама. Малиновецъ-то, покуда братецъ съ сестрицами распоряжались, грошъ давалъ, а теперь—золотое дно! Умница ты, это всякій скажетъ! Намеднись Аггей пріѣзжалъ, яйца скупалъ, тальки, полотна,—спрашиваю его: куда отсюда поѣдешь? — Къ „министеру", говоритъ. Это онъ тебя министеромъ называетъ. Да и подлинно — министеръ! Лёгко ли дѣло! Какую махинищу купила задаромъ. Чай, оброки-то ужъ набавила?

— Нѣтъ еще покуда!

— Набавляй, сударка, набавляй! Нечего на нихъ, на синекафтанниковъ, смотрѣть! Чѣмъ больше ихъ стрижешь, тѣмъ больше они обростаютъ! Набавляй!

Насилу мы убрались. Версты двѣ ѣхала матушка молча, словно боялась, что тетенька услышитъ ея рѣчи, но наконецъ разговорилась.

— Ѳомку видѣла?—спросила она Агашу.

— Какъ же, сударыня! Въ дѣвичью передъ обѣдомъ приходилъ, посидѣлъ.

— Какова халда! За однимъ столомъ съ холопомъ обѣдать меня усадила! Да еще что̀!.. „Вотъ, говоритъ, кабы и тебѣ такого Ѳомушку"... Нѣтъ ужъ, Анфиса Порфирьевна, покорно прошу извинить! калачомъ меня къ себѣ впередъ не заманите...

— Мнѣ что̀, сударыня, сказывали. Сидитъ будто этотъ Ѳомка за столомъ съ барыней, а стараго барина, покойника-то, у Ѳомки за стуломъ съ тарелкой заставятъ стоять...

— Неужто?

— Истинную правду говорю. А то начнутъ комедіи представлять. Поставятъ стараго барина на колѣни и заставятъ „барыню" пѣть. Онъ: „сударыня барыня, пожалуйте ручку!" а она: „прочь, прочь отойди, ручки не достойный!" Да рукой-то въ зубы... А Ѳомка качается на стулѣ, разливается, хохочетъ...

— Вотъ такъ змѣя!

— Нехорошо у нихъ; даже мнѣ, рабѣ, страмно показалось. Ходитъ этотъ Ѳомка по двору, скверными словами ругается, кричитъ... А что̀, сударыня, слышала я, будто онъ—ихній сынъ?

— Сынъ ли, другой ли кто—не разберешь. Только ужъ слуга покорная! По ночамъ въ Заболотье буду ѣздить, чтобъ не заглядывать къ этой вѣдьмѣ. Ну, а ты какую еще тамъ дѣвчонку у столба видѣлъ? сказывай!—обратилась матушка ко мнѣ.

Я разсказалъ; Агаша, съ своей стороны, подтвердила мой разсказъ.

— Прибѣжала она въ дѣвичью, какъ полоумная, схватила корку хлѣба... мѣста живого на лицѣ нѣтъ!

— Есть же на свѣтѣ...—молвила матушка, выслушавъ меня, и, не докончивъ фразы, задумалась.

Можетъ быть, въ памяти ея мелькнуло нѣчто подходящее изъ ея собственной помѣщичьей практики. То-есть, не въ точномъ смыслѣ истязаніе, но нѣчто такое, что грубыми своими формами тоже нерѣдко переходило въ безчеловѣчность.

Но, помолчавъ немного, матушка слегка зѣвнула, перекрестила ротъ и успокоилась. Вѣроятно ей вспомнилась мудрая пословица: не нами началось, не нами и кончится... И достаточно.

Цѣлыхъ шесть верстъ мы ѣхали волокомъ, зыбучими песками, между двухъ стѣнъ высокихъ сосенъ. По лѣсу гулко разносился трескъ, производимый колесами нашего грузнаго экипажа. Лошади, преслѣдуемыя цѣлой тучей оводовъ, шли шагомъ, таща коляску въ упоръ, такъ что на переѣздъ этихъ шести верстъ потребовалось больше часа. Узкая полоса неба, виднѣвшаяся сквозь лѣсную чащу, блестѣла яркою синевою, хотя вдали уже погромыхивалъ громъ. Несмотря на то, что было около шести часовъ, въ воздухѣ стояла невыносимая духота отъ зноя и пыли, вздымаемой копытами лошадей.

Но когда мы выѣхали изъ лѣсу, картина измѣнилась. Туча уже расползлась, и черная, грозная, медленно двигалась прямо на насъ. Въ воздухѣ почуялась свѣжесть; по дорогѣ вились крутящіеся вѣтерки, которые обыкновенно предшествуютъ грозѣ. Между тѣмъ до Заболотья оставалось еще не меньше двѣнадцати верстъ. Правда, что дорога тутъ шла твердымъ грунтомъ (за исключеніемъ двухъ-трехъ небольшихъ болотцевъ съ проложенными по нимъ изуродованными гатями), но встарину помѣщики берегли лошадей и ѣздили медленно, не больше семи верстъ въ часъ, такъ что на переѣздъ предстояло не менѣе полутора часа. Матушка серьезно обезпокоилась.

— Погоняй! погоняй! —крикнула она кучеру.

— Все равно не миновать,— отвѣтилъ тотъ равнодушно.

— Нѣтъ, погоняй, погоняй!

Подняли у коляски фордекъ, и лошади побѣжали рысью. Мы миновали нѣсколько деревень, и матушка неоднократно покушалась остановиться, чтобы переждать грозу. Но всякій разъ надежда: авось пройдетъ! — ободряла ее. Сколько брани вылилось тутъ на голову тетеньки Анфисы Порфирьевны — этого ни въ сказкахъ сказать, ни перомъ описать.

Но какъ ни усердствовалъ Алемпій, мы не миновали своей участи. Сначала раздались страшные удары грома, какъ будто прямо надъ нашими головами, сопровождаемые молніей, а за двѣ версты отъ Заболотья разразился настоящій ливень.

— Погоняй!—кричала матушка въ безотчетномъ страхѣ.

На этотъ разъ лошадей погнали вскачь, и минутъ черезъ десять мы уже были въ Заболотьѣ. Оно предстало передъ нами въ видѣ безпорядочной черной кучи, задернутой дождевою сѣтью.

Тетенькины слова сбылись: жареная курица пригодилась на ужинъ. Мы уже успѣли настолько проголодаться, что я даже не знаю, досталось ли что̀ Агашѣ, кромѣ чернаго хлѣба.

Здѣсь, я полагаю, будетъ умѣстно разсказать тетенькину исторію, чтобы объяснить тѣ загадочности, которыми полна была ея жизнь. Причемъ нелишнимъ считаю напомнить, что все описываемое ниже происходило еще въ первой четверти нынѣшняго столѣтія, даже почти въ самомъ началѣ его.

Какъ я упомянулъ выше, Анфиса Порфирьевна была младшая изъ до-

черей дѣдушки Порфирія Васильича и бабушки Надежды Гавриловны. Въ семьѣ она была нелюбима за свою необыкновенную злобность, такъ что ее называли не иначе, какъ „Фиска-змѣя“. Подъ этимъ названіемъ извѣстна она была и во всемъ околоткѣ. Благодаря этой репутаціи, она просидѣла въ дѣвкахъ до тридцати лѣтъ, несмотря на то, что отецъ и мать, чтобъ сбыть ее съ рукъ, сулили за ней приданое сравнительно болѣе цѣнное, нежели за другими дочерьми. А именно то самое Овсецово, съ которымъ я только-что познакомилъ читателя.

Но въ зрѣлыхъ лѣтахъ Богъ послалъ ей судьбу въ лицѣ штабсъ-капитана Николая Абрамыча Савельцева.

Усадьба Савельцевыхъ, Щучья-Заводь, находилась, на берегу рѣки Вопли, какъ разъ напротивъ Овсецова. Имѣніе было небольшое, всего восемьдесятъ душъ, и управлялъ имъ старикъ Абрамъ Семенычъ Савельцевъ, единственный сынъ котораго служилъ въ полку. Старикъ былъ скупъ, велъ уединенную жизнь, ни самъ ни къ кому не ѣздилъ, ни къ себѣ не принималъ. Жестокимъ его нельзя было назвать, но онъ былъ необыкновенно изобрѣтателенъ на выдумки по части отягощенія крестьянъ (про него говорили, что онъ не мучитъ, а тягоситъ). Хотя земли у него было немного, всего десятинъ пятьсотъ (тутъ и лѣску, и болотца, и песочку), но онъ какъ-то ухитрялся отыскивать „занятія“, такъ что крестьяне его почти не сходили съ барщины. За то земля была отлично обработана, и отъ восьмидесяти душъ старикъ жилъ безъ нужды и даже, по слухамъ, успѣлъ скопить хорошій капиталецъ.

Пользуясь безконтрольностью помѣщичьей власти, чтобъ „тягоситъ“ крестьянъ, Абрамъ Семенычъ въ то же время былъ до омерзительности мелоченъ и блудливъ. Воровалъ по ночамъ у крестьянъ въ огородахъ овощи, загонялъ крестьянскихъ куръ, заставлялъ подручныхъ украдкой стричь крестьянскихъ овецъ, выдаивать коровъ и т. д. Случалось, что крестьяне ловили его съ поличнымъ, а ночью даже слегка бивали, но онъ на это не претендовалъ. Иногда, когда ужъ приставали черезчуръ вплотную, возвращалъ похищенное— „ну, нà! жри! заткни глотку“,—а на завтра опять принимался за прежнее. Полегоньку скапливалъ онъ сокровище, ничѣмъ не брезгуя и не обижаясь, что сосѣди гнушались имъ.

Но мало-по-малу отъ мелочей онъ перешелъ и къ крупнымъ затѣямъ. Воспользовавшись одною изъ народныхъ переписей, онъ всѣхъ крестьянъ перечислилъ въ дворовые. Затѣмъ отобралъ у нихъ избы, скотъ и землю, выстроилъ о-бокъ съ усадьбой просторную казарму и поселилъ въ ней новоиспеченныхъ дворовыхъ. Все это совершилось исподишка и такъ внезапно, что никто и не ахнулъ. Крестьяне вздумали-было жаловаться и даже отказывались работать, но очень скоро были усмирены простыми полицейскими мѣрами. Сосѣди не то иронически, не то съ завистью говорили: „вотъ такъ молодецъ! какую штуку удралъ!“ Но никто пальцемъ объ палецъ не ударилъ, чтобъ помочь крестьянамъ, ссылаясь на то, что подобныя операціи закономъ не воспрещались.

Съ тѣхъ поръ въ Щучьей-Заводи началась настоящая каторга. Все время дворовыхъ, весь день, съ утра до ночи, безраздѣльно принадлежалъ барину. Даже въ праздники старикъ находилъ занятія около усадьбы, но за то

кормилъ и одѣвалъ ихъ—какъ? это вопросъ особый и заставлялъ по воскресеньямъ ходить къ обѣднѣ. На послѣднемъ онъ въ особенности настаивалъ, желая себя выказать, въ глазахъ начальства, христіаниномъ и благопопечительнымъ помѣщикомъ.

Хозяйство Савельцевыхъ окончательно процвѣло. Обездоливъ крестьянъ, старикъ обработывалъ уже значительное количество земли, и доходы его росли съ каждымъ годомъ. Смотря на него, и сосѣди стали задумываться, а многіе начали даже ѣздить къ нему подъ предлогомъ поучиться, а въ сущности въ надеждѣ занять денегъ. Но Абрамъ Семенычъ, несмотря на предлагаемый высокій процентъ, на-отрѣзъ всѣмъ отказывалъ.

— Какіе, братикъ-сударикъ, у нищаго деньги!—не говорилъ, а словно хныкалъ онъ:—самъ еле-еле душу спасаю, да сына вотъ въ полку содержу. И мужичковъ своихъ вынужденъ былъ въ дворовые наверстать, а почему? —потому что нужда заставила, жить туго приходилось. Развѣ я не понимаю, что имъ, бѣдненькимъ, несладко, въ казармѣ запершись, сидѣть, да ничего не подѣлаешь. Своя рубашка къ тѣлу ближе. Теперь у меня и ржица залишняя есть, и овсеца найдется. Продамъ — вотъ на чай съ сахаромъ и будетъ... Дворянинъ-съ; безъ чаю тоже стыдно! Такъ-то, братикъ-сударикъ!

Въ довершеніе Савельцевъ былъ сластолюбивъ и содержалъ у себя цѣлый гаремъ, во главѣ котораго состояла дебелая, кровь съ молокомъ, лѣтъ подъ-тридцать экономка Улита, мужняя жена, которую старикъ оттягалъ у собственнаго мужика.

Улита домовничала въ Щучьей-Заводи и имѣла на барина огромное вліяніе. Носились слухи, что и стариковы деньги, въ видѣ ломбардныхъ билетовъ, на имя неизвѣстнаго, переходятъ къ ней. Тѣмъ не менѣе, вольной онъ ей не давалъ — боялся, что она броситъ его, — а выпустилъ на волю двоихъ ея сыновей-подростковъ и помѣстилъ ихъ въ ученье въ Москву.

Съ сыномъ онъ жилъ не въ ладахъ и помогалъ ему очень скупо. Съ своей стороны, и сынъ отвѣчалъ ему полною холодностью и въ особенности точилъ зубы на Улиту.

— Придетъ и мое времечко: я изъ нея кровь выпью, жилы повытяну! —грозился онъ заранѣе.

Николай Савельцевъ пользовался въ полку нехорошей репутаціей. Онъ принадлежалъ къ той породѣ людей, про которыхъ говорятъ: звѣри! Была безъ мѣры жестокъ съ солдатами, и что всего важнѣе —жестокость его не имѣлъ „воспитательнаго“ характера, а проявлялась совсѣмъ безпричинно. Въ то время, въ военной средѣ, суровое обращеніе не представлялось чѣмъ-нибудь ненормальнымъ; ручные побои, палка, шпицрутены такъ и сыпались градомъ, но требовалось, чтобы эти карательно-воспитательныя мѣры предпринимались съ толкомъ и „за дѣло“. Савельцевъ же увѣчилъ *безъ пути*. Сверхъ того, онъ не имѣлъ понятія объ офицерской чести. Напивался пьянъ и въ пьяномъ видѣ дебоширствовалъ; завѣдуя ротнымъ хозяйствомъ, людей содержалъ дурно и былъ нечистъ на руку. Встрѣчались, конечно, и другіе, которые въ этомъ смыслѣ не клали охулки на руку, но опять-таки они дѣлали это уменько, съ толкомъ (такой образъ дѣйствія встарину назывался „благоразумной экономіей“), а не безъ пути, какъ Савельцевъ.

Однажды зимой молодой Савельцевъ пріѣхалъ въ побывку къ отцу въ Щучью-Заводь. Осмотрѣлся съ недѣльку, и затѣмъ, узнавши, что по сосѣдству, въ семьѣ Затрапезныхъ, имѣется дѣвица-невѣста, которой предназначено въ приданое Овсецово, явился и въ Малиновецъ.

Несмотря на зазорную репутацію, предшествовавшую молодому сосѣду, и дѣдушка, и бабушка приняли его радушно. Они чутьемъ догадались, что онъ пріѣхалъ свататься, но вѣроятно надѣялись, что Фиска-змѣя не дастъ себя въ обиду, и не особенно тревожились доходившими до нихъ слухами о свирѣпомъ нравѣ жениха. Дѣдушка даже счелъ приличнымъ предупредить молодого человѣка.

— Ты смотри въ оба!—сказалъ онъ: — ты, сказываютъ, лихъ, да и она у насъ нѐщечко!

На что̀ Савельцевъ совершенно добродушно отвѣтилъ:

— Не безпокойтесь, будетъ шолковая!

А бабушка, съ своей стороны, въ томъ же духѣ предупреждала Фисочку.

— Смотри, Фиска! Ты лиха, а твой Николушка еще того лише. Какъ бы онъ подъ пьяную руку тебя не зарубилъ!

Но и Фисочка спокойно отвѣтила:

— Ничего, матушка, я на себя надѣюсь! упѐтается! по стрункѣ ходить будетъ!

Затѣмъ, поговоривши о томъ, кто кого лише, и кто кого прежде поѣдомъ съѣстъ, молодыхъ обручили, а мѣсяца черезъ полтора и повѣнчали. Савельцевъ увезъ жену въ полкъ, и начали молодые жить да поживать.

Года четыре, до самой смерти отца, водилъ Николай Абрамычъ жену за полкомъ; и какъ ни злонравна была сама по себѣ Анфиса Порфирьевна, но тутъ она впервые узнала, до чего можетъ доходить настоящая человѣческая свирѣпость. Мужъ ея оказался не истязателемъ, а палачемъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Съ утра пьяный и разъяренный, онъ способенъ былъ убить, засѣчь, зарыть ее живою въ могилу.

Въ качествѣ особы женскаго пола, она ждала совсѣмъ не того. Она думала, что дѣло ограничится щипками, тычками и бранью, на которые она и сама съумѣла бы отвѣтить. Но вышло нѣчто посерьезнѣе: въ перспективѣ ежеминутно мелькало увѣчье, а чего добраго и смерть. Къ тому же, до Савельцева дошло, что жена его еще въ дѣвушкахъ имѣла любовную исторію и даже будто бы родила сына. Это послужило исходнымъ пунктомъ для опредѣленія его будущихъ отношеній къ женѣ. Ни одинъ шагъ не проходилъ ей даромъ, ни одного дня не проходило безъ того, чтобы мужъ не билъ ее смертельнымъ боемъ. Случалось даже, что онъ призывалъ деньщика Семена, коренастаго и сильнаго инородца, и приказывалъ бить нагайкой полуобнаженную женщину. Не разъ Анфиса Порфирьевна, окровавленная, выбѣгала по ночамъ (когда по преимуществу производились экзекуціи надъ нею) на улицу, крича: караулъ; но ротный штабъ, во главѣ котораго стоялъ Савельцевъ, квартировалъ въ глухой деревнѣ, и на крики ея никто не обращалъ вниманія. Ей сдѣлалось страшно. Впереди не видѣлось ни помощи, ни конца мученіямъ; она смирилась.

Разумѣется, смирилась наружно, запечатлѣвая въ своей памяти всякую нанесенную обиду и смутно на что-то надѣясь. Мало-по-малу въ ея сердцѣ скопилась такая громадная жажда мести, которая, независимо отъ мужниныхъ истязаній, въ конецъ измучила ее. Съ одной стороны, она сознавала зыбкость своихъ надеждъ; съ другой, воображеніе такъ живо рисовало картины пытокъ и истязаній, которыя она обѣщала себѣ осуществить надъ мужемъ, какъ только случай развяжетъ ей руки, что она забывала ужасную дѣйствительность и всѣмъ существомъ своимъ переносилась въ вожделѣнное будущее. Кто знаетъ, что̀ можетъ случиться! Мужъ можетъ заболѣть: пьянство его можетъ кончиться параличемъ, который прикуетъ его къ одру, недвижимаго. безпомощнаго. Не разъ вѣдь бывало, что съ нимъ случались припадки, въ родѣ столбняка, изъ которыхъ впрочемъ выносливая его натура постоянно выходила побѣдительницею. Но, можетъ быть, наступитъ минута, когда припадки разрѣшатся чѣмъ-нибудь и болѣе серьезнымъ. И вот̀ъ тогда...

Во всякомъ случаѣ Савельцевъ былъ правъ, удостовѣряя дѣдушку, что Фиска будетъ шолковая. Она ужъ и не пыталась бороться съ мужемъ, а только старалась не попадаться ему на глаза, всячески угождая ему при случайныхъ встрѣчахъ и почти безвыходно проводя время на кухнѣ. Этимъ она, по крайней мѣрѣ, достигла того, что постепенно и мужъ началъ забывать о ней. Въ домѣ сдѣлалось тише, и сцены смертнаго боя повторялись рѣже. Быть можетъ, впрочемъ, Савельцевъ самъ струсилъ, потому что слухи о его обращеніи съ женою дошли до полкового начальства, и ему угрожало отнятіе роты, а пожалуй и исключеніе изъ службы.

Анфиса Порфирьевна слегка оживилась. Но по мѣрѣ того, какъ участь ея смягчалась, сердце все больше и больше разгоралось ненавистью. Сидя за обѣдомъ противъ мужа, она не спускала съ него глазъ и все думала и думала.

— Что̀ ты на меня глаза таращишь, вѣдьма проклятая?—кричалъ на нее мужъ, уловивъ ея загадочный взглядъ.

— Гляжу на тебя, ненагляднаго, — отвѣчала она, тихо посмѣиваясь.

Не разъ она рѣшалась „обкормить“ мужа, но, какъ и всѣ злонравные люди, трусила послѣдствій такого поступка. Вѣдь у всѣхъ ея жизнь была на виду, и, разумѣется, въ случаѣ внезапной смерти Савельцева, подозрѣнія прежде всего пали бы на нее.

— Изъ-за него, изъ-за постылаго, еще на каторгу, пожалуй, попадешь! —говорила она себѣ:—нѣтъ, нѣтъ! придетъ мой часъ, придетъ! Всякую нагайку, всякую плюху—все на немъ, злодѣѣ, вымещу!

Въ такомъ положеніи стояло дѣло, когда наступилъ конецъ скитаніямъ за полкомъ. Разладъ между отцомъ и сыномъ становился все глубже и глубже. Старикъ и прежде мало давалъ сыну денегъ, а подъ-конецъ и вовсе прекратилъ всякую денежную помощь, ссылаясь на недостатки. Сыну, собственно говоря, не было особенной нужды въ этой помощи, потому что ротное хозяйство не только съ избыткомъ обезпечивало его существованіе, но и давало возможность дѣлать сбереженія. Но онъ былъ жаденъ и негодовалъ на отца.

— Восемьдесятъ душъ—это восемьдесятъ хребтовъ-съ! — говаривалъ онъ: — ежели ихъ умѣючи нагайкой пошевелить, такъ тутъ только огребай! А онъ, видите ли, не можетъ родному дѣтищу удѣлить! Знаю я, знаю, куда

мои кровныя денежки уплываютъ... Улита Савишна у старика постельничаетъ, такъ вотъ ей... Ну, да мое времечко придетъ! Я изъ нея все до послѣдней копѣечки выколочу!

Наконецъ старикъ умеръ, и время Николая Савельцева пришло. Улита сейчасъ же послала гонца по мѣсту квартированія полка, въ одну изъ дальнихъ замосковныхъ губерній; но замѣчено было, что она наказала гонцу, проѣздомъ черезъ Москву, немедленно прислать въ Щучью-Заводь ея старшаго сына, которому было въ то время уже лѣтъ восемнадцать.

Сынъ дѣйствительно сейчасъ же пріѣхалъ, пробылъ у матери менѣе сутокъ и исчезъ обратно въ Москву. Этотъ эпизодъ, разумѣется, послужилъ подтвержденіемъ слуховъ о капиталахъ покойнаго Савельцева, будто бы переданныхъ Улитѣ.

Николай Абрамычъ тотчасъ же взялъ отпускъ и, какъ ураганъ, налетѣлъ на Щучью-Заводь, въ сопровожденіи своего наперсника, деньщика Семена. Выскочивъ изъ брички, онъ приказалъ встрѣтившей его на крыльцѣ Улитѣ подать самоваръ, и тотчасъ же распорядился, чтобъ созвали людей.

— А съ тобой, красавица, я раздѣлаюсь! — прибавилъ онъ, обращаясь къ бывшей домоправительницѣ отца.

Улита стояла ни жива, ни мертва. Она чуяла, что ее ждетъ что-то зловѣщее. За двѣ недѣли, прошедшія со времени смерти стараго барина, она изъ дебелой и цвѣтущей барской барыни превратилась въ обрюзглую бабу. Лицо осунулось, щеки впали, глаза потухли, руки и ноги тряслись. Повидимому она не поняла приказанія насчетъ самовара, и не двигалась...

— Что̀ стала? Самоваръ! Живо! я тебя научу поворачиваться! — зарычалъ Савельцевъ, изрыгая цѣлый потокъ непечатныхъ ругательствъ, и затѣмъ вырвалъ изъ рукъ деньщика нагайку и хлестнулъ ею по груди Улиты.

— Это тебѣ задаточекъ! — крикнулъ онъ ей вдогонку.

Чай Николай Абрамычъ пилъ съ ромомъ, по особой, какъ онъ выражался, Савельцевской, системѣ. Сначала нальетъ три четверти стакана чаю, а остальное дольетъ ромомъ; затѣмъ, отпивая глотокъ за глоткомъ, онъ подливалъ такое же количество рому, такъ что подъ-конецъ оказывался уже голый ямайскій напитокъ. Напившись такого чаю, Савельцевъ обыкновенно впадалъ въ полное бѣшенство.

Созвавши дворовыхъ, онъ потребовалъ, чтобъ ему указали, куда покойный отецъ пряталъ деньги. Но никто ничего не отвѣчалъ. Даже тѣ, которые нимало не сомнѣвались, что стариковы деньги перешли къ Улитѣ, не указали на нее. Тогда обшарили весь домъ и всѣ сундуки у дворовыхъ людей, даже навозъ на конномъ дворѣ перерыли, но денегъ не нашли, кромѣ двухъ сотъ рублей, которые старикъ отложилъ въ особый пакетъ съ надписью: „на поминъ души“.

— Сказывайте добромъ, гдѣ деньги? — рычалъ разъяренный Савельцевъ, грозя нагайкой.

Дворовые, блѣдные какъ смерть, стояли передъ нимъ и безмолвствовали.

— Что̀ молчите? сказывайте, куда покойникъ, царство ему небесное, пряталъ деньги? — настаивалъ помѣщикъ.

Дворовые продолжали молчать. Улита, понимая, что это только прелюдія, и что, въ сущности, дальнѣйшее развитіе надвигающейся трагедіи, безпощадное и неумолимое, всецѣло обрушится на нее, пошатывалась на мѣстѣ, словно обезумѣвшая.

— Не знаете?.. и кому онъ деньги передавалъ, тоже не знаете?—продолжалъ домогаться Савельцевъ.—Ладно, я вамъ ужо̀ развяжу языки, а теперь я съ дороги усталъ, отдохнуть хочу!

Онъ, шатаясь, пошелъ сквозь толпу народа къ крыльцу, раздавая направо и налѣво удары нагайкой, и наконецъ, стоя уже на крыльцѣ, обратился къ Улитѣ:

— А ты, сударка, будь въ надеждѣ. Завтра тебѣ судъ будетъ, а покуда ступай въ холодную.

На другой день, раннимъ утромъ, началась казнь. На дворѣ стояла уже глубокая осень, и Улиту, почти окостенѣвшую отъ ночи, проведенной въ „холодной", поставили передъ крыльцомъ, на одномъ изъ приступковъ котораго сидѣлъ баринъ, на этотъ разъ еще трезвый, и курилъ трубку. Въ виду крыльца, на мокрой травѣ была разостлана рогожа.

— Гдѣ отцовы деньги?—допрашивалъ Улиту Савельцевъ:—сказывай! прощу!

— Не видала денегъ! что̀ хотите дѣлайте... не видала!—чуть слышно, стуча зубами, отвѣчала Улита.

— Такъ не видала? Нагайками ее! двѣсти! триста! — крикнулъ Савельцевъ деньщику, постепенно свирѣпѣя.

Улиту раздѣли, и обнаженную, въ виду собраннаго народа, разложили на рогожѣ. Семенъ засучилъ рукава. Раздался первый взмахъ нагайки, за которымъ послѣдовалъ раздирающій душу крикъ.

Коренастый инородецъ, постепенно озлобляясь, сыпалъ ударъ за ударомъ мѣрно, медленно, отсчитывая: разъ-два... Савельцевъ безучастно выкуривалъ трубку за трубкой, пошучивая:

— Ишь мяса̀-то нагуляла! Вотъ я тебѣ косточки-то попарю... сахарница!

Или:

— Полумѣсяцемъ, Семенъ, полумѣсяцемъ разрисовывай! рубецъ возлѣ рубца укладывай... вотъ такъ! Скажетъ, подлая, скажетъ! до смерти запорю!

Но не дошло и до пятидесяти нагаекъ, какъ Улита совсѣмъ замолчала.

Улита лежала какъ пластъ на рогожѣ; даже тѣло ея не вздрагивало, когда нагайка, свистя, опускалась ей на спину.

Въ толпѣ послышался чей-то одиночный стонъ. Староста, стоявшій неподалеку отъ барина, испугался.

— Какъ бы не тово, Николай Абрамычъ! какъ бы въ отвѣтѣ за нее не быть!—заикаясь отъ страха, предупреждалъ онъ.

— А? что̀? — крикнулъ на него Савельцевъ: — или и тебѣ того же хочется? У меня расправа короткая! Будетъ и тебѣ... всѣмъ будетъ! Кто тамъ еще закричалъ?... запорю! И въ отвѣтѣ не буду! У меня, братъ, собственная казна есть! Хребтомъ въ полку наживалъ... Сыпну̀ денежками — всѣмъ рты замажу!

Однакожъ, когда отсчитано было еще нѣсколько ударовъ, онъ одумался и спросилъ: —Сколько?

— Семьдесятъ,—отвѣтилъ палачъ-деньщикъ.

— Ну, до трехъ-сотъ далеконько. А впрочемъ, будетъ съ нея на нынѣшній день! У насъ въ полку такъ велось: какъ скоро солдатикъ не выдержитъ положенное число палокъ—въ больницу его на поправку. Тамъ подправятъ, спину заживятъ, и опять въ манежъ... покуда свою порцію сполна не получитъ!

Улиту, въ одной рубашкѣ, снесли обратно въ чуланъ и заперли на ключъ, который баринъ взялъ къ себѣ. Вечеромъ онъ не утерпѣлъ и пошелъ въ холодную, чтобы произвести новый допросъ Улитѣ, но нашелъ ее уже мертвою. Въ ту же ночь призвали попа, обвертѣли замученную женщину въ рогожу и свезли на погостъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что Савельцевъ не остановился бы на одной этой казни, но на другое утро, за чаемъ, староста доложилъ, что за ночь половина дворни разбѣжалась.

— А ты что̀ меня не предупредилъ? За одно съ ними? а?—вскричалъ баринъ.—Пало́къ!

Разъяренный, кинулся онъ въ казарму, но увидѣлъ, что и оставшіеся на-лицо дворовые какъ будто опомнились и смотрѣли мрачно. Савельцевъ заметался, какъ раненый звѣрь, но вынужденъ былъ отступить.

— Ладно, за мной не пропадетъ!—посулилъ онъ, не будучи въ состояніи вполнѣ сдержать себя.

На̀скоро велѣлъ онъ запречь бричку и покатилъ въ городъ, чтобъ отрекомендоваться властямъ, просить о вводѣ во владѣніе и въ то же время понюхать, чѣмъ пахнетъ вчерашняя кровавая расправа.

Тамъ онъ узналъ, что бѣжавшіе дворовые уже предупредили его и донесли. Исправникъ принялъ его однакоже радушно, и только полушутя прибавилъ:

— Крутеньки-таки вы, Николай Абрамычъ:—то же бы самое, да на другой манеръ... келейно бы...

Но впрочемъ обнадежилъ, посовѣтовалъ съѣздить къ уѣздному стряпчему и къ лекарю, и въ заключеніе сказалъ:

— Только намъ придется погостить у васъ по этому случаю! ужъ не взыщите.

— Помилуйте! почту за честь!—отвѣтилъ Савельцевъ, подавая исправнику руку, въ глубинѣ ладони которой была спрятана крупная ассигнація.

Исправникъ слегка стѣснился и даже вздохнулъ, но принялъ...

Въ то время дѣла такого рода считались между приказною челядью лакомымъ кускомъ. Въ Щучью-За̀водь пріѣхало цѣлое временное отдѣленіе земскаго суда, подъ предсѣдательствомъ самого исправника. Началось слѣдствіе.. Улиту вырыли изъ могилы, осмотрѣли рубцы на тѣлѣ, и нашли, что наказаніе не выходило изъ ряда обыкновенныхъ, и что поломовъ костей и увѣчій не оказалось.

Затѣмъ, такъ какъ наступилъ уже „адмиральскій часъ“, господа чиновники отправились къ помѣщику хлѣба-соли откушать. Всѣ тутъ, отъ предсѣ-

она.—Ублаготворимъ полицейскихъ, устроимъ съ пустымъ гробомъ похороны —вотъ и будешь потихоньку жить да поживать у себя въ Щучьей-Заводи. А я здѣсь хозяйничать буду.

— А съ имѣніемъ какъ?

— Съ имѣніемъ надо ужъ проститься. На мое имя придется купчую крѣпость совершить...

Онъ смотрѣлъ на нее со страхомъ и думалъ крѣпкую думу.

— Убьешь ты меня!—наконецъ вымолвилъ онъ.

— Вотъ тебѣ нà! Прошлое, что-ли, вспомнилъ! Такъ я, мой другъ, давно ужъ все забыла. Вѣдь ты мой мужъ; чай, въ церкви обвѣнчаны... Былъ ты виноватъ передо мною, крѣпко виноватъ — это точно; но въ послѣднее время, слава Богу, жили мы мирнехонько... Ни ты меня, ни я тебя... Не я ли тебѣ Овсецово заложить позволила... а? забылъ? И впередъ такъ будетъ. Коли какая случится нужда—прикажу, и будетъ исполнено. Ну-ка, ну-ка, думай скорѣе!

— Убьешь, убьешь ты меня! — повторялъ онъ безсознательно.

Но думать было некогда, да и исхода другого не предстояло. На другой день, раннимъ утромъ, мужъ и жена отправились въ ближайшій губернскій городъ, гдѣ живо совершили купчую крѣпость, которая навсегда передала Щучью-Заводь въ собственность Анфисы Порфирьевны. А по пріѣздѣ домой, какъ только наступила ночь, переправили Николая Абрамыча на жительство въ его бывшую усадьбу.

Тутъ же, совсѣмъ кстати, умеръ старый дворовый Потапъ Матвѣевъ, такъ что и въ пустомъ гробѣ надобности не оказалось. Потапа похоронили въ барскомъ гробѣ, пригласили благочиннаго, нѣсколькихъ сосѣднихъ поповъ, и дали знать подъ рукою исправнику, такъ что когда послѣдній пріѣхалъ въ Овсецово, то засталъ уже похороны. Хоронили боярина Николая съ почестями и церемоніями, подобающими родовитому дворянину.

Донесено было, что приговоръ надъ отставнымъ капитаномъ Савельцевымъ не могъ быть приведенъ въ исполненіе, такъ какъ осужденный волею Божіей помре. Покойный „боляринъ" остался въ своемъ родовомъ гнѣздѣ, и отнынѣ началъ влачить жалкое существованіе подъ именемъ двороваго Потапа Матвѣева.

На другой же день Анфиса Порфирьевна облекла его въ синій затрапезъ, оставшійся послѣ Потапа, отвела уголъ въ казарнѣ и велѣла нарядить на барщину, на-ряду съ прочими дворовыми. Когда же ей доложили, что баринъ стоитъ на крыльцѣ и проситъ доложить о себѣ, она рѣзко отвѣтила:

— Не надо. Пусть трудится. Богъ труды любитъ. Скажите ему, поганцу, что отъ его наглекъ у меня и до сихъ поръ спину ломитъ. И не смѣть звать его бариномъ. Какой онъ баринъ! Онъ—столяръ Потапка, и больше ничего.

Происшествіе это случилось у всѣхъ на знати. И—странное дѣло! — тѣмъ же самымъ сосѣдямъ, которые по поводу Улитиныхъ истязаній кричали: „каторги на него, изверга, мало!"—вдругъ стало обидно за Николая Абрамыча.

— Ежели изъ-за каждой холопки да въ солдаты—что̀ жъ это будетъ! говорили одни.

— Нѣтъ, вы вотъ о чемъ подумайте! Теперича эта исторія разошлась вездѣ, по всѣмъ уголкамъ... Всякій мужиченко намоталъ ее себѣ на усъ... Какого же ждать повиновенія!—прибавляли другіе.

Словомъ сказать, пошли въ ходъ такія вольныя рѣчи, что предводитель насилу могъ унять недовольныхъ.

Прошло немного времени, и Николай Абрамычъ совсѣмъ погрузился въ добровольно принятый имъ образъ столяра Потапа. Вмѣстѣ съ другими, онъ выполнялъ барщинскую страду, вмѣстѣ съ другими ѣлъ прокислое молоко, мякинный хлѣбъ и пустыя щи.

Тѣмъ не менѣе, программу истязаній, которую рисовало воображеніе тетеньки, ей удалось выполнить только отчасти.

Однажды вздумала она погонять мужа на кордѣ, но, во-первыхъ, полуразрушенный человѣкъ уже въ самомъ началѣ наказанія оказался неспособнымъ получить свою порцію сполна, а, во-вторыхъ, на другой день онъ исчезъ. Оказалось, что съ отчаянія онъ ушелъ въ городъ и объявился тамъ. Разумѣется, его даже не выслушали, и водворили обратно въ мѣстожительство; но вслѣдъ затѣмъ предводитель вызвалъ Анфису Порфирьевну и предупредилъ ее, чтобы она оставила мужа въ покоѣ, такъ какъ, въ случаѣ повторенія истязаній, онъ вынужденъ будетъ ходатайствовать о взятіи имѣнія ея въ опеку.

Потапа переселили въ Овсецово, отвели особую каморку во флигелѣ и стали держать во дворѣ вмѣсто шута. Вскорѣ Анфиса Порфирьевна выписала Ѳомушку и предоставила ему глумиться надъ мужемъ сколько душѣ угодно.

Ѳомушка упалъ словно снѣгъ на голову. Это была вполнѣ таинственная личность, о которой никто до тѣхъ поръ не слыхалъ. Говорили шопотомъ, что онъ—тотъ самый сынъ, котораго барыня прижила еще въ дѣвушкахъ, но другіе утверждали, что это барынинъ любовникъ. Однакожъ, судя потому, что она не выказывала ни малѣйшей ревности въ виду его подвиговъ въ дѣвичьей, скорѣе можно было назвать справедливымъ первое предположеніе.

Это былъ халуй въ полномъ смыслѣ этого слова, нахальный, дерзкій на руку и не въ мѣру сластолюбивый. Любилъ щеголять, и мучился тѣмъ, что неоднократно пытался попасть въ общую помѣщичью семью, но каждый разъ, даже у мелкопомѣстныхъ, встрѣчалъ суровый отпоръ. Лѣнивый и ничего не смыслящій въ хозяйствѣ, онъ управлялъ имѣніемъ крайне плохо, и велъ праздную жизнь, забавляясь надъ „покойникомъ“, котораго заставлялъ плясать, пѣть пѣсни и т. д. Тетенька души въ немъ не чаяла, и втайнѣ обдумывала, какимъ бы образомъ передать ему имѣнье. Но такъ какъ, по тогдашнему времени, тутъ встрѣчались неодолимыя препятствія (Ѳомушка былъ записанъ въ мѣщане), то приходилось обезпечить дорогого сердцу человѣка заемными письмами. И дѣйствительно документы были написаны заранѣе, но она не отдавала ему ихъ въ руки, а спрятала въ бюро, указавъ только на ящикъ, въ которомъ они были положены.

— Вотъ гдѣ—смотри! А ключъ—вотъ онъ въ кошелькѣ, особнякомъ отъ другихъ ключей! Когда буду умирать—не плошай!

— Гдѣ ужъ тогда! во всѣ глаза на меня смотрѣть будутъ! Вы бы мнѣ, маменька, теперь отдали.

— Шалишь!—знаю я вашу братью! Почувствуешь, что документъ въ рукахъ — „покорно благодарю!“ не скажешь, стречка дашь! Нѣтъ ужъ, пускай такъ! береженаго и Богъ бережетъ. Чего бояться! Чай, не вдругъ умру!

Такимъ образомъ шли годы. Николай Абрамычъ успѣлъ состарѣться. На барщину его ужъ не гоняли; изрѣдка, по просьбѣ Ѳомушки, Анфиса Порфирьевна даже давала ему кусокъ съ барскаго стола и рюмку водки. Тогда онъ былъ счастливъ, называлъ жену „благодѣтельницей“ и благодарилъ, касаясь рукой земли. Цѣлые дни бродилъ онъ съ клюкой по двору, въ неизмѣнномъ синемъ затрапезѣ, которому, казалось, износу не было. Наблюдалъ, чтобы опредѣленныя барыней наказанія выполнялись съ точностью, и по временамъ наушничалъ. Отъ времени до времени, впрочемъ, замѣчали, что онъ начинаетъ забываться, бормочетъ нескладицу и не узнаетъ людей. Онъ самъ повидимому сознавалъ что конецъ недалеко, такъ что однажды, когда Анфиса Порфирьевна, отдавъ обычную дань (она все еще трусила, чтобы дѣло не всплыло наружу) чиновникамъ, укорила его: „смерти на тебя, постылаго, нѣтъ!“ онъ смиренно отвѣчалъ:

— Скоро, благодѣтельница, скоро! Савельцевъ уже умеръ, и Потапка скоро умретъ!

Сосѣди позабыли объ этой исторіи, и только изрѣдка разсказывали наѣзжимъ гостямъ, какъ о диковинкѣ, о помѣщикѣ-покойникѣ, живущемъ въ Овсецовѣ, на глазахъ у властей. Иногда Николай Абрамычъ даже захаживалъ къ ближайшимъ сосѣдямъ, которые были попроще (этотъ околотокъ былъ сплошь населенъ мелкопомѣстными). Придетъ, побродитъ по двору, увидитъ отворенное окошко, подойдетъ и постучитъ клюкою. На этотъ стукъ подходилъ къ окну сосѣдъ и разговаривалъ съ старикомъ, а иногда и высылалъ ему рюмку водки съ ломтемъ чернаго хлѣба. Но въ дома его не впускали.

Наконецъ пришла и желанная смерть. Для обѣихъ сторонъ она была вожделѣннымъ разрѣшеніемъ. Савельцевъ съ мѣсяцъ лежалъ на печи, томимый неизвѣстнымъ недугомъ и не получая врачебной помощи, такъ какъ Анфиса Порфирьевна на-отрѣзъ отказала позвать лекаря. Умеръ онъ тихо, испустивъ глубокій вздохъ, какъ будто радуясь, что жизненныя узы внезапно упали съ его плечъ. Съ своей стороны и тетенька не печалилась: смерть мужа освобождала отъ обязанности платить ежегодную дань чиновникамъ.

Похоронили Николая Абрамыча на томъ же погостѣ, гдѣ былъ схороненъ и столяръ Потапъ. На скромномъ крестѣ, который былъ поставленъ надъ его могилой, было написано:

„Здѣсь лежитъ тѣло раба Божія Потапа Матвѣева“.

Конецъ тетеньки Анфисы Порфирьевны былъ трагическій. Однажды, когда она укладывалась на ночь спать, любимая ея ключница (это впрочемъ

не мѣшало тетенькѣ истязать ее наравнѣ съ прочими), которая всегда присутствовала при этомъ обрядѣ, отворила дверь спальни и кликнула:

— Что̀ стали! идите!

По этому клику, въ спальню ворвалась толпа сѣнныхъ дѣвушекъ и въ нѣсколько мгновеній задушила барыню подушками.

Такъ какъ это случилось ночью, то Ѳомушка ничего не слыхалъ, а потому и не успѣлъ воспользоваться хранившимися въ бюро документами.

Затѣмъ Овсецово, вмѣстѣ съ благопріобрѣтенною Щучьею-Заводью, досталось по наслѣдству отцу, какъ единственному представителю рода Затрапезныхъ въ мужскомъ колѣнѣ.

По этому случаю матушка нѣсколько дней выжила въ Овсецовѣ, присутствуя при слѣдствіи и угобжая приказныхъ.

Ѳомушка хотя и заявилъ ей о существованіи заемныхъ писемъ, которыя покойница будто бы предназначила ему, но матушка совершенно равнодушно отвѣтила:

— А гдѣ они? покажи!

И затѣмъ указала ему путь на всѣ четыре стороны.

IX.—Заболотье.

Въ Заболотьѣ матушка держала себя совсѣмъ иначе, нежели въ Малиновцѣ. Она замѣтно себя сдерживала. Не приказывала, не горячилась, а только „рекомендовала“, никого не звала презрительными уменьшительными именами (Агашу, несмотря на то, что она была изъ Малиновца, такъ и называла Агашей, да еще прибавляла: „милая“) и совсѣмъ забывала, что на свѣтѣ существуетъ ручная расправа. Можно было подумать, что она чего-то боится, чувствуетъ, что живетъ „на людяхъ“, и даже какъ бы сознаетъ, что ей, еще такъ недавно небогатой дворянкѣ, не совсѣмъ по зубамъ такой большой и лакомый кусъ.

Заболотье было очень обширное село, считавшее не менѣе полутора тысячъ душъ, а съ деревнями, къ нему приписанными, числилось слишкомъ три тысячи душъ мужского пола. Оно принадлежало троимъ владѣльцамъ, изъ которыхъ матушка и князь Г. владѣли равными частями (приблизительно по тысячѣ двѣсти душъ каждый), а графъ З.—меньшею частью, около шести сотъ душъ (впослѣдствіи матушка впрочемъ скупила эту часть). Въ селѣ было до десяти улицъ, носившихъ особыя наименованія; по срединѣ раскинулась торговая площадь, обставленная торговыми помѣщеніями, но въ особенности село гордилось своими двумя обширными церквами, изъ которыхъ одна, съ пятисотъ-пудовымъ колоколомъ, стояла на площади, а другая, осѣнявшая сельское кладбище, была выстроена нѣсколько поодаль отъ села. Не меньшую гордость крестьянъ составляло и нѣсколько каменныхъ домовъ, выдѣлявшихся по мѣстамъ изъ ряда обыкновенныхъ избъ, большею частью

ветхихъ и черныхъ. Это были жилища богатѣевъ, которые все село держали въ своихъ рукахъ.

Школы въ селѣ не было, но большинство крестьянъ было грамотное или, лучше сказать, полуграмотное, такъ какъ между крестьянами преобладалъ трактирный промыселъ. Умѣли написать на клочкѣ загаженной бумаги: „силѐтка адна, чаю порц: адна ище порц.: румка вотки двѣ румки три румки вичина“ и т. д. Далѣе этого мѣстное просвѣщеніе не шло.

Встарину Заболотье находилось въ полномъ составѣ въ однѣхъ рукахъ у князя Г., но по смерти его оно распалось между троими сыновьями. Старшіе два взяли по равной части, а младшему удѣлили половинную часть, и вдобавокъ дали другое имѣніе въ дальней губерніи.

Наслѣдственные раздѣлы происходили въ то время очень своеобразно и безъ всякой предусмотрительности. Дѣлили не землю и даже не деревни, а дворы. Сначала шли дворы богатыхъ крестьянъ, потомъ среднихъ и наконецъ бѣдныхъ, хотя бы эти дворы находились въ отдаленіи другъ отъ друга. Случалось, напримѣръ, что три двора, выстроенные рядомъ, принадлежали троимъ владѣльцамъ, состояли каждый на своемъ положеніи, платили разные оброки, и жильцы ихъ не могли родниться между собой иначе, какъ съ помощью особой процедуры, которая была обязательна для всѣхъ вообще разнопомѣстныхъ крестьянъ. Правда, что подобные раздѣлы бо́льшею частью происходили въ оброчныхъ имѣніяхъ, въ которыхъ для помѣщика было безразлично, какъ и гдѣ устроилась та или другая платежная единица; но случалось, что такая же путаница допускалась и въ имѣніяхъ издѣльныхъ, въ особенности при выдѣлѣ седьмыхъ и четырнадцатыхъ частей.

Подобному же раздѣлу подверглось и Заболотье. Земельная черезполосица была чрезвычайная, но для матушки было всего важнѣе то, что она постоянно чувствовала себя стѣсненною въ своихъ распоряженіяхъ. Всюду ее преслѣдовалъ сосѣдскій глазъ и невольно заставлялъ сдерживаться. Несмотря на свою громадную память, она очень немногихъ изъ своихъ крестьянъ — преимущественно изъ богатыхъ—знала въ лицо. Такъ что когда мы въ первое время, въ свободные часы, гуляли по улицамъ Заболотья,—надо же было познакомиться съ купленнымъ имѣніемъ,—то за нами обыкновенно слѣдовала толпа мальчишекъ и кричала:—„Затрапезные! затрапезные!“—дѣлая такимъ образомъ изъ родовитой дворянской фамиліи каламбуръ. Матушка, конечно, знала, что между этими мальчишками есть и „свои“, но ничего не могла подѣлать. Нерѣдко встрѣчались и взрослые, которые проходили мимо и не ломали шапокъ. И среди нихъ, быть можетъ, не мало „своихъ“, но какъ ихъ угадать? Словомъ сказать, уколы для помѣщичьяго самолюбія встрѣчались на каждомъ шагу, хотя я долженъ сказать, что матушку не столько огорчали эти уколы, сколько безтолковая земельная черезполосица, которая мѣшала приняться вплотную за управленіе.

Торговая площадь не была раздѣлена, и доходы съ нея дѣлились пропорціонально между совладѣльцами. Каждый годъ, съ общаго согласія, устанавливалась такса съ возовъ, лавокъ, трактировъ и кабака, причемъ торговать въ улицахъ и въ собственныхъ усадьбахъ хотя и дозволялось, но подъ условіемъ особеннаго и усиленнаго налога. При этихъ совѣщаніяхъ матушкѣ при-

надлежали двѣ пятыхъ голоса, а остальные три пятыхъ — прочимъ совладѣльцамъ. Очевидно, она всегда оставалась въ меньшинствѣ.

Это волновало ее до чрезвычайности. Почему-то она представляла себѣ, что торговая площадь, ежели приложить къ ней руки, сдѣлается чѣмъ-то въ родѣ золотого дна. Попыталась-было она выстроить на своей усадебной землѣ собственный корпусъ лавокъ, фасомъ на площадь, но и тутъ встрѣтила отпоръ.

— Этакъ ты, пожалуй, весь торгъ къ себѣ въ усадьбу переведешь, — грубо говорили ей сосѣдніе бурмистри, и хотя она начала по этому поводу дѣло въ судѣ, но проиграла его, потому что вмѣшательство князя Г. пересилило ея скромныя денежныя приношенія.

Но этого мало: даже собственные крестьяне нѣкоторое время не допускали ее лично до распоряженій по торговой площади. До перехода въ ея владѣніе они точно такъ же, какъ и крестьяне другихъ частей, ежегодно посылали выборныхъ, которые сообща и установляли на весь годъ площадный обиходъ. Сохраненія этого порядка они домогались и теперь, такъ что матушкѣ немалыхъ усилій стоило, чтобы одержать побѣду надъ крестьянской вольницей и осуществить свое помѣщичье право.

Во всякомъ случаѣ, какъ только осмотрѣлась матушка въ Заболотьѣ, такъ тотчасъ же начала дѣло о размежеваніи, которое и велъ однажды уже упомянутый Петръ Дормидонтычъ Мѣгильцевъ. Но увы! — скажу здѣсь въ скобкахъ — ни она, ни наслѣдники ея не увидѣли окончанія этого дѣла, и только крестьянская реформа положила конецъ земельной сумятицѣ, соединивъ крестьянъ въ одну волость, съ общимъ управленіемъ, и давъ имъ возможность устроиться между собою по собственному разумѣнію.

Только въ усадьбѣ матушка была вполнѣ дома. У прочихъ совладѣльцевъ усадебъ не было, а въ части, ею купленной, оказалась довольно обширная площадь земли особняка (слишкомъ десять десятинъ) съ домомъ, большою рощей, пространнымъ палисадникомъ, выходившимъ на площадь (о-бокъ съ нимъ она и проектировала свой гостиный дворъ). Домъ былъ старый и неудобный, и какъ ни ухичивала его матушка, всѣ старанія ея остались безуспѣшными. Лѣтомъ въ немъ жить еще можно было, но зиму, которую мы однажды провели въ Заболотьѣ (см. гл. VII), пришлось очень жутко отъ холода, такъ что подъ-конецъ мы вынуждены были переселиться въ контору, и тамъ, въ двухъ комнатахъ, всей семьей тѣснились въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ. Роща была запущена; въ ней не существовало ни аллей, ни дорожекъ, и сосѣдство ея даже было непріятно, потому что верхушки березъ были усѣяны вороньими и грачевыми гнѣздами, и эти птицы съ утра до ночи поднимали такой неслыханный гвалтъ, что совершенно заглушали человѣческіе голоса. Палисадникъ былъ тоже запущенъ. Быть можетъ, когда-нибудь въ немъ были устроены клумбы съ цвѣтами, о чемъ свидѣтельствовали земляные горбы, разсѣянные по мѣстамъ, но на моей памяти въ немъ росла только трава, и матушка не считала нужнымъ возстановлять прежнія затѣи.

Вообще усадьба была заброшена, и все показывало, что владѣльцы наѣзжали туда лишь на короткое время. Не было ни прислуги, ни дворовыхъ людей, ни птицы, ни скота. Съ пріѣздомъ матушки отворялось крыльцо, ком-

наты кой-какъ выметались; а какъ только она садилась въ экипажъ, въ обратный путь, крыльцо опять, на ея глазахъ, запиралось на ключъ. Случалось даже, въ особенности зимой, что матушка и совсѣмъ не заглядывала въ домъ, а останавливалась въ конторѣ, такъ какъ вообще была неприхотлива.

Заболотье славилось своими торгами, и каждую недѣлю по вторникамъ въ немъ собирался базаръ. Зимой базары бывали очень людные, но лѣтомъ очень часто случалось, что съѣзжались лишь нѣсколько телѣгъ. Встарину торговые пункты устанавливались какъ-то своеобразно, и я теперь даже не могу объяснить, почему, напримѣръ, Заболотье, стоявшее въ сторонѣ отъ большой дороги и притомъ въ лощинѣ, сдѣлалось значительнымъ торговымъ мѣстечкомъ.

Въ околоткѣ существовало семь такихъ торговыхъ пунктовъ, по числу дней въ недѣлѣ, и торговцы ежедневно переѣзжали изъ одного въ другое. Торговали преимущественно холстами и кожами, но въ лавкахъ можно было найти всякій крестьянскій товаръ. Въ особенности же бойко шелъ трактирный торгъ, такъ что, напримѣръ, въ Заболотьѣ существовало не меньше десяти трактировъ.

Я уже упомянулъ, что въ селѣ считалось достаточное число богатѣевъ —они-то и сообщали селу характеръ зажиточности и даже щегольства. Нѣкоторые изъ нихъ дѣлали обороты на десятки тысячъ, а иные даже имѣли лавки въ Москвѣ. Но большинство крестьянъ было бѣдное, существовало впроголодь, ютилось въ ветхихъ, еле-живыхъ клѣтушкахъ и всецѣло находилось подъ пятой у богатѣевъ. Однакожъ даже самая, что называется, гольтепа вытягивалась въ струну, чтобы форснуть, и пуще глаза хранила синіе кафтаны для мужчинъ и штофныя тѣлогрѣи для женщинъ. Въ праздникъ трудно было даже отличить богатаго отъ бѣднаго.

Главнымъ занятіемъ сельчанъ былъ трактирный промыселъ. Большинство молодыхъ людей почти съ отроческихъ лѣтъ покидало родной кровъ и нанималось въ услуженіе по трактирамъ въ городахъ и преимущественно въ Москвѣ.

Нерѣдко случалось мнѣ впослѣдствіи: зайдешь въ какой-нибудь изъ московскихъ трактировъ и непремѣнно услышишь:

— Никаноръ Васильичъ! съ пріѣздомъ-съ! пожалуйте ручку!

Оказывалось, что это говорилъ заболотскій крестьянинъ, видѣвшій меня еще ребенкомъ и какимъ-то родомъ спознавшій и теперь.

Въ побывку домой приходили отчасти лѣтомъ въ сѣнокосъ, отчасти въ рождественскій мясоѣдъ, когда играются свадьбы. Дома оставались только старики и женскій полъ. Трактирная сутолока изнуряла и развращала молодыхъ людей. Рѣдко можно было встрѣтить между ними красивыхъ и сильныхъ; большинство было испитое, слабосильное, худосочное. Въ особенности поражали испорченные зубы („отъ чаевъ да отъ сахаровъ, да отъ трубочекъ!“ — говорили старики), такъ что это нерѣдко даже служило препятствіемъ при отправленіи рекрутской повинности. Но промыселъ установился такъ прочно, что поправить дѣло не было возможности. Иначе остановились бы оброки.

То же самое происходило и въ деревняхъ, но въ меньшихъ размѣрахъ.

Все-таки тамъ молодежь была посѣрѣе и посолиднѣе и не уходила поголовно вразбродъ, а старики даже любили землю; кромѣ своей, кортомили у сельчанъ ихъ земельные участки, и усердно работали. Тамъ и народъ былъ рослѣе, не такъ тщедушенъ. Но деревни были у села въ загонѣ; въ площадныхъ доходахъ, напримѣръ, не принимали участія; деревенскіе крестьяне почти никогда не выбирались въ вотчинныя должности, и даже въ церкви, по праздникамъ, стояли позади, оттѣсняемые щеголеватымъ сельскимъ людомъ.

За то сельскія женщины въ большинствѣ были красивы. Свободныя отъ тяжелыхъ крестьянскихъ работъ, дебелыя, рослыя, онѣ скорѣе напоминали собой городскихъ мѣщанокъ, нежели сельскихъ обывательницъ Лица ихъ впрочемъ значительно портило употребленіе бѣлилъ и румянъ, а также совсѣмъ черные зубы, въ подражаніе городскимъ купчихамъ, у которыхъ въ то время была такая мода. О цѣломудріи заболотскихъ женщинъ ходили неодобрительные слухи, объясняемые впрочемъ постояннымъ отсутствіемъ мужей и любострастіемъ стариковъ, тоже проведшихъ молодость среди трактирной сутолоки и потому не особенно щекотливыхъ въ нравственномъ смыслѣ. Нерѣдко между отцами и сыновьями доходило до громкихъ ссоръ, кончавшихся однакожъ всегда одинаково: молодого человѣка призывали въ вотчинную контору и въ присутствіи отца стегали.

Праздники происходили въ Заболотьѣ особенно нарядно. Съ первымъ ударомъ большого колокола въ селѣ начиналось движеніе и по площади проходили цѣлыя вереницы разряженныхъ прихожанъ по направленію къ церкви. Я любилъ смотрѣть на это зрѣлище и всегда подбѣгалъ къ рѣшеткѣ, отдѣлявшей нашъ палисадникъ отъ площади. Сперва шли старики и вообще мужской полъ, въ синихъ праздничныхъ кафтанахъ; за ними, поодаль, слѣдовали женщины, въ малиновыхъ шолковыхъ сарафанахъ и тѣлогрѣяхъ. Около нихъ шныряли подростки. Въ церкви этотъ людъ располагался такъ: мужской полъ занималъ правую сторону; женскій—лѣвую. Мальчишки забирались впередъ, а дѣвочекъ загоняли назадъ.

Служба по праздникамъ совершалась съ особеннымъ благочиніемъ. Бывало двѣ обѣдни: ранняя въ кладбищенской церкви, поздняя—въ сельской, которую крестьяне называли соборомъ. Тутъ обѣдня служилась соборне двумя священниками и дьякономъ. Ризы и вся церковная утварь блестѣли золотомъ; мѣстные образа сіяли въ богатыхъ сребро-позлащенныхъ окладахъ. На правомъ клиросѣ пѣли не особенно стройно, такъ какъ туда забирались богатѣи, которымъ нельзя было отказать; но на лѣвомъ пѣніе не заставляло желать ничего лучшаго. Священники поражали своимъ благообразіемъ и сытостью, что очень рѣдко можно было встрѣтить въ церквахъ, гдѣ прихожанами были барщинскіе крестьяне. Двое изъ нихъ произносили возгласы жеманно, „по-московски“ *), такъ что трудно было понять, и это особенно нравилось крестьянамъ. Дьяконъ хотя и не былъ особенно голосистъ но, при нѣкото-

*) Какъ на примѣръ подобнаго жеманнаго произношенія, укажу на проповѣдь Іоанна Златоустаго, читаемую въ свѣтлую заутреню. Слова: „гдѣ твоя, аде, побѣда?“ произносились такъ: „нхтѣ твоя, атте, попѣтта“... И непремѣнно на-распѣвъ.

рой натугѣ выкрикивалъ многолѣтіе довольно прилично. Обѣдня длилась не меньше полутора часа.

Священниковъ было трое, и все „ученые", кончившіе курсъ въ семинаріяхъ, не такъ какъ въ Малиновцѣ, гдѣ отецъ Иванъ вышелъ въ попы изъ причетниковъ. Кромѣ того, было два дьякона и шестеро причетниковъ. Всему причту была отведена подъ усадьбы, возлѣ церкви, особая слобода, которая такъ и называлась: „Поповское". Жили они чисто и зажиточно, никакой земледѣльческой работой лично не занимались; нѣкоторые держали работниковъ, а большинство отдавало свои земельные участки въ кортому крестьянамъ. Доходъ съ прихожанъ вполнѣ обезпечивалъ ихъ; къ тому же у церкви былъ и довольно значительный капиталъ, проценты съ котораго тоже дѣлились между священно-церковно-служителями. Этого было настолько достаточно, что пособія отъ казны заболотскому причту не полагалось, какъ, напримѣръ, малиновецкому.

Тѣмъ не менѣе попы часто между собой сварились и завидовали другъ другу, такъ какъ приходы никакъ нельзя было подѣлить съ математическою точностью. Обыкновенно и тутъ слѣдовали той же методѣ, какая существовала при раздѣлѣ имѣній вообще. Дѣлили сначала богатые дворы, потомъ средніе и наконецъ бѣдные, распространяя этотъ порядокъ не только на село, но и на деревни, такъ что во всякой деревнѣ у каждаго попа были свои прихожане. А такъ какъ деревни были по большей части мелкія, то иногда приходилось изъ-за одного или двоихъ прихожанъ идти пѣшкомъ за семь или болѣе верстъ. Несмотря однакожъ на всѣ старанія поравнять приходы, случалось, что одинъ богатѣй давалъ за славленіе четвертакъ, а соотвѣтствующій, въ приходѣ другого попа, за то же самое давалъ двугривенный. Вотъ это-то и служило яблокомъ раздора.

Вообще я долженъ сказать, что алчность между заболотскимъ церковнымъ людомъ, несмотря на относительную обезпеченность, была развита гораздо сильнѣе, нежели въ Малиновцѣ. Причетники впрочемъ и въ Заболотьѣ были довольно бѣдны и постоянно подозрѣвали поповъ въ утайкѣ общихъ доходовъ, особливо во время славленія. Плату, напримѣръ, за свадьбу нельзя было утаить, потому что размѣръ ея уславливался заранѣе и гласно; но при славленіи монету клали въ руку священнику, который и опускалъ ее прямо въ карманъ. Это мучительно терзало причетническія сердца. Попъ могъ отлучиться на минуту и переложить деньги въ сапогъ—мало ли на какія хитрости можно подняться! Однажды былъ такой случай, что, выйдя изъ деревни, причетники и дьяконъ, давно подозрѣвавшіе попа въ утайкахъ, прямо потребовали, чтобы послѣдній выворотилъ карманы. И когда въ карманахъ, по ихъ мнѣнію, оказалось маловато, то они, не много задумываясь, повалили попа на землю, сняли съ него сапоги и произвели тщательный обыскъ. Къ сожалѣнію, они оказались правы, и въ наказаніе отняли у священника найденную въ сапогахъ сумму. Разумѣется, виновный не жаловался.

Съ точки зрѣнія мѣстоположенія Заболотье не представляло ничего замѣчательнаго. Расположенное въ низинѣ, оно, при продолжительномъ ненастьѣ, превращалось въ болото, и улицы его принимали видъ канавъ, переполненныхъ грязью. Только на выѣздѣ мѣстность повышалась и пересѣкалась глу-

бокимъ оврагомъ, который былъ раздѣленъ на мелкіе клочки и эксплоатировался подъ огороды. Въ огородахъ этихъ ничего не сажалось, кромѣ капустной разсады, которая повидимому славилась въ околоткѣ, такъ какъ для покупки ея въ Заболотье пріѣзжали издалека. Доходъ съ огородовъ, какъ въ другихъ мѣстахъ доходъ съ полосы, засѣянной льномъ, предоставляли крестьянскимъ дѣвушкамъ, которыя съ помощью этихъ денегъ справляли свои наряды.

На меня лично Заболотье производило непріятное и даже гнетущее впечатлѣніе. Я привыкъ къ людной, полной чашѣ, какую представлялъ собою Малиновецъ. Меня занимали и хозяйственныя работы, и безпрестанное мельканіе людей около застольной, конюшенъ и скотнаго двора. Всякій уголокъ въ саду былъ мнѣ знакомъ, что-нибудь напоминалъ; не только всякаго двороваго я зналъ въ лицо, но и всякаго мужика. Я любилъ говорить, разспрашивать. Крѣпостное право, тяжелое и грубое въ своихъ формахъ, сближало меня съ подневольною массой. Это можетъ показаться страннымъ, но я и теперь еще сознаю, что крѣпостное право играло громадную роль въ моей жизни, и что только переживъ всѣ его фазисы—я могъ придти къ полному, сознательному и страстному отрицанію его.

Заболотье, напротивъ, представлялось въ моихъ глазахъ чѣмъ-то въ родѣ скучной пустыни, въ которой и пищи для дѣтской любознательности нельзя было отыскать. Въ будни и не-базарные дни село словно замирало; люди скрывались по домамъ, — только изрѣдка проходилъ кто-нибудь мимо палисадника въ контору по дѣлу, да на противоположномъ краѣ площади, въ какой-нибудь изъ рѣдкихъ открытыхъ лавокъ можно было видѣть сидѣльцевъ, играющихъ въ шашки. День проходилъ въ несносной праздности, которая подъ-конецъ переходила даже въ утомленіе. Къ несчастію, и съ Агашей я рѣдко могъ перемолвить слово, потому что она постоянно обязана была сидѣть возлѣ матушкиной комнаты и ожидать приказаній. Очень часто заходилъ къ ней и я, но не смѣлъ говорить громко, чтобы не помѣшать матушкѣ.

Скажу больше: даже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, изрѣдка наѣзжая въ Заболотье, я не могъ свыкнуться съ его безхозяйственною жизнью.

Вотъ все, что я имѣлъ сказать о Заболотьѣ. Если написанная картина вышла суха и недостаточно образна — прошу извинить. Мнѣ кажется впрочемъ, что все-таки она не будетъ лишнею для возможно-полной характеристики „пошехонской старины“.

И такъ, матушка чувствовала какъ бы инстинктивную потребность сдерживать себя въ новокупленномъ гнѣздѣ болѣе, нежели въ Малиновцѣ. Но заболотское дѣло настолько было ей по душѣ, что она смотрѣла тутъ и веселѣе, и бодрѣе.

Обычнымъ ея собесѣдникомъ былъ приказный мѣстнаго уѣзднаго суда, Петръ Дормидонтовичъ Могильцевъ.

Еще наканунѣ пріѣзда матушки за нимъ посылали въ городъ парокон-ную подводу, которая на другой день и привозила его. Могильцевъ былъ сынъ дьячка и родился въ селѣ, отстоявшемъ отъ Заболотья въ семи верстахъ. Приходъ былъ настолько бѣдный, что отецъ не въ состояніи былъ

содержать сына въ семинаріи; поэтому Петръ еще мальчикомъ, прямо изъ уѣзднаго училища, опредѣлился въ уѣздный судъ писцомъ. Четырнадцать лѣтъ онъ тянулъ лямку, прежде нежели стяжалъ вожделѣнный чинъ коллежскаго регистратора, но и послѣ того продолжалъ числиться тѣмъ же писцомъ, питая лишь смутную надежду на должность столоначальника, хотя, съ точки зрѣнія кляузы, способности его не оставляли желать ничего лучшаго. Въ описываемое время ему было уже подъ-тридцать, но онъ не унывалъ, сказавъ себѣ заранѣе, что министромъ ему не бывать. Службой въ судѣ онъ дорожилъ не ради получаемаго нищенскаго жалованья, а ради того, что она давала ему извѣстное общественное положеніе и ставила его въ сношеніе съ кліентами. Главный источникъ жизненныхъ средствъ онъ почерпалъ не на службѣ, а въ частныхъ занятіяхъ, которыя сыпались на него со всѣхъ сторонъ. Всѣ помѣщики, не только своего уѣзда, но и сосѣднихъ, знали его какъ затѣйливаго борзописца и довѣряли ему ходатайство по дѣламъ, такъ что квартира его представляла собой нѣчто въ родѣ канцеляріи, въ которой подъ его эгидою работало двое писцовъ.

Въ Заболотьѣ онъ, еще до появленія матушки, имѣлъ постоянныя дѣла. И вотчинныя власти, и богатые крестьяне обращались къ нему за совѣтомъ въ своихъ затрудненіяхъ, хотя знали, что совѣсть у него и направо, и налѣво глядитъ, и что онъ готовъ одновременно служить и вашимъ, и нашимъ. Онъ очень часто наѣзжалъ въ Заболотье и всѣ его закоулки зналъ какъ свои пять пальцевъ. Зналъ положеніе каждаго сколько-нибудь незауряднаго крестьянина, а о земельной неурядицѣ, опутывавшей совладѣльцевъ, имѣлъ гораздо болѣе ясное представленіе, нежели сами владѣльцы и ихъ вотчинные повѣренные.

Вообще это былъ необыкновенно дѣятельный и увертливый человѣкъ, проникшій въ самую глубь кляузы, ни въ чемъ не сомнѣвавшійся и никакого вопроса не оставлявшій безъ немедленнаго отвѣта. Спроситъ, бывало, матушка:

— Ты мнѣ скажи, какъ по закону...

— По закону такъ-то и такъ-то.

— Да и *они* вѣдь (т.-е. противная сторона) то же самое „по-закону" говорятъ, только по ихнему выходитъ, что законъ-то не на нашей сторонѣ.

— А въ такомъ случаѣ можно и другой законъ подвести. Одинъ законъ не подходитъ,—другой подойдетъ. Въ „Полномъ Собраніи" можно порыться, сенатскій указъ подыскать. Да вы, сударыня, не безпокойтесь, предоставьте мнѣ.

Матушка задумывалась. Долго она не могла привыкнуть къ этимъ быстрымъ и внезапнымъ отвѣтамъ, но наконецъ убѣдилась, что ежели существуютъ разные законы, да вдобавокъ къ нимъ еще сенатскіе указы издаются, то, стало-быть, это-то и составляетъ суть тяжебнаго процесса. Кто кого „перепишетъ", у кого больше законовъ найдется, тотъ и правъ.

— Ну, положимъ,—говорила она:—найдешь ты другой законъ, а они тебѣ третій встрѣчу отыщутъ.

— И на третій законъ можно объясненьице написать, или и такъ устроить, что прошенье съ третьимъ-то закономъ съ надписью возвратятъ.

Былъ бы царь въ головѣ, да перо, да чернила, а прочее само собой придетъ. Главное дѣло, торопиться не надо, а вести дѣло потихоньку, чтобы только сроки не пропускать. Увидитъ противникъ, что дѣло тянется безъ конца, а со временемъ, пожалуй, и самому дороже будетъ стоить — ну, и спутается. Тогда изъ него хоть веревки вей. Либо срокъ пропуститъ, либо на сдѣлку пойдетъ.

Словомъ сказать, Могильцевъ не хо́дилъ за словомъ въ карманъ, и матушкѣ съ теченіемъ времени это даже понравилось. Но старикъ-бурмистръ, Герасимъ Терентьичъ, почти всегда присутствовавшій при этихъ совѣщаніяхъ, никакъ не могъ примириться съ изворотами Могильцева, и очень нерѣдко въ заключеніе говорилъ:

— Ну, ужъ и душа у тебя, Дормидонтычъ!.. подлинно можно сказать: расколота на-двое!

Но Могильцевъ только хихикалъ въ отвѣтъ.

Тѣмъ не менѣе матушка зорко слѣдила за каждымъ его шагомъ, потому что репутація „перемётной сумы“ утвердилась за нимъ едва-ли даже не прочнѣе, нежели репутація искуснаго дѣльца.

Поэтому мнѣ не разъ случалось слышать, какъ матушка, едва вставши съ постели, уже спрашивала Агашу:

— Сутяга всталъ?

— Давно ужъ. Въ конторѣ сидитъ.

— Никуда не ходилъ?

— Кажется, никуда...

— Кажется! тебѣ все „кажется“! Нѣтъ-чтобы посмотрѣть! Поди въ контору, спроси, не видалъ ли кто?

Увы! отдавая свой приказъ, матушка съ болью сознавала, что если въ Заболотьѣ и можно было сослѣдить за Могильцевымъ, то въ городѣ руки у него были совершенно развязаны.

Я не слѣдилъ, конечно, за сущностью этихъ дѣлъ, да и впослѣдствіи узналъ объ нихъ только то, что большая часть была ведена безплодно и стоила матушкѣ немалыхъ расходовъ. Впрочемъ сущность эта и не нужна здѣсь, потому что я упоминаю о дѣлахъ только потому, что они опредѣляли характеръ дня, который мы проводили въ Заболотьѣ. Разскажу этотъ день по порядку.

Матушка, какъ и всегда, вставала рано, но дѣлала свой туалетъ нѣсколько тщательнѣе, нежели въ Малиновцѣ. Хозяйственныхъ распоряженій никакихъ не предстояло; даже обѣдъ созидался какъ-то самъ собой. Обыкновенно передъ пріѣздомъ господъ отыскивали въ одномъ изъ трактировъ немудрящаго повара или даже пріѣхавшаго въ побывку трактирнаго полового и брали въ усадьбу на время пребыванія барыни. Затѣмъ, безъ вѣдома матушки, являлась и провизія, какъ я узналъ послѣ, задаромъ, пріобрѣтаемая на счетъ лавочниковъ. Матушка не была въ этомъ отношеніи спѣсива, и не допытывалась, откуда и на какія средства появлялся на столѣ обѣдъ.

Кстати здѣсь сказать объ одномъ обычаѣ, державшемся въ Заболотьѣ довольно долго. А именно: на другой день послѣ пріѣзда матушкѣ докладывали, что пришли мужички на поклонъ. Когда она выходила въ залъ, то

тамъ ужъ стояла толпа человѣкъ въ пятнадцать, изъ которыхъ каждый держалъ въ рукахъ кулекъ. Это были гостинцы, которыми ей били челомъ заболотскіе торговцы. Гостинцы состояли изъ пряниковъ и орѣховъ всевозможныхъ сортовъ, изюма, чернослива, стручковъ и крестьянскихъ конфектъ. Но впереди непремѣнно фигурировалъ громадный, къ сожалѣнію худо пропеченный, пряникъ, съ вытисненными на верхней коркѣ коньками, человѣчками и проч., украшенными сусальнымъ золотомъ.

Матушка садилась въ кресло и милостиво говорила:

— Напрасно трудились. Куда мнѣ такой ворохъ!

— Помилуйте, сударыня, намъ это за радость! Сами не скушаете, дѣточкамъ свезете!—отвѣчали мужички, и одинъ за другимъ клали гостинцы на круглый обѣденный столъ. Затѣмъ перекидывались еще нѣсколькими словами; матушка освѣдомлялась, какъ идутъ торги; торговцы жаловались на худыя времена и увѣряли, что встарину торговали не въ примѣръ лучше. Иногда кто-нибудь посмѣлѣе прибавлялъ.

— Вотъ, сударыня, кабы вы остальныя части купили, дѣло-то пошло бы у насъ по хорошему. И площадь въ настоящій видъ бы пришла, и гостиный дворъ настоящій бы выстроили! А то какой въ нашихъ лавочкахъ торгъ... только маета̀ одна!

— Именно только маета̀!—поддерживали хоромъ и прочіе.

Матушкѣ очень нравились такіе разговоры, и она, быть можетъ, серьезно въ это время думала:

— Вотъ оно! И всѣ добрые такъ говорятъ! всѣ ко мнѣ льнутъ! Можетъ и графскіе мужички по секрету загадываютъ: — „ахъ, хорошо, кабы Анна Павловна насъ купила! все бы у насъ пошло тогда по хорошему!“ — Ну, нѣтъ, дружки, погодите! дайте Аннѣ Павловнѣ прежде съ силами собраться! Вотъ ежели соберется она съ силами...

Черезъ четверть часа пріемъ кончался; матушка давала мнѣ по горсточкѣ орѣховъ и пряниковъ, и спѣшила за работу.

Но продолжаю разсказъ матушкина дня.

Работала она въ спальнѣ, которая была устроена совершенно такъ же, какъ и въ Малиновцѣ. Около восьми часовъ утра въ спальню подавался чай, и матушка принимала вотчинныхъ начальниковъ; бурмистра и земскаго, человѣка грамотнаго, служившаго въ конторѣ писаремъ. Послѣднюю должность обыкновенно занималъ одинъ изъ причетниковъ, нанимавшійся на общественный счетъ. Впрочемъ и бурмистру жалованье уплачивалось отъ общества, такъ что на матушку никакихъ расходовъ по управленію не падало.

Стараго бурмистра матушка очень любила: по мнѣнію ея, это былъ единственный въ Заболотьѣ человѣкъ, на совѣсть котораго можно было вполнѣ положиться. Называла она его не иначе, какъ „Герасимушкой“, никогда не заставляла стоять передъ собой и пила вмѣстѣ съ нимъ чай. Дѣйствительно, это былъ честный и бравый старикъ. Въ то время ему было уже за шестьдесятъ лѣтъ, и матушка не шутя боялась, что вотъ-вотъ онъ умретъ.

— Что̀ я тогда? Куда безъ него поспѣла? —загодя печаловалась она: — я здѣсь безъ него какъ въ дремучемъ лѣсу. Хоть бы десять годковъ еще послужилъ!

Я какъ сейчасъ его передъ собой вижу. Высокій, прямой, съ опрокинутой назадъ головой, въ старой поярковой шляпѣ грешневикомъ, съ клюкою въ рукахъ, выступаетъ онъ, бывало, твердой и сановитой походкой, изъ воротъ, выходившихъ на площадь, по направленію къ конторѣ, и вся его фигура сіяетъ честностью и сразу внушаетъ довѣріе. Встрѣтившись со мною, онъ возьметъ меня за руку и спроситъ ласково:

— Что̀, грачи-то наши, видно, еще не надоѣли? Ничего, поживи у насъ, присматривайся. Можетъ, маменька Заболотье-то подъ твою державу отдастъ —вотъ и хорошо будетъ, какъ въ знакомомъ мѣстѣ придется жить. Тогда, небось, и грачи любы будутъ.

Съ матушкой онъ тоже обходился по душѣ, безъ церемоній.

— Слушайся меня, сударыня, пока живъ!—говорилъ онъ ей: — умру, такъ и захотѣлось бы съ Герасимомъ посовѣтоваться—анъ его нѣтъ!

— Я и то слушаюсь,—шутя отвѣчала матушка.

— То-то; я дурного не посовѣтую. Вотъ въ Поздѣевой пустоши клочокъ-то, объ которомъ намеднись я говорилъ, — встарину онъ нашъ былъ, а теперь имъ графскіе крестьяне ужъ десять лѣтъ владѣютъ. А земля тамъ хорошая, трава вò какая ростетъ!

— Что же вы зѣвали, въ свое время не жаловались?

— Кому жаловаться? и кто бы за насъ заступился? А ныньче, слышь ты, ужъ и давность прошла. Ты правды ищешь, а они тебѣ: нельзя, давность прошла,—это на правду-то!

— Ну, погоди, погоди! Можетъ быть, и оттягаемъ!

— Дай-то Богъ! Пошли тебѣ Царица Небесная!..

И т. д., и т. д.

Разговоры подобнаго рода возобновлялись часто и по поводу не одной Поздѣевки, но всегда келейно, чтобы не вынести изъ избы сору и не обнаружить матушкиныхъ замысловъ. Но нельзя было ихъ скрыть отъ Могильцева, безъ котораго никакое дѣло не могло обойтись, и потому нерѣдко противная сторона довольно подробно узнавала о планахъ и предположеніяхъ матушки.

Обыкновенно докладъ вотчинныхъ властей былъ непродолжителенъ и преимущественно состоялъ въ пріемѣ оброчной суммы, которая въ Заболотьѣ собиралась круглый годъ и по мелочамъ. Матушка щелкала счетами, справлялась въ окладной книгѣ и отмѣчала поступленіе. Затѣмъ подбирала синія ассигнаціи къ синимъ, красныя къ краснымъ и, отославъ земскаго, запирала сумму въ денежный ящикъ, который переѣзжалъ вмѣстѣ съ нею изъ имѣнья въ имѣнье.

Часовъ съ десяти столъ устилался планами генеральнаго межеванія, и начиналось настоящее дѣло. Въ совѣщаніяхъ главную роль игралъ Могильцевъ, но и Герасимушка почти всегда при нихъ присутствовалъ. Двери въ спальню затворялись плотно, и въ сосѣдней комнатѣ слышался только глухой гулъ... Меня матушка отсылала гулять.

— Ступай, голубчикъ, погуляй! — говорила она ласково: — по палисадничку побродн, по рощицѣ. Если увидишь бабъ-грибницъ—гони!

Это было самое скучное для меня время. Книгъ мы съ собой не брали;

въ контору ходить я не рѣшался; конюшни и каретный сарай запирались на замокъ, и кучеръ Алемпій, пользуясь полной свободой, либо благодушествовалъ въ трактирѣ, гдѣ его даромъ поили чаемъ, либо присутствовалъ въ конторѣ при судбищахъ. Единственный лакей, котораго мы брали изъ Малиновца, былъ по горло занятъ, и безпрерывно шмыгалъ, съ посудой, ножами и проч., изъ кухни въ домъ и обратно. Я бродилъ безъ цѣли, и подъ-конецъ начиналъ чувствовать голодъ, потому что и здѣсь, какъ въ Малиновцѣ, до обѣда ѣсть не давали. Въ Малиновцѣ я тайкомъ забрался бы въ кухню или на погребъ, и тамъ чѣмъ-нибудь раздобылся бы; но здѣшній поваръ былъ мнѣ незнакомъ, и просить было совѣстно. Однимъ словомъ, праздность одолѣвала меня и располагала къ нездоровымъ мечтамъ. Единственное развлеченіе состояло въ томъ, что иногда попадался въ травѣ упавшій изъ гнѣзда вороненокъ, и я гонялся за нимъ, но боялся взять въ руки: неравно ущипнетъ. Боялся я тоже лягушекъ, которыхъ въ рощѣ было множество, и притомъ крупныхъ: а что̀, ежели она прыгнетъ да въ лицо вопьется! Вообще мы были воспитаны въ такомъ отчужденіи отъ всего живого, что всякихъ пустяковъ боялись. Эта боязнь осталась за мной и въ зрѣломъ возрастѣ; мышь, лягушка, ящерица и до сихъ поръ однимъ своимъ видомъ производятъ на мои нервы довольно сильное раздраженіе.

Наконецъ до слуха моего доходило, что меня кличутъ. Матушка выходила къ обѣду къ двумъ часамъ. Обѣдъ подавался изъ свѣжей провизіи, но изготовленный неумѣлыми руками, очень неапетитно. Начатый прежде разговоръ продолжался и за обѣдомъ, но я, конечно, участія въ немъ не принималъ. Иногда матушка была весела, и это означало, что Могильцевъ ухитрился придумать какую-нибудь „штучку".

— Вотъ-то глаза вытаращитъ!—говорила она оживленно:—да постой! и у меня въ головѣ штучка въ томъ же родѣ вертится, только надо ее обдумать. Ужо̀, можетъ быть, и разскажу.

— Случается, сударыня, такую бумажку напишешь, что и къ дѣлу она совсѣмъ не подходитъ—смотришь, анъ польза!—хвалился съ своей стороны Могильцевъ.—Вѣдь противникъ-то какъ въ лѣсу бродитъ. Читаетъ и думаетъ: „это не даромъ! навѣрное *онъ* куда-нибудь далеко крючокъ закинулъ". —И начнетъ паутину кругомъ себя путать. Путаетъ-путаетъ, да въ собственной путаницѣ и застрянетъ. А мы въ это время и еще загадку ему загадаемъ.

— Безподобно!

Но бывало, что матушка садилась за столъ недовольная. Очевидно, Могильцевъ на чемъ-нибудь не согласился съ нею, или она, съ свойственной ей мнительностью, заподозрила его. Тогда обѣдъ проходилъ молча. Напрасно Могильцевъ увѣрялъ:

— Да будьте безъ сомнѣнія, довѣрьтесь мнѣ, сударыня! сами послѣ увидите...

— Я и теперь вижу,—рѣзко возражала матушка: — вижу я, что ты богословъ да не однословъ... А ты что̀ фордыбачишь! — придиралась она и ко мнѣ: — что̀ надулся, не ѣшь! Здѣсь, голубчикъ, суфлеевъ да кремовъ не полагается. Ѣшь что̀ даютъ, а не то и изъ-за стола прогоню.

Затѣмъ всѣ молчали, и обѣдъ живо приходилъ къ концу.

Послѣ обѣда матушка удалялась въ спальню, а Могильцевъ—въ свою комнату, и въ домѣ наступало сонное царство. Агаша продолжала сидѣть на низенькой скамеечкѣ у дверей матушкиной комнаты и тоже дремала. Я, по прежнему, оставался одинъ, и рѣшительно не зналъ, что̀ съ собой дѣлать.—Чѣмъ лучше быть: генераломъ или архіереемъ?—мелькало у меня въ головѣ; но вопросъ этотъ уже безчисленное множество разъ разрѣшался мною то въ томъ, то въ другомъ смыслѣ, а потомъ и онъ пересталъ интересовать. Скука, скука, скука! Во сто разъ веселѣе вонъ тѣмъ сельскимъ мальчишкамъ, которые играютъ въ бабки среди опустѣлой площади, не зная, что̀ значитъ на свѣтѣ одиночество...

Понятно, съ какимъ нетерпѣніемъ я отсчитывалъ интервалы (обѣдъ, вечерній чай, ужинъ), которые отдѣляли утро отъ ночи.

Вечеръ снова посвящался дѣламъ. Около вечерняго чая являлся поваръ за приказаніями насчетъ завтрашняго обѣда. Но матушка, зная, что въ Заболотьѣ она, въ кулинарномъ отношеніи, зависитъ отъ случайности, неизмѣнно давала одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Что̀ мнѣ приказывать, голубчикъ! Чѣмъ Богъ пошлетъ, тѣмъ и покормишь! Будемъ сыты—слава Богу!

— Говядинки сегодня не достали, такъ не угодно ли щи съ солониной приказать? Солонина хорошая.

— Ну, щецъ съ солониной свари.

— А на жареное—молодыхъ тетеревей принесли...

— Ну, вотъ и будетъ съ насъ. Щецъ похлебаемъ, жарковца поѣдимъ. И сытёхоньки.

Замѣчательно, что хотя Уголокъ (бывшая усадьба тетенекъ-сестрицъ) находился всего въ пяти верстахъ отъ Заболотья, и тамъ домашнее хозяйство шло своимъ чередомъ, но матушка никогда не посылала туда за провизіей, подъ тѣмъ предлогомъ, что разновременными требованіями она можетъ произвести путаницу въ отчетности. Поэтому зерно и молочные скопы продавались на мѣстѣ прасоламъ, а живность зимой полностью перевозилась въ Малиновецъ.

Довольно часто по вечерамъ матушку приглашали богатые крестьяне чайку испить, заѣдочковъ покушать. Въ этихъ случаяхъ я былъ ея неизмѣннымъ спутникомъ. Матушка, такъ сказать, по природѣ льнула къ капиталу, и потому была очень ласкова съ заболотскими богатѣями. Нѣкоторымъ она даже давала деньги для оборотовъ, конечно, за высокіе проценты. Съ теченіемъ времени, когда она окончательно оперилась, это составило тоже значительную статью дохода.

Церемоніалъ пріема въ крестьянскихъ домахъ былъ очень сложенъ. Встрѣчали матушку всѣмъ домомъ у воротъ (при первомъ посѣщеніи хозяинъ стоялъ впереди съ хлѣбомъ-солью); затѣмъ пропускали ее впередъ и усаживали подъ образа. Но изъ хозяевъ никто, даже старики, не садились, какъ ни настаивала матушка.

— Не купленныя ноги-то—и постоимъ!—слышалось въ отвѣтъ.

Комната, въ которой насъ принимали, была, конечно, самая простор-

ная въ домѣ; ее заранѣе мыли и чистили и передъ образами затепляли лампады. Столъ, накрытый пестрою ярославскою скатертью, былъ уставленъ тарелками съ заѣдочками. Такъ назывались лавочныя лакомства, о которыхъ я говорилъ выше. Затѣмъ подавалось бѣлое вино въ рюмкахъ, иногда даже водка, и чай. Безпрестанно слышалось:

— Не обезсудьте!

— Не обидьте!

— Приневольтесь!

Разговоръ шелъ дѣловой: о торгахъ, о подрядахъ, о цѣнахъ на товары. Нѣкоторые изъ крестьянъ поставляли въ казну полотна, кожи, солдатское сукно и проч., и разсказывали, на какіе нужно подниматься фортели, чтобы подрядъ исправно сошелъ съ рукъ. Время проходило довольно оживленно, только душно въ комнатѣ было, потому что вся семья хозяйская считала долгомъ присутствовать при пріемѣ. Даже на улицѣ скоплялась передъ окнами значительная толпа любопытныхъ.

Къ десяти часамъ мы уже были дома, и я ложился спать, почти утомленный, почти разслабленный.

Такъ длилось три-четыре дня (матушка рѣдко пріѣзжала на болѣе продолжительный срокъ); наконецъ, послѣ ранняго обѣда, къ крыльцу подъѣзжала пароконная телѣга, въ которую усаживали Могильцева, а на другой день, съ разсвѣтомъ, покидали Заболотье и мы.

— Что, нравится тебѣ въ Заболотьѣ? весело? — спрашивала меня матушка.

— Ахъ, маменька! — восклицалъ я въ отвѣтъ, стараясь изобразить на лицѣ восхищеніе *).

---

*) Кстати, приведу здѣсь любопытный фактъ, которому не нашлось мѣста въ разсказѣ. Въ числѣ крестьянъ Заболотской вотчины, перешедшихъ въ собственность матушки, былъ одинъ по фамиліи Бодрецовъ, котораго называли „бариномъ". Дѣйствительно, у него было собственныхъ пятьдесятъ душъ крестьянъ, купленныхъ на имя прежняго владѣльца. Помѣщикъ не вмѣшивался въ его управленіе, несмотря на то, что на „барина" постоянно приходили жалобы. На жалобахъ этихъ помѣщикъ писалъ: „сіи крестьяне суть собственность Бодрецова, а собственность для меня священна". Когда имѣніе куплено было матушкой, она съ крестьянами Бодрецова поступила на законномъ основаніи, то-есть осуществила свое помѣщичье право на нихъ de facto.

X.—Тетенька Сластена.

Такъ звали тетеньку Раису Порфирьевну Ахлопину за ея гостепріимство и любовь къ лакомому куску. Жила она отъ насъ далеко, въ Р., слишкомъ въ полутораста верстахъ, вслѣдствіе чего мы очень рѣдко видались. Старушка однакожъ не забывала насъ, и ко дню ангеловъ и рожденій аккуратно присылала братцу и сестрицѣ поздравительныя письма. Разумѣется, ей отвѣчали тѣмъ же.

Раичку выдали замужъ очень рано, невступно шестнадцати лѣтъ, за р—скаго городничаго. Дѣвушка она была смирная, добрая, покорная и довольно красивая, но, еще будучи отроковицей, уже любила покушать. Суженому ея стукнуло уже подъ-пятьдесятъ лѣтъ, и вмѣсто правой ноги, которую оторвало ядромъ въ походѣ подъ турка, онъ ходилъ на деревяшкѣ, дѣйствуя ею впрочемъ очень проворно. За всѣмъ тѣмъ партія эта считалась завидною, благодаря служебному положенію маіора. Р. былъ большой торговый городъ на судоходной рѣкѣ, которая лѣтомъ загромождалась барками, обыкновенно остававшимися тамъ и на зимовку. Много было въ Р. значительныхъ капиталистовъ, достаточное количество раскольниковъ, а главное, вмѣстѣ съ судами приходила цѣлая громада рабочаго люда съ паспортами и безъ паспортовъ. Словомъ сказать, круглый годъ въ городѣ царствовала та хлопотливая неурядица, около которой можно было грѣть руки, зная напередъ, что тутъ чортъ ногу сломитъ, прежде чѣмъ до чего-нибудь доищется.

Повидимому этой сладкою увѣренностью согрѣвалось и маіорское сердце. Съ утра до вечера, зимой и лѣтомъ, Петръ Спиридонычъ ковылялъ, постукивая деревяшкой, по базару, гостиному двору, набережной, заходилъ къ толстосумамъ, искалъ, нюхалъ, и, конечно, доискивался и донюхивался. Лѣтъ черезъ десять дѣятельнаго городничества, когда онъ задумалъ жениться на Раичкѣ, у него былъ уже очень хорошій капиталъ, хотя по службѣ онъ не слылъ притязательнымъ. Ласковъ онъ былъ, и бралъ не зря, а за дѣло. Купцы дарили его даже „за любовь", за то, что онъ крестилъ у нихъ дѣтей, за то, что онъ не забывалъ именинъ, а часто и запросто заходилъ чаю откушать. Каждомѣсячно посылали ему „положеніе" (не за страхъ, а за совѣсть), и ежели встрѣчалась нужда, то за нее дарили особо. Но не по условію, а столько, сколько Богъ на душу положитъ, чтобъ не обидно было. И онъ никогда не имѣлъ повода обижаться, и даже убѣдился, что ласка дѣйствуетъ гораздо сильнѣе, нежели грубое вымогательство. Только съ рабочимъ людомъ онъ обходился нѣсколько проще,—ну, да вѣдь на то онъ и рабочій людъ, чтобы съ нимъ недолго „разговаривать".—Есть пачпортъ? — вотъ тебѣ такса, вынимай четвертакъ!—Нѣтъ пачпорта—плати цѣлковый-рубль, а не то и острогъ недалеко!—И опять-таки безъ вымогательства, а „по правилу".

Лѣтъ черезъ двадцать послѣ женитьбы онъ умеръ, оплакиваемый гражданами, оставивъ женѣ значительный капиталъ (подъ-конецъ его считали въ четырехъ стахъ тысячахъ ассигнаціями) и дочку пяти лѣтъ. Раиса Порфирьевна за ничтожную сумму купила на выгонѣ десятинъ десять земли, возлѣ самой городской черты, и устроилась тамъ. Выстроила просторный домъ, раз-

вела огородъ и фруктовый садъ, наполнила холостыя постройки домашнимъ скотомъ и всякой птицей и зажила какъ въ деревнѣ. Усадьба была почти идеальная, потому что соединяла сельскія удобства съ городскими. Базаръ подъ руками, церквей и не перечесть, знакомыхъ сколько угодно, а когда Леночка начала подростать, то и въ учителяхъ недостатка не было.

Откормивъ Леночку въ мѣру пышной русской красавицы, она берегла ее дома до восемнадцати лѣтъ и тогда только рѣшила выдать замужъ за поручика Красавина, человѣка смирнаго и тоже достаточнаго. Но молодыхъ отъ себя не отпустила, а поселила вмѣстѣ съ собой. Всѣмъ было тамъ хорошо; всякая комната имѣла свой апетитный характеръ и внушала апетитныя мысли, такъ что не только-домашніе съ утра до вечера кушали, лакомились и добрѣли, но и всякій пришлый человѣкъ чувствовалъ себя расположеннымъ хоть чего-нибудь да отвѣдать. Прислуга собралась веселая, бойкая, какая бываетъ только у дѣйствительно добрыхъ господъ. Въ передней то-и-дѣло раздавался звонокъ и слышались голоса:

— Дома?

— Пожалуйте! только-что кушать сѣли.

Входилъ гость, за нимъ прибывалъ другой, и никогда не случалось, чтобъ кому-нибудь чего-нибудь недостало. Всего было вдоволь: индейка такъ индейка, гусь такъ гусь. Кушайте на здоровье, а ежели мало, такъ и цыпленочка можно велѣть зажарить. Въ четверть часа готовъ будетъ. Не то что въ Малиновцѣ, гдѣ одинъ гусиный полотокъ на всю семью мелкими кусочками изрѣжутъ, да еще норовятъ, какъ бы и на другой день осталось.

Но черезъ годъ случилось несчастіе. Леночка умерла родами, оставивъ на рукахъ пятидесятилѣтней матери новорожденную дочь Сашеньку. А недолго спустя послѣ смерти жены скончался и поручикъ Красавинъ.

Это было великое горе, и тетенька долгое время не осушала глазъ. Вспомнилось, что ей ужъ пятьдесятъ лѣтъ, что скоро наступитъ старость, а можетъ быть и смерть—на кого она оставитъ Сашеньку? Правда, что она досихъ поръ не знала ни малѣйшей хворости, но вѣдь Богъ въ смерти и животѣ воленъ. Здорова, здорова — и вдругъ больна. Шея-то у нея вонъ какая короткая, долго ли до грѣха! Списывалась-было она съ сестрицей Ольгой Порфирьевной, приглашала ее къ себѣ на житье, но, во-первыхъ, Ольга Порфирьевна была еще старше ея; во-вторыхъ она въ то время хозяйствовала въ Малиновцѣ и, главное, никакъ не соглашалась оставить сестрицу Машу. А жить съ Марьей Порфирьевной тетенька не желала, зная ея проказливость и чудачества, благодаря которымъ ея благоустроенный домъ могъ бы въ одинъ мѣсяцъ перевернуться вверхъ дномъ. Другихъ сестеръ Раиса Порфирьевна тоже не жаловала, да и разбрелись онѣ по дальнимъ губерніямъ, такъ что и не отыщешь пожалуй. Что же касается до мужниной родни, то ея хоть и много было, но покойный маіоръ никогда не жилъ съ нею въ ладахъ, и даже, умирая, предостерегалъ отъ нея жену.

— Смотри, послѣ моей смерти братцы, пожалуй, наѣдутъ,—говорилъ онъ:—услуги предлагать будутъ, такъ ты ихъ отъ себя гони!

Наконецъ тяжелое горе отошло-таки на задній планъ, и тетенька всею силою старческой нѣжности привязалась къ Сашенькѣ. Лелѣяла ее, холила,

запрещала прислугѣ ходить мимо ея комнаты, когда она спала, и исподоволь подкармливала. Главною ея мечтой, объ осуществленіи которой она ежедневно молилась, было дожить до того времени, когда Сашенькѣ минетъ шестнадцать лѣтъ.

— Выдамъ ее за хорошаго человѣка замужъ и умру,—говорила она себѣ, но втайнѣ прибавляла:—а можетъ быть, Богъ пошлетъ, и поживу еще съ ними.

Съ своей стороны и Сашенька отвѣчала бабушкѣ такою же горячею привязанностью. И старая, и малая не надышались другъ на друга, такъ что бабушка, по дѣламъ оставшагося отъ покойнаго зятя имѣнія, даже совѣтовалась съ внучкой, и когда ей замѣчали, что Сашенька еще мала, не смыслитъ, то старушка увѣренно отвѣчала:

— Она-то не смыслитъ! да вы ее о чемъ угодно спросите—она на все отвѣтъ дастъ! И обѣдъ заказать, и по саду распорядиться... вотъ она у меня какова!

Однимъ словомъ, это былъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ домовъ, гдѣ всѣмъ жилось привольно: и господамъ, и прислугѣ. Всѣ любили другъ друга, и въ особенности лелѣяли Сашеньку, признавая ее хозяйкой не только наравнѣ съ бабушкой, но даже, пожалуй, повыше. И чѣмъ дольше жили, тѣмъ жизнь становилась пріятнѣе. Гнѣздо окончательно устроилось; садъ разросся и былъ преисполненъ всякою сластью; коровы давали молока не въ примѣръ прочимъ: даже четыре овцы, которыхъ бабушка завела въ угоду внучкѣ, ягнились два раза въ годъ и приносили не по одному, а по два ягненка за разъ.

— Вотъ и день сошелъ! да еще какъ сошелъ-то—и не замѣтили! Тихо, мирно!—говаривала бабушка, отпуская внучку спать. — Молись, Сашенька, проси милости, чтобы и завтрашній день былъ такой же!

Именно только повтореніе одного и того же дня и требовалось.

Я уже сказалъ выше, что наше семейство почти совсѣмъ не видѣлось съ Ахлопиными. Но однажды, когда я пріѣхалъ въ Малиновецъ, на каникулы изъ Москвы, гдѣ я только-что началъ ученье, матушка вспомнила, что 28-го іюня предстоятъ именины Раисы Порфирьевны. Самой ѣхать въ Р. ей было недосужно; поэтому она рѣшилась послать кого-нибудь изъ дѣтей. Къ счастію, выборъ палъ на меня.

Ѣхалъ я на своихъ, цѣлыхъ два дня съ половиной, одинъ, безъ прислуги, только въ сопровожденіи кучера Алемпія. Останавливались черезъ каждыя тридцать верстъ въ деревенскихъ избахъ, потому что съ проселка на столбовой трактъ выѣзжали только верстъ за сорокъ отъ Р. Наконецъ за два дня до семейнаго праздника достигли мы цѣли путешествія. Былъ уже седьмой часъ вечера, когда наша бричка, миновавъ пыльный городъ, остановилась передъ крыльцомъ Ахлопинскаго дома, но солнце еще стояло довольно высоко. Домъ былъ одноэтажный, съ мезониномъ, одинъ изъ тѣхъ форменныхъ домовъ, которые сплошь и рядомъ встрѣчались въ помѣщичьихъ усадьбахъ; разница заключалась только въ томъ, что помѣщичьи дома были большею частью некрашенные, почернѣлые отъ старости и недостатка ремонта, а тутъ даже снаружи все глядѣло свѣтло и чисто, точно сейчасъ ремонтированное. Съ одной стороны дома расположены были хозяйственныя

постройки; съ другой, изъ-за выкрашеннаго тына, выглядывалъ садъ, кругомъ обсаженный липами, которыя начинали уже зацвѣтать. Въ воздухѣ чувствовался наступающій вечеръ съ его прохладой; липа далеко распространяла сладкое благоуханіе. Меня сразу обняло чувство отрады и покоя, особливо послѣ продолжительнаго пути и душнаго города, который только-что обдалъ насъ вонью и пылью.

Насъ встрѣтила молодая горничная, никогда меня не видавшая, но какъ будто почуявшая, что я здѣсь буду желаннымъ гостемъ.

— Пожалуйте! пожалуйте!—звонко приглашала она: — всѣ въ баньку ушли, сейчасъ воротятся, а потомъ чай будутъ кушать. Какъ объ васъ доложить?

Я назвалъ себя.

— Ахъ ты Господи! Затрапезные! А барыня точно чуяли. Еще давеча утромъ только и говорили: „вотъ кабы братецъ Василій Порфирьичъ вспомнилъ!“ —Пожалуйте! пожалуйте! Сейчасъ придутъ! сейчасъ!

Она живо скрылась, сдавъ меня на руки старику-слугѣ, который, узнавъ, что пріѣхалъ молодой Затрапезный, тоже чему-то обрадовался и заспѣшилъ.

— Пожалуйте! пожалуйте! — говорилъ онъ: — тетенька еще давеча словно чуяли: „вотъ, молъ, кабы братецъ Василій Порфирьичъ объ днѣ ангела моего вспомнилъ!“

Онъ провелъ меня черезъ длинную, въ четыре окна залу, въ гостиную и затѣмъ въ небольшую столовую, гдѣ другая горничная накрывала столъ для чая и тоже обрадовалась и подтвердила, что сердце тетеньки „чуяло“.

Не прошло и десяти минутъ, какъ я уже стоялъ лицомъ къ лицу съ тетенькой и кузиной.

Тетенька, толстенькая, небольшого роста старушка, еще бодро несла свой седьмой десятокъ лѣтъ. Лицо ея круглое, пухлое, съ щеками, покрытыми старческимъ румянцемъ, лоснилось послѣ бани; глаза порядочно-таки заплыли, но еще живо свѣтились въ своихъ щелочкахъ; губы, сочныя и розовыя, улыбались, на подбородкѣ играла ямочка, зубы были всѣ цѣлы. На головѣ ея былъ бѣлый старушечій чепчикъ, нѣсколько влажный послѣ мытья; на плечахъ свободно висѣлъ темненькій шерстяной капотъ, безъ всякаго намека на талію. Была ли она когда-нибудь красива — этого нельзя было угадать, но во всякомъ случаѣ и теперь смотрѣть на нее было очень пріятно.

Сашенька была въ полномъ смыслѣ двѣнадцати-лѣтняя русская красотка. Коли хотите, она напоминала собой бабушку, но такъ, какъ напоминаетъ развертывающаяся розовая распуколка свою сосѣдку, облетающую розу. Бѣлое, съ чуть-чуть замѣтною желтизною, какъ у густыхъ сливокъ, лицо, румянецъ во всю щеку, алыя губы, ямочка посреди подбородка, большіе черные глаза, густая прядь черныхъ волосъ на головѣ — все обѣщало, что въ недалекомъ будущемъ она развернется въ настоящую красавицу. Какъ и у бабушки, на головѣ ея былъ чепчикъ, нѣсколько впрочемъ пофасонистѣе, а одѣта она была въ такой же темный шерстяной капотъ безъ таліи.

— Никаша? — угадывала тетенька, пристально вглядываясь въ меня.

— Онъ самый-съ.

— Ахъ, милый! ахъ, родной! да какой же ты большой!—восклицала она, обнимая меня своими коротенькими руками:—да никакъ ты ужъ въ ученьи, что на тебѣ мундирчикъ надѣтъ! А вотъ и Сашенька моя. Ишь вѣдь старушкой одѣлась, а все отъ того, что ужъ очень на-встрѣчу спѣшила... Поцѣлуйтесь, родные! племянница вѣдь она твоя! Поиграйте вмѣстѣ, побѣгайте ужò, дядюшка съ племянницей!

Мы поцѣловались, и мнѣ показалось даже, что Сашенька сдѣлала книксенъ.

— Ахъ, дяденька, мнѣ такъ давно хотѣлось познакомиться съ вами! —сказала она:—и какой на васъ мундирчикъ славный!

— Какъ же! дамъ я ему у тетки родной въ мундирѣ ходить! — подхватила тетенька: — ужò по саду бѣгать будете, въ землѣ вываляетесь — на чтò мундирчикъ похожъ будетъ! Вотъ я тебѣ кацавейку старую дамъ и ходи въ ней на здоровье! а въ праздникъ къ обѣднѣ, коли захочешь, во всемъ парадѣ въ церковь поѣдешь!

Мнѣ шелъ тогда двѣнадцатый годъ. Это самый несносный возрастъ въ дѣтствѣ, тотъ возрастъ, когда мальчикъ начинаетъ воображать себя взрослымъ. Онъ становится очень чутокъ ко всякой шуткѣ, будь она самая безобидная; старается говорить басомъ, щегольнуть, неохотно принимаетъ участіе въ играхъ, серьезничаетъ, надувается. Вообще, какъ говорится, кобенится. Кобенился и я. На этомъ основаніи я на послѣдней станціи перемѣнилъ свою куртку на мундиръ; на этомъ же основаніи двукратное упоминовеніе о мундирѣ—какъ будто я имъ хвастаюсь!—и въ особенности обѣщаніе замѣнить его кацавейкой задѣли меня за живое.

— Я своимъ мундиромъ горжусь! — отвѣтилъ я; но вѣроятно выраженіе моего лица было при этомъ настолько глупо, что тетенька угадала нанесенную мнѣ обиду и расхохоталась.

— Вздоръ! вздоръ, голубчикъ! — шутила она: — мундирчикъ твой мы уважаемъ, а все-таки спрячемъ, а тебѣ кацавейку дадимъ! Бѣгай въ ней, веселись... чтò надуваться-то! Да вотъ еще что! не хочешь ли въ баньку сходить съ дорожки? мы только-что отмылись... Ахъ, хорошо въ банькѣ! Старуха Акуля живо тебя вымоетъ, а мы съ чаемъ подождемъ!

— Сходите, дяденька, въ баньку! — съ своей стороны умильнымъ голоскомъ упрашивала тетя Сашенька.

Это была вторая обида. Позволить себя, взрослаго юношу, мыть женщинѣ... это ужъ ни на что не похоже!

— Покорно благодарю, тетушка! я въ баню идти не желаю!—сказалъ я холодно и даже съ примѣсью гадливости въ голосѣ.

— Ахъ, да ты, вѣрно, старой Акули застыдился! такъ вѣдь ей, голубчикъ, за семьдесятъ! И мастерица ужъ она мыть! еще папеньку твоего мывала, когда въ Малиновцѣ жила. Вздоръ, сударь, вздоръ! Иди-ка въ баньку и мойся! въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ! Настюша! скажи Акулинѣ, да проведи его въ баню!

Словомъ сказать, меня и въ банькѣ вымыли, и въ тотъ же вечеръ облачили въ кацавейку.

— Вотъ и прекрасно! и свободно тебѣ, и не простудишься послѣ баньки! — воскликнула тетенька, увидѣвъ меня въ новомъ костюмѣ. — Кушай-ка чай на здоровье, а потомъ клубнички со сливочками поѣдимъ. Нѣтъ худа безъ добра: покуда ты мылся, а мы и ягодокъ успѣли набрать. Мало ихъ еще, только-что поспѣвать начали, мы сами въ первый разъ ѣдимъ.

Чай былъ вкусный, сдобныя булки — удивительно вкусныя, сливки — еще того вкуснѣе. Я убиралъ за обѣ щеки, а тетенька, смотря на меня, тихо радовалась. Затѣмъ пришла очередь и для клубники; тетенька раздѣлила набранное на двѣ части: мнѣ и Сашенькѣ, а себѣ взяла только одну ягодку.

— Разговѣюсь, и будетъ съ меня! въ другой разъ я, пожалуй, и побольше васъ съѣмъ,—молвила она.

Чай кончился къ восьми часамъ. Солнце было уже на исходѣ. Мы хотѣли идти въ садъ, но тетенька отсовѣтовала: неравно роса будетъ, послѣ бани и простудиться не въ рѣдкость.

— Лучше сядемъ, да на солнышко посмотримъ, чисто ли оно, батюшко, сядетъ!

Солнце садилось великолѣпно. На половину его ужъ не было видно, и на краю запада разлилась широкая золотая полоса. Небо было совсѣмъ чистое, синее; только немногія облака, легкія и перистыя, плыли вразбродъ, тоже пронизанныя золотомъ. Тетенька сидѣла въ креслахъ прямо противъ исчезающаго свѣтила, крестилась и старческимъ голоскомъ напѣвала: „Свѣте тихій“...

— Кабы не Сашенька — кажется бы... — молвила она, но, не докончивъ, продолжала: — хорошій день будетъ завтра, вёдреный; косить ужъ около дворовъ начали—работа въ вёдрышко спорѣе пойдетъ. Что̀ говорить! Потрудятся мужички, умаются, день-то деньской косою махавши, да потомъ и порадуются, что изъ ихняго отягощенія, по крайности, хоть прокъ вышелъ. Тра̀вы нынче отличныя, яровые тоже хорошо уродились. И сѣнца, и соломки —всего вдоволь будетъ. Мужичокъ-то и вздохнетъ. Вотъ мы и не сѣемъ, и не жнемъ, а намъ хорошо живется,—пусть и трудящимся будетъ хорошо.

Въ десять часовъ подали ужинъ, и въ заключеніе на столѣ опять явилось... блюдо клубники!

— Это еще что̀! — изумилась тетенька: — вѣдь такимъ манеромъ вы меня въ праздникъ безъ ягодъ оставите! Пріѣдутъ гости, и потчивать нечѣмъ будетъ.

— Это, сударыня, Иванъ Михайлычъ прислали!

— Ахъ, кумъ дорогой! Все-то онъ такъ! Сосѣдъ это нашъ, —обратилась тетенька ко мнѣ: — тутъ же о-бокъ живетъ, тоже садами занимается. Служилъ онъ у покойнаго Петра Спиридоныча въ частныхъ приставахъ — ну, и скопилъ праведными трудами копѣечку про черный день. Да, хорошо при покойномъ было, тихо, смирно, ни кляузъ, ни жалобъ — ничего такого! Ходитъ, бывало, сердечный другъ, по городу, деревяшкой постукиваетъ, и всякому-то онъ ласковое слово скажетъ. Постучится въ окно, къ какому-нибудь куму— у всего города онъ дѣтей крестилъ — спроситъ: „самоваръ на столѣ?“ — Готовъ, сударь. — Взойдетъ, выпьетъ стаканъ, и опять пошелъ постукивать. И представь себѣ, какъ хорошо у насъ выходило: 28-го я

именинница, а 29-го — онъ. Такъ два дня сряду, бывало, и идетъ у насъ пиръ горой.

Тетенька умилилась и отерла слезинку.

— Впрочемъ и теперь пожаловаться не могу, — продолжала она: — кругомъ живетъ народъ тихій, благонравный, на Бога не ропщетъ, смотритъ весело, словно и огорченій на свѣтѣ нѣтъ. Ахъ, да и не люблю я этихъ... задумчивыхъ! Я и прислугу держу веселую; люблю, чтобъ около меня съ довольными лицами ходили, разговаривали, пѣсни пѣли. А ежели кто недоволенъ мной, того я силкомъ не держу. Хоть и крѣпостные они мои, а я все-таки помню, что человѣку иногда трудно себя переломить. Каждый божій день тѣ же да тѣ же комнаты, да съ посудой возись—хоть кому шею намозолитъ! Понимаю я это, мой другъ, и цѣню, когда прислуга съ веселіемъ трудъ свой пріемлетъ. Вотъ только Акуля съ Родивономъ—изъ мужской прислуги онъ одинъ въ домѣ и есть, а прочія все дѣвушки—все что-то про себя мурлыкаютъ. Ну, да это ужъ отъ старости. Подумай, вѣдь Акулѣ-то ужъ годовъ восемьдесятъ. Няньчила она меня еще вотъ эконькую, и до сихъ поръ про Малиновецъ вспоминаетъ. Ахъ, да и хорошо было тамъ при маменькѣ Надеждѣ Гавриловнѣ!

Когда дошла очередь до блюда съ клубникой, тетенька расфилософствовалась.

— Вотъ, — говорила она: — какъ Богъ-то премудро устроилъ. Нѣтъ чтобы въ саду все разомъ поспѣло, а всякой ягодѣ, всякому фрукту свой чередъ опредѣленъ. Къ Петрову дню—клубника, къ Казанской — малина, къ Ильину дню—вишенье, ко второму Спасу—яблоки, груши, сливы. А въ промежуткахъ—смородина, крыжовникъ. На цѣлыхъ два мѣсяца лакомства хватитъ. Глядя на это, и мы въ своихъ дѣлахъ стараемся подражать. У меня во дворѣ четыре коровушки, и никогда не бывало, чтобъ всѣ разомъ телились. Одна въ Филипповки телится, другая — великимъ постомъ, третья— въ Петровки, а остатняя въ Спожинки. Круглый годъ у насъ и молочко, и сливочки, и маслицо — все свое. А къ празднику и свой теленочекъ есть. Вотъ послѣ-завтра увидишь, какого мы бычка ко дню моего ангела выпоили! Сама сегодня утромъ ходила глядѣть на него: лежитъ, глаза закрывши, не шевельнется. Жаль бѣдненькаго, а приходится рѣзать. Ну, да вѣдь и то сказать: не человѣкъ, а скотина!

Въ заключеніе, старушка встала изъ-за стола и сказала:

— А теперь и баиньки пора. Покушали, поговорили—и въ постельку. Ты, дружокъ, съ дорожки-то покрѣпче усни, и будить тебя не велю.

Мы простились по-старинному. Тетенька сперва подавала ручку для поцѣлуя, потомъ цѣловала въ губы и наконецъ опять подавала ручку. Въ заключеніе—крестила и отпускала.

Мнѣ отвели комнату въ сторонѣ, съ окномъ, выходившимъ въ садъ. Въ комнатѣ все смотрѣло уютно, чисто, свѣжо. Сквозь открытое окно врывались благоуханія лѣтней теплой ночи.

На кровати, не внушавшей ни малѣйшихъ опасеній въ смыслѣ насѣкомыхъ, было постлано два пышно взбитыхъ пуховика, накрытыхъ чистымъ бѣльемъ. Раздѣть меня пришла молоденькая дѣвушка. Въ теченіе вечера я

уже успѣлъ побѣдить въ себѣ напускную важность, и не безъ удовольствія отдалъ себя въ распоряженіе Насти.

— Понравилось вамъ у насъ, баринъ?—спросила она у меня.

— Очень.

— Это еще что̀! погодите, что̀ въ Раисинъ день будетъ! Столъ-то тогда въ большой залѣ накроютъ, да и тамъ не всѣ господа размѣстятся, въ гостиную многіе перейдутъ. Двухъ поваровъ изъ города позовемъ, да кухарка наша будетъ помогать. Барыня-то и не садятся за столъ, а все ходятъ, гостей угощаютъ. Такъ развѣ чего-нибудь промежъ разговоровъ покушаютъ.

— А много васъ, дѣвушекъ, въ домѣ у тетеньки?

— Четыре. Ѳеклуша—за барышней ходитъ, шьетъ, а мы три за столомъ служимъ, комнаты убираемъ. За старой барыней няня ходитъ. Она и спитъ у барыни въ спальной, на полу, на войлочкѣ. Съ дѣтства, значитъ, такую привычку взяла. Ну, теперь почивайте, Христосъ съ вами! да не просыпайтесь рано, а когда вздумается.

Она уложила меня въ постель, накрыла одѣяломъ, потомъ заперла окно и ушла.

Едва приложилъ я голову къ подушкѣ, какъ уже почувствовалъ, что меня раскачиваетъ во всѣ стороны, точно въ лодкѣ. Пуховики были такъ мягки, что я лежалъ какъ бы распростертый въ воздухѣ. Одно мгновеніе—и я всѣмъ существомъ окунулся въ ту нѣжащую мглу, которая называется дѣтскимъ сномъ.

Я проснулся утромъ, около десяти часовъ, то-есть проспавши около полусутокъ. Проснулся совсѣмъ свѣжій, безъ малѣйшей усталости. Настя, какъ оказалось, уже неоднократно прислушивалась у дверей, и пришла какъ разъ во̀-время, чтобы подать мнѣ одѣться и умыться.

— Господа ужъ откушали чай, въ саду гуляютъ,—сказала она:—сейчасъ будутъ кофе пить, а вамъ самоваръ готовъ. И чайку, и кофейку напьетесь.

Но я, какъ только проснулся, вспомнилъ про нашихъ лошадей и про Алемпія, и потому прежде, чѣмъ идти въ столовую, побѣжалъ къ конюшнямъ. Алемпій, по обыкновенію, сидѣлъ на столбикѣ у конюшни и покуривалъ изъ носогрѣйки. Мнѣ показалось, что онъ за ночь сдѣлался какъ будто толще.

— Ну что̀, Алемпій, лошади отдохнули?—спросилъ я.

— Что̀ имъ дѣлается! конюшни здѣсь просторныя, сѣно душистое, овесъ чистый... Три дня постоятъ—и не удержишь.

— Ну, а ты... выспался! хорошо тебѣ?

— Вы спросите, кому здѣсь не хорошо-то? Кормъ здѣсь вольный, раза четыре въ день ѣдятъ. А захочешь еще поѣсть—ѣшь, сдѣлай милость! Опять и свобода дана. Я еще когда всталъ; и лошадей успѣлъ убрать, и въ городъ съ Акимомъ, здѣшнимъ кучеромъ, сходилъ, всѣ закоулки обѣгалъ. Большой здѣсь городъ, народу на базарѣ, барокъ на рѣкѣ—страсть! Акимъ-то, признаться, мнѣ рюмочку въ трактирѣ поднесъ, потому у тетеньки насчетъ этого строго.

Цѣлый день прошелъ въ удовольствіяхъ. Сперва чай пили, потомъ кофе,

потомъ завтракали, обѣдали, послѣ обѣда десертъ подавали, потомъ простоквашу съ молодою сметаною, потомъ опять пили чай, наконецъ ужинали. Въ особенности мнѣ понравилась за обѣдомъ „няня“, которую я два раза накладывалъ на тарелку. И у насъ, въ Малиновцѣ, по временамъ готовили это кушанье, но оно было куда не такъ вкусно. Ѣли исправно, губы у всѣхъ были маслянныя, даже глаза искрились. А тетушка между тѣмъ все понуждала и понуждала.

— Ѣшьте, дружки, Христосъ съ вами. Кушанье у насъ легкое, здоровое; коли и лишнее скушаете — худа не будетъ! Маслицемъ деревяннымъ животикъ помажемъ—и какъ рукой сниметъ!

Въ промежуткахъ между ѣдами мы съ Сашей бѣгали по саду, ловили другъ друга, перегонялись, хотя, признаюсь, однообразіе этихъ игръ скоро меня утомило. Саша замѣтила это.

— Вамъ, братецъ, скучно со мной?—спросила она грустно.

— Нѣтъ, ничего! А вотъ вамъ какъ? всегда вы однѣ да однѣ!

Она разсказала мнѣ, что ей совсѣмъ не скучно; а ежели и случится соскучиться, то она уходитъ къ сосѣдскимъ дѣтямъ, которыя и у нея бываютъ въ гостяхъ; что она, впрочемъ, по буднямъ и учится, и только теперь, по случаю моего пріѣзда, бабушка уволила ее отъ уроковъ.

— Ну, перестанемте бѣгать, коли вамъ скучно, давайте такъ говорить! —сказала она въ заключеніе: — у васъ въ заведеніи трудно? большіе уроки задаютъ?

Я охотно сталъ разсказывать, и, разумѣется, далъ волю воображенію:

— Я, Сашенька, Цицерона уже прочиталъ, а въ слѣдующемъ классѣ за Юлія Цезаря примусь.

— Какой такой Цицеронъ?

— Римскій сенаторъ. Онъ спасъ римскую республику отъ Катилины. Ахъ, еслибъ вы знали, какая это прелесть, его рѣчь противъ Катилины! „Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra!“—продекламировалъ я восторженно.

— А мнѣ говорили, что Римъ гуси спасли?

— Гуси сами собой, а Цицеронъ самъ собой... А изъ математики мы логариѳмы проходить станемъ. Вотъ трудно-то будетъ!

— За то ученымъ сдѣлаетесь.

— Я, сестрица, хочу профессоромъ быть.

— Вы какія науки больше любите?

— Я больше всего русскій языкъ люблю. У насъ сочиненія задаютъ, переложенія, особливо изъ Карамзина. Это нашъ лучшій русскій писатель. „Звонъ вечевого колокола раздался, и вздрогнули сердца новгородцевъ“ — вотъ онъ какъ писалъ! Другой бы сказалъ: „раздался звонъ вечевого колокола, и сердца новгородцевъ вздрогнули“, а онъ зналъ, на какихъ словахъ удареніе сдѣлать!

Разговаривая такимъ образомъ, мы скоро сблизились на „ты“, такъ что подъ-конецъ она не безъ волненія спросила меня:

— А ты долго у насъ погостишь?

— Утромъ послѣ Петрова-дня встану пораньше, соберусь — и ау, сестрица!

— Господи! хоть бы недѣльку погостилъ!

— Нельзя, голубушка, маменька строго-на-строго приказала. Если не ворочусь, какъ сказано, никуда впередъ не отпуститъ. И не просись.

Саша пожаловалась на меня бабушкѣ, но старушка, потуживъ вмѣстѣ съ внучкой по случаю моего скораго отъѣзда, въ заключеніе однакожъ похвалила меня.

— Слушайся папеньку съ маменькой, — сказала она: — родительское сердце—оно памятливое. Иногда и причины настоящей нѣтъ, а оно все объ дѣтищѣ болитъ да на мысли наводитъ. Не случилось ли чего, здоровъ ли, не сломался ли экипажъ, лихіе люди въ дорогѣ не обидѣли ли? Хоть про себя скажу. Далеко ли отсюда до города, а отпустишь, бывало, покойницу Леночку къ знакомымъ вечеромъ повеселиться:—„Я, маменька, въ одиннадцать часовъ возвращусь", — а я ужъ съ десяти часовъ сяду у окна да и сижу. Посидишь, вздремнешь, проснешься, опять вздремнешь — смотришь, анъ ужъ и полночь близко. Что̀ такое? Здорова ли? не случилось ли чего? Послать спросить совѣстно: осудятъ; скажутъ, вотъ безпокойная старуха, дочери повеселиться не дастъ. Да до часу, до двухъ и промаячишься. Такъ-то вотъ. Нѣтъ ужъ, голубчикъ, поѣзжай! коли папенька съ маменькой ждутъ, такъ и разговаривать нечего.

Вечеромъ, конечно, служили всенощную и наполнили домъ запахомъ ладана. Тетенька напоила чаемъ и накормила причтъ и насъ, но сама не пила, не ѣла и сидѣла сосредоточенная, готовясь къ наступающему празднику. Даже говорить избѣгала, а только изрѣдка перекидывалась коротенькими фразами. Горничныя тоже вели себя степенно, ступали тихо, говорили шопотомъ. Тотчасъ послѣ ухода причта меня уложили спать, и домъ раньше обыкновеннаго затихъ.

На другой день, съ восьми часовъ, мы отправились къ обѣднѣ въ ближайшую городскую церковь, и, разумѣется, пріѣхали къ „часамъ". По возвращеніи домой, началось именинное торжество, на которомъ присутствовали именитѣйшія лица города. Погода была отличная, и именинный обѣдъ состоялся въ саду. Все сошло какъ по маслу; пили и ѣли вдоволь, а теленокъ, о которомъ меня заранѣе предупреждала тетенька, оказался въ полномъ смыслѣ слова изумительнымъ.

Я не стану описывать остальное время, проведенное у тетеньки, но помню, что мнѣ ужасно не хотѣлось ѣхать. На утро послѣ Петрова-дня меня собрали, снабдили всякаго рода съѣстнымъ и гостинцами, благословили и отправили.

Пріѣхавши въ Малиновецъ, я подробно разсказывалъ братьямъ (Степа уже перешелъ въ послѣдній классъ, а Гриша тоже выдержалъ экзаменъ съ отличіемъ) о разливанномъ морѣ, въ которомъ я купался четыре дня, и роздалъ имъ привезенные гостинцы.

— А мы, братъ, здѣсь полотками питались,—грустно молвилъ Степа: —да впрочемъ вчера послѣдній прикончили. Finis polotcoviorum!

Послѣ этого я уже не видалъ тетеньки Раисы Порфирьевны, но она жила еще долго. Выкормивъ Сашеньку въ мѣру взрослой дѣвицы, выдала ее замужъ за „хорошаго“ человѣка, но не отпустила отъ себя, а приняла зятя въ домъ. Такимъ образомъ мечты ея осуществились вполнѣ.

Были ли въ ея жизни горести, кромѣ тѣхъ, которыя временно причинила смерть ея мужа и дочери, — я не знаю. Во всякомъ случаѣ старость ея можно было уподобить тихому сіянію вечерней зари, когда солнце уже окончательно скрылось за предѣлы горизонта и на западѣ свѣтится чуть-чуть видный отблескъ его лучей, а вдали плаваютъ облака, прообразующія соленья, варенья, моченья и всякій гарниръ—тоже игравшія въ ея жизни немаловажную роль. Прозвище „сластёны“ осталось за ней до конца.

Я не разъ впослѣдствіи проѣзжалъ мимо Р., но какъ-то всегда забывалъ заглянуть въ Ахлопинскую усадьбу. Слышалъ однакожъ, что усадьба стоитъ и понынѣ въ полной неприкосновенности, какъ при жизни старушки, только за садовымъ тыномъ уже не такъ тихо, како во времена оно, а слышится немолчное щебетаніе молодыхъ и свѣжихъ голосовъ. Это щебечутъ внуки и внучки Сашеньки (и она, въ свою очередь, овдовѣла), дѣти двоихъ ея сыновей, которые сами устроились въ Петербургѣ, а дѣтей покинули на руки бабушкѣ. Одинъ изъ этихъ сыновей состоитъ на службѣ, идетъ ходко и ко всякому празднику чего-нибудь ждетъ. Другой пока еще либеральничаетъ, но тоже начинаетъ косить глазами направо и налѣво, такъ что немудрено, что невдолгѣ и онъ начнетъ томиться съ приближеніемъ праздниковъ.

Сашенька унаслѣдовала отъ бабушки роль баловницы. И сама кушаетъ, и дѣточекъ прикармливаетъ. Всѣмъ она приготовила обезпеченный кусокъ, и живетъ среди своихъ птенчиковъ безболѣзненно, мирно и нимало не тяготясь шестидесятилѣтнею старостью, которая совершенно незамѣтно, безъ малѣйшихъ предостереженій, подкралась къ ней.

Помнитъ ли она обо мнѣ—я не думаю. По крайней мѣрѣ сыновья ея не сочли нужнымъ познакомиться со мной. Да и не мудрено: вѣдь я прихожусь имъ четвероюроднымъ дѣдушкой, а въ этой степени родства самая память объ узахъ невольно исчезаетъ. Притомъ же оба они вполнѣ проникли въ суть современной жизни. Одинъ—тайный совѣтникъ; другой хоть и опоздалъ, но тоже на хорошей дорогѣ стоитъ. А я ни во что не проникъ, живу словно въ муромскомъ лѣсу, и чувствую, какъ постепенно, одно за другимъ, падаютъ звенья, которыя связывали меня съ жизнью.

Такъ, „писáчка“...

О, „писáчки“ россійскіе! съ каждымъ годомъ вы плодитесь и множитесь, и наполняете землю отечественную стихами и прозою; но когда же вы въ мѣру человѣческаго возраста выростете?

стое“ — такъ; „глаза голубые, волосы на головѣ бѣлокурые, усы и бороду брѣетъ, носъ и ротъ обыкновенные; особая примѣта: на груди возлѣ лѣваго соска родимое пятно величиною съ гривенникъ“... Кòнька! возьми свѣчу! посмотри!

Лакей Кононъ, прислуживавшій за столомъ, подошелъ къ Ѳедосу со свѣчой, раздвинулъ прорѣху на рубашкѣ и отвѣтилъ.

— Вѣрно-съ!

— Ну, ежели вѣрно, такъ, значитъ, ты самый и есть. Однакожъ этого мало; на свѣтѣ бѣлокурыхъ да съ голубыми глазами хоть прудъ пруди. Коли ты Поликсены Порфирьевны сынокъ, сказывай, какова она была изъ себя?

Ѳедосъ и это требованіе выполнилъ отчетливо, безъ запинки.

— Такъ что-ли?—обратилась матушка къ отцу:—говори, сударь! ты сестрицу свою долженъ помнить, а я и въ глаза ее не видала.

— Не знаю! не знаю! — бормоталъ отецъ, по обыкновенію уклоняясь отъ опредѣленнаго отвѣта. Видно было однакожъ, что разсказъ новопріобрѣтеннаго родственника былъ согласенъ съ дѣйствительностью.

— Ну, ладно. Положимъ, что ты нашъ племянничекъ,—зачѣмъ же ты къ намъ пожаловалъ? развѣ мало у тебя родныхъ? Однѣхъ тетокъ сколько! Отчего ты къ нимъ не пошелъ?

— Да такъ, матушка, умираючи, говорила...

— А ежели мы тебя не примемъ?

— Какъ вамъ угодно, только я на первый разъ порѣшилъ у васъ основаться.

— Рѣшилъ! онъ рѣшилъ!... ахъ ты распостылый!—крикнула матушка, вся дрожа отъ волненія, и, закусивъ губу, подошла близко къ Ѳедосу.—Ты спроси прежде, какъ дядя съ теткой рѣшатъ... Онъ рѣшилъ! Ступай съ моихъ глазъ долой! жди въ дѣвичьей, пока я надумаю, какъ съ тобой поступить!

По уходѣ Ѳедоса матушка нѣкоторое время сидѣла, покачиваясь на стулѣ, и обдумывала.

— Не знаю, гдѣ и спать-то его положить, — молвила она наконецъ: —и не придумаю! Ежели внизу, гдѣ прежде шорникъ Степанъ жилъ, такъ тамъ съ самой осени не топлено. Ну, инъ ведите его къ Василисѣ въ застольную. Не велика фря, ночь и на лавкѣ проспитъ. Полушубокъ у него есть, чтобъ накрыться, а войлокъ и подушчонку, изъ старенькихъ, отсюда дайте. Да ужъ не куритъ ли онъ, спаси Богъ! чтобъ и не думалъ!

Приказаніе это было исполнено ужъ прислугой.

Ночь матушка провела тревожно. Безпрестанно будила дежурную горничную, спавшую на полу у дверей ея спальни, посылая ее въ застольную, и наказывала, чтобъ Василиса отнюдь не позволяла Ѳедосу курить.

— Ну что̀ Ѳедоска? спитъ? — спрашивала она возвратившуюся дѣвушку.

— Спитъ-съ.

— Не куритъ?

— Василиса говоритъ: трубочку на крыльцѣ выкурилъ.

— То-то „трубочку“! А я что̀ приказывала?

На утро матушка едва проснулась, какъ уже обратилась съ вопросомъ:

— Всталъ?

— Еще до свѣту въ ригу молотить ушелъ.

Извѣстіе это смягчило матушку. Ушелъ молотить—стало-быть, не хочетъ даромъ хлѣбъ ѣсть, мелькнуло у нея въ головѣ. И вслѣдъ затѣмъ велѣла истопить въ нижнемъ этажѣ комнату, поставить кровать, столъ и табуретку и устроить тамъ Ѳедоса. Кушанье матушка рѣшила посылать ему съ барскаго стола.

— А коли благородно себя держать будетъ — и съ собой обѣдать посадимъ!

Весь этотъ день Ѳедосъ работалъ наравнѣ съ прочими барщинными. Молотильщикъ онъ оказался отличный, шелъ въ головѣ цѣпи, стучалъ цѣпомъ не спѣша, плавно, и прямо, и накрестъ. Когда же стемнѣло, его позвали къ матушкѣ.

— Что̀ это тебѣ молотить вздумалось?—спросила она его ласково.

— Что-жъ такъ-то сидѣть! Я всю дорогу шелъ, работалъ. День или два идешь, а потомъ остановишься, спросишь, нѣтъ ли работы гдѣ. Гдѣ попашешь, гдѣ покосишь, пожнешь. Съ недѣльку на одномъ мѣстѣ поработаешь, меня въ это время кормятъ, и на дорогу хлѣбца дадутъ, а иной разъ и гривенничекъ. И опять въ два-три дня я свободно верстъ пятьдесятъ уйду. Да я, тетенька, и другую работу дѣлать могу; и лапоть сплету, и игрушку для дѣтей изъ дерева вырѣжу, и на охоту схожу, дичинки добуду.

— Вотъ ты какой! Ну, поживи у насъ! Я тебѣ велѣла внизу комнатку вытопить. Тамъ тебѣ и тепленько, и уютненько будетъ. Обѣдать сверху носить будутъ, а потомъ, можетъ, и поближе сойдемся. Да ты не нудь себя. Не все работай, и посиди. Я слышала, ты табакъ куришь?

— Курю, тетенька! да вы не безпокойтесь, у меня на табакъ деньги найдутся!

Ѳедосъ полѣзъ въ карманъ и вынулъ оттуда пригоршню мѣдныхъ и мелкихъ серебряныхъ монетъ.

— Что-жъ, можно изрѣдка и покурить, только будь остороженъ, мой другъ, не зарони! Ну, ступай покуда, Христосъ съ тобой!

Съ тѣхъ поръ Ѳедосъ поселился внизу вмѣстѣ съ собакой Трезоркой, которую какъ-то необыкновенно быстро пріучилъ къ себѣ. Горничныя со смѣхомъ разсказывали, что онъ съ собакой изъ одной посудины и пьетъ, и ѣстъ, что онъ ее въ самое рыло цѣлуетъ, поноску носить выучилъ и т. д.

— И накурено же у него тютюнищемъ въ каморкѣ — не продохнешь! даже Трезорка чихаетъ, — говорили онѣ: — а нагажено, напакощено — страсть!

Съ своей стороны, онъ на помѣщенье не жаловался, а только пенялъ на ѣду.

— Скажите тетенькѣ, — поручалъ онъ горничнымъ: — мнѣ бы хлѣба да щецъ побольше, а разносоловъ не надобно.

Справедливость требуетъ сказать, что просьба его была уважена.

Вскорѣ онъ раздобылся гдѣ-то ружьемъ и другимъ охотничьимъ припасомъ и принесъ матушкѣ двѣ пары тетеревей.

— Ну, спасибо тебѣ, вотъ мы и съ жарковцемъ! — поблагодарила его

матушка:—и сами поѣдимъ, и ты съ нами покушаешь. Эй, кто тамъ! снесите-ка повару одного тетерёва, пускай сегодня къ обѣду зажаритъ, а прочихъ на погребъ отдайте... Спасибо, дружокъ!

Мы, дѣти, сильно заинтересовались Ѳедосомъ. Частенько бѣгалъ я черезъ дѣвичье крыльцо, безъ шапки, въ одной курткѣ, къ нему въ комнату, рискуя быть наказаннымъ. Но долго не рѣшался взойти. Придешь, пріотворишь дверь, заглянешь и опять убѣжишь. Но однажды онъ удержалъ меня.

— Ты что̀ же ко мнѣ только заглядываешь, а не зайдешь? Небось, не укушу.

Я стоялъ передъ нимъ смущенный и безмолвствовалъ.

— Что̀ всталъ? зайди! — пригласилъ онъ: — посмотри, какого я коня тебѣ бо̀рзаго вырѣзалъ! хоть сто верстъ на немъ скачи—не упарится!

Онъ показалъ мнѣ деревяннаго конька грубой работы, у котораго подъ животомъ вырѣзано было четырехугольное отверстіе, и по сторонамъ его фигурные столбики, долженствующіе изображать ноги. Потомъ позвалъ Трезорку и сталъ продѣлывать съ нимъ фокусы.

— Шершь!—крикнулъ онъ, кидая въ уголъ корку хлѣба.

Трезорка кинулся со всѣхъ ногъ, но, достигнувъ цѣли, не взялъ корки въ зубы, а остановился какъ вкопанный и поднялъ ногу.

— Это онъ стойку дѣлаетъ. Хоть два часа простоитъ, не двинется. Пиль, аппортъ!—снова крикнулъ онъ.

Трезорка схватилъ корку и принесъ ее Ѳедосу.

— Теперь давай ее сюда! — сказалъ Ѳедосъ, отнимая корку и кладя ее Трезоркѣ на носъ.—Слушай команду: азъ, буки, глаголь, добро...

Ѳедосъ отвернулся отъ Трезорки, какъ будто забылъ о немъ. Минуты двѣ онъ сидѣлъ молча, такъ что у Трезорки потоками полились слюни съ брыластыхъ губъ.

— Есть!—скомандовалъ Ѳедосъ неожиданно.

Трезоръ мигомъ подкинулъ корку вверхъ и налету проглотилъ ее.

— Вотъ пёсъ! — хвалился Ѳедосъ:—необразованный былъ, даже лаять путемъ не умѣлъ, а я его грамотѣ выучилъ. На охоту со мной уже два раза ходилъ. Видѣлъ ты, сколько я глухарей твоей мамашѣ перетаскалъ?

— Они у насъ, братецъ, на погребѣ лежатъ.

— И будутъ лежать, пока не протухнутъ. Это ужъ такой обычай у васъ.

— А вамъ, братецъ, весело здѣсь?

— Какое веселье! Живу—и будетъ съ меня. Давеча молотилъ, теперь —отдыхаю. Аша̀ть (по-башкирски: „ѣсть") вотъ мало даютъ—это скверно. Ну, да теперь зима, а у насъ въ Башкиріи въ это время всѣ голодаютъ. Зимой хлѣбъ съ мякиной башкиръ ѣстъ, да такъ отощаетъ, что страсть! А наступитъ весна, ожеребятся кобылы, начнетъ башкиръ кумысъ пить — въ мѣсяцъ его такъ разнесетъ, и не узнаешь!

— Неужто... отъ кумыса?

— Да, кобылье молоко квашеное такъ называется... — Я и васъ бы научилъ, какъ его дѣлать, да вы, поди, брезговать будете. Скажете: кобылятина! А надо бы вамъ — видишь, ты испитой какой! И вамъ ѣсть плохо

даютъ... Куда только она, маменька твоя, бережетъ! Добро бы деньги, а то... ѣду!

Онъ ощупалъ меня и продолжалъ:

— Кости да кожа! И погулять васъ не пускаютъ, все въ комнатахъ держатъ. Хочешь, я тебѣ лыжи сдѣлаю? Вотъ снѣгъ нападетъ, всѣ по очереди кататься будете.

— Да маменька... Братецъ, попросите маменьку!

— Послушаетъ она меня... держи карманъ! Однако ступай, братъ, наверхъ—неравно хватятся! — Когда-нибудь въ праздникъ, послѣ обѣда, я самъ къ вамъ заберусь, покуда старики спятъ.

Словомъ сказать, чѣмъ дольше онъ жилъ, тѣмъ больше весь домъ привыкалъ къ нему. Дворня полюбила его, потому что онъ хоть и „баринъ", а все равно что свой братъ; матушка была довольна, потому что племянникъ оказался трезвый и работящій. Безпрерывно оказывался у него какой-нибудь новый талантъ: то лошадь подкуетъ на диво; то печку исправитъ, ежели дымитъ; то стекло въ окнѣ вставитъ. Сначала матушка боялась, чтобы нравственность въ дѣвичьей не испортилась, но и тутъ все обстояло благополучно. Отъ времени до времени онъ однакожъ исчезалъ. Уйдетъ, и дня два-три его не видать. Тогда у матушки опять разыгрывалось воображеніе.

— Ну, помяните мое слово, что онъ бѣглый солдатъ! — ежеминутно безпокоилась она.

Надо сказать, что она, тотчасъ послѣ пріѣзда Ѳедоса, написала къ белебеевскому предводителю дворянства письмо, въ которомъ спрашивала, дѣйствительно ли имъ былъ выданъ видъ Ѳедосу Половникову; но прошло уже болѣе полутора мѣсяца, а отвѣта получено не было. Молчаніе это служило источникомъ великихъ тревогъ, которыя при всякомъ случаѣ возобновлялись.

— Гдѣ побывалъ? — спрашивала она, когда Ѳедосъ возвращался изъ своихъ временныхъ отлучекъ.

— Мужичокъ тутъ одинъ, верстахъ въ десяти, помочь помолотить просилъ.

— Мужичокъ? не бабочка ли?

— А можетъ и бабочка. Всѣ нынче, и мужики, и бабы, по холодку въ полушубкахъ ходятъ—не разберешь!

Матушкѣ становилось досадно. Все-жъ таки родной — могъ бы и своимъ послужить! Чего ему! и теплёхонько, и сытёхонько здѣсь... кажется, на что лучше! А онъ, на-тко, пошелъ, за десять верстъ, къ чужому мужику на помочь!

Но Ѳедосъ, сдѣлавши экскурсію, засаживался дома, и досада проходила. Къ тому же, и изъ Белебея бумага пришла, изъ которой было видно, что Ѳедосъ есть дѣйствительный заправскій Ѳедосъ, тетеньки Поликсены Порфирьевны сынъ, такъ что и съ этой стороны сомнѣнія не было.

Замѣчательно, что среди общихъ симпатій, которыя стяжалъ къ себѣ Половниковъ, одинъ отецъ относился къ нему не только равнодушно, но почти гадливо. Случайно встрѣчаясь съ нимъ, Ѳедосъ обыкновенно подходилъ къ нему „къ ручкѣ", но отецъ проворно пряталъ руки за спину и холодно про-

износилъ:—„ну, будь здоровъ! проходи, проходи!“ — Заочно онъ называлъ его не иначе какъ „кобылятникомъ“, увѣрялъ, что онъ поганый, потому что сырое кобылье мясо жретъ, и нетерпѣливо спрашивалъ матушку:

— Долго ли этотъ кобылятникъ нашъ домъ поганить будетъ? Посуду-то, посуду-то послѣ него на столъ подавать не смѣйте! Вѣдь онъ, поганецъ, съ собакой изъ одной чашки ѣстъ!

Можетъ быть, благодаря этому инстинктивному отвращенію отца, предположенію о томъ, чтобы Ѳедосъ отъ времени до времени приходилъ обѣдать наверхъ, не суждено было осуществиться. Но къ вечернему чаю его изрѣдка приглашали. Онъ приходилъ въ томъ же видѣ, какъ и въ первое свое появленіе въ Малиновцѣ, только рубашку надѣвалъ чистую. Обращался онъ исключительно къ матушкѣ.

— Вотъ бы вамъ, тетушка, въ нашу сторону перебраться, да тамъ бы усадьбу выстроить,—соблазнялъ онъ.

— А что̀?

— Земля у насъ черная-черная, на сажень глубины. Какъ подымутъ цѣлину, такъ даже лоснится. Лѣсъ — дубовый, рѣкъ много, а по берегамъ все луга поемные—трава вò какая ростетъ, словно тростникъ тучная!

— Манна съ неба не падаетъ ли?

— Нѣтъ, я вѣрно говорю, не хвастаюсь. Именно на рѣдкость земля въ нашей сторонѣ.

— Кто же на ней живетъ? помѣщики, что-ли?

— Нѣтъ, башкиры. Башкиро-мещеряцкое войско такое есть; — какъ завладѣли спервоначалу землей, такъ и теперь она считается ихняя. Границъ нѣтъ, межеванья отроду не бывало; сколько глазомъ ни окинешь—все башкирамъ принадлежитъ. Въ послѣднее впрочемъ время и помѣщики, которые поумнѣе, заглядывать въ ту сторону стали. Сколько ужъ участковъ къ нимъ отошло; поселятъ крестьянъ, да хозяйство и разводятъ.

— Вѣдь землю-то, чай, купить надо?

— Самые пустяки стоитъ. Кантонному начальнику по гривеннику за десятину заплатить, да обществу, за приговоръ, ведеръ десять водки выпоить —сколько угодно отмѣряютъ!

— Ахъ, прахъ побери, да и совсѣмъ!

Матушка даже повернулась на стулѣ при одной мысли, какъ бы оно хорошо вышло. Нѣкоторое время она молчала; вѣроятно въ головѣ ея уже роились мечты. Купить земли — да побольше — да крестьянъ безъ земли на свозъ душъ пятьсотъ, тоже недорого, отъ сорока до пятидесяти рублей за душу, да и поселить ихъ тамъ. Земля-то новая — сколько она приплода дастъ! Лошадей развести, овецъ...

— У насъ отъ однѣхъ лошадей хорошій доходъ получить можно, — продолжалъ соблазнять Ѳедосъ:—содержаніе-то ихъ почти ничего не стоитъ, —и зиму, и лѣто въ степи; зимой изъ-подъ снѣга кормъ добываютъ... А въ Мензелинскѣ между прочимъ ярмарка бываетъ: издалека туда пріѣзжаютъ, хорошія цѣны даютъ. Опять овчины, шерсть...

— Да замолчи ты, сдѣлай милость!

— Какъ угодно, а я бы вамъ это дѣло чудесно подстроилъ.

Но матушка отрезвлялась такъ же быстро, какъ и увлекалась.

Мечты разсѣялись, и черезъ нѣсколько минутъ она уже всецѣло принадлежала дѣйствительности.

— Нѣтъ, голубчикъ, — сказала она: — намъ отъ своего мѣста бѣжать не приходится. Тамъ дѣло наладишь — здѣсь въ упадокъ придетъ; здѣсь будешь хозяйствовать — тамъ толку не добьешься. Нѣтъ ничего хуже какъ заглазно распоряжаться, а переѣзжать съ мѣста на мѣсто этакую махинищу верстъ—и денегъ не напасешься.

Однако, во всякомъ случаѣ, разсказъ Ѳедоса настолько заинтересовалъ матушку, что она и потомъ, при всякомъ новомъ свиданіи съ нимъ, говорила:

— А ну-ка, разскажи про сторону про свою, разскажи!

Повторяю: Ѳедосъ настолько пришелся по нраву матушкѣ, что она ему даже суконный казакинъ и шаравары приказала сшить.

— Нехорошо все въ рубашкѣ ходить; вотъ и тѣло у тебя черезъ прорѣху видно, — сказала она: — гости могутъ пріѣхать — осудятъ, скажутъ: племянника родного въ посконной рубахѣ водятъ. А кромѣ того, и въ церковь въ праздникъ выйти... Все же въ казакинчикѣ лучше.

Ѳедосъ не противорѣчилъ и надѣлъ казакинъ, хотя и неохотно. Мнѣ впрочемъ и самому показалось, что рубашка шла ему больше къ лицу.

— Скажи, Христа-ради, зачѣмъ ты свое мѣсто бросилъ?—добивалась иногда отъ него матушка.

— Да такъ... и не у чего, да и не все же на одномъ мѣстѣ сидѣть; захотѣлось и на людей посмотрѣть.

— Все же надо себя къ одному какому-нибудь мѣсту опредѣлить. Положимъ, теперь ты у насъ пріютился, да вѣдь не станешь же ты здѣсь вѣкъ вѣковать. Вотъ мы по зимамъ въ Москвѣ собираемся жить. Домъ топить не будемъ, ставни заколотимъ—съ кѣмъ ты тутъ останешься?

— Уйду!

— Да куда ты уйдешь, непутёвый ты человѣкъ?!

— Паспортъ у меня есть, свѣтъ не клиномъ сошелся. Уйду.

— Заладилъ одно: уйду да уйду. Пить, ѣсть надо. Вотъ о чемъ говорятъ:

— Найду. Безъ ѣды не останусь.

— Въ приказчики, что-ли, нанялся бы. Ты сельскія работы знаешь, — это нечего говорить, положиться на тебя можно. Любой помѣщикъ съ удовольствіемъ возьметъ.

— Не по рылу мнѣ съ помѣщиками возжаться.

Словомъ сказать, на всѣ подобные вопросы Ѳедосъ возражалъ загадочно, что̀ приводило матушку въ немалое смущеніе. Иногда ей представлялось: да не бунтовщикъ ли онъ? Хотя въ то время не только о нигилистахъ, но и о чиновникахъ вѣдомства государственныхъ имуществъ (впослѣдствіи ихъ называли помѣщики „эмиссарами Пугачева“) не было слышно.

„И не разберешь его, что̀ за человѣкъ такой!“ думалось ей: „бродитъ безъ надобности: взялъ да и пошелъ—развѣ между людьми такъ водится? Навѣрное заразу какую-нибудь разноситъ!“

По этому случаю она позвала на совѣтъ даже старосту Ѳедота.

— Что? какъ у насъ? все благополучно?—спросила матушка.

— Все, кажется, слава Богу, — отвѣтилъ Ѳедотъ, втайнѣ однакожъ недоумѣвая, не случилось ли чего-нибудь, о чемъ матушка узнала прежде него.

— Что̀ мнешься! Ѳедосъ какъ?

— Ничего, сударыня, и Ѳедосъ Николаичъ... Только чудо это! баринъ, а какъ себя безпокоитъ!

— Ну, и пускай безпокоится—это его дѣло. Не шушукается ли онъ—вотъ я о чемъ говорю.

— Съ кѣмъ, сударыня, у насъ шушукаться!.. Нѣтъ, слава Богу, кажется, ничего!

— То-то „ничего"! ты у меня смотри! Ты первый будешь въ отвѣтѣ, ежели что̀ случится!

Послѣ этого совѣщанія матушка окончательно успокоилась и становилась все болѣе и болѣе благосклонною къ Ѳедосу. Однажды даже предложила ему гривенничекъ.

— Вотъ тебѣ гривенничекъ!—сказала она: — это на табакъ. Когда свой выйдетъ, купи свѣженькаго.

Но Ѳедосъ отказался.

— Благодарю покорно!—отвѣтилъ онъ:—я на той недѣлѣ у мужичка три дня проработалъ, такъ онъ полтинникъ далъ. Цѣлый запасъ у меня теперь табаку, надолго станетъ.

— Полтинникъ! вотъ какъ! Ну, и слава Богу, что добрые люди не оставляютъ тебя.

Матушка слегка обидѣлась; ей показалось, что въ словахъ Ѳедоса заключается темный намекъ на ея скупость.

— „Полтинникъ! Это чтобъ я полтинникъ ему дала—за что, про что? —думалось ей:—на васъ, бродягъ, не напасешься полтинниковъ-то! Сытъ, одѣтъ, чего еще нужно!"

Въ одно изъ воскресеній Ѳедосъ исполнилъ свое обѣщаніе и забрался послѣ обѣда къ намъ, дѣтямъ. И отецъ, и мать отдыхали въ спальняхъ. Мы чуть слышно расхаживали по большой залѣ и говорили шопотомъ, боясь разбудить гувернантку, которая сидѣла въ углу въ креслахъ и тоже дремала.

— Вотъ и я, братцы, къ вамъ пришелъ!—привѣтствовалъ онъ насъ: —а вы все въ клѣткѣ да въ клѣткѣ, словно острожные, сидите... Эхъ, голубчики, плохо ваше дѣло! Что̀ носы повѣсили? давайте играть!

Мы молча указали на гувернантку.

— Ничего, пускай вѣдьма проснется! а станетъ разговаривать—мы ей ротъ зажмемъ! Во что̀ же мы играть будемъ? въ лошадки? Ну, быть такъ! Только я, братцы, по-дворянски не умѣю, а по-крестьянски научу васъ играть. Вотъ вамъ веревки.

Онъ вынулъ изъ кармана два пучка веревокъ и сталъ ихъ развязывать.

— Я по-дворянски ничего не умѣю дѣлать—сердце не лежитъ!—говорилъ онъ:—то ли дѣло къ мужичку придешь... „Здравствуйте"—Здравствуй!—„А какъ тебя величать?"—Еремой.—„Ну, будь здоровъ, Ерема!"

Точно вѣкъ вмѣстѣ жили! Станешь къ нему на работу — и онъ рядомъ съ тобой, и коситъ, и молотитъ, всякую работу сообща дѣлаетъ; сядешь обѣдать — и онъ тутъ же; тѣ же щи, тотъ же хлѣбъ... Да вы, поди, и не знаете, какой такой мужикъ есть... такъ, думаете, скотина! Анъ нѣтъ, братцы, онъ не скотина! помните это: человѣкъ онъ! У Бога есть книга такая, такъ мужикъ въ ней страстотерпцемъ записанъ... Давайте же по-крестьянски въ лошади играть. Вотъ я, мужикъ, вышелъ въ поле лошадей ловить, вотъ у меня и кормушка съ овсомъ въ рукахъ (онъ устроилъ изъ подола рубашки подобіе кормушки)—а вы, лошади, во стадѣ пасетесь. Бѣгите отъ меня теперь, а я къ вамъ подходить стану... Сначала вы не поддавайтесь. Въ бокъ шарахайтесь; шарахнитесь—и остановитесь.. А потомъ какъ я съ кормушкой поближе встану, вы помаленьку на овесъ и подходите... Овесъ-то, братцы, лакомъ; когда-когда его мужичій коняга видитъ!

Мы пустились вскачь въ уголъ. Ѳедосъ за нами. Поднялся визгъ, гвалтъ; гувернантка вскочила какъ встрепанная и смотрѣла во всѣ глаза.

— Что̀ такое! что̀ такое!—кричала она:—Дѣти! по мѣстамъ, сію минуту! Herr Ѳедосъ! какъ вы здѣсь находитесь?

— По щучьему велѣнью, по моему хотѣнью... Ахъ, Марья Андреевна! красавица! позвольте остаться, съ дѣтьми поиграть!

Слово „красавица“ и смиренный видъ, который принялъ Ѳедосъ, видимо смягчили Марью Андреевну.

— Это не я... но Анна Павловна...

— Что̀ Анна Павловна! Анна Павловна теперь сны веселые видитъ... Красавица! хотите, я для васъ колесомъ черезъ всю залу пройдусь?

И прошелся.

— Хотите въ присядку спляшу?

И сплясалъ, да такъ сплясалъ, что суровая Марья Андреевна за бока держалась отъ смѣха и прерывисто всхлипывала:

— О, Herr Ѳедосъ! Herr Ѳедосъ!

Наконецъ вызвался басомъ октаву взять, и дѣйствительно загудѣлъ такъ, словно у него разомъ всѣ мокроты поднялись и въ горлѣ заклокотали.

— О, Herr Ѳедосъ! Herr Ѳедосъ!—заливалась Марья Андреевна.

Затѣмъ мы возобновили игру въ лошади. И пахали, и боронили, и представляли, какъ подвода парой везетъ засѣдателя... Шумъ поднялся такой, что наконецъ матушка проснулась и застигла насъ врасплохъ.

— Это что̀ такое! сейчасъ по мѣстамъ!—послышался въ дверяхъ грозный окрикъ.

Ну, и была же у насъ тутъ исторія!..

Прошла масляница, молотьба кончилась, наступилъ полный отдыхъ. Жалко зазвенѣлъ нашъ девятипудовый колоколъ, призывая говѣльщиковъ.

Батюшка съ тетеньками-сестрицами каждый день ѣздили въ церковь, готовясь къ причастію. Только сѣнныя дѣвушки продолжали работать, такъ что Ѳедосъ не выдержалъ и сказалъ одной изъ нихъ:

— Посмотрю я на васъ — настоящая у васъ каторга! И первую недѣлю поста отдохнуть не дадутъ.

Разумѣется, слова эти были переданы матушкѣ и возбудили цѣлую бурю.

— Такъ и есть! Такъ я и знала, что онъ бунтовщикъ! — сказала она и, призвавъ Ѳедоса, прикрикнула на него: — Ты что давеча Аришкѣ про каторгу говорилъ? Хочешь, я тебя, какъ бунтовщика, въ земскій судъ представлю!

— Представьте!—отвѣчалъ онъ безучастно.

— То-то „представьте"! Тамъ не посмотрятъ на то, что ты баринъ— такъ-то отшпарятъ, что люба съ два! Племянничекъ нашелся!.. Милости просимъ! Ты бы чѣмъ бунтовать, лучше бы въ церковь ходилъ да Богу молился.

Этому совѣту Ѳедосъ послѣдовалъ, и на второй недѣлѣ очень прилежно говѣлъ.

Наступила ростепель. Весна была ранняя, а Святая—поздняя, въ половинѣ апрѣля. Солнце грѣло по весеннему; на дорогахъ появились лужи; вершины пригорковъ стали обнажаться; наконецъ прилетѣли скворцы и населили на конномъ дворѣ всѣ скворешницы. И въ домѣ сдѣлалось свѣтлѣе и веселѣе, словно и въ законопаченныя кругомъ комнаты заглянула весна. Такъ бы, кажется, и улетѣлъ далеко-далеко на волю!

Ѳедосъ становился задумчивъ. Со времени объясненія по поводу „каторги" онъ замолчалъ. Нѣсколько разъ матушка, у которой сердце было отходчиво, посылала звать его чай пить, но онъ приказывалъ отвѣчать, что ему „мочи нѣтъ", и не приходилъ.

— Ну, ежели гнѣваться на меня изволитъ, пускай куксится! — сердилась матушка:—была бы честь приложена, а отъ убытка Богъ избавилъ!

Впрочемъ въ Свѣтлый праздникъ, у заутрени, онъ честь-честью похристосовался со всѣми, а послѣ поздней обѣдни даже разговѣлся вмѣстѣ съ нами.

Къ концу апрѣля поля уже настолько обсохли, что въ яровомъ показались первыя сохи. Съ дорогъ тоже мало-по-малу слила вода.

Матушка надѣялась, что Ѳедосъ въ первой сохѣ выѣдетъ въ поле, а ей, напротивъ, совершенно неожиданно доложили, что онъ ночью исчезъ и пожитки свои унесъ, только казакинъ оставилъ.

— Чай, мужичокъ какой-нибудь на помочь попахать зазвалъ!—негодовала матушка:—вотъ ужо воротится, я ему отпою!

Но прошло три дня, прошла недѣля, другая—Ѳедосъ не возвращался.

Ѳедосъ исчезъ, исчезъ безъ слѣда, безъ признака; словно дымъ растаялъ.

Выѣлъ ли онъ кому очи? или такъ, безплодно скитаясь по свѣту, потонулъ въ воздушной пучинѣ?

XII.—Поѣздки въ Москву.

Поѣздки эти я подраздѣляю на лѣтнія и зимнія, потому что и тѣ, и другія оставили во мнѣ различныя впечатлѣнія. Первыя были пріятны; послѣднія ничего, кромѣ скуки и утомленія, не представляли.

Лѣтомъ, до поступленія въ казенное заведеніе, я совсѣмъ въ Москвѣ не бывалъ, но, чтобы не возвращаться къ этому предмету, забѣгу нѣсколько впередъ и разскажу мою первую поѣздку въ „сердце Россіи", для опредѣленія въ шестиклассный дворянскій институтъ, только-что переименованный изъ университетскаго пансіона.

Это было въ началѣ августа, и матушка сама собралась вмѣстѣ со мною. Вообще во всѣхъ важныхъ дѣлахъ она надѣялась только на собственную находчивость. Институтское начальство ей было знакомо, такъ какъ всѣ мои старшіе братья воспитывались въ университетскомъ пансіонѣ; поэтому ей думалось, что ежели я и окажусь въ какомъ-нибудь предметѣ послабѣе, то при помощи ея просьбъ ко мнѣ будутъ снисходительны. Сверхъ того, она была увѣрена, что если будетъ лично присутствовать при экзаменѣ (а это допускалось), то и я не посмѣю отвѣчать худо...

Стоялъ прекрасный, полуосенній августовскій день. Я всталъ спозаранку и цѣлое утро пробѣгалъ по саду, прощаясь со всѣми уголками и по временамъ опускаясь на колѣни, цѣлуя землю. Была ли это дѣйствительная, искренняя экзальтація, или только напускное подражаніе какимъ-нибудь примѣрамъ, вычитаннымъ изъ случайно попадавшихъ подъ руку книжекъ— рѣшить не берусь. Скорѣе впрочемъ склоняюсь въ пользу послѣдняго предположенія, потому что не помню, чтобъ во мнѣ происходило въ то время какое-нибудь душевное движеніе. Впослѣдствіи то же самое явленіе не разъ повторялось, когда я, уже продолжая воспитаніе въ Петербургѣ, ѣзжалъ домой на каникулы. Обыкновенно сговаривались три-четыре воспитанника изъ москвичей, всѣ вмѣстѣ брали мѣста въ одномъ и томъ же дилижансѣ и всегда приказывали остановиться, не доѣзжая Всесвятскаго, на горѣ, съ которой открывался видъ на Москву. Мы вылѣзали изъ экипажа, становились на колѣни и цѣловали землю...

Мы выѣхали изъ Малиновца около часа пополудни. До Москвы считалось сто-тридцать-пять верстъ (зимній путь сокращался верстъ на пятнадцать), и такъ какъ путешествіе по обыкновенію совершалось „на своихъ", то предстояло провести въ дорогѣ не меньше двухъ дней съ половиной. До первой станціи (Гришково) тридцать верстъ, надо было доѣхать засвѣтло.

Я уже въ самомъ началѣ этой хроники описалъ мѣстность, окружавшую Малиновецъ. Невеселое было это мѣсто, даже мрачное; но все-таки, когда мы проѣхали нѣсколько верстъ, мнѣ показалось, что я вырвался изъ заключенія на просторъ. Ядреный воздухъ, напоенный запахомъ хвойныхъ деревьевъ, охватывалъ со всѣхъ сторонъ; дышалось легко и свободно; коляска на старинныхъ круглыхъ рессорахъ тихо укачивала. Ѣхали легкой рысцой, не больше шести верстъ въ часъ, и при каждой гати, при каждой песчаной полосѣ пускали лошадей шагомъ. Отъ времени до времени Кононъ-лакей

соскакивалъ съ козелъ, шелъ пѣшкомъ за коляской, собиралъ бѣлые грибы, которые по обѣимъ сторонамъ дороги росли во множествѣ. Матушка дремала: Агаша, ея неизмѣнная спутница, сидя противъ меня, тоже клевала носомъ. Передъ матушкой, на свободномъ мѣстѣ передней скамейки, стояло большое лукошко, наполненное большими поздними персиками (венусами), которые были переложены смородиннымъ и липовымъ листомъ. Они предназначались въ подарокъ дѣдушкѣ.

— Ты что не спишь? — спрашивала меня матушка, просыпаясь: — Агашка! ты хоть бы на колѣни лукошко-то взяла... ишь его раскачиваетъ!

— Да оно, сударыня, веревками къ козламъ привязано.

— Наказаніе съ этими персиками! Привезешь—скажутъ: кисель привезла! не привезешь—зачѣмъ не привезла?

— Да вы бы, маменька, въ Москвѣ купили,—догадался я.

— Это по два-то рубля за десятокъ платить! На-тко!.. Алемпій! много ли до дубровы осталось?

— Да верстъ съ пятокъ еще будетъ.

— Пошевеливалъ бы ты, что-ли. Часа ужъ два, поди, ѣдемъ, а все конца краю лѣсу нѣтъ!

— Вотъ сейчасъ выѣдемъ, — ужъ видно! потомъ веселѣе — въ горку пойдетъ.

— Ахъ, что-то будетъ! что-то будетъ? выдержишь ли ты? — обращалась матушка снова ко мнѣ:—смотри ты у меня, не осрамись!

— Постараюсь, маменька.

Отъ меня матушка опять обращалась къ лукошку и приподнимала верхній пластъ листьевъ.

— Ничего, сверху еще хороши. Ты, Агашка, смотри: какъ пріѣдемъ въ Гришково, сейчасъ же персики перебери!

Я и самъ съ нетерпѣніемъ ждалъ дубровы, потому что оттуда шла повёртка на большую дорогу. Скоро мы выѣхали изъ лѣса, и дорога пошла полями, въ гору. Вдали виднѣлась дуброва, или, попросту, чистая березовая роща, разстилавшаяся на значительное пространство. Вся она была охвачена золотомъ солнечныхъ лучей и, колеблемая вѣтромъ, шевелилась какъ живая. Алемпій свиснулъ, лошади побѣжали крупною рысью и минутъ черезъ двадцать домчали насъ до дубровы. Рядомъ съ нею, сквозь деревья, виднѣлась низина, по которой была проложена столбовая дорога.

— Вотъ когда сущее мученье начнется! — молвилъ Алемпій, доѣхавъ до повёртки и осторожно спуская экипажъ по косогору.—Кононъ! иди впередъ, смотри, всѣ ли мостовины-то цѣлы!

Да, это было мученье. Мостовникъ, только изрѣдка пересѣкаемый небольшими полосами грунтовой дороги, тянулся болѣе шести верстъ. Мостовины по серединѣ сгнили и образовали выбоины, въ которыя смаху ударялись колеса экипажа. Случалось, что пристяжная ступала на одинъ конецъ плохо утвержденной мостовины и тяжестью своею приподнимала другой конецъ. По обѣимъ сторонамъ разстилалось топкое, кочковатое болото, по которому изрѣдка разсѣяны были кривыя и низкорослыя деревца; по мѣстамъ болото превращалось въ ржавые бочаги, покрытые крупной осокой, бѣлыми

водяными лиліями и еще какимъ-то растеніемъ съ бѣлыми головками, пушистыми какъ хлопчатая бумага. Матушка держалась за край дверцы и шептала:

— Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Помяни, Господи... Тише! тише! Куда, сломя голову, скачешь! Агашка! да держи же персики! ахъ, чтобъ тебя! Помяни, Господи...

Агашка обѣими руками держалась то за дверцу, то за лукошко; меня подбрасывало такъ, что я серьезно опасался быть вышвырнутымъ изъ экипажа.

Пріѣхали мы въ Гришково, когда ужъ солнце закатывалось, и остановились у стараго Кузьмы, о которомъ я еще прежде отъ матушки слыхивалъ, какъ объ умномъ и честномъ старикѣ. Собственно говоря, онъ не держалъ постоялаго двора, а была у него изба чуть-чуть просторнѣе обыкновенной крестьянской, да особо отъ нея, черезъ сѣнцы, была пристроена стряпущая. Вообще помѣщеніе было не особенно пріютное, но помѣщики нашего околотка, проѣзжая въ Москву, всегда останавливались у Кузьмы и любили его.

Я познакомился съ нимъ, когда ужъ ему подходило подъ восемьдесятъ. Это былъ худой, совершенно лысый и недужный старикъ, который ходилъ сгорбившись и упираясь руками въ колѣни; но за всѣмъ тѣмъ онъ продолжалъ единолично распоряжаться въ домѣ и держалъ многочисленную семью въ большой дисциплинѣ. Хозяйство у него было исправное; дворъ крытый, обширный, пропитанный запахомъ навоза. Вырѣзанное по срединѣ двора отверстіе служило единственнымъ источникомъ свѣта и свѣжаго воздуха, такъ что съ боковъ было совсѣмъ темно. На каждомъ шагу встрѣчались клѣтушки со всякимъ крестьянскимъ добромъ и закуты, куда—зимой на цѣлый день, а лѣтомъ на ночь—запирался домашній скотъ.

Онъ встрѣтилъ насъ у воротъ, держа одну руку надъ глазами и стараясь разсмотрѣть, кого Богъ послалъ.

— Здоровъ ли, старикъ? — привѣтствовала его матушка.

— Никакъ Анна Павловна! Милости просимъ, сударыня! Ты-то здорова ли, а мое какое здоровье! знобитъ всего, на печкѣ лежу. Похожу-похожу по двору, на улицу загляну, и опять на печь лягу. А я тебя словно чуялъ, и дѣло до тебя есть. Въ Москву, что-ли, собрались?

— Въ Москву ѣду, сына въ ученье везу.

— Въ ученье! ну, дай ему Богъ! Ужъ котораго ты въ ученье отдаешь, пошли тебѣ Царица Небесная! И дочекъ, и сыновъ — всѣхъ къ дѣлу пристроила!

И, обратившись ко мнѣ, онъ погладилъ меня по головѣ и прибавилъ:

— Потѣшь, милый, маменьку, учись! Вотъ она какъ о васъ старается! И наукамъ учитъ, и имѣнья для васъ припасаетъ. Сама не допьетъ, не доѣстъ—все для васъ да для васъ! Чай, не мало денегъ на дѣтокъ въ годъ-то, сударыня, истрясешь?

— И не говори!

Какъ только мы добрались до горницы, такъ сейчасъ же началась повѣрка персиковъ. Оказалось, что нижній рядъ ужъ настолько побитъ, что

пустилъ сокъ. Матушка пожертвовала одинъ персикъ мнѣ, а остальные разложила на доскѣ и покрыла полотенцемъ отъ мухъ.

— За сыномъ роднымъ столько уходу нѣтъ, сколько за ними! — сказала она въ сердцахъ:—возьму да вышвырну за окошко!

Когда мы сидѣли за чаемъ, къ намъ опять пришелъ Кузьма.

— А я хочу съ тобой, сударыня, про одно дѣло поговорить,—началъ онъ, садясь на лавку.

— Говори!

— Имѣніе здѣсь въ пятнадцати верстахъ, продается. Большачиха-барыня (Большакова) продаетъ... Ахъ, хорошо имѣніе!

— Не къ рукамъ мнѣ, старикъ.

— Отчего не къ рукамъ? Отъ Малиновца и пятидесяти верстъ не будетъ. А имѣніе-то какое! Триста душъ, земли довольно, лѣсу одного больше пятисотъ десятинъ; опять рѣка, пойма, мельница водяная... Домъ господскій, всякое заведеніе, сады, ранжереи...

— Ну, вотъ видишь: и тутъ заведеніе, и въ Малиновцѣ заведеніе... И тутъ запашка, и тамъ запашка... А ихъ вѣдь надо поддерживать! Жить тутъ придется.

— Такъ-то такъ, да имѣнье-то больно ужъ хорошо.

— А что̀ барыня проситъ?

— По шестисотъ (ассигнаціями) за душу думаетъ взять, а за полтысячи отдастъ.

— Вотъ и это. Полтораста тысячъ — шутка ли эко мѣсто денегъ отдать! Положимъ однако, что съ деньгами оборотъ еще можно сдѣлать, а главное не къ рукамъ мнѣ. Нужно сначала около себя округлить; я въ Заболотьѣ-то еще словно на тычкѣ живу. Куда ни выйдешь—все на чужую землю ступишь.

— Извѣстно, тебѣ виднѣе. Умна ты, сударыня; вся округа ваша не надивуется, какъ ты себя хорошо устроить съумѣла!

— Погоди еще говорить! рано пташечка запѣла, какъ бы кошечка не съѣла.

— Тебя не съѣстъ, у тебя надёжа хорошая. Хорошо ты одумала, что мужичкомъ занялась. Крестьянинъ—онъ не выдастъ. Хоть изъ-подъ земли, да на оброкъ денегъ достанетъ. За крестьянами-то у тебя все равно что въ ламбартѣ денежки лежатъ.

— Ну, тоже со всячинкой. Нѣтъ, не къ рукамъ мнѣ твое имѣнье. Куплю ли, нѣтъ ли—въ другомъ мѣстѣ. Однако прощай, старикъ! завтра чуть свѣтъ вставать надо.

На этомъ разговоръ кончился. Матушка легла спать въ горницѣ, а меня услала въ коляску, гдѣ я крѣпко проспалъ до утра, несмотря на острый запахъ конскаго помета и на то, что въ самую полночь, гремя бубенцами, во дворъ съ грохотомъ въѣхалъ цѣлый извозчичій обозъ.

Когда меня разбудили, лошади уже были запряжены, и мы тотчасъ же выѣхали. Солнце еще не взошло, но въ деревнѣ царствовало суетливое движеніе, въ которомъ преимущественно принимало участіе женское населеніе. Свѣжій, почти холодный воздухъ, насыщенный гарью и дымомъ отъ топя-

щихся печей, насквозь прохватывалъ меня со сна. На деревенской улицѣ стоялъ столбъ пыли отъ прогонявшагося стада.

Хотя я до тѣхъ поръ не выѣзжалъ изъ деревни, но, собственно говоря, жилъ не въ деревнѣ, а въ усадьбѣ, и потому казалось бы, что картина пробужденія деревни, никогда мною не видѣнная, должна была бы заинтересовать меня. Тѣмъ не менѣе, не могу не сознаться, что на первый разъ она встрѣтила меня совсѣмъ безучастнымъ. Вѣроятно это лежитъ уже въ самой природѣ человѣка, что сразу овладѣваютъ его вниманіемъ и быстро запечатлѣваются въ памяти только яркія и пестрыя картины. Здѣсь же все было сѣро и одноцвѣтно. Нужно частое повтореніе подобныхъ сѣрыхъ картинъ, чтобы подѣйствовать на человѣка путемъ, такъ сказать, духовной ассимиляціи. Когда сѣрое небо, сѣрая даль, сѣрая окрестность настолько приглядятся человѣку, что онъ почувствуетъ себя со всѣхъ сторонъ охваченнымъ ими, только тогда они всецѣло завладѣютъ его мыслью и найдутъ прочный доступъ къ его сердцу. Яркія картины потонутъ въ изгибахъ памяти, сѣрыя—сдѣлаются вѣчно присущими, исполненными живого интереса, достолюбезными. Весь этотъ процессъ ассимиляціи я незамѣтно пережилъ впослѣдствіи, но повторяю: съ перваго раза деревня, въ ея будничномъ видѣ, прошла мимо меня, не произведя никакого впечатлѣнія.

Главная остановка намъ предстояла въ Сергіевскомъ посадѣ, гдѣ я тоже до тѣхъ поръ не бывалъ. Посадъ стоялъ какъ разъ на половинѣ дороги, и матушка всегда оставалась тамъ дольше, нежели на другихъ привалахъ. Теперь она спѣшила туда къ вечернѣ. Она не была особенно богомольна, но любила торжественность монастырской службы, великолѣпіе облаченій и въ особенности согласное, нѣсколько заунывное пѣніе, которымъ отличался монастырскій хоръ. Я тоже, съ своей стороны, горѣлъ нетерпѣніемъ увидѣть знаменитую обитель, о которой у насъ чуть не ежедневно упоминали въ разговорахъ. По словамъ матушки, которая часто говорила: „вотъ уйду къ Троицѣ, выстрою себѣ домичекъ“ и т. д.,—монастырь и окружающій его посадъ представлялись мнѣ мѣстомъ успокоенія, куда не проникаютъ ни нужда, ни скорбь, гдѣ человѣкъ, освобожденный отъ житейскихъ заботъ, сосредоточивается — разумѣется, въ хорошенькомъ домикѣ, выкрашенномъ въ свѣтло-сѣрую краску и весело смотрящемъ на улицу своими тремя окнами—исключительно въ самомъ себѣ, въ сознаніи блаженнаго безмятежія...

Мы не доѣхали трехъ верстъ до посада, какъ уже разнесся ударъ монастырскаго колокола, призывавшій къ вечернѣ. Звуки доносились до насъ глухо, точно трескъ, и не больше какъ черезъ пять минутъ изъ одиночныхъ ударовъ перешли въ трезвонъ.

— Говорила, что опоздаемъ! — пеняла матушка кучеру, но тутъ же прибавила: — ну, да къ вечернѣ не бѣда если и не попадемъ. Поди, и монахи-то на валу гуляютъ, только развѣ кто по усердію... Напьемся на постояломъ чайку, почистимся — къ шести часамъ какъ разъ къ всенощной поспѣемъ!

Но еще далеко до шести часовъ мы уже были внутри монастырской ограды. Дорога, которая вела отъ монастырскихъ воротъ къ церкви, была пустынна. Это была широкая аллея, съ обѣихъ сторонъ обсаженная громад-

ными липами, изъ-за стволовъ которыхъ выглядывали разныя монастырскія постройки: академія, крохотныя церкви, съ лежащими въ нихъ подъ спудомъ мощами, колодцы съ цѣлебной водой и т. д. По мѣстамъ встрѣчались надгробные памятники, а на половинѣ дороги аллея прервалась, и мы увидѣли большой Успенскій соборъ. Но по мѣрѣ того, какъ время приближалось къ всенощной, аллея наполнялась нищими и калѣками, которые усаживались по обѣимъ сторонамъ съ тарелками и чашками въ рукахъ и тоскливо голосили. Никогда я не видѣлъ столько физическихъ уродствъ, столько выставленныхъ наружу гноящихся язвъ, какъ здѣсь. Я былъ до такой степени ошеломленъ и этимъ зрѣлищемъ, и нестройнымъ хоромъ старческихъ голосовъ, что бѣгомъ устремился впередъ, такъ что матушка, державшая въ рукахъ небольшой мѣшокъ съ мѣдными деньгами, предназначенными для раздачи милостыни, едва успѣла догнать меня.

— Ты что̀, бѣлены объѣлся, ускакалъ!—выговаривала она мнѣ:—я и милостыню раздать не успѣла... Ну, да и то сказать, Христосъ съ ними! Не напасешься на нихъ, дармоѣдовъ.

Она перекрестилась и спрятала мѣшочекъ въ большой ридикюль.

Въ ожиданіи всенощной мы успѣли перебывать вездѣ, и въ церквушкахъ, гдѣ всѣмъ мощамъ поклонились (причемъ матушка, уходя, клала на тарелку самую мелкую монету и спѣшила скорѣе отретироваться), и въ просвирной, гдѣ накупили просвиръ и сдѣлали на исподней коркѣ послѣднихъ именныя заздравныя надписи, и на валу (такъ назывался бульваръ, окружавшій монастырскую стѣну). Тамъ мы встрѣтили щеголеватыхъ монаховъ, въ шолковыхъ рясахъ и съ разноцвѣтными четками, которыя они торопливо перебирали. Монахи были бо̀льшею частью молодые, красивые, видные и, казалось, полные сознаніемъ довольства, среди котораго они жили. Агаша, которая сопровождала насъ, даже замѣтила:

— Ишь раскормили! одинъ къ одному!

— Что̀ имъ дѣлается! пьютъ да ѣдятъ, ѣдятъ да пьютъ! Ко всенощной да къ обѣднѣ сходить — вотъ и вся обуза! — присовокупила, съ своей стороны, матушка.

Намѣстникомъ въ то время былъ молодой, красивый и щеголеватый архимандритъ. Говорили о немъ, что онъ изъ древняго княжескаго рода, но правда ли это—не знаю. Но что былъ онъ великій щеголь—вотъ это правда, и отъ него печать щегольства и даже свѣтскости перешла и на простыхъ монаховъ.

Но если первое впечатлѣніе, произведенное на меня монастыремъ, было не особенно пріятно, то всенощная служба скоро примирила меня съ нимъ. Переходъ отъ наружнаго свѣта дѣлалъ храмъ нѣсколько мрачнымъ, но это было только на первыхъ шагахъ. Чѣмъ больше мы подвигались, тѣмъ становилось свѣтлѣе отъ множества зажженныхъ лампадъ и свѣчъ; наконецъ, когда дошли до ра̀ки Преподобнаго, насъ охватило цѣлое море свѣта. Пѣло два хора: на правомъ клиросѣ молодые монахи, на лѣвомъ — старцы. Я въ первый разъ услышалъ толковое церковное пѣніе, въ первый разъ понялъ...

Но въ особенности понравилось мнѣ пѣніе старцевъ. Заунывное, полное старческой скорби, оно до боли волновало сердце...

Матушка плакала и тоненькимъ голоскомъ подпѣвала: „Ангельскій соборъ удивися"; я тоже чувствовалъ на глазахъ слезы. Одна Агаша, стоя сзади, оставалась безучастной; вѣроятно думала: „а про персики-то вѣдь я и позабыла!"

Между тѣмъ у ра̀ки безпрерывно шли молебны. До слуха моего долетали слова Евангелія: „иго бо мое благо, и бремя мое легкò есть"... Обыкновенно молебенъ служили для десяти-двѣнадцати богомольцевъ разомъ, и послѣдніе, цѣлуя крестъ, клали гробовому іеромонаху въ руку сколько кто могъ. Едва успѣвали кончить одинъ молебенъ, какъ уже раздавалось новое приглашеніе: „кому угодно молебенъ? въ путь шествующимъ? пожалуйте!" и опять набиралась компанія желающихъ. Настала очередь и для насъ. Матушка просила отслужить молебенъ *для насъ однихъ*, и заплатила за это цѣлый полтинникъ; затѣмъ купила стклянoчку розоваго масла и ваты „отъ ра̀ки", и стала сбираться домой.

Былъ девятый часъ, когда мы вышли изъ монастыря, и на улицахъ уже царствовали сумерки. По возвращеніи на постоялый дворъ, матушка, въ ожиданіи чая, прилегла на лавку, гдѣ были постланы подушки, снятыя съ сидѣнья коляски.

Отъ скуки я взялъ свѣчку и подошелъ къ стѣнѣ, которая была сплошь испещрена стихами и прозою. Стихи были и обыкновенные помѣщицкіе:

Все на свѣтѣ семъ пустое,
Богатство, слава и чины!
Было бы винцо простое
Да кусочекъ ветчины!

—и анакреонтическіе:

Настя въ пяльцахъ что-то шила,
Я же думалъ: какъ мила!
Вдругъ иголку уронила,
И искавши не нашла.
Знать иголочка пропала!
Такъ, вздохнувши, я сказалъ;
Вотъ куда она попала!—
И на сердце указалъ.

Проза, съ своей стороны, гласила:

„Спросити здешнію хозяйку, каковъ есть Митрей Михальцовъ..."

Но въ самый разгаръ моихъ литературныхъ упражненій матушка вскочила какъ ужаленная. Я взглянулъ инстинктивно на стѣну и тоже обомлѣлъ: мнѣ показалось, что она шевелится, какъ живая. Тараканы и клопы повылѣзли изъ щелей и, торопясь и перегоняя другъ друга, спускались по направленію къ полу. Нѣкоторые взбирались на потолокъ и сыпались оттуда градомъ на столъ, на лавки, на полъ...

— Ты что̀ тамъ подлости на стѣнахъ читаешь! — крикнула на меня матушка: — мать клопы живьемъ чуть не съѣли, а онъ вонъ что̀ дѣлаетъ! Агашка! Агашка! Да растолкай ты ее! ишь, шутовка, дрыхнетъ! Ахъ, эти хамки! теперь ее живую сожри—она и не услышитъ!

Матушка хотѣла сейчасъ же закладывать лошадей и ѣхать дальше, съ

тѣмъ, чтобы путь до Москвы сдѣлать не въ двѣ, а въ три станціи, но было ужъ такъ темно, что Алемпій воспротивился.

— Раньше трехъ часовъ утра и думать выѣзжать нельзя, — сказалъ онъ: — и лошади порядкомъ не отдохнули, да и по дорогѣ пошаливаютъ. Подъ Троицей, того гляди, чемоданы отрѣжутъ, а подъ Рахмановымъ и вовсе, пожалуй, ограбятъ. Тамъ, сказываютъ, подъ мостомъ цѣлая шайка поджидаетъ проѣзжихъ. Долго ли до грѣха!

Матушка взглянула на завѣтный денежный ящикъ, на лукошко съ персиками—и сдалась.

Рѣшено было, что она со мной перейдетъ въ коляску, и тамъ мы будемъ ожидать утра.

— Поднимите фордекъ; можетъ быть, хоть чуточку уснемъ, — прибавила она: — а ты, Агашка, здѣсь оставайся, персики береги. Да вы, смотрите, поворачивайтесь! Чуть забрезжетъ свѣтъ, сейчасъ закладывать!

Я ужъ не помню, какъ мы выѣхали. Нѣсколько часовъ сряду я проспалъ скрюченный, и проснулся уже верстъ за десять за Сергіевскимъ посадомъ, чувствуя боль во всемъ тѣлѣ.

Въ то время о шоссе между Москвой и Сергіевскимъ посадомъ и въ поминѣ не было. Дорога представляла собой широкую канаву, вырытую между двухъ валовъ, обсаженную двумя рядами березъ, въ видѣ бульвара. Бульваръ этотъ предназначался для пѣшеходовъ, которымъ было дѣйствительно удобно идти. За то сама дорога, благодаря глинистой почвѣ, до такой степени наполнялась, въ дождливое время, грязью, что образовывала почти непроѣздимую трясину. Тѣмъ не менѣе проѣзжихъ было всегда множество. Кромѣ Сергіевскаго посада, этотъ же трактъ шелъ вплоть до Архангельска, черезъ Ростовъ, Ярославль, Вологду. Движеніе было безпрерывное, и въ сухое время путешествіе это считалось однимъ изъ самыхъ пріятныхъ по оживленію.

Мнѣ и до сихъ поръ памятна эта дорога съ вереницами пѣшеходовъ, изъ которыхъ одни шли съ котомками за плечьми и палками въ рукахъ, другіе въ сторонѣ отдыхали или закусывали. Экипажи встрѣчались на каждомъ шагу, то щеголеватые, мчавшіеся во весь опоръ, то скромные, едва ползущіе на „своихъ", какъ нашъ. Но въ особенности памятны села и деревни, встрѣчавшіяся не очень часто, но за то громадныя, сплошь обстроенныя длинными двухъ-этажными домами (въ каменномъ нижнемъ этажѣ помѣщались хозяева и проѣзжій сѣрый людъ), въ которыхъ день и ночь, зимой и лѣтомъ, кишѣли толпы народа. Даже московско-петербургское шоссе казалось менѣе оживленнымъ, нежели эта дорога, которую я впослѣдствіи, будучи школьникомъ, изучилъ почти шагъ за шагомъ.

Вечеромъ, послѣ привала, сдѣланнаго въ Братовщинѣ, часу въ восьмомъ, Москва была уже рукой-подать. Верстахъ въ трехъ полосатые верстовые столбы смѣнились высѣченными изъ дикаго камня пирамидами, и навстрѣчу понесся тотъ специфическій запахъ, которымъ въ старое время отличались ближайшія окрестности Москвы.

— Москвой запахло!—молвилъ Алемпій на козлахъ.

— Да, Москвой...—повторила матушка, проворно зажимая носъ.

— Городъ... безъ того нельзя! сколько тутъ простого народа живетъ! —вставила свое слово и Агаша, простодушно связывая присутствіе непріятнаго запаха съ скопленіемъ простонародья.

Но вотъ ужъ и совсѣмъ близко; бульваръ по сторонамъ дороги пресѣкся, вдали мелькнулъ шлагбаумъ, и передъ глазами нашими развернулась громадная масса церквей и домовъ...

Вотъ она, Москва—золотыя маковки!

По зимамъ семейство наше начало ѣздить въ Москву за годъ до моего поступленія въ заведеніе. Вышла изъ института старшая сестра Надежда, и надо было пріискивать ей жениха. Странные пріемы, которые употреблялись съ этою цѣлью, наше житье въ Москвѣ и тамошніе родные (со стороны матушки)—все это составитъ содержаніе послѣдующихъ главъ.

Зимнія поѣздки, какъ я уже сказалъ въ началѣ главы, были скучны и непріятны. Насъ затискивали (пассажировъ было пятеро: отецъ, матушка, сестра, я и маленькій братъ Коля) въ запряженный гусемъ возокъ, какъ сельдей въ боченокъ, и при этомъ закутывали такъ, что дышать было трудно. Прибавьте къ этому еще гору подушекъ, и легко поймете, какое мученье было ѣхать въ такой тѣснотѣ въ продолженіе четырехъ-пяти часовъ. Сзади ѣхали двѣ дѣвушки въ кибиткѣ на цѣлой грудѣ кладн, такъ что бѣдныя пассажирки, при малѣйшемъ ухабѣ, стукались головами о бесѣдку кибитки. Остальная прислуга съ громаднóю кладью отправлялась наканунѣ на подводахъ.

Клопами и другими насѣкомыми ночлеги изобиловали даже болѣе, нежели лѣтомъ, и отъ нихъ уже нельзя было избавиться, потому что въ экипажѣ спать зимой было неудобно. Къ счастію, зимній путь былъ короче, и мы имѣли всего три остановки.

У Троицы-Сергія, какъ и всегда, отстаивали всенощную и служили молебенъ. Но молились не столько о благополучномъ путешествіи, сколько о ниспосланіи сестрицѣ жениха.

XIII.—Московская родня.—Дѣдушка Павелъ Борисычъ.

Какъ сейчасъ я его передъ собой вижу. Тучный, приземистый и совершенно лысый старикъ, онъ сидитъ у окна своего небольшого деревяннаго домика, въ одномъ изъ переулковъ, окружающихъ Арбатъ. Съ одной стороны у него столикъ, на которомъ лежитъ вчерашній нумеръ „Московскихъ Вѣдомостей“; съ другой, на подоконникѣ, лежитъ круглая табакерка, съ березинскимъ табакомъ, и кожаная хлопушка, которою онъ бьетъ мухъ. У ногъ его сидитъ его другъ и собесѣдникъ, жирный котъ Васька, и умывается.

Дѣдушкѣ ужъ за семьдесятъ, но онъ скрываетъ свои года, потому что боится умереть. По этой же причинѣ онъ не любитъ, когда его называютъ

дѣдушкой, а требуетъ, чтобъ мы, внуки и внучки, звали его папенькой, такъ какъ онъ всѣхъ насъ заочно крестилъ. Голова у него большая; лицо широкое, обрюзглое, испещренное красными пятнами; нижняя губа отвисла; борода обрита; подъ подбородкомъ виситъ другой подбородокъ, большой, морщинистый, въ родѣ мѣшка. Одѣтъ онъ неизмѣнно въ одинъ и тотъ же ситцевый, стеганый на ватѣ, халатъ, который скорѣе можно назвать капотомъ. Благодаря этому капоту, его издали можно скорѣе принять за бабу, нежели за мужчину.

Еще рано, всего седьмой часъ на исходѣ, но дѣдушка ужъ напился чаю и глядитъ въ окно, отъ времени до времени утирая носъ ладонью. Переулокъ глухой, и рѣдко-рѣдко когда по мостовой продребезжитъ легковой извозчикъ—калиберъ *). Дѣдушка слѣдитъ за нимъ и припоминаетъ, что такому извозчику намеднись Ипатъ, его довѣренный, изъ Охотнаго ряда до Арбата гривенникъ далъ.

— И вся-то цѣна пятачокъ, а онъ гривенникъ.... эхма! — ворчитъ онъ:—то-то, чужихъ денегъ не жалко!

Но если рѣдки проѣзжіе, то въ переулокъ довольно часто заглядываютъ разносчики съ лотками и разной посудиной на головахъ. Дѣдушка знаетъ, когда какой изъ нихъ приходитъ, и всякому или махнетъ рукой („не надо"!), или пріотворитъ окно и кликнетъ. Напримѣръ:

— Рыба!

При этомъ словѣ котъ Васька мгновенно вскакиваетъ на подоконникъ и ждетъ, пока рыбникъ подойдетъ къ кирпичному тротуару и уставитъ лахань съ рыбой на столбикѣ. Во время этой процедуры Васька уже успѣлъ соскочить на тротуаръ и умильно глядитъ прищуренными глазами на рыбника.

— Почемъ пара окуней?—спрашиваетъ дѣдушка.

— Двадцать копѣечекъ.

— Всегда было пятнадцать, а теперь двадцать стало.

— Въ мясоѣдъ оно точно что дешевле, а теперь постъ. Опять и рыба какая! Извольте-ка взглянуть.

— Рыба какъ рыба! Ты говори дѣло.

Начинается торгъ; бьются-бьются, наконецъ кончаютъ на семнадцати копѣйкахъ. Дѣдушка грузно встаетъ съ кресла и идетъ въ спальню за деньгами. Въ это время рыбакъ бросаетъ Васькѣ крошечную рыбёшку. Васька усаживается на всѣ четыре лапки, хватаетъ рыбу и, безпрестанно встряхиваясь, разрываетъ ее зубами.

— Ишь, плутъ!—произноситъ дѣдушка, любуясь на кота:—съ утра ужъ знаетъ, когда рыбакъ долженъ пройти! Настàсь! а Настàсь!

Является Настасья, дѣдушкина „краля", краснощекая и крутобедрая дѣвица лѣтъ двадцати-двухъ. Она еще не успѣла порядкомъ одѣться, и темнорусые волосы разсыпались у нея по плечамъ.

---

*) „Калиберами" назывались извозчичьи дрожки съ длиннымъ сидѣньемъ, на которомъ одинъ пассажиръ садился верхомъ, а другой — бокомъ къ нему; рессоры были тоненькія почти сплюснутыя. Пролетокъ въ то время еще не существовало.

— Что̀ нужно?

— Ничего не нужно; на тебя посмотрѣть захотѣлось.

— Вотъ новости выдумали! Говорите дѣло: что̀ нужно?

— Возьми рыбу, на кухню отдай.

Настасья съ сердцемъ беретъ рыбу и удаляется. Дѣдушка слѣдитъ за нею глазами.

— Ишь хвостомъ завиляла... узорѣшительница! *)—бормочетъ онъ.

Разносчики слѣдуютъ одинъ за другимъ.

Вотъ лоточникъ, съ вареной патокой; идетъ и припѣваетъ:

Патока съ инбиремъ,
Варилъ дядя Семіонъ,
Бабушка Ненила
Кушала, хвалила,
А дѣдушка Елизаръ
Всѣ пальчики облизалъ...

Вотъ лоточникъ съ вареной грушей, отъ которой пахнетъ кожанымъ выросткомъ. Вотъ и еще съ гречневиками, покрытыми грязной холстиной. Лоточникъ, если его позовутъ, остановится, обмакнетъ гречневикъ въ конопляное масло, поваляетъ между ладонями, чтобъ масло лучше впиталось, и презентуетъ покупателю. Словомъ сказать, чего хочешь, того просишь. Дѣдушка то крыжовничку фунтикъ купитъ, то селедку переславскую, а иногда только поговоритъ и отпуститъ, ничего не купивши. Въ промежуткахъ, убьетъ хлопушкой муху; но такъ какъ рука у него дрожитъ отъ старости, то часто онъ дѣлаетъ промахи и очень сердится.

— Нѣтъ этой твари хитрѣе!—разговариваетъ онъ самъ съ собою. — Ты думаешь, навѣрняка къ ней прицѣлился—анъ она вонъ гдѣ! Настàсь! а Настàсь!

— Что еще?—слышится издалека.

— Не идетъ! Мухи, слышь, одолѣли!

— Ну, и пущай васъ ѣдятъ.

— Ишь вѣдь... эхма! Васька! укралъ, шельмéцъ, рыбку у рыбака, съѣлъ, и дрыхнетъ, точно и не его дѣло! А знаешь ли ты, отецкій сынъ, что̀ за воровство полагается?

Васька лежитъ растянувшись на боку, жмуритъ глаза и тихо мурлычитъ. Онъ даже оправдываться въ взводимомъ на него обвиненіи не хочетъ. Дѣдушка отрываетъ у копченой селедки плавательное перо и бросаетъ его коту. Но Васька не обращаетъ никакого вниманія на подачку.

— Тварь, а поди, какое разсужденіе имѣетъ! Понимаетъ, отецкій сынъ, что въ перышкѣ отъ селедки толку мало. Настàсь! а Настàсь!

— Ну васъ!

— Скоро ли Инатъ придетъ?

— Я почемъ знаю! Отстаньте, вамъ говорятъ!

— А я съ тобой поиграть хотѣлъ.

---

*) Анастасія—имя греческое, означаетъ: „Узорѣшительница“. *Изъ стариннаго мѣсяцеслова.*

— Играйте съ котомъ... будетъ съ васъ. У меня свои игральщики есть!

Дѣдушка смерть не любитъ, когда Настасья ему объ игральщикахъ напоминаетъ. Онъ сознаетъ, что въ этомъ отношеніи за нимъ накопилась неоплатная недоимка, и сердится.

— Шельма ты! ужъ когда-нибудь я тебя...—грозится онъ.

— Лёгко ли дѣло! очень я васъ испугалась! А вы отвяжитесь, не приставайте!

Но дѣдушкѣ ужъ не до Настасьи. На носъ къ нему сѣла муха, и онъ тихо-тихо приближаетъ ладонь, чтобъ прихлопнуть ее. Но увы! и тутъ его ждетъ неудача: онъ успѣлъ только хлопнуть себя по лицу, но мухи не убилъ.

Къ восьми часамъ является изъ Охотнаго ряда Ипатъ съ цѣлой грудой постной провизіи. Тутъ и огурцы, и лукъ, и соленая судачина, и икра и т. д.

Ипатъ—рослый и коренастый мужикъ, въ пестрядинной рубахѣ навыпускъ, съ громадной лохматой головой и отвислымъ животомъ, который онъ поминутно чешетъ. Онъ—дѣдушкинъ ровесникъ, служилъ у него въ приказчикахъ, когда еще дѣла были, потомъ остался у него жить, и пользуется его полнымъ довѣріемъ. Идетъ докладъ. Дѣдушка подробно разспрашиваетъ, что̀ и почемъ куплено; оказывается, что за весь ворохъ заплачено не больше синей ассигнаціи.

По уходѣ Ипата, дѣдушка принимается за „Московскія Вѣдомости" и не покидаетъ газеты до самаго обѣда, читая ее подъ-рядъ отъ доски до доски. Во „Внутреннихъ Извѣстіяхъ" пишутъ, что такого-то числа преосвященный Агаѳангелъ служилъ литургію, а затѣмъ со всѣхъ городскихъ колоколенъ производился цѣлодневный звонъ. Во „Внѣшнихъ Извѣстіяхъ", изъ Парижа пишутъ, что герцогиня Орлеанская разрѣшилась отъ бремени дочерью Клементиной. Въ отдѣлѣ объявленій дѣдушка, по старой привычкѣ, больше всего интересуется вызовами къ торгамъ. Все это давно извѣстно и переизвѣстно дѣдушкѣ; ему даже кажется, что и принцесса Орлеанская во второй разъ на одной недѣлѣ разрѣшается отъ бремени, тѣмъ не менѣе онъ и сегодня, и завтра будетъ читать съ одинаковымъ вниманіемъ и, окончивъ чтеніе, зѣвнетъ, перекреститъ ротъ и велитъ отнести къ генералу Любягину.

Ровно въ двѣнадцать часовъ дѣдушка садится за обѣдъ. Онъ обѣдаетъ одинъ въ небольшой столовой, выходящей во дворъ. Настасья тоже обѣдаетъ одна въ своей комнатѣ рядомъ со столовой. Происходятъ переговоры.

— Настàсь! а Настàсь! Никакъ осетрина-то сыровата?

— Ѣшьте-ка! Нечего привередничать!

— Ты бы сбѣгала, у повара спросила?

— И спрашивать нечего. Тàкъ это вы...

Въ это время по переулку раздается громъ проѣзжающаго экипажа. Настасья стремглавъ выбѣгаетъ въ залу къ окну.

— Кто проѣхалъ?

— Офицеръ. Да молодчикъ какой!

— А ты и рада!

— Чтожъ, на васъ, что-ли, цѣлый день смотрѣть... есть резонъ!

— Язва ты, язва!

Послѣ обѣда дѣдушка часа два отдыхаетъ; потомъ ему подаютъ колоду старыхъ, замасленныхъ картъ, и начинается игра. Дома дѣдушка играетъ исключительно въ дураки, и любитъ, чтобъ ему поддавались. Постояннымъ партнеромъ ему служитъ лакей Пахомъ, съ которымъ старикъ плутуетъ безъ всякихъ стѣсненій. Подваливаетъ ему непарные тройки и пятки, выбираетъ изъ колоды козырей, и въ концѣ концовъ, конечно, побѣждаетъ. Отъ удовольствія у него даже животъ колышется. Но иногда въ игрѣ принимаетъ участіе Настасья и уже не позволяетъ плутовать. Дѣдушка, оставшись разъ или два дуракомъ, прекращаетъ игру и удаляется въ спальню, гдѣ записываетъ дневной расходъ и провѣряетъ кассу.

— Настасья!—кричитъ онъ снова, выходя въ столовую, гдѣ уже кипитъ самоваръ.

— Она у воротъ сидитъ,—отвѣчаетъ Пахомъ.

— Чего еще не видала! Зови сюда.

Но проходитъ пять-десять минутъ, а Настасьи нѣтъ. Пахомъ тоже задержался у воротъ. Всѣмъ скучно съ дѣдушкой; всѣмъ кажется, что онъ что-то старое-старое говоритъ. Наконецъ Настасья выплываетъ въ столовую и молча завариваетъ чай.

— Что же ты молчишь?

— А что говорить-то!

— Кого видѣла? Съ кѣмъ амурничала?

— Отвяжитесь вы отъ меня! Какъ собаку на цѣпи держать, да еще упрекаютъ.

— Хочешь крыжовнику?

— Ѣшьте сами!

Дѣдушкѣ скучно. Онъ беретъ въ руку хлопушку, но на дворѣ уже сумерки и вести съ мухами войну неудобно. Онъ праздно сидитъ у окна и наблюдаетъ, какъ сумерки постепенно сгущаются. Проходитъ по двору кучеръ.

— Егоръ! овса лошадямъ задавалъ?—кричитъ дѣдушка.

— Иду.

— То-то. Пристяжная словно бы худѣть стала. Ты смотри: ежели что, такъ вѣдь я...

— Отчего ей худѣть! Кажется, я...

— Ну, ступай.

На кухонномъ крыльцѣ появляется Ипатъ, зѣваетъ и чешетъ брюхо.

— Ипатъ! поди сюда! Къ арбузамъ давеча не прицѣнялся?

— Арбузовъ привозныхъ еще нѣтъ, а здѣшніе дороги: полтина за штуку.

— Натко!

— Пятиалтыннаго жалко! ахъ, эти деньги проклятыя!—раздается изъ Настасьиной комнаты.

— А слива черная почемъ?

— Сливы не дороги: гривенникъ за сотню.

— А помнишь, въ коронацію? за двадцать копѣекъ сотню отдавали— только бери...—Ну, ступай! завтра возьми сотенку... Да ты поторгуйся! Эхма! любишь ты зря деньги бросать!

Бьетъ девять часовъ; дѣдушка уходитъ въ спальню, снимаетъ халатъ и ложится спать. День конченъ.

Больше десяти лѣтъ сидитъ-сиднемъ дѣдушка въ своемъ домикѣ, никуда не выѣзжаетъ и не выходитъ. Только два раза въ годъ ему закладываютъ дрожки, и онъ отправляется въ Опекунскій Совѣтъ за полученіемъ процентовъ. Нельзя сказать, что причина этой неподвижности лежитъ въ болѣзни, но онъ обрюзгъ, отвыкъ отъ людей и облѣнился.

Изо дня въ день его жизнь идетъ въ одномъ и томъ же порядкѣ, и онъ пересталъ даже тяготиться этимъ однообразіемъ. Два раза (объ этомъ дальше) матушкѣ удалось убѣдить его съѣздить къ намъ на лѣто въ деревню; но, проживши въ Малиновцѣ не больше двухъ мѣсяцевъ, онъ уже начиналъ скучать и отпрашиваться въ Москву, хотя въ это время года одиночество его усугублялось тѣмъ, что всѣ родные разъѣзжались по деревнямъ, и его посѣщалъ только отставной генералъ Любягинъ, родственникъ по женѣ (единственный генералъ въ нашей семьѣ) да чиновникъ Опекунскаго Совѣта Клюквинъ, который занимался его немногосложными дѣлами и одинъ изъ всѣхъ окружающихъ зналъ въ точности, сколько хранится у него капитала въ ломбардѣ. Зимой, когда въ Москву наѣзжали сынъ и обѣ дочери, въ маленькомъ домикѣ становилось люднѣе, и вечерами, по временамъ, даже собирались „гости“.

Кромѣ того, во время учебнаго семестра, покуда родные еще не съѣзжались изъ деревень, дѣдушка по очереди бралъ въ праздничные дни одного изъ внуковъ; но послѣдніе охотнѣе сидѣли съ Настасьей, нежели съ нимъ, такъ что присутствіе ихъ нимало не нарушало его всегдашняго одиночества.

Дѣдушка происходилъ изъ купеческаго рода, но въ 1812 г. сдѣлалъ значительное пожертвованіе въ пользу арміи, и за это получилъ чинъ коллежскаго ассесора, а вмѣстѣ съ тѣмъ и право на потомственное дворянство. Тѣмъ не менѣе купеческая складка и купеческія привычки остались за нимъ до смерти. Онъ не любилъ вспоминать о своемъ происхожденіи, и никогда не видался и даже не переписывался съ родной сестрой, которая была замужемъ за купцомъ, впослѣдствіи пришедшимъ въ упадокъ и переписавшимся въ мѣщане. Говорили, будто дѣдушка былъ когда-то милліонеромъ, но что нѣсколько неудачныхъ подрядовъ, одинъ за другимъ, пошатнули его состояніе настолько, что оно сдѣлалось довольно умѣреннымъ. Къ счастію, онъ во-время остановился, ликвидировалъ дѣла и зажилъ тою старозавѣтною, глухою жизнью, которая до конца осталась его удѣломъ. Но и за всѣмъ тѣмъ дѣдушка считался „при хорошемъ капиталѣ“, благодаря таинственности, въ которую онъ облекалъ свои дѣла. Поэтому члены семьи раболѣпно прислуживались и смотрѣли ему въ глаза, стороной выпытывая, много ли у него денегъ, и съ нетерпѣніемъ выжидая минуту, когда онъ наконецъ рѣшится

написать завѣщаніе. Но старикъ упорно не дѣлалъ завѣщанія, потому что былъ убѣжденъ, что вслѣдъ за завѣщаніемъ должна неминуемо послѣдовать смерть.

Дѣдушкина семья состояла изъ четырехъ человѣкъ: двоихъ сыновей и двухъ дочерей. Но всѣ они смотрѣли врозь, такъ что здѣсь повторялось то же явленіе, что и въ отцовской семьѣ. Только мотивы были иные (дѣдушкинъ мѣшокъ) и формы лицемѣрнѣе, потому что старый дѣдъ не терпѣлъ семейныхъ дрязгъ. Вообще говоря, несмотря на многочисленность родни, представленіе о дѣйствительно родственныхъ отношеніяхъ было совершенно чуждо моему дѣтству. При личныхъ свиданіяхъ происходили цѣлованія; за глаза во всякую свободную минуту, не уставая, сплетничали и обносили другъ друга. Исключеніе составляли тетеньки-сестрицы, но онѣ уже были такъ придавлены, что по-неволѣ жили смирно.

Старшаго дядю, Александра, я не помню: онъ умеръ, когда мы еще не начинали ѣздить въ Москву. Но изъ семейныхъ разговоровъ знаю, что онъ былъ человѣкъ скромный, хотя простоватый, и что дѣдушка его не любилъ. Вообще въ своей семьѣ онъ былъ, какъ говорится, не ко двору, и даже эпитетъ: „простоватый", которымъ охотно награждали дядю, быть можетъ, означалъ не столько умственную бѣдность, сколько отсутствіе хищническихъ наклонностей. А такъ какъ „не любить" на нашемъ семейномъ языкѣ значило „обидѣть", обдѣлить", то крутой старикъ, сообразно съ этимъ толкованіемъ, и поступилъ съ старшимъ сыномъ. Купилъ ему небольшой домикъ для житья, отсчиталъ сорокъ тысячъ (ассигнаціями) и взялъ съ него форменную бумагу, что онъ родительскимъ благословеніемъ доволенъ и дальнѣйшихъ претензій на наслѣдство послѣ отца предъявлять не дерзнетъ.

Александръ Павлычъ скромно жилъ въ своемъ маленькомъ домикѣ съ мѣщанской дѣвицей Аннушкой, которую страстно любилъ и отъ которой имѣлъ сына. Родныхъ онъ чуждался; къ отцу ѣздилъ только по большимъ праздникамъ, причемъ дѣдушка неизмѣнно дарилъ ему красную ассигнацію; съ сестрами совсѣмъ не видѣлся и только съ младшимъ братомъ Григоріемъ поддерживалъ кой-какія сношенія, но и то какъ будто исподтишка. Пріѣдетъ рано утромъ, когда никого нѣтъ, переговоритъ о чемъ нужно и исчезнетъ надолго. Очевидно онъ инстинктивно боялся брата, какъ и всѣ вообще члены нашей семьи.

Дядина „сударка" служила предметомъ общаго негодованія, точно также какъ тощій капиталъ Александра Павлыча — предметомъ общихъ любостяжательныхъ вожделѣній. У насъ ее называли не иначе какъ „к—ой", а сына ея—„в—мъ", нимало не стѣсняясь присутствіемъ дѣтей. Капиталъ дядинъ считали пропащимъ, и, разумѣется, въ особенности волновалась по этому поводу матушка. Не разъ пыталась она сойтись съ братомъ, звала его въ Малиновецъ и даже заискивала въ Аннушкѣ, но попытки эти никакого успѣха не имѣли. Нерѣдко за обѣдомъ у насъ происходили такого рода разговоры.

— Тихоня — тихоня, а подцѣпилъ себѣ б—ку, и живетъ да поживаетъ!—говорила матушка:—ни отца, ни родныхъ, ни кого знать не хочетъ!

— Получилъ капиталъ, и любо!—отзывался отецъ.

— Помяните мое слово, что онъ и домъ, и деньги, все своей б... передастъ! Да, плакали папенькины денежки!

Или:

— Настька (дѣдушкина „краля“) намеднись сказывала. Ходила она къ нему въ гости: сидятъ вдвоемъ, цѣлуются да милуются. Да, плакали наши денежки! Положимъ, что домъ-то еще можно оттягать: родительское благословеніе... Ну, а капиталъ... фьюить!

— И домъ ежели можно оттягать, такъ не ты оттягаешь, а Гришка кровопивецъ. Все ему достанется: и послѣ старика, и послѣ брата.

Матушка при этомъ предсказаніи блѣднѣла. Она и сама только наружно тѣшила себя надеждой, а внутренно была убѣждена, что останется ни-причемъ, и все дѣдушкино имѣніе перейдетъ брату Григорью, такъ какъ его руку держитъ и Настька-краля, и Клюквинъ, и даже генералъ Любягинъ. Да и самъ Гришка постоянно живетъ въ Москвѣ, готовый, какъ ястребъ, во всякое время налетѣть на стариково сокровище.

Предчувствія ея насчетъ капитала Александра Павлыча сбылись: ни одного обола не досталось ей изъ него. Съ капиталомъ этимъ случилась ловкая штука. Александръ Павлычъ заранѣе сдѣлалъ домашнее завѣщаніе, которымъ отказалъ все свое имущество Аннушкѣ и ея сыну. Хранилъ онъ это въ величайшей тайнѣ (впрочемъ дядя Григорій, конечно, не имѣлъ на этотъ счетъ ни малѣйшихъ сомнѣній), и все, казалось, было устроено такъ, чтобы дядина семья была обезпечена. Но когда дядя умеръ, лукавый смутилъ Аннушку. Желала ли она заслужить расположеніе Григорія Павлыча (онъ одинъ изъ всей семьи присутствовалъ на похоронахъ и велъ себя такъ „благородно“, что ни однимъ словомъ не упомянулъ объ имуществѣ покойнаго), или въ самомъ дѣлѣ не знала, къ кому обратиться,—какъ бы то ни было, но, схоронивши сожителя, она пришла къ „братцу“ посовѣтоваться. „Братецъ“ благосклонно ее выслушалъ, и въ заключеніе полюбопытствовалъ взглянуть на завѣщаніе. Затѣмъ взялъ завѣщаніе въ руки, разсмотрѣлъ, убѣдился въ его правильности и... положилъ его въ свой карманъ.

Аннушка такъ и ахнула.

— Было завѣщаніе, а теперь гдѣ оно? — сентенціозно присовокупилъ „братецъ“.

— Да вѣдь тутъ свидѣтели подписались! я ихъ найду, сошлюсь на нихъ!—возражала Аннушка, ударившись въ слезы.

— И свидѣтели были, и все-таки завѣщанія нѣтъ! Было завѣщаніе, да покойный братъ самъ его уничтожилъ, вотъ тебѣ и сказъ! — пояснилъ „братецъ“.

Однимъ словомъ, Аннушка, сколько ни хлопотала, осталась ни-причемъ. Справедливость требуетъ однакожъ сказать, что Григорій Павлычъ далъ ей на бѣдность сто рублей, а сына опредѣлилъ въ ученье къ сапожному мастеру.

— Ты будешь работу работать,—благосклонно сказалъ онъ Аннушкѣ: — а сынъ твой, какъ выйдетъ изъ ученья, тоже хлѣбъ станетъ добывать; вотъ вы и будете вдвоемъ смирнёхонько жить да поживать. Въ трудѣ да въ согласіи—чего лучше!

Въ нашей семьѣ извѣстіе о томъ, какъ Григорій Павлычъ „объегорилъ“ Анютку, произвело настоящій фуроръ.

— Нѣтъ, вы представьте себѣ эту потѣху,—восторгалась матушка:— приходитъ она къ нему какъ къ путному... ахъ, дура, дура!

— На то и живутъ на свѣтѣ дураки, чтобъ ихъ учить! — откликался отецъ.

— Нѣтъ, да вы представьте себѣ эту картину: стоитъ она передъ нимъ, вытаращивши глаза, покуда онъ въ карманъ завѣщаніе кладетъ, и думаетъ, что во снѣ ей мерещится... ахъ, прахъ побери да и совсѣмъ!

— А все-таки не тебѣ капиталъ достался, а Гришка слопалъ... И стариковъ капиталъ онъ же слопаетъ.

— А она-то, простофиля, чай, думала: буду на свой капиталъ жить да поживать, и вдругъ, въ одну секунду... То-то, чай, обалдѣла!

Даже братъ Степанъ, и тотъ въ восторгѣ воскликнулъ:

— Вотъ такъ каша съ масломъ!

И матушка не только не забранила его, но вслѣдъ за нимъ повторила:

— Именно каша, только безъ масла! Поперхнулась, поди, б...ка этой кашей! Ахъ, да представьте вы себѣ...

И по крайней мѣрѣ недѣли двѣ сряду за нашимъ обѣдомъ только и слышались восклицанія: „вотъ такъ штука! вотъ такъ каша! вотъ такъ сюрпризъ!“

Вообще дядя Григорій Павлычъ слылъ въ семействѣ „звѣздою“. Всѣ его боялись, начиная со старика дѣда и кончая женою и дѣтьми. Всегда у него была на-готовѣ каверза, и онъ на практикѣ нерѣдко доказывалъ, что ни передъ чѣмъ не отступитъ. Дѣдушка въ его присутствіи притихалъ, никогда ему не противорѣчилъ и даже избѣгалъ сложныхъ разговоровъ, точно опасался, что вырвется какое-нибудь слово, за которое Григорій Павлычъ уцѣпится, чтобъ произвести нападеніе на стариковъ карманъ. И дѣйствительно, не разъ случалось, что любезный сынокъ, воспользовавшись случайно оброненнымъ словомъ, втягивалъ отца въ разныя предпріятія, въ качествѣ дольщика, и потомъ, получивъ болѣе или менѣе крупную сумму, не упоминалъ ни о деньгахъ, ни о „долѣ“. Затѣмъ матушка и тетенька Арина Павловна безкорыстно лебезили передъ нимъ, говорили ему „вы“, называли „братцемъ“ (онъ же говорилъ просто: „сестра Анна, сестра Арина“), и посылали ему изъ деревни всякіе запасы, хотя у него и своихъ дѣвать было некуда. Что касается отца, то онъ былъ серьезно убѣжденъ, что Гришка — колдунъ, что онъ можетъ у кого угодно выманить деньги, и когда-нибудь всю родню разоритъ. Братъ Степанъ далъ ему прозвище: „Гришка Отрепьевъ“, за что хотя и получилъ отъ матушки щелчокъ въ лобъ, но, видимо, только для приличія, безъ гнѣва, такъ что прозвище даже вошло въ общее употребленіе.

Самая внѣшность Григорія Павлыча имѣла въ себѣ нѣчто отталкивающее. Сложенъ онъ былъ плотно, и всегда красное лицо его казалось налитымъ кровью. Отдутыя, словно обожженныя губы, мясистый носъ, мутные, ничего не выражающіе глаза, навощенные фиксатуаромъ виски, кокъ по срединѣ лба —все производило самое непріятное впечатлѣніе. Голосъ у него былъ хрип-

лый; говорилъ онъ съ разстановкой, такъ сказать, безапелляціонно. Рѣдко присаживался, почти постоянно ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ маятникъ, по временамъ прислоняясь къ стѣнѣ или къ окну и складывая ноги ножницами. Однимъ словомъ, при самомъ поверхностномъ взглядѣ на этого человѣка, невольно западало въ голову, что это во-истину стальная душа, ко всему безучастная.

— Отъ него пощады не жди! — говорила матушка:—отецъ не отецъ, сестра не сестра—онъ не посмотритъ, всѣхъ за грошъ продастъ!

И продастъ даже помимо предвзятости, просто потому, что таково было свойство его природы.

Женатъ онъ былъ на бѣдной пензинской дворянкѣ, которую взялъ „за красоту". Повидимому она когда-то была дѣйствительно миловидна, но въ описываемое время отъ бывшей красоты не осталось и слѣда, и лицо ея выражало только придавленность и испугъ. Тѣмъ не менѣе дядя до извѣстной степени дорожилъ ею, потому что она говорила по-французски и могла не осрамить его въ обществѣ. Дѣтей у него было четверо и все сыновья—дядя любилъ мудреныя имена, и потому сыновья назывались: Ревокатъ, Ѳеогностъ, Селевкъ и Помпей — были тоже придавлены и испуганы, по крайней мѣрѣ въ присутствіи отца, у котораго на лицѣ, казалось, было написано: „а вотъ я тебя сейчасъ прокляну!" Когда я зналъ ихъ, это были уже взрослые юноши, изъ которыхъ двое посѣщали университетъ, а остальные кончали гимназію. Учились они отлично, но впослѣдствіи все-таки ничего изъ нихъ не вышло.

Когда-то Григорій Павлычъ служилъ въ Москвѣ надворнымъ судьею, но, достигнувъ чина статскаго совѣтника (почти генералъ) вышелъ въ отставку. Въ описываемую пору онъ торговалъ деньгами, или, говоря попросту, занимался ростовщичествомъ. Жилъ онъ привольно и по зимамъ давалъ званые обѣды и вечера, на которые охотно пріѣзжали московскіе „генералы", разумѣется второго сорта, изъ числа обладавшихъ Станиславомъ второй степени, которому въ то время была присвоена звѣзда (но безъ ленты). Звѣзда, хотя бы и не особенно доброкачественная, считалась непремѣннымъ условіемъ генеральства, и я помню дѣйствительнаго статскаго совѣтника А., который терпѣлъ оттого, что имѣлъ только Анну на шеѣ, вслѣдствіе чего ему подавали на званыхъ обѣдахъ кушанье послѣ другихъ генераловъ. Тщетно онъ волновался и кипятился по этому поводу, даже доказывалъ, что Анны вторыя „по настоящему" выше, нежели Станиславы вторые — обѣденный этикетъ былъ неумолимъ.

За Григоріемъ Павлычемъ слѣдовали двѣ сестры: матушка и тетенька Арина Павловна Федуляева, въ то время уже вдова, обремененная большимъ семействомъ. Послѣдняя ничѣмъ не была замѣчательна, кромѣ того, что раболѣпнѣе другихъ смотрѣла въ глаза отцу, какъ будто каждую минуту ждала, что вотъ-вотъ онъ отопретъ денежный ящикъ и скажетъ: „бери сколько хочешь!"

Всѣ начальные члены семьи держали при дворѣ дѣдушки представителей, такъ что старикъ не имѣлъ платной прислуги (кромѣ Ипата, который жилъ, такъ сказать, „на вѣру"), но за то былъ окруженъ соглядатаями. На

прислугѣ лежало наблюденіе за дѣдушкинымъ здоровьемъ и за всѣмъ происходившимъ въ его домѣ, а также доведеніе о результатахъ наблюденій до свѣдѣнія подлежащихъ господъ. „Въ случаѣ чего, сейчасъ же гонца слать!“ —таковъ былъ общій лозунгъ. Матушка не была особенно удачлива въ этомъ отношеніи: ей досталось на долю поставить отцу повара и людскую кухарку, которые только стороной могли узнавать о происходившемъ. Дядя Григорій Павлычъ былъ болѣе счастливъ: онъ приставилъ къ дѣдушкѣ камердинера Пахома, который имѣлъ доступъ въ спальню и, слѣдовательно, могъ отчасти наблюсти, куда старикъ прячетъ деньги. Но всего благосклоннѣе была судьба къ тетенькѣ Аринѣ Павловнѣ: она дала ей возможность предоставить дѣдушкѣ „кралю“, ту самую Настасью, съ которою я уже познакомилъ читателя.

Я помню, что когда умерла старая дѣдушкина „краля“, то въ нашемъ домѣ произошла цѣлая революція. Нарочный гонецъ привезъ эту скорбную вѣсть въ Малиновецъ и засталъ всѣхъ врасплохъ. Началась бѣготня, суета. Матушка едва не захворала. Но времени терять было некогда, и она занялась выборомъ по деревнямъ самыхъ красивыхъ дѣвушекъ, которыя должны были плѣнить старика. Но ей не посчастливилось. Покуда въ Малиновцѣ разыскивали дѣвицъ, мыли, скоблили и обряжали, тетенька Арина Павловна уже выполнила трудную миссію такъ быстро и ловко, что всѣ соперничащія стороны остались за флагомъ. Настасья была водворена, и привезенную малиновецкую красавицу даже не пустили на глаза дѣдушкѣ.

Предполагаемый дѣдушкинъ капиталъ составлялъ центръ тяжести, къ которому тяготѣло все его потомство, не исключая и насъ, внуковъ. Всѣ относились къ старику какъ-то загадочно, потому что никто, повторяю, не зналъ достовѣрно размѣровъ сокровища, которымъ онъ обладалъ. Поэтому наперсница Настасья и чиновникъ Клюквинъ служили предметомъ всевозможныхъ ласкательствъ.

Всякому хотѣлось узнать тайну; всякій подозрѣвалъ другъ друга, а главное, всякій желалъ овладѣть кубышкой врасплохъ, въ полную собственность, такъ чтобъ другимъ ничего не досталось. Это клало своеобразную печать на семейныя отношенія. Снаружи все смотрѣло дружелюбно и даже слащаво; внутри кипѣла вражда. Повидимому дядя Григорій Павлычъ былъ счастливѣе сестеръ и даже зналъ—болѣе или менѣе точно—цифру капитала, потому что Клюквинъ былъ ему пріятель.

Наконецъ однакожъ матушка была обрадована. Дѣдушка писалъ ей, что согласенъ прогостить полтора или два лѣтнихъ мѣсяца въ Малиновцѣ, а Настасья съ тѣмъ же посланнымъ наказывала, чтобъ къ 10-му іюня выслали за старикомъ экипажъ и лошадей.

Надежды матушки оживились. Въ домѣ поднялись суета, чистка, мытье. Выбрали для дѣдушки на парадной половинѣ дома большую и уютную комнату; о бокъ съ нею, въ диванной, поставили перегородку и за нею устроили спальню для Настасьи. На дворѣ, у дѣвичьяго крыльца, провѣтривались перины, подушки, одѣяла, и появились двѣ кровати: одна, двуспаль-

ная подъ орѣхъ, предназначалась для дѣдушки; другая, попроще, для Настасьи. Ихъ осматривали до малѣйшей щелки и ошпаривали кипяткомъ всякую нечисть. Стѣны въ обѣихъ комнатахъ и мебель тоже тщательно вычистили. Приготовивъ все, заперли комнаты на ключъ и подоткнули двери снизу войлокомъ, чтобы какой-нибудь праздношатающійся клопикъ не могъ заползти въ заповѣдную область.

Даже для дѣдушкина камердинера Пахома отвели нѣчто въ родѣ собственнаго угла, въ чуланѣ, и поставили туда кровать. Для услугъ Настасьѣ предназначили особую дѣвушку.

Это была серьезная побѣда въ глазахъ матушки, потому что, не дальше какъ за годъ передъ тѣмъ, дѣдъ совсѣмъ-было склонился на сторону дяди Григорія Павлыча, даже купилъ пополамъ съ нимъ имѣніе подъ Москвой и отправился туда на лѣто. Но любимый сынъ не съумѣлъ воздержаться отъ грубыхъ выходокъ. Онъ не только не уступилъ старику, хоть бы по наружности, главенства, но всячески и на каждомъ шагу ограничивалъ его. Наконецъ произошелъ такой случай. Дѣдушка приказалъ съ утра наловить въ прудѣ карасей для завтрака, а дядя, увидѣвъ рабочихъ, идущихъ съ неводомъ, отмѣнилъ приказаніе и послалъ людей на сѣнокосъ. Подали завтракъ —карасей нѣтъ. Дѣдушка смолчалъ, но послѣ завтрака сейчасъ же велѣлъ запрягать лошадей, и, какъ ни упрашивалъ его Григорій Павлычъ, уѣхалъ въ половинѣ лѣта въ Москву. Послѣ этого на всю зиму между отцомъ и сыномъ установились холодныя отношенія.

— Карасей пожалѣлъ для родного отца!—негодовала матушка, когда до нея дошла вѣсть объ этомъ происшествіи.—Да и карасей-то не своихъ, а собственныхъ папенькиныхъ! Да я бы не только карасей, а все: и ягоды, и фрукты, и печёночки, и соченькòвъ съ творожкомъ *)... словомъ, все бы — только, папенька, кушайте на здоровье!

Семья наша торжествовала. Даже мы, дѣти, радовались пріѣзду дѣдушки, потому что при немъ обязательно предполагалась хорошая ѣда, и насъ неудобно было держать впроголодь.

— Теперь мать только распоясывайся! — весело говорилъ братъ Степанъ: — теперь, братъ, о полоткахъ позабудь—баста! Вотъ они, пути Провидѣнія! Пріѣхалъ дорогой гость, а у насъ полотки въ опалу попали. Огурцы промозглые, солонина съ душкомъ—все полетитъ въ застольную! Не миновать, милый другъ, и на Волгу за рыбой посылать, а рыбка-то кусается! Дѣдъ — онъ пожрать любитъ — это я знаю! И самъ хорошо ѣстъ, и другіе чтобъ хорошо ѣли—вотъ у него какъ!

Вообще Степанъ, какъ наиболѣе голодный, радовался больше другихъ; у него были планы даже насчетъ Настасьи.

— Надо помогать матери, — болталъ онъ безъ умолку:—надо старикова наслѣдство добывать! Подловлю я эту Настьку, какъ пить дамъ! Вотъ ужо пойдемъ въ лѣсъ, по малину, я ее и припру! Скажу: — Настасья! намъ судьбы не миновать, будемъ жить въ любви! То да сё... „съ большимъ, де-

*) Особаго рода кушанье, въ родѣ сдобныхъ блиновъ, сложенныхъ вдвое и начиненныхъ творогомъ. Въ дѣтствѣ сочни казались мнѣ чрезвычайно вкусными, но въ настоящее время едва ли найдется желудокъ, способный ихъ переварить.

скать, удовольствіемъ!“ Ну, а тогда наше дѣло въ шляпѣ! Ликуй, Анна Павловна! лей слезы, Гришка Отрепьевъ!

Словомъ сказать, малиновецкій домъ оживился. Сѣнныя дѣвушки — и тѣ ходили съ веселыми лицами, въ надеждѣ, что при старомъ баринѣ ихъ не будутъ томить работой. Одно горе: дѣдушка любилъ полакомиться, а къ пріѣзду его еще не будетъ ни ягодъ, ни фруктовъ спѣлыхъ.

— Ну, какъ-нибудь вареньицемъ до ягодъ пробьемся! — тужила матушка:—слава Богу, что хоть огурчиковъ свѣженькихъ въ парникѣ вывести догадались. И словно меня свыше кто надоумилъ: прикажи да прикажи садовнику, чтобъ огурцы ранніе были! Анъ и понадобились.

И вотъ, въ половинѣ іюня (мы, дѣти, ужъ собрались въ это время въ деревню изъ заведеній на каникулы), часу въ седьмомъ вечера, на дорогѣ, ведущей въ Москву, показалась изъ-за лѣса знакомая четвероместная коляска, а черезъ нѣсколько минутъ она была уже у крыльца. Разумѣется, всѣ домочадцы высыпали на-встрѣчу. Но дѣдушка былъ утомленъ; онъ грузно вылѣзъ изъ экипажа, наскоро поздоровался съ отцомъ, на ходу подалъ матушкѣ и внучатамъ руку для цѣлованія, и молча прошелъ въ отведенную ему комнату, откуда и не выходилъ до утра слѣдующаго дня.

Матушка частенько подходила къ дверямъ заповѣдныхъ комнатъ, прислушивалась, но войти не осмѣливалась. Въ домѣ мгновенно все стихло, даже въ отдаленныхъ комнатахъ ходили на цыпочкахъ и говорили шопотомъ. Наконецъ, часовъ около десяти, вышла отъ дѣдушки Настасья и сообщила, что старикъ напился чаю и легъ спать.

Нельзя сказать, чтобы Настасья отличалась красотой. Лицо у нея было широкое, плоское, ничего не выражающее; глаза небольшіе и мутные; челюсти и скулы выдались, какъ у калмычки. Но румяныя щеки, высокій ростъ, могучая спина и крутыя бедра подкупали. Впрочемъ дѣдъ былъ неприверед-ливъ по части женской красоты, и прежнюю его кралю, какъ я слышалъ, можно было даже назвать почти безобразной. Тѣмъ не менѣе и она имѣла на старика громадное вліяніе, такъ какъ послѣдній повидимому красоты не понималъ, а цѣнилъ только женщину, въ тѣсномъ смыслѣ слова.

Матушка тотчасъ же увела Настасью въ свою спальню, гдѣ стоялъ самоваръ, особый отъ общаго, и разнаго рода лакомства. Она тщательно заперла дверь, чтобъ никто не помѣшалъ взаимнымъ дружескимъ изліяніямъ. Мы, дѣти, не шевелясь столпились въ дверяхъ сосѣдней комнаты, какъ будто чего-то выжидая, хотя, конечно, и сами не могли бы сказать, чего именно. Даже строгая Марья Андреевна (она продолжала жить у насъ ради младшаго брата, Николая), и та стояла сзади въ выжидательномъ положеніи, совершенно позабывъ, что ей, по обязанности гувернантки, слѣдовало бы гнать насъ. Братъ Степанъ однакожъ не вытерпѣлъ, подкрался къ двери спальни и сталъ подслушивать. Его больше всего на свѣтѣ — хотя вполнѣ безкорыстно — интересовалъ вопросъ о наслѣдствахъ вообще, а въ томъ числѣ и вопросъ о наслѣдствѣ послѣ старика.

— Чай сбираются пить... мать вареньемъ потчуетъ! — едва доходилъ до насъ черезъ комнату его шопотъ.

— Тсс... о наслѣдствѣ говорятъ!—наконецъ почти громко возвѣстилъ

онъ: — сыну моему, Гришкѣ Отрепьеву, сто тысячъ; дочери моей Аннѣ, за ея ко мнѣ любовь...

Но матушка уже догадалась, что Степка-балбесъ подслушиваетъ. Дверь спальни съ шумомъ отворилась; мы моментально исчезли, и Степанъ получилъ возмездіе, впрочемъ довольно умѣренное, такъ какъ при дорогой гостьѣ настоящимъ образомъ драться было совѣстно.

— Ничего,—утѣшалъ себя Степанъ:—такъ, лёгонькаго шлепка дала. Не больно. Небось, при Настькѣ боится... Только вотъ чуть носа мнѣ не расквасила, какъ дверь отворяла. Ну, да меня, братъ, шлепками не удивишь!

Когда мы сидѣли за ужиномъ, матушка безпрерывно выбѣгала изъ-за стола, чтобы справиться у Настасьи (ей поставили особый приборъ въ диванной), всего ли ей дали.

— Ты требуй!—говорила она:—чего только вздумается, всего требуй! Ты папеньку покоишь, а я тебя должна успокоить.

Въ заключеніе, когда настало время спать, матушка при себѣ велѣла горничной уложить „кралю“ на ночь, и довольно долго сидѣла у нея на кровати, разговаривая шопотомъ.

Съ слѣдующаго утра начался рядъ дней, настолько похожихъ другъ на друга и по внѣшней формѣ, и по внутреннему содержанію, что описать одинъ изъ нихъ—значитъ дать читателю понятіе о всемъ времени, проведенномъ въ Малиновцѣ старымъ дѣдомъ. Это я и попытаюсь сдѣлать.

Утро; часы въ залѣ едва показываютъ шесть, а самоваръ ужъ кипитъ въ столовой, и дѣдушка, въ стеганомъ халатѣ, сидитъ на балконѣ, выходящемъ изъ гостиной въ садъ. Передъ нимъ стоитъ столикъ, на которомъ поставлена большая чашка съ только-что принесеннымъ чаемъ. Противъ него, въ холстинковой блузѣ, расположилась матушка. Она ужъ поздоровалась съ „кралей“, разспросила ее, покойно ли спать было, не кусали ли клопики, и, получивъ въ отвѣтъ, что словно въ рай попала, приказала подать ей чаю, сама налила сливочекъ съ румяными пѣнками и отправилась потчивать отца.

— Папенька! съ лимончикомъ или со сливочками?

— Съ лимономъ. Прежде, какъ свою корову держали, пивалъ со сливками, а нынче безо всего пью. Лимоны-то, поди, кусаются?

— Я, папенька, ящикомъ въ Москвѣ купила; за сотню двадцать-пять рубликовъ отдала.

— Лёгко ли дѣло! А коли десятками покупать — и всѣ три рубля отдашь. Сказываютъ, въ Петербургѣ лимоны дешевы. У насъ икра дешева, а въ Петербургѣ — апельсины, лимоны. А въ теплыхъ земляхъ, чу, и совсѣмъ они ни почемъ.

— Правду пословица говоритъ: за моремъ телушка полушка, да рубль перевозъ. За то тамъ хлѣбъ дорогъ.

— Да, хлѣбъ. Безъ хлѣба тоже худо. Хлѣбъ, я тебѣ скажу, такое дѣло: нынче ему урожай, а въ будущемъ году сѣмянъ не соберешь. Либо градъ, либо засуха, либо что. Нынче онъ шесть рублей четверть, а въ буду-

щемъ году тридцать рублей за четверть отдашь! Поэтому которые хозяева съ разсчетомъ живутъ, тѣ въ урожайные года хлѣба не продаютъ, а дождутся голодухи, да весь запасъ и спустятъ втридорога.

— Я, папенька, въ третьемъ году, какъ безкормица была, и по сорока рублей за четверть мужичкамъ продавала.

— Ну вотъ. И давали; потому мужику ѣсть надобно, а запасу у него нѣтъ. Разсчетливый хозяинъ тутъ его и пристигнетъ. Вынь да положь.

— Хорошо, папенька, коли у кого деньги свободныя на прожитокъ есть. А кто въ деньгахъ нуждается—по-неволѣ будетъ и въ дешевое время хлѣбъ продавать.

— Объ томъ-то я и говорю. Коли съ разсчетомъ хозяинъ живетъ—съ деньгами будетъ, а безъ разсчета—никогда изъ нужды не выйдетъ.

Дѣдушка на минуту умолкаетъ, шумно дуетъ въ блюдечко и пьетъ чай.

— Во время француза,—продолжаетъ онъ, возвращаясь къ лимонамъ (какъ и всѣ незанятые люди, онъ любитъ кругомъ да около ходить):—какъ изъ Москвы бѣгали, я во Владимірской губерніи у одного помѣщика въ усадьбѣ флигелекъ снялъ, такъ онъ въ ранжереѣ свои лимоны выводилъ. На цѣлый годъ хватало.

— Тсс...

— Лимоны-то у него были, а хлѣбъ плохо родился. Весь навозъ на сады да на огороды изводилъ. Арбузы по пуду бывали. Вотъ ты и суди.

— Нынче, папенька, такіе помѣщики ужъ рѣдко встрѣчаются.

— Нѣтъ и нынче, особливо которые въ предводители охотятся. Годковъ пять поколобродитъ: апельсины, лимоны... а спустя время, смотришь, имѣнье-то съ аукціона продаютъ. И у васъ, поди, ранжереи водятся?

— Грѣшный человѣкъ, папенька. Люблю полакомиться.

— Ну, вотъ видишь. И всѣ мы любимъ; и я люблю, и ты любишь. Какъ съ этимъ быть!

Дѣдушка обращается лицомъ къ саду и вдыхаетъ душистый воздухъ.

— А хорошо здѣсь пахнетъ, сладко!—говоритъ онъ.

— Это, папенька, сирень цвѣтетъ. Очень отъ нея духъ пріятный.

— Не дешево, чай, развести стоило?

— Ахъ, что̀ говорить! Тоже не плошь того помѣщика! Чѣмъ бы хлѣба больше сѣять, а я сады развожу.

— Ну, ты не прогадаешь! Ежели съ умомъ жить, можно и на хозяйство, и на сады удѣлить. На хозяйство часть, на сады — ча̀сточку. Безъ чего нельзя, такъ нельзя.

— Жалко вотъ, что къ пріѣзду вашему ни фрукты, ни ягоды не поспѣли. Полакомиться вамъ, папенька, нечѣмъ.

— И безъ лакомства проживу. Все въ свое время. Въ Москвѣ впрочемъ ужъ показалась земляница шпанская; только въ лавкахъ, а лоточники еще не продаютъ. Въ теплицахъ, слышь, раннюю выводятъ.

— Дорога̀, чай?

— Ну, ужъ само собой.

Дѣдушка зѣваетъ, креститъ ротъ и поглядываетъ въ гостиную, гдѣ лакей разставляетъ ломберный столъ для предстоящей карточной игры.

— Папенька! въ карточки?—предлагаетъ матушка.

Дѣдушка молча встаетъ съ кресла и направляется въ комнаты. Онъ страстно любитъ карты и готовъ съ утра до вечера играть „ни почемъ". Матушка впрочемъ этому очень рада, потому что иначе было бы очень трудно занять старика.

Устраивается вистъ; партію дѣдушки составляютъ: Марья Андреевна, братъ Степанъ и матушка, которая впрочемъ очень часто уходитъ, оставляя вмѣсто себя Гришу или меня. Мы всѣ, съ молодыхъ ногтей, привыкли къ картамъ, и такъ страстно любимъ играть, что готовы ради картъ пожертвовать гуляньемъ. Даже маленькій Коля—и тотъ безотходно стоитъ сбоку у кого-нибудь изъ игроковъ и слѣдитъ за игрой. Поэтому пріѣздъ дѣда составляетъ для насъ сущій праздникъ, который впрочемъ отчасти смущается тѣмъ, что дѣдушкѣ непремѣнно надобно поддаваться. Ежели онъ проигрываетъ, и даже если ему сдаютъ дурныя карты, то онъ обижается, молча оставляетъ игру и уходитъ къ себѣ въ комнату. Матушка знаетъ это и, сдавая, очень ловко подбрасываетъ ему козырей, а старикъ въ это время притворяется, что глядитъ въ сторону.

Вистъ, роберъ за роберомъ, безъ перерыва длится до девяти часовъ. Дѣдушка играетъ молча, медленно выбрасывая на столъ карты и послѣ каждой игры тщательно записываетъ выигрышъ. Проигрыша у него не бываетъ, развѣ что на брата Степана найдетъ озорной стихъ, и онъ начнетъ взаправду играть. Но матушка такъ на него взглянетъ что охота колобродить мгновенно улетучивается, и въ результатѣ старикъ остается безсмѣннымъ побѣдителемъ. Покуда мы играемъ, и отецъ выходитъ изъ кабинета, но остается въ гостиной недолго. И тесть, и зять относятся другъ къ другу нельзя сказать чтобъ враждебно, но равнодушно; повидимому не находятъ предмета для разговора. Поэтому карты оказываютъ обоимъ большую услугу, освобождая отъ обязанности занимать другъ друга.

Ровно въ десять часовъ въ той же гостиной подаютъ завтракъ. Нынче завтракъ обязателенъ и представляетъ подобіе обѣда, а во время оно завтракать давали почти исключительно при гостяхъ, причемъ ограничивались тѣмъ, что ставили на столъ подносъ, уставленный закусками и эфемерной ѣдой, въ родѣ сочней, печенки и т. п. Матушка усердно потчуетъ дѣда и ревниво смотритъ, чтобъ дѣти не по многу брали. Въ то же время она накладываетъ на тарелку цѣлую гору всякой всячины и исчезаетъ съ нею изъ комнаты.

— Это она Настькѣ понесла! — шепчетъ Степанъ, завистливо слѣдя за движеніями матушки:—неужто эта шельма экую прорву уплететъ!

Между тѣмъ дѣдушка, наскоро поѣвши, уже посматриваетъ на ломберный столъ. Игра возобновляется и тѣмъ же порядкомъ длится до самаго обѣда, который подаютъ, сообразуясь съ привычками старика, ровно въ двѣнадцать часовъ.

За обѣдомъ дѣдушка сидитъ въ креслѣ возлѣ хозяйки. Матушка сама кладетъ ему на тарелку лучшій кусокъ и затѣмъ выбираетъ такой же кусокъ и откладываетъ къ сторонкѣ, дѣлая глазами движеніе, означающее, что это

кусокъ заповѣдный и предназначается Настасьѣ. Происходитъ общій разговоръ, въ которомъ принимаетъ участіе и отецъ.

— Лѣтомъ оттого тепло, — поучаетъ дѣдушка: — что солнце на небѣ долго стоитъ; оно и грѣетъ. А зимой, встанетъ оно въ девять часовъ, а къ тремъ, смотри, его ужъ и поминай какъ звали. Ну, и нѣтъ отъ него сугрѣву.

— Даже и лѣтомъ, — подтверждаетъ отецъ: — ежели долгое время ненастье стоитъ, тоже становится холоднѣе. Иногда и въ іюлѣ зарядитъ дождь, такъ хоть ваточный сюртукъ надѣвай.

— Солнца нѣтъ—оттого и воздухъ холодаетъ.

— Это, батюшка, справедливо.

— Или опять: войди ты въ лѣсъ—прохладно; выдь изъ лѣсу въ поле — потъ съ тебя градомъ льетъ. Нужды нѣтъ, что въ полѣ вѣтромъ тебя обдуваетъ, а все-таки жарко.

— И вѣтеръ-то, батюшка, отъ солнышка теплый.

— Да, солнцемъ его прожариваетъ. Я въ двѣнадцатомъ году, во Владимірской губерніи, въ Юрьевскомъ уѣздѣ жилъ, такъ тамъ и въ ту пору лѣсовъ мало было. Такая жарынь все лѣто стояла, что только тѣмъ и спасались, что на погребицахъ съ утра до вечера сидѣли.

— Да, чудны дѣла Господни! Все-то Господь, въ премудрости своей, къ наилучшему сотворилъ. Лѣтомъ, когда всякій злакъ на пользу человѣку ростетъ—Онъ тепло далъ. А зимой, когда нужно, чтобы землица отдохнула —Онъ снѣжкомъ ее прикрылъ.

— А французъ въ ту пору этого не разсчиталъ. Пришелъ къ намъ лѣтомъ, думалъ, что конца теплу не будетъ, анъ возвращаться-то пришлось зимой. Вотъ его морозомъ и пристигло.

— И все оттого, что зимой солнышко короткое время свѣтитъ. Постоитъ на небѣ часовъ пять—и нѣтъ его.

— Оттого. Много въ ту пору французъ русскимъ напакостилъ. Города разорилъ, Москву сжегъ. Думалъ, что и Бога-то нѣтъ, анъ Богъ-отъ вотъ Онъ. Насилу ноги уплелъ.

— Даже пѣсню въ то время пѣвали, какъ онъ бѣжалъ-то отъ насъ, —припоминаетъ матушка:

Бонапарту не до пляски,
Растерялъ свои подвязки,
И кричитъ: пардонъ!

— И ничто ему. Лёгко ли дѣло, сколько времени колобродилъ! Только и словъ у всѣхъ было на языкѣ: Бонапартъ, да Бонапартъ!

— А изъ себя какой былъ мизерный! такъ, каплюшка—плюнуть да растереть!

— Мала птичка, да ноготокъ востеръ. У меня до француза въ Москвѣ цѣлая усадьба на Полянкѣ была, и домъ каменный, и садъ, и заведенія всякія, ягоды, фрукты—все свое. Только птичьяго молока не было. А воротился изъ Юрьева, смотрю — однѣ закопченыя стѣны стоятъ. Такъ, ни за нюхъ табаку спалили. Вотъ онъ, пакостникъ, что̀ надѣлалъ!

Дѣдушка вздыхаетъ; настаетъ минута общаго молчанія.

— Или опять,—вновь начинаетъ старикъ, переходя къ другому сюжету:—видимъ мы, что рѣка назадъ не течетъ, а отчего? Оттого, что она въ возвышенномъ мѣстѣ зачинается, а потомъ все внизъ, все внизъ течетъ. Назадъ-то ворочаться ей и неспособно. Коли на дорогѣ пригорочекъ встрѣтится, она его обойдетъ, а сама все внизъ, все внизъ...

— И тутъ Господни пути. Однако въ пѣснѣ поется: „на горахъ станутъ воды"...

— Это, стало быть, про колодцы. Вотъ въ Мытищахъ напримѣръ: мѣсто высокое, а вся Москва изъ тамошнихъ колодцевъ водой продовольствуется.

— Да и вода-то какая! чистая, чистая... словно слёза! — подтверждаетъ матушка.

— И вода хороша, и довольно ея. Сегодня препорція наплыветъ, а завтра опять такая же препорція. Было время, что и москворѣцкой водой хвалились: и мягка, и свѣтла. А пошли фабрики да заводы строить—ну, и смутили.

Подаютъ жареную телятину; матушка потчуетъ.

— Теленочекъ-то, папенька, поенный! для васъ нарочно приготовила. Любовинки прикажете?

— Что потчуешь! все мнѣ да мнѣ — ты и Василія Порфирыча не обижай.

— Онъ здѣсь хозяинъ, и самъ, что̀ ему любо, выберетъ, а вы ужъ позвольте. Знаю я, что вы до любовинки охотникъ. Вотъ, кажется, хорошій кусочекъ?

Новое молчаніе, въ продолженіе котораго раздается стукъ ножей и вилокъ.

— Вотъ хоть бы насчетъ телятъ,—говоритъ дѣдушка:—и телята бываютъ разные. Иной пьетъ много, другой—мало. А иногда и такъ бываетъ: выпьетъ теленокъ цѣлую прорву, а все кожа да кости.

— Скотницы, папенька, въ этомъ частенько причинны бываютъ.

— Скотницы—сами собой, а иной разъ и въ самомъ теленкѣ фальшь. Такая болѣзнь бываетъ, ненаѣдомъ называется. И у лошадей она бываетъ. У меня, помню, меринъ былъ: кормили его, кормили—все шкелетъ шкелетомъ. Такъ и продали на живодерню.

— У насъ въ вотчинѣ мужичокъ этой болѣзнью страдалъ, такъ всю семью по міру пустилъ.

— И пустишь!

— Не дай Богъ какъ эти болѣзни привяжутся, — замѣчаетъ отецъ, который въ послѣднее время сталъ сильно недомогать.

— Да, болѣзни ни для кого не сладки, и тоже бываютъ разныя. У меня купецъ знакомый былъ, такъ у него никакой особливой болѣзни не было, а только все тосковалъ. Щемитъ сердце, да и вся недолга. И доктора лечили, и попы отчитывали, и къ угодникамъ возили—ничего не помогло.

— Можетъ быть съ глазу, или сила въ немъ... нечистая...—догадывается матушка.

— Можетъ быть.

— У насъ, на селѣ, одна женщина есть, тоже все на тоску жалуется. А въ церкви, какъ только „иже херувимы“ или причастный стихъ запоютъ, сейчасъ выкликать начнетъ. Что съ ней ни дѣлали: и попа отчитывать призывали, и староста сколько разъ стегалъ—она все свое. И представьте, какъ начнетъ выкликать, животъ у нея вотъ какъ раздуетъ. Гора горой.

— Нечистый, стало быть, вонъ изъ утробы просится, — шутитъ дѣдушка.

— Ужъ и не знаю. Вились мы, вились съ ней, такъ и отступились. Ни на барщину не гоняютъ, ни на свою работу не ходитъ; сидитъ дома бѣлоручкой.

Къ концу обѣда дѣдушка слегка совѣетъ и даже начинаетъ дремать. Но вотъ пирожное съѣдено, стулья съ шумомъ отодвигаются. Дѣдушка, выполнивши обрядъ послѣобѣденнаго цѣлованья (матушка и всѣ дѣти подходятъ къ его рукѣ), отправляется въ свою комнату и укладывается на отдыхъ.

Покуда старикъ спитъ, матушка ни на минуту не остается бездѣятельною. Она усаживается съ Настасьей въ гостиную (поближе къ дѣдушкиной комнатѣ) и ведетъ съ ней оживленную бесѣду, которая доходитъ и до нашего слуха.

— Сказывай, сударка, какъ это вы надумали къ намъ ѣхать?—предлагаетъ вопросъ матушка.

— Я упросила; ему бы ни въ жизнь въ голову не пришло. Который, говорю, годъ васъ ждутъ, а вы все не ѣдете.

— Ну, спасибо, спасибо тебѣ, голубка!

— Только Григорій Павлычъ очень ужъ разсердился, какъ узналъ! Пріѣхалъ изъ подмосковной, кричитъ: „не смѣйте къ Затрапезнымъ ѣздить! запрещаю!“ Даже подсвѣчникомъ замахнулся; еще немного — и лобъ старику раскроилъ бы!

— Это отцу-то родному! Что жъ папенька?

— Ничего. „Ну, убей меня! говоритъ: убей“.

— Ишь вѣдь родительское-то сердце! сынъ на убивство идетъ, а старичокъ тихо да кротко: „ну, чтожъ, убей меня! убей!“ Отъ сына и муку, и поруганье—все принять готовъ!

— Мы отъ страху ни живы, ни мертвы стоимъ, а онъ-то куражится, онъ-то куражится! „Я, говоритъ, это Анюткѣ припомню!“ Ужъ ругалъ онъ, ругалъ васъ, сударыня, то-есть самыми разскверными словами ругалъ!

— Ну, брань на вороту не виснетъ, лишь бы...

Матушка однакожъ задумывается на минуту. Брань брата дѣйствительно не очень ее трогаетъ, но угрозъ его она боится. Увы! несмотря на теперешнюю побѣду, ее ни на минуту не покидаетъ мысль, что какъ бы она ни старалась и какое бы расположеніе ни выказывалъ ей отецъ, всѣ усилія ея окажутся тщетными, всѣ побѣды мнимыми, и стариково сокровище неминуемо перейдетъ къ непочтительному, но дорогому сыну.

— И какъ только онъ уѣхалъ, сейчасъ же Павелъ Борисычъ сѣлъ письмо къ вамъ писать...

— Спасибо тебѣ! спасибо! Ну, а насчетъ того...

Матушка боится произнести слово: „завѣщаніе“, но Настасья угадываетъ его.

— Это насчетъ завѣщанія, что-ли?—говоритъ она:—ужъ и не знаю... Призывали они Клюквина въ тотъ вечеръ, какъ у нихъ съ Григорьемъ Павлычемъ перепалка была, и шептались съ нимъ въ кабинетѣ...

— Ну?

— Должно быть, про завѣщаніе.

— Ахъ, кабы!

— А вы бы, сударыня, ихъ попросили!

— Ахъ, что̀ ты! Да онъ меня такъ турнетъ, такъ турнетъ! Вотъ кабы ты...

— И то заговаривала, да сама не рада была. Чуть изъ дома не выгналъ.

— Ахъ, папенька, папенька! всѣмъ-то онъ хорошъ, только вотъ...

— А вы, сударыня, не очень себя тревожьте! Богъ милостивъ, вдругъ вздумаетъ, возьметъ да и напишетъ. Да неужто же безъ завѣщанія вамъ ничего не достанется? Не безсудная, чай, земля?

— То-то что... И земля не безсудная, да и я, и сестра Ариша — обѣ мы отдѣленныя. И бумагу съ насъ папенька взялъ.

— Вы бы не давали бумаги.

— Какъ бы я не дала! Мнѣ въ ту пору пятнадцать лѣтъ только-что минуло; я не понимала, что̀ и за бумага такая. А не дала бы я бумаги, онъ бы сказалъ: „ну, и нѣтъ тебѣ ничего! сиди въ дѣвкахъ!“ И то обѣщалъ шестьдесятъ тысячъ, а далъ тридцать. Пыталъ меня Василій Порфирычъ съ золовушками за это тиранить.

— Ахъ, грѣхъ какой!

— Да, близокъ локоть, да не укусишь. По крайней мѣрѣ капиталъ-то у старичка какъ великъ?

— И насчетъ капитала они скрываютъ. Только и посейчасъ все еще копятъ. Нѣтъ, нѣтъ, да и свезутъ въ Совѣтъ. Скупы они очень сдѣлались. День ото дня скупѣе. Сказывалъ намеднись Григорія Павлыча лакей, будто около милліона денегъ найдется.

— Этотъ откуда узналъ?

— Барыня ихняя, слышь, за столомъ разговаривала. Григорій-то Павлычъ дома не обѣдалъ, такъ она языкъ и распустила. „Вѣрно, говоритъ, знаю, что у старика милліонъ есть!“

Слово: „милліонъ“, повергаетъ матушку въ еще бо̀льшую задумчивость. Она долгое время молча смотритъ въ окно и барабанитъ рукой по столу, но въ головѣ у нея очевидно царитъ одно слово: „милліонъ!“

— Да ты постарайся!—произноситъ она наконецъ:—просто приди къ нему и скажи: „я васъ утѣшаю, и вы меня утѣшьте!“

— А что̀ въ самомъ дѣлѣ! и то скажу!

— Такъ и скажи. А ужъ я тебя, ежели... ну, просто озолочу! Помни мое слово! Только бы мнѣ...

— Что̀ вы, сударыня! развѣ я изъ интереса...

— Говорю тебѣ: озолочу! постарайся!

Однообразно и безконечно тянется этотъ разговоръ, все кружась около одной и той же темы. Перерывъ ему полагаетъ лишь какое-нибудь внѣшнее событіе: либо ключница покажется въ дверяхъ и вызоветъ матушку для распоряженій; либо Настасьѣ почудится, что дѣдушка зѣвнулъ, и она потихоньку выплыветъ изъ комнаты, чтобъ прислушаться у дверей стариковой спальни.

Въ три часа дѣдушка опять въ гостиной. Мы, дѣти, смирно сидимъ на стульяхъ около стѣнъ и ждемъ, что сейчасъ начнется игра.

— Папенька! въ карточки, покуда дессертъ подаютъ? — предлагаетъ матушка.

— Довольно, — отказывается на этотъ разъ дѣдушка, къ великому нашему огорченію.

— Такъ ужъ вы меня, папенька, извините: я пойду распоряжусь.

— Ступай.

Дѣдушка нѣкоторое время сидитъ молча и зѣваетъ. Наконецъ обращается къ намъ:

— Ну что̀, у́читесь?

— Учимся, папенька.

— Ты, Степанъ, въ которомъ классѣ?

— Я, папенька, въ старшій нынче перешелъ; въ будущемъ году въ университетъ поступлю.

— Учишься-то ты хорошо, да ведешь себя плохо, озоруешь. Мать на тебя жалуется.

— Я, папенька, кажется...

— Тебѣ „кажется", а она, стало быть, достовѣрно знаетъ, что̀ говоритъ. Родителей слѣдуетъ почитать. Чти отца своего и матерь, сказано въ заповѣди. Ной-то выпивши нагой лежалъ, и все-таки какъ Хамъ надъ нимъ посмѣялся, такъ Богъ проклялъ его. И пошелъ отъ него Хамовъ родъ. Которые люди отъ Сима и Іафета пошли, тѣ въ почетѣ; а которые отъ Хама, тѣ въ пренебреженіи. Вотъ ты и мотай себѣ на усъ. Ну, а вы какъ учитесь? —обращается онъ къ намъ.

— Мы—слава Богу, папенька.

— Слава Богу — лучше всего; учи́тесь. А отъучитесь, на службу поступите, жалованье будете получать. Не все у отца съ матерью на шеѣ висѣть. Нутко, а въ которой губерніи Переславль?

— Во Владимірской, папенька.

— Два Переславля: одинъ во Владимірской, другой—въ Полтавской.

Мнѣ хочется возразить, что въ Полтавской Переяславль, но, зная, что дѣдушка не любитъ возраженій, я воздерживаюсь.

— А Спассковъ цѣлыхъ три,—прибавляетъ дѣдушка:—на экзаменѣ, поди, спросятъ, такъ надо знать. А нутко, Григорій, прочти: „И въ Духа Святаго"...

Гриша читаетъ.

— Такъ. А папа римскій иначе читать велитъ: „Иже отъ Отца *и Сына* исходящаго". Вотъ и толкуй съ нимъ.

Приносятъ дессертъ. Ежели лѣто въ разгарѣ, то ставятъ цѣлыя груды

ягодъ, фруктовъ, сахарнаго гороха, бобовъ и т. д. Матушка выбираетъ что получше, и потчуетъ дѣдушку; затѣмъ откладываетъ лакомства на особыя тарелки и отсылаетъ къ Настасьѣ. Дѣтямъ даетъ немного, да и то преимущественно гороху и бобовъ.

— Вы свои! успѣете полакомиться!—приговариваетъ матушка, раскладывая лакомство по тарелкамъ, и при этомъ непремѣнно обдѣляетъ брата Степана.

Дѣдушка кушаетъ съ видимымъ удовольствіемъ, и отъ времени до времени прерываетъ процессъ ѣды замѣчаніями въ родѣ:

— Ягоды разныя бываютъ. Иная и крупна, да сладости въ ней нѣтъ; другая и поменьше, а сладка.

— Это какъ годомъ,—подтверждаетъ матушка.

— То-то я и говорю. Иной разъ дождей много...

И т. д.

А въ заключеніе непремѣнно похвалитъ:

— Хороши у васъ фрукты. Похаять нельзя.

— А коли нравятся, такъ и еще бы покушали!

— Будетъ.

Тѣмъ не менѣе матушка откладываетъ на тарелку нѣсколько персиковъ и абрикосовъ и уноситъ въ дѣдушкину спальню, на случай, еслибъ старикъ пожелалъ на ночь покушать.

— А намъ по персичку да по абрикосику!—шопотомъ завидуетъ братъ Степанъ.—Ну, да вѣдь я и слямзить съумѣю.

Съ этими словами онъ развязно подходитъ къ столу, беретъ персикъ и кладетъ въ карманъ. Дѣдушка недоумѣло смотритъ на него, но молчитъ.

Въ началѣ шестого подаютъ чай, и ежели время вѣдреное, то дѣдушка пьетъ его на балконѣ. Гостиная выходитъ на западъ, и старикъ любитъ понѣжиться на солнышкѣ. Но въ садъ онъ, сколько мнѣ помнится, ни разу не сходилъ, и даже въ экипажѣ не прогуливался. Вообще сидѣлъ сиднемъ, какъ и въ Москвѣ.

Время между чаемъ и ужиномъ—самое томительное. Матушка цѣлый день провела на ногахъ и видимо устала. Поэтому, чтобъ занять старика, она устраиваетъ нѣчто въ родѣ домашняго концерта. Марья Андреевна садится за старыя фортепьяно и разыгрываетъ варіаціи Черни. Гришу заставляютъ пѣть: „Я пойду — пойду косить“... Дѣдушка слушаетъ благосклонно и выражаетъ удовольствіе.

— Изрядно,—хвалитъ онъ Гришу:—только зачѣмъ тужишься и губы оттопыриваешь?

— Ну, папенька, онъ еще молоденекъ. И взыскать строго нельзя, — оправдываетъ матушка своего любимца. — Гриша! спой еще... какъ это... „на пиру“, что-ли... помнишь?

Гриша поетъ:

Не дивитесь, друзья,
Что не разъ
Между васъ
На пиру веселомъ я
Призадумывался...

— Ладно,—поощряетъ дѣдушка:—выучишься—хорошо будешь пѣть. Вотъ я смолоду одного архіерейскаго пѣвчаго зналъ—такъ онъ эту же самую пѣсню пѣлъ... ну, пѣлъ! Начнетъ тихо-тихо, точно за двѣ версты, а потомъ шибче да шибче—и вдругъ октавой какъ раскатится, такъ даже присядутъ всѣ.

— Дарованье, значитъ, Богъ ему далъ.

— Да, безъ дарованья въ ихнемъ дѣлѣ нельзя. Хошь старайся, хошь разстарайся, а коли нѣтъ дарованья—ничего не выйдетъ.

Репертуаръ домашнихъ развлеченій быстро исчерпывается. Матушка все нетерпѣливѣе и нетерпѣливѣе посматриваетъ на часы, но они показываютъ только семь. До ужина остается еще добрыхъ полтора часа.

— Папенька! въ дурачки?—предлагаетъ она.

— Въ дураки—изволь.

Дѣдушка садится играть съ Гришей, который ласковѣе другихъ и тверже знаетъ матушкину инструкцію, какъ слѣдуетъ играть со старикомъ.

Наконецъ вожделѣнный часъ ужина настаетъ. Въ залу является и отецъ, но онъ не ужинаетъ вмѣстѣ съ другими, а пьетъ чай. Ужинъ представляетъ собою повтореніе обѣда, начиная супомъ и кончая пирожнымъ. Кушанье подается разогрѣтое, подправленное; только дѣдушкѣ къ сторонкѣ откладывается свѣжій кусокъ. Разговоръ ведется вяло; всѣмъ скучно, всѣ устали, всѣмъ надоѣло. Даже мы, дѣти, чувствуемъ, что масса дневныхъ пустяковъ начинаетъ давить насъ.

— Другіе любятъ ужинать, — заговариваетъ отецъ: — а я такъ не могу.

— Ми...—отзывается дѣдушка, и глядитъ на своего собесѣдника такими глазами, словно въ первый разъ его видитъ.

— Я говорю: иные любятъ ужинать,—хочетъ объяснить отецъ.

— Любятъ...—машинально повторяетъ за нимъ дѣдушка.

Бьетъ девять часовъ. Свершилось. Дѣдушкинъ день конченъ.

Матушка, дождавшись, покуда старика кладутъ спать, и простившись съ Настасьей, спѣшитъ въ свою спальню. Тамъ она наскоро раздѣвается и совсѣмъ разбитая бросается въ постель. Въ сонной головѣ ея мелькаетъ „милліонъ“; губы безсознательно лепечутъ: „помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его“...

Чтобы дать читателю еще болѣе ясное представленіе о дѣдушкиной семьѣ, я считаю нелишнимъ заглянуть на одинъ изъ вечерковъ, на которые онъ по зимамъ созывалъ, отъ времени до времени, родныхъ.

Обыкновенно дня за два Настасья объѣзжала родныхъ и объявляла, что папенька Павелъ Борисычъ тогда-то проситъ чаю откушать. Разумѣется, объ отказѣ не могло быть и рѣчи. На зовъ являлись не только главы семей, но и подростки, и въ назначенный день, около шести часовъ, у подъѣзда дома дѣдушки уже стояла порядочная вереница экипажей.

Въ комнатахъ натоплено, форточекъ въ окнахъ нѣтъ, да и ставни закрыты, такъ что никакого намека на вентиляцію не существуетъ. Кромѣ того, ради гостей накурили какими-то порошками, что̀ еще болѣе увеличиваетъ спертость воздуха. Дѣдушка уже вышелъ въ гостиную, сѣлъ на диванъ

и ждетъ. На немъ длиннополый сюртукъ „аглицкого сукна"; на шеѣ повязанъ бѣлый галстухъ. На столѣ, передъ диваномъ, горятъ двѣ восковыя свѣчи; сзади дивана, по обѣимъ сторонамъ продольнаго зеркала зажжены два бра, въ каждомъ по двѣ свѣчи; въ залѣ на стѣнѣ горитъ лампа, заправленная постнымъ масломъ. Лакей Пахомъ разставляетъ на передъ-диванномъ столѣ дессертъ: пастилу, мармеладъ, изюмъ, моченыя яблоки и т. п.

Съѣзжаются всѣ почти одновременно. Все свои: мы, Федуляевы, дядя Григорій Павлычъ, генералъ Любягинъ. Изъ постороннихъ на вечеркахъ присутствуетъ только чиновникъ Клюквинъ. Начинается съ того, что родные, кромѣ отца и Любягина, подходятъ къ старику и цѣлуютъ его руку. Затѣмъ старшіе чинно разсаживаются въ креслахъ по бокамъ стола. Двѣ дѣвушки-невѣсты: сестра Надежда и Саша Федуляева пристраиваются у окна, а мелкота безшумно ютится въ залѣ. Тамъ поставленъ особый дессертъ, который дѣти почти мгновенно уничтожаютъ. Только дядя Григорій, какъ маятникъ, ходитъ взадъ и впередъ по комнатѣ, да Клюквинъ прислонился къ косяку двери и все время стоитъ въ наклоненномъ положеніи, точно ждетъ, что его сейчасъ позовутъ.

Познакомлю здѣсь читателя съ тѣми изъ присутствующихъ, о которыхъ доселѣ мнѣ пришлось говорить только мимоходомъ.

Любягинъ — что называется, военная косточка. Это старикъ лѣтъ шестидесяти-пяти, бодрый, живой и такой крѣпышъ, что, кажется, износу ему не будетъ. Тѣ, которые давно его знаютъ, не замѣчаютъ въ его наружности ни малѣйшихъ перемѣнъ. Онъ остриженъ подъ гребенку; и волосы, и зубы у него цѣлы, щеки румяныя, и только глаза нѣсколько напоминаютъ о старчествѣ. Онъ—самый близкій человѣкъ дѣдушкѣ и неизмѣнный его собесѣдникъ. Оба усердно читаютъ „Московскія Вѣдомости", и передаютъ другъ другу вынесенныя изъ этого чтенія впечатлѣнія. Обоихъ интересуютъ одни и тѣ же предметы, обоихъ связываютъ одни и тѣ же воспоминанія. Можетъ быть, дѣдушку подкупаетъ еще и то, что Любягинъ не имѣетъ ни малѣйшихъ поползновеній на его сокровище. У него у самого есть небольшой капиталъ, и онъ скромно довольствуется доходами съ него, откладывая каждую лишнюю копѣйку для единственнаго сына. Этотъ сынъ уже обзавелся семействомъ и стоитъ на хорошей дорогѣ. Командуетъ гарнизоннымъ баталіономъ гдѣ-то въ дальней губерніи, и не только не требуетъ помощи отъ отца, но самъ копитъ. И дѣти его точно такъ же будутъ копить — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, такъ что старикъ Любягинъ можетъ умереть спокойно. Главное дѣло, чтобы деньги были; а коли онѣ есть, то все остальное пойдетъ хорошо — вотъ кодексъ мудрости, который царствуетъ во всей семьѣ, и которому слѣдуетъ и Любягинъ.

Тетенька Арина Павловна слыветъ въ своей семьѣ простофилей. Дѣйствительно, она очень недалека, но это не мѣшаетъ ей относиться къ дѣдушкину сокровищу съ тѣмъ же завистливымъ окомъ, какъ и прочіе члены семьи. Въ этомъ отношеніи и умные, и глупые — всѣ одинаково сходились сердцами. Она нѣсколько моложе матушки, но на видъ старообразнѣе; это рыхлая, расплывшаяся женщина, съ круглымъ, ничего не выражающимъ лицомъ и тупо смотрящими глазами. Ротъ у нея всегда раскрытъ, вслѣдствіе

чего Григорій Павлычъ безъ церемоніи называетъ ее: „Балахня стоитъ ротъ распахня". Но у нея есть и добродѣтель: она страстно любитъ своихъ дѣтей, и ради нихъ готова идти на самое рискованное дѣло. Однажды она даже осмѣлилась: бросилась передъ дѣдушкой на колѣни и сказала: „Папенька! что̀ же вы медлите, распоряженія не дѣлаете! Неужто внучатъ своихъ обидите?" За эту выходку старикъ цѣлый годъ не пускалъ ее на глаза.

Наконецъ Ѳедоръ Гаврилычъ Клюквинъ представляетъ собой типъ приказной строки. Это еще не старый человѣкъ, но смотритъ уже старикомъ. Лицо его, сухое, подернутое желтизной, имѣетъ постоянно просительное выраженіе; глаза мутные, слезящіеся; волоса на головѣ рѣдкіе, съ прогалинами, словно источенными молью. Говоритъ надтреснутымъ теноркомъ, словно хныкаетъ, и не ходитъ, а безшумно скользитъ по комнатѣ. Онъ—хранитель дѣдушкиной тайны, но, кажется, не совсѣмъ вѣрный. По крайней мѣрѣ матушка, видя, какъ онъ дружитъ съ дядей Григоріемъ Павлычемъ, не безъ основанія подозрѣвала, что послѣднему извѣстно многое, что̀ не только для нея, но и для дѣдушкиной „крали" оставалось скрытымъ. Повидимому и дѣдушка подозрѣвалъ его невѣрность, но махнулъ на нее рукой. У насъ онъ бывалъ рѣдко, только въ большіе праздники, хотя матушка и заманивала его. Платилъ ли ему что-нибудь дѣдушка за его послуги — неизвѣстно; но многіе изъ родныхъ полагали, что въ ихъ отношеніяхъ скрывалась какая-то тайна, въ которую никто проникнуть не могъ.

Когда всѣ пристроились по мѣстамъ, разносятъ чай и начинается собесѣдованіе. Первою темою служитъ погода; всѣ жалуются на холода. Январь въ половинѣ, а какъ стала 1-го ноября зима, такъ ни одной оттепели не было, и стужа день ото дня все больше и больше свирѣпѣетъ.

— Это я замѣчалъ,—говоритъ дѣдушка:—ежели на Кузьму-Демьяна въ саняхъ поѣхали, быть суровой зимѣ.

— У меня сегодня утромъ градусникъ на солнцѣ двадцать-пять градусовъ показывалъ,—сообщаетъ дядя Григорій Павлычъ.—Изъ деревни сѣно привезли, такъ мужикъ замерзъ совсѣмъ, насилу отходили.

— Такая-то зима, на моихъ памятяхъ, только разъ и была: какъ французъ на Москвѣ кутилъ да мутилъ.

— Тогда, папенька, Богъ зналъ, что морозы нужны, а нынче та̀къ, безъ всякой причины,—замѣчаетъ тетенька Арина Павловна.

— Ты бы Богу-то посовѣтовала: не нужно-молъ.

— Да развѣ не обидно, папенька! На дворѣ морозы, а снѣгу мало. Изъ деревни пишутъ: какъ бы озими не вымерзли!

— Та̀къ ты и скажи Богу: у меня, молъ, озими вымерзнутъ. Авось Онъ образумится.

Всѣ улыбаются.

— А сынъ мнѣ пишетъ,—начинаетъ Любягинъ:—у нихъ зима теплая стоитъ.

— И все такъ: гдѣ холодно, а гдѣ тепло. Что̀, какъ сынокъ? здоровъ? все благополучно?

— Слава Богу. По осени инспекторъ у нихъ былъ, все нашелъ въ исправности.

— Слава Богу — лучше всего. Чай, инспектора-то эти въ копѣечку ему достаются!

— Есть тотъ грѣхъ. Когда я командовалъ, такъ, бывало, пріѣдетъ инспекторъ, и ѣстъ, и пьетъ, все на мой счетъ. А презентъ само собой.

— Наколотитъ въ загорбокъ—и уѣдетъ.

— Вотъ по гражданской части этого нѣтъ,—говоритъ дядя.

— Тамъ хуже. У военныхъ, по крайности, спокойно. Пріѣдетъ начальникъ, посмотритъ, возьметъ что̀ слѣдуетъ, и не слыхать о немъ. А у гражданскихъ, пришлютъ ревизора, такъ онъ взять возьметъ, а потомъ все-таки наябедничаетъ. Ѳедоръ Гаврилычъ, ты какъ насчетъ ревизоровъ полагаешь?

Клюквина слегка коробитъ; онъ на своихъ бокахъ испыталъ, что̀ значитъ ревизоръ. Однажды его чуть со службы, по милости ревизора, не выгнали, да Богъ спасъ.

— Самый это народъ вниманія не стоющій,—отвѣчаетъ онъ, принимая совсѣмъ наклонное положеніе.

— Что̀, небось, узналъ въ ту пору, какъ кузькину мать зовутъ!—смѣется дѣдушка, а за нимъ и всѣ присутствующіе.

Разговоръ незамѣтно переходитъ къ взяткамъ.

— Въ мое время, въ комисаріатѣ взятки брали—вотъ такъ брали!—говоритъ дѣдушка. — Французъ на носу, войско безъ сапогъ, а имъ и горя мало. Принимаютъ всякую гниль.

— И прежде взятки брали, и теперь берутъ,—утверждаетъ Любягинъ.

— И на предбудущее время будутъ брать.

— Потому—люди, а не святые.

— Иной и радъ бы не брать, анъ у него дѣти пить-ѣсть просятъ.

— Что̀ и говорить!

— Въ низшихъ мѣстахъ берутъ засѣдатели, исправники, судьи—этимъ взятки некрупныя даютъ. Въ среднихъ мѣстахъ берутъ предсѣдатели палатъ, губернаторы — къ нимъ ужъ съ малостью не подходи. А въ верхнихъ мѣстахъ берутъ сенаторы — тѣмъ цѣлый кушъ подавай. Не нами это началось, не нами и кончится. И которые люди полагаютъ, что взятки когда-нибудь прекратятся, тѣ полагаютъ это отъ легкомыслія.

Выговоривши эту тираду, дѣдушка шумно нюхаетъ табакъ и вздыхаетъ. Разносятъ чай во второй разъ. Дядя останавливается передъ сестрой Надеждой и шутитъ съ нею.

— Ты что жъ, стрекоза, замужъ нейдешь?

— Ахъ, дяденька!—стыдится сестра.

— Нечего „ахъ дяденька“! Всякой дѣвицѣ замужъ хочется, это я вѣрно знаю.

— Не добро быти человѣку единому,—поясняетъ дѣдушка.

— А ужъ моей Сашенькѣ какъ бы замужъ надо! Та̀къ надо! та̀къ надо!—наивно отзывается тетенька Федуляева.

— Что̀ такъ приспичило?—грубо шутитъ дядя.

— Не приспичило, а вообще...

— Ничего, успѣетъ. Вотъ, погодите, ужо я самъ этимъ дѣломъ займусь, мигомъ обѣимъ вамъ жениховъ найду. Тебѣ, Надежда, покруннѣе, потому что ты сама вишь какая выросла; тебѣ, Александра, середненькаго. Ты что-жъ, Анна, объ дочери не хлопочешь?

— Судьба, значитъ, ей еще не открылась, — отвѣчаетъ матушка, и, опасаясь, чтобы разговоръ не принялъ скабрёзнаго характера, спѣшитъ перейти къ другому предмету.

— Ни у кого я такого вкуснаго чаю не пивала, какъ у васъ, папенька! —обращается она къ старику.—У кого вы берете?

— Не знаю; Ипатъ въ Охнотномъ ряду покупаетъ. Ничего чай, можно пить.

— Дорогъ?

— Десять рублей за фунтъ. Съ цвѣткомъ.

— Архіереи, говорятъ, до чаю охотники. И толкъ знаютъ.

— Имъ, признаться, и дѣлать другого нечего. Пьютъ да пьютъ чай съ утра до вечера.

— Мнѣ нашъ окружный генералъ чаемъ однажды похвастался,—сообщаетъ Любягинъ:—ему одинъ баталіонный командиръ цыбикъ въ презентъ прислалъ. Такъ повѣрите ли, сѣдой весь!

— Сверху сѣдой, а внизу, поди, черный.

— Ужъ это само собой, мѣшать надо.

— И тутъ какъ вездѣ, дѣло мастера боится. Не смѣшаешь, будешь одинъ цвѣтокъ пить—голова ошалѣетъ. А отъ чернаго, отъ одного, вкуса настоящаго нѣтъ. Тѐрпокъ,—языкъ, дёсны вяжетъ. Словно звѣробой пьешь.

— А то бываетъ копорскій чай.

— Есть и копорскій, только онъ не настоящій. Настоящій чай въ Китаѣ ростетъ. Страна такая есть за Сибирью.

— Сынъ у меня около тамошнихъ мѣстъ въ пограничномъ городѣ службу началъ,—говоритъ Любягинъ:—такъ онъ сказывалъ, что пречудной эти китайцы народъ. Мужчины у нихъ волосы въ косы заплетаютъ, длинныя-предлинныя, точно дѣвки у насъ.

— Стало быть, мода у нихъ такая.

— И по всей границѣ стѣна у нихъ выстроена. Чтобъ ни они ни къ кому, ни къ нимъ никто.

— Своимъ умомъ хотятъ жить. Чтожъ, это, пожалуй, надежнѣе. Мы вотъ и прытки: прыгъ да прыгъ, а толку отъ этого прыганья мало.

Чай отпили. Дѣти высыпаютъ изъ залы и подходятъ благодарить дѣдушку.

— Лакомства-то вамъ дали ли?—освѣдомляется старикъ.

— Дали, папенька.

— Ну, ступайте ѣшьте. А вы что-жъ? — обращается онъ къ присутствующимъ:—полакомиться?

Матушка первая подходитъ къ столу, кладетъ на тарелку моченое яблоко и подаетъ его отцу.

— Папенька, яблочка мочененькаго?

— Съѣмъ.

— Нигдѣ такихъ моченыхъ яблоковъ, какъ въ Москвѣ, не найдешь. Только здѣсь ими и полакомишься. Я ужъ какъ ни старалась, и рецепты доставала, никакъ не дойду.

— Въ квасахъ ихъ мочатъ; духи кладутъ.

— А почемъ, папенька, покупали?

— Дороги. По сорока копѣекъ десятокъ.

— Деньги хорошія; за то ужъ и яблоки!

Матушка хочетъ распространиться насчетъ квасовъ, медовъ и прочихъ произведеній московскаго генія, но дядя объ чемъ-то вдругъ вспомнилъ и круто поворачиваетъ разговоръ въ другую сторону.

— А я давеча въ лавкѣ у Егорова слышалъ, что во французскаго короля опять стрѣляли,—возвѣщаетъ онъ.

— И я слышалъ,—подтверждаетъ Клюквинъ.

— Не знаю, читалъ я сегодня газеты, ничего тамъ не пишутъ.

— Писать не велѣно, даже разговаривать строго на-строго запрещено. Чтобы ни-ни. А Егорову, слышь, дворецкій главнокомандующаго сказывалъ. И что̀ этимъ французамъ нужно? Былъ у нихъ настоящій король — другого взяли. Теперь и этого не хотятъ.

— Пустой народъ. Цырульники да портные.

— Цырульники, а республики хотятъ. И что̀ такое республика? Спроси ихъ—они и сами хорошенько не скажутъ. Такъ, руки зудятъ. Соберутся въ кучу и галдятъ. Точь-въ-точь у насъ на станціи ямщики, какъ жеребій кидать начнутъ, кому ѣхать. Ну, слыханное ли дѣло безъ начальства жить!

— Вонъ у насъ Цынскій (оберъ-полиціймейстеръ) только мѣсяцъ боленъ былъ, такъ студенты Москву чуть съ ума не свели! И на улицахъ, и въ театрахъ—чуделесятъ да и шабашъ! На Тверскомъ бульварѣ ямы нарыли, чтобъ липки сажать, а они ночью ихъ опять землей закидали. Вотъ тебѣ и республика! Коли который человѣкъ съ умомъ—никогда бунтовать не станетъ. А вотъ шематоны да фордыбаки...

— Хорошіе-то французы впрочемъ не одобряютъ. Я отъ Егорова къ Сихлершѣ *) забѣжалъ, такъ она такъ-таки прямо и говоритъ: „Повѣрите ли, мнѣ даже француженкой называться стыдно! Я бы, говоритъ, и вѣру свою давно перемѣнила, да жду, что̀ дальше будетъ“.

— Чтожъ, милости просимъ! чего ждать!

— Какъ это они вѣру, папенька, перемѣняютъ? — допытывается тетенька Федуляева:—неужто ихъ...

— Та̀къ, возьмутъ, раздѣнутъ, да въ чемъ мать родила и окунаютъ, —смѣется дѣдушка.

— Чай, стыдно?

— Стыдись не стыдись, а коли назвался груздемъ, такъ полѣзай въ кузовъ.

Въ такихъ разговорахъ проходитъ до половины девятаго. Наконецъ

---

*) Извѣстный въ то время магазинъ модъ.

мужчины начинаютъ посматривать на часы, и между присутствующими происходитъ движеніе. Всѣ одновременно снимаются съ мѣстъ и прощаются.

Этимъ исчерпываются мои воспоминанія о дѣдушкѣ. Воспоминанія однообразныя и малосодержательныя, какъ и сама его жизнь. Но эта малосодержательность повидимому служила ему на пользу, а не во вредъ. Вмѣстѣ съ исправнымъ физическимъ питаніемъ и умственной и нравственной невозмутимостью она способствовала долголѣтію: дѣдушка умеръ, когда ему уже исполнилось девяносто лѣтъ. Завѣщанія онъ, конечно, не сдѣлалъ, такъ что дядя Григорій Павлычъ безпрепятственно овладѣлъ его сокровищемъ.

XIV.—Житье въ Москвѣ.

Москва того времени была центромъ, къ которому тяготѣло все неслужащее помѣстное русское дворянство. Игроки находили тамъ клубы; кутилы дневали и ночевали въ трактирахъ и у цыганъ; богомольные люди радовались обилію церквей; наконецъ, дворянскія дочери сыскивали себѣ жениховъ. Натурально, что матушка, у которой любимая дочь была на выданьи, должна была убѣдиться, что какъ-ни-какъ, а поѣздки въ Москву на зимніе мѣсяцы не миновать.

Семья наша выѣзжала изъ деревни по первопуткѣ. Климатическія условія въ то время, сколько помнится, были постояннѣе, нежели нынче, и обыкновенно въ половинѣ ноября зима устанавливалась окончательно. Снимались мы цѣлымъ домомъ, съ большимъ количествомъ прислуги, съ запасомъ мороженой провизіи и даже съ собственными дровами. Для всего этого требовалась цѣлая вереница подводъ, которыя отправлялись заранѣе. Уѣзжая, въ господскомъ домѣ приказывали заколотить оба крыльца, закрыть ставни, а остающуюся прислугу, съ ключницей во главѣ, размѣщали какъ попало по флигелямъ.

Въ Москвѣ у матушки былъ свой крѣпостной фактотумъ—крестьянинъ Силантій Стрѣлковъ, который завѣдывалъ всѣми ея дѣлами, наблюдалъ за крестьянами и дворовыми, ходившими по оброку, взыскивалъ съ нихъ дани, ходилъ по присутственнымъ мѣстамъ за справками, вносилъ денеги въ опекунскій совѣтъ, покупалъ для деревни провизію и проч. Это былъ честный и довольно зажиточный человѣкъ, ремесломъ шорникъ, и даже имѣлъ собственную шорную мастерскую. Но жизнь его была, какъ говорится, чисто сибирная, потому что матушка не давала ему ни отдыху, ни сроку. Съ утра до вечера слонялся онъ по городу, разыскивая недоимщиковъ и выполняя разнообразнѣйшія коммиссіи. Когда матушка на короткое время пріѣзжала въ Москву, то останавливалась на постояломъ дворѣ у Сухаревой, и тогда Стрѣлковъ только и дѣлалъ, что приходилъ къ ней или уходилъ отъ нея. Даже обѣдъ приносили ей отъ него, и, разумѣется, безвозмездно. Когда же

мы стали ѣздить въ Москву по зимамъ, то для него насталъ уже сущій адъ. Матушка была нетерпѣлива и ежеминутно хотѣла знать положеніе дѣлъ, такъ что Стрѣлковъ являлся каждый вечеръ и докладывалъ. За всѣ эти послуги ему никакого опредѣленнаго жалованья не полагалось, развѣ изрѣдка матушка подаритъ синенькую или ситцу на платье его женѣ. Разумѣется, эти скудныя подачки не окупали даже расхода на извозчиковъ. Поэтому Стрѣлковъ, постоянно отрываемый отъ собственнаго дѣла, никогда настоящимъ образомъ опериться не могъ, и впослѣдствіи кончилъ тѣмъ, что долженъ былъ объявить себя несостоятельнымъ. Передъ нами, дѣтьми, онъ не стѣснялся и часто горько жаловался на матушку.

Стрѣлковъ заранѣе нанималъ для насъ меблированную квартиру, непремѣнно въ одномъ изъ Арбатскихъ переулковъ, поближе къ дѣдушкѣ. Въ то время большихъ домовъ, съ нѣсколькими квартирами, въ Москвѣ почти не было, а переулки были сплошь застроены небольшими деревянными домами, принадлежавшими дворянамъ средней руки (объ нихъ только и идетъ рѣчь въ настоящемъ разсказѣ, потому что такъ-называемая Грибоѣдовская Москва, въ которой преимущественно фигурировалъ высшій московскій кругъ, мнѣ совершенно неизвѣстна, хотя несомнѣнно, что въ нравственномъ и умственномъ смыслѣ она очень мало разнилась отъ Москвы, описываемой мною). Нѣкоторые изъ владѣльцевъ почему-нибудь оставались на зиму въ деревняхъ и отдавали свои дома желающимъ, со всей обстановкой. Это были особнячки, изъ которыхъ рѣдкій заключалъ въ себѣ болѣе семи-восьми комнатъ. Въ числѣ послѣднихъ, только двѣ-три „чистыхъ“ комнаты были довольно просторны; остальныя можно было, въ полномъ смыслѣ слова, назвать клѣтушками. Парадное крыльцо выходило въ тѣсный и загроможденный службами дворъ, въ который въѣзжали съ улицы, черезъ деревянныя ворота. Объ роскошной и даже просто удобной обстановкѣ нечего было и думать, да и мы—тоже дворяне средней руки—и не претендовали на удобства. Мебель бо́льшею частью была сборная, старая, покрытая засиженной кожею или рваной волосяной матеріей.

Въ этомъ крохотномъ помѣщеніи, въ спертой, насыщенной міазмами атмосферѣ (о вентиляціи не было и помина, и воздухъ освѣжался только во время топки печей) ютилась дворянская семья, часто довольно многочисленная. Спали вездѣ—и на диванахъ, и въ-повалку на полу, потому что кроватей при домѣ сдавалось мало, а какія были, тѣ назначались для старшихъ. Прислуга и дневала, и ночевала на ларяхъ, въ такихъ миніатюрныхъ конуркахъ, что можно было только дивиться, какимъ образомъ такая масса народа тамъ размѣщается. „Зиму какъ-нибудь потѣснимся; въ Москвѣ и Богъ проститъ“, утѣшали себя наѣзжіе, забывая, что и въ деревнѣ, на полномъ просторѣ, большинство не умѣло устроиться.

Прибавьте къ этому цѣлые вороха тряпья, которые привозили изъ деревни и въ теченіе зимы накупали въ Москвѣ, и которое, за неимѣніемъ шкафовъ, висѣло на гвоздикахъ по стѣнамъ и валялось разбросанное по столамъ и постелямъ, и вы получите приблизительно вѣрное понятіе о среднедворянскомъ домашнемъ очагѣ того времени.

— Хорошо еще, что у насъ малыхъ дѣтей нѣтъ, а то бы спасенья

отъ нихъ не было!—говорила матушка.—Намеднись я у Забровскихъ была, тамъ ихъ штукъ шесть малъ-мала меньше собралось — мученье! такъ между ногъ и шныряютъ! кто въ трубу трубитъ, кто въ дуду дудитъ, кто на пищалкѣ пищитъ!

Понятно, что въ такомъ столпотвореніи разобраться не легко, и недѣли двѣ послѣ пріѣзда всѣ ходили какъ потерянные. Искали и не находили; находили и опять теряли. Для взрослыхъ помѣщичьихъ дочерей — и въ томъ числѣ для сестры Надежды — это было чистое мученье. Онѣ рвались выѣзжать, мечтали порхать на балахъ, въ театрахъ, а ихъ держали взаперти, въ вонючихъ каморкахъ, и кормили мороженою домашней провизіей.

— Да когда же наконецъ?—слышались съ утра до вечера сестрицыны жалобы.—Хоть бы въ театръ съѣздили.

— Нельзя въ театръ, надо сперва визиты сдѣлать; коли дома скучно, ступай къ дѣдушкѣ.

— Вотъ еще! что̀ я тамъ забыла!

— Ну, жди.

Единственные выѣзды, которые допускались до визитовъ—это въ модные магазины. Въ магазинѣ Майкова, въ гостиномъ дворѣ, закупались матеріи; въ магазинѣ Сихлеръ заказывались платья, уборы, шляпки. Въ виду матримоніальныхъ цѣлей, ради которыхъ дѣлался переѣздъ въ Москву, денегъ на наряды для сестры не жалѣли.

Наконецъ все кое-какъ улаживается. Къ подъѣзду подаютъ возокъ, четвернею на выносъ, въ который садится матушка съ сестрой — и очень рѣдко отецъ (всѣ знакомые сразу угадывали, что онъ „никакой роли“ въ домѣ не играетъ).

Начинаются визиты. Въ началѣ первой зимы у семьи нашей знакомствъ было мало, такъ что еслибъ не три-четыре семейства изъ своихъ же сосѣдей по имѣнью, тоже переѣзжавшихъ на зиму въ Москву „повеселиться“, то пожалуй и ѣздить было бы некуда; но впослѣдствіи, съ помощью дяди, кругъ знакомствъ значительно разросся, и визитація приняла обширные размѣры.

Когда всѣ визиты были сдѣланы, нѣсколько дней сидѣли по утрамъ дома и ждали отдачи. Случалось, что визитовъ не отдавали, и это служило темой для продолжительныхъ и горькихъ комментаріевъ. Но случалось и такъ, что кто-нибудь пріѣзжалъ первый — тогда на всѣхъ лицахъ появлялось удовольствіе.

Изъ новыхъ знакомствъ преимущественно дѣлались такія, гдѣ бывали приглашенные вечера, разумѣется съ танцами, и верхомъ благополучія считалось, когда можно было сказать:

— У насъ всѣ вечера разобраны, даже въ театръ съѣздить некогда.

Или:

— Ахъ, эта Балкина! пристаетъ: пріѣзжай къ ней по середамъ. Помилуйте, говорю, Марья Сергѣевна! мы и безъ того по середамъ въ два дома приглашены!—такъ нѣтъ же! пристала: пріѣзжай да пріѣзжай! Пренеотвязчивая.

Словомъ сказать, машина была пущена въ ходъ , и „веселье“ вступало въ свои права на цѣлую зиму.

Утро въ нашемъ семействѣ начиналъ отецъ. Онъ ежедневно ходилъ къ ранней обѣднѣ, которую предпочиталъ поздней, а по праздникамъ ходилъ и къ заутренѣ. Еще наканунѣ съ вечера онъ выпрашивалъ у матушки два мѣдныхъ пятака на свѣчку и на просвиру, причемъ матушка нерѣдко говаривала:

— И на что тебѣ каждый день свѣчку брать! Разъ-другой въ недѣлю взялъ—и будетъ!

Замѣчаніе это, разумѣется, полагало начало бурной домашней сценѣ. что̀ впрочемъ не мѣшало ему повторяться и впредь въ той же силѣ.

Возвращается отецъ около восьми часовъ, и въ это же время начинаетъ просыпаться весь домъ. Со всѣхъ сторонъ слышатся вопли:

— Сашка! Анютка! гдѣ вы запропастились? куда васъ чортъ унесъ!—кричитъ матушка.

— Ариша!—гдѣ моя кофта?—взываетъ сестра своей фрейлинѣ.

— Мареа! долго ли же мнѣ не мыться?—жалуется Коля.

— Ахъ, хамки проклятыя! да убирайте же въ залѣ! наслякощено, нахламощено. Гдѣ Кононъ? Чего смотритъ? Степанъ гдѣ? Мы за чай, а они пыль столбомъ поднимать!

Поднимается бѣготня. Дѣвушки снуютъ взадъ и впередъ, обремененныя кофтами, юбками, умывальниками и проч. По временамъ раздается грохотъ разбиваемой посуды.

— Бейте шибче!—слышится голосъ отца изъ кабинета:—что̀ разбили?

— Ничего, сударь!

— Какъ ничего! сказывайте, кто разбилъ? Что̀? — допрашиваетъ матушка.

И такъ далѣе.

Наконецъ кой-какъ шумъ угомоняется. Семейство сбирается въ залѣ около самовара. Сестра, еще неумытая, выходитъ къ чаю въ кофтѣ на-распашку и въ юбкѣ. Къ чаю подаютъ деревенскія замороженныя сливки, которыя какимъ-то способомъ умѣютъ оттаивать.

— Вотъ бѣлый хлѣбъ въ Москвѣ такъ хорошъ!—хвалитъ матушка, разрѣзывая пятикопѣечный калачъ на кусочки:—только и кусается же! Что̀, каково нынче на дворѣ?—обращается она къ прислуживающему лакею.

— Сегодня, кажется, еще лютѣе вчерашняго морозъ.

— Ахъ, прахъ побери! всѣхъ кучеровъ переморозили. Что̀ Алемпій? какъ?

— Гусинымъ жиромъ и уши, и носъ, и щеки мазали. Очень ужъ шибко захватило.

— А онъ бы больше дрыхнулъ на козлахъ. Сидитъ да носомъ клюетъ. Нѣтъ чтобы снѣгомъ потереть лицо. Какъ мы сегодня къ Урсиловымъ поѣдемъ, и не придумаю!

— Ахъ, маменька, непремѣнно надо ѣхать! Я ужъ мазурку обѣщала! —настаиваетъ сестра.

— Знаю, что надо... Этотъ тамъ будетъ... предметъ-то твой...

— Какой же это предметъ... старикъ!

— Ну, что за старикъ! Кабы онъ... да я бы, кажется, обѣими руками

перекрестилась! А какая это Соловкина—халда: такъ вчера и вьется около *него*, такъ и юлитъ! Изъ кожи для своей горбуши Вѣрки лѣзетъ! Всѣхъ захапать готова.

— Мнѣ, маменька, какое платье сегодня готовить?

— А бареже́вое диконькое... нечего очень-то рядиться! Не Богъ знаетъ какое „паре́“ (paré), простой вечерокъ... Признаться сказать, скучненько-таки у Урсиловыхъ. Ужинать-то дадутъ ли? Вонъ вчера у Соловкиныхъ даже закуски не подали. Пріѣхали домой голодныя.

— По моему ужъ, совсѣмъ лучше ужинать не подавать, чѣмъ намеднись у Голубовицкихъ сосиски съ кислой капустой!

— Что-жъ, сосиски, ежели онѣ...

— Ну, нѣтъ! я и не притронулась. Да, чтобъ не забыть; меня, маменька, вчера Обрящинъ спрашивалъ, можно ли ему къ намъ пріѣхать? Я... позволила...

— Пускай ѣздитъ. Признаться сказать, не нравится мнѣ твой Обрящинъ. Такъ, фардыбака. Ни наслѣдственнаго, ни пріобрѣтеннаго, ничего у него нѣтъ. Ну, да для счета и онъ сойдетъ.

Начинаютъ судачить вплотную. Перебираютъ по очереди всѣхъ знакомыхъ и не обрѣтаютъ ни одного достойнаго. Наконецъ, отдавши долгъ темпераменту, расходятся по угламъ до часа.

Въ часъ или выѣзжаютъ, или ожидаютъ визитовъ. Въ послѣднемъ случаѣ сестра выходитъ въ гостиную, держа въ одной рукѣ французскую книжку, а въ другой—ломоть чернаго хлѣба (завтрака въ нашемъ домѣ не полагается), и садится, поджавши ноги, на диванъ. Она слегка нащипываетъ себѣ щеки, чтобы онѣ казались румяными.

Чу, кто-то пріѣхалъ.

Входитъ Кононъ и возглашаетъ:

— Петръ Павлычъ Обрящинъ!

Сестра поспѣшно прячетъ хлѣбъ въ ящикъ стола и оправляется.

— А! мсьё Обрящинъ! садитесь! Maman сейчасъ придетъ.

Обрящинъ—молодой человѣкъ, ничѣмъ особенно не выдающійся. Онъ тоже принадлежитъ къ среднему дворянству, а состояніе имѣетъ очень умѣренное. Но такъ какъ онъ служитъ въ канцеляріи московскаго главнокомандующаго (такъ назывался нынѣшній генералъ-губернаторъ), то это открываетъ ему доступъ въ семейные дома. Какъ на завидную партію никто на него не смотритъ, но для счета, какъ говоритъ матушка, и онъ пользуется званіемъ „жениха“. Многіе даже заискиваютъ въ немъ, потому что онъ, въ качествѣ чиновника канцеляріи, имѣетъ доступъ на балы у главнокомандующаго; а балы эти, въ глазахъ дворянъ средней руки, представляются чѣмъ-то недосягаемымъ. Одѣтъ чистенько, танцуетъ всѣ танцы и крошечку болтаетъ по-французски.

— Мсьё Обрящинъ! — восклицаетъ, въ свою очередь, матушка, появляясь въ дверяхъ:—вотъ обрадовали!

Начинается свѣтскій разговоръ.

— Не правда ли, какъ вчера у Соловкиныхъ было пріятно! — гово-

ритъ матушка: — и какая эта Прасковья Михайловна милая! Какъ умѣетъ занять гостей, оживить!

— Помилуйте! даетъ вечера, а въ квартирѣ повернуться негдѣ! — отвѣчаетъ Обрящинъ.

— Мы, пріѣзжіе, и всѣ такъ живемъ. И рады бы попросторнѣе квартирку найти, да нѣтъ ихъ. Но Вѣрочка Соловкина—это очарованіе!

— Горбатое!

— Ахъ, какой вы критиканъ, сейчасъ замѣтите! Правда, что у нея какъ будто горбикъ, но за то личико, коса... ахъ, какая коса!

— Отъ цирульника Остроумова съ Гороховаго-Поля. Волосы покупаетъ у цирульника, а наряды шьетъ въ Хамовникахъ, у мадамъ Курышкиной.

— Однако, попасться къ вамъ на язычокъ... А я такъ слышала, что Вѣрочка и вы...

Матушка грозитъ Обрящину пальчикомъ и шаловливо приговариваетъ:

— Мовéшка!

— Увольте, ради Христа!—отрекается молодой человѣкъ: — что называется, ни кожи...

— Ахъ, оставьте! съ вами просто опасно! Скажите лучше, давно вы были у нашего добраго главнокомандующаго?

— Не далѣе какъ на прошлой недѣлѣ онъ вечерокъ давалъ. Были только свои... Потанцовали, потомъ сервировали ужинъ... Кстати: объясните, отчего Соловкина только черезъ разъ даетъ ужинать?

— А вы и это замѣтили... Злой вы! Ну, за то въ слѣдующій разъ покушаете. А на балахъ у главнокомандующаго вы тоже бываете? Я слышала, это волшебство!

— Особенной роскоши нѣтъ; напротивъ, все очень просто... Но эта простота!.. Въ томъ-то весь и секретъ настоящихъ вельможъ, что съ перваго взгляда видно, что люди каждый день такой „простотой“ пользуются!

— И намъ князь Колюшпанскій обѣщалъ приглашенье достать...

— Но отчего же вы не обратились ко мнѣ? я бы давно съ величайшей готовностью... Помилуйте! я самъ сколько разъ слышалъ, какъ князь *) говорилъ: всякій дворянинъ можетъ войти въ мой домъ, какъ въ свой собственный...

— Ну, всякій, не всякій...

— Конечно, не всякій—это только façon de parler... Но вы... развѣ тутъ можетъ быть какое-нибудь сомнѣніе!

— Благодарю васъ. Такъ вы постараетесь?

— Непремѣнно-съ.

Поболтавши еще минутъ пять, Обрящинъ откланивается. На смѣну является Прасковья Михайловна Соловкина съ дочерью, тѣ самыя, которыхъ косточки такъ тщательно сейчасъ вымыли.

— Ахъ, Прасковья Михайловна! Вѣра Владиміровна! вотъ обрадовали!

---

*) Подразумѣвается князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ, тогдашній московскій главнокомандующій.

— Вѣрочка! quelle charmante surprise!

— Не говорите. И то хотѣла до завтра отложить... не могу! Такъ я васъ полюбила, Анна Павловна, такъ полюбила! Давно ли, кажется, мы знакомы, а такъ къ вамъ и тянетъ!

— И насъ взаимно. Знаете ли, есть что-то такое... сродство, что-ли, называется... Иногда и не слыхивали люди другъ о дружкѣ—и вдругъ...

— Вотъ именно это самое.

Дамы цѣлуются; дѣвицы удаляются въ залъ, обнявшись ходятъ взадъ и впередъ и шушукаются. Соловкина—разбитная дама, слегка смахивающая на торговку; Вѣрочка дѣйствительно съ горбикомъ, но лицо у нея пріятное. Семейство это принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя, какъ говорится, послѣднюю копѣйку готовы ребромъ поставить, лишь бы себя показать и на людей посмотрѣть.

— А у насъ сейчасъ мсьё Обрящинъ былъ,—возвѣщаетъ матушка:—ахъ, какой милый!

— Не знаю... не люблю я его!—отвѣчаетъ Соловкина, предчувствуя, что шла рѣчь о ея вчерашнемъ вечерѣ.

— Что̀ такъ?

— Да наглый. Втерся къ намъ ужъ и сама не знаю какъ... ѣстъ, пьетъ...

— А онъ объ васъ съ такимъ участіемъ... Между нами: Вѣрочка, кажется, очень ему нравится...

— Далеко кулику до Петрова-дня!

— Но почему-жъ бы?..

— Да такъ.

— Онъ намъ обѣщалъ приглашеніе на первый балъ къ главнокомандующему достать.

— Будете ждать, долго не дождетесь. Онъ въ прошломъ году цѣлую зиму насъ такъ-то водилъ.

— Да вѣдь онъ туда вхожъ?

— Въ лакейской дежуритъ.

— Ахъ, что̀ вы! будто ужъ и въ лакейской! А впрочемъ не онъ, такъ другой достанетъ. А какое на Вѣрочкѣ платье вчера прелестное было! гдѣ вы заказываете?

— Тамъ же, гдѣ и всѣ. Бальныя—у Сихлерши, попроще—у Делавосъ...

— А я слышала, въ Хамовникахъ, портниха Курышкина есть...

Соловкина слегка зеленѣетъ, но старается казаться равнодушною.

— Не знаю, не слыхала такой,—говоритъ она сквозь зубы.

— Не говорите, Прасковья Михайловна! и между русскими бываютъ... преловкія! Конечно, противъ француженки...

— Я у русскихъ не заказываю.

— Въ Петербургѣ Соловьева—даже гремитъ.

— Не знаю, не знаю, не знаю.

Соловкина окончательно зеленѣетъ и сокращаетъ визитъ.

— И такъ, до свиданія, — говоритъ она, поднимаясь.—До пятницы.

— Ваши гостьи. Да чтожъ вы такъ скоро? посидѣли бы!

— И рада бы, да не могу... Аншанте́! До пятницы. Дочку привозите. Мсьё Обрящинъ будетъ!—въ заключеніе язвитъ гостья на прощанье.

За Соловкиными слѣдуютъ Голубовицкіе, за Голубовицкими — Мирзохановы и т. д. Всѣ остаются по нѣскольку минутъ, и со всѣми ведется свѣтскій разговоръ одинаковаго пошиба. Около трехъ часовъ, если визиты перемежились, матушка кричитъ въ переднюю:

— Не принимать никого! обѣдать!

Но иногда случается, что вслѣдствіе этой поспѣшности приходится отказать интересному кавалеру; тогда происходятъ сцены раскаянья, что слишкомъ рано поспѣшили закрыть утро.

— Это все ты!—укоряетъ матушка отца:—обѣдать да обѣдать! Кто нынче въ три часа обѣдаетъ!

И затѣмъ, обращаясь заочно къ интересующему гостю, продолжаетъ:

— И лукавый его въ эту пору принесъ! Кто въ четвертомъ часу съ визитами ѣздитъ! Лови его теперь! Рыскаетъ по Москвѣ, Христа славитъ.

Обѣдъ представлялъ собой подобіе малиновецкаго, и почти сплошь готовился изъ деревенской провизіи. Даже капусту кислую привозили изъ деревни, и щи варили, въ большинствѣ случаевъ, съ мерзлой бараниной или съ домашней птицей. Говядину покупали рѣдко и тоже мерзлую. Дурной былъ обѣдъ, тяжелый, мало-питательный. Впрочемъ такъ какъ сестра, и безъ того наклонная къ тучности, постоянно жаловалась, что у нея послѣ такого обѣда не стягивается корсетъ, то для нея готовили одно или два блюда полегче. За обѣдомъ повторялись тѣ же сцены и велся тотъ же разговоръ, что и въ Малиновцѣ, а отобѣдавши всѣ ложились спать, въ томъ числѣ и сестра, которая была убѣждена, что послѣобѣденный сонъ на весь вечеръ даетъ ей хорошій цвѣтъ лица.

Этого „хорошаго цвѣта лица“ она добивалась страстно и жертвовала ради него даже удобствами жизни. Обкладывала лицо творогомъ, привязывала къ щекамъ сырое говяжье мясо и, обвязанная тряпками, еле дыша, ходила по цѣлымъ часамъ.

Съ шести часовъ матушка и сестра начинали приготовляться къ вечернему выѣзду. Утренняя бѣготня возобновлялась съ новой силой. Битыхъ три часа сестра не отходитъ отъ зеркала, отдѣлывая лицо, шнуруясь и примѣряя платье за платьемъ. Безпрерывно изъ ея спальни въ спальню матушки перебѣгаетъ горничная за приказаніями:

— Барышня спрашиваютъ, какую имъ ленту надѣть?

— Барышня спрашиваютъ, надѣвать ли локоны, или гладко причесаться?

— Барышня спрашиваютъ, для большого или малаго декольте имъ шею мыть?

— Шпилекъ! булавокъ несите!—раздается по коридору: — оглохли!

Когда туалетъ конченъ, происходитъ получасовое оглядыванье себя передъ зеркаломъ, принятіе различныхъ позъ, присѣданіе, и проч. Если вечеръ, на который ѣдутъ, принадлежитъ къ числу „паре́“, то изъ парикмахерской является подмастерье и убираетъ сестрицыну голову.

— Шипси!—командуетъ подмастерье (Ивашка изъ крѣпостныхъ), подражая хозяину-французу.

— Пропасти на васъ нѣтъ!—кричитъ изъ своего угла отецъ, котораго покой безпрерывно возмущается общей бѣготнею.

— Ну, батюшка, не прогнѣвайся!—откликается ему матушка.

Наконецъ, вдругъ, словно по манію волшебства, все утихло. Уѣхали. Дѣвушки въ послѣдній разъ стрѣлой пробѣжали изъ лакейской по коридору и словно въ воду канули. Отецъ выходитъ въ залъ и одиноко пьетъ чай.

— Что, какъ на дворѣ?—спрашиваетъ онъ камердинера Степана, который прислуживаетъ за столомъ.

— Вызвѣздило. Морозъ лютый ночью будетъ.

— Ну, зима нынче. Того гляди, всѣхъ людей поморозятъ, ѣздивши по гостямъ.

Отецъ вздыхаетъ. Одиночество, какъ ни привыкай къ нему, все-таки не весело. Всегда онъ одинъ, а если не одинъ, то скучаетъ установившимся домашнимъ обиходомъ. Онъ старъ и боленъ, а всѣ другіе здоровы... какъ-то глупо здоровы. Бѣгаютъ, суетятся, болтаютъ, сами не знаютъ зачѣмъ и о чемъ. А теперь вотъ притихли всѣ, и еслибы не Степанъ—никого, пожалуй, и не докликался бы. Умри—и не догадаются.

— И зачѣмъ только жениться было! — мысленно восклицаетъ онъ, забывая, что у него отъ этого брака ужъ куча дѣтей.

Вспоминается ему, какъ онъ покойно и тихо жилъ съ сестрицами, какъ никто тогда не шумѣлъ, не гамѣлъ, и всякій дѣлалъ свое дѣло не торопясь. А главное, воля его была для всѣхъ закономъ, и притомъ пріятнымъ закономъ. И нужно же было... Отецъ пользуется отсутствіемъ матушки, чтобы высказаться.

— „Близокъ локоть, да не укусишь“, мелькаетъ въ его умѣ пословица. — Степка! — обращается онъ къ слугѣ: — помнишь, какъ я холостой былъ?

— Какъ, сударь, не помнить!

— Хорошо тогда было! а?

— Ужъ такъ-то хорошо, такъ хорошо, что, кажется, кабы...

— Тихо, смирно, всего вдоволь. Эхма! правду пословица говоритъ: отъ добра добра не ищутъ. А я искалъ. За это Богъ меня и наказалъ.

— Это точно, что...

Бьетъ десять. Старикъ допиваетъ послѣднюю чашку и начинаетъ чувствовать, что глаза у него тяжелѣютъ. Пора и на боковую. Завтра у Власія главный престольный праздникъ, надо къ заутренѣ поспѣть.

— Узнавалъ, будутъ ли пѣвчіе?—спрашиваетъ отецъ.

— Узнавалъ-съ. Сказали, что пѣвчіе за поздней обѣдней будутъ пѣть, а за заутреней и за ранней обѣдней—дьячки.

— Ну, и дьячковъ послушаемъ. А дьяконъ свой или наемный будетъ служить?

— Дьякона изъ Чудова монастыря пригласили. А свой за второго пойдетъ.

— Какой это чудовской дьяконъ? рыжеватый, что-ли?

— Не могу знать-съ.

— Должно быть, онъ.

Отецъ встаетъ изъ-за стола и старческими шагами направляется въ свою комнату. Комната эта неудобна; она находится возлѣ лакейской и довольно холодна, такъ что старикъ постоянно зябнетъ. Онъ медленно раздѣвается и, удостовѣрившись, что выданные ему на заутреню два мѣдныхъ пятака лежатъ въ цѣлости около настольнаго зеркала, ложится спать.

— Въ четыре часа меня разбудить, — наказываетъ онъ Степану;—а дѣвкамъ скажи, чтобы не гамѣли.

Между часомъ и двумя ночи матушка съ сестрой возвращаются домой.

Дни проходятъ за днями, одинаковые и по формѣ, и по содержанію. Къ концу впрочемъ сезонъ замѣтно оживляется. Съ Рождества въ Благородномъ Собраніи начинаются балы и періодически чередуются вплоть до самаго поста. Изъ нихъ самымъ важнымъ считается утренній балъ въ субботу на масляницѣ. Для дѣвицъ-невѣстъ это нѣчто въ родѣ экзамена. При дневномъ свѣтѣ притиранья сейчасъ же скажутся, такъ что дѣвушка по-неволѣ является украшенная тѣми дарами, какіе даны ей отъ природы. Да и нарядъ необходимо имѣть совсѣмъ свѣжій, а не подправленный изъ старенькаго.

Билеты для входа въ собраніе давались двоякіе: для членовъ и для гостей. Хотя послѣдніе стоили всего пять рублей ассигнаціями, но матушка и тутъ ухитрялась въ большинствѣ случаевъ проходить даромъ. Такъ какъ дядя былъ изстари членомъ собранія и его пропускали въ залъ безпрепятственно, то онъ передавалъ свой билетъ матушкѣ, а самъ входилъ безъ билета. Но былъ однажды случай, что матушку чуть-чуть не изловили съ этой продѣлкой, и еслибы не вмѣшательство дяди, то вышелъ бы изрядный скандалъ.

— Мать-то! мать-то вчера обмишулилась!—въ восторгѣ разсказывалъ братъ Степанъ: — явилась съ дядинымъ билетомъ, а ее цапъ-царапъ! Кабы не дядя, ночевать бы ей съ сестрой на съѣзжей!

Тѣмъ не менѣе, несмотря на ежедневные выѣзды и массу денегъ, потраченныхъ на покупку нарядовъ, о женихахъ для сестры было не слышно.

— И куда они запропастились!—роптала матушка.—Вотъ говорили: въ Москвѣ женихи! женихи въ Москвѣ! а на повѣрку выходитъ пшикъ — только и всего. Цѣлую прорву деньжищъ зря разбросали, лошадей, ѣздивши по магазинамъ, измучили, и хоть бы тѣ одинъ!

Матушка впрочемъ уже догадывалась, что въ Москвѣ не путемъ выѣздовъ добываются женихи, и что существуютъ другія дороги, не столь блестящія, но болѣе вѣрныя. Въ скоромъ времени она и прибѣгла къ этимъ путямъ,—но съ этимъ предметомъ я предпочитаю подробнѣе познакомить читателя въ слѣдующей главѣ.

Матушка званыхъ вечеровъ не давала, ссылаясь на тѣсноту помѣщенія. Да и дѣйствительно было бы странно видѣть танцующія пары въ миніатюрной квартиркѣ, въ которой и „свои“ едва размѣщались. Впрочемъ однажды она расщедрилась и дала, какъ говорится, пиръ на весь міръ. Въ

эту зиму намъ случайно попалась квартира съ довольно просторной залой, и дядя воспользовался этимъ, чтобы уговорить матушку повеселить дочь. Затѣяли балъ. Мебель ссудилъ дядя изъ своей квартиры, посуду напрокатъ взяли, позвали кухмистера Гарихмусова, накупили конфектъ, фруктовъ и разослали приглашенія. Валъ вышелъ на славу. Пріѣхало цѣлыхъ четыре штатскихъ генерала, которыхъ и усадили вмѣстѣ за карты (говорили, что они такъ вчетверомъ и ѣздили по домамъ на балы); дядя пригласилъ цѣлую кучу молодыхъ людей; между танцующими мелькнули даже два гвардейца, о которыхъ матушка такъ-таки и не допыталась узнать, кто они таковы. Веселились до пяти часовъ утра, и потомъ долго-долго вспоминали объ этомъ балѣ, пріурочивая къ нему разныя семейныя событія.

Воскресные и праздничные дни тоже вносили нѣкоторое разнообразіе въ жизнь нашей семьи. Въ эти дни матушка съ сестрой выѣзжали къ обѣднѣ, а наканунѣ большихъ праздниковъ и ко всенощной, и непремѣнно въ одну изъ модныхъ московскихъ церквей.

Модными церквами въ то время считались: Старое-Вознесенье, Никола Явленный и Успенье-на-Могильцахъ. Въ первой привлекалъ богомольцевъ шикарный протопопъ, который, ходя во время всенощной съ кадиломъ по церковной трапезѣ, расчищалъ себѣ дорогу, восклицая: „place mesdames!“ Заслышавъ этотъ возгласъ, дамочки поспѣшно разступались, а дѣвицы положительно млѣли. Съ помощью этой немудрой французской фразы, ловкій протопопъ успѣлъ устроить свою карьеру и прославить храмъ, въ которомъ былъ настоятелемъ. Церковь была постоянно полна народа, а изворотливый настоятель приглашался съ требами во всѣ лучшіе дома и ходилъ въ шолковыхъ рясахъ. У Николы Явленнаго настоятелемъ былъ протопопъ, прославившійся своими проповѣдями. Говорили, что онъ соперничалъ въ этомъ отношеніи съ митрополитомъ Филаретомъ, что послѣдній завидовалъ ему, и даже принуждалъ постричься, такъ какъ онъ былъ вдовъ. И дѣйствительно, въ концѣ концовъ, онъ перешелъ въ монашество, быстро прошелъ всѣ степени іерархіи и былъ назначенъ куда-то далеко епархіальнымъ архіереемъ. Что касается до церкви Успенья-на-Могильцахъ, то она славилась своими пѣвчими. Помнится, что тамъ по праздникамъ пѣвалъ крѣпостной хоръ Ровинскаго.

Матримоніальныя цѣли и тутъ стояли на первомъ планѣ. На сестру надѣвали богатый куній салопъ съ большой собольей пелериной, спускавшейся на плечи. Покрытъ былъ салопъ, какъ сейчасъ помню, блѣдно-лиловымъ атласомъ.

Выѣзды къ обѣднѣ представлялись тоже своего рода экзаменомъ, потому что происходили при дневномъ свѣтѣ. Сестра могла только слегка подсурмить брови и, ѣдучи въ церковь, усерднѣе обыкновеннаго нащипывала себѣ щеки. Стояли въ церкви чинно, въ извѣстные моменты плавно опускались на колѣни и усердно молились. Казалось, что вся Москва смотритъ.

Разумѣется, по окончаніи службы, встрѣчаются со знакомыми и начинается болтовня.

— Ахъ, какую онъ сегодня проповѣдь сказалъ! еще крошечку—и я разрыдалась бы!—слышится въ одномъ мѣстѣ.

— Какъ это? ка́къ онъ выразился? „И всегда, и вездѣ — Онъ повсюду съ нами!“ Ахъ, какая это святая правда!—раздается въ другомъ.

— А вы замѣтили, ma chère, гусара, который подлѣ праваго крылоса стоялъ?—шушукаются между собой дѣвицы:—это гвардеецъ. Изъ Петербурга, князь Телепневъ-Оболдуй. Двѣнадцать тысячъ душъ, ma chère! двѣ-над-цать!

— Joli!

— И все въ Тульской, да въ Орловской, да въ Курской губерніяхъ! Вообще, гдѣ хлѣбъ...

— Вотъ кабы... — потихоньку шепчетъ матушка, прислушавшись къ разговору и любовно посматривая на дочку-любимку.

Начинается разъѣздъ, который иногда длится полчаса. Усѣвшись въ возокъ, матушка упрекаетъ сестрицу.

— Какая ты однакожъ, Наденька, рохля! Смотритъ на тебя генералъ этотъ... какъ бишь?—а ты хоть бы глазомъ на него повела.

— Вотъ еще! стану я... старикъ!

— Нечего: старикъ! жениховъ-то не непочатый уголъ; разъ-другой, и обчелся. Привередничать-то бросить надо, не вѣкъ на шеѣ у матери сидѣть.

— Не пойду я за старика.

— А не пойдешь, такъ сиди въ дѣвкахъ. Ты знаешь ли, старикъ-то что̀ значитъ? Молодой-то пожилъ съ тобой — и пропалъ по гостямъ, да по клубамъ, да по цыганамъ. А старикъ дома сидѣть будетъ, не надышется на тебя! И наряды, и уборы... всѣмъ на свѣтѣ для молодой жены пожертвовать готовъ!

— Какъ папенька, напримѣръ...

— Ну, что̀ папеньку трогать! Папенька самъ по себѣ. Я правду ей говорю, а она: „папенька“...

И т. д.

Возвратясь домой, нѣкоторое время прикидываются умиротворенными, но за чаемъ, который по праздникамъ пьютъ послѣ обѣдни, опять начинаютъ судачить. Отецъ, какъ ни придавленъ домашней дисциплиной, но и тотъ наконецъ не выдерживаетъ.

— Какъ это у васъ языки не отсохнутъ!—кричитъ онъ:—съ утра до вечера только и дѣло что сквернословятъ!

При этомъ упрекѣ сестрица съ шумомъ встаетъ изъ-за стола, усаживается къ окну и начинаетъ смотрѣть на улицу, какъ проѣзжаютъ кавалеры, которые по праздникамъ обыкновенно бѣснуются съ визитами. Смотрѣніе въ окно составляетъ любимое занятіе, которому она готова посвятить цѣлые часы.

— Что̀ въ окно глазѣешь? жениховъ высматриваешь? — язвитъ отецъ, который не долюбливаетъ старшую дочь, именно потому, что матушка балуетъ ее.

— И буду смотрѣть! Вамъ что за дѣло!—огрызается сестрица.

— Вотъ какъ отцу она отвѣчаетъ!

— А вы не троньте меня, и я васъ не трону!

— Ахъ ты...

— Сидѣли бы у себя въ углу!..

— Надинъ! финиссé!—вступается матушка, не желая, чтобы подобныя сцены происходили „девàнъ лè жанъ“.

Въ воскресенье, послѣдній день масляницы, ровно въ полночь, циклъ московскихъ увеселеній круто обрывался. Въ этотъ день у главнокомандующаго назначался „folle journée“; но такъ какъ попасть въ княжескія палаты для дворянъ средней руки было трудно, то послѣдніе заранѣе узнавали, не будетъ ли такихъ же folles journées у знакомыхъ. Семья, которой не удавалось заручиться послѣднимъ масляничнымъ увеселеніемъ, почитала себя несчастливою. Цѣлый день ей приходилось проводить дома въ полномъ одиночествѣ, слоняясь безъ дѣла изъ угла въ уголъ, и утѣшая себя развѣ тѣмъ, что воскресенье, собственно говоря, уже начало поста, такъ какъ въ церквахъ въ этотъ день кладутъ поклоны и читаютъ „Господи, Владыко живота“.

Въ чистый понедѣльникъ великій постъ сразу вступалъ въ свои права. На всѣхъ перекресткахъ раздавался звонъ колоколовъ, которые какъ-то особенно уныло перекликались между собой; улицы къ часу ночи почти мгновенно затихали; даже разносчики появлялись рѣдко, да и то особенные, свойственные посту; въ домахъ слышался запахъ конопляннаго масла. Словомъ сказать, все какъ бы говорило: нечего заживаться въ Москвѣ! все, что она могла дать, уже взято!

Въ понедѣльникъ же съ ранняго утра матушка начинаетъ торопиться сборами. Ей хочется выѣхать не позже среды—послѣ ранняго обѣда, чтобъ успѣть хоть на кончикѣ застать у Троицы-Сергія мессимоны. Съ часу на часъ ожидаютъ изъ деревни подводъ; Стрѣлкова командируютъ въ Охотный рядъ за запасами для деревни, и къ полудню онъ уже является въ большихъ саняхъ, нагруженныхъ мукой, крупой и мерзлой рыбой. Въ нашемъ домѣ, въ великій постъ, не подается на столъ скоромнаго, а отецъ кушаетъ исключительно грибное, и только въ Благовѣщенье да въ Вербное Воскресенье позволяетъ себѣ рыбу. Тѣ же хлопоты, которыя сопровождали пріѣздъ въ Москву, начинаются и теперь. Безпрерывно слышится хлопанье наружными дверями, въ комнатахъ настужено, не метено, на полахъ отпечатлѣлись слѣды сапоговъ, подбитыхъ гвоздями; и матушка, и сестра цѣлые дни ходятъ неодѣтыя. Одинъ отецъ остается равнодушенъ къ общей кутерьмѣ, и ходитъ исправно въ церковь ко всѣмъ службамъ.

— Подводы пріѣхали!—докладываютъ матушкѣ.

Наконецъ все прибрано и уложено. Въ среду утромъ служатъ напутственный молебенъ. Въ передней спозаранку толчется Стрѣлковъ, которому матушка отдаетъ послѣднія приказанія. Наскоро обѣдаютъ и спѣшатъ выѣхать, оставивъ часть дворни и подводъ для очистки квартиръ и отправки остальныхъ вещей.

Но дорога до Троицы ужасна, особливо если масляница поздняя. Она представляетъ собой цѣлое море ухабовъ, которые въ оттепель до половины наполняются водой. Приходится ѣхать шагомъ; а такъ какъ путешествіе совершается на своихъ лошадяхъ, которыхъ жалѣютъ, то первую остановку дѣлаютъ въ Большихъ-Мытищахъ, отъѣхавши едва пятнадцать верстъ отъ

Москвы. Такого же размѣра станціи дѣлаются и на слѣдующій день, такъ что къ Троицѣ поспѣваютъ только въ пятницу около полудни, избитые, замученные.

У Троицы вынимаются чемоданы и повторяются тѣ же сцены, какъ и въ Москвѣ, передъ выѣздами на вечера. На мессимоны съѣзжается „вся Москва", и ударить себя лицомъ въ грязь было бы непростительно. Одѣваются въ особыя „дорожныя" платья, очень щеголеватыя, и на отдохнувшихъ лошадяхъ отправляются въ возкѣ (четверней въ рядъ, по дорожному) въ монастырь. Церковь биткомъ набита, едва можно пробраться, при содѣйствіи Конона, который идетъ впереди, безстрашно пуская въ ходъ локти. Подъ сводами храма раздается: *Помощникъ и Покровитель*... Отецъ молитвенно складываетъ руки; у матушки отъ умиленія слезы на глазахъ.

А вотъ и Голубовицкіе, и Гурины, и Соловкины — всѣ! Даже мсьё Обрящинъ тутъ — est-ce possible! Такъ что едва произнесено послѣднее слово „отпуска", какъ уже по всей церкви раздаются восклицанія:

— Вы! какими судьбами?

— Въ деревню! пора!

— Парники набивать время!

— У насъ еще молотьба не кончена!

— А у насъ скотный дворъ сгорѣлъ. Пугнуть надо.

— Но какъ сегодня пѣли! я и не знала, гдѣ я: на небесахъ или на землѣ!..

Отъ Троицы дорога идетъ ровнѣе, а съ послѣдней станціи даже очень порядочная. Снѣгъ ужъ настолько осѣлъ, что мѣстами можно по насту проѣхать. Лошадей перепрягаютъ „гусемъ", и онѣ бѣгутъ веселѣе, словно понимаютъ, что надолго избавились отъ московской суеты и многочасныхъ дежурствъ у подъѣздовъ по ночамъ. Переѣзжая кратчайшимъ путемъ черезъ озеро, путники замѣчаютъ, что оно ужъ начинаетъ синѣть.

Наконецъ!.. Послѣднюю „чужую" деревню проѣхали... Вотъ промелькнула Тараканиха, самая дальняя наша пустошь, вотъ Столбы, вотъ Свѣтлички, а вотъ и Малиновецъ!

Отецъ вылѣзаетъ у подъѣзда изъ возка, крестится на церковь и спрашиваетъ, были ли службы на первой недѣлѣ. Матушка тоже крестится и произноситъ:

— Ну, слава Богу, дома!

Только сестрица недовольна и сердито цѣдитъ сквозь зубы:

— Опять этотъ Малиновецъ... ахъ, противный! Господи! Да когда же, наконецъ! когда же!..

XV.—Сестрицыны женихи.—Стриженый.

Сестрица Надина была старшей въ нашей семьѣ. Ее нельзя было назвать красивою; справедливѣе говоря, она была даже дурна собой. Рыхлая, съ старообразнымъ лицомъ, лишеннымъ живыхъ красокъ, съ мягкимъ, мясистымъ носомъ, словно смятый башмакъ, выступавшимъ впередъ, и большими сѣрыми глазами, смотрѣвшими неласково,—она не могла производить впечатлѣніе на мужчинъ. Только ростъ у нея былъ хорошій, и она гордилась этимъ; но матушка справедливо ей замѣчала: „на одномъ ростѣ, матушка, не далеко уѣдешь". Матушка страстно любила своего первенца-дочь, и отсутствіе красоты очень ее заботило. Въ особенности вредило сестрѣ сравненіе съ матушкой, которая, несмотря на то, что ей шло ужъ подъ-сорокъ, и что хозяйственная сутолока наложила на нее свою руку, все еще сохранила слѣды замѣчательной красоты. Сестра знала это и страдала. Иногда она даже очень грубо выражала матушкѣ свое нетерпѣніе по этому поводу.

— Вы все около меня торчите! — говорила она: — не вамъ выходить замужъ, а мнѣ.

— Не могу же я оставить тебя одну!—оправдывалась матушка.

— Попробуйте!

За то сестру одѣвали какъ куколку и приготовляли богатое приданое. Старались дѣлать послѣднее такъ, чтобы всѣ знали, что въ такомъ-то домѣ есть богатая невѣста. Кромѣ того, матушка во всеуслышаніе объявляла, что за дочерью триста незаложенныхъ душъ и надежды въ будущемъ.

— Умремъ, ничего съ собой не унесемъ,—говорила она:—пока съ нея довольно, а потомъ, если зять будетъ ласковъ, то и еще наградимъ.

Какъ ужъ я сказалъ выше, матушка очень скоро убѣдилась, что на балахъ да на вечерахъ либимица ея жениха себѣ не добудетъ, и что успѣха въ этомъ смыслѣ можно достигнуть только съ помощью экстраординарныхъ средствъ. Къ нимъ она и прибѣгла.

И вотъ нашъ домъ наполнился свахами. Между ними на первомъ планѣ выступала Авдотья Гавриловна Мутовкина, старуха лѣтъ шестидесяти, которая еще матушку въ свое время высватала. На нее матушка особенно надѣялась, хотя она болѣе вращалась въ купеческой средѣ и по преклонности лѣтъ ужъ не обладала надлежащимъ проворствомъ. Были и сваты, хотя для мужчинъ это ремесло считалось нѣсколько зазорнымъ, Изъ числа послѣднихъ мнѣ въ особенности памятенъ сватъ Родивонычъ, низенькій, плюгавенькій старикъ съ большимъ сизымъ носомъ, изъ котораго вылѣзалъ цѣлый пукъ жесткихъ волосъ. Онъ сваталъ все что̀ угодно: и имѣнья, и дома, и вещи, и жениховъ, а кромѣ того и порученія всевозможныя (а въ томъ числѣ и зазорныя) исполнялъ. Съ перваго же взгляда на его лицо было очевидно, что у него постояннаго занятія нѣтъ, что̀, впрочемъ, онъ и самъ подтверждалъ, говоря:

— Настоящей жизни не имѣю; такъ кой около чего колочусь! Вы покличете, другой покличетъ, а я и вотъ онъ-онъ! Съ мѣсяцъ назадъ одинъ купецъ говоритъ: „слетай, Родивонычъ, за меня пѣшкомъ къ Троицѣ помо-

литься; пообѣщалъ я, да недосугъ"... Чтожъ, отчего не сходить—сходилъ! Безъ обману всѣ шестьдесятъ верстъ на своихъ на двоихъ отрапортовалъ!

Или:

— А однажды вотъ какое истинное происшествіе со мною было. Зазвалъ меня одинъ купецъ вмѣстѣ купаться, да и заставилъ нырять. Вцѣпился въ меня посередь рѣки, взялъ за волосы, да и пригибаетъ. Разъ окунулъ, другой, третій... у меня даже зеленые круги въ глазахъ пошли... Спасибо, однако, синюю бумажку потомъ выкинулъ!

Матушка такъ и покатывалась со смѣху, слушая эти разсказы, и я даже думаю, что его принимали у насъ не столько для „дѣла", сколько ради „истинныхъ происшествій", съ нимъ случавшихся.

Но, помимо свахъ и сватовъ, Стрѣлкову и нѣкоторымъ изъ заболотскихъ богатѣевъ, имѣвшимъ въ Москвѣ торговыя дѣла, тоже приказано было высматривать, и если окажется подходящій человѣкъ, то немедленно доложить.

Отъ времени до времени съ ранняго утра у насъ проходила цѣлая процессія матримоніальныхъ дѣлъ мастерицъ.

— Савастьяновна въ дѣвичьей дожидается,—докладываетъ горничная.

— Зови.

Входитъ тоненькая, обшарпанная старуха, рябая, съ попорченнымъ оспою глазомъ. Одѣта бѣдно; на головѣ повойникъ, на плечахъ старый порыжѣлый драдедамовый платокъ.

Матушка затворяется съ нею въ спальнѣ; сестрица потихоньку подкрадывается къ двери и прикладываетъ ухо.

Начинается фантастическое, безстыжее хвастовство, въ которомъ есть только одно смягчающее обстоятельство: невозможность опредѣлить, преднамѣренно ли лгутъ собесѣдники, или какимъ-то волшебнымъ процессомъ сами убѣждаются въ дѣйствительности того, о чемъ говорятъ.

— Опять съ шишиморой пришла?—начинаетъ матушка.

— Вотъ ужъ нѣтъ! Это точно, что въ прошлый разъ... виновата, сударыня, промахнулась!.. Ну, а теперь такого-то размолодчика присмотрѣла... на рѣдкость! И изъ себя картина, и имѣніе есть... Словомъ сказать...

— Кто таковъ?

— Перепетуевъ маіоръ. Можетъ, слыхали?

— Нѣтъ, отроду такой фамиліи не слыхивала. Изъ сдаточныхъ, должно быть.

— Помилуйте, посмѣла ли бы я! Старинная, слышь, фамилія, настоящая дворянская. Еще когда Перепетуевы въ Чухломѣ имѣніями владѣли. И онъ: зимой въ Москву пріѣзжаетъ, а лѣтомъ въ имѣніяхъ распоряжается.

— Старъ?

— Нельзя сказать. Немолодъ, да и не перестарокъ, лѣтъ сорокъ-пять, не больше.

— Не надо. Всѣ пятьдесятъ—это вѣрно.

— Помилуйте! что же такое! Онъ еще въ силахъ.

Сваха шепчетъ что-то по секрету, но матушка стоитъ на своемъ.

— Не надо, не надо, не надо.

Савастьяновна уходитъ; слѣдомъ за нею является Мутовкина. Она го-

раздо представительнѣе своей предшественницы; одѣта въ платье изъ настоящаго тернò, на головѣ тюлевый чепчикъ съ желтыми шолковыми лентами, на плечахъ новый драдедамовый платокъ. Памятуя старинную связь, Мутовкина не церемонится съ матушкой и говоритъ ей „ты“.

— Дай посижу, устала, — начинаетъ она: — лёгко ли мѣсто, полъ-Москвы сегодня обѣгала.

— Чтò новенькаго?—нетерпѣливо спрашиваетъ матушка.

— Чтò новенькаго! Нѣтъ ничего! Пропали женихи, да и только.

— Неужто-жъ Москва клиномъ сошлась, жениховъ не стало?

— Есть, да не подъ кадрель вамъ. Даже полковникъ одинъ есть, только вдовый, шестеро дѣтей, да и зашибаетъ.

— Такого не надо.

— Знаю, что не надо, и не хвастаюсь.

Матушка задумывается. Ее серьезно тревожитъ, что пожалуй такъ и пройдетъ зима безъ всякаго результата. Ужъ мясоѣдъ на дворѣ, вездѣ только и разговора, что о предстоящихъ свадьбахъ, а наша невѣста сидитъ словно заколдованная. Въ воображеніи матушки рисуется некрасивая фигура любимицы-дочери, и безпокойство ея ростетъ.

— Видно, что плохо стараешься,—укоряетъ она Мутовкину.—Бьемся, бьемся, на одни наряды сколько денегъ ухлопали—и все нѣтъ ничего! Стадами по Москвѣ саврасы гогочутъ—и хоть бы одинъ!

— Обождать нужно. Добрые люди не одну зиму, а и двѣ, и три въ Москвѣ живутъ, да съ пустомъ уѣзжаютъ. А ты безъ году недѣлю пріѣхала, и ужъ вынь тебѣ да положь!

— Да неужто и на примѣтѣ никого нѣтъ?

— Сказывали намеднись, да боюсь соврать.

— Кто таковъ? говори!

— Сказывали, будто на дняхъ изъ Ростова помѣщика ждутъ. Богатый, сколько лѣтъ предводителемъ служилъ. Съ тѣмъ будто и ѣдетъ, чтобъ безпремѣнно жениться. Вдовецъ онъ—съ дѣтьми, вишь, сладить не можетъ.

— Ну, это еще Улита ѣдетъ, когда-то будетъ. А дѣти у него взрослыя?

— Сынъ женатый; старшая дочь тоже замужемъ.

— Старикъ?

— Нéмолодъ. А впрочемъ въ силахъ. Даже подъ судомъ за эти дѣла находился.

— За какія „за эти“ дѣла?

— А вотъ за эти самыя. Крѣпостныхъ дѣвицъ, слышь, безпокоилъ, а исправникъ на него и донесъ.

— Вотъ, видишь, ты язва какая! за кого сватать берешься!

— Ахъ, мать моя, да вѣдь и всѣ помѣщики на одинъ манеръ. Это только Василій Порфирычъ твой...

— Не надо. За стараго моя Надёха (въ сердцахъ матушка позволяетъ себѣ награждать сестрицу не совсѣмъ ласковыми именами и эпитетами) не пойдетъ. А тутъ еще съ дѣтьми возжайся... Не надо!

— А мой совѣтъ таковъ: старый-то мужъ лучше. Любить будетъ. Онъ и дѣтей для молодой жены проклянетъ, и имѣнье на жену перепишетъ.

Но матушка не вѣритъ загадываньямъ. Она встаетъ съ мѣста и начинаетъ въ волненіи ходить по комнатѣ.

— Двадцать лѣтъ тетёхѣ, а она все въ дѣвкахъ сидитъ! — ропщетъ она.—Въ эти года я ужъ троихъ ребятъ принесла! Чтожъ, будетъ, что-ли, у тебя женихъ? или ты только такъ: шалды-балды, и нѣтъ ничего?—приступаетъ она къ свахѣ.

— Въ карманѣ не ношу.

— А ты коли взялась хлопотать, такъ хлопочи!

Разговоръ оживляется, и чѣмъ дальше, тѣмъ становится крупнѣе. Укоризны такъ и сыплются съ обѣихъ сторонъ.

— Что̀ вы, собаки, грызетесь! — слышится наконецъ голосъ отца изъ кабинета:—помолиться покойно не дадите!

За Мутовкиной слѣдуетъ сваха съ Плющихи; за нею—сваха изъ-подъ Новодѣвичьяго. Дѣйствующія лица мѣняются, но процессія остается одинаковою и по формѣ, и по содержанію, и длится до тѣхъ поръ, пока не подадутъ обѣдъ или матушка сама не уѣдетъ изъ дома.

Повторяю: подобныя сцены возобновляются изо дня въ день. Въ этой заглохшей средѣ, гдѣ и смо̀лоду люди не особенно ясно сознаютъ, что̀ нравственно и что̀ безнравственно, въ зрѣлыхъ лѣтахъ совсѣмъ утрачивается всякая чуткость на этотъ счетъ. „Житейское дѣло“ — вотъ отвѣтъ, которымъ опредѣляются и оправдываются всѣ дѣйствія, всѣ рѣчи, всѣ помышленія. Языкъ во рту свой, не купленный, а мозги настолько прокоптились, что сдѣлались уже неспособными для воспринятія иныхъ впечатлѣній, кромѣ неопрятныхъ...

И вотъ однажды является Стрѣлковъ и, кончивъ докладъ о текущихъ дѣлахъ, таинственно заявляетъ:

— Есть у меня, сударыня, на примѣтѣ...

— Кто таковъ? Не мни!

— Очень человѣкъ обстоятельный. По провіантской части въ Москвѣ начальникомъ служитъ. Ужъ и теперь въ родѣ какъ генералъ, а къ святой, говорятъ, безпремѣнно настоящимъ генераломъ будетъ.

— Старъ?

— Не то чтобы... въ порѣ мужчина. Лѣтъ сорока-пяти, должно быть. Года середніе.

— Старенекъ.

— Ныньче, сударыня, молодые-то не очень на невѣстъ льстятся.

— Холостой? вдовецъ?

— Вдовый-съ, только дѣтей не имѣютъ.

— Экономка, смотри, есть?

— Экономка...—заминается Стрѣлковъ.

— Есть ли экономка, русскимъ языкомъ тебѣ говорятъ?

— Помилуйте! они ее разсчитаютъ. Коли женятся, зачѣмъ же имъ экономка понадобится?

— То-то, чтобъ этого не было. Ты у меня въ отвѣтѣ.

Мысль объ экономкѣ слегка обезпокоиваетъ матушку; но, помолчавъ съ минуту, она продолжаетъ допросъ.

— Есть имѣніе? капиталъ?

— Имѣнія нѣтъ, потому что при должности ихней никакъ нельзя себя обнаружить. А капиталъ безпремѣнно есть.

— На лбу, что-ли, ты у него прочелъ?

— Что̀ вы, сударыня! при такой должности да капитала не имѣть! Все продовольствіе: и мука, и крупа, и горохъ, окромя всего прочаго, все въ ихнихъ рукахъ состоитъ! Извѣстно, они и насчетъ капитала опаску имѣютъ. Узнаютъ, спросятъ, гдѣ взялъ, чѣмъ нажилъ?—и службы, храни Богъ, рѣшатъ...

— Все-таки... Вѣрнѣе надо узнать. Иной съ три-короба тебѣ наговоритъ: капиталъ да капиталъ, а на повѣрку выйдетъ пшикъ.

— Можно, сударыня, такъ сдѣлать: передъ свадьбой чтобы они билеты показали. Чтобы безъ обману, на-лицо.

— Развѣ что такъ...

— Очень они Надежду Васильевну взять за себя охотятся. Въ церкви, у Николы Явленнаго, они ихъ видѣли. Такъ понравились, такъ понравились!

— Да ты черезъ кого узналъ? самъ, что-ли, отъ него слышалъ?

— Мнѣ нашъ мужичокъ, Лука Архипычъ Мерееколовъ, сказывалъ. Онъ небольшую партію гороху ставилъ, а баринъ-то и узналъ, что онъ нашъ... „Очень, говоритъ, у васъ барышня хороша“.

— А фамилія какъ?

— Ѳедоръ Платонычъ Стриженый прозывается.

Матушка задумывается, какъ это выйдетъ: „Надежда Васильевна Стриженая!“ — словно бы неловко... Ишь его угораздило, какую фамилію выдумалъ! захочетъ ли еще ея „краля“ съ такой фамиліей вѣкъ вѣковать.

— Ладно,—говоритъ она: — приходи ужо̀, а я между тѣмъ переговорю. А впрочемъ постой! не зашибаетъ ли онъ?

— Помилуйте, сударыня, зачѣмъ же! Рюмка, двѣ рюмки передъ обѣдомъ, да за чаемъ пуншъ...

— То-то, рюмка, двѣ рюмки... Иной при людяхъ еще наблюдаетъ себя, а пріѣдетъ домой да и натенькается... Ну, съ Богомъ!

Съ уходомъ Стрѣлкова матушка удаляется въ сестрицыну комнату и добрый часъ убѣждаетъ ее, что въ фамиліи „Стриженая“ ничего зазорнаго нѣтъ; что Стриженые изстари населяютъ Пензинскую губернію, гдѣ будто бы одинъ изъ нихъ даже служилъ предводителемъ.

Наконецъ, сестрица сдается; рѣшаютъ устроить смотрины, т.-е. условиться черезъ Стрѣлкова съ женихомъ насчетъ дня, и пригласить его вечеромъ за-просто на чашку чая.

Пятый часъ въ началѣ; только-что отобѣдали, а сестрица ужъ затворилась въ своей комнатѣ и повертывается передъ трюмо. Въ восемь часовъ ждутъ жениха; не успѣешь и наглядѣться на себя, какъ онъ нагрянетъ.

Сестрица заранѣе обдумала свой туалетъ. Она будетъ одѣта просто, какъ будто никто ни о чемъ ее не предупредилъ, и она *всегда такъ дома*

ходитъ. Розовое тарлатановое платье съ высокимъ лифомъ, перехваченное на таліи пунцовою лентою, — вотъ и все. Въ волосахъ вплетена нитка жемчуга, на груди—брошь съ брильянтами; лента заколота пряжкой тоже съ брильянтиками. Главное, чтобъ было просто. Но не даромъ пословица говоритъ, что простота хуже воровства; сестрица отлично понимаетъ смыслъ этой пословицы, и безпрестанно крестится, чтобы обдуманная ею простота удалась.

Ее очень заботитъ, что утромъ у нея, на самой серединѣ лба, вскочилъ прыщъ.—Противный!—восклицаетъ она, чуть не плача и прикладывая палецъ къ прыщу. Но послѣдній отъ безпрестанныхъ подавливаній еще болѣе багровѣетъ. Къ счастью, матушка, какъ женщина опытная, сейчасъ же нашлась, какъ помочь дѣлу.

— Надѣнь фероньерку, и дѣло съ концомъ!—сказала она:—какъ разъ звѣздочка по серединѣ лба придется.

И точно: надѣла сестрица фероньерку, и вмѣсто прыща на лбу выросъ довольно крупный брильянтъ.

Къ семи часамъ вычистили залъ и гостиную, стерли съ мебели пыль, на стѣнахъ зажгли бра съ восковыми свѣчами; въ гостиной на столѣ передъ диваномъ поставили жирандоль и во всѣхъ комнатахъ накурили монашками. Въ заключеніе раскрыли въ залѣ рояль, на пюпитръ положили ноты и зажгли по обѣ стороны свѣчи, какъ будто сейчасъ играли. Когда все было готово, въ гостиную явилась матушка, прифранченная, но тоже слегка, какъ будто она *всегда такъ дома ходитъ.* Ради гостя, и отецъ надѣлъ „хорошій“ сюртукъ, но онъ, очевидно, не принималъ дѣятельнаго участія въ общемъ ожиданіи и выполнялъ только необходимую формальность. Да и матушка не надѣялась, что онъ съумѣетъ занять гостя, и потому пригласила дядю, который, въ качествѣ ростовщика, со всякимъ народомъ водился и на всѣ руки былъ мастеръ.

— Знаю я этого Стриженаго,—сообщаетъ дядя: — въ прошломъ году у него нехватка казенныхъ денегъ случилась, а ему дали знать, что ревизоръ изъ Петербурга ѣдетъ. Такъ онъ ко мнѣ пріѣзжалъ.

— Какъ же мнѣ сказывали, что у него большія деньги въ ломбардѣ лежатъ?—тревожится матушка:—кабы свой капиталъ былъ, онъ бы вынулъ денежки изъ совѣта, да и пополнилъ бы нехватку.

— Есть у него деньги, и даже не маленькія, только онъ ихъ въ ломбардѣ не держитъ—процентъ малъ,—а по Москвѣ подъ залоги распускаетъ. Купецъ Погуляевъ и сейчасъ ему полтораста тысячъ долженъ — это я вѣрно знаю. Тому, другому перехватить дастъ—хорошій процентъ получитъ.

— А что, если начальство провѣдаетъ, да подъ судъ его за такія дѣла отдастъ?

— То-то, что и онъ этого опасается. Да и вообще у оборотливаго человѣка руки на службѣ связаны. Я полагаю, что онъ и жениться задумалъ съ тѣмъ, чтобы службу бросить, купить имѣніе да оборотами заняться. Получитъ къ святой генерала и раскланяется.

— Вотъ кабы онъ имѣнье-то на имя Наденьки купилъ. Да кабы въ хлѣбной губерніи...

— Можетъ быть, и купитъ, только закладную на свое имя съ нея возьметъ.

— Ну, это ужъ что̀!.. А вотъ что̀, братецъ, я хотѣла спросить. Выгодно это, деньги подъ залоги давать?

— Хлопотъ много. Не женское это дѣло; кабы ты мнѣ свой капиталъ поручила, я бы тебѣ его пристроилъ.

Дядя смотритъ на матушку въ упоръ такимъ загадочнымъ взоромъ, что ей кажется, что вотъ-вотъ онъ съ нея сниметъ послѣднюю рубашку. Въ умѣ ея мелькаетъ предсказаніе отца, что Гришка не только стариковъ капиталъ слопаетъ, но всю семью разоритъ. Припомнивши эту угрозу, она опускаетъ глаза и старается не смотрѣть на дядю.

— Нѣтъ ужъ! какой у меня капиталъ! — смиренно говоритъ она: — какой и былъ, весь на покупку имѣній извела!

— Оброки получаешь; вотъ бы по частямъ и отдавала. И всѣ съ небольшого начинаютъ.

— Какіе у меня оброки! Недоимки однѣ. Вонъ ихъ цѣлая книга исписана, пожалуй считай! нѣтъ, ужъ я такъ какъ-нибудь...

— Какъ знаешь! Мнѣ твоихъ денегъ не нужно.

Разговоръ становится щекотливымъ; матушка боится, какъ бы дядя не обидѣлся и не уѣхалъ. Къ счастью, въ передней слышится движеніе, которое и полагаетъ предѣлъ непріятной сценѣ.

Женихъ пріѣхалъ.

Входитъ рослый мужчина, довольно неуклюже сложенный. Онъ въ мундирѣ военнаго министерства съ серебряными петлицами на высокомъ и туго-застегнутомъ воротникѣ; по срединѣ груди блеститъ рядъ пуговицъ изъ бѣлой латуни; сзади трясутся коротенькія фалдочки. Нельзя сказать, чтобъ женихъ былъ красивъ. Скорѣе всего, его можно принять за сдаточнаго, хотя онъ дѣйствительно принадлежитъ къ старинному дворянскому роду Стриженыхъ, который въ изобиліи водится въ Пензинской губерніи. Несмотря на то, что Стрѣлковъ заявилъ, что Стриженому сорокъ лѣтъ, но на видъ ему добрыхъ пятьдесятъ-пять. Лицо у него топорное, солдатское, стараго типа; на головѣ накладка, которую онъ зачесываетъ остатками волосъ сзади и съ боковъ; подъ узенькими влажными глазами образовались мѣшки; сизыя жилки, разползшіяся на выдавшихся скулахъ и на мясистомъ носу, свидѣтельствуютъ о старческомъ расширеніи венъ; гладко выбритый подбородокъ украшенъ небольшимъ зобомъ. Словомъ сказать, произведенное имъ на матушку впечатлѣніе далеко не въ его пользу. „И старъ, да, пожалуй, и пьющій“, сразу подумалось ей.

— Ѳедоръ Платоновъ Стриженый! — рекомендуется онъ, останавливаясь передъ матушкой и щелкая шпорами.

— Милости просимъ, Ѳедоръ Платонычъ! Вотъ мой мужъ... а вотъ это братъ мой.

— Съ братцемъ вашимъ мы уже знакомы...

Мужчины пожимаютъ другъ другу руки. Гостя усаживаютъ на диванѣ рядомъ съ хозяйкой.

— Мы, кажется, по Николѣ Явленному нѣсколько знакомы,—любезно начинаетъ матушка разговоръ.

— По близости отъ этой церкви живу, такъ, признаться сказать, по праздникамъ къ обѣднѣ туда хожу.

— А какія тамъ проповѣди протопопъ говоритъ! Ахъ, какія это проповѣди!

— Какъ вамъ сказать, сударыня... не нравятся мнѣ онѣ... „Блюдите" да „памятуйте"—и безъ него всѣмъ извѣстно! А иногда и вольненько поговариваетъ!

— Чтой-то я какъ будто не замѣчала...

— Намеднись о издоимцахъ началъ... Такую чепуху городитъ, уши вянутъ! И между прочимъ все вздоръ. Развѣ допуститъ начальство, чтобъ были издоимцы!

— Ну, тоже со всячинкой.

— Не смѣю спорить-съ. Вы, Василій Порфирычъ, какъ полагаете?

— Единъ Богъ безъ грѣха,—скромно отвѣчаетъ отецъ.

— Вотъ это—святая истина! Именно одинъ Богъ! И священнику знать это больше другихъ нужно, а не палить изъ пушекъ по воробьямъ.

— Ну, а вы какъ? службой своей довольны?—вступаетъ въ общій разговоръ дядя.

— Слава Богу-съ! Обиды отъ начальства не вижу, а для подчиненнаго только это и дорого.

— И какъ еще дорого! именно только это и дорого!—умиляется матушка.—Мнѣ сынъ изъ Петербурга пишетъ: „начальство меня, маменька, любитъ, а съ этимъ я могу смѣло смотрѣть будущему въ глаза!"

— Именно такъ-съ. Только, доложу вамъ, скучненька моя служба. Мука, да крупа, да горохъ-съ...

— Нѣтъ, чтожъ, что и горохъ... Смотря потому, какого качества и почемъ,—резонно замѣчаетъ дядя.

— Справедливо-съ! А все-таки... Будетъ съ меня, похлопоталъ. Вотъ если къ святой получу чинъ, можно будетъ и другимъ дѣломъ заняться. Достатки у меня есть, опытность тоже...

— Это такъ; можно и другое дѣло найти. Капиталъ кому угодно занятіе дастъ. Всяко его оборотить можно. Имѣніе, напримѣръ... Если на свое имя пріобрѣсти неудобно, можно иначе сдѣлать... ну, на имя супруги, что-ли...

— Вдовъ, сударыня. Былъ у меня ангелъ-хранитель, да улетѣлъ!

— Что же такое! не вѣкъ одному вѣковать. Можетъ, и въ другой разъ Богъ судьбу пошлетъ!

— Коли пошлетъ Богъ... отчего-жъ! Я отъ судьбы не прочь!

— Отъ сумы да отъ тюрьмы не отказывайся, говоритъ пословица; такъ же точно и отъ судьбы!—шутитъ дядя.

Всѣ смѣются.

— Имѣнія, я вамъ скажу, очень дѣло выгодное! — продолжаетъ соблазнять матушка:—пятнадцать-двадцать процентовъ шутя капиталъ принесетъ. А денежки все равно какъ въ ломбартѣ лежатъ.

Бесѣда начинаетъ затрогивать чувствительную струну матушки, и она

заискивающими глазами смотритъ на жениха. Но въ эту минуту, совсѣмъ не ко времени, въ гостиную появляется сестрица.

Она входитъ, слегка подпрыгивая, какъ будто ничего не знаетъ. Какъ будто и освѣщеніе, и благоуханіе монашекъ, все это каждый день такъ бываетъ. Понятно, что изъ груди ея вылетаетъ крикъ изумленія при видѣ новаго лица.

— Ахъ!

— Иди, иди, дочурка!—ободряетъ ее матушка:—здѣсь все добрые люди сидятъ, не съѣдятъ! Ѳедоръ Платонычъ! дочка моя! Прошу любить да жаловать!

— Помилуйте! это я долженъ просить ихъ о благосклонномъ вниманіи! —любезно отвѣчаетъ Стриженый, щелкнувъ шпорами.

— А я васъ, мсьё, у Николы Явленнаго видѣла,—наивничаетъ сестрица.

— У Николы Явленнаго-съ? видѣли-съ? — притворяется удивленнымъ женихъ, любезно хихикая.

— Да, помните, еще батюшка проповѣдь говорилъ... о мздоимцахъ... Папаша! что̀ такое за слово: „мздоимцы“?

— Мздоимцы — это люди, которые готовы съ живого и съ мертваго кожу содрать,—безъ околичностей объясняетъ отецъ:—въ родѣ, напримѣръ, какъ Іуда.

При этомъ толкованіи матушка измѣняется въ лицѣ, женихъ таращитъ глаза, и на носу его еще ярче выступаетъ расширеніе венъ; дядя сквозь зубы бормочетъ: „попалъ пальцемъ въ небо!“

— И охота тебѣ, Наденька... — начинаетъ матушка.

Но не успѣла она докончить фразу, какъ женихъ уже всталъ съ дивана и быстрыми шагами удаляется по направленію къ передней. Общее изумленіе.

— Вотъ тебѣ на̀, убѣжалъ! — восклицаетъ матушка: — обидѣлся! Однако, какъ же это... даже не простился! А все ты!—укоряетъ она отца: —Іуда да Іуда... Самъ ты Іуда! Да и ты, дочка любезная, нашла разговоръ! Ищи сама себѣ жениховъ, коли такъ!

— Да постойте, не ругайтесь! можетъ, ему до вѣтру занадобилось, — цинически успокоиваетъ дядя.

Матушка уже встаетъ, чтобы заглянуть въ переднюю, но въ эту минуту женихъ снова появляется въ дверяхъ гостиной. Въ рукахъ у него большая коробка конфектъ.

— Барышнѣ-съ!—презентуетъ онъ коробку сестрицѣ:—отъ Педотти; самъ выбиралъ-съ.

— Какой вы, однакожъ, баловникъ! Еще ничего не видя, а ужъ... Сейчасъ видно, что дамскій кавалеръ! Наденька! чтожъ ты! Благодари!

— Мерси, мсьё.

— Помилуйте-съ! за счастье себѣ почитаю... По моему мнѣнію, конфекты только для барышенъ и приготовляются. Конфекты, духи, помада... вотъ барышня и вся тутъ!

— Это справедливо. Дѣти вѣдь еще, такъ пускай сладенькимъ пользуются. Горькаго-то и впереди испытать успѣютъ.

— Зачѣмъ же-съ? Можно и безъ горькаго жизнь прожить!

— Да такъ...

— Позвольте вамъ доложить, если барышня приличную партію себѣ найдетъ, то и впереди... отчего же-съ!

— Ну, дай Богъ! дай Богъ!

— А вы, мсьё, бываете у главнокомандующаго?

— Всенепремѣнно-съ. На всѣхъ торжественныхъ пріемахъ обязываюсь присутствовать, въ качествѣ начальника отдѣльной части.

— А на балахъ?

— И на балы приглашенія получаю.

— Говорятъ, это что-то волшебное!

— Не знаю-съ. Конечно, свѣтло... ну и угощенье... Да я, признаться сказать, баловъ не долюбливаю.

— Дома оставаться предпочитаете?

— Да, дома. Надѣну халатъ и сижу. Трубку покурю, на гитарѣ поиграю. А скучно сдѣлается, въ трактиръ пойду. Встрѣчу пріятелей, поговоримъ, закусимъ, машину послушаемъ... И не увидимъ, какъ вечеръ пройдетъ.

— Вотъ женитесь; молодая жена въ трактиръ-то не пуститъ.

— Неизвѣстно-съ. Покойница моя тоже спервоначалу говорила: „не пущу!“ а потомъ только и словъ бывало: „что̀ все дома торчишь! шелъ бы въ трактиръ!“

Матушка морщится; не нравятся ей признанія жениха. Въ халатѣ ходитъ, на гитарѣ играетъ, по трактирамъ шляется. И такъ-таки прямо все и выкладываетъ, какъ будто иначе и быть не должно. Къ счастью, входитъ съ подносомъ Кононъ и начинаетъ разносить чай. При этомъ ложки и вообще все чайное серебро (сливочникъ, сахарница и проч.) подаются украшенныя вензелемъ сестрицы: это, дескать, приданое! Ахъ, жалко, что самоваръ серебряный не догадались подать—это бы еще больше въ носъ бросилось!

— Чайку!—потчуетъ матушка.

— Признаться сказать, я дома ужъ два пуншика выпилъ. Да боюсь, что горло на морозѣ, чего добраго, захватило. Извозчикъ попался: ѣдетъ не ѣдетъ.

— А вы развѣ своихъ лошадей не держите?

— Не держу-съ. Цѣлый день, знаете, въ разъѣздахъ, не напасешься своихъ лошадей! То ли дѣло извозчикъ: взялъ и поѣхалъ!

Часъ отъ часу не легче. Пуншъ пьетъ, лошадей не держитъ. Но матушка все еще крѣпится.

— Вы съ чѣмъ чай пьете? съ лимончикомъ? со сливочками?

— Съ ромомъ-съ! Нынче коньякъ какой-то выдумали, только я его не употребляю, горѣлымъ пахнетъ. Точно головешку изъ печки пронесли. То ли дѣло ромъ!

— Знатоки говорятъ, что хорошій ромъ клопами долженъ пахнуть,— замѣчаетъ дядя.

— Многіе это говорятъ, однако я не замѣчалъ. Клопъ, я вамъ доложу, совсѣмъ особенный запахъ имѣетъ. Раздавишь его...

— Ахъ, мсьё!—брезгливо восклицаетъ сестрица.

— Виноватъ. Забылся-съ.

Женихъ отыскиваетъ на подносѣ графинчикъ съ ромомъ и, отливши изъ него въ стаканъ, безъ церемоніи ставитъ на столъ возлѣ себя.

Разговоръ дѣлается общимъ. Отецъ разсказываетъ, что въ газетахъ пишутъ о какой-то необычной кометѣ, которую ожидаютъ въ предстоящемъ лѣтѣ; дядя сообщаетъ, что во французскаго короля опять стрѣляли.

— Точно въ тетерева-съ!—цинично восклицаетъ Стриженый.—Шальной эти французы народишко... мерзавцы-съ!

— Не понимаю, какъ другіе государи въ это дѣло не вступятся! — удивляется дядя.

— Какъ вступиться! Онъ вѣдь и самъ ненастоящій!

Поднимается споръ, законный или незаконный король Людвигъ-Филиппъ. Дядя утверждаетъ, что ужъ если разъ сидитъ на тронѣ—стало-быть, законный; Стриженый возражаетъ: — Ну нѣтъ-съ, молода, во Саксоніи не была!

— Кабы онъ на прародительскомъ тронѣ сидѣлъ, ну, тогда точно-что... А то и я, пожалуй, велю тронъ у себя въ квартирѣ поставить да сяду —стало-быть, и я буду король?

Разсужденіе это поражаетъ всѣхъ своею резонностью, но затѣмъ бесѣдующіе догадываются, что разговоръ принимаетъ слишкомъ вольный характеръ, и переходятъ къ другимъ предметамъ.

— Вотъ вы сказали, что своихъ лошадей не держите; однакожъ, если вы женитесь, неужто-жъ и супругу на извозчикахъ ѣздить заставите?—начинаетъ матушка, которая не можетъ переварить мысли, какъ это человѣкъ свататься пріѣхалъ, а своихъ лошадей не держитъ! Деньги-то, полно, у него есть ли?

— Впередъ не загадываю-съ. Но вѣроятно, если женюсь и выйду въ отставку... Лошадей, сударыня, не долго завести, а вотъ жену подыскать— это потруднѣе будетъ. Иная дѣвица—посмотрѣть на нее—и ловкая, а какъ поразберешь хорошенько, и тутъ и тамъ—вездѣ съ изъянцемъ.

Матушка рѣшительно начинаетъ тревожиться и искоса посматриваетъ на сестрицу.

— Потому что жена, доложу вамъ, должна быть во всѣхъ статьяхъ... чтобы все было въ исправности...—продолжаетъ Стриженый.

— Ахъ, Ѳедоръ Платонычъ!

— Виноватъ. Забылся-съ.

Разговаривая, женихъ подливаетъ да подливаетъ изъ графинчика, такъ что рому осталось ужъ на донышкѣ. На носу у него повисла крупная капля пота, весь лобъ усѣянъ перлами. Въ довершеніе всего онъ вынимаетъ изъ кармана бумажный клѣтчатый платокъ и протираетъ имъ влажные глаза.

Матушка съ тоской смотритъ на графинчикъ и говоритъ себѣ: „цѣлый стаканъ давеча влили, а онъ ужъ почти все слопалъ!“ И воспользовавшись минутой, когда Стриженый отвернулъ лицо въ сторону, отодвигаетъ графинчикъ подальше. Женихъ впрочемъ замѣчаетъ этотъ маневръ, но на этотъ разъ, къ удовольствію матушки, не настаиваетъ.

— Хочу я васъ спросить, сударыня,—обращается онъ къ сестрицѣ:— въ залѣ я фортепьяно видѣлъ—это вы изволите музыкой заниматься?

— Да, я играю.

— Она у Фильда *) уроки беретъ. Дорогонекъ этотъ Фильдъ, по золотенькому за часъ платимъ, но за то... Да вы охотникъ до музыки?

— Помилуйте! за наслажденье почту!

— Наденька! сыграй намъ тѣ варіаціи... „Не шей ты мнѣ, матушка"... помнишь!

Сестра встаетъ, а за нею всѣ присутствующіе переходятъ въ залъ. Раздается „тема", за которою слѣдуетъ обычная варіаціонная путаница. Стриженый слегка припѣваетъ.

— Поздравляю! проворно ваша дочка играетъ! — хвалитъ онъ: — а главное, свое, русское... Мужчины, конечно, еще проворнѣе играютъ, ну да у нихъ пальцы длиннѣе!

Кончая пьесу, сестрица разсыпается въ трели.

— Вотъ, вотъ, вотъ! именно оно самое!—восклицаетъ женихъ и, подходя къ концертанткѣ поздравляетъ ее:—Осчастливьте, позвольте ручку поцѣловать!

Сестра вопросительно смотритъ на матушку.

— Чтожъ, дай руку!—соглашается матушка.

— Да кстати позвольте и еще попросить сыграть... тоже свое что-нибудь, родное...

Сестрица снова садится и играетъ варіаціи на тему: „Ѣхалъ казакъ за Дунай"...

Стриженый въ восторгѣ, хотя опредѣлительно нельзя сказать, что̀ болѣе приводитъ его въ восхищеніе, музыка или стукъ посуды, раздающійся изъ гостиной.

Бьетъ десять часовъ. Ужина не будетъ, но закуску приготовили. Икра, семга, колбаса—купленныя; грибы, рыжики—свои, деревенскіе.

— Милости просимъ закусить, Ѳедоръ Платонычъ! водочки!—приглашаетъ матушка.

— Не откажусь-съ.

Женихъ подходитъ къ судку съ водкой, нѣсколько секундъ какъ бы раздумываетъ и наконецъ сряду выпиваетъ три рюмки, приговаривая:

— Первая—колòмъ, вторая—соколòмъ, третья—мелкими пташечками! Для сваренія желудка-съ. Будьте здоровы, господа! Барышня! — обращается онъ къ сестрицѣ:—осчастливьте! соорудите бутербродецъ съ икрой вашими прекрасными ручками!

— Чтожъ, если Ѳедору Платонычу это сдѣлаетъ удовольствіе... — разрѣшаетъ матушка.

Стриженый мгновенно проглатываетъ тартинку и снова направляется къ водкѣ.

---

*) Знаменитый въ то время композиторъ-пьянистъ, родомъ англичанинъ, поселившійся и состарѣвшійся въ Москвѣ. Подъ конецъ жизни онъ давалъ уроки только у себя на дому, и одинаково къ ученикамъ и ученицамъ выходилъ въ халатѣ.

— Не будетъ ли?—предваряетъ его матушка.

— Виноватъ. Забылся-съ.

Говоря это, онъ имѣетъ видъ человѣка, который несъ кусокъ въ ротъ, и у него по дорогѣ отняли его.

— Прекрасная икра! превосходная! — поправляется онъ: — можетъ быть, впрочемъ, оттого она такъ вкусна, что *онѣ* своими ручками рѣзали. А гдѣ, сударыня, покупаете?

— Не знаю, въ лавкѣ гдѣ-нибудь человѣкъ купилъ.

— Почемъ-съ?

— Рубликъ за фунтъ. Дорога.

— Дорогонько-съ. Я восемь гривенъ плачу на монетномъ дворѣ. Очень хороша икра.

— Сёмужки, Ѳедоръ Платонычъ?

— Не откажусь-съ. Да-съ, такъ вы, Василій Порфирычъ, изволили говорить, что въ газетахъ комету предвѣщаютъ?

— Да, пишутъ.

— Это къ набору-съ. Всегда такъ бываетъ: какъ комета—непремѣнно наборъ.

Женихъ косится на водку и наконецъ не выдерживаетъ... Матушка впрочемъ ужъ не препятствуетъ ему, и онъ вновь проглатываетъ двѣ рюмки.

Всѣ замѣчаютъ, что онъ слегка осовѣлъ. Безпрерывно вытираетъ платкомъ глаза и распяливаетъ ихъ пальцами, чтобъ лучше видѣть. Разговоръ заминается; матушка спѣшитъ сократить „вечерокъ", тѣмъ болѣе, что часы уже показываютъ одиннадцатый въ исходѣ.

— Кто тамъ!—кличетъ она прислугу:—уберите водку!

Приказаніе это служитъ сигналомъ. Стриженый щелкаетъ шпорами и, сопровождаемый гостепріимными хозяевами, ретируется въ переднюю.

— И напредки милости просимъ, коли не скучно показалось,—любезно прощается матушка.

— Почту за счастье-съ.

Женихъ уѣхалъ... Матушка, усталая, обезкураженная, грузно опускается на диванъ.

— Не годится,—отрѣзываетъ она.

Но дядя держится другого мнѣнія.

— По моему, надо повременить,—говоритъ онъ. — Пускай ѣздитъ, а тамъ видно будетъ. Иногда даже самые горькіе пьяницы остепеняются.

— По трактирамъ шляется, лошадей не держитъ, въ первый разъ въ домъ пріѣхалъ, а цѣлый графинъ рому да пять рюмокъ водки вылакалъ! — перечисляетъ матушка.

— Какъ знаешь, а по моему все-таки осмотрѣться надо. Капиталъ у него хорошій—это я вѣрно знаю!—стоитъ на своемъ дядя.

— Того гляди, подъ судъ попадетъ... Ты что скажешь? — обращается матушка къ сестрицѣ.

— Мнѣ чтожъ... Какъ вы...

— Говори! не мнѣ замужъ выходить, а тебѣ... Какъ ты его находишь? хорошъ? худъ?

Сестрица задумалась. Очевидно, внутри у нея происходитъ довольно сложный процессъ. Она понимаетъ, что Стриженый ей не пара, но въ то же время въ головѣ ея мелькаетъ мысль, что это первый „серьезный" женихъ, на котораго она могла бы болѣе или менѣе вѣрно разсчитывать. Встрѣчала она, конечно, на вечерахъ молодыхъ людей, которые говорили ей любезности, но все это было только мимоходомъ, и ничего „настоящаго" не обѣщало впереди; тогда какъ Стриженый былъ настоящій, заправскій женихъ... Онъ могъ доставить ей самостоятельность, устроить „домъ", въ которомъ она назначила бы пріемные дни, вечера... Въ ожиданіи такого жениха, она даже заранѣе приготовилась „влюбиться"...

Конечно, она не „влюбилась" въ Стриженаго... Фи! одна накладка у него на головѣ чего стоитъ!.. но есть что-то въ этомъ первомъ неудачномъ сватовствѣ, отъ чего у нея невольно щемитъ сердце и волнуется кровь. Не въ Стриженомъ дѣло, а въ томъ, что настала ея пора...

— Ахъ, какая я несчастная!—вырывается изъ ея груди вопль.

Съ этимъ восклицаніемъ она вся въ слезахъ выбѣгаетъ изъ комнаты.

XVI.—Продолженіе матримоніальной хроники: Есперъ Клещевиновъ.—Недолгій сестрицынъ романъ.—Женихи-мелкота.

Съ Клещевиновымъ сестра познакомилась уже въ концѣ сезона, на вечерѣ, у дяди, и сразу влюбилась въ него. Но что всего важнѣе—она была убѣждена, что и онъ въ нее влюбленъ. Очень возможно, что дѣло это и сладилось бы, еслибы матушка наотрѣзъ не отказала въ своемъ согласіи.

Это была темная личность, о которой ходили самые разнорѣчивые слухи. Одни говорили, что Клещевиновъ появился въ Москвѣ неизвѣстно откуда, точно съ неба свалился; другіе свидѣтельствовали, что знали его въ Тамбовской губерніи, что онъ спустилъ три большихъ состоянія, и теперь живетъ карточной игрой.

Но всѣ сходились въ одномъ: что онъ игрокъ и мотъ, а этихъ качествъ матушка ни подъ какимъ видомъ въ сестрицыномъ женихѣ не допускала. Лѣтомъ онъ, ради игры, посѣщалъ ярмарки, зимой промышлялъ игрою въ Москвѣ. И въ одиночку дѣйствовалъ, и втайнѣ: но не въ клубѣ — онъ не хотѣлъ подвергать себя риску быть забаллотированному — а въ частныхъ домахъ. Иногда въ его рукахъ сосредоточивалась большая масса денегъ, и вдругъ какъ-то внезапно исчезала, и онъ самъ на время стушевывался. Игралъ онъ нечисто, а многіе даже прямо называли его шулеромъ. Но это не мѣшало ему имѣть доступъ въ лучшіе московскіе дома, потому что онъ былъ щеголь, прекрасно одѣвался, держалъ отличный экипажъ, сыпалъ деньгами, и на пальцахъ его рукъ, тонкихъ и безукоризненно бѣлыхъ, всегда блестѣло нѣсколько перстней съ цѣнными брильянтами. Находились скептики, которые

утверждали, что камни эти фальшивые, но онъ охотно снималъ перстни съ пальцевъ и кому угодно давалъ любоваться ими. Оказывалось, что камни настоящіе, только черезчуръ уже часто мѣнялись. Какъ бы то ни было, щегольство и щедрость настолько подкупали въ его пользу, что злые языки по-неволѣ умолкали. Но, кромѣ того, злоязычниковъ воздерживало и то, что онъ могъ постоять за себя и безъ церемоній объявлялъ, что въ двадцати шагахъ попадаетъ изъ пистолета въ туза.

Въ заключеніе, несмотря на свои сорокъ лѣтъ, онъ обладалъ замѣчательно-красивою наружностью (глаза у него были совсѣмъ „волшебные"). Матери семействъ избѣгали и боялись его, но дѣвицы при его появленіи расцвѣтали.

— Заползетъ въ домъ эта язва—ничѣмъ ты ее не вытравишь!—говаривала про него матушка, блѣднѣя при мысли, что язва эта, чего добраго, начнетъ точить жизнь ея любимицы.

Я не умѣю объяснить, что̀ именно обратило его вниманіе на сестрицу. Наружность ея была непривлекательна, да и богатою партіей она назваться не могла. Триста душъ — этого только-только достаточно было, чтобы не прослыть безприданницей даже въ томъ среднемъ кругу, въ которомъ мы вращались; ему же, при его расточительныхъ инстинктахъ, достало бы этого куша только на одинъ глотокъ. Очень возможно впрочемъ, что имъ руководили въ этомъ случаѣ болѣе сложныя соображенія. Во-первыхъ, хотя онъ былъ вездѣ принятъ, но репутація его все-таки была настолько сомнительна, что при появленіи его въ обществѣ солидные люди начинали перешептываться. Легчайшій способъ заставить принять себя на равной ногѣ представляла женитьба, и именно женитьба на дѣвушкѣ изъ обстоятельнаго семейства, къ числу которыхъ принадлежало и наше. Подобный бракъ прикрылъ бы его прошлое, а можетъ быть обезпечилъ бы отъ злоязычія и будущіе подвиги, отъ которыхъ онъ отнюдь не намѣревался отказаться. Во-вторыхъ, онъ зналъ, что матушка страстно любитъ старшую дочь, и разсчитывалъ, что дѣло не ограничится первоначально заявленнымъ приданымъ, и что онъ успѣетъ постепенно выманить вдвое и втрое. Въ-третьихъ, наконецъ, быть можетъ, онъ просто разыгрывалъ изъ себя одну изъ „загадочныхъ натуръ", которыхъ въ то время, подъ вліяніемъ неостывшаго еще байронизма, расплодилось очень много. А эпитетъ этотъ, въ переложеніи на русскіе нравы, обнималъ и оправдывалъ цѣлый циклъ всякаго рода зазорностей: и шулерство, и фальшивыя заемныя письма, и нетрудныя побѣды надъ женскими сердцами, черезчуръ неразборчиво воспламенявшимися при словѣ: „любовь".

Разсказывали даже, что онъ ужъ не одну дѣвушку соблазнилъ, а онѣ, несмотря на предупрежденія, продолжали таять подъ лучами его волшебныхъ глазъ.

Какъ бы то ни было, но на вечерѣ у дяди матушка, съ свойственною ей проницательностью, сразу замѣтила, что ея Надёха „начинаетъ шалѣть". Двѣ кадрили подъ-рядъ танцовала съ Клещевиновымъ, мазурку тоже отдала ему. Матушка хотѣла уѣхать пораньше, но сестрица такъ рѣшительно этому воспротивилась, что оставалось только ретироваться.

Возвращаясь въ возкѣ домой, сестрица потихоньку напѣвала:

— Ес-перъ! Ес-перъ!

— Ошалѣла?!—грубо прервала ее матушка.

— Ахъ, maman, какія у васъ слова противныя!—кротко огрызнулась сестра.

Да, это была кротость; своеобразная, но все-таки кротость. Въ восклицаніи ея скорѣе чувствовалась гадливость, нежели обычное грубіянство. Какъ будто ее внезапно коснулось что-то новое, и выраженіе матушки вспугнуло это „новое“ и грубо возвратило ее къ непріятной дѣйствительности. За минуту передъ тѣмъ отворилась передъ ней дверь въ залитой свѣтомъ чертогъ, она уже устремилась впередъ, чтобы проникнуть туда, и вдругъ дверь захлопнулась, и она опять очутилась въ потемкахъ.

— Но матушка не поняла чувства, охватившаго ея дѣтище, и съ прежнею рѣзкостью продолжала:

— Смотри! ежели я что̀ замѣчу... худо будетъ! Была любимою, а сдѣлаешься постылою! Помни это.

— Очень мнѣ нужно!

Между матерью и дочерью сразу пробѣжала черная кошка. Пріѣхавши домой, сестрица прямо скрылась въ свою комнату, на̀скоро раздѣлась и, не простившись съ матушкой, легла въ постель, положивъ подъ подушку перчатку съ правой руки, къ которой „онъ“ прикасался.

— Лобъ-то на ночь перекрестила ли? — крикнула ей матушка черезъ дверь.

Матушка тоже лежитъ въ постели, но ей не спится. Два противоположныя чувства борются въ ней: съ одной стороны, укоренившаяся любовь къ дочери, съ другой — утомленіе, исподоволь подготовлявшееся, благодаря вѣчнымъ заботамъ объ дочери и той строптивости, съ которою послѣдняя принимала эти заботы.—Ни одного-то дня не проходитъ безъ исторій!—мысленно восклицаетъ матушка: — и все изъ-за жениховъ, изъ-за проклятыхъ. До того обнаглѣла Надёха, что рада всякому встрѣчному на шею повѣситься! Оно, слова нѣтъ, пора ей замужъ, пора, — да чѣмъ же мать виновата, что Богъ красоты ей не далъ! У другой нѣтъ красоты, такъ дарованье какое-нибудь есть, а у ней... Чтожъ, что она у Фильда уроки беретъ—только деньгамъ переводъ. Трень да брень. А сколько она въ одну зиму деньжищъ на ея наряды ухлопала—содержаніе всего дома столько не стоитъ!

Матушка смыкаетъ глаза, но сквозь прозрачную дремоту ей чудится, что „язва“ уже заползла въ домъ и начинаетъ точить не только дочь, но и ее самое.

— Онъ и меня, какъ святъ Богъ, оплететъ!—полубезсознательно мелькаетъ въ ея головѣ: — „маменька — да маменька!“ да „пожалуйте ручку!“ — ну, и растаешь, ради любимаго дѣтища! Триста душъ... эка невидаль! Да ему языкомъ слизнуть, только ихъ и видѣли! Сначала триста душъ спуститъ, потомъ еще столько же вызудитъ, потомъ еще и еще... И Облепиха, и Лисьи-Ямы, и Новоселье—все въ эту прорву уйдетъ! Пуститъ и жену, и всю семью по міру, а самъ будетъ съ ярмарки на ярмарку переѣзжать... Да еще не отъ живой ли жены онъ жениться-то затѣялъ! Слышала она, будто у него въ Харьковѣ жена есть, и онъ ей деньгами ротъ замазываетъ, чтобы

молчала... Ай да дочка! вотъ такъ обрадовала! Хорошъ будетъ сюрпризъ. Мы ихъ тутъ вокругъ налоя обвертимъ, а настоящая жена возьметъ да въ судъ подастъ.

При этомъ предположеніи матушка приподнимается на постели и начинаетъ прислушиваться. Но она проснулась только на половину, и обступившая ее вереница сонныхъ призраковъ не оставляетъ своей работы. Матушкѣ чудится, что „Надеха" сбѣжала.

— Скатертью дорога! — мелькаетъ у нея въ головѣ, но тутъ же рядомъ закрадывается и другая мысль: — А брильянты? чай, и брильянты съ собой унесла!

Въ невыразимомъ волненіи она встаетъ съ постели, направляется къ двери сосѣдней комнаты, гдѣ спитъ ея дочь, и прикладываетъ ухо къ замку. Но за дверью никакого движенья не слышно. Наконецъ матушка приходитъ въ себя и начинаетъ креститься.

— Тьфу, тьфу, лукавый!—шепчетъ она, вновь закутываясь въ одѣяло и усиленно сжимая вѣки глазъ, чтобы заставить себя заснуть.

Но сонъ не приходитъ. Воображеніе матушки до того взволновано представленіемъ объ опасности, которая грозитъ ея любимкѣ, что „язва" такъ и мечется передъ ея глазами, зіяющая, разъѣдающая. Что̀ дѣлать? какое принять рѣшеніе? безпрестанно спрашиваетъ она себя, и мучительно сознаетъ, что бываютъ случаи, когда рѣшенія даются не такъ-то легко, какъ до сихъ поръ представлялось ей, безконтрольной властительницѣ судебъ всей семьи. Что если одного ея слова достаточно, чтобы „распорядиться" съ такими безотвѣтными личностями, какъ Степка-балбесъ или Сонька-калмычка, то въ той же семьѣ могутъ совсѣмъ неожиданно проявиться другія личности, которыя, пожалуй, дадутъ и отпоръ.

И что̀ всего обиднѣе—она сама создала этотъ отпоръ, сама дала ему силу своимъ непростительнымъ баловствомъ и потворствомъ!

— Это за ласки за мои!—мелькаетъ въ ея головѣ.

Однако предпринять что-нибудь все-таки надо. Матушка разсчитываетъ, сколько еще осталось до конца зимняго сезона. Оказывается, что со включеніемъ масляницы предстоитъ прожить въ Москвѣ съ небольшимъ три недѣли.

— Она меня съ ума въ эти три недѣли сведетъ! Будетъ кутить да мутить. Небось и знакомыхъ-то всѣхъ ему назвала, гдѣ и по какимъ днямъ бываемъ, да и къ намъ въ домъ, пожалуй, пригласила... Теперь, куда мы, туда и онъ... какова потѣха! Сраму-то, сраму одного по Москвѣ сколько! Иная добрая мать и принимать перестанетъ; скажетъ: у меня не въѣзжій домъ, чтобы любовныя свиданія назначать!

Или ее, за добра-ума, теперь же въ Малиновецъ увезти?—вдругъ возникаетъ вопросъ, но на первый разъ онъ не задерживается въ мозгу и уступаетъ мѣсто другимъ предположеніямъ.

Не возобновить ли переговоры съ Стриженымъ, благо рѣшительное слово еще не было произнесено? Спосылать къ нему Стрѣлкова—онъ явится. Старенекъ онъ — да вѣдь ей, „дылдѣ", такого и нужно... Вотъ развѣ что онъ пьянчужка...

— Держи карманъ! пойдетъ она теперь за Стриженаго! — шепчетъ она: — ишь вѣдь сразу такъ и врѣзалась! И что̀ эти дѣвки въ такихъ шематонахъ находятъ! Нѣтъ чтобы въ обстоятельнаго человѣка влюбиться —непремѣнно что-ни-на-есть мерзавца или картежника выберутъ! А впрочемъ... какъ же она за Стриженаго не пойдетъ, коли я прикажу? Скажу: извольте одѣваться, къ вѣнцу ѣхать — и поѣдетъ! А своей волей не поѣдетъ, такъ силкòмъ окручу! Я — мать: что̀ хочу, то̀ и сдѣлаю. И никто меня за это не охаетъ. Напротивъ, всѣ скажутъ: „хорошо сдѣлали, что во̀-время спохватились!“ Я и въ монастырь упрячу, ни у кого позволенья не спрошу!

Матушка дальше и дальше развиваетъ проектъ относительно брака съ Стриженымъ; однакожъ, по размышленіи, это рѣшеніе оказывается не вполнѣ состоятельнымъ.

— А что̀, ежели она сбѣжитъ? Заберетъ брильянты да и была такова! И зачѣмъ я ихъ ей отдала! Хранила бы у себя, а для выѣздовъ и выдавала бы... Сбѣжитъ она, да на другой день и пріѣдетъ съ муженькомъ прощенья просить! Да еще хорошо, коли онъ кругомъ налоя обведетъ, а то и такъ...

При этомъ предположеніи она цѣпенѣетъ отъ страха. Что̀, ежели въ самомъ дѣлѣ... Ай да дочка! утѣшитъ! Придетъ съ обтрепаннымъ подоломъ, какъ послѣдняя...

Въ залѣ бьютъ часы. Матушка прислушивается и насчитываетъ пять. Въ то же время за стѣной слышится осторожный шорохъ. Это Василій Порфирычъ проснулся и собирается къ заутренѣ.

— Святоша!—сердито шепчетъ матушка:—шляется по заутренямъ— и горюшка ему мало!

Съ этими словами мысли ея начинаютъ путаться, и она впадаетъ въ тяжелое забытье.

Позднимъ утромъ обѣ — и матушка, и сестрица — являются къ чаю блѣдныя, съ измятыми лицами. Матушка сердита; сестрица притворяется веселою. Вообще у нея недоброе сердце, и она любитъ дѣлать на-зло.

— Ес-перъ! Ес-перъ!—напѣваетъ она потихоньку.

— Не пой, Христа ради! дай чаю напиться!

— Я, маменька, кажется, ничего...

— А коли ничего, такъ и помолчи на четверть часа. Можно хоть разъ матери уступить.

Матушка сдерживается. Ей хотѣлось бы прикрикнуть, но она понимаетъ, что впереди еще много разговору будетъ, и что для этого ей необходимо сохранить присутствіе духа. На время воюющія стороны умолкаютъ.

— Ахъ, да! давно хочу я тебя спросить, гдѣ у тебя брильянты?—начинаетъ матушка, какъ будто ей только сейчасъ этотъ вопросъ взбрелъ на умъ.

— Гдѣ? въ шифоньеркѣ спрятаны!—рѣзко отрѣзываетъ сестрица.

— То-то въ шифоньеркѣ. Цѣлы ли? долго ли до грѣха! Пріѣзжаешь ты по ночамъ, бросаешь зря... Отдала бы, за добра ума, ихъ мнѣ на сохраненіе, а я тебѣ, когда понадобится, выдавать буду.

— Ахъ, да возьмите! Тоже... брильянты! развѣ такіе брильянты бываютъ?

— Чего-жъ тебѣ! рожна, что-ли? какихъ еще надо брильянтовъ! Фермуарчикъ, брошка, три браслета, трое серегъ, двѣ фероньерки, пряжка, крестикъ...—перечисляетъ матушка.

— Фермуарчикъ! крестикъ! — дразнится сестрица: — еще что̀ не забыли ли? Кольé обѣщали—гдѣ оно?

— И кольé сдѣлаемъ, когда замужъ выходить будешь. Вотъ Мутовкина обѣщала...

— Не пойду я за вашихъ жениховъ! гнилые да старые... Берите ваши брильянты! любуйтесь ими!

Сестрица съ сердцемъ выбѣгаетъ, хлопнувъ дверью. Черезъ минуту она появляется вновь и швыряетъ на столъ нѣсколько баульчиковъ и ящичковъ.

— Вотъ вамъ! всѣ тутъ! не безпокойтесь! ни одного не украла!

Матушка осторожно открываетъ помѣщенія, поворачиваетъ каждую вещь къ свѣту и любуется игрою брильянтовъ. „Не тебѣ бы, дылдѣ, носить ихъ!“—произноситъ она мысленно и, собравши баулы, уноситъ ихъ въ свою комнату, гдѣ и запираетъ въ шкапъ. Но на сердцѣ у нея такъ наболѣло, что, добившись брильянтовъ, она уже не считаетъ нужнымъ сдерживать себя.

— Ты долго думаешь матерью командовать? — спрашиваетъ она сестрицу, входя въ ея комнату.

Сестрица не отвѣчаетъ и продолжаетъ одѣваться. Матушка слышитъ, какъ она напѣваетъ:

— Ес-перъ! Ес-перъ!

— Замолчи... наглая!

— Если вы ругаться сюда пришли, такъ гораздо бы лучше у себя въ комнатѣ сидѣли!

— Цыцъ, змѣя! Сказывай: пригласила, что-ли, ты къ намъ своего шематона?

— Онъ не шематонъ.

— Говори: пригласила ты его?

— Поѣдетъ онъ къ намъ! еще къ кому!

— Ахъ, ты...

Матушка поднимаетъ руку. Сестрица нѣсколько секундъ смотритъ на нее вызывающими глазами, и вдругъ начинаетъ пошатываться. Сейчасъ съ ней сдѣлается истерика.

Сестрица умѣетъ и въ обморокъ падать, и истерику представлять. Матушка знаетъ, что она не взаправду падаетъ, а только „умѣетъ“, и все-таки до страху боится истерическихъ упражненій. Поэтому рука ея застываетъ на воздухѣ.

— Ладно, послѣ съ тобой справлюсь. Посмотрю, что̀ отъ тебя дальше будетъ,—говоритъ она и, уходя, обращается къ сестрицыной горничной:— Сашка! смотри у меня! ежели ты записочки будешь переносить, или другое что̀, я тебя... Не посмотрю, что ты кузнечиха (т.-е. обучавшаяся въ модномъ

магазинѣ на Кузнецкомъ-Мосту), — въ вологодскую деревню за самаго что-ни-на-есть бѣднаго мужика замужъ отдамъ!

Какъ на грѣхъ, въ это утро у насъ въ домѣ ожидаютъ визитовъ. Не то чтобы это былъ назначенный пріемный день, а такъ уже завелось, что по пятницамъ пріѣзжаютъ знакомые, за которыми числится „должокъ" по визитамъ.

Въ два часа и матушка, и сестрица сидятъ въ гостиной; послѣдняя протянула ноги на стулъ; въ рукахъ у нея французская книжка, на колѣняхъ — ломоть чернаго хлѣба. Изрѣдка она взглядываетъ на матушку и старается угадать по ея лицу, не сдѣлала ли она „распоряженія". Но на этотъ разъ матушка промахнулась или, лучше сказать, просто не догадалась.

— Что̀ черный хлѣбъ ѣшь? голодна, что-ли?

— Завтракать не даете — что̀ же ѣсть? Во всѣхъ порядочныхъ домахъ завтракъ подаютъ, только у насъ...

— Заведенія такого нѣтъ, оттого и не подаютъ.

— Куска жалко! Ахъ, что̀ за домъ! Комнаты крошечныя; куда ни обернешься, вездѣ грязь, вонь... фу!

Сестрица встаетъ и начинаетъ въ волненіи ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Тошнота!—восклицаетъ она:—ужъ когда-нибудь я...

— Будетъ!

— Нѣтъ, не будетъ, не будетъ, не будетъ! Вы думаете, что ежели я ваша дочь, такъ и можно меня въ хлѣву держать?!

Матушка блѣднѣетъ, но перемогаетъ себя. Того гляди, гости нагрянутъ— и она боится, что дочка, на-зло ей, уйдетъ въ свою комнату. Хотя она и сама не чужда „свѣтскихъ разговоровъ", но все-таки дочь и по-французски умѣетъ, и манерцы у нея настоящія—хоть передъ кѣмъ угодно не ударитъ лицомъ въ грязь.

— Есперъ Алексѣичъ Клещевиновъ!—докладываетъ Кононъ.

— Скажи, что дома нѣтъ! — восклицаетъ въ волненіи матушка: — или нѣтъ, постой! просто скажи: не велѣно принимать!

Но сестрица, какъ вкопаная, остановилась передъ нею. Лицо у нея злое, угрожающее; зеленоватые глаза такъ и искрятся.

— Если вы это сдѣлаете,—съ трудомъ произноситъ она, задыхаясь и протягивая руки:—вотъ клянусь вамъ... или убѣгу отъ васъ, или вотъ этими самыми руками себя задушу! Проси!—обращается она къ Конону.

Матушка ничего не понимаетъ. Губы у нея дрожатъ; она хочетъ встать и уйти, и не можетъ. Клещевиновъ между тѣмъ уже стоитъ въ дверяхъ.

Онъ въ щегольскомъ коричневомъ фракѣ съ свѣтлыми пуговицами; на рукахъ безукоризненно чистыя перчатки beurre frais. Подаетъ сестрѣ руку —въ то время это считалось недозволенною фамильярностью—и расшаркивается передъ матушкой. Послѣдняя тупо смотритъ въ пространство, точно передъ нею проходитъ сонное видѣніе.

— Какъ это онъ проползъ... змѣй подлый?!.—мерещится ей. Да она и сама хороша! съ утра не догадалась распорядиться, чтобы не принимали...

Господи! Да что̀ такое случилось! Бывало и встарину, что дѣвушки влюблялись, но все-таки... А тутъ въ одни сутки точно варомъ дылду сварило! Все было тихо, благородно, и вдругъ...

— Maman! мсьё Клещевиновъ!—напоминаетъ сестрица. — Извините, мсьё, maman вчера такъ устала, что сегодня совсѣмъ больна...

— Нѣтъ, я не больна́... Милости просимъ, господинъ Клещевиновъ! Какъ это вамъ вздумалось къ намъ? Ѣхали мимо да и заѣхали?

Клещевинову неловко. По ледяному тону, съ которымъ матушка произноситъ свой безцеремонный вопросъ, онъ догадывается, что она принадлежитъ къ числу тѣхъ личностей, которыя упорно стоятъ на однажды принятомъ рѣшеніи. А рѣшеніе это онъ сразу прочиталъ на ея лицѣ.

— Я думалъ... Григорій Павлычъ обнадежилъ меня...—оправдывается онъ.

— Братцу, конечно, лучше извѣстно... Ну-съ, господинъ Клещевиновъ, какъ въ карточки поигрываете?

Это ужъ не въ бровь, а прямо въ глазъ. Клещевинова начинаетъ подергивать, но онъ усиливается быть хладнокровнымъ.

—Вы, кажется, за игрока меня принимаете? — спрашиваетъ онъ развязно.

— А то за кого же?

— Надежда Васильевна! вступитесь хоть вы за меня!

— Maman! вы нездоровы! сами не знаете, что̀ говорите!

У сестрицы побѣлѣли губы и лицо исказилось. Еще минута, и съ нею, чего добраго, на этотъ разъ случится настоящая истерика. Матушка замѣчаетъ это, и рѣшается смириться.

— И точно какъ будто мнѣ нездоровится, — говоритъ она:—не слѣдовало бы и выходить... Прошу извинить, если что̀ ненарокомъ сказалось.

— Ахъ, что̀ вы! Могу ли я надѣяться быть представленнымъ вашему супругу?—перемѣняетъ разговоръ Клещевиновъ.

— Онъ у меня затворникъ. Заперся у себя въ кабинетѣ, и не вызовешь его оттуда.

— А какой вчера прелестный балокъ далъ Григорій Павлычъ!

— Да, у него помѣщеніе хорошее. Вотъ мы такъ и рады бы, да негдѣ. Совсѣмъ въ Москвѣ хорошихъ квартиръ нѣтъ.

— Вы часто изволите, сударыня, выѣзжать?

— Да какъ вамъ сказать... почти всѣ вечера разобраны. Мнѣ то бы, признаться, ужъ не къ лицу, да вотъ для нея...

Разговоръ принимаетъ довольно мирный характеръ. Затрогиваются по очереди всѣ свѣтскія темы: вечера, театры, предстоящія катанья подъ Новинскимъ, потомъ еще катанья, театры, вечера... Но матушка чувствуетъ что долго сдерживаться ей будетъ трудно, и потому частенько вмѣшиваетъ въ общую бесѣду жалобы на нездоровье. Клещевиновъ убѣждается, что время откланяться.

— Не удержались-таки! нагрубили!—бросается сестрица къ матушкѣ, едва гость успѣлъ скрыться за дверью.

Появленіе новыхъ гостей не даетъ разыграться домашней бурѣ. Че-

редуются Соловкины, Хлопотуновы, Голубовицкіе Покатиловы. Настоящій раутъ. Дѣвицы, по обыкновенію, ходятъ обнявшись по залѣ; дамы засѣли въ гостиной и говорятъ другъ другу любезности. Но въ массѣ лицемѣрныхъ привѣтствій, которыми наполняется гостиная, матушка отлично различаетъ язвительную нотку.

— А мы сейчасъ мсьё Клещевинова встрѣтили... Онъ отъ васъ, кажется, ѣхалъ?—любопытствуетъ госпожа Соловкина.

— „Ну, пошла толчея толочь!" — мысленно восклицаетъ матушка, и неохотно отвѣчаетъ:—Да, пріѣзжалъ...

— Entre nous soit dit, ваша Надина, кажется, ему очень понравилась. Вчера всѣ замѣтили.

— Помилуйте! вчера она въ первый разъ его видѣла!

— Ахъ, не говорите! дѣвушки вѣдь очень хитры. Можетъ быть, они ужъ давно другъ друга замѣтили; въ театрѣ, въ собраніи встрѣчались, танцовали, разговаривали другъ съ другомъ, а вамъ и не вдомекъ. Мы, матери, на этотъ счетъ просты. Заглядываемъ Богъ знаетъ въ какую даль, а что̀ у насъ подъ носомъ дѣлается не видимъ. Оттого—иногда...

— Не думаю!—холодно обрываетъ мать.

— Ну, какъ знаете! Конечно, не мнѣ вамъ совѣты давать, а только... Скажите, замѣтили вы, какое вчера на Прасковьѣ Ивановнѣ платье было?

— Да, веселенькая матерьица.

— Нѣтъ, я не объ томъ... а какъ она декольтировалась! даже...

Соловкина нагибается къ уху матушки и шепчетъ.

— Представьте себѣ!

Да и не одна Соловкина язвитъ,—и Покатилова тоже. У самой дочка съ драгуномъ сбѣжала, а она туда же злоязычничаетъ! Не успѣла усѣсться, какъ уже начала:

— А у васъ сегодня мсьё Клещевиновъ былъ! У насъ онъ, конечно, не бываетъ, но по собранію мы знакомы. Ѣдемъ мы сейчасъ въ саняхъ, разговариваемъ, какъ онъ вчера ловко съ вашей Надинъ мазурку танцовалъ—и вдругъ онъ, легòкъ на поминѣ.—Откуда?—Отъ Затрапезныхъ!.. Ну, такъ и есть!

— Да, онъ пріѣзжалъ.

— Ваша Надинъ рѣшительно вчера царицей бала была. Одѣта—прелесть! танцуетъ—сама Гюленсоръ *) позавидовала бы! Личико оживилось, такъ счастьемъ и пышетъ! Всегда она авантажна, но вчера... Всѣ мужчины кругомъ столпились, глядятъ...

— Ну, есть на что̀!

— Нѣтъ, не говорите! это большое, большое счастье имѣть такую прелестную дочь! Вотъ на мою Ѳеничку не заглядятся—я могу быть спокойна въ этомъ отношеніи!

Матушка кисло улыбается: ей не по себѣ. А Покатилова продолжаетъ язвить.

— Только сердитесь на меня или не сердитесь, а я не могу не пред-

*) Знаменитая въ то время танцовщица.

предить васъ, — тараторитъ она: — нехорошій господинъ этотъ Клещевиновъ... отчаянный!

— Помилуйте! да мнѣ что̀ за дѣло! Пускай его качества при немъ и остаются!

— Нѣтъ, я не про то... Теперь онъ вамъ визитъ сдѣлалъ, а потомъ— и не увидите, какъ вотрется... Эти „отчаянные"—самый этотъ народъ... И слова у никъ какія-то особенныя... Къ намъ онъ, конечно, не пріѣдетъ, но еслибы... Ну, ни за что!

— Ой, примете!

— Ни за что. Заранѣе приказанье отдамъ. Конечно, мнѣ вамъ совѣтовать не приходится, а только... А замѣтили вы, какъ вчера Прасковья Ивановна одѣта была?

— Чтожъ, одѣта какъ одѣта... — нетерпѣливо отвѣчаетъ матушка, которая, въ виду обступившаго ее судаченья, начинаетъ убѣждаться, что къ ближнимъ не мѣшаетъ отъ времени до времени быть снисходительною.

— Ну, до свиданья, добрѣйшая Анна Павловна! А-ревуа̀ръ. Извините, ежели что-нибудь черезчуръ откровенно сказалось... И сама знаю, что нехорошо, да что̀ прикажете! никакъ съ собой совладать не могу! Впрочемъ вы, какъ мать, конечно, поймете...

Около трехъ часовъ, проводивъ послѣднихъ гостей, матушка по обыкновенію велитъ отказывать и подавать обѣдать. Но она такъ взволнована, что должна сейчасъ же высказаться.

— Ну, накормили грязью милые друзья! По горло сытёхонька. Сказывай, безстыжая, гдѣ ты съ нимъ познакомилась?—обращается она къ сестрицѣ.

— Съ кѣмъ „съ нимъ"?

— Съ нимъ, съ шематономъ съ своимъ?

— Никакого у меня „своего шематона" нѣтъ. Говорила ужъ я вамъ разъ и больше повторять не намѣрена.

— Посмотрю! посмотрю, что̀ отъ тебя дальше будетъ!

— И посмотрите, и увидите!

Обѣдъ проходитъ молчаливо. Даже отецъ начинаетъ догадываться, что въ домѣ происходитъ что-то неладное.

— Что̀ такое сдѣлалось? Что̀ вы все утро грызетесь?—любопытствуетъ онъ:—то цѣлуются да милуются—и лёнъ не дѣлёнъ!—то какъ собаки грызутся.

— А ты сиди, ворона!.. ходи по заутренямъ!

Болѣе съ отцомъ не считаютъ нужнымъ объясняться. Впрочемъ онъ повидимому только для проформы спросилъ, а въ сущности его лишь въ слабой степени интересуетъ происходящее. Онъ разъ навсегда сказалъ себѣ, что въ домѣ царствуетъ невѣжество, и что этого порядка вещей никакія силы небесныя измѣнить не могутъ, и потому заботится лишь о томъ, чтобы домашняя сутолока какъ можно менѣе затрогивала его лично.

Вечеромъ, у Сунцовыхъ, матушка, какъ вошла въ залъ, уже ищетъ глазами. Такъ и есть. „Шематонъ" стоитъ у самаго входа и, сдѣлавши ма-

тушкѣ глубокій поклонъ, напоминаетъ сестрицѣ, что первая кадриль обѣщана ему.

— Условились!—мысленно восклицаетъ матушка.

Она рѣшается не видѣть, и удаляется въ гостиную. Изъ залы доносятся звуки кадрили на мотивъ: „Шли наши ребята"; около матушки смѣняются дамы одна за другой и поздравляютъ ее съ успѣхами дочери. Попадаются и совсѣмъ незнакомыя, которыя тоже говорятъ о сестрицѣ. Чтобы не слышать пересудовъ и не сдѣлать какой-нибудь исторіи, матушка вынуждена безпрерывно переходить съ мѣста на мѣсто. Хозяйка дома даже сочла нужнымъ извиниться передъ нею.

— Представьте себѣ... Клещевиновъ! Совсѣмъ мы объ немъ и не думали — вдругъ сегодня Обрящинъ привезъ его къ намъ... извините, Бога ради!

— Чтожъ передо мной извиняться! извиняйтесь сами передъ собой!— холодно отвѣчаетъ матушка.

И въ голову ея западаетъ давнымъ-давно покинутая мысль:

„Вотъ еслибы у меня настоящій мужъ былъ, никто бы меня обидѣть не смѣлъ! А ему и горя мало... замухрышкѣ!"

Ей кажется, что вечеръ тянется несносно долго. Нѣсколько разъ она не выдерживаетъ, подходитъ къ дочери и шепчетъ:—не пора ли?—Но сестрица такъ весела, и притомъ такъ мило при всѣхъ отвѣчаетъ: — Ахъ, маменька! —что нечего и думать о скоромъ отъѣздѣ.

„Хоть бы ужинать-то дали!—думаетъ матушка:—а то отпотчуютъ, по намеднишнему, бутербродами съ колбасой да съ мещерскимъ сыромъ!"

Наконецъ!!

Сряду три дня матушка ѣздитъ съ сестрицей по вечерамъ, и всякій разъ „онъ" тутъ какъ тутъ. Самоувѣренный, наглый. Бурныя сцены сдѣлались какъ бы обязательными, и разыгрываются начинаясь въ возкѣ и кончаясь дома. Но ни угрозы, ни убѣжденія—ничто не дѣйствуетъ на „взбѣленившуюся Надеху". Она точно съ цѣпи сорвалась.

„Не иначе, какъ они ужъ давно снюхались!" убѣждается матушка, и чтобы положить конецъ домашнему бунту, рѣшается принять героическую мѣру.

Никого не предупредивши, она шлетъ въ Малиновецъ письмо съ приказаніемъ немедленно отапливать домъ и съ извѣщеніемъ, что вслѣдъ за симъ пріѣдетъ сама.

Проходитъ еще три дня; сестрица продолжаетъ „блажить"; но такъ какъ матушка рѣшилась молчать, то въ домѣ царствуетъ относительная тишина. На четвертый день утромъ она ѣдетъ проститься съ дѣдушкой и съ дядей и объясняетъ имъ причину своего внезапнаго отъѣзда. Родные одобряютъ ее. Возвратившись, она передъ обѣдомъ заходитъ къ отцу и объявляетъ, что завтра съ утра уѣзжаетъ въ Малиновецъ съ дочерью, а за нимъ и за прочими вышлетъ лошадей черезъ недѣлю.

— Вотъ тебѣ цѣлый мѣшокъ мѣдныхъ денегъ на на церковь,—говоритъ она въ заключеніе:—а за квартиру разсчитаетъ. Силка. Онъ и провизію для деревни закупитъ.

Послѣ обѣда сестрица по обыкновенію удаляется въ свою комнату, чтобы приготовить вечерній туалетъ. Сегодня балъ у Хорошавиныхъ, и „онъ“ непремѣнно тамъ будетъ. Но матушка въ самомъ началѣ прерываетъ ея приготовленія, объявляя рѣзко:

— Не надо! Не поѣдемъ.

— Это что̀ за новости! — горячится сестрица, но, взглянувъ на лицо матушки, убѣждается, что блажить больше не придется.

— Сбирайте барышню! не все укладывайте, а только что̀ на недѣлю понадобится. Завтра утромъ ѣдемъ въ Малиновецъ! Сашка! ты останешься здѣсь и остальное уложишь, а за барышней въ деревнѣ Маришка походитъ.

— Маменька! голубушка! вѣдь масляница... что-жъ это такое!

— Будетъ съ меня. Довольно.

Буря не заставила себя ждать, и на этотъ разъ сопровождалась нѣсколькими, быть можетъ, и настоящими обмороками. Но матушка ужъ не боится и совершенно хладнокровно говоритъ:

— Расшнуруйте барышню! Отдышется.

Съ вечера уложились и подкормили лошадей, а на утро Богъ послалъ снѣжку, и возокъ благополучно вынырнулъ изъ воротъ по направленію къ заставѣ.

Недолгій сестрицынъ романъ кончился.

Не могу съ точностью опредѣлить, сколько зимъ сряду семейство наше ѣздило въ Москву, но во всякомъ случаѣ поѣздки эти, въ матримоніальномъ смыслѣ, не принесли пользы. Женихи, съ которыми я сейчасъ познакомилъ читателя, были единственными, заслуживавшими названіе серьезныхъ; хотя же, кромѣ нихъ, являлись и другіе претенденты на руку сестрицы, но они принадлежали къ той мелкотравчатой жениховской массѣ, на которую ни одна добрая мать для своей дочери не разсчитываетъ.

Преимущественно сватались вдовцы и старики. Для нихъ устраивались „смотрѝны“, подобныя тѣмъ, образчикъ которыхъ я представилъ въ предыдущей главѣ; но послѣ непродолжительныхъ переговоровъ матушка убѣждалась, что въ сравненіи съ этими „вдовцами“ даже вдовецъ Стриженый могъ почесться вѐрхомъ приличія, воздержанія и свѣтскости. Пріѣзжалъ смотрѣть на сестрицу и возвѣщенный Мутовкиною ростовскій помѣщикъ, но тутъ случилось другого рода препятствіе: не женихъ не понравился невѣстѣ, а невѣста не понравилась жениху.

Прорывались въ общей массѣ и молодые люди; но это была уже такая мелкота, что матушка выражалась о нихъ не иначе, какъ: „саврасъ“, „щелкопёръ“, „голъ какъ соколъ“ и т. д. Въ числѣ прочихъ и Обрящинъ не затруднился сдѣлать предложеніе сестрицѣ, что̀ матушку даже обидѣло.

И такъ, Москва не удалась. Тѣмъ не менѣе сестрица все-таки нашла себѣ „судьбу“, но уже въ провинціи. Вспомнила матушка про тетеньку-Сластёну (см. гл. XI-ю), списалась съ нею и поѣхала погостить съ сестрицей. Въ это время въ Р. прислали новаго городничаго; затѣялось сватовство, и дѣло, при содѣйствіи тетеньки, мигомъ устроилось.

Семенъ Гавриловичъ Головастиковъ былъ тоже вдовецъ, и вдобавокъ не имѣлъ одной руки; но сестрица уже не обращала вниманія на то, цѣлый ли будетъ у нея мужъ, или съ изъяномъ. Къ тому же, у нея былъ на-лицо примѣръ тетеньки: у послѣдней былъ мужъ колченогій.

— Городничіе-то и все такіе бываютъ,—говорила тетенька:—сначала оно точно какъ будто неловко кажется, а поживешь—и слюбится!

— Слушайся тетку! — прибавляла матушка. — Городъ здѣсь хорошій, доходный: какъ разъ будущій муженекъ кòко съ сокомъ наживетъ... А ты первой дамой будешь.

Сестрица послушалась и была за это вполнѣ вознаграждена. Мужъ ея одной рукой загребалъ столько, сколько другому и двумя не загрести; и вдобавокъ, никогда не скрывалъ отъ жены, сколько у него за день собралось денегъ. Напротивъ того, придетъ и покажетъ: „вотъ, душенька, мнѣ сегодня Богъ послалъ!“ А она за это рожала ему дѣтей и была первой дамой въ городѣ.

Не нахожу нужнымъ скрывать, что она благодарила Бога за то, что онъ спасъ ее отъ Клещевинова.

XVII.—Крѣпостная масса.

Покончивши съ портретною галереею родныхъ и сестрицыныхъ жениховъ, я считаю нужнымъ возвратиться назадъ, чтобы дополнить изображеніе той обстановки, среди которой протекло мое дѣтство въ Малиновцѣ. Тамъ скучивалась крѣпостная масса, тамъ жили сосѣди-помѣщики, и съ помощью этихъ двухъ факторовъ въ результатѣ получалось пресловутое пошехонское раздолье. Стало-быть, пройти ихъ молчаніемъ, значило бы пропустить именно то, чтò сообщало тонъ всей картинѣ.

Начну съ крѣпостной массы.

Хотя я уже говорилъ объ этомъ предметѣ въ началѣ настоящей хроники, но думаю, что не лишнее будетъ вкратцѣ повторить сказанное, хотя бы въ видѣ предисловія къ предстоящей портретной галереѣ „рабовъ“ *).

Крестьянамъ при крѣпостномъ правѣ дышалось гораздо легче, нежели дворовымъ. Они жили за глазами и имѣли начальство, преимущественно назначавшееся изъ среды одновотчинниковъ, а свой братъ, будь онъ хотя и съ норовомъ, все-таки знаетъ крестьянскую нужду и снизойдетъ къ ней. Онъ грѣшенъ тѣми же грѣхами, какъ и прочіе—это главное; затѣмъ, онъ имѣетъ между односельцами родню, друзей, чтò тоже остерегаетъ отъ черезчуръ рѣзкихъ проявленій произвола. Даже барщинскіе крестьяне — и тѣ не до

---

*) Матеріалъ для этой галереи я беру исключительно въ дворовой средѣ. При этомъ, конечно, не обѣщаю, что исчерпаю все разнообразіе типовъ, которыми обиловала малиновецкая дворня, а познакомлю лишь съ тѣми личностями, которыя почему-либо прочнѣе другихъ удержались въ моей памяти.

конца претерпѣвали, потому что имѣли свое хозяйство, въ которомъ самостоятельно распоряжались, и свои избы, въ которыхъ хоть на время могли укрыться отъ взора помѣщика и уберечься отъ случайности.

Конечно, и тутъ бывали нерѣдкія исключенія. Встрѣчались помѣщики, которые буквально выжимали изъ барщинскихъ крестьянъ послѣдній сокъ, поголовно томя на господской работѣ мужиковъ и бабъ шесть дней въ недѣлю, и предоставляя имъ управляться съ своими работами только по праздникамъ. О такихъ помѣщикахъ такъ и говорили, что крестьяне у нихъ только по имени крестьяне, а въ сущности *тѣ же дворовые*. Но въ большинствѣ случаевъ это водилось только между мелкопомѣстными и сходило съ рукъ лишь до тѣхъ поръ, покуда мирволилъ предводитель дворянства. Я зналъ, напримѣръ, одного помѣщика-сосѣда, за которымъ числилось не больше семидесяти душъ крестьянъ, и который, несмотря на двѣнадцать человѣкъ дѣтей, соблюдалъ всѣ правила пошехонскаго гостепріимства. Правда, что это гостепріимство обходилось не особенно дорого, и матеріалъ для него доставляли почти исключительно собственные продукты (даже чай подавался только при гостяхъ), тѣмъ не менѣе гости наѣзжали въ этотъ домъ часто, веселились и уѣзжали довольные. Но что̀ всего важнѣе—при такихъ ничтожныхъ средствахъ этотъ помѣщикъ далъ дѣтямъ воспитаніе не хуже другихъ (въ домѣ его всегда была гувернантка) и впослѣдствіи пристроилъ ихъ всѣхъ очень недурно. За то онъ не имѣлъ старосты, самъ вставалъ до̀ свѣту, ходилъ по деревнѣ и выгонялъ крестьянъ на работу. Даже приготовленіе пищи разрѣшалось крестьянамъ, въ страдное время, только разъ на цѣлую недѣлю, и именно въ воскресенье, когда барщина закрывалась. Поэтому крестьяне жали свой хлѣбъ и косили траву урывками по ночамъ, а днемъ дѣти и подростки сушили сѣно и вязали снопы. Само собой разумѣется, что такая работа не особенно спорилась, тѣмъ больше, что помѣщикъ не давалъ засиживаться въ подросткахъ, и мальчика пятнадцати лѣтъ уже сажалъ на тягло̀. И никто не называлъ его мучителемъ, а, напротивъ, всѣ указывали на него какъ на образцоваго хозяина.

Другой случай крестьянскаго безвременья (настигавшій и оброчныхъ) представлялся тогда, когда баринъ ввѣрялся какому-нибудь излюбленному лакею и поручалъ ему управленіе имѣніемъ. Главный контингентъ этого рода управляющихъ доставляли люди, до мозга костей развращенные и выслужившіеся при помощи разныхъ зазорныхъ услугъ. По одному капризу имъ ничего не стоило, въ самое короткое время, зажиточнаго крестьянина довести до нищенства, а ради удовлетворенія минутнымъ вспышкамъ любострастія отнять у мужа жену или обезчестить крестьянскую дѣвушку. Жестоки они были неимовѣрно, но такъ какъ въ то же время строго блюли барскій интересъ, то никакія жалобы на нихъ не принимались. Много горя приняли отъ нихъ крестьяне, но за то и глубоко ненавидѣли ихъ, такъ что зачастую приходилось слышать, что тамъ-то или тамъ-то укокошили управителя и что при этомъ были пущены въ ходъ такіе утонченные пріемы, которые вовсе несвойственны простодушной крестьянской природѣ, и которые могла вызвать только неудержимая потребность отмщенія. При такихъ извѣстіяхъ вся по-

мѣщичья среда обыкновенно затихала, но спустя короткое время забывала о случившемся и вновь съ легкимъ сердцемъ принималась за старые подвиги.

За всѣмъ тѣмъ все-таки повторяю, что крестьянское житье было льготнѣе, нежели житье дворовыхъ людей.

Что касается до нашей семьи, то у отца, кромѣ разсѣянныхъ въ дальнихъ губерніяхъ мелкихъ клочковъ, душъ по двадцати, считалось въ Малиновцѣ триста душъ крестьянъ, которые и отбывали господскую барщину. Матушкино имѣніе (благопріобрѣтенное) было гораздо значительнѣе и заключало въ себѣ около трехъ тысячъ душъ, которыя всѣ безъ исключенія ходили по оброку. Матушка охотнѣе покупала оброчныя имѣнія, потому что они стоили дешевле и требовали меньше хлопотъ, а норма оброка между тѣмъ никакимъ регламентаціямъ не подвергалась, и, стало-быть ее можно было при случаѣ увеличить. Нерѣдко ей предлагали перевести крестьянъ съ оброка на издѣлье, но она не увлекалась подобными предложеніями, понимая, что затѣи такого рода могутъ повести къ серьезному переполоху между крестьянами и что, сверхъ того, заглазное издѣльное хозяйство, пожалуй, принесетъ не выгоды, а убытки. Безпокойная отъ природы, она, конечно, пропала бы отъ одной думы, еслибы послушалась благожелательныхъ совѣтовъ. И я думаю, что, дѣйствуя совершенно вопреки указаніямъ такъ-называемыхъ „хозяевъ", она этимъ самымъ доказывала очень вѣрный хозяйственный инстинктъ. Этимъ же инстинктомъ она руководилась и при назначеніи сельскихъ начальниковъ. Бурмистровъ избирала изъ мѣстныхъ крестьянъ, преимущественно такихъ, на которыхъ указывала крестьянская молва. Даже малиновецкій староста, Ѳедотъ Гавриловъ, былъ назначенъ, такъ сказать, съ молчаливаго одобренія крестьянъ, которое она съумѣла угадать.

Впрочемъ я лично зналъ только бытъ оброчныхъ крестьянъ, да и то довольно поверхностно. Матушка охотно отпускала насъ въ гости къ заболотскимъ богатѣямъ, и потому мы и насмотрѣлись на ихъ житье. За то въ Малиновцѣ, насъ не только въ гости къ крестьянамъ не отпускали, но въ праздники и на поселокъ ходить запрещали. Считалось неприличнымъ, чтобы дворянскія дѣти пріобщались къ грубому мужицкому веселью. Я долженъ однакожъ сказать, что въ этихъ запрещеніяхъ главную роль играли гувернантки.

Какъ бы то ни было, но фактовъ, которые доказывали бы, что малиновецкихъ крестьянъ притѣсняютъ работой, до меня не доходило, и я съ удовольствіемъ свидѣтельствую здѣсь объ этомъ. Напротивъ, изъ ежедневныхъ разговоровъ матушки съ старостой Ѳедотомъ я вынесъ убѣжденіе, что барщина въ Малиновцѣ отбывалась, какъ общее правило, братъ на брата, и что случайно забранные у крестьянъ впередъ дни зачитывались имъ впослѣдствіи. Отступленія отъ этого правила, конечно, бывали—и, разумѣется, не въ ущербъ господскому интересу—но они составляли исключеніе и допускались только въ такихъ крайнихъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, продолжительное ненастье или сухмень.

Вообще мужика берегли, потому что видѣли въ немъ тягло, которое производило полезную и для всѣхъ наглядную работу. Изнурять эту рабочую силу не представлялось разсчета, потому что подобный образъ дѣйствія сократилъ бы барщину и внесъ бы неурядицу въ хозяйственныя распоряженія.

Поэтому главный секретъ добраго помѣщичьяго управленія заключался въ томъ, чтобы не изнурять мужика, но въ то же время и не давать ему „гулять". И матушка настолько прониклась этимъ хозяйственнымъ афоризмомъ, и такъ ловко съумѣла провести его на практикѣ, что и самимъ крестьянамъ не приходило въ голову усомниться въ его справедливости. Они, дѣйствительно, не „гуляли", но и на тягости не жаловались.

Что касается дворни, то существованіе ея въ нашемъ домѣ представлялось болѣе чѣмъ незавиднымъ. Я не боюсь ошибиться, сказавъ, что это въ значительной мѣрѣ зависѣло отъ взгляда, установившагося вообще между помѣщиками на трудъ дворовыхъ людей. Трудъ этотъ, состоявшій преимущественно изъ мелкихъ домашнихъ послугъ, не требовавшихъ ни умственной, ни даже мускульной силы („Палашка! сбѣгай на погребъ за квасомъ!" „Палашка! подай платокъ!" и т. д.), считался не только легкимъ, но даже какъ бы отрицаніемъ дѣйствительнаго труда. Казалось, что люди не работаютъ, а суетятся, „мечутся какъ угорѣлые". Отсюда эпитеты, которыми такъ охотно награждали дворовыхъ: лежебоки, дармоѣды, хлѣбогады. Сгинетъ одинъ лежебокъ — его безъ труда можно замѣнить другимъ, другого — третьимъ и т. д. Во всякой помѣщичьей усадьбѣ этого добра было безъ счету. Исключеніе составляли мастера и мастерицы. Ими, конечно, дорожили больше („дай ему плюху, а онъ тебѣ цѣлую штуку матеріи испортитъ!"), но скорѣе на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, такъ какъ основные порядки (пища, помѣщеніе и проч.) были установлены одни для всѣхъ, а слѣдовательно и они участвовали въ общей невзгодѣ на ряду съ прочими „дармоѣдами".

Однакожъ и въ средѣ дворовыхъ мужской прислугѣ жилось все-таки сноснѣе. Ея было меньше, и она не скучивалась въ такой массѣ въ лакейской. Сверхъ того, она не металась безпрерывно передъ глазами, потому что услуги ея не такъ часто требовались, а въ большинствѣ и работа ея была заглазная (столяры, ткачи и пр.). Вдобавокъ встрѣчались въ ея средѣ такія личности, которыя могли за себя постоять. Это тоже нельзя было не принять въ разсчетъ. Всѣхъ подъ красную шапку не отдашь — есть люди нужные, безъ которыхъ въ домѣ нельзя обойтись. Они-то именно и „грубятъ". Матушка на собственномъ горькомъ опытѣ убѣдилась въ этой истинѣ, и хотя большого труда ей стоило сдерживать себя, но она все-таки сдерживалась. Во всякомъ случаѣ она настояла на одномъ: ни для кого не допускала отступленій отъ заведенныхъ порядковъ, и только старалась избѣгать личныхъ сношеній съ грубіянами. Въ этомъ заключалась единственная льгота, которою пользовались послѣдніе, но льгота немаловажная, потому что встрѣчи съ матушкой, особенно въ нравственномъ смыслѣ, даже на самыхъ равнодушныхъ людей дѣйствовали раздражительно.

Но такъ-называемая дѣвичья положительно могла назваться убѣжищемъ скорби. По всему дому раздавался оттуда крикъ и гамъ, и неслись звуки, свидѣтельствовавшіе о расходившейся барской рукѣ. „Дѣвка" была всегда на глазахъ, всегда подъ рукой и притомъ вполнѣ безотвѣтна. Поэтому съ ней окончательно не церемонились. Помимо барыни, ее тѣснили и барынины фаворитки. Съ утра до вечера она или неподвижно сидѣла наклоненная надъ пяльцами, или бѣгала сломя голову, исполняя барскія приказанія. Даже

праздника у нея не было, потому что и въ праздникъ требовалась услуга. И за всю эту муку она пользовалась названіемъ дармоѣдки и была единственнымъ существомъ, къ которому, даже изъ разсчета, ни въ комъ не пробуждалось состраданія.

— У меня полонъ домъ дармоѣдокъ,—говаривала матушка:—а что въ нихъ проку, только хлѣбъ ѣдятъ!

И, высказавши этотъ суровый приговоръ, она была вполнѣ убѣждена, что устами ея говоритъ сама правда.

Кормили всѣхъ вообще дворовыхъ очень скудно, и притомъ давали пищу, которую не всегда можно было назвать годною для употребленія. Когда въ дѣвичью приносили обѣдъ или ужинъ, то не только тамъ, но и по всему коридору чувствовался отвратительный запахъ, такъ что матушка, отъ природы неприхотливая, приказывала отворять настежъ выходныя двери, чтобы сколько-нибудь освѣжить комнаты. Пустыя щи, тюря съ квасомъ и льнянымъ масломъ, толокно—таковы были обычныя menu завтраковъ и обѣдовъ. По праздникамъ давали размазню на водѣ, чуть-чуть подправленную гусинымъ жиромъ, пироги изъ ржаной муки, отличавшіеся отъ простого хлѣба только тѣмъ, что середка была проложена тонкимъ слоемъ каши, и снятое молоко. Хлѣбъ отпускался съ вѣсу и строго учитывался. Словомъ сказать, было настолько голодно, что даже безотвѣтныя дѣвушки и тѣ отъ времени до времени позволяли себѣ роптать.

— Извольте, сударыня, попробовать!—говорила которая-нибудь изъ нихъ побойчѣе, вбѣгая въ матушкину спальню и принося небольшую деревянную чашку съ какою-то мутною и вонючею жидкостью.

Матушка зачерпывала въ ложку, пробовала и мгновенно сплевывала. Нѣсколько дней послѣ этого пища давалась болѣе сносная, но черезъ короткое время опять принимались за старые порядки, и система голода торжествовала.

Но, кромѣ голода, у женской прислуги былъ еще бичъ, отъ котораго хоть отчасти избавлялась мужская прислуга. Я разумѣю душныя и вонючія помѣщенія, въ которыхъ скучивались сѣнныя дѣвушки на ночь. И дѣвичья, и прилегавшіе къ ней темные закоулки представляли ночью въ полномъ смыслѣ слова клоаку. За недостаткомъ ларей большинство спало въ-повалку на полу, такъ что нельзя было пройти черезъ комнату, не наступивъ на кого-нибудь. Кажется, и домъ былъ просторный, и мѣста для всѣхъ вдоволь, но такъ въ этомъ домѣ все жестоко сложилось, что на каждомъ шагу говорило о какой-то преднамѣренной системѣ изнуренія.

Но довольно. Любопытствующихъ отсылаю къ началу хроники, гдѣ я упоминалъ и о другихъ невзгодахъ, настигавшихъ сѣнныхъ дѣвушекъ,—невзгодахъ еще болѣе возмутительныхъ, нежели дурное питаніе и недостатокъ простора. Прибавлю здѣсь, что распоряженія матушки, изъ которыхъ одно стѣсняло браки между дворовыми, а другое упраздняло мѣсячину, нанесли очень чувствительный ударъ всей дворнѣ. Первое низвело дворовыхъ на степень вѣчно вожделѣющихъ звѣрей; второе лишило ихъ своего угла и возможности распоряжаться въ томъ крохотномъ *собственномъ* хозяйствѣ, которымъ они пользовались при прежнихъ порядкахъ.

XVIII.—Аннушка.

Собственно говоря, Аннушка была не наша, а принадлежала одной изъ тетенекъ-сестрицъ. Но такъ-какъ послѣднія бо́льшую часть года жили въ Малиновцѣ, и она всегда ихъ сопровождала, то въ нашей семьѣ всѣ смотрѣли на нее какъ на „свою".

Это было простодушнѣйшее существо, съ виду нѣсколько строптивое, но внутренно преисполненное доброты и жалѣнія. Качества эти были настолько преобладающими въ ней, что изъ всей дѣтской обстановки ни одинъ образъ не уцѣлѣлъ въ моей памяти такъ полно и живо, какъ ея. Малорослая, приземистая, съ лицомъ цвѣта сильно обожженаго кирпича, формою своей напоминавшимъ гусиное яйцо и усѣяннымъ крупными бородавками, она не казалась, однако, безобразною благодаря тому выраженію убѣжденности, которое было разлито во всемъ ея существѣ. Глаза ея, покрытые старческою влагою, едва выглядывали изъ-подъ толстыхъ, какъ бы опухшихъ вѣкъ (одинъ глазъ даже почти совсѣмъ закрылся, такъ что на его мѣстѣ видно было только мигающее вѣко); большой носъ, точно цитадель, господствовалъ надъ мясистыми щеками, которыхъ не пробороздила еще ни одна морщина; подбородокъ былъ украшенъ приличествующимъ зобомъ. Походка у нея была тяжелая, медленная, голосъ густой и грубый. Лѣтами ея никто не интересовался, такъ какъ она повидимому уже смолоду смотрѣла старухой; извѣстно было однакожъ, что она была ровесницей тетенькѣ Марьѣ Порфирьевнѣ и вмѣстѣ съ нею росла въ Малиновцѣ. Вообще наружностью своей она напоминала почернѣвшіе портреты старыхъ бабушекъ, которые долгое время украшали стѣны нашей залы, пока наконецъ не были вынесены, по приказанію матушки, на чердакъ.

Подобно отцу, тетеньки-сестрицы не особенно налегали на трудъ и личность своихъ крѣпостныхъ, хотя послѣдніе терпѣли не мало отъ ихъ чудачествъ и безалаберности. Поэтому на всѣхъ уголковскихъ крестьянахъ (имѣніе тетенекъ называлось „Уголкомъ") лежалъ особый отпечатокъ: они хотя и чувствовали на себѣ иго рабства, но несли его безъ ропота и были, такъ сказать, рабами *по убѣжденію*. Аннушка принадлежала къ числу такихъ убѣжденныхъ; у нея даже сложился свой рабскій кодексъ, котораго она не скрывала. Кодексъ этотъ былъ немногосложенъ и имѣлъ въ основаніи своемъ афоризмъ, что рабство есть временное испытаніе, предоставленное лишь избранникамъ, которыхъ за это ждетъ блаженство въ будущемъ.

— Христосъ-то для черняди съ небеси сходилъ,—говорила Аннушка, — чтобы черный народъ спасти, и для того благословилъ его рабствомъ. Сказалъ: рабы, господамъ повинуйтесь, и за это сподобитесь вѣнцовъ небесныхъ.

Но о томъ, какихъ вѣнцовъ сподобятся въ будущей жизни господа,— она, конечно, умалчивала.

Доктрина эта въ то время была довольно распространенною въ крѣпостной средѣ и повидимому даже подтверждала крѣпостное право. Но помѣщики чутьемъ угадывали въ ней нѣчто злокачественное (въ понятіяхъ

пуристовъ-крѣпостниковъ самое „разсужденіе“ о послушаніи уже представлялось крамольнымъ), и потому если не прямо преслѣдовали адептовъ ея, то всячески къ нимъ придирались.

Да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ не обидно было, напримѣръ, Фролу Терентьичу Балаболкину слышать, что онъ, „столбовой дворянинъ“, на вѣчныя времена осужденъ въ аду раскаленную сковороду лизать, тогда какъ Мишка-чумичка или Ванька-подлецъ будутъ по райскимъ садамъ гулять, золотыя яблоки рвать и вмѣстѣ съ ангелами славословить?!

— И добро бы они „настоящій“ рай понимали!—негодуя, прибавляла сестрица Фрола Терентьича, Ненила Терентьевна:—а то какой у нихъ рай! имъ бы только жрать, да сложа ручки сидѣть, да пѣсни орать! вотъ, по ихнему, рай!

Этому толкованію всѣ смѣялись, но въ то же время наматывали на усъ, что даже и такой грубый рай все-таки предпочтительнѣе, нежели обязательное лизаніе раскаленной сковороды.

— И какъ вѣдь, канальи, притворяются! — все больше и больше распалялся господинъ Балаболкинъ: — „баринушко!“ да „кормилецъ!“ да „вы наши отцы, мы—ваши дѣти“—только и словъ! На конюшню бы васъ, мерзавцевъ, да драть, покуда небо съ овчинку не покажется! Да еще что̀! давеча иду я мимо лакейской, слышу Паладкинъ голосъ, и остановился. И что̀-жъ, вы думаете, онъ проповѣдуетъ? „Христосъ-то батюшка, говоритъ, что̀ сказалъ? ежели тебя въ ланиту ударятъ, — подставь другую!“ Не вытерпѣлъ я, вошелъ, да какъ гаркну: вотъ я тебя разомъ, шельмецъ, по обѣимъ ланитамъ вздую, чтобъ ты уже и не подставлялъ!.. Такъ вѣдь вотъ какой закоренѣлый, даже и тутъ не очнулся. „Извольте, сударь! мы изъ вашей воли не выходимъ“.

Такова была несложная теоретическая сущность Аннушкиной доктрины. Но жизнь дѣлала свое дѣло и не позволяла оставаться исключительно на высотахъ теоретическихъ воззрѣній, а требовала примѣненій и къ суровой дѣйствительности. Возникала цѣлая серія практическихъ ограниченій, которыя на помѣщичьемъ языкѣ уже прямо назывались бунтовскими. Хоть и слѣдовало безпрекословно принимать *все* и отъ *всякаго* господина, но сквозь общую ноту послушанія все-таки просачивалась мысль, что и господа имѣютъ извѣстныя обязанности относительно рабовъ, и что тѣ, которые эти обязанности выполняютъ, и въ будущей жизни облегченье получатъ. Само собой разумѣется, что подобное критическое отношеніе выражалось болѣе нежели робко, но и его было достаточно, чтобы внушить господамъ, что мозги хамовъ все-таки не вполнѣ забиты и что въ нихъ происходитъ какая-то работа. И работа тѣмъ болѣе непріятная, что она, стѣсняя въ распоряженіяхъ вообще, въ особенности обуздывающимъ образомъ дѣйствовала на ручную расправу.

— Бѣда, какъ этотъ духъ въ дворнѣ заведется!—говаривала матушка: —ходятъ, тихо̀ни, на цыпочкахъ, ровно святые! Ни ты ему слово не скажи, ни пальцемъ его не тронь! „Слушаю-съ, вся ваша воля“—только и словъ... И ни усмѣшечки въ лицѣ, ни въ голосѣ повышенія... привязаться не къ чему! А посмотри на него, всякая жилка у него говоритъ: „что же, молъ, ты не бьешь, — бей! за то въ будущемъ вѣкѣ отольются кошкѣ мышкины

слезки!“ Ну, посмотришь, посмотришь, увидишь, что дѣло идетъ своимъ чередомъ,—по-неволѣ и остережешься! Потому что расправься-ка съ нимъ, такъ онъ расправу-то за награду себѣ почтетъ!

— И я, признаться, этихъ тихонь не долюбливаю, — обыкновенно отзывался на эти сѣтованія отецъ: — тихи-тихи, а что̀ у нихъ на умѣ—не угадаешь. Строже съ нихъ спрашивать надо!

— Какъ же ты спросишь, коли у него въ порядкѣ все, привязаться не къ чему!

— Ну, ты найдешь. Была бы спина, а то будетъ вина! что̀ говорить объ этомъ!

Аннушка была насквозь пропитана указаніями выработаннаго ею кодекса, и не только не скрывала этого отъ своихъ „барышенъ“, но даже и отъ матушки.

Она родилась въ Малиновцѣ и страстно любила не только мѣсто своей родины, но и все относившееся къ нему, не исключая и господъ. Къ отцу она относилась какъ къ патріарху; „барышнямъ“ была безконечно предана. Вмѣстѣ съ ними она была осуждена на безвыходное заключеніе, въ продолженіе цѣлой зимы, наверху въ боковушкѣ, и, какъ онѣ же, сходила внизъ исключительно въ часы ѣды, да въ праздникъ, чтобы идти въ церковь. Только къ матушкѣ она, кажется, питала не совсѣмъ пріязненныя чувства, хотя и тутъ, я увѣренъ, всячески старалась подавлять свою нелюбовь.

Въ свою очередь, и отецъ, и тетеньки очень дорожили Аннушкой, что̀ не мѣшало имъ впрочемъ звать ее то Анюткой, то Анкой-каракатицей. Нерѣдко отецъ, послѣ утренняго чая, заходилъ къ сестрицамъ, усаживался на одномъ изъ сундуковъ и предавался воспоминаніямъ о прошломъ. Аннушка всегда принимала участіе въ этихъ интимныхъ бесѣдахъ, „точно ровня“, хотя, яко раба, присутствовала при нихъ стоя. Передъ собесѣдниками воочію возстановлялся прежній, тихій Малиновецъ, гдѣ всѣмъ было хорошо, всего довольно и всѣ были связаны общимъ желаніемъ мира и любви. Вспоминались покойный дѣдушка Порфирій Васильичъ, покойная бабушка Надежда Осиповна, ихъ наставленія, поговорки, привычки и даже любимыя кушанья. Не забывались и старые слуги, усердные, вѣрные, преданные, и всѣ мастера своего дѣла. И принять, и подать, и приготовить — на все у нихъ золотыя руки были. И не изъ-подъ плетки работали, а любя... Весело въ ту пору жилось, гульливо, привольно! Сговорятся, бывало, сосѣди и съѣдутся въ Малиновецъ за̀-просто. Мужчины, постарше, съ борзыми на охоту уѣдутъ; барыни постарше соберутъ сѣнныхъ дѣвушекъ и заставятъ пѣсни пѣть; молодежь въ плясъ пустится, пыль столбомъ подниметъ.

— Наливки какія были! водки! квасы!—восторгалась тетенька Ольга Порфирьевна, которая, въ качествѣ христовой невѣсты, смолоду около хозяйства ходила.

— Да, и я прежде квасъ пивалъ, а нынче не пью, — откликался отецъ.

— Какой нынче квасъ! Или опять соленья, варенья — нынче и секретъ-то этотъ потерянъ!

— Ныньче и овоща такого нѣтъ. Помните, братецъ, какія бывали яблоки?

— Да, помню, какъ однажды при мнѣ покойникъ батюшка изъ сада принесъ яблоко—вотъ!

Отецъ складывалъ вмѣстѣ оба кулака, чтобъ дать понятіе о величинѣ яблока.

— И куда все дѣвалось!—грустно произносилъ онъ.

— А помните, какъ батюшка пріятно на гусляхъ игралъ!—начинала новую серію воспоминаній тетенька Марья Порфирьевна:—„Звукъ унылый фортепьяна", или: „Се ты, души моей присуха"... до слезъ, бывало, проймѣтъ! Вѣдь и вы, братецъ, прежде игрывали?

— Да, игралъ.

— И куда ваши гусельки дѣвались—словно я ихъ давно не вижу?

— На чердакъ, должно быть, снесли.

— Не иначе, какъ на чердакъ... А кому они мѣшали! Ахъ, да что про старое вспоминать! Ныньче взойдешь въ дѣвичью-то — словно въ гробу дѣвки сидятъ. Не токма что пѣсню спѣть, и слово молвить промежду себя боятся... А при покойницѣ-матушкѣ...

— Да, хорошо тогда было! всѣмъ было хорошо! а ныньче — всѣмъ худо стало!

— Забылись—оттого и худо стало,—кратко и круто рѣшала Аннушка.

Рѣшеніе это всегда сердило отца. Онъ понималъ, что Аннушка не одинъ Малиновецъ разумѣетъ, а вообще „господъ", и считалъ ея слово кровною обидой.

— Забылись! кто забылся? — говори, долгоязычная, коли знаешь! — накидывался онъ на строптивую рабу.

— Извѣстно, не рабы, а господа забылись,—отвѣчала она, нимало не смущаясь.

— Ахъ ты, долгоязычная язва! Только у тебя и словъ на языкѣ, что про господъ судачить! Просто, выскочила изъ-подъ земли вѣдьма (матушкѣ вѣроятно икалось въ эту минуту) и повернула по своему. А она: „господа забылись!"

— Тьфу, тьфу, тьфу! сгинь-пропади! — оплевывались при словѣ „вѣдьма" тетеньки, набожно крестясь.

Отецъ задумывался. — Словно вихремъ все унесло! — мелькало у него въ головѣ. — Спятъ дорогіе покойники на погостѣ подъ сѣнію храма, ими воздвигнутаго; даже памятниковъ настоящихъ надъ могилами ихъ не поставлено. Пройдетъ еще годковъ десять — и тѣ крохотненькія пирамидки изъ кирпича, которыя съ самаго начала были наскоро сложены, разрушатся сами собой. Только Спасъ Милостивый и будетъ охранять обнаженныя могильныя насыпи.

— Пожалуй, и березку-то самосадочную, которая на батюшкиной могилкѣ выросла—и ту на дрова изведутъ!

— Ахъ, братецъ! да вы бы...

— Чтожъ я... старъ я, умирать пора!

Просидѣвши съ сестрами часъ или полтора, отецъ спускался внизъ и

затворялся въ своемъ кабинетѣ, а тетеньки, оставшись однѣ, принимались за работы изъ фольги *), въ которыхъ онѣ слыли большими мастерицами. Аннушка, въ свою очередь, скрывалась за печку, гдѣ ей было отведено крохотное пространство, буквально столько, чтобы постелить войлокъ, на которомъ она спала. Тамъ царствовали вѣчныя сумерки и ползало и прыгало такое множество насѣкомыхъ, что даже это вполнѣ обтерпѣвшееся существо страдало отъ нихъ. Сидя на обрубкѣ дерева, Аннушка съ утра до вечера машинально надвязывала пятки къ продырявившимся чулкамъ и, покачиваясь, дремала. Говорила ли она себѣ, что жить уже довольно, или, напротивъ, просила у Бога еще хоть крошечку пожить—неизвѣстно. Вѣроятнѣе всего, она и то, и другое желаніе считала грѣхомъ—и вслѣдствіе этого просто жила.

И не одна она такъ жила! тетеньки, и почище ея, а не лучше жили. Стало-быть, ей, рабѣ, и подавно претендовать на другую жизнь нечего. Христосъ Спасъ Милостивый благословилъ ее рабствомъ — вотъ это она помнитъ твердо, и ужъ, конечно, никому не удастся подорвать ея убѣжденіе, что въ будущемъ вѣкѣ она будетъ сторицей вознаграждена за свои временныя страданія. Сильная этимъ убѣжденіемъ, она бодро пойдетъ на-встрѣчу безболѣзненной и мирной кончинѣ, а до тѣхъ поръ будетъ сидѣть за печкой и „жить". Да и тетеньки, покуда она тамъ покряхтываетъ, будутъ съ увѣренностью утверждать, что ежели Аннушка почесывается, то, значитъ, она „живетъ".

Во всякомъ случаѣ, въ боковушкѣ всѣ жили въ полномъ согласіи. Госпожи „за любовь" приказывали, Аннушка — „за любовь" повиновалась. И если по временамъ барышни называли свою рабу строптивою, то это относилось не столько къ внутренней сущности рѣчей и поступковъ послѣдней, сколько къ ихъ своеобразной формѣ.

Только одинъ разъ согласіе было нарушено, и Аннушка вполнѣ сознательно позволила себѣ быть строптивою. И именно вотъ по какому случаю. Въ припадкѣ проказливости, тетенькѣ Марьѣ Порфирьевнѣ вдругъ вздумалось выдать Анку-каракатицу (въ то время обѣ, и барышня, и раба, были еще молоды) замужъ. Серьезно ли въ ней гнѣздилось это намѣреніе, или она только шутки шутила, во всякомъ случаѣ Аннушка испугалась. Да и было отъ чего: въ женихи ей выбрали самаго рослаго дѣтину изъ всей уголковской вотчины. Аннушка бросилась къ тетенькѣ Ольгѣ Порфирьевнѣ, но послѣдней сестрицына мысль показалась настолько забавной, что она и сама не отказалась принять участіе въ затѣянномъ сватовствѣ. Недѣли двѣ-три сряду томили веселыя сестрицы несчастную каракатицу и наконецъ объявили, что черезъ день быть дѣвичнику. И вотъ, въ виду неминучей бѣды, Аннушка рѣшилась ослушаться. Украдучись, ушла она ночью изъ Уголка; почти безъ отдыха отмахала сорокъ верстъ и на другой день къ обѣду была ужъ въ Малиновцѣ. Разумѣется, отецъ (онъ былъ еще холостой) принялъ ее подъ свое покровительство, написалъ тетенькамъ грозное письмо, и затѣя не состоялась. Но

*) Фольгой называлась жесть самой тонкой прокатки, окрашиваемая въ разные цвѣта. Изъ нея дѣлали преимущественно украшенія для мѣстныхъ церковныхъ свѣчей, вѣнчики для образовъ, а иногда и цѣлые оклады.

невольно спрашиваешь себя: что̀ сталось бы, еслибы и на отца нашелъ такой же смѣшливый часъ, какъ и на тетеньку Ольгу Порфирьевну?

Но возвращаюсь къ міросозерцанію Аннушки. Я не назову ее сознательной пропагандисткой, но поучать она любила. Во время всякой ѣды въ дѣвичьей неумолчно гудѣлъ ея голосъ, какъ будто она вознаграждала себя за то мертвое молчаніе, на которое была осуждена въ боковушкѣ. У матушки всегда раскипалось сердце, когда до слуха ея долетало это гудѣніе, такъ что, даже не различая явственно Аннушкиныхъ рѣчей, она ужъ угадывала ихъ смыслъ.

Рѣчи эти были въ высшей степени однообразны и по существу, и по формѣ. Преслѣдуя исключительно одну и ту же мысль, онѣ давнымъ-давно исчерпали все ея содержаніе, но имѣли за собой то преимущество, что обращались къ такой средѣ, которая никогда не могла достаточно насытиться ими. „Повинуйтесь! повинуйтесь! повинуйтесь! причастницами свѣта небеснаго будете!“—твердила она безпрестанно и приводила примѣры изъ евангелія и житій святыхъ (какъ на грѣхъ, она церковныя книги читать могла). А такъ какъ и безъ того въ основѣ установившихся порядковъ лежало безусловное повиновеніе, во имя котораго только и разрѣшалось дышать, то всѣмъ становилось какъ будто легче при напоминаніи, что удручающія вериги рабства не были дѣйствіемъ фаталистическаго озорства, но представляли собой временное испытаніе, въ концѣ котораго обѣщалось возсіяніе въ присносущемъ небесномъ свѣтѣ.

Возражательницъ не случалось; только Акулина-ключница не упускала случая, чтобы не прикрикнуть на нее.

— Закаркала, ворона! слушать тошно! повинуйтесь да повинуйтесь! и безъ тебя знаютъ!

Да еще матушка, подслушавши разговоръ, откликалась изъ коридора:

— Ты что, бунтовщица, мутишь! доѣдай свое, да и отправляйся въ боковушку!

— Я не мучу, а добру учу,—возражала Аннушка:—я говорю: ежели господинъ слово бранное скажетъ — не ропщи; ежели рану причинитъ — прими съ благодарностью!

— Такъ по твоему, значитъ, господа только и дѣлаютъ, что ругаются да причиняютъ раны рабамъ?

— Я не говорю: только и дѣлаютъ; я говорю: *если* господинъ раны причинитъ...

— Ну, хорошо; пусть будетъ по твоему: *если* причинитъ... а дальше что?

— А потомъ, сударыня, Богъ разсудитъ.

— То-то „Богъ разсудитъ“! Велю я тебя отодрать на конюшнѣ и увижу, какъ ты благодарить меня будешь!

— И буду благодарить. Въ ножки, сударыня, поклонюсь.

Дальнѣйшихъ послѣдствій стычки эти не имѣли. Во-первыхъ, не за что было ухватиться, а во-вторыхъ Аннушку ограждала общая любовь дворовыхъ. Нельзя же было вести ее на конюшню за то, что она учила работать съ благодарностью принимать отъ господъ раны! Еслибы въ самомъ-то дѣлѣ

по ея сталось, тогда бы и разговоръ совсѣмъ другой былъ. Но то-то вотъ и есть: на словахъ: „повинуйтесь!“ да „благодарите!“—а на дѣлѣ... Держи карманъ! могутъ они что-нибудь чувствовать... хамы! Легонько его поучишь, а онъ ужъ зубы на тебя точитъ!

— Ѣшь-ка, ѣшь! лучше не слушать тебя, срамницу! — заключала матушка, удаляясь во-свояси.

Однажды однако матушка едва не приняла серьезнаго рѣшенія относительно Аннушки. Былъ какой-то большой праздникъ; но такъ какъ услуга по дому и въ праздникъ нужна, да сверхъ того матушка въ этотъ день чѣмъ-то особенно встревожена была, то, натурально, сѣнныя дѣвушки не гуляли. По обыкновенію Аннушка произносила за обѣдомъ приличное случаю слово, но, какъ я уже замѣтилъ, вступивши однажды на практическую почву, она уже не могла удержаться на высотѣ теоретическихъ воззрѣній и незамѣтно впала въ противорѣчіе сама съ собою.

— Богъ-то какъ сдѣлалъ? — учила она: — шесть дней творилъ, а на седьмой — опочилъ. Такъ и всѣ должны. Не только люди, а и звѣри. И волкъ, сказываютъ, въ воскресенье скотины не рѣжетъ, а лежитъ въ болотѣ и отдыхаетъ. Стало быть, ежели кто Господней заповѣди не исполняетъ...

Но ключница даже кончить ей не дала. Подъ ея надзоромъ состояла вся дѣвичья, и она отвѣчала передъ барыней за порядокъ и тишину среди „безпорточной команды“. Не мудрено поэтому, что она подозрительно отнеслась къ Аннушкиной проповѣди.

— Ты что-жъ это! взаправду бунтовать вздумала!—крикнула она на нее:—по твоему, стало-быть, ежели теперича праздникъ, такъ и барыниныхъ приказаній исполнять не слѣдуетъ! Сидите, молъ, склавши ручки, самъ Богъ такъ велѣлъ... Вотъ я тебя... погоди!

Съ этими словами она выбѣжала изъ дѣвичьей и нажаловалась матушкѣ. Произошелъ цѣлый погромъ. Матушка требовала, чтобы Аннушку немедленно услали въ Уголокъ, и даже грозилась отправить туда же самихъ тетенекъ-сестрицъ. Но, благодаря вмѣшательству отца, дѣло кончилось крикомъ и угрозами. Онъ тоже не похваливалъ Аннушку, но ограничился тѣмъ, что поставилъ ее въ столовой, во время обѣда, на колѣни. Сверхъ того, цѣлый мѣсяцъ ее „за наказаніе“ не пускали въ дѣвичью, и носили пищу наверхъ.

Вообще много горя приняла Аннушка отъ ключницы, хотя нельзя сказать, чтобы послѣдняя была зла по природѣ или питала предвзятую вражду къ долгоязычной каракатицѣ. Едва ли онѣ даже не сходились во взглядахъ на условія, при которыхъ возможно совмѣстное существованіе господъ и рабовъ (обѣ одинаково признавали слѣпое повиновеніе главнымъ факторомъ этихъ условій); но первая была идеалистка и смягчала свои взгляды на рабство утѣшеніями „отъ писанія“, а вторая, какъ истая саддукеянка, смотрѣла на рабство какъ на фаталистическое ярмо, которое при самомъ рожденіи придавило шею, да такъ и приросло къ ней. Поэтому ничего нѣтъ мудренаго, что Аннушкины проповѣди представлялись Акулинѣ праздною болтовней, которая могла только безполезно раздражать.

Сверхъ того, положеніе Акулины въ господской усадьбѣ сложилось нѣсколько иначе, нежели для прочей прислуги. Она была привезёнка, и не имѣла никакой кровной связи съ Малиновцемъ и его аборигенами. Матушка высмотрѣла ее въ Заболотьѣ, гдѣ она, въ качествѣ бобылки, жила на краю села, существуя ничтожной торговлишкой на площади въ базарные дни. Убѣдившись изъ разспросовъ, что это женщина расторопная, что она можетъ понимать съ перваго слова, да и сама за словомъ въ карманъ не полѣзетъ, матушка безъ дальнихъ разсужденій взяла ее въ Малиновецъ, гдѣ и поставила смотрѣть за женской прислугой и стеречь господское добро. Эту роль она и исполняла настолько буквально, что и сама себя называла не иначе, какъ цѣпною собакой. Ни вражды, ни ненависти ни къ кому у нея не было, а былъ только тотъ самодовлѣющій начальственный лай, отъ котораго вчужѣ становилось жутко.

— Посадили меня на цѣпь—я и лаю!—объявляла она:—вы думаете, что мнѣ барскаго добра жалко, такъ по мнѣ оно хоть пропадомъ пропади! А приставлена я его стеречи, и буду скакать на цѣпи да лаять, пока не издохну!

Однимъ словомъ, это былъ лай, который до такой степени исчерпывалъ содержаніе ярма, придавившаго шею Акулины, что ни для какого иного душевнаго движенія и мѣста въ ней не осталось. Матушка знала это, и хвалилась, что нашла для себя въ Акулинѣ кладъ.

Нѣчто подобное сейчасъ разсказанному случаю, впрочемъ задолго до него, произошло съ Аннушкой и въ другой разъ, а именно, когда вышелъ первый ограничительный, для помѣщичьей власти, указъ, воспрещавшій продавать крѣпостныхъ людей иначе, какъ въ составѣ цѣлыхъ семействъ. Вѣсть объ этомъ быстро распространилась по селамъ и деревнямъ, а въ концѣ концовъ достигла и до малиновецкой дѣвичьей. Впечатлѣніе, произведенное ею, было несомнѣнно, хотя выразилось исключительно въ шушуканьи и потупленныхъ взорахъ, значеніе которыхъ было доступно лишь тонкому чутью помѣщиковъ („ишь, шельмецы! и глаза потупили, выдать себя не хотятъ!"). Матушка, натурально, зорко слѣдила за всѣмъ происходившимъ и въ особенности внимательно прислушивалась, что̀ будетъ Анютка брехать. И точно: Аннушка не заставила себя ждать, и уже совсѣмъ-было собралась сказать приличное случаю слово, но едва вымолвила: — Милостивъ батюшка-царь! и объ насъ, многострадальныхъ рабахъ, вспомнилъ... — какъ матушка уже налетѣла на нее.

— Цыцъ, язва долгоязычная!—крикнула она.—Смотрите, какая многострадальная выискалась! Да не ты ли, подлая, завсегда проповѣдуешь: отъ господъ, молъ, всякую рану слѣдуетъ съ благодарностью принять! — а тутъ, натко, обрадовалась! За что же ты вѣнцы-то небесные будешь получать, ежели господинъ не смѣетъ, какъ ему надобно, тебя повернуть? Задаромъ? Вотъ возьму, выдамъ тебя замужъ за Ваську-дурака, да и продамъ съ аукціона! получай вѣнцы небесные!

Въ этотъ разъ Аннушкина выходка не сошла съ рукъ такъ благополучно. И отецъ не вступился за нее, ибо хотя онъ и признавалъ теорію благодар-

наго повиновенія рабовъ, но никакихъ практическихъ осложненій въ ней не допускалъ. Аннушку постегали...

Не знаю, понимала ли Аннушка, что въ ея рѣчахъ существовало двоегласіе, но думаю, что еслибы матушкѣ могло придти на мысль затѣять когда-нибудь съ нею серьезный диспутъ, то побѣдительницею вышла бы не раба, а госпожа. Повторяю: Аннушка уже по тому одному не могла не впадать въ противорѣчія съ своимъ кодексомъ, что на эти противорѣчія наталкивала ее сама жизнь. Положимъ, что принять отъ господина раны слѣдуетъ съ благодарностью, но вотъ бѣда: вчера выпороли „занапрасно" Аришку, а она дѣвушка хорошая, жаль ее. Или опять: Мирону Степанычу намеднись безъ зачета лобъ забрили—за что̀, про что̀? Ка̀къ, въ виду такихъ фактовъ, удержаться на высотѣ теоріи, ка̀къ не высказаться? А выскажешься—опять бѣда! Мотай себѣ господинъ на усъ, что онъ, собственно говоря, не выпоролъ Аришку, а способствовалъ ей получить небесный вѣнецъ... „Вотъ вѣдь какъ они, тихони-то эти, благодарность понимаютъ!"

Какъ бы то ни было, но Аннушка чувствовала себя вполнѣ свободною только въ отсутствіе матушки. Съ тѣхъ поръ какъ послѣднею овладѣлъ духъ благопріобрѣтенія, случаи подобныхъ отсутствій повторялись довольно часто. Она уѣзжала то въ Москву, то въ новокупленныя имѣнія, и поѣздки ея бывали иногда довольно долгія. Съ отъѣздомъ матушки обыкновенно оживлялся весь домъ. Отецъ не сидѣлъ безвыходно въ кабинетѣ, но бродилъ по дому, толковалъ со старостой, съ ключницей, съ поваромъ, словомъ сказать, распоряжался! тетеньки-сестрицы сходили къ вечернему чаю внизъ и часовъ до десяти бесѣдовали съ отцомъ; дѣти рѣзвились и бѣгали по залѣ; въ дѣвичьей затѣвались пѣсни, сначала робко, потомъ громче и громче: даже у ключницы Акулины лай стихалъ въ груди. Вслѣдъ за тетеньками сходила внизъ, по вечерамъ, и Аннушка.

Въ дѣвичьей ей отводили мѣсто въ уголку у стола, на которомъ горѣлъ сальный огарокъ. Дѣвушки пряли. Аннушка надвязывала чулокъ и разсказывала. Темою для этихъ разсказовъ преимущественно служило подвижничество мучениковъ первыхъ временъ христіанства (любимыми ея героинями были великомученицы Варвара и Екатерина). Говорила она плавно и вразумительно, такъ что даже мы, барчуки, нерѣдко забѣгали въ дѣвичью и съ удовольствіемъ ее слушали. Выходила яркая картина, въ которой, съ одной стороны, фигурировали немилостивые цари: Неронъ, Діоклетіанъ, Домиціанъ и проч., въ какомъ-то нелѣпо-кровожадномъ забытьи твердившіе одни и тѣ же слова: „пожри идоламъ! пожри идоламъ!"; съ другой—кроткія жертвы ихъ звѣрскихъ инстинктовъ, съ радостью всходившія на костры и отдававшія себя на растерзаніе звѣрямъ. Впечатлѣніе было бы полное, еслибъ Аннушка ограничилась простымъ изложеніемъ фактовъ, но она не воздерживалась и выводила изъ нихъ поученія.

— Вотъ какъ святые-то приказанія царскія исполняли! — говорила она:—на костры шли, супротивнаго слова не молвили, только имя Господне славили! А мы что̀? Легонько нашу сестру господинъ пошпыняетъ, а мы ужъ кричимъ: немилостивый у насъ господинъ, кровь рабскую пьетъ!

Разумѣется, Акулина подмѣчала противорѣчіе между фактомъ и выводомъ и не оставляла его безъ критики,

— Дура ты, дура!—возражала она:—вѣдь ежели бы по твоему, какъ ты завсегда говоришь, повиноваться, такъ святой-то человѣкъ долженъ бы былъ безъ разговоровъ чурбану поклониться—только и всего. А онъ—вишь ты что!—лучше, говоритъ, на куски меня изрѣжь, а я твоему Богу не слуга!

Но Аннушка не смущалась этимъ возраженіемъ и, въ свою очередь, не лѣзла за словомъ въ карманъ.

— Такъ и слѣдуетъ,—отвѣчала она:—надъ тѣломъ рабскимъ и царь, и господинъ властны, и всякое тѣлесное истязаніе рабъ долженъ принять отъ нихъ съ благодарностью, а надъ душою властенъ только Богъ.

— Стало быть, и ты будешь права? Тебѣ госпожа скажетъ: не болтай лишняго, долгоязычная, а ты ей въ отвѣтъ: что хотите, сударыня, дѣлайте, хоть шкуру съ меня спустите, я все съ благодарностью приму, а молчать не буду!

— Ну, что ужъ меня къ святымъ приравнивать!

— Нѣтъ, ты не увертывайся. Я тебя къ святымъ не приравниваю, а спрашиваю: должна ли ты приказаніе госпожи выполнить, или нѣтъ?

Завязывался диспутъ, и должно сознаться, что въ большинствѣ случаевъ Аннушка вынуждалась уступить. Конечно, сравнительная слабость ея діалектики отчасти зависѣла и отъ особенностей того положенія, въ которомъ она находилась, яко раба, и которое препятствовало ей высказаться съ полною опредѣленностью, но фактически Акулина все-таки торжествовала.

— То-то вотъ и есть,—заключала споръ послѣдняя:—и безъ того не сладко на каторгѣ жить, а ты еще словно дятелъ долбишь: повинуйтесь, да повинуйтесь!

Когда разсказы о мученикахъ истощались, на сцену выступали темы болѣе современныя.

Нѣкоторыя изъ нихъ я и теперь помню. Жилъ въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, господинъ немилостивый, который десятки лѣтъ свирѣпствовалъ въ своихъ вотчинахъ. Много онъ неповинныхъ душъ погубилъ; и дѣломъ, и словомъ, и помышленіемъ — всячески убивалъ, и крестьянъ своихъ до нитки разорилъ. И все ему Богъ терпѣлъ, все ждалъ, что отъ него дальше будетъ, но, наконецъ, прогнѣвался. Жена у господина была—съ любовникомъ убѣжала; семь сыновъ было—всѣ одинъ за другимъ напрасною смертью сгибли. А тутъ, на грѣхъ, сгорѣлъ господскій домъ и всѣ пожитки, какіе въ немъ были, и золото, и серебро—словомъ, все пропало. Остался господинъ одинокъ, ни семьи, ни пріюта — ничего у него нѣтъ. И началъ онъ задумываться. Думалъ да думалъ, да, наконецъ, и рѣшилъ. Надѣлъ что-ни-на-есть ветхую одежонку, взялъ въ руки посошокъ и ушелъ крадучись ночью, чтобъ никто не видалъ. Искали его, искали, даже на крестьянъ думали, не убили ли, молъ, своего барина. И только лѣтъ десять спустя узнали, что онъ въ дальній-дальній монастырь скрылся и схиму принялъ. Тогда все раскрылось: и тиранство господина, и раскаяніе его. Узналъ батюшка-царь и велѣлъ господина, за давнимъ временемъ, судомъ не судить, а имѣніе его отписать въ казну. Теперь мужички живутъ хорошо, отдохнули.

Но Акулина и этого безхитростнаго разсказа не пропускала безъ критики.

— Коли послушаешь тебя, что ты завсе безъ ума болтаешь, — замѣчала она,—такъ Богу-то въ это дѣло и мѣшаться не слѣдъ. Пускай, молъ, господинъ рабовъ истязаетъ, за то они вѣнцовъ небесныхъ сподобятся!

— Да вѣдь человѣчьему долготерпѣнію предѣлъ положенъ. Не святые, а тоже люди — долго ли до грѣха! Иной не вытерпитъ, да своимъ судомъ себѣ правду добыть захочетъ, а Богъ его за это наказать долженъ.

— И накажетъ. Терпи. Умрешь, тогда и получишь награду.

Героемъ другого разсказа, тоже сложившагося подъ давленіемъ крѣпостного ига, былъ купецъ. Жилъ-былъ этотъ купецъ въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ и владѣлъ несмѣтными сокровищами. Только неправедно онъ эти сокровища нажилъ: татьбой да обманомъ, да грабежомъ. И всегда какъ разъ наоборотъ сказочному разбойнику поступалъ: богатѣевъ не трогалъ, а грабилъ только бѣдный народъ, который самъ въ руки дается. И все ему мало казалось. Принесетъ домой пригоршню золота и думаетъ: теперь надо другую добывать. И вотъ когда онъ полные сусѣки золота и серебра накопилъ, вдругъ напала на него немочь. Началъ онъ пухнуть да гноемъ наливаться, а подъ-конецъ и совсѣмъ заживо тлѣть сталъ. Пошелъ отъ него такой духъ тяжкій, что не только домочадцы и друзья, но и слуги всѣ разбѣжались; остался онъ одинъ какъ перстъ со своими сокровищами. И что̀ ни дѣлалъ, и лекарей призывалъ, и къ угодникамъ ѣздилъ, и храмы Божіи строилъ—ничего не помогало. И Богъ-то жертвы его не принималъ. Только сидитъ онъ однажды у окошка и видитъ: идетъ мимо божій странникъ. Никогда онъ, допрежъ того, ни одного странника не накормилъ, не обогрѣлъ, а тутъ вдругъ въ голову запало: позову да позову. Стали они промежду себя разговаривать, и чѣмъ больше купецъ на своего гостя глядитъ, тѣмъ больше у него сердце любовью къ нему разжигается. И началъ онъ помаленьку передъ божьимъ странничкомъ открываться. „Наказалъ меня Богъ, говоритъ, такую болѣсть наслалъ на меня, что мѣста себѣ не найду; и домочадцы, и друзья—всѣ меня бросили; живу хуже пса смердящаго“.—За что̀ же тебя Богъ наказалъ? — спрашиваетъ странникъ. „И самъ не вѣдаю, за что̀. Кажется, я и къ угодникамъ ѣзжу, и на храмы Божіи жертвую—и все мнѣ лёгости нѣтъ!“—А встань-ко къ свѣту, я на тебя посмотрю!—Повернулъ странникъ къ свѣту купцову голову, и съ испугу только могъ вымолвить: черна, ахъ, черна у тебя душа!—И заплакалъ. И купецъ, видючи его слезы, тоже заплакалъ. Сталъ странникъ перечислять купцу грѣхи его — и чего-чего тутъ ни было! А всего больше обидъ сиротамъ да рабамъ. И взялъ съ него въ ту пору обѣтъ: все неправедно нажитое имѣніе на выкупъ да на облегченье рабовъ обратить. Услышитъ ежели купецъ, гдѣ господинъ раба истязаетъ, или работою томитъ—долженъ за него выкупъ внести; или гдѣ ежели господинъ непосильныя дани взыскиваетъ, а рабамъ платить не изъ чего—и тутъ купецъ долженъ на помощь рабамъ придти.—Вотъ когда ты такимъ образомъ свои сокровища раздашь, Богъ и пошлетъ тебѣ облегченіе! —сказалъ подъ-конецъ странникъ, и вдругъ исчезъ, словно въ воздухѣ растаялъ. Понялъ тогда купецъ, что у него въ гостяхъ не человѣкъ, а ангелъ

Божій былъ. И сейчасъ же все какъ слѣдуетъ, по его приказанію, выполнилъ. Заложилъ телѣгу, нагрузилъ ее золотомъ и серебромъ и поѣхалъ. Услышитъ, гдѣ рабъ стонетъ — онъ его вызволитъ: либо совсѣмъ на волю выкупитъ, либо сердца начальниковъ деньгами умилостивитъ, заступу для раба найдетъ. Одну телѣгу извелъ, другую нагрузилъ, и такъ до послѣдняго сусѣка. И стало имя купцово по всей округѣ славно, и всѣ рабы благословляли его и молили Бога, чтобъ Онъ его отъ немочи тяжкой избавилъ. Когда же отъ неправедно-нажитого сокровища ужъ ничего не осталось, божій человѣкъ опять явился, но ужъ не въ страннемъ видѣ, а въ видѣ свѣтлаго облака. И услышалъ купецъ голосъ изъ облака: „отпускаются тебѣ прегрѣшенія твои!" и вдругъ почувствовалъ такую лёгость, словно въ рай попалъ. И собрались, какъ прежде, въ купцовъ домъ домочадцы и друзья-пріятели, и стали поживать миркомъ да ладкомъ. Сыновья опять торговлей занялись и разжились пуще прежняго, а дочка за генерала замужъ вышла. Самъ же купецъ поселился при домѣ въ крошечной сторожкѣ и кончилъ жизнь въ молчаніи и постѣ.

— И тутъ опять...—начинала возражать ключница, но на этотъ разъ дѣвушки даже не давали ей развить свою мысль.

— Отстаньте, Акулина Савостьяновна! что̀, въ самомъ дѣлѣ, привязались!—прерывали онѣ ее:—по вашему, и помогать-то сиротамъ грѣхъ!

— Не грѣхъ, а нечего по пустому болтать. Эка невидаль, что купецъ краденое добро отдалъ!

— Краденое не краденое, а все-таки своего добра жалко!

— Вонъ въ Заболотьѣ богатѣй Маслобоевъ живетъ. На что̀ ужъ грабитель, а попробуй-ка у него на бѣдность попросить, да онъ скорѣе удавится, а не дастъ!

Видя отпоръ, Акулина умолкала, а иногда даже совсѣмъ уходила изъ дѣвичьей, и разговоры возобновлялись свободнѣе прежняго.

— А правда ли, тетенька, что у Троицы такой схимникъ живетъ, который всего только одну просвирку въ день кушаетъ? — любопытствуетъ которая-нибудь изъ слушательницъ.

— Есть такой божій человѣкъ. Размочитъ по утру въ водѣ просвирку, скушаетъ—и сытъ на весь день. А на первой да на страстной недѣлѣ великаго поста и во всѣ семь дней одинъ разъ покушаетъ. Принесутъ ему въ Свѣтло Христово воскресенье яичко, онъ его облупитъ, поцѣлуетъ и отдастъ нищему. „Вотъ, говоритъ, я и разговѣлся!"

— Вотъ какъ угодники-то живутъ!

— А мы какъ живемъ! Насъ господа и щами, и толокномъ, и молокомъ—всѣмъ довòлятъ, а мы ропщемъ, говоримъ: немилостивые у насъ господа! съ голоду морятъ!

По дѣвичьей проносится громкій вздохъ. Аннушка продолжаетъ:

— Въ царство-то небесное не широко растворены ворота̀, не легко въ нихъ попасть. Иной хоть и рабъ, а милость Божья не покроетъ его.

Наконецъ бьетъ десять; изъ столовой доносится стукъ передвигаемыхъ стульевъ. Это тетеньки прощаются съ отцомъ, собираясь наверхъ. Вслѣдъ за ними снимается съ своего шестка и Аннушка.

— Спать пора!—зѣвая, рѣшаютъ дѣвушки, забывая, что при матушкѣ онѣ никогда раньше одиннадцати часовъ не оставляли пряжи.

И черезъ полчаса весь домъ погруженъ въ глубокій сонъ.

Но всему есть конецъ. Наступаетъ конецъ и для Аннушкиныхъ вольностей. Чу! со стороны села слышится колокольчикъ, сначала слабо, потомъ явственнѣе и явственнѣе. Это ѣдетъ матушка. Съ ея пріѣздомъ все приходитъ въ старый порядокъ. Дѣвичья наполняется исключительно жужжаніемъ веретенъ; Аннушка, словно заживо замуравленная, усаживается въ боковушкѣ за печку и дремлетъ.

Нѣчто въ родѣ подобныхъ собесѣдованій, но въ болѣе скромныхъ размѣрахъ, возобновлялось и на страстной недѣлѣ великаго поста. Вся наша семья въ эту недѣлю говѣла; дѣти не учились, прислуга пользовалась относительною свободой. Чаще обыкновеннаго Аннушка сходила внизъ, оставляя тетенекъ однѣхъ, и водворялась въ дѣвичьей. Темою для ея бесѣдъ, конечно, служили Страсти Господни. И нужно сказать правду, что еслибы не она, то злополучныя обитательницы дѣвичьей имѣли бы очень слабое понятіе о томъ, что̀ поется и читается въ эти дни въ церкви.

Но матушка не давала ей засиживаться. Мысль, что̀ „дѣвки", слушая Аннушку, могутъ что-то понять, была для нея непереносною. Поэтому хотя она и не гнѣвалась явно — въ такіе великіе дни гнѣваться не полагается—но, заслышавъ Аннушкино гудѣніе, приходила въ дѣвичью и кротко говорила:

— Не мути ты меня, Христа ради! дай свѣтлаго праздника безъ грѣха дождаться! Поѣла и ступай съ Богомъ наверхъ!

Аннушка, конечно, повиновалась.

Несмотря однакожъ на эти частыя столкновенія, въ общемъ Аннушка не могла пожаловаться на свою долю. Только подъ конецъ жизни судьба послала ей серьезное испытаніе: матушка и ее, и тетенекъ вытѣснила изъ Малиновца. Но такъ какъ я уже разсказалъ подробности этой катастрофы, то возвращаться къ ней не считаю нужнымъ.

Аннушка умерла въ глубокой старости, въ томъ самомъ монастырѣ, въ которомъ, по смерти сестры, поселилась тетенька Марья Порфирьевна. Ни на какую болѣзнь она не жаловалась, но недѣли за двѣ до смерти почувствовала, что ей неможется, легла въ кухнѣ на печь и не вставала.

— Слава Богу, не оставилъ меня Царь Небесный своей милостью! — говорила она, умирая:—родилась рабой, жизнь прожила рабой у господъ, а теперь, ежели сподобитъ Всевышній Батюшка умереть — на вѣки вѣчные останусь... божьей рабой!

XIX.—Мавруша-Новоторка.

Она была новоторжская мѣщанка и добровольно закрѣпостилась. Живописецъ Павелъ (мой первый учитель грамотѣ), скитаясь по оброку, между прочимъ, работалъ въ Торжкѣ, гдѣ и запримѣтилъ Маврушу. Они полюбили другъ друга, и матушка, почти никогда не допускавшая браковъ между дворовыми, на этотъ разъ охотно дала разрѣшеніе, потому что Павелъ приводилъ въ домъ лишнюю рабу.

Года черезъ два послѣ этого Павла вызвали въ Малиновецъ для домашнихъ работъ. Очевидно, онъ не предвидѣлъ этой случайности, и она настолько его поразила, что хотя онъ и не ослушался барскаго приказа, но явился одинъ, безъ жены. Жаль ему было молодую жену съ вольной воли навсегда заточить въ крѣпостной адъ; думалось: подержатъ господа мѣсяцъ, другой, и опять по оброку отпустятъ.

Но матушка разсудила иначе. Работы нашлось много: весь иконостасъ въ малиновецкой церкви предстояло возобновить, такъ что и срокъ опредѣлить было нельзя. Поэтому Павлу было приказано вытребовать жену къ себѣ. Тщетно молилъ онъ отпустить его, предлагая двойной оброкъ и даже обязываясь поставить за себя другого живописца; тщетно увѣрялъ, что жена у него хворая, къ работѣ непривычная—матушка слышать ничего не хотѣла.

— И для хворой здѣсь работа найдется,—говорила она: — а ежели, ты говоришь, она непривычна къ работѣ, такъ за это я возьмусь: у меня привыкнетъ.

Мавруша однакожъ нѣкоторое время упорствовала и не являлась. Тогда ее привели въ Малиновецъ по этапу.

При первомъ же взглядѣ на новую рабу матушка убѣдилась, что Павелъ былъ правъ. Дѣйствительно, это было слабое и малокровное существо, деликатное сложеніе котораго совсѣмъ не мирилось съ представленіемъ о крѣпостной каторгѣ.

— Да вѣдь что-же нибудь ты, голубушка, дома дѣлала? — спросила она Маврушу.

— Что̀ дѣлала! хлѣбы на продажу пекла.

— Ну, и здѣсь будешь хлѣбы печь.

И приставили Маврушу для барскаго стола ситные и бѣлые хлѣбы печь, да кстати и печенье просвиръ для церковныхъ службъ на нее же возложили.

Мавруша повиновалась; но позидимому она съ перваго же раза поняла значеніе шага, который сдѣлала, вышедши замужъ за крѣпостного человѣка...

Поселили ихъ довольно удобно, особнякомъ. Въ нижнемъ этажѣ господскаго дома отвели для Павла просторную и свѣтлую комнату, въ которой помѣщалась его мастерская, а рядомъ съ нею, въ каморкѣ, онъ жилъ съ женой. Даже мѣсячину имъ назначили, несмотря на то, что она уже была уничтожена. И работой не отягощали, потому что трудъ Павла бы[illegible] урядный и ускользалъ отъ контроля; а что касается до Мав[illegible]

по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ, махнула на нее рукой, словно поняла, что существуетъ на свѣтѣ горе, растравлять которое совѣсть зазритъ.

Павелъ былъ кроткій и послушливый человѣкъ. Въ качествѣ иконописца онъ твердо зналъ церковный кругъ и отличался серьезною набожностью. По праздникамъ пѣлъ на клиросѣ и читалъ за обѣдней апостола. Дворовые любили его настолько, что не завидовали сравнительно льготному житью, которымъ онъ пользовался. Съ такимъ же сочувствіемъ отнеслись они и къ Маврушѣ, но она дичилась и избѣгала сближеній. Павелъ съ своей стороны не настаивалъ на этихъ сближеніяхъ и исподволь свелъ ее только съ Аннушкой (см. предыдущую главу), такъ какъ послѣдняя, по его мнѣнію, могла силою убѣжденнаго слова утѣшить горе добровольной рабы и примирить ее съ выпавшимъ ей на долю жребіемъ.

Я впрочемъ довольно смутно представлялъ себѣ Маврушу, потому что она являлась наверхъ всего два раза въ недѣлю, да и то въ сумерки. Въ первый разъ, по пятницамъ, приходила за мукой, а во второй, по субботамъ, Павелъ приносилъ громадный лотокъ, уставленный стопками бѣлаго хлѣба и просвиръ, а она слѣдовала за нимъ и сдавала напеченное съ вѣса ключницѣ. Но за семейными нашими обѣдами разговоръ о ней возникалъ нерѣдко.

— Нечего сказать, нещечко взялъ за себя Павлушка! — негодовала матушка, постепенно забывая кратковременную симпатію, которую она выказала новой рабѣ:—сидятъ съ утра до вечера, другъ другомъ любуются; онъ образа малюетъ, а она чулокъ вяжетъ. И чулокъ-то не барскій, а свой! Не знаю, что̀ отъ нея дальше будетъ, а только ежели... ну ужъ не знаю! не знаю! не знаю!

— Вольная вѣдь она была, еще не привыкла, — косвенно заступался за Маврушу отецъ.

— А развѣ чортъ ее за рога тянулъ за крѣпостного выходить! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! По моему, ежели за крѣпостного замужъ пошла, такъ должна понимать, что и сама крѣпостною сдѣлалась. И хоть бы разъ она догадалась! хоть бы разъ пришла: позвольте, молъ, барыня, мнѣ господскую работу поработать! У меня тоже вѣдь разумъ есть; понимаю, какую ей можно работу дать, а какую нельзя. Молотить бы не заставила!

— Хлѣбы она печетъ, просвиры...

— Это въ недѣлю-то на три часа и дѣла всего; и то печку-то чай муженекъ затопитъ... Да еще что, прокураты, дѣлаютъ! Запрутся, да никого и не пускаютъ къ себѣ. Только Анютка долгоязычная и бѣгаетъ къ нимъ.

— Не трогай ихъ, ради Христа. Пускай онъ иконостасъ кончитъ.

— Иконостасъ самъ по себѣ, а и она работать должна. Натко! Явилась господскій хлѣбъ ѣсть, пальцемъ о палецъ ударить не хочетъ! Даромъ-то всякій умѣетъ хлѣбъ есть! И самоваръ съ собой привезли — чаи да сахары... дворяне нашлись! Вотъ я возьму, да самоваръ-то отниму...

Иногда матушка посылала ключницу посмотрѣть, что̀ дѣлаютъ „дворяне“. Акулина исполняла барское приказаніе, но не засиживалась, и черезъ нѣсколько минутъ уже являлась съ докладомъ.

— Ну что̀?

— Ничего. Сидятъ смирно, промежду себя разговариваютъ.

— Вотъ я имъ дамъ „разговариваютъ“! Да ты бы подольше у нихъ побыла, хорошенько бы высмотрѣла.

— Нечего смотрѣть. Сидятъ тихо; онъ образъ пишетъ, она краску третъ.

— Небось, чаемъ потчивали?

— Не пивала ихняго чаю; не знаю.

— И ты съ ними за-одно... потатчица!

Но, какъ я уже сказалъ, особенныхъ мѣръ относительно Мавруши матушка все-таки не принимала и ограничивалась воркотней. По временамъ она впрочемъ призывала самого Павла.

— Долго ли твоя дворянка будетъ сложа ручки сидѣть?—приступала она къ нему.

— Простите ее, сударыня!—умолялъ Павелъ, становясь на колѣни.

— Нѣтъ, ты мнѣ отвѣчай: долго ли дворянка твоя будетъ праздновать?

— Не умѣетъ она работу работать. Хлѣбы вотъ печетъ.

— Это въ недѣлю-то три, четыре часа... А ты знаешь ли, какъ другіе работаютъ!

— Знаю, сударыня, да хворая она у меня.

— Вотъ я эту хворь изъ нея выбью! Ладно! подожду еще немножко, посмотрю, что̀ отъ нея будетъ. Да и ты хорошъ гусь! Чѣмъ бы жену уму-разуму учить, а онъ цѣлуется да милуется... Пошелъ съ моихъ глазъ... тихоня!

Натурально, эти разговоры и сцены въ высшей степени удручали Павла. Хотя до сихъ поръ онъ не могъ пожаловаться, что господа его притѣсняютъ, но опасеніе, что его тихое житіе можетъ быть во всякую минуту нарушено, было невыносимо. Онъ упалъ духомъ и притихъ больше прежняго.

Шли мѣсяцы; матушка все больше и больше входила въ роль властной госпожи, а Мавруша продолжала „праздновать“ и даже хлѣбы начала печь спустя рукава.

Павелъ не разъ пытался силою убѣжденія примирить жену съ новымъ положеніемъ (разсказывали, что онъ пробовалъ и „учить“ ее), но всѣ усилія его въ этомъ смыслѣ оказались напрасными. Повидимому, она еще любила мужа, но надъ этою привязанностью уже господствовало представленіе о добровольномъ закрѣпощеніи, силу котораго она только теперь поняла, и мысль, что замужество ничего не дало ей, кромѣ рабскаго ярма, до такой степени давила ее, что самая искренняя любовь легко могла уступить мѣсто равнодушію и даже ненависти. Покамѣстъ еще до этого не дошло, но очевидно было, что насильственное водвореніе въ Малиновцѣ открыло ей глаза.

Подобно Аннушкѣ, она обзавелась своимъ кодексомъ, который сложился въ ея головѣ постепенно, по мѣрѣ того, какъ она погружалась въ обстановку рабской жизни. Ей вдругъ сдѣлалось ясно, что, отказавшись, ради эфемернаго чувства любви, отъ воли, она въ то же время предала божій образъ и навлекла на себя „божью клятву“, которая не перестанетъ тяготѣть надъ нею не только въ этой, но и въ будущей жизни, ежели она какимъ-нибудь чудомъ не „выкупится“. Стало-быть, отнынѣ всѣ завѣтнѣйшія мечты ея

жизни должны быть устремлены къ этому „выкупу“, и вопросъ заключался лишь въ томъ, какимъ путемъ это чудо устроить. Самымъ естественнымъ выходомъ представлялся слѣдующій: нести рабское иго лишь настолько, чтобы уступать исключительно насилію. Отчасти она уже выполнила эту задачу, отказавшись явиться къ господамъ добровольно; теперь точно такъ же предстоитъ ей поступить, ежели господа вздумаютъ ее заставлять господскую работу работать. Не станетъ она работать, не станетъ. Даже если ее истязать будутъ, она и истязанья приметъ, ради изведенья души своей изъ тьмы, въ которую погрузила ее „клятва“.

Но ежели и этого будетъ недостаточно, чтобы спасти душу, то она и другой выходъ найдетъ. Покуда она еще не загадывала впередъ, но рѣшимости у нея хватитъ...

Была ли вполнѣ откровенна Мавруша съ мужемъ—неизвѣстно, но во всякомъ случаѣ Павелъ подозрѣвалъ, что въ умѣ ея зрѣетъ какое-то рѣшеніе, которое ни для нея, ни для него не предвѣщаетъ ничего добраго; естественно, что по этому поводу между ними возникали даже ссоры.

— Не стану я господскую работу работать, не поклонюсь господамъ!—твердила Мавруша:—я вольная!

— Какая же ты вольная, коли за крѣпостнымъ замужемъ! Такая же крѣпостная, какъ и прочіе,—убѣждалъ ее мужъ.

— Нѣтъ, я природная вольная; вольною родилась, вольною и умру! Не стану на господъ работать!

— Да вѣдь печешь же ты хлѣбы! хоть и легкая эта работа, а все-таки господская.

— И хлѣбы печь не стану. Ты меня въ ту пору смутилъ: попеки да попеки! а я тебя, дура, послушалась. Буду печь однѣ просвиры для церкви Божіей.

— А ежели барыня отстегать тебя велитъ?

— И пускай. Пускай какъ хотятъ тиранятъ, пускай хоть кожу съ живой снимутъ—я воли своей не отдамъ!

И дѣйствительно, въ одну изъ пятницъ ключница доложила матушкѣ, что Мавруша не пришла за мукой.

— Это еще что̀ за моды такія!—вспылила матушка.

— Не знаю. Говоритъ: не слуга я вашимъ господамъ. Я вольная.

— А вотъ распишу я ей вольную на спинѣ. Привести ее, да и оболтуса мужа кстати позвать!

Предсказаніе Павла сбылось: Маврушу высѣкли. Но на первый разъ поступили по-отечески: наказывали не на конюшнѣ, а въ дѣвичьей, и сѣчь заставили самого Павла. Когда экзекуція кончилась, она встала съ скамейки, поклонилась мужу въ ноги и тихо произнесла.

— Спасибо за науку!

Но хлѣбовъ все-таки болѣе не пекла.

Съ этихъ поръ она затосковала. Къ прежней сокрушившей ее боли прибавилась еще новая, которую нанесъ уже Павелъ, такъ легко рѣшившійся исполнить господское приказаніе. По мнѣнію ея, онъ обязанъ былъ всякую муку принять, но ни въ какомъ случаѣ не прикасаться лозой къ ея тѣлу.

— Срамникъ ты!—сказала она, когда они воротились въ свой уголъ. И Павелъ понялъ, что съ этой минуты согласной ихъ жизни наступилъ безповоротный конецъ. Цѣлые дни молча проводила Мавруша въ каморкѣ, и не только не садилась около мужа во время его работы, но на всѣ его вопросы отвѣчала нехотя, лишь бы отвязаться. Никакого просвѣта въ будущемъ не предвидѣлось; даже представить себѣ Павелъ не могъ, чѣмъ все это кончится. Попытался-было онъ попросить „барина" вступиться за него, но отецъ, по обыкновенію, уклонился.

— Рабы вы,—отвѣтилъ онъ,—и должны, яко рабы, господамъ повиноваться.

— Это такъ точно,—попробовалъ возразить Павелъ,—но ежели такой случай вышелъ.

— Никакого случая нѣтъ, просто съ жиру бѣситесь! А впрочемъ я, братъ, въ эти дѣла не вмѣшиваюсь; ничего я не знаю, ступай, попроси барыню, коли что...

Матушка между тѣмъ каждодневно справлялась, продолжаетъ ли Мавруша стоять на своемъ, и получала въ отвѣтъ, что продолжаетъ. Тогда вышло крутое рѣшеніе: мѣсячины непокорнымъ рабамъ не выдавать и продовольствовать ихъ, наряду съ другими дворовыми, въ застольной. Но Мавруша и тутъ оказала сопротивленіе, и отвѣтила черезъ ключницу, что въ застольную добровольно не пойдетъ.

— Да вѣдь захочетъ же она жрать?—удивлялась матушка.

— Не знаю. Говоритъ: ежели насильно меня въ застольную сведутъ, такъ я все-таки тамъ ѣсть не буду!

— Вретъ, лиходѣйка! Голодъ не тетка... будетъ жрать! Ведите въ застольную!

Но Мавруша не лгала. Два дня сряду сидѣла она не ѣвши, и въ застольную не шла, а на третій день матушка обезпокоилась и призвала Павла.

— Да что она у тебя, порченая, что-ли?—спросила она.

— Не знаю, сударыня. Хворая, стало-быть.

— Хворые-то смирно сидятъ, не бунтуютъ; нѣтъ, она не хворая, а просто фардыбака... Дворянку разыгрываетъ изъ себя.

— Съ чего бы, кажется...

— Насквозь я ее, мерзавку, вижу! да и тебя, тихоня! Берегись! Не посмотрю, что ты изъ лѣтъ вышелъ, такъ-то не въ зачетъ въ солдаты отдамъ, что любо!

— Отпустите насъ, сударыня! Я и за себя, и за нее оброкъ заплачу.

— Ни за что! Даже когда иконостасъ кончишь, и тогда не пущу! Сгною въ Малиновцѣ! Сиди здѣсь, любуйся на свою женушку милую!

Но все это былъ только разговоръ, а нужно было какой-нибудь практическій выходъ сыскать. Ничего подобнаго матушка въ помѣщичьей своей практикѣ не встрѣчала, и потому находилась въ великомъ смущеніи. Иногда въ ея головѣ мелькала мысль, не оставить ли Маврушу въ покоѣ, какъ это ужъ и было допущено на первыхъ порахъ по водвореніи послѣдней въ господской усадьбѣ; но она зашла ужъ такъ далеко въ своихъ угрозахъ, что отступить было неудобно. Этакъ и всѣ, глядя на фардыбаку, скажутъ: и мы

будемъ склавши ручки сидѣть! Нѣтъ! надо во что бы ни стало сокрушить упорную лиходѣйку; надо, чтобъ всѣ осязательно поняли, что господская власть не праздное слово.

И тѣмъ не менѣе все-таки пришлось, въ концѣ концовъ, отступить...

Распоряженія самыя суровыя слѣдовали одни за другими, и одни же за другими немедленно отмѣнялись. Въ сущности, матушка была не злонравна, но безконтрольная помѣщичья власть пріучила ее сыпать угрозами и въ то же время притупила въ ней способность предусматривать, какія послѣдствія могутъ имѣть эти угрозы. Поэтому, встрѣтившись съ такимъ своеобразнымъ сопротивленіемъ, она совсѣмъ растерялась.

— Ведите, ведите ее на конюшню!—приказывала она, но черезъ нѣсколько минутъ одумывалась и говорила:—инъ прахъ ее побери! не троньте! подожду, что̀ еще будетъ!

Было даже отдано приказаніе отлучить жену отъ мужа и силкомъ водворить Маврушу въ застольную, но когда внизу, изъ Павловой каморки, послышался шу́мъ, свидѣтельствовавшій о приступѣ къ выполненію барскаго приказанія, матушка испугалась... „А ну, какъ она, въ самомъ дѣлѣ, голодомъ себя уморитъ!“—мелькнуло въ ея головѣ.

Всѣ домочадцы съ удивленіемъ и страхомъ слѣдили за этой борьбой ничтожной рабы съ всесильной госпожей. Матушка видѣла это, мучилась, но ничего подѣлать не могла.

— Ѣстъ?—безпрерывно освѣдомлялась она у ключницы.

— Отказывается покуда.

— Не иначе, какъ Павлушка потихоньку ей носитъ. Сказать ему, негодяю, что если онъ хоть корку хлѣба передастъ, то я—видитъ Богъ!—въ Сибирь обоихъ упеку!

Но едва вслѣдъ затѣмъ приносили въ дѣвичью завтракъ или обѣдъ, матушка призывала которую-нибудь изъ дѣвушекъ (даже передъ ними она уже не скрывалась) и говорила:

— Снеси... ну, этой!.. щецъ, что-ли... Да не сказывай, что я велѣла, а будто бы отъ себя...

Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, что если она поведетъ эту борьбу дальше, то ей придется всѣ дѣла бросить и всю себя посвятить усмиренію строптивой рабы.

Какъ ни горько было это сознаніе, но здравый смыслъ говорилъ, что надо во что бы ни стало покончить съ обступившей со всѣхъ сторонъ безалаберщиной. И надо отдать справедливость матушкѣ: она рѣшилась послѣдовать совѣтамъ здраваго смысла. Призвала Павла и сказала:

— Который ужъ мѣсяцъ я отъ васъ муку-мученскую терплю! Надоѣло. Живите какъ знаете. Только ежели дворянка твоя на глаза мнѣ попадется—ужъ не прогнѣвайся! Правъ ли ты, виноватъ ли... обоихъ въ Сибирь законопачу!

И тутъ же сдѣлала распоряженіе, чтобы Маврушу не трогать, а Павла опять перевести на мѣсячину, но одного, безъ жены.

— А она пускай какъ знаетъ, такъ и живетъ. Задаромъ хлѣбомъ кормить не буду.

Примирившись съ этой развязкой, матушка на нѣсколько дней какъ будто примолкла. Голосъ ея рѣже раздавался по дому, приказанія отдавались тихо, безъ брани. Она поняла, что необходимо, чтобъ впечатлѣніе, произведенное страннымъ переполохомъ на дворню, улеглось.

Съ своей стороны и Мавруша присмирѣла или, лучше сказать, совсѣмъ какъ бы перестала существовать. Сидѣла, какъ узница, въ своей каморкѣ и молчала, угнетаемая одиночествомъ и горькими мыслями о погубленной молодости.

Во мнѣ лично, тогда еще почти ребенкѣ, происшествіе это возбудило сильное любопытство. Неоднократно я пытался спуститься внизъ, въ Павлову комнату, чтобъ посмотрѣть на Маврушу, но едва подходилъ къ двери, какъ меня брала оторопь, и я возвращался назадъ, не выполнивъ своего намѣренія. За то всякій разъ, когда мнѣ случалось быть въ саду, я нарочно ходилъ взадъ и впередъ вдоль фасада дома, замедлялъ шаги передъ окномъ заповѣдной каморки и вглядывался въ затканныя паутиной стекла, скрывавшія отъ меня ея внутренность. И мнѣ слышалось, словно кто-то тамъ тихо стонетъ.

Какъ бы то ни было, но жизнь Павла была погублена. Мавруша не только отшатнулась отъ него, но даже совсѣмъ перестала съ нимъ говорить. Побѣда, которую она одержала надъ властной барыней, наводившей трепетъ на все окружающее, далеко не удовлетворила ее. Собственно говоря, тутъ и побѣды не было, а просто надоѣло барынѣ возиться съ безтолковой рабой, которая упала ей какъ снѣгъ на голову. Положеніе вещей нимало отъ этого не измѣнилось. И до побѣды Мавруша была раба, и послѣ побѣды осталась рабою же — только бунтующеюся. Поэтому сомнѣніе ея насчетъ „божьей клятвы“ осталось въ прежней силѣ.

Мавруша тосковала больше и больше. Постепенно ей представился Павелъ, какъ главный виновникъ сокрушившаго ее злосчастья. Любовь, постепенно потухая, прошла черезъ всѣ фазисы равнодушія и наконецъ превратилась въ положительную ненависть. Мавруша не высказывалась, но всѣми поступками, наружнымъ видомъ, тѣлодвиженіями, всѣмъ доказывала, что въ ея сердцѣ нѣтъ къ мужу никакого чувства, кромѣ глубокаго и непримиримаго отвращенія.

Аннушка опасалась, какъ бы она не извела мужа отравой или не „испортила“ его; но Павелъ отрицалъ возможность подобной развязки и не принималъ никакихъ мѣръ къ своему огражденію. Жизнь съ ненавидящей женщиной, которую онъ продолжалъ любить, до такой степени опостылѣла ему, что онъ и самъ страстно желалъ покончить съ собою.

— До этого она не дойдетъ,—говорилъ онъ:—а вотъ я самъ руки на себя наложу—это дѣло статочное.

Но и до этого дѣло не дошло, а разрѣшилось гораздо проще.

Раннимъ осеннимъ утромъ, было еще темно, какъ я былъ разбуженъ поднявшеюся въ домѣ бѣготнею. Вскочивъ съ постели, полуодѣтый, я сбѣжалъ внизъ, и отъ первой встрѣтившейся дѣвушки узналъ, что Мавруша повѣсилась.

Драма кончилась. Въ видѣ эпилога, я могу впрочемъ прибавить, что

за утреннимъ чаемъ, на мой вопросъ: когда будутъ хоронить Маврушу?—матушка отвѣчала:

— А вотъ завтра обернутъ въ рогожу и свезутъ въ болото.

И дѣйствительно, на другое утро пріѣхалъ изъ земскаго суда сельскій засѣдатель, разрѣшилъ похоронить самоубійцу, и я изъ окна видѣлъ, какъ Маврушино тѣло, обернутое въ дырявую рогожу, взвалили на роспуски и увезли въ болото.

XX.—Ванька-Каинъ.

Настоящее его имя было Иванъ Макаровъ, но братъ Степанъ съ перваго же раза прозвалъ его Ванькой-Каиномъ. Собственно говоря, ни проказливость нрава, ни беззавѣтное и, правду сказать, довольно-таки утомительное балагурство, которыми отличался Иванъ, вовсе не согласовались съ репутаціей, утвердившейся за подлиннымъ Ванькой-Каиномъ, но кличка безъ размышленія сорвалась съ языка и безъ размышленія же была принята всѣми.

По профессіи онъ былъ цирульникъ. Года два назадъ, по выходѣ изъ ученья, его отпустили по оброку; но такъ какъ онъ въ теченіе всего времени не заплатилъ ни копѣйки, то его вызвали въ деревню. И вотъ однажды утромъ матушкѣ доложили, что въ дѣвичьей дожидается Иванъ-цирульникъ.

— А! золото! добро пожаловать! Ты что же, молодчикъ, оброка не платишь?—привѣтствовала его матушка.

Но Иванъ вмѣсто отвѣта развязно подошелъ къ барынѣ и сказалъ:

— Позвольте, сударыня, ручку поцѣловать.

— Прочь... негодяй! Смотрите, шута разыгрывать вздумалъ! Сказывай, почему ты оброка не платишь?

— Помилуйте, сударыня, я бы съ превеликимъ моимъ удовольствіемъ, да, признаться сказать, самому деньги были нужны.

— А вотъ я тебя сгною въ деревнѣ. Я тебѣ покажу, какъ шута предъ барыней разыгрывать! Посмотрю, какъ „тебѣ самому деньги были нужны“!

— Это какъ вамъ будетъ угодно. Я и здѣсь въ превосходномъ видѣ проживу.

— Ахъ ты, хамово отродье! скажите на милость!..

— Мерси-бонжуръ. Что за оплеуха, коли не достала уха! Очень вами за ласку благодаренъ!

Матушка широко раскрыла глаза отъ удивленія. Въ этомъ нескладномъ потокѣ шутовскихъ словъ она поняла только одно: что передъ нею стоитъ человѣкъ, котораго при первомъ же случаѣ надлежитъ подъ красную шапку упечь и дальнѣйшія объясненія съ которымъ могутъ повлечь лишь къ еще болѣе неожиданнымъ репримандамъ.

— Вонъ!—крикнула она, дѣлая угрожающій жестъ и въ то же время благоразумно ретируясь.

— Же-ву-фелиситъ. Не доходя прошедши. Не извольте безпокоиться, получать не желаю.

Словомъ сказать, онъ съ перваго же шага ознаменовалъ свое водвореніе въ Малиновцѣ настолько характеристично, что никто ужъ не сомнѣвался насчетъ предстоявшей ему участи.

Наружный видъ онъ имѣлъ, можно сказать, самый нелѣпый. Долговязый, съ узкимъ и короткимъ туловищемъ на длинныхъ, тонкихъ ногахъ, онъ постоянно покачивался, какъ будто ноги подкашивались подъ нимъ, не будучи въ состояніи сдерживать туловища. Маленькая не по росту голова, малокровное и узкое лицо, формой своей напоминавшее лезвіе ножа, длинные изжелта-бѣлые волосы, свѣтло-голубые, безъ всякаго блеска (словно пустые) глаза, тонкія, едва окрашенныя губы, длинныя, какъ у орангъ-утанга, мотающіяся руки и, наконецъ, колеблющаяся, невѣрная походка (точно онъ не ходилъ, а шлялся)—все свидѣтельствовало о какомъ-то ненормальномъ состояніи, которое близко граничило съ невмѣняемостью. Явился онъ въ бѣлой холщевой рубашкѣ на-выпускъ и вдобавокъ съ гармоникой, которую впрочемъ оставилъ въ сѣняхъ.

— Кàкъ это... кàкъ онъ сказалъ?.. „Же-ву-фелиситъ"... а дальше кàкъ? — припоминала матушка, возвратившись въ дѣвичью и становясь у окна, чтобы поглядѣть, куда пойдетъ балагуръ.—Кàкъ, дѣвки, онъ сказалъ?

— „Не доходя прошедши",—подсказала одна изъ дѣвушекъ.

— Ишь, шутъ! выдумалъ же!

— Видѣлъ, что вы замахнулись — ну, и остерегъ: проходите, молъ, мимо!—пояснила ключница Акулина, которая, въ силу своего привилегированнаго положенія въ домѣ, не слишкомъ-то стѣснялась съ матушкой.

— А вотъ я его ужò! Смотрите! ишь, мерзавецъ, шляется! Именно не идетъ, а шляется! Батюшки! да никакъ онъ на гармоніи играетъ! Бѣгите, бѣгите, отнимите у него гармонію!

Одна изъ дѣвушекъ побѣжала исполнить приказаніе, а матушка осталась у окна, любопытствуя, чтò будетъ дальше. Черезъ нѣсколько секундъ, посланная ужъ поравнялась съ балагуромъ, на-бѣгу выхватила изъ его рукъ гармонику и бросилась въ сторону. Иванъ ударился въ догонку, но, по несчастью, ноги у него заплелись, и онъ съ размаху растянулся всѣмъ туловищемъ на землю.

— Смотрите! смотрите! растянулся!... ахъ, туша несуразная! чтò? почесываешься? отбилъ печенки, подлецъ? — вскрикивала матушка, любуясь зрѣлищемъ и забывая недавній свой гнѣвъ.

Гармонику принесли, но вслѣдъ затѣмъ на лѣстницѣ раздались шаги. Заслышавши ихъ, матушка поспѣшно схватила гармонику и буквально бѣжала изъ дѣвичьей.

— Это ужъ не манеръ! — во все горло бушевалъ воротившійся балагуръ: — словно на большой дорогѣ грабятъ! А я-то, дуракъ, шелъ изъ Москвы и думалъ, призоветъ меня барыня и скажетъ: сыграй мнѣ, Иванъ, на гармоніи штучку!

Наконецъ дѣвушки всей толпой обступили его и увели. А вслѣдъ за-

тѣмъ кучеръ Алемпій (онъ исправлялъ при усадьбѣ должность заплечнаго мастера), какъ говорится, на обѣ корки отодралъ московскаго гостя.

Въ этотъ же день матушка за обѣдомъ говорила:

— Вотъ и еще готовый солдатъ явился. Посмотрю немного, и ежели что̀, такъ и набора ждать не стану.

Тутъ же, за обѣдомъ, братъ Степанъ окрестилъ гостя Ванькой-Каиномъ, и кличка эта такъ всѣмъ по вкусу пришлась, что съ той же минуты вошла въ общій обиходъ. Тѣмъ не менѣе для Степана выдумка его не обошлась даромъ. Вечеромъ, встрѣтивши своего крестника, онъ съ обычной непринужденностью спросилъ его:

— А что, Ванька-Каинъ, хорошо давеча отпарили?

Иванъ, услышавъ новое прозвище, сначала изумился, но сейчасъ же понялъ, что барченокъ такой же балагуръ, какъ и онъ.

— Ванька-Каинъ... зачѣмъ? къ чему? — огрызнулся онъ. — Меня, сударь, Иваномъ Макаровымъ зовутъ, а вотъ васъ, правда ли, нѣтъ ли, папенька съ маменькой за̀все Стёпкой-балбесомъ величаютъ!

Ремесло цирульника считалось самымъ пустымъ изъ всѣхъ, которымъ помѣщичье досужество обучало дворовыхъ для домашняго обихода. Цирульники, ходившіе по оброку, очень рѣдко оказывались исправными плательщиками. Это были люди, съ юныхъ лѣтъ испорченные легкимъ трудомъ и балагурствомъ съ посѣтителями цируленъ; поэтому большинство ихъ почти постоянно слонялось по Москвѣ безъ мѣстъ.

Пьянство не особенно было развито между ними; за то преобладающими чертами являлись: праздность, шутовство и какое-то непреоборимое влеченіе къ исполненію всякаго рода зазорныхъ „заказовъ". Отощалые, бродили они, предлагая свои услуги по части „дѣвушекъ", и не останавливались даже передъ перспективою помятыхъ боковъ, лишь бы угодить своимъ случайнымъ заказчикамъ. И что̀ всего замѣчательнѣе, несмотря на то, что „заказы" этого рода оплачивались широко, у этихъ людей никогда не бывало денегъ, или, лучше сказать, они тотчасъ же самымъ безалабернымъ образомъ растрачивали полученный гонораръ въ первой полпивной, швыряя направо и налѣво мелкими ассигнаціями. Вообще помѣщики смотрѣли на нихъ какъ на отпѣтыхъ, и ежели упорствовали отдавать дворовыхъ мальчиковъ въ ученье къ цирульникамъ, то едва-ли не ради того только, чтобъ въ домѣ былъ на-лицо полный комплектъ всякаго рода ремеслъ.

Въ деревнѣ ремесло цирульника еще рѣзче отличалось отъ прочихъ. И ткача, и сапожника, и портного, можно было держать въ *постоянномъ* трудѣ, свойственномъ спеціальности каждаго, тогда какъ услуга цирульника почти совсѣмъ не требовалась. У насъ, напримѣръ, можно было воспользоваться Ванькой-Каиномъ единственно для того, чтобы побрить или постричь отца, но эту деликатную операцію отлично исполнялъ камердинеръ Кононъ, да врядъ-ли отецъ и довѣрилъ бы себя рукамъ прощалыги, у котораго Богъ знаетъ что̀ на умѣ. Поэтому надо было пріискать для Ваньки-Каина стороннюю работу, на которой онъ изнывалъ бы непрестанно. Матушка, разумѣется, и занялась этимъ, потому что она даже въ мысляхъ не могла допустить, чтобы кто-нибудь изъ дворовыхъ даромъ хлѣбъ ѣлъ.

Однако задача эта оказалась не совсѣмъ легкою. Ни къ какой работѣ Ванька-Каинъ приспособленъ не былъ. Ежели въ домъ его взять, заставить помогать Конону, такъ смотрѣть на него противно, да онъ, пожалуй, еще озорство какое-нибудь сдѣлаетъ; ежели въ помощники къ пастуху опредѣлить, такъ онъ и тамъ что-нибудь напакоститъ: либо стадо распуститъ, либо коровъ выдаивать будетъ. Думала, думала матушка и наконецъ рѣшила: благо начался сѣнокосъ, послать Ваньку-Каина сѣно косить. И съ вечера же, какъ только явился староста Ѳедотъ за приказаніями, она сообщила ему о своей затѣѣ.

— Врядъ ли онъ и косу въ руки взять умѣетъ,—предупреждалъ Ѳедотъ,—грѣхъ только съ нимъ одинъ.

— Не умѣетъ, такъ будетъ умѣть. Почаще плеткой вспрыскивай — скорехонько научится.

— То-то что... Ты его плеткой, а онъ на тебя съ косой...

— Ну, Богъ милостивъ... съ Богомъ!

Но на утро, едва выглянула матушка въ окно, какъ убѣдилась, что Ванька-Каинъ преспокойно шляется по красному двору, размахивая руками.

— Отчего Ванька не на сѣнокосѣ?—обратилась она къ ключницѣ.

— Стало-быть, не пошелъ.

— Позвать его, подлеца!

— Лучше бы вы, сударыня, съ нимъ не связывались!

— Нѣтъ, нѣтъ... позвать его... сейчасъ позвать!

И черезъ нѣсколько минутъ въ дѣвичьей уже поднялся обычный содомъ.

— Ты что же, голубчикъ, на сѣнокосъ не идешь?—кричала матушка.

— Позвольте, сударыня! „Здѣсь стригутъ и брѣютъ, и кровь отворяютъ“, а вы меня съ косой посылаете! Развѣ благородные господа такъ дѣлаютъ?

— Ахъ, мерзавецъ! онъ еще шутки шутитъ!.. Сейчасъ же къ Алемпіи самъ ступай! Пускай онъ тебѣ по намеднишнему засыплетъ.

— Однажды шелъ дождикъ дважды... Вчера засыпали, сегодня засыплютъ... Объ этомъ еще подумать надо, сударыня.

Казалось бы, недавняя встрѣча должна была предостеречь матушку насчетъ будущихъ стычекъ съ Ванькой-Каиномъ, но постоянно удачная крѣпостная практика до такой степени пріучила ее къ безпрекословному повиновенію, что она и на этотъ разъ, словно застигнутая врасплохъ, стояла передъ строптивымъ рабомъ съ широко-раскрытыми глазами, безмолвная и пораженная.

— „Какъ же у другихъ-то? — мелькало въ ея головѣ: — неужто у всѣхъ такъ? въ Овсецовѣ у Анфиски... справляется же она какъ-нибудь?“

Само собою разумѣется, что Ивану, въ концѣ концовъ, все-таки засыпали, но матушка, тѣмъ не менѣе, рѣшила до времени съ Ванькой-Каиномъ въ разговоры не вступать, и какъ только полевыя работы дадутъ сколько-нибудь досуга, такъ сейчасъ же отправить его въ рекрутское присутствіе.

— А до тѣхъ поръ отдамъ себя на волю Божію,—говорила она Акулинѣ: — пусть Батюшка Царь Небесный какъ разсудитъ, такъ со мною и

поступаетъ! Захочетъ—защититъ меня, не захочетъ — отдастъ на потѣху сквернавцу!

— Да еще примутъ ли его въ солдаты-то?—сомнѣвалась Акулина.

— Отчего не принять?

— У него, слышь, передніе зубы вышиблены.

— Ну, такъ я и знала! То-то я вчера смотрю, словно у него дыра во рту... Вотъ и еще испытаніе Царь Небесный за грѣхи посылаетъ! Ну, чтожъ! Коли въ зачетъ не примутъ, такъ безъ зачета отдамъ!

Не знаю однакожъ, успѣла ли бы выполнить матушка свое рѣшеніе не встрѣчаться съ строптивымъ рабомъ, еслибъ не выручилъ ее кучеръ Алемпій, выпросивъ Ваньку-Каина на конюшню.

Послѣ этого матушка какъ будто успокоилась, но спокойствіе это было только наружное, и, въ сущности, мысль о Ванькѣ-Каинѣ продолжала преслѣдовать ее.

— Сбѣгай, посмотри, что̀ подлецъ дѣлаетъ?—по нѣскольку разъ въ день посылала она дѣвчонку на конюшню.

И когда дѣвчонка возвращалась съ отвѣтомъ: „Сидитъ на приступочкѣ и посвистываетъ", то матушка приходила въ такое волненіе, что губы у нея бѣлѣли и тряслись.

— Ты что же, сударь, молчишь!—накидывалась она на отца:—твой вѣдь онъ! Смотрите на милость! Холопъ надъ барыней измывается, а баринъ запрется въ кабинетѣ да съ просвирами возится!

Но у отца былъ всегда на-готовѣ стереотипный отвѣтъ:

— Ничего я не знаю. Ты у меня всѣ имѣнія отняла, ты и распоряжайся!

Дни проходили за днями; Ванька-Каинъ не только не винился, но повидимому совсѣмъ прижился. Онъ даже пріобрѣталъ симпатію дворовыхъ. Хотя его рѣдко выпускали съ коннаго двора, но такъ какъ онъ, вмѣстѣ съ другими, ходилъ обѣдать и ужинать въ застольную, то до слуха матушки безпрерывно доносился оттуда хохотъ, который она не безъ основанія приписывала присутствію ненавистнаго балагура.

„Ишь, жеребцы, грохочутъ!—думалось ей:—навѣрное это онъ, Ванька Каинъ, ихъ потѣшаетъ!"

Даже въ дѣвичьей слышалось подозрительное хихиканье, которое также не ускользнуло отъ вниманія матушки. Очевидно, и туда успѣли проникнут Ивановы шутки и въ особенности произвели впечатлѣніе на „кузнечихъ" которымъ они напомнили золотое время, когда въ ушахъ ихъ немолчно раздавался безшабашный жаргонъ прожженыхъ московскихъ мастеровыхъ.

Да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно было не помирать со смѣху, когда Ванька-Каинъ, приплясывая на своихъ нескладныхъ ногахъ, пѣлъ:

Пироги!
Горячи!
Съ пылу, съ жару,
По грошу за пару!
Съ лучкомъ, съ перцемъ,
Съ собачьимъ съ сердцемъ!

Или когда передъ собравшейся аудиторіей выступали на сцену эпизоды изъ безконечной повѣсти о потасовкахъ, которыя онъ претерпѣлъ въ теченіе своей многострадальной жизни.

— Присталъ ко мнѣ однажды купецъ Завейхвостовъ, — разсказывалъ онъ:—живетъ говоритъ, тутъ у насъ въ переулкѣ дѣвица Груша—она въ канарейкахъ у князя Унеситымоегоре состоитъ — ахъ, хороша штучка! Такъ вотъ что, Иванъ! коли ты мнѣ ее предоставишь, откуплю я тебя, первона-перво, у господъ, а потомъ собственное заведеніе тебѣ устрою... Вотъ тебѣ четвертная на расходъ! Взялъ я это деньги, думаю: завсегда я хорошимъ господамъ служилъ,—надо и теперь послужить. Отправился. Прошелъ, значитъ, мимо ея квартиры разъ, прошелъ другой, третій — хожу да посвистываю. Вижу, сидитъ у окна дѣвица, въ пяльцахъ шьетъ; взглянетъ на меня и усмѣхнется. Эге! думаю, никакъ ты ужъ привышная! Подошелъ къ окну да и говорю напрямки: позвольте мнѣ съ вами, Аграфена Максимовна, разговоръ имѣть! — „Извольте", говоритъ. Вошелъ я, значитъ, въ горницу. — Такъ и такъ, говорю, купецъ Завейхвостовъ, Терентій Прохорычъ, желаетъ съ вами въ любви жить.—Ну, разумѣется, спервоначалу зажеманилась. „Ахъ, что вы! да какъ я! да какимъ же манеромъ я своего князя оставить могу!" А между прочимъ: „приходите, молъ, завтра объ эту же пору, я вамъ отвѣтъ вѣрный дамъ". Хорошо; завтра такъ завтра. Прихожу на другой день, а у нея ужъ и самоваръ на столѣ кипитъ. Чайку не угодно ли? Сѣли, пьемъ чай, разговариваемъ. „Какое положеніе отъ Терентія Прохорыча будетъ? каковъ онъ нравомъ?" Словомъ сказать, обо всемъ обстоятельно дѣвица разспрашиваетъ. Только вдругъ, слышу я, словно по переулку кто ѣдетъ. Ближе да ближе... и вдругъ она какъ вскочитъ! „А вѣдь это, говоритъ, мой князь! спрячьтесь въ спальную, я его мигомъ спроважу". Пихнула она меня въ спальную, а слѣдомъ за тѣмъ и „самъ" нагрянулъ. Слышу, спрашиваетъ: „пришелъ?"—пришелъ! Такъ у меня сердце и захолонуло: попался, значитъ. Выволокъ онъ меня въ ту пору вотъ за эти самые волосы въ горницу, поставилъ къ печкѣ и началъ лущить. Лущитъ-лущитъ по щекамъ, отдохнетъ и начнетъ по зубамъ лущить, потомъ еще отдохнетъ и опять по щекамъ. Да въ носъ, да въ глаза кулакомъ, кровь такъ ручьемъ и льетъ... „Я, говоритъ, твою морду поганую насквозь до самаго затылка проломлю!" И вдругъ въ самые вздохи какъ звѣзданётъ кулакомъ—ну, думаю, убьетъ онъ меня! И убилъ бы, да ужъ прохожіе начали около дома собираться...

Во время разсказа Ванька-Каинъ постепенно входилъ въ такой азартъ, что даже бѣлесоватые глаза его загорались. Со всѣхъ сторонъ слышались восклицанія:

— То-то рыло у тебя сплюснуто!

— То-то трехъ зубовъ у него спереди нѣтъ! это князь его пожаловалъ!

— Что жъ ты съ четвертной-то сдѣлалъ? оброкъ, что-ли, заплатилъ?

— Нѣтъ, братцы, въ ту пору послѣднія моды пришли, я и купилъ себѣ манжеты на заячьемъ мѣху съ отворотами!

— Ха-ха-ха!

Но по мѣрѣ того, какъ росла популярность Ивана, и время, въ свою очередь, наростало. Сентябрь уже подходилъ къ половинѣ; главная масса

полевыхъ работъ отошла; дѣвушки по вечерамъ собирались въ дѣвичьей и сумерничали; вообще весь домъ исподволь переходилъ на зимнее положеніе. Ванька-Каинъ догадывался, что для него готовится что-то недоброе, и догадка эта повидимому начинала оказывать на него нѣкоторое дѣйствіе. Не то чтобъ онъ унялся, но нерѣдко замѣчали, что онъ ходитъ какъ сонный, и только вслѣдствіе сторонняго подстрекательства начинаетъ шутки шутить.

— Всего меня, братцы, ныньче ночью изломало,—жаловался онъ: — голова какъ котелъ, бока болятъ, ноги ноютъ...

— Это тебя князь въ ту пору въ очистку отдѣлалъ!

— Много у меня князей было. Одну съѣзжую ежели сосчитать, такъ иной звѣздъ на небѣ столько не видалъ, сколько спина моя лозановъ приняла!

На его счастье, у матушки случились дѣла въ Москвѣ. Съ отъѣздомъ барыни, опасенія Ваньки-Каина настолько угомонились, что къ нему возвратилась прежняя проказливость. Каждый вечеръ приходилъ онъ въ дѣвичью, ужиналъ вмѣстѣ съ дѣвушками и шутки шутилъ.

— Важно! Москвой запахло!—говорилъ онъ, когда на столъ ставили пустыя щи.

Или когда приносили толокно:

— А это, стало-быть, бламанжей самаго послѣдняго фасона. Кеси-киселя (вѣроятно, qu'est-ce que c'est que cela)—милости просимъ откушать! Нѣтъ, дѣвушки, разъ меня одинъ баринъ бламанжемъ изъ дегтю угостилъ— вотъ такъ штука была! Чуть было нутро у меня не склеилось, да царской водки полштофъ въ меня влили—только тѣмъ и спасли!

— Ишь вретъ!

— Я вру? Это песъ вретъ, а не я. Я, красавицы, однажды на парѐ вилку проглотилъ. Такъ и о сю пору она во мнѣ и сидитъ.

Аннушку-каракатицу эти шутки приводили въ непритворное негодованіе... Вообще шутовство было противно ея природѣ, а сверхъ того Иванъ отвлекалъ вниманіе дѣвичьей отъ ея поученій.

— Не мути, Христа ради! дай хлѣба божьяго поѣсть!—убѣждала она наглеца.

— А вамъ, тетенька, хочется, видно, поговорить, какъ отъ господъ плюхи съ благодарностью слѣдуетъ принимать?—огрызался Ванька-Каинъ: —такъ, по моему, этимъ добромъ и безъ того всѣ здѣсь по-горло сыты! Дѣвушки-красавицы!—обращался онъ къ слушательницамъ:—разскажу я вамъ лучше, какъ я однова ѣздилъ на Моховую, слушать музыку духовую...—И разсказывалъ. И, къ великому огорченію Аннушки, разсказъ его не только не мутилъ дѣвушекъ, но доставлялъ имъ видимое наслажденіе.

Наконецъ матушка воротилась. И едва успѣла поздороваться съ домочадцами и водвориться въ спальнѣ, какъ ужъ справилась, что дѣлаетъ Ванька-Каинъ. Разумѣется, ключница доложила, что онъ отбился отъ рукъ и все время сидьмя-сидѣлъ въ дѣвичьей.

— Ну, больше сидѣть не будетъ! — рѣшительно молвила матушка, и въ тотъ же вечеръ приказала старостѣ, чтобъ назавтра готовить дальнюю подводу.

Въ то время обрядъ отсылки строптивыхъ рабовъ въ рекрутское присутствіе совершался самымъ коварнымъ образомъ. За намѣченнымъ субъектомъ потихоньку слѣдили, чтобъ онъ не бѣжалъ или не повредилъ себѣ чего-нибудь, а затѣмъ въ условленный моментъ внезапно со всѣхъ сторонъ окружали его, набивали на ноги колодки и сдавали съ рукъ на руки отдатчику.

Съ Иваномъ поступили еще коварнѣе. Его разбудили чуть свѣтъ, полусонному связали руки и, забивши въ колодки ноги, взвалили на телѣгу. Черезъ недѣлю отдатчикъ вернулся и доложилъ, что рекрута приняли, но не въ зачетъ, такъ что никакой матеріальной выгоды отъ отдачи на этотъ разъ не получилось. Однако матушка даже выговора отдатчику не сдѣлала: она и тому была рада, что крѣпостная правда восторжествовала...

Прошло нѣсколько лѣтъ. Я уже вышелъ изъ училища и состоялъ на службѣ, какъ въ одно утро мой старый дядька Гаврило вошелъ ко мнѣ въ кабинетъ и объявилъ:

— А къ намъ гость пришелъ. Взойди! ничего, ступай! — прибавилъ онъ, обращаясь къ стоявшему за дверью гостю.

Передо мной предсталъ длинный-длинный, совсѣмъ высохшій скелетъ. Долгое время я вглядывался въ него, силясь припомнить, гдѣ я его видѣлъ, и наконецъ догадался.

— Иванъ?

— Такъ точно, вашескородіе!

— Однако, братъ, отощалъ ты!

— Извольте смотрѣть, вашескородіе!

Съ этими словами онъ раскрылъ ротъ и распялилъ пальцами губы.

— Извольте смотрѣть!—продолжалъ онъ:—прежде только трехъ зубовъ не было, а теперь ни одного почесть нѣтъ!

— Да, маловато. Что же ты дѣлаешь? служишь?

— Такъ точно-съ. При полковомъ лазаретѣ фершаломъ состою. Только не долго мнѣ ужъ служить. Ни одного суставика во мнѣ живого нѣтъ; умирать пора.

Онъ пробылъ у насъ цѣлый день. Гаврило пытался вызвать его на шутки, но Иванъ такъ тоскливо взглянулъ на него при этомъ напоминаніи, что оставалось только, вмѣстѣ съ нимъ, мысленно повторить: умирать надо.

XXI.—Продолженіе портретной галереи домочадцевъ. —Кононъ.

Кононъ не отличался никакими особенными качествами, которыя выдѣляли бы его изъ общей массы дворовыхъ; но такъ какъ въ немъ эта послѣдняя нашла полное олицетвореніе своего сокровеннаго міросозерцанія, то я считаю нелишнимъ посвятить ему нѣсколько страницъ.

Мужская комнатная прислуга была доведена у насъ до минимума, а именно, сколько мнѣ помнится, для всего дома полагалось достаточнымъ не больше двухъ лакеевъ, изъ которыхъ одинъ, Степанъ, исполнялъ обязанности камердинера при отцѣ, а другой, Кононъ, завѣдывалъ буфетомъ. Но, само собой разумѣется, эти спеціальности не мѣшали обоимъ исполнять и всякія другія лакейскія обязанности. Матушка считала лакеевъ, даже по сравненію съ женской прислугой, дармоѣдами по преимуществу, и потому нещадно сокращала штатъ ихъ. Еще я помню время, когда въ передней толпилась порядочная масса мужской прислуги, но мало-по-малу стая старыхъ слугъ рѣдѣла, и выбывавшіе изъ строя люди не замѣнялись новыми.

Кононъ зналъ твердо, что онъ природный малиновецкій дворовый. Кромѣ того, онъ помнилъ, что первоначально его обучали портному мастерству, но такъ какъ портной изъ него вышелъ плохой, то сдѣлали лакеемъ и приставили къ буфету. А завтра, или вообще когда вздумается, его приставятъ стадо пасти—онъ и пастухомъ будетъ. Въ этомъ заключалось все его міросозерцаніе, то сокровенное міросозерцаніе, которое не формулируется, а само собой залегаетъ въ тайникахъ человѣческой души, не освѣщаемой лучомъ сознанія.

Факты представлялись его уму безповоротными, и причина появленія ихъ въ той или другой формѣ, съ тѣмъ или инымъ содержаніемъ, никогда не пробуждала его любознательности. Баринъ въ кабинетѣ сидитъ, барыня приказываетъ или гнѣвается, барчуки учатся, дѣвушки въ пяльцахъ шьютъ или коклюшки перебираютъ, а онъ, Кононъ, ножи чиститъ, на столъ накрываетъ, кушанье подаетъ, зимой печки затопляетъ, смотритъ, какъ бы слишкомъ рано или слишкомъ поздно трубу не закрыть. Вотъ и все. Ежели въ промежуткахъ этихъ преходящихъ явленій случайно выпадетъ свободная минута, онъ пойдетъ въ лакейскую, сядетъ на ларь, разставитъ ноги и чуточку подремлетъ.

— Что̀ ты, Кононъ, дремлешь? — скажетъ ему кто-нибудь:—ты бы лучше посмотрѣлъ, что̀ сала на столѣ въ буфетѣ накопилось, да вычистилъ бы.

— И то пойти вычистить,—молвитъ онъ, возьметъ скребокъ и черезъ полчаса большую-большую груду сальныхъ оскребковъ несетъ въ фартукѣ на дѣвичье крыльцо.

Ежели по дорогѣ увидитъ этотъ ворохъ матушка, то непремѣнно замѣтитъ:

— Давно бы пора, лежебокъ, догадаться! ишь до чего довелъ! Смотрѣть тошно.

На что̀ онъ также непремѣнно возразитъ:

— Не одно, сударыня, дѣло!

Это возраженіе какъ будто свидѣтельствовало, что резонирующая способность не совсѣмъ еще въ немъ угасла; но и оно, пожалуй, не было результатомъ самодѣятельной внутренней работы, а слышалъ онъ, что другіе такъ говорятъ, и машинально повторялъ съ чужихъ словъ.

Вообще вся его жизнь представляла собой какъ бы непрерывное и притомъ безсвязное сновидѣніе. Даже когда онъ настоящимъ манеромъ спалъ, то видѣлъ сны, соотвѣтствующіе его должности. Либо печку топитъ, либо за стуломъ у стараго барина, во время обѣда, стоитъ съ тарелкой подъ мышкой, либо комнату мететъ. По временамъ случалось, что вдругъ, среди ночи, онъ вскочитъ, схватитъ съ-просонокъ кочергу и начнетъ въ холодной печкѣ мѣшать.

— Это въ тебѣ, Кононъ, нечистая сила дѣйствуетъ,—подтрунитъ кто-нибудь надъ нимъ.

— И то лукавый попуталъ!

Плана въ занятіяхъ своихъ онъ не соблюдалъ и передѣлывалъ въ разбивку вообще все, что̀ требовалось по лакейской должности. А ежели что̀ и еще, сверхъ того, прикажутъ, то и это сдѣлаетъ. Вообще никакой личной инициативы не зналъ, ничего, кромѣ заведеннаго, такъ сказать, вошедшаго ему въ плоть и кровь порядка и дѣйствительно случайнаго сторонняго импульса. И никогда не интересовался знать, что̀ изъ его работы вышло, и все ли у него исправно, какъ будто выполненная формальнымъ образомъ лакейская задача сама по себѣ составляетъ нѣчто самостоятельное, не нуждающееся въ провѣркѣ съ практическими результатами.

— Срамъ смотрѣть, какіе ты стаканы на столъ подаешь! — чуть не каждый день напоминали ему. На что̀ онъ съ убѣжденнымъ видомъ неизмѣнно давалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Кажется, перетираю...

Молчальникъ онъ былъ изумительный. Рѣдко-рѣдко съ его языка слетѣлъ какой-нибудь неожиданный вопросъ въ родѣ: „прикажете на столъ накрывать?“ Или: „прикажете сегодня печки топить?“—на что̀ обыкновенно получалось въ отвѣтъ: „одурѣлъ ты, что-ли, о чемъ спрашиваешь?“ Въ большинствѣ случаевъ онъ или безусловно молчалъ, или ограничивался односложными отвѣтами самаго первоначальнаго свойства.

— Холодно сегодня? — спроситъ, напримѣръ, матушка за утреннимъ чаемъ.

— Не замѣтилъ-съ.

— Ишь шкура-то у тебя...

— Извѣстно, зима, а не лѣто.

Даже изъ прислуги онъ ни съ кѣмъ въ разговоры не вступалъ, хотя ему почти вся дворня была родня. Иногда, проходя мимо кого-нибудь, вдругъ остановится, словно вспомнить о чемъ-то хочетъ, но не вспомнитъ, вымолвитъ: „здорово, тетка!“ — и продолжаетъ путь дальше. Впрочемъ это никого не удивляло, потому что и на остальной дворнѣ, въ громадномъ

большинствѣ, лежала та же печать молчанія, обусловившая своего рода общій modus vivendi, которому всѣ безсознательно подчинялись.

По временамъ онъ заходилъ вечеромъ въ дѣвичью (разумѣется, въ отсутствіе матушки, когда больше досуга было), садился гдѣ-нибудь съ краю на ларѣ и слушалъ разсказы Аннушки о подвижникахъ первыхъ временъ христіанства. Но производили ли они на него какое-нибудь впечатлѣніе, и дѣйствительно ли онъ что-нибудь слушалъ—этого никто опредѣлить не могъ. Слушаетъ-слушаетъ, и вдругъ на самомъ интересномъ мѣстѣ зѣвнетъ, перекреститъ ротъ, вымолвитъ: „Господи Іисусе Христе!“ —и уйдетъ дремать въ лакейскую, покуда господа не разойдутся на ночь по своимъ угламъ.

Какое-то гнетущее равнодушіе было написано на его лицѣ; но въ чемъ заключалась тайна этого равнодушія, это даже ему самому едва ли было извѣстно. Во всякомъ случаѣ никто не видалъ на этомъ лицѣ луча не только радости но даже самаго зауряднаго удовольствія. Точно это было не лицо, а застывшая маска. Глядитъ, моргаетъ, носомъ шевелитъ, волосами встряхиваетъ, а какой внутренній процессъ скрывается за этими движеніями — отгадать невозможно.

Нѣкоторое время онъ былъ приставленъ въ качествѣ камердинера къ старому барину, но отецъ не могъ выносить выраженія его лица, и самого Конона не иначе звалъ, какъ каменнымъ идоломъ. Что касается до матушки, то она не обижала его, и даже въ приказаніяхъ была болѣе осторожна, нежели относительно прочей прислуги одного съ Конономъ сокровеннаго міросозерцанія. Такъ что можно было подумать, что она какъ будто его опасается.

— Лѣшій его знаетъ, что̀ у него на умѣ, — говаривала она: — все равно какъ солдатъ по улицѣ со штыкомъ идетъ. Кажется, онъ и смирно идетъ, а тебѣ думается: что̀, ежели ему въ голову вступитъ — возьметъ да заколетъ тебя. Судись, поди, съ нимъ.

Впрочемъ она видѣла, что Кононъ, по мѣрѣ разумѣнія, свое дѣло дѣлаетъ, и понимала, что человѣкъ этотъ не что иное, какъ машина, которую сбивать съ однажды намѣченной колеи безнаказанно нельзя, потому что она, пожалуй, и совсѣмъ перестанетъ дѣйствовать. Но внутренно онъ былъ ей несимпатиченъ. Какъ женщина по природѣ ретивая, она и въ прислугѣ главнѣе всего цѣнила ретивость, и любила только тѣхъ, у кого дѣло, какъ говорится, въ рукахъ горитъ. Поэтому, глядя, какъ Кононъ, болтая руками и вращая недоумѣвающими глазами, бродитъ со щеткой по комнатамъ, не столько выметая ихъ, сколько поднимая пыль столбомъ, она выражалась:

— Ишь, олухъ, бродитъ! словно во снѣ веревки вьетъ! Кажется, такъ бы взяла да щеткой тебя, да щеткой...

Но что̀ всего больше досадовало матушку — это показывавшаяся по временамъ на лицѣ Конона улыбка, не настоящая улыбка, а какое-то подобіе, точно на портретахъ, писанныхъ неискусной рукой крѣпостного живописца:

— Стало-быть есть у него разсудокъ, стало-быть онъ чему-нибудь да смѣется!--ворчала она, съ любопытствомъ наблюдая, какъ это загадочное подобіе улыбки то мелькнетъ, то опять пропадетъ на тонкихъ, обезцвѣченныхъ губахъ „олуха“.

Можно ли было считать Конона „вѣрнымъ“ слугою—этотъ вопросъ никому не приходилъ въ голову. Несомнѣнно, онъ никогда ничего не укралъ, никого не продалъ и даже никому не нагрубилъ, но все это были качества отрицательныя, въ которыхъ внутреннее его существо не принимало никакого участія, и которыхъ поэтому никто въ заслугу ему не ставилъ. Поручить ему все-таки ничего было нельзя, потому что въ такомъ случаѣ потребовалось бы войти въ такія мелкія подробности, предугадать которыя заранѣе совсѣмъ невозможно. Ежели же всего до послѣдней мелочи ему впередъ не пересказать, то онъ, при первой же непредвидѣнности, или совсѣмъ станетъ втупикъ, или такъ напутаетъ, что и мудрецу распутать не подъ силу. Ничего *отъ себя* онъ придумать не былъ въ состояніи, ни малѣйшей сообразительностью не обладалъ. Онъ былъ лакей въ буквальномъ смыслѣ этого слова —и ничего больше.

Поэтому его постоянно держали въ лакейской, не давая внѣ ея никакого хода. И матушка, которая очень дорожила усердными и честными слугами, очень вѣрно выражалась о немъ, говоря:

— Вотъ онъ и честный, да что̀ въ немъ!

И наружность онъ имѣлъ такую, что, несмотря на несомнѣнно лакейскій типъ, представительнымъ лакеемъ его все-таки назвать было нельзя. Средняго роста, узкій въ плечахъ, поджарый, съ впалою грудью, онъ имѣлъ очень жалкую фигуру, прислуживая за столомъ, и едва-едва держался нетвердыми ногами, стоя въ ливреѣ на запяткахъ за возкомъ и рискуя при первомъ же ухабѣ растянуться на снѣгу. Въ Москвѣ, когда начались выѣзды, это сдѣлалось въ особенности замѣтнымъ, и сестрица отчасти ему приписывала свои неудачи въ поискахъ за женихами. Ни прислужить по столичному, ни возвѣстить, какъ слѣдуетъ, пріѣздъ гостя онъ не умѣлъ, безпощадно перевиралъ фамиліи, перепутывалъ названія улицъ и въ довершеніе всего перенесъ въ московскую квартиру ту же нестерпимую неопрятность, которая отличала его въ деревнѣ. Словомъ сказать, только привычка и крайняя неприхотливость объясняли присутствіе въ большомъ городѣ подобнаго деревенскаго увальня, даже среди такой скромной обстановки, какова была наша.

Ходилъ онъ въ деревнѣ, по буднямъ, въ широкомъ синемъ затрапезномъ сюртукѣ, въ сѣрыхъ нанковыхъ штанахъ и въ туфляхъ на босу ногу. Такова была общая обмундировка мужской прислуги въ нашемъ домѣ. Но по праздникамъ надѣвалъ синюю суконную пару и выростковые сапоги, и гоголемъ выступалъ въ этой одеждѣ по комнатамъ, заглядывая мимоходомъ въ зеркала̀ и чаще, чѣмъ въ будни, посѣщая дѣвичью. Очевидно, въ немъ таилась въ зародышѣ слабость къ щегольству; но и этотъ зародышъ, подобно всѣмъ прочимъ качествамъ, тускло мерцавшимъ въ глубинахъ его существа, какъ-то не осуществился, такъ что если кто изъ дѣвушекъ замѣчалъ: „Э! да какой ты сегодня франтъ!“ — то онъ, какъ и всегда, оставлялъ замѣчаніе безъ отвѣта, или же отвѣчалъ кратко:

— Извѣстно... праздникъ!

По воскресеньямъ онъ аккуратно ходилъ къ обѣднѣ. Съ первымъ ударомъ благовѣста выйдетъ изъ дома и взбирается въ одиночку по пригорку;

но идетъ не по дорогѣ, а сбоку по травѣ, чтобы не запылить сапогъ. Придетъ въ церковь, станетъ сначала передъ царскими дверьми, поклонится на всѣ четыре стороны и затѣмъ пріютится на лѣвомъ клиросѣ. Тамъ положитъ руку на перила, чтобы всѣ видѣли рукавъ его сюртука, и въ этомъ положеніи неподвижно стоитъ до конца службы.

— Ты что-жъ это, олухъ, цѣлую обѣдню лба не перекрестилъ?—прикрикнетъ на него матушка, возвратясь изъ церкви.

— Такъ словно...

— „Такъ словно"! смотрите, какой резонъ выдумалъ! вотъ я тебя, „такъ словно", въ будущее воскресенье въ церковь не пущу! Сиди дома, любуйся собой... щеголь!

Но никакія вразумленія не дѣйствовали, и въ слѣдующій праздникъ та же исторія повторялась съ буквальною точностью. Не разъ, въ виду подобныхъ фактовъ, матушка заподозрѣвала Конона въ затаенной строптивости, но, по размышленіи, оставила свои подозрѣнія и убѣдилась, что гораздо проще объяснить его поведеніе тѣмъ, что онъ природный „олухъ". Эта кличка была какъ разъ ему впору; она вполнѣ исчерпывала его внутреннее содержаніе и опредѣляла всѣ поступки.

Конечно, постоянно имѣть передъ глазами „олуха" было своего рода божескимъ наказаніемъ; но такъ какъ всѣ кругомъ такъ жили, всѣ такими же олухами были окружены, то приходилось мириться съ этимъ фактомъ. Все одно: хоть ты ему говори, хоть нѣтъ, — ни слова, ни даже наказанія, ничто не подѣйствуетъ, и олухъ, самъ того не понимая, поставитъ-таки на своемъ. Хорошо, хоть вина не пьетъ—и за то спасибо.

— Сказывали мнѣ, что за границей машина такая выдумана,—завидовала нерѣдко матушка:—она и на столъ накрываетъ, и кушанье подаетъ, а господа сядутъ за столъ и кушаютъ! Вотъ кабы въ Москву такую машину привезли, кажется, ничего бы не пожалѣла, а ужъ купила бы! И сейчасъ бы всѣхъ этихъ олуховъ съ глазъ долой!

Но машину не привозили, а доморощенный олухъ мозолилъ да мозолилъ глаза властной барыни. И каждый день прикоплялъ новые слои сала на буфетномъ столѣ, каждый день плевалъ въ толченый кирпичъ, служившій для чищенія ножей, и дышалъ въ чашки, изъ которыхъ „господа" пили чай...

— Пёсъ ты безчувственный! долго ли я отъ тебя надругательства буду терпѣть?—выговаривала матушка, заставая его въ подобныхъ занятіяхъ.

— Это какъ вамъ, сударыня, будетъ угодно.

Кононъ былъ холостъ; но вопросъ о томъ, какъ онъ относился къ женскому полу, составлялъ его личную тайну, которою никто не интересовался, какъ и вообще всѣмъ, что̀ касалось его внутреннихъ побужденій. Хранилъ ли онъ что-нибудь въ глубинахъ своего существа, или тамъ было пустое мѣсто — кому какое до этого дѣло? Извѣстны были впрочемъ два факта: во-первыхъ, что въ лѣтописяхъ малиновецкой усадьбы, достаточно-таки обильныхъ сказаніями о послѣдствіяхъ тайныхъ дѣвичьихъ вожделѣній, никогда не упоминалось имя Конона въ качествѣ соучастника, и во-вторыхъ, что за всѣмъ тѣмъ онъ, какъ я сказалъ выше, любилъ въ праздничные дни, одѣв-

шись въ суконную пару, заглянуть въ дѣвичью, и стало-быть стремленіе къ прекрасной половинѣ человѣческаго рода не совсѣмъ ему было чуждо.

Во всякомъ случаѣ, ежели смолоду, и когда притомъ браки между дворовыми разрѣшались довольно свободно, онъ ни разу не выказалъ желанія жениться, то тѣмъ менѣе можно было предположить въ немъ подобное намѣреніе въ такомъ возрастѣ, когда онъ уже считалъ, по малой мѣрѣ, пятьдесятъ лѣтъ. Но чего никто не ждалъ, тò именно и случилось.

Однажды утромъ, одѣвшись въ праздничную пару (хотя были будни), онъ безъ доклада явился въ матушкину комнату и всталъ передъ ея письменнымъ столомъ, заложивъ руки за спину.

— Опомнись! куда пришелъ? зачѣмъ?—удивилась матушка.

— Имѣю желаніе въ законъ вступить,—молвилъ онъ, не теряя словъ для предварительныхъ объясненій.

— Въ какой законъ? чтò ты, мелево, мелешь?

— Извѣстно, въ законъ... какъ прочіе, такъ и я... жениться позвольте.

— То-то, я смотрю, ты въ суконную пару вырядился... Чтò вдругъ приспичило?

— Желаніе имѣю-съ.

— А ты бы на себя въ зеркало посмотрѣлъ... женихъ? Кого же ты осчастливить собой задумалъ?

— Матрена, стало-быть, пойдетъ.

— „Стало-быть"... Ишь вѣдь, олухъ, словно во снѣ бредитъ! Спрашивалъ ты ее, что-ли?

— Никакъ нѣтъ-съ. Все равно, изъ господской воли не выйдетъ.

— Держи карманъ! Такъ я за тебя дѣвку силкòмъ замужъ и выдала!

— Все равно-съ. Матрена не пойдетъ—Катюшка пойдетъ!

Матушка даже вскочила: до такой степени ее въ одну минуту вывело изъ себя неизреченное остолопство, съ которымъ Кононъ, безъ всякаго признака мысли, переходилъ отъ одного предположенія къ другому.

— Уйди!—крикнула она на него.—Эй, дѣвки! кто тамъ? Кто его ко мнѣ смѣлъ пустить?

Кононъ молча ретировался. Ни малѣйшаго чувства не отразилось на застывшемъ лицѣ его, точно онъ совершилъ такой же обрядъ, какъ чищеніе ножей, метеніе комнатъ и проч. Сдѣлалъ свое дѣло—и съ плечъ долой.

Тѣмъ не менѣе матушка задумалась. Хотя очень часто Кононъ сердилъ ее своею безтолковостью, но въ то же время онъ былъ безотвѣтенъ и никогда ни о чемъ не просилъ. Какъ-то совѣстно было отказать въ первой просьбѣ человѣку, который съ утра до вечера маялся на барской службѣ, ни однимъ словомъ не заявляя, что служба эта ему надоѣла или трудна. Поэтому она не только не подняла Конона на зубокъ, какъ это обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ дѣлала, но никому не сообщила о случившемся и вообще рѣшила держать себя сдержанно. И я увѣренъ, что еслибы Кононъ возобновилъ свою просьбу, то несомнѣнно разрѣшеніе было бы ему дано.

Но прошла недѣля, прошла другая — Кононъ молчалъ. Очевидно, на-

мѣреніе жениться явилось въ немъ плодомъ той же путаницы, которая постоянно бродила въ его головѣ. Въ короткое время эта путаница настолько уже улеглась, что онъ и самъ не помнилъ, точно ли онъ собирался жениться, или видѣлъ это только во снѣ. По прежнему продолжалъ онъ двигаться изъ лакейской въ буфетъ и обратно, не выказывая при этомъ даже тѣни неудовольствія. Это нелѣпое спокойствіе до того заинтересовало матушку, что она рѣшилась возобновить прерванную бесѣду.

— Видно, ты, Кононъ ужъ отдумалъ жениться? — спросила она его однажды.

— Это какъ вамъ угодно.

— Подумай! Тебѣ ужъ всѣ пятьдесятъ стукнуло — не поздно ли о женѣ думать?

— Извѣстно...

— Задумалъ жениться, а спросить тебя, пойдетъ ли за тебя кто изъ дѣвушекъ, — ты и самъ не отвѣтишь.

— Отчего не пойти — пойдутъ.

— Кто пойдетъ — говори!

— Изъ господской воли ни одна не выйдетъ. Которую сами изволите назначить, та и пойдетъ.

— А ежели я никого не назначу?

— Это какъ вамъ угодно.

— Такъ вотъ что. Черезъ три мѣсяца мы въ Москву на всю зиму поѣдемъ, я и тебя съ собой взять собралась. Если ты женишься, придется тебя здѣсь оставить, а самой въ Москвѣ безъ тебя какъ безъ рукъ маяться. Посуди, по-божески ли такъ будетъ?

Блѣдная улыбка скользнула на мгновеніе на губахъ Конона: слова матушки: „безъ тебя какъ безъ рукъ“, повидимому, польстили ему. Но черезъ секунду лицо его опять затянулось словно паутиной, и съ языка слетѣлъ обычный загадочный отвѣтъ:

— Извѣстно...

— Ну, ступай. Брось эту блажь, не думай о ней.

На этомъ и кончились матримоніальныя поползновенія Конона. Но семья наша не успѣла еще собраться въ Москву, какъ въ дѣвичьей случилось происшествіе, которое всѣхъ заставило смотрѣть на „олуха“ совсѣмъ другими глазами. Катюшка оказалась съ прибылью, и когда объ этомъ произведено было изслѣдованіе, то выяснилось, что соучастникомъ въ Катюшкиномъ прегрѣшеніи былъ... Кононъ!

Матушка такъ и ахнула.

Кононъ служилъ въ нашемъ домѣ съ двадцатилѣтняго возраста (матушка уже застала его лакеемъ), изо дня въ день дѣлая одно и то же лакейское дѣло и не измѣняясь ни внутренно, ни наружно. Даже черные волосы его не сѣдѣли и густою прядью, словно парикъ, прилипли къ головѣ, съ висками, зачесанными къ угламъ глазъ. Эта неизмѣняемость въ значительной степени упрощала отношенія къ нему. Проходили годы, десятки лѣтъ, а Кононъ былъ все тотъ же Кононъ, котораго не совѣстно было назвать Конькой или Коняшкой, какъ и встарину, когда ему было двадцать лѣтъ. Ни-

кому не приходило на мысль, что онъ старѣется, подобно прочимъ, и что лакейская сутолока, быть можетъ, ему ужъ не подъ силу...

Между тѣмъ вокругъ все старѣлось и ветшало. Толпа старыхъ слугъ рѣдѣла; однихъ снесли на погостъ; другіе, лежа на печи, ждали очереди. Умеръ староста Ѳедотъ; умеръ кучеръ Алемпій; отпросилась умирать въ Заболотье ключница Акулина; дѣвчонки, еще такъ недавно мелькавшія на побѣгушкахъ, сдѣлались перезрѣлыми дѣвами...

Наконецъ скончался и старикъ-отецъ, достигнувъ глубокой старости, а вскорѣ послѣ его смерти въ народѣ пронеслись слухи о предстоящей волѣ...

Матушка затосковала. Ей тоже шло подъ-пятьдесятъ, и она чувствовала, что бразды правленія готовы выскользнуть изъ ея слабѣющихъ рукъ. По временамъ она догадывалась, что ее обманываютъ, и сознавала себя безсильною противъ ухищреній невѣрныхъ рабовъ. Но, разумѣется, всего болѣе ее смутила молва, что крѣпостное право уже взяло все, что̀ могло взять, и близится къ неминуемому разсчету...

— Такъ, чай, языки по пустому чешутъ! И прежде брехали, и теперь то же самое брешутъ!—утѣшала она себя, но въ то же время тайный голосъ подсказывалъ ей, что на этотъ разъ брехотня похожа на правду.

Не будучи въ состояніи угомонить этотъ тайный голосъ, она безцѣльно бродила по опустѣлымъ комнатамъ, вглядывалась въ церковь, подъ сѣнью которой раскинулось сельское кладбище, и припоминала. Старикъ-мужъ въ могилѣ, дѣти разбрелись во всѣ стороны, старые слуги вымерли, къ новымъ она примѣниться не можетъ... не пора ли и ей очистить мѣсто для другихъ?..

И вдругъ на-встрѣчу идетъ Кононъ и докладываетъ, что подано кушать. Онъ такъ же бодръ, какъ былъ въ незапамятныя времена, и съ такою же регулярностью продолжаетъ дѣлать свое лакейское дѣло.

— И ему, поди, семьдесятъ лѣтъ есть, — мелькаетъ у матушки въ головѣ:—а вотъ онъ еще какой!

Однакожъ очередь и его не минула. Смерть впрочемъ застигла его совершенно случайно. Шелъ онъ однажды по лѣстницѣ, поскользнулся и переломилъ ногу. Костоправъ попался плохой, сростилъ ногу небрежно; обнаружилась костоѣда, и Кононъ слегъ.

Вѣроятно боль была очень мучительна, потому что только тутъ догадались, что и Кононъ можетъ чувствовать и страдать.

Однажды матушкѣ доложили, что Кононъ отходитъ. Она поспѣшила въ каморку, гдѣ онъ лежалъ, распростертый на войлокѣ, служившемъ вмѣсто постели, и наклонилась надъ нимъ.

— Что̀, Кононъ? тяжко?—спросила она.

— Извѣстно... смерть.

XXII.—Безсчастная Матренка.

Я не разъ упоминалъ, что когда отецъ былъ холостъ, и даже лѣтъ пятнадцать спустя послѣ его женитьбы, покуда матушка была молода, браки между дворовыми совершались безпрепятственно. Еще въ моей памяти живы (хотя я былъ тогда очень малъ) дѣвичники, которые весело справлялись въ домѣ наканунѣ свадьбы. Вечеромъ, часовъ съ шести, въ залѣ накрывали большой столъ и уставляли его дешевыми сластями и графинами съ медовой сытòю. Въ головѣ стола сажали жениха съ невѣстой, кругомъ усаживались сѣнныя дѣвушки; но участвовала ли въ этомъ праздникѣ мужская прислуга — не помню. Дѣвушки пѣли пѣсни и величали нареченныхъ; господа отъ времени до времени заглядывали въ залъ и прохаживались кругомъ стола. Часамъ къ десяти всѣ расходились.

Но чѣмъ глубже погружалась матушка въ хозяйственные интересы, тѣмъ сложнѣе и придирчивѣе становились ея требованія къ труду дворовыхъ. Дворня въ ея понятіяхъ представлялась чѣмъ-то въ родѣ опричины, которая должна быть чужда какому бы то ни было интересу, кромѣ господскаго, и браки при такомъ взглядѣ являлись *невыгодными*. Семейный слуга — не слуга: вотъ афоризмъ, который она себѣ выработала и которому рѣшилась слѣдовать неуклонно. Отецъ называлъ эту систему системой прекращенія рода человѣческаго, и на первыхъ порахъ противился ей; но матушка, однажды принявъ рѣшеніе, проводила его до конца, и возраженія старика-мужа на этотъ разъ, какъ и всегда, остались безъ послѣдствій.

Съ тѣхъ поръ малиновецкая дѣвичья сдѣлалась ареною тайныхъ вожделѣній и сомнительнаго свойства исторій, совершенно непригодныхъ въ домѣ, въ которомъ было много дѣтей.

Съ Матренкой, когда она въ первый разъ оказалась „съ прибылью“, поступили, сравнительно, довольно милостиво.

— Солдатикъ бѣглый въ лѣсу... въ ту пору ходили по ягоды...—безсвязно лепетала она, стараясь оправдать свой поступокъ.

— Не вѣтромъ ли надуло?—рѣзко оборвала ее матушка.

Тѣмъ не менѣе на первый разъ она рѣшилась быть снисходительною. Матренку сослали на скотную, и, когда она оправилась, возвратили въ дѣвичью. А приблуднаго сына окрестили, назвали Макаромъ (всѣхъ приблудныхъ называли этимъ именемъ) и отдали въ деревню къ бездѣтному мужику „въ дѣти“.

— Жаль тебѣ, Матренка, ребеночка?—спрашивали мы ее.

— Чего жалѣть! Тамъ ему, у мужичка, хорошо,—отвѣчала она тономъ, изъ котораго явствовало, что рѣчь идетъ о глухомъ фактѣ, которому предстояло только безусловно покориться.

— А будешь ты къ нему ходить?

— Развѣ маменька ваша позволитъ!

— Да ты украдкой. Вотъ маменька въ Заболотье уѣдетъ, ты и сходи...

— Нѣтъ ужъ... чтò!

Но когда она во второй разъ оказалась виноватою, то было рѣшено не допускать никакихъ послабленій. Она впрочемъ и сама это предчувствовала: до послѣдней крайности скрывала свой грѣхъ, словно надѣялась, что совершится какое-нибудь чудо. Но въ то же время она понимала, что чуда никакого не будетъ, и бродила задумчивая, сосредоточенная. Примѣры были у нея въ памяти, примѣры настолько жестокіе и неумолимые, что при одной мысли о нихъ становилось жутко. Въ виду этихъ примѣровъ она, быть можетъ, нѣчто обдумывала. Но за ней уже пристально слѣдили, опасаясь, чтобы она чего-нибудь надъ собой не сдѣлала, и въ то же время не допуская мысли, чтобы виноватая могла ускользнуть отъ заслуженнаго наказанія. Съ этою цѣлью матушка заранѣе написала старостѣ въ отцовскую украинскую деревнюшку, чтобы выслалъ самаго что-ни-на-есть плохого мальчишку-гаденка, лишь бы законныя лѣта имѣлъ. Она не забыла, что однажды ужъ помирволила Матренкѣ, и рѣшилась поступить съ неблагодарною со всею неумолимостью.

Матренкѣ восемнадцать лѣтъ. Взяли ее въ господскій домъ еще крохотною, когда она, лишившись отца и матери, коренныхъ малиновецкихъ дворовыхъ, очутилась круглою сиротой. Тутъ она, въ дѣвичьей, на пустыхъ щахъ да на толокнѣ, и выросла. Это добрая, покорная и ласковая дѣвушка, которую не только товарки, но и господскія дѣти любили. Красивою ее нельзя назвать, но при невысокомъ уровнѣ красоты среди малиновецкой женской прислуги она можетъ нравиться. Характеръ у нея веселый, отзывчивый, что̀ очень рѣзко выдѣляется на общемъ фонѣ унынія, господствующемъ въ дѣвичьей. Но уже когда она въ первый разъ сдѣлалась матерью, веселость съ нея какъ рукой сняло, а теперь, когда ее во второй разъ грѣхъ попуталъ, она съ первой же минуты, какъ убѣдилась, что бѣды не миновать, совсѣмъ упала духомъ.

И точно, бѣда надвигалась. Несомнѣнные признаки убѣдили Матренку, что вина ея всѣмъ извѣстна. Товарки взглядывали исподлобья, когда она проходила; ключница Акулина сомнительно покачивала головой; барыня, завидѣвши ее, никогда не пропускала случая, чтобы не назвать ее „бѣглой солдаткой“. Но никто еще прямо ничего не говорилъ. Только барчукъ Степанъ Васильевичъ однажды остановилъ ее и съ свойственнымъ ему безсердечіемъ крикнулъ:

— Что̀, Матренка, опять вѣтромъ надуло?

Такъ-таки въ упоръ и сказалъ, не посовѣстился... А она между тѣмъ ничего Степану Васильичу дурного не сдѣлала. Напротивъ, даже жалѣла его, потому что никто въ домѣ, ни матушка, ни гувернантки, его не жалѣли и всѣ называли балбесомъ.

Новый грѣхъ напомнилъ Матренкѣ и о старомъ грѣхѣ. Проснулось чувство матери. Сынъ у нея былъ, хоть и не „настоящій“, а все-таки сынъ... Гдѣ-то онъ теперь, Макарка безсчастный? лежитъ, чай, мокрый, въ зыбкѣ, да сосетъ соску изъ ржаного хлѣба... Правда, что Ненила, которой его въ дѣти отдали, доброй бабой слыла, да вѣдь и у добрыхъ людей по чужомъ ребенкѣ сердце развѣ болитъ? Добра-добра, а все-таки не родная мать. Узнаетъ ли когда-нибудь Макарка, что у него своя, кровная мать была? Или, быть можетъ, она такъ и умретъ, не сказавшись сынку!

Что побудило ее пойти на грѣхъ? склонность ли сердечная, или просто молодая кровь заговорила? Думается, что послѣднее предположеніе вѣрнѣе. Въ той средѣ, въ которой она жила, въ той каторгѣ, которая не давала ни минуты свободной, не существовало даже условій, при которыхъ могла бы развиться настоящая сердечная склонность. Дворня представляла собой сборище подъяремныхъ звѣрей, которые и вожделѣли какъ звѣри. Вожделѣли урывками, озираясь по сторонамъ, не дозволяя себѣ лишней ласки и разбѣгаясь, какъ только животный инстинктъ былъ удовлетворенъ. Встрѣтился Ермолай-шорникъ—инстинктъ устремился къ нему; но еслибы вмѣсто Ермолая явился ткачъ Дмитрій — инстинктъ не отвернулся бы и отъ него. Одна разница со звѣрями: послѣдніе вожделѣютъ безнаказанно, а она, „дѣвка" Матренка, должна за свои вожделѣнія ждать кары.

То ли дѣло господа! Живутъ какъ вздумается, ни на что имъ запрета нѣтъ. И таиться имъ не въ чемъ, потому что они въ свою пользу законъ отмежевали. А рабамъ нѣтъ закона; въ беззаконіи они родились, въ беззаконіи и умереть должны; и если по временамъ пытаются окольнымъ путемъ войти въ заповѣдную область, осѣняемую закономъ, то господа не находятъ достаточной казни, которая могла бы искупить дерзновенное посягательство.

Увы! нѣтъ для раба иного закона, кромѣ беззаконія. Съ печатью беззаконія онъ явился на свѣтъ, съ нею промаячилъ постылую жизнь и съ нею же обязывается сойти въ могилу. Только за предѣлами послѣдней, какъ увѣряетъ Аннушка, возсіяетъ для него присносущій свѣтъ Христовъ... Ахъ, Аннушка, Аннушка!

. . . . . .

Наконецъ все выяснилось. Матренка созналась, что находится въ четвертомъ мѣсяцѣ беременности, но при этомъ до такой степени была увѣрена въ неизбѣжности предстоящей казни, что даже слова о пощадѣ не вымолвила.

— Ну, теперь жди жениха и собирайся въ дальній путь!—сказала ей матушка.

Матренку одѣли въ затрапезное платье, вывороченное наизнанку, и сняли съ нея передникъ, чтобы беременность для всѣхъ была очевидна (въ числѣ этихъ „всѣхъ" были и господскія дѣти). Вѣроятно этимъ хотѣли дѣйствовать на дѣвичій стыдъ, забывая, что имѣли дѣло съ существами, которыя отъ рожденія были фаталистически отмѣчены печатью звѣринаго образа. Сверхъ того, виноватой запретили показываться на глаза старому барину, отъ котораго вообще скрывали подобнаго рода происшествія, изъ опасенія, чтобы онъ не „взбунтовался" и не помѣшалъ Немезидѣ выполнить свое дѣло.

Чувствовала ли Матренка стыдъ? На этотъ вопросъ можно скорѣе отвѣтить отрицательно. Но несомнѣнно, что перспектива, которая, какъ можно было догадаться изъ словъ матушки, ждала впереди, заставила ее сильно задуматься. Какого жениха ей готовятъ? Куда, въ какой дальній путь снаряжаться велятъ? Ежели, напримѣръ, въ вологодскую деревню, то, сказываютъ, тамъ мужики исправные, и дѣвушка Наташа, которую туда, тоже за такія дѣла, замужъ выдали, писала, что живетъ съ мужемъ хорошо, ѣстъ до-сыта и завсе зимой въ лисьей шубѣ ходитъ. Но матушка въ подобныхъ случаяхъ

хранила свои распоряженія въ такой тайнѣ, что проникнуть въ ея намѣренія было невозможно. Извѣстно было одно: что она не только строга, но и изобрѣтательна.

Женихъ между тѣмъ не являлся, а матушку вызвали въ губернскій городъ, гдѣ въ сотый разъ слушалось одно изъ многихъ тяжебныхъ дѣлъ, которыя она вела. Матренка временно повеселѣла; дворовые уже не ограничивались шопотомъ, а открыто высказывали сожалѣніе, и это ободрило ее.

Но вотъ однимъ утромъ пришелъ въ дѣвичью Ѳедотъ и сообщилъ Акулинѣ, чтобъ Матренка готовилась: изъ Украйны пріѣхалъ женихъ. Распорядиться, за отсутствіемъ матушки, было некому, но общее любопытство было такъ возбуждено, что Ѳедота упросили показать жениха, когда баринъ послѣ обѣда ляжетъ отдыхать. Даже мы, дѣти, высыпали въ дѣвичью посмотрѣть на жениха, узнавши, что его привели.

Женихъ былъ такъ малъ ростомъ, до того глядѣлъ мальчишкой, что никакъ нельзя было дать ему больше пятнадцати лѣтъ. На немъ былъ новенькій съ иголочки азямъ сѣраго крестьянскаго сукна; на ногахъ—новыя лапти. Атмосфера господскихъ хоромъ до того отуманила его, что онъ, какъ окаменѣлый, стоялъ, разинувъ ротъ, у входной двери. Даже Акулина, какъ ни свыклась съ сюрпризами, которые всегда были на-готовѣ у матушки, ахнула, взглянувъ на него.

— Тебѣ который же годъ? — спросила она его, внезапно проникаясь глубокимъ состраданіемъ къ Матренкѣ,

— Объ Рождествѣ осьмнадцать минуло,—отвѣтилъ онъ робко.

— Ну, признаться...

Матренка совсѣмъ взволновалась.

— Ни за что въ свѣтѣ я за тебя, за гадёнка, не пойду! — кричала она, подступая къ жениху съ кулаками:—такъ и въ церкви попу объявлю: не согласна! А ежели силкомъ выдадутъ, такъ я — и до мѣста доѣхать не успѣемъ — тебя изведу!

Жениха слегка передернуло; онъ исподлобья взглядывалъ на Матренкинъ животъ и молчалъ.

— Слышишь! — продолжала волноваться невѣста: — такъ ты и знай! Лучше добромъ уѣзжай отсюда, а ужъ я что сказала, то сдѣлаю! не пойду я за тебя! не пойду!

— Да и мнѣ неохота,—пробормоталъ мальчишка мрачно.

— Зачѣмъ же ты ѣхалъ, постылый?

— Староста велѣлъ... оттого...

— Ступай съ моихъ глазъ! ступай!

Мальчишка повернулся и вышелъ. Матренка заплакала. Всего можно было ожидать, но не такого надругательства. Ей не приходило въ голову, что это надругательство гораздо мучительнѣе настигаетъ ничѣмъ неповиннаго мальчишку, нежели ее. Цѣлый день она ругалась и проклинала, безпрерывно ударяя себя животомъ о столъ, съ намѣреніемъ произвести выкидышъ. Товарки старались утѣшить ее.

— Небось, еще выровняется!—говорила Акулина:—годка два пройдетъ, гренадеръ будетъ. Ему еще долго рости...

— Ихняя сторона—хлѣбная!—увѣряли дѣвушки:—скирдовъ, скирдовъ, сказываютъ, наставлено столько, словно городъ у околицы выстроенъ!

— Гусей мужички держатъ, утокъ, свиней, перепелокъ ловятъ. Убоину круглый годъ во щахъ ѣдятъ.

— Гадёнокъ! гадёнокъ! гадёнокъ!—вопила въ отвѣтъ Матренка, заливаясь слезами.

На другой день однако она какъ будто притихла. Убѣжденія и утѣшенія возобновились и начали оказывать дѣйствіе.

— Слушай-ка ты меня!—уговаривала ее Акулина. — Все равно тебѣ не миновать замужъ за него выходить, такъ вотъ что̀ ты сдѣлай: сходи ужо̀ къ нему, да и поговори съ нимъ ладкомъ. Каковы у него старики, хорошо ли живутъ, простятъ ли тебя, нѣтъ ли въ домѣ снохъ, зятевей. Да и къ нему самому подластись. Онъ только ростомъ невеликъ, а мальчишечка—ничего.

— Въ па-нё-вѣ буду ходить...—всхлипывала въ отвѣтъ Матренка.

— Чтожъ что въ панёвѣ! И всѣ бабы такъ ходятъ. Будешь баба, по-бабьему и одѣваться будешь. Станешь бабью работу работать, по домашеству старикамъ помогать — вотъ и обойдется у васъ. Неужто-жъ лучше, съ утра до вечера, не разгибаючи спины, за пяльцами сидѣть?

— Извѣстно, хуже,—подтверждала вся дѣвичья.

— Эй, послушайся, Матренка! Онъ вѣдь тоже человѣкъ подневольный; ему и во снѣ не снилось, что ты забеременѣла, а онъ, ни дай, ни вынеси за что̀, долженъ чужой грѣхъ на себя взять. Можетъ, онъ и сейчасъ сидитъ въ застольной да плачетъ!

— Они меня смертнымъ боемъ будутъ бить...

— Ничего, не убьютъ. Извѣстно, старики поучатъ сначала, а потомъ увидятъ, что ты имъ не супротивница—и оставятъ. Сходи-ка, сходи!

Матренка послушалась. Послѣ обѣда пошла въ застольную, въ которой на ея счастье никого не было, кромѣ кухарки. Женихъ лежалъ, растянувшись на лавкѣ, и спалъ.

— Егорушко!—окликнула она его, стараясь отыскать въ своемъ голосѣ ласковые тоны.

Егорушка всталъ и недоумѣвающими глазами уперся въ ея животъ, точно ничто другое въ ней не интересовало его.

— Господи! да никакъ онъ все тотъ же, что и вчера! — мелькнуло въ ея головѣ, но она перемогла себя и продолжала: — Я съ тобой, Егорушка, говорить пришла...

— Пришла?—машинально повторилъ онъ за нею.

— Пришла прощенья у тебя выпросить. Хоть и не своей волей я за тебя замужъ иду, а все-таки, кабы не грѣхъ мой, ты бы по своей волѣ невѣсту за себя взялъ, на людей смотрѣть не стыдился бы.

— Неохота мнѣ тебя брать; нечестная ты. Буду у господъ милости просить.

— Все одно; барыня что̀ сказала, то̀ безпремѣнно сдѣлаетъ. Лучше ужъ прости ты меня!

— Не въ чемъ мнѣ тебя прощать; нечестная ты—вотъ и все. Прòпа-

сти на васъ, дѣвокъ, нѣтъ: бѣгаете, высуня языкъ, да любовниковъ ищете... Какъ я тебя съ такимъ горбомъ къ старикамъ своимъ привезу!

— А люты у тебя старики?

Матренка съ тоскою глядѣла на жениха, ища уловить въ его глазахъ хоть искру сочувствія. Но Егорушка даже не отвѣтилъ на ея вопросъ и угрюмо промолвилъ:

— Была ужъ у насъ такая—Варварой звали... тоже съ кузовомъ привезли... Не долго выжила.

— Извели?

— Сама догадалась, извелась.

— Стало-быть, ты меня не простишь?

— Сказалъ: не въ чемъ мнѣ тебя прощать. Горькій я!..

Егорушка положилъ голову на столъ и заплакалъ...

— Любить тебя буду,—шептала Матренка, присаживаясь къ нему:— беречи буду. Вѣтру на тебя вѣнуть не дамъ; всякую твою вину на себя приму! что ни прикажешь, все исполню!

Слезы жениха окончательно разбудили ее. Она поняла, что ради нея этотъ человѣкъ, еще почти ребенокъ, погибнуть долженъ, и эта горькая мысль, словно электрическій токъ, болѣзненно пронизывала все ея существо.

— Тяжко мнѣ, мочи нѣтъ, тяжко! — продолжала она: — какъ я къ твоимъ старикамъ такая явлюсь!

Она все ближе тѣснилась къ жениху, пытаясь обнять его, но онъ, не перемѣняя положенія, грубо оттолкнулъ ее локтемъ.

— Не висни! не трогай!—сказалъ онъ брезгливо.

— Порѣши ты меня! убей! лучше теперь убей, нежели тамъ меня каждый день изводить будутъ!

Онъ поднялъ голову и взглянулъ на нее. Ей показалось, что онъ вдругъ на нѣсколько лѣтъ постарѣлъ: до такой степени молодое лицо его исказилось ненавистью и злобой.

— Такъ неужто-жъ тебя жалѣть... поскуду! — прошипѣлъ онъ, и съ этими словами всталъ и вышелъ изъ горницы.

Попытка примиренія упала сама собой; не о чемъ было дальше рѣчь вести. Выводъ представлялся во всей жестокой своей наготѣ: ни той, ни другой сторонѣ не предстояло иного выхода, кромѣ того, который отравлялъ обоё существованія. Надъ обоими тяготѣла загадка, которая для Матренки называлась „виною“, а для Егорушки являлась одною изъ тѣхъ неистовыхъ случайностей, которыми до краевъ переполнено было крѣпостное право.

Матренка уже не дѣлала дальнѣйшихъ попытокъ къ сближенію съ женихомъ. Она воротилась въ домъ, когда уже засвѣтили огонь, и молча, вмѣстѣ съ другими, сѣла за пряжу. По лицу ея товарки сразу увидали, что она „прощенья“ не принесла.

— Не смыслитъ еще онъ, стариковъ боится... Ты бы опять...—начала было Акулина, но поняла, что ждать больше нечего, и прибавила: — Вотъ вѣдь какой узелъ вышелъ! и не сообразишь, какъ его развязать!

Раздумывая объ участи, ожидавшей Матренку, въ дѣвичьей шопотомъ поминали имя Ермолая-шорника, который жилъ себѣ припѣваючи, точно и

не его грѣхъ. Это имя, конечно, могло бы разрѣшить все, но установленные властной рукой порядки не допускали и мысли объ естественной развязкѣ. Порядки эти были на руку мужской прислугѣ и обрушивались всею тяжестью исключительно на дѣвичьей. Несчастное существо, называвшееся „дѣвкой", не только въ безмолвіи принимало брань и побои, не только изнывало съ утра до ночи надъ непосильной работой, но и единолично выносило на себѣ всѣ послѣдствія пробудившагося инстинкта.

Матренка повидимому совсѣмъ позабыла объ Ермолаѣ. Какъ я уже сказалъ выше, она пала, какъ самка звѣря, безсознательно, въ чаду, которымъ до боли переполнила ее внезапно взбунтовавшаяся плоть. Встрѣчаясь съ нимъ теперь, когда суровое будущее уже вполнѣ обрисовалось передъ нею, она не отворачивалась отъ него, а вела себя такъ, какъ бы онъ вовсе для нея не существовалъ. Ей даже не было досадно, когда онъ, проходя мимо, смѣючись, на нее посматривалъ и нагло посвистывалъ, словно подманивая на новый грѣхъ. Но когда до нея дошло, что Ермолай называетъ Егорку крестнымъ сынкомъ и вообще вышучиваетъ его, это до такой степени взволновало ее, что однажды она, какъ разъяренная, бросилась на своего случайнаго любовника. Но онъ шутя отвелъ ея безсильныя руки, и ничего изъ этого порыва не вышло.

Ермолай былъ такой же безсознательно-развращенный человѣкъ, какъ и большинство дворовыхъ мужчинъ; стало-быть, другого и ждать отъ него было нельзя. Въ Малиновцѣ онъ появлялся рѣдко, когда его работа требовалась по дому, а бо́льшую часть года ходилъ по оброку въ Москвѣ. Скука деревенской жизни была до того невыносима для московскаго лодыря, что потребность развлеченія возникала сама собой. И онъ отыскивалъ эти развлеченія, гдѣ могъ, не справляясь, какія послѣдствія можетъ привести за собой удовлетвореніе его прихоти.

Все было проклято въ этой средѣ; все ходило ощупью въ мракѣ безнадежности и отчаянья, который окутывалъ ее. Одни были развращены до мозга костей, другіе придавлены до потери человѣческаго образа. Только безсознательность и помогала жить въ такомъ чаду.

Время шло. Надъ Егоркой открыто измывались въ застольной и безпрестанно подстрекали Ермолая на новыя выходки, такъ что Ѳедотъ наконецъ догадался и отдалъ жениха на село къ мужичку въ работники. Матренка съ своей стороны чувствовала, какъ съ каждымъ днемъ въ ея сердце все глубже и глубже впивается тоска, и съ нетерпѣніемъ выслушивала сожалѣнія товарокъ. Не сожалѣнія ей были нужны, а развязка. Не та развязка, которой всѣ ждали, а совсѣмъ другая. Одно желаніе всецѣло овладѣло ею: погибнуть, пропасть!

И развязка не заставила себя ждать. Въ темную ночь, когда на дворѣ бушевала вьюга, а въ дѣвичьей все улеглось по мѣстамъ, Матренка въ одной рубашкѣ, босикомъ, вышла на крыльцо и сѣла. Снѣгъ хлесталъ ей въ лицо, стужа пронизывала все тѣло. Но она не шевелилась и безстрашно глядѣла въ глаза развязкѣ, которую сама придумала. Смерть приходила не вдругъ, и процессъ ея не былъ мучителенъ. Скорѣе это былъ сонъ, который до тѣхъ поръ убаюкивалъ виноватую, пока сердце ея не застыло.

Утромъ на крыльцѣ нашли окоченѣвшій Матренкинъ трупъ.

Похоронили виноватую на сельскомъ кладбищѣ, по христіанскому обряду, не доводя до полиціи и приписавъ ея смерть простому случаю. Егорку, котораго миссія кончилась, въ тотъ же день отправили въ украинскую деревню.

Матушка воротилась домой, когда все было кончено.

XXIII.—Сатиръ-скиталецъ.

— Сатирка-то воротился.

Этимъ извѣстіемъ докончилъ однажды староста Ѳедотъ свой вечерній докладъ матушкѣ.

— Врешь?

— Въ сѣняхъ дожидается.

— Зови!

Въ дѣвичью вошелъ высокій и худой мужчина лѣтъ тридцати, до такой степени блѣдный, что, казалось, ему цѣлый мѣсяцъ каждый день сряду кровь пускали. Одѣтъ онъ былъ въ черный демикотоновый балахонъ, спускавшійся ниже колѣнъ и напоминавшій покроемъ поповскій подрясникъ; на ногахъ были туфли на босу-ногу.

— Гдѣ побывалъ?—спросила его матушка.

— И самъ не знаю. Гдѣ ночь, гдѣ день—не спрашивалъ.

— Бродяга ты; святымъ прикидываешься. На колоколъ-то насбиралъ ли?

— Принесъ-съ. Три бѣленькихъ, да мелочи рублей съ десять.

Сатиръ вынулъ изъ-за пазухи кошель и высыпалъ на столъ деньги.

— Маловато. Не по прежнему.

— Строго нынче, сударыня. Надо дозволенья просить, а приди-ка безъ паспорта, анъ, вмѣсто дозволенья, пожалуй, въ кутузку посадятъ. Да, признаться сказать, и обокрали въ дорогѣ. Около сотни слишкомъ, пожалуй, пропало.

— А ты бы больше зѣвалъ!

— Ежели въ другой разъ... — началъ-было Сатиръ, но матушка на первомъ же словѣ гнѣвно его прервала:

— Не успѣлъ воротиться, а уже опять лыжи навострить сбираешься? И не думай, привяжу тебя на веревку... сиди!

— Не безпокойтесь, сударыня, это я только къ слову. Нынче я и самъ не уйду... Надо подумать, куда себя настоящимъ манеромъ опредѣлить...

— Ладно, думай, а я за тебя передумаю... Ишь думальщикъ выискался... „подумать надо“! Ты прежде узнай, что̀ господа о тебѣ думаютъ, а потомъ ужъ и самъ думай. Ступай къ барину, снеси деньги. Пускай старостѣ церковному отдастъ.

Сатиръ уже три раза былъ въ бѣгахъ. Походитъ года два, три, насби-

раетъ денегъ на церковное строеніе и воротится. Онъ и балахонъ себѣ сшилъ такой, чтобъ на сборщика походить, и книжку съ воззваніемъ къ христолюбивымъ жертвователямъ завелъ, а пелену на книжку тетеньки-сестрицы ему сшили. А такъ какъ въ нашей церкви колоколъ былъ малъ и плохъ, то доставляемый имъ сборъ присовокуплялся къ общей суммѣ пожертвованій на покупку новаго колокола.

Съ молодыхъ лѣтъ Сатиръ рѣзко выдѣлялся изъ общей массы дворовыхъ. Въ дѣтствѣ онъ урывками научился церковную печать разбирать, и пристрастился къ чтенію божественныхъ книгъ. Кромѣ этого, онъ ни къ какому другому занятію призванія не чувствовалъ. Свезли его лѣтъ десяти въ Москву и отдали въ ученіе къ переплетчику; но хозяинъ безъ всякаго прока возился съ нимъ шесть лѣтъ и былъ радъ-радешенекъ, когда срокъ контракту кончился. Не сидѣлось ему за верстакомъ, все по церквамъ ходилъ. Уйдетъ съ утра и пропадетъ до ночи. На оброкъ идти онъ на-отрѣзъ отказался, а когда возвратился въ Малиновецъ, то и тамъ оказался лишнимъ. Мысли его, казалось, витали вездѣ, но только не около работы, которую ему поручали. Глубокая задумчивость охватывала все его существо, сердце рвалось и тосковало, хотя онъ и самъ не могъ опредѣленно объяснить, куда и о чемъ. А кромѣ того, и хворь въ немъ какая-то загадочная таилась, такъ что онъ нѣтъ-нѣтъ да и сляжетъ. Какъ ни строга была матушка, но и она, видя, какъ Сатиръ, убирая комнаты, вдругъ броситъ на полъ щетку и начнетъ Богу молиться, должна была сознаться, что изъ этого человѣка никогда путнаго лакея не выйдетъ. Такъ его и бросили; отъ работы не увольняли, но и не принуждали.

И въ образѣ жизни онъ мало походилъ на своихъ собратій. Не ѣлъ ни мясного, ни даже овощей, потому что послѣднія употреблялись въ застольной исключительно въ соленомъ и квашеномъ видѣ. Выпроситъ кринку снятого, совсѣмъ синяго молока, покрошитъ хлѣба, и сытъ; а не дадутъ молока—и съ водой тюри поѣстъ. Въ одеждѣ соблюдалъ опрятность, ходилъ медленно, чуть слышно ступая по полу въ туфляхъ, говорилъ тихо, тоненькимъ теноромъ, и праздныхъ словъ никогда не употреблялъ. Набоженъ былъ чрезвычайно, и когда въ домѣ случались всенощныя, то замѣтно одушевлялся. Не отрывалъ глазъ отъ образовъ, вздыхалъ и вообще выказывалъ признаки идеальной страстности, совершенно несвойственной той средѣ, которая его произвела.

Въ дворнѣ его считали блаженнымъ. Почти такого же взгляда держались отецъ и тётеньки-сестрицы. Матушка хотя внутренно негодовала, что онъ только лбомъ объ полъ стучитъ, однако терпѣла.

— Долго ли съ тобой маяться? День-деньской ты безъ дѣла шатаешься! —говаривала она ему.

— Имѣю желаніе Богу послужить.

— А ты господамъ хорошо служи — вотъ и Богу этимъ послужишь. Богъ-то, ты думаешь, приметъ твою послугу, коли ты о господахъ не радѣешь?

Въ то время ходили слухи о сектѣ „бѣгуновъ“, которая переходила изъ деревни въ деревню, *взыскуя вышняго града* и скрываясь отъ преслѣдо-

ванія властей въ овинахъ и подпольяхъ крестьянскихъ домовъ. Помѣщики называли эту секту „пакостною“, потому что однимъ изъ ея догматовъ было непризнаніе господской власти. Подозрѣвали, что Сатиръ находится въ общеніи съ „бѣгунами“, а матушка даже положительно утверждала, что онъ „пакостникъ“. Но это было несправедливо, потому что онъ не только не скрывался, а, напротивъ, открыто появлялся среди бѣлаго дня въ самыхъ людныхъ мѣстахъ и, держа въ рукахъ книжку, выпрашивалъ подаяніе. Случалось, что его ловливали и сажали въ кутузку, но дѣло оканчивалось тѣмъ, что мѣстная власть отнимала у него сборъ и отпускала.

Бѣгать онъ началъ съ двадцати лѣтъ. Первый побѣгъ произвелъ общее изумленіе. Его ужъ оставили въ покоѣ: живи какъ хочешь; казалось, чего еще нужно! И вотъ, однакожъ, онъ этимъ не удовольствовался, скрылся совсѣмъ. Впрочемъ онъ самъ объяснилъ загадку, приславъ съ дороги къ отцу письмо, въ которомъ увѣдомлялъ, что бѣжалъ съ тѣмъ, чтобы послужить церкви Милостиваго Спаса, что въ Малиновцѣ.

— Скатертью дорога!—сказала матушка: —по крайности, на глазахъ не будетъ, да и съ господскаго хлѣба долой!

— А можетъ и пользу для нашей церкви принесетъ, — отозвался отецъ.

— Дожидайся!

Пробывши въ безвѣстной отлучкѣ три года, онъ воротился домой. Предсказаніе отца сбылось: бѣглецъ принесъ въ пользу церкви около трехсотъ рублей. Это всѣхъ обрадовало и даже отчасти примирило съ нимъ матушку. Все равно, не минешь новый колоколъ покупать, и если недостанетъ церковныхъ денегъ, придется своихъ собственныхъ добавлять, такъ вотъ Сатировъ-то сборъ и пригодится...

— Да ты бы паспортъ взялъ, да съ нимъ бы свободно и ходилъ! — убѣждала его барыня.

— Не возьму, сударыня, паспорта. Не слуга я Богу, коли у меня паспортъ въ рукахъ!—упорствовалъ Сатиръ.

Цѣлую зиму послѣ этого онъ выжилъ въ Малиновцѣ. Его не тревожили и даже отвели въ нижнемъ этажѣ господскаго дома особую каморку, гдѣ онъ и сидѣлъ, словно осужденный на одиночное заключеніе. Тамъ онъ, покуда было свѣтло, занимался переписываніемъ „цвѣтничковъ“ (молитвенныхъ сборниковъ), располагая повидимому продавать ихъ въ пользу церкви; вечеромъ, сидя безъ огня, пѣлъ духовныя пѣсни, отголоски которыхъ нерѣдко проникали и въ господскія комнаты. Отецъ не безъ удовольствія прислушивался къ этому пѣнію, но матушка, при первыхъ же звукахъ, нетерпѣливо восклицала: „ну, завылъ... пѣсельникъ!“ Къ пасхѣ онъ выпросилъ у тетеньки нѣсколько крашеныхъ яицъ, вырѣзалъ по скорлупѣ перочиннымъ ножомъ „Христосъ воскресе“ и роздалъ домочадцамъ.

Съ наступленіемъ весны онъ опять исчезъ. На этотъ разъ хотя ужъ не удивлялись, но безъ тревоги не обошлось. Родилось опасеніе, какъ бы его, въ качествѣ безпаспортнаго, въ Сибирь не угнали: чего добраго, такимъ родомъ онъ и совсѣмъ для „господъ“ пропадетъ.

— Тебѣ-то что! все равно, безъ пользы здѣсь жилъ! — убѣждалъ матушку отецъ.

— Съ пользой или безъ пользы, а все-таки...—упорствовала матушка, не высказывая своей мысли вполнѣ.

Возвратившись изъ второго побѣга, Сатиръ опять внесъ въ церковь хорошій вкладъ, но прожилъ дома еще менѣе прежняго и снова исчезъ. Послѣ этого о немъ подали въ земскій судъ явку и затѣмъ перестали думать.

Теперь онъ явился изъ третьяго побѣга. Черезъ часъ послѣ объясненія съ матушкой, на вопросъ ея, куда дѣвался Сатиръ, доложили, что онъ въ свою каморку ушелъ.

— Ишь вѣдь, святоша, такъ прямо и претъ! „Своя комната", вишь, у него есть! точно ему зараньше въ господскомъ домѣ квартира припасена! Не давать ему дровъ, пускай въ холодной комнатѣ живетъ!

Но это были только праздныя слова. На дворѣ стоялъ сентябрь въ концѣ, и сострадательныя души, не спрашиваясь барыни, натаскали въ Сатирову каморку щепы и истопили печку.

— Небойсь, опять, Сатиръ, весной убѣжишь? — любопытствовали дворовые.

— Нѣтъ ужъ, будетъ. Надо себя настоящимъ манеромъ опредѣлить, —повторилъ онъ тотъ же загадочный отвѣтъ, который только-что передъ тѣмъ далъ барынѣ.

Этотъ отвѣтъ заставилъ матушку задуматься. Куда еще бродяга загадываетъ опредѣлить себя? Можетъ быть, къ дѣлу какому-нибудь... хорошо, кабы такъ!.. Какъ же! держи карманъ! Привыкъ человѣкъ шалберничать, такъ до конца жизни, хоть ты его расказни,—онъ пальцемъ о палецъ не ударитъ! Нѣтъ, вѣрно, у него на умѣ что-нибудь другое... ужасное! Вотъ, сказываютъ, одному такому же втемяшилось въ голову, что ежели рабъ своего господина убьетъ, такъ всѣ грѣхи съ него снимутся... и убилъ! Кто его душу знаетъ! можетъ быть, и Сатиръ... Бѣда съ этими богомолами! бродятъ по бѣлу свѣту, всякаго вздору наслушаются — смотришь, анъ изъ него злодѣй вышелъ. Онъ-то себя на каторгу „настоящимъ манеромъ опредѣлитъ", а господа между прочимъ...

Матушка волновалась, а Сатиръ жилъ себѣ втихомолку въ каморкѣ, занимаясь своимъ обычнымъ дѣломъ. Чтобы пребываніе его въ Малиновцѣ было не совсѣмъ безъ пользы для дома, матушка посылала ему бумагу и приказывала ему тетрадки для дѣтей сшивать и разлиновывать. Но трудъ былъ такъ ничтоженъ, что не только не удовлетворялъ барыню, но еще болѣе волновалъ ее.

— Ничего-то ты не дѣлаешь, какъ только дурь тебя не возьметъ!— упрекала она бродягу, призывая его отъ времени до времени къ себѣ.

— Неможется мнѣ. Тяжелой работы не въ силахъ работать, — неизмѣнно давалъ онъ одинъ и тотъ же отвѣтъ.

— Ты бы хоть въ комнатахъ послужилъ, Конону бы помогъ! Кажется, не тяжелая это работа!

— Гдѣ ужъ, сударыня, мнѣ; я и ступить-то въ барскихъ хоромахъ не умѣю. Вотъ кабы Богу послужить!

Проходили дни и недѣли въ безплодныхъ переговорахъ, а Сатиръ продолжалъ стоять на своемъ. Между тѣмъ сосчитали церковныя деньги; оказалось, что на колоколъ собрано больше тысячи рублей, изъ которыхъ добрыхъ двѣ трети внесены были усердіемъ Сатира. Еще рублей двѣсти, и можно было бы купить колоколъ пудовъ въ тридцать, что̀ для Малиновца считалось очень приличнымъ. Матушкѣ пришло на мысль выполнить это дѣло немедленно. Съ этою цѣлью она написала въ Москву Стрѣлкову, чтобъ теперь же пріобрѣлъ колоколъ, а деньги, ежели недостача будетъ, попросилъ бы заводчика отсрочить. Затѣмъ призвала Сатира и сказала ему:

— Хвалился ты, что Богу послужить желаешь, такъ вотъ я тебѣ службу нашла... Ступай въ Москву. Я ужъ написала Силантію (Стрѣлкову), чтобъ купилъ колоколъ, а по первопуткѣ подводу за нимъ пошлю. А такъ какъ по разсчету, рублей двухсотъ у насъ недостаетъ, такъ ты покуда походи по Москвѣ да посбирай. Между своими мужичками походишь, да Силантій на купцовъ знакомыхъ укажетъ, которые къ божьей церкви радѣльны. Шуги недохватку покроешь.

Такъ все и сдѣлалось. Дня за три до зимняго Николы привезли изъ Москвы колоколъ, а съ нимъ вмѣстѣ явился и Сатиръ. Онъ не только съ успѣхомъ выполнилъ возложенное на него порученіе, но, за уплатой заводчику, на рукахъ у него оказалась даже остача.

Но онъ пришелъ уже совсѣмъ больной, и съ трудомъ присутствовалъ при церемоніи поднятія колокола. Вѣроятно къ прежней хворости прибавилась еще простуда, такъ какъ его и теплой одеждой на дорогу не снабдили. Когда торжество кончилось и колоколъ загудѣлъ, онъ воротился въ каморку и окончательно слегъ.

И дни, и ночи отдавался въ нашей образной (какъ разъ надъ каморкой Сатира) глухой кашель больного, до такой степени тяжкій, словно онъ отъ внутренностей освободиться силился. Ухода за нимъ не было. Отданный въ жертву недугу, онъ мучительно метался на своемъ одрѣ, въ одиночествѣ разрѣшая задачу, къ какому дѣлу себя настоящимъ манеромъ опредѣлить. Отецъ едва-ли даже зналъ о его болѣзни, а матушка разсуждала такъ: „ничего! отлежится къ веснѣ! этакіе-то еще дольше здоровыхъ живутъ!“ Поэтому хотя дворовые и жалѣли его, но въ виду равнодушія господъ боялись выказывать дѣятельное сочувствіе. Изрѣдка кто-нибудь забѣгалъ, подбрасывалъ въ печку щепокъ, приносилъ пищу и исчезалъ.

Только тётеньки-сестрицы вспоминали о Сатирѣ и присылали къ нему Аннушку съ мѣшочкомъ сухой малины, горсточкой липоваго цвѣта и чашечкой меда. Аннушка раздобывалась горячей водой и поила больного.

— Ну что̀, Сатирушко, каково? — спрашивала она.

— Кашлять тяжко. Того гляди, сердце соскочитъ. Чего добраго, на тотъ свѣтъ въ рабскомъ видѣ предстанешь.

— Такъ что-жъ что въ рабскомъ — прямѣе въ рай попадешь. И Христосъ въ рабскомъ видѣ на землю сходилъ и за рабовъ пострадалъ.

— Оно такъ, да въ ту пору рабы другіе были, извѣчные...

— А мы какіе же?

— А мы прежде вольные были, а потомъ сами свою волю продали.

Изъ-за денегъ господамъ въ кабалу продались. За это вотъ и судить насъ будутъ.

— Не мы, чай, продались. Наши-то и родители, и дѣдушки всѣ споконъ вѣку рабами были.

— Все равно, ежели и встарину отцы продались, мы за ихъ грѣхъ отвѣчать должны. Нѣтъ того грѣха тяжеле, коли кто волю свою продалъ. Все равно что душу.

— Не пойму я тебя. Какъ же съ этимъ быть?

— Кругомъ насъ неволя окружила, клещами сжала. Райскія двери на вѣки передъ нами закрыла.

Сатиръ высказывалъ эти слова съ волненіемъ, спѣша, точно не довѣрялъ самому себѣ. Очевидно, въ этихъ словахъ заключалось своего рода міросозерцаніе, но настолько не установившееся, безпорядочное, что онъ и самъ не былъ въ состояніи свести концы съ концами. Едва-ли онъ могъ бы даже сказать, что именно онъ, а не другой, болѣе простой, мотивъ—въ родѣ, напримѣръ, укоренившейся въ русской жизни страсти къ скитальчеству—руководилъ его дѣйствіями.

— Грѣхъ, Сатирушка, такъ говорить; ну, да ужъ, ради долготерпѣнія твоего, Богъ тебя проститъ. Что̀ же ты съ собою дѣлать будешь?

— Тяжко мнѣ... видѣнія вижу! Намеднись всталъ я ночью съ ларя, сѣлъ, ноги свѣсилъ... Смотрю, а вонъ въ томъ углу смерть стоитъ. Черепъ голый, ребра съ боковъ выпятились... ровно шкилетъ. „За мной, что-ли?“ говорю... Молчитъ. Три раза я ее окликнулъ, и все безъ отвѣта... Наконецъ, не побоялся, пошелъ прямо къ ней — смотрю, а ея ужъ нѣтъ. Только безпремѣнно это *она* приходила.

— А приходила, да опять ушла — тѣмъ еще лучше; значитъ, время тебѣ не пришло... Небось къ веснѣ выправишься. Пойдутъ свѣтлые дни, солнышко играть будетъ, и въ тебѣ душа заиграетъ. Нехорошо тебѣ здѣсь въ каморкѣ; темно, сыро; хоть бы господа когда заглянули...

— Ничего, привыкъ. Я, тетенька, знаешь ли, что̀ надумалъ. Ежели Богъ меня помилуетъ, уйду, по просухѣ, въ пустынь на Сольбу *), да тамъ и останусь.

— У господъ дозволенья просить надо.

— Дадутъ. Пользы-то отъ меня не сколько. А въ монастырѣ-то съ меня рабскій образъ снимутъ, я въ ангельскомъ чинѣ на вышній судъ и явлюсь.

— Ну, вотъ и славно. А покуда я тебѣ деревянненькимъ маслицемъ грудь вытру... Кашель-то, можетъ, и уймется.

Аннушка натирала Сатиру грудь и уходила, оставляя больного въ добычу мучительнымъ приступамъ кашля.

Однажды она явилась къ „старому барину“ и доложила, что Сатиръ проситъ навѣстить его. Отецъ однако самъ собой идти не рѣшился, а со-

*) Сольбинская пустынь, если не ошибаюсь, находится въ Кашинскомъ уѣздѣ Тверской губерніи. Семья наша ѣзжала туда на богомолье; но такъ какъ я былъ въ то время очень малъ, то никакихъ опредѣленныхъ воспоминаній объ этомъ фактѣ не сохранилъ.

общилъ о желаніи больного матушкѣ, которая сейчасъ же собралась и спустилась внизъ.

Придя въ Сатирову каморку, она нѣсколько смутилась: до такой степени ее поразили и страдальческое выраженіе лица больного, и обстановка, среди которой онъ умиралъ.

— Да ты тутъ въ грязи да въ вони задохнешься! — молвила она: — дай-ка я въ людскую тебя переведу!

— Спасибо, сударыня. Точно, что тамъ посуше будетъ. Только вотъ кашель меня долитъ, покою тамъ отъ меня никому не будетъ.

— Ничего; потерпятъ. Сейчасъ же пойду и распоряжусь. Ты, я слышала, за старымъ бариномъ посылалъ; открыться, что-ли, ты ему хотѣлъ?

— Богу я послужить желаю... въ монастырь бы...

Матушка на минуту задумалась. Не то чтобы просьба больного удивила ее, а все-таки... „Стало-быть, онъ такъ-таки и пропадетъ!“ — мелькало у нея въ головѣ. Однако колебанія ея были непродолжительны. Стоило взглянуть на Сатира, чтобы сразу убѣдиться, что высказанное имъ желаніе —послѣднее.

— Въ монастырь, такъ въ монастырь,—рѣшила она:—доброму желанію господа не помѣха. Выздоравливай! а лѣтомъ, какъ дорога просохнетъ, выдадимъ тебѣ увольненіе — и съ Богомъ! Ты въ какой монастырь надумалъ?

— Да на Сольбу хотѣлось бы...

— И прекрасно. Тихо тамъ, спокойно... словно въ раю! И монахи простые, въ шелки да въ парчи не рядятся, какъ разъ по тебѣ. Съ Богомъ, Сатирушка, выздоравливай!

— Спасибо вамъ, сударыня! Пошли вамъ Царица Небесная!

— Давно бы ты такъ сказалъ! Всѣ-то вотъ вы таковы: отъ господъ скрываетесь, да на нихъ же и ропщете...

— Въ ангельскомъ чинѣ на вышній судъ явлюсь, и за васъ молитвенникомъ буду.

— Вотъ и хорошо. Лежи-ка, лежи, а я сейчасъ за тобой пришлю.

Сатира перенесли въ застольную и положили на печку. Подъ вліяніемъ тепла ему стало какъ будто полегче. Въ обыкновенное время въ застольной находилась только кухарка съ помощницей, но во время обѣдовъ и ужиновъ собиралась вся дворня, и шумъ, который она производила, достаточно-таки тревожилъ больного. Однако онъ крѣпился, старался не слышать празднаго говора и, въ свою очередь, сдерживалъ, сколько могъ, кашель, разрывавшій его грудь.

Наступилъ мартъ; солнышко заиграло; съ горъ полились ручьи, дороги почернѣли. Сатиръ продолжалъ лежать на печи, считалъ дни и надѣялся.

Однажды привидѣлся ему сонъ. Стоитъ будто онъ въ ангельскомъ образѣ, окутанный свѣтлымъ облакомъ; въ ушахъ раздается сладкогласное ангельское славословіе, а передъ глазами присносущій свѣтъ Христовъ горитъ... Всѣ земныя болѣсти съ него какъ рукой сняло; кашель улегся, грудь дышетъ легко; все существо устремляется въ высь и въ высь...

— Инокъ Серапіонъ!—слышится ему голосъ, исходящій изъ сіяющей глубины.

Такъ, во снѣ, и предсталъ онъ въ ангельскомъ чинѣ передъ вышній судъ Божій.

XXIV.—Добро пожаловать.

— Сергѣичъ въ дѣвичьей дожидается,—докладываетъ матушкѣ ключница Акулина.

— Выпросталась, что-ли, Аксинья?

— Стало-быть, выпросталась; мальчишечку, слышь, принесла.

Иванъ Сергѣичъ—главный садовникъ, и матушка дорожитъ имъ. Во-первыхъ, она купила его и заплатила довольно дорого; во-вторыхъ, онъ можетъ, пожалуй, оставить господъ безъ фруктовъ и безъ овощей, и, въ-третьихъ, несмотря на преклонныя лѣта, у него цѣлая куча дѣтей, начиная съ двадцатилѣтняго сына Сеньки, который ужъ ходитъ въ Москвѣ по оброку, и кончая груднымъ ребенкомъ. Поэтому за нимъ, въ видѣ исключенія, оставлена мѣсячина, и Аксинью, его жену, тоже немолодую женщину, рѣдко употребляютъ на господскую работу, оставляя управляться дома. На Аксинью матушка любила ссылаться въ оправданіе своей системы безбрачія дворовыхъ.

— Что̀ въ ней! — говорила она: — только слава, что крѣпостная, а куда ты ее повернешь! Знаетъ таскаетъ ребятъ, да кормитъ, да обмываетъ ихъ, вотъ и вся отъ нея польза! Плоха та раба, у которой не господское дѣло, а свои дѣти на умѣ!.

— Дѣти за нее служатъ,—возражалъ на это отецъ:—Сенька ужъ по оброку ходитъ, да двѣ дѣвки за пяльцами сидятъ.

— Дѣти само по себѣ, а и она должна бы...

Садовникъ является одѣтый по праздничному, въ сюртукъ темно-синяго мохнатаго сукна; въ рукахъ у него блюдо, на которомъ лежитъ пирогъ изъ пшеничной муки.

— Долго ли твоя хрѣнòвка рожать будетъ?—встрѣчаетъ его матушка: —срамъ сказать, шестой десятокъ бабѣ пошелъ, а она, что ни годъ, дѣтей таскаетъ!

— Стало-быть, такъ Богъ...

— Мальчика родила?

— Мальчика. Сергѣемъ назвали. Пришелъ васъ просить, сударыня, не окрестите ли?

— Ладно. А отцомъ крестнымъ кто будетъ?

— Да изъ дѣтей кто-нибудь...

Матушка выбираетъ меня, и дѣло улаживается *).

*) Хотя я былъ малолѣтній, но въ то время еще не существовало закона, запрещающаго лицамъ, не достигшимъ совершеннолѣтія, воспринимать младенцевъ отъ купели

Дня черезъ три въ столовой ставятъ купель и наполняютъ тепловатой водою. Приходитъ попъ съ причтомъ; приносятъ младенца, закутаннаго въ конецъ новины. Я заглядываю ему въ лицо и нахожу, что онъ очень неавантаженъ: красный какъ ракъ и покрытъ сыпью, цвѣтомъ. Въ сторонѣ, на стоилкѣ, положена рубашонка и серебряный крестикъ на розовой ленточкѣ — подарокъ крестной матери. Матушка беретъ новорожденнаго на руки, становится сзади купели; я становлюсь возлѣ нея, держа въ рукахъ свѣчу. Все время, пока совершается обрядъ, кума учитъ меня: „дунь и плюнь!"; „я пойду вокругъ купели, а ты за мной иди!" При погруженіи младенецъ немилосердно кричитъ, что̀ даетъ поводъ къ разнымъ замѣчаніямъ, изъ которыхъ далеко не всѣ въ пользу новорожденнаго.

Наконецъ все совершилось. На свѣтѣ прибавилось больше не только однимъ рабомъ, но и христіаниномъ. Батюшкѣ заплатили двугривенный и позвали Сергѣича изъ дѣвичьей. Послѣдній, съ своей стороны, подноситъ два полотенца, изъ которыхъ одно предназначается священнику, другое— матушкѣ.

— Слуга, сударыня, будетъ вамъ!—говоритъ Сергѣичъ, кланяясь матушкѣ въ ноги.

— Дай Богъ! Кононъ, скажи Акулинѣ, чтобъ Сергѣичу водки поднесли!

Черезъ нѣсколько часовъ о Сережкѣ уже никто въ домѣ не упоминаетъ, а затѣмъ, чѣмъ дальше, тѣмъ глубже погружается онъ въ пучину забвенія. Извѣстно только, что Аксинья кормитъ его грудью и раза два приносила въ церковь подъ причастіе. Оба раза, проходя мимо крестной матери, она замедляла шагъ и освобождала голову младенца отъ пеленокъ, стараясь обратить на него вниманіе „крёстной"; но матушка оставалась равнодушною и въ разспросы не вступала.

Года черезъ два Сережку уже видятъ около флигеля, въ которомъ живетъ Сергѣичъ. Въ лѣтнее время, по поясъ задравши рубашонку, онъ бродитъ нетвердыми ногами по близости крыльца и старается попасть въ лужу, которая образовалась вслѣдствіе постоянно выливаемыхъ помоевъ. Онъ одинокъ и присмотрѣть за нимъ некому, потому что мать ужъ успѣла родить другого ребенка и пѣстуетъ его. Дѣти тоже въ разбродѣ. Однихъ господа взяли въ „мальчишки", или роздали въ Москвѣ въ ученье; другихъ, самыхъ маленькихъ, Аксинья услала въ лѣсъ по грибы. По временамъ Сережа пытается вползти наверхъ по ступенямъ крыльца, но ушибается и начинаетъ ревѣть. На крики его однакожъ никто не является, и онъ мало-по-малу самъ собой утихаетъ, и опять начинаетъ карабкаться и бродить. Наконецъ, около обѣда, является старикъ Сергѣичъ, беретъ Сережку на руки и уноситъ въ домъ. Онъ гладитъ сына по головѣ и вообще, кажется, любитъ его. Навѣрное онъ принесъ изъ сада въ карманѣ огурецъ или нѣсколько стручковъ сахарнаго гороху и отдастъ ихъ Сережкѣ, когда увидитъ себя внѣ посторонняго наблюденія.

Проходитъ еще года три. Сережка уже начинаетъ показываться на красномъ дворѣ. Сплетясь руками съ другими ровесниками-мальчишками, онъ несется вскачь изъ одного конца въ другой, изображая изъ собаки ко-

ренную, то пристяжную, и предается этому удовольствію до тѣхъ поръ, пока матушка, выведенная изъ терпѣнья, не крикнетъ изъ окна:

— Вотъ я васъ, пострѣлята!

Заслышавъ этотъ окрикъ, ребята, въ глазахъ сердитой барыни, пропадаютъ такъ ловко, что она не можетъ понять, куда они скрылись. Вѣроятно тутъ же гдѣ-нибудь притаились—много ли мѣста маленькому нужно? —и выглядываютъ.

Около этого же времени Сергѣичъ и Аксинья считаютъ полезнымъ напомнить „крёстной" о Сережкѣ. Его одѣваютъ въ чистую рубашку, даютъ въ руку завязанную въ платокъ тарелку съ пшеничной лепешкой и посылаютъ къ барынѣ.

— Это, крёстненька, вамъ! — произноситъ Сережка заранѣе затверженную фразу и ставитъ гостинецъ на столъ.

— Спасибо, голубчикъ, спасибо! — благодаритъ матушка:—поди ко мнѣ, я на тебя посмотрю!

Сережка не робокъ, и довольно развязно подходитъ къ „крёстной". Матушка разсматриваетъ его, но хорошаго находитъ мало. Лицо широкое, красное, скулы выдались, глаза узенькіе, носъ какъ пуговица. Какъ есть калмыкъ. Да и ростомъ малъ не по лѣтамъ.

— Придется въ портные отдать! — мелькаетъ въ головѣ у матушки, отъ взора которой не укрывается, что ноги у крестника короткія и выгнутыя колесомъ, точно сама природа еще въ колыбели осудила его на верстакѣ коротать жизнь.

По восьмому году Сережку взяли въ господскій домъ и опредѣлили въ мальчики по буфетной части. Кононъ научилъ его дышать въ стаканы, стоять съ тарелкой подъ мышкой за столомъ у кого-нибудь изъ господъ и проч., а самъ онъ собственнымъ инстинктомъ научился слизывать языкомъ съ тарелокъ остатки соуса. За это его порядкомъ трепали, а такъ какъ, сверхъ того, онъ билъ много посуды и вообще „озорничалъ", то отъ времени до времени призывали старика Сергѣича и заставляли сѣчь сына розгами. Вообще, съ первыхъ же шаговъ по лакейской части, онъ такъ неблагонадежно зарекомендовалъ себя, что сразу для всѣхъ сдѣлалось яснымъ, что никогда изъ него настоящаго лакея не выйдетъ.

Поэтому, не успѣло ему минуть десяти лѣтъ, какъ Москва уже поглотила его. Отдали его, какъ заранѣе рѣшила матушка, въ обученіе къ знакомому портному Велифантьеву, который содержалъ мастерскую на Солянкѣ. И началъ Сережка утюги грѣть, въ трактиръ за кипяткомъ бѣгать и получать въ носъ щелчки. Всю горькую чашу существованія мастерового ученика онъ выпилъ до дна, на собственныхъ бокахъ убѣждаясь, что попалъ въ глухой мѣшокъ, изъ котораго некуда выбраться, и что, стало-быть, самое лучшее, что̀ ему предстояло,—это притупить въ себѣ всякую чувствительность, обтерпѣться.

И онъ, дѣйствительно, очень скоро обтерпѣлся. Колотушки, пощечины, щипки градомъ сыпались на него со всѣхъ сторонъ, и онъ повидимому даже не чувствовалъ боли. Мало того, бродячая жизнь мастерового-ученика до того пришлась ему по сердцу, что онъ былъ безконечно доволенъ собой, когда

въ загаженномъ сѣромъ халатѣ расхаживалъ по тротуару, посвистывая и выдѣлывая ногами зигзаги. Веселонравіе неистощимымъ ключомъ било въ его сердцѣ и поминутно подмывало совершить какое-нибудь удальство, озорство или мистификацію. Удальство проявлялось въ томъ, что онъ съ разбѣга ударялся головой въ спину или въ животъ случайному прохожему, и, разумѣется, тутъ же получалъ нещадное избіеніе. Или набѣгалъ на лотокъ зазѣвавшагося разносчика, мгновенно слизывалъ пирогъ или стопку маковниковъ и мгновенно же исчезалъ, словно пропадалъ сквозь землю. Но въ особенности любилъ онъ всякаго рода мистификаціи. Подмѣтитъ на тротуарѣ простофилю и развязно къ нему подбѣжитъ.

— Васъ Иванъ Андреичъ къ себѣ зоветъ!

— Какой Иванъ Андреичъ?

— Не знаю. Иду сейчасъ по Таганкѣ, а онъ меня остановилъ: „увидишь, говоритъ, господина Простофилина, скажи, что Иванъ Андреичъ зоветъ“.

— Я не Простофилинъ, а Тузовъ.

— Такъ точно; онъ такъ и сказалъ, а это я ужъ отъ себя...

И начинаетъ простофиля припоминать, какой такой Иванъ Андреичъ выказываетъ желаніе видѣться съ нимъ. Припоминаетъ, припоминаетъ, да, пожалуй, и припомнитъ. Броситъ нужное дѣло и пойдетъ Ивана Андреича разыскивать.

Или остановится на бѣгу посреди тротуара, закинетъ голову и начнетъ въ самую высь всматриваться. Идутъ мимо простофили, видятъ, что человѣкъ, должно быть, что-нибудь достопримѣчательное высматриваетъ, и тоже останавливаются и закидываютъ головы. Смотрятъ—ничего не видать.

— Да что̀ ты, лѣшій, тамъ видишь?

— А то̀ же самое, что̀ и ты, домовой, высматриваешь!

Разумѣется, трёпка.

Вообще онъ до того свыкся съ мыслью о неизбѣжности трёпокъ, что ужъ не уклонялся, а даже какъ бы напрашивался на нихъ.

Но независимо отъ озорливости, которая развивалась все больше и больше, въ немъ начали проявляться и пороки. Сталъ онъ попивать, поворовывать и вообще обѣщалъ представить изъ себя образцоваго ёрника. Разнузданная и безпризорная ученическая среда нещадно точила и развращала молодое сердце, а личная воспріимчивость открывала порчѣ безпрепятственный доступъ. Дѣйствовать на него разумнымъ путемъ было некому, да и некогда; но такъ какъ въ воспитательной практикѣ все-таки чувствовалась потребность, то сумма побоевъ, постепенно увеличиваясь, достигла наконецъ такихъ размѣровъ, что Сережка не выходилъ изъ синяковъ. Билъ его хозяинъ, били мастера, били товарищи-ученики. Не было той руки, той плетки, той палки, которая не побывала бы на немъ. Но ни одной слезинки не показывалось на его глазахъ, ни малѣйшаго сокращенія мышцъ не замѣчалось въ лицѣ: стоитъ какъ каменный, ни однимъ мускуломъ не дрогнетъ.

Болѣло ли сердце старика Сергѣича о погибающемъ сынѣ—я сказать не могу, но во всякомъ случаѣ ему было не безъизвѣстно, что съ Сережкой творится что-то неладное. Можетъ быть, онъ говорилъ себѣ, что въ „ихнемъ“

званіи всегда такъ бываетъ. Бросятъ человѣка, еще несмысленочкомъ, въ омутъ, онъ и крутится тамъ. Иной случайно вынырнетъ, другой такъ же случайно погибнетъ — ничего не подѣлаешь. Ежели идти къ барынѣ, просить ее, она скажетъ: о чемъ ты просишь? самъ посуди, что̀ жъ тутъ подѣлаешь?.. Пускай ужъ...

Ученье между тѣмъ шло своимъ чередомъ. По шестнадцатому году Сережка уже сидѣлъ на верстакѣ и безпорядочно тыкалъ иглою въ суконные лоскутки, на которыхъ его пріучали къ настоящей работѣ. Черезъ годъ, черезъ два, онъ сдѣлается, пожалуй, заправскимъ портнымъ, а тамъ, благослови Господи, и на оброкъ милости просимъ. Уйдетъ Сережка отъ портного Велифантьева и начнетъ по Москвѣ изъ мастерской въ мастерскую странствовать.

Сидитъ онъ, скрючившись, на верстакѣ, а въ головѣ у него словно молоты стучатъ. Опохмелиться бы надобно, да не на что. Вспоминаетъ Сережка, что давеча у хозяина въ комнатѣ (черезъ сѣни) на кіотѣ онъ мѣдную гривну видѣлъ, встаетъ съ верстака и, благо хозяина дома нѣтъ, исчезаетъ изъ мастерской. Но главный подмастерье пристально слѣдитъ за нимъ, и въ то мгновеніе, какъ онъ притворяетъ дверь въ хозяйскую комнату, вцѣпляется ему въ волоса.

— Ты это что̀, подлецъ! воровать собрался?

Трёпка.

Искры сыплются изъ глазъ Сережки, но онъ не возражаетъ. Ему даже кажется, что колотушки до извѣстной степени опохмелили его. Спокойно возвращается онъ на верстакъ, и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаетъ тыкать иголкой въ лоскутки.

И всѣ кругомъ хохочутъ, всѣ рады, что въ ихъ глазахъ разыгралось побоище.

Но вотъ срокъ условію, заключенному съ Велифантьевымъ, кончился. Изъ Малиновца получается приказъ: обложить Сережку оброкомъ, на первый разъ легкимъ, въ двадцать рублей (ассигнаціями). Сережка немедленно оставляетъ мастерскую, въ которой получилъ воспитаніе, и отправляется на поиски за мѣстомъ. Съ недѣлю онъ слоняется по Москвѣ, проводя гдѣ день, гдѣ ночь, и такъ какъ у него достаточно пріятелей, то наконецъ ему удается пріютиться въ одной изъ большихъ мастерскихъ, гдѣ кишмя-кишитъ цѣлая масса мастеровыхъ. Благодаря этому многолюдству, надзоръ не такъ придирчивъ, и Сережка, разумѣется, очень этому радъ. Онъ выпрашиваетъ у хозяина денегъ на оброкъ, и на первый разъ полностью относитъ ихъ Стрѣлкову (довѣренный матушки, см. XIV-ю главу): пускай, дескать, барыня знаетъ, каковъ таковъ есть Сережка портной!

Годъ проходитъ благополучно. На другой годъ наступаетъ срокъ платить оброкъ—о Сережкѣ ни слуху, ни духу. Толкнулся Стрѣлковъ къ послѣднему хозяину, у котораго онъ жилъ, но тамъ сказали, что Сережка, нѣсколько недѣль тому назадъ, ушелъ къ Троицѣ Богу молиться и съ тѣхъ поръ не возвращался. Искалъ, искалъ его Стрѣлковъ по Москвѣ, на извозчиковъ разорился, но такъ и не нашелъ.

— Вотъ и опять солдатикъ на очередь выскочилъ!—молвила матушка,

когда до нея дошла вѣсть объ исчезновеніи крестнаго сынка.—И ждать нечего; безъ разговоровъ надо хамово отродье истреблять!

Стрѣлкову подтвердили стеречь Сережку, и, какъ только появится, не высылая въ деревню, представить въ Москвѣ въ рекрутское присутствіе и сдать въ солдаты, разумѣется, въ зачетъ. Но матушка не ограничилась этимъ и призвала къ допросу старика Сергѣича:

— Сказывай, гдѣ Сережка?—прикрикнула она на него.

— А я почемъ знаю!

— Ты отецъ; долженъ знать. А коли ты отъ родного сына отказываешься, такъ вотъ что: напиши своему Сенькѣ, что если онъ черезъ мѣсяцъ не представитъ брата Стрѣлкову, такъ я ему самому лобъ забрѣю.

— Вся ваша воля,—началъ-было Сергѣичъ, но спохватился, и рѣзко, но резонно отвѣтилъ:—вы, сударыня, только, не знаю за что, народъ изводите. Сенька-то, можетъ, и во снѣ не видалъ, гдѣ братъ у него находится... Нечего ему и писать.

И матушка должна была смолкнуть.

Въ продолженіе цѣлыхъ двухъ лѣтъ не могли устеречь Сережку. Самые разнородные слухи ходили о немъ. Одни говорили, что онъ поступилъ въ шайку воровъ и промышляетъ въ Москвѣ мелкими кражами; другіе утверждали, что онъ удалился въ одинъ изъ пустынныхъ монастырей и опредѣлился тамъ послушникомъ. Были даже такіе, которые за вѣрное сообщали, что онъ перешелъ въ расколъ, что его перекрестили въ Хапиловскомъ пруду и потомъ увезли далеко „въ Зыряны“ (въ сѣверной части пермской губерніи), въ скиты. Изъ этихъ предположеній вѣрнымъ оказалось первое: Сережка дѣйствительно скрывался въ Москвѣ и воровалъ.

Едва успѣвши встать на ноги, онъ уже погибалъ. Ремесла у него не было, а то немногое, чему онъ успѣлъ научиться у Велифантьева, въ теченіе двухъ лѣтъ праздношатательства окончательно позабылось. Воровство представлялось единственнымъ выходомъ, чтобы существовать. Существовать, т.-е. пить, потому что вино какъ лекарство, давало его организму тѣ элементы, которыхъ послѣднему недоставало. Это былъ своего рода „порочный кругъ“, въ которомъ онъ вращался, ругаясь и проклиная, но малѣйшее уклоненіе отъ котораго производило въ немъ мучительный переполохъ. Подъ вліяніемъ виннаго угара онъ оживалъ; какъ только угаръ проходилъ, такъ со всѣхъ сторонъ обступалъ рой сѣрыхъ призраковъ, наполнявшихъ сердце щемящей тоской. Двадцати лѣтъ онъ уже смотрѣлъ застарѣлымъ пьяницей; лицо опухло и покрылось красными пятнами; все тѣло дрожало какъ въ лихорадкѣ.

Постояннаго угла у него не было. Днемъ онъ бродилъ по окраинамъ города, не рискуя проникать въ центральныя части; съ наступленіемъ ночи уходилъ за заставу, и лѣтомъ ночевалъ въ канавѣ, а зимой зарывался въ сѣнной стогъ. Воровалъ онъ въ одиночку, потому что настолько уже отупѣлъ и одичалъ, что ни одна шайка его не принимала. Почти ежедневно ловили его въ воровствѣ; но такъ какъ кражи были мелкія, и притомъ русскій человѣкъ вообще судиться не любитъ, то дѣло рѣдко доходило до съѣзжей и кончалось кулачной расправой. Но побои настолько превышали размѣръ кражъ, что всѣ кости у него болѣли и ныли.

Какъ бы то ни было, но вино поддерживало въ немъ жизнь, и въ то же время приносило за собой забвеніе жизни. Я не утверждаю, что онъ сознательно добивался забытья, но оно приходило само собой, а это только и было нужно.

Наконецъ Стрѣлковъ узналъ достовѣрно, что Сережка содержится на съѣзжей въ одной изъ отдаленныхъ частей города. На этотъ разъ онъ попался въ довольно крупномъ воровствѣ, и о немъ шло слѣдствіе. Задача предстояла трудная; надо было потушить дѣло и во что бы ни стало вызволить Сережку. Затѣмъ надлежало вытрезвить его и сдать въ солдаты, хотя малый ростъ и кривыя ноги дѣлали предпріятіе крайне сомнительнымъ. Но матушка не даромъ называла Стрѣлкова золотымъ человѣкомъ. При помощи знакомствъ и сравнительно небольшихъ расходовъ ему удалось исполнить приказаніе барыни съ буквальною точностью. Сережку подвели подъ мѣру и вытянули такъ ловко, что онъ въ самый разъ угодилъ.

— Лобъ!—провозгласилъ предсѣдатель присутствія.

— Лобъ! лобъ! лобъ! — перекатилось, какъ эхо, по всѣмъ камерамъ послѣдней, гдѣ принятыхъ ожидалъ цирульникъ. Свершилось. Сережка пересталъ существовать въ качествѣ двороваго человѣка и вступилъ въ новую жизнь.

Матушка не безъ удовольствія получила извѣстіе объ этой развязкѣ, но, разумѣется, еще больше была довольна тѣмъ, что извѣстіе сопровождалось зачетной рекрутской квитанціей.

Но когда она прятала эту квитанцію въ денежный ящикъ, то ей невольно пришли на память слова, сказанныя Сережкой въ тотъ разъ, когда онъ, еще пятилѣтній мальчишка, явился къ ней съ пшеничной лепешкой:

— Это, крёстненька, вамъ!

XXV.—Смерть Ѳедота.

Третій мѣсяцъ Ѳедотъ ужъ не вставалъ съ печи. Хотя ему было за шестьдесятъ, но передъ тѣмъ онъ смотрѣлъ еще совсѣмъ бодро, и потому никому не приходило въ голову, что эту сильную, исполненную труда, жизнь ждетъ скорая развязка. О причинахъ своей болѣзни онъ отзывался неопредѣленно: „въ нутрѣ будто оборвалось“.

— Въ ту пору возъ съ сѣномъ плохо навили,—говорилъ онъ,—и началъ онъ, по дорогѣ, на сторону валиться. Мужикъ-то лошадь подъ уздцы велъ, а я сбоку шелъ, плечомъ подпиралъ. Ну, и случилось.

Изъ всей малиновецкой вотчины это былъ единственный человѣкъ, къ которому матушка была искренно расположена. Старостой его назначили лѣтъ двѣнадцать назадъ, и все время онъ такъ разумно и честно распоряжался, что про него безъ ошибки можно было сказать: вотъ человѣкъ, который во истину вѣрой и правдой служитъ! Попивалъ онъ, правда, но только по большимъ праздникамъ, когда и Богъ проститъ. Но всего дороже въ немъ было

то, что, соблюдая господскій интересъ, онъ и за крестьянъ заступался. И хотя матушка по временамъ называла его за это потакôвщикомъ, но внутренно сознавала, что Ѳедотова политика избавляетъ ее отъ цѣлой массы мелкихъ неудовольствій.

И Ѳедотъ, и матушка, какъ говорится, сердцами сошлись. Каждый вечеръ старикъ появлялся въ стѣнахъ дѣвичьей и подолгу бесѣдовалъ съ барыней. Оба проникли въ самую суть сельско-хозяйственнаго дѣла, оба понимали другъ друга. Матушка съ неослабѣвающимъ вниманіемъ выслушивала старосту, который неторопко и обстоятельно докладывалъ ей исторію цѣлаго дня. Потомъ они общими силами обсуждали каждый отдѣльный вопросъ, и почти всегда слаживались. Матушка была дальновиднѣе; за то Ѳедотъ бралъ верхъ по части подробностей. А такъ какъ въ сельскомъ хозяйствѣ подробности играютъ наиболѣе вѣскую роль, то въ большинствѣ случаевъ разногласія разрѣшались въ пользу старосты. Даже старый баринъ нерѣдко заходилъ въ дѣвичью во время этихъ диспутовъ и съ любопытствомъ въ нихъ вслушивался. Наговорившись до-сыта и проектировавши завтрашній рабочій день (всегда на-двое: на случай вёдра и на случай дождя), матушка приказывала подать Ѳедоту рюмку водки и спокойная уходила въ свою комнату.

И вдругъ этотъ вѣрный и честный слуга — даже другъ — заболѣлъ. Заболѣлъ безнадежно, какъ это всегда въ крестьянскомъ быту водится. Не любятъ мужички задаромъ бока пролеживать, а если который слегъ, то такъ и жди неминуемаго конца. Хорошо еще, что это случилось глубокой осенью, а еслибъ лѣтомъ, въ самый развалъ страды — просто хоть пропадай безъ Ѳедота. Жалко Ѳедота: „другъ“ онъ; но другъ само по себѣ, а и о господскомъ интересѣ нельзя не подумать. Вотъ и теперь: молотьбѣ и конца еще не видать, а какъ она идетъ—поди, услѣди! При Ѳедотѣ всякое зерно было на счету; безъ него — того и гляди, десятаго зерна не досчитаешься. Особливо бабы. Хитра крѣпостная баба—не догадаешься, какъ она мѣшочекъ съ пушниной унесетъ. Одна мѣшочекъ, другая мѣшочекъ—посчитай-ка, анъ и многонько выйдетъ.

Словомъ сказать, смѣсь искренняго жалѣнія объ умирающемъ слугѣ съ не менѣе искреннимъ жалѣніемъ о господинѣ, котораго эта смерть застигала врасплохъ, въ полной силѣ проявилась тутъ, какъ проявлялась вообще во всей крѣпостной практикѣ. Это было не лицемѣріе, не предательство, а естественное двоегласіе, въ которомъ два теченія шли рядомъ, не производя никакого переполоха въ человѣческомъ сознаніи.

Матушка по цѣлымъ часамъ прочитывала Енгалычевскій лечебникъ, отыскивая подходящее средство. Напавши на какой-нибудь недугъ, схожій, по ея мнѣнію, съ тѣмъ, которымъ страдалъ Ѳедотъ, она прибѣгала къ домашней аптекѣ, совѣтовалась съ горничной дѣвушкой, которая считалась спеціалисткою по всякимъ болѣзнямъ, и обѣ общими силами приготовляли лекарства. Черезъ день, а иногда и чаще, она брала съ собой дѣвушку-лекарку, садилась на долгушу-трясучку и, несмотря на осеннюю слякоть, тащилась за двѣ версты въ Измалково—деревню, въ которой жилъ Ѳедотъ. Но ни лекарство ласковой барыни, ни присутствіе ея не помогали больному. Ле-

жалъ онъ какъ пластъ, на печи, исхудалый, какъ скелетъ. И животъ у него сильно вздулся—должно быть, именно тамъ и крылась причина недуга.

— Напрасно, сударыня, безпокоитесь, — говорилъ онъ задавленнымъ голосомъ, силясь приподняться.

— Лежи, лежи! не говори, коли трудно! — приказывала матушка и садилась къ столу, чтобы подробно разспросить домашнихъ и дать необходимыя наставленія.

— Хорошо ли онъ спитъ?

— Гдѣ ужъ! чуточку задремлетъ, и опять стонать примется.

— Ѣстъ ли?

— Гдѣ ужъ! чуточку поѣстъ—все вонъ! все вонъ!

— Ну, такъ вотъ что̀. Сегодня я новыхъ лекарствъ привезла: вотъ это —майскій бальзамъ, животъ ему чаще натирайте, а на ночь скатайте катышокъ и внутрь принять дайте. Вотъ это — гофманскія капли, тоже, коли что̀ случится, давайте! это — настойка звѣробоя, на ночь полстакана пусть выпьетъ. А ежели давно онъ не облегчался, промывательное поставьте. Богъ дастъ, и полегче будетъ. Я и лекарку у васъ оставлю, пускай за больнымъ походитъ, а завтра утромъ придетъ домой и скажетъ, коли что̀ еще нужно? И опять что-нибудь придумаемъ.

— Дай-то, Господи! Пошли вамъ Царица Небесная!—хоромъ благодарили Ѳедотовы домочадцы.

— Ну, Ѳедотушка, покуда прощай! никто какъ Богъ!—говорила матушка, подходя къ Ѳедоту:—а я за тебя въ воскресенье твоему ангелу свѣчку поставлю! Еще такъ-то съ тобой поживемъ, что любо!

— Молотьба-то какъ?—тоскливо бормоталъ больной, желая хоть этимъ вопросомъ отблагодарить барыню за участіе.

— Что молотьба! былъ бы ты здоровъ, а молотьба своимъ чередомъ сойдетъ... Ну, Христосъ съ тобой лежи!

— Дай вамъ Богъ! пошли Царица Небесная!

Матушка уѣзжала, а Ѳедоту усердно терли животъ и вливали въ ротъ звѣробойную настойку.

Матушку сильно волновалъ вопросъ, кого на мѣсто Ѳедота въ старосты выбрать. Сына своего, Аѳоньку, старикъ не рекомендовалъ: загаду хозяйскаго у него нѣтъ, да и на вино слабъ. А сельскій Архипъ, на котораго указывалъ Ѳедотъ, не по нраву былъ матушкѣ. Начнешь съ нимъ говорить —слова въ отвѣтъ не получишь. И при работахъ догадки у него нѣтъ. Смотритъ прямо, а что̀ по сторонамъ дѣлается—не видитъ. Сущій вахлакъ, никакой самостоятельности отъ него не жди. А матушка любила, чтобъ начальники, которымъ она довѣряетъ, возражали ей (но, разумѣется, чтобъ возражали дѣльно, а не лотошили зря), чтобъ они имѣли глаза не только спереди, но и съ боковъ и сзади. Правда, что у Архипа собственное хозяйство было въ исправности, да вѣдь барское хозяйство не чета крестьянскому. Поручи-ка ему большое колесо—онъ сразу растеряется.

Въ господскомъ домѣ, за обѣдомъ, за чаемъ, когда бы ни собрались господа, только и было рѣчи, что о Ѳедотѣ. На смерть его смотрѣли какъ на бѣдствіе.

— Да, задалъ Ѳедотушка загадку!—жаловалась матушка:—кажется, и концовъ не сыщешь, какого онъ кавардаку надѣлалъ!

— На все Божья воля,—смиренно отзывался отецъ.

— Тебѣ что̀! Ты заперся у себя въ кабинетѣ, и горюшка мало! сидишь да по ляжкамъ похлопываешь... А я цѣлый день какъ въ огнѣ горю... Куда я теперь безъ Ѳедота поспѣла?

— Ну, найдешь кого-нибудь.

— Ищи ты, а я ужъ устала искавши. Брошу все, уѣду отъ васъ; живите какъ знаете.

Взглянетъ матушка въ окошко, а на дворѣ дождь. И опять у нея по Ѳедотушкѣ сердце щемить начнетъ.

— Льетъ да поливаетъ!—ропщетъ она: — который ужъ день эта канитель идетъ, а все конца краю тучамъ не видать. Намолотили съ три пропасти, а ворохà невѣянные стоятъ *). Кабы Ѳедотъ—онъ что-нибудь да придумалъ бы.

— Что̀ тутъ придумаешь! Какъ противъ воли Божьей пойдешь!

— Божья воля сама по себѣ, а надо и мѣры принимать. Подъ лежачій камень и вода не бѣжитъ. Вотъ какъ зерно-то сопрѣетъ, тогда и увидимъ, какъ ты о Божьей волѣ разговаривать будешь!

Но всего больше безпокоила перспектива: растащатъ! разворуютъ! Давно ужъ въ малиновецкой барщинѣ о расхищеніи господскаго добра слуховъ не было, да вѣдь это все-таки Ѳедотъ завелъ. Онъ не былъ строгъ съ крестьянами, но воровство преслѣдовалъ неумолимо. Взглядъ у него на эти дѣла тонкій былъ: подойдетъ и сейчасъ угадаетъ. По началу, какъ его въ старосты опредѣлили, только, бывало, и видишь: идетъ Ѳедотъ и бабу съ мѣшочкомъ съ колосьями или съ пушниной на конюшню ведетъ. Водилъ, водилъ, да такъ-то отъучилъ, что подъ конецъ и подозрѣній ни на кого ужъ не возникало. А на Архипа (онъ ужъ временно замѣщалъ Ѳедота) развѣ можно положиться? Это такой, прости Господи, рохля, что изъ-подъ носу у него утащатъ—онъ и не увидитъ. И о чемъ только онъ думаетъ! Передъ глазами господское дѣло, а въ мысляхъ: „что̀-то, молъ, дома у меня дѣлается?“ А вотъ взять да и раскатать этотъ „домъ“ по бревнышку—и думай тогда о немъ!

— Нужно бы въ ригу подослать, да посмотрѣть, что̀ тамъ дѣлается: кого я пошлю?—опять начинаетъ матушка.

— Архипъ доглядитъ.

— Доглядчикъ!

— Ну, Акулину пошли, сама сходи.

— У Акулины своего дѣла по горло; а сама и сходила бы, да ходилки-то у меня ужъ не прежнія. Да и что я на васъ за работница выскалась! ишь, командиръ командуетъ: сходи да сходи! Уѣду отсюда, вотъ тебѣ крестъ, уѣду! Выстрою въ Быковѣ усадьбу, возьму дѣтей, а ты живи одинъ съ милыми сестрицами, любуйся на нихъ!

---

*) Въ то время ни молотилокъ, ни вѣялокъ не было; вѣяли съ лопаты на открытомъ гумнѣ, при благопріятномъ вѣтрѣ.

Отецъ вздыхалъ и смирялся. Давно ужъ, при каждой встрѣчѣ, по каждому случаю, эта сутолока идетъ, и не вспомнишь, когда она началась. Всякая непріятность, какая ни случится въ домѣ, непремѣнно на немъ обрушивается. „Это все ты! Это все ты!“ — только и словъ. А иногда и такъ еще скажетъ; „скоро ли ты, старый хрѣнъ, на тотъ свѣтъ отправишься!“ Было время, когда онъ въ отвѣтъ на эти окрики разражался грубою бранью и бунтовалъ; но наконецъ усталъ. Старчество все глубже и глубже втягивало его въ свои нѣдра, а за старостью, сама собой, пришла безпомощность. И не одна безпомощность—это бы куда ни шло!—но и сознаніе полнѣйшей личной безполезности. Онъ и самъ какъ будто понимаетъ, что бросаемые ему въ лицо упреки вполнѣ имъ заслужены, только форма ихъ словно черезчуръ безсовѣстна. Дѣйствительно, онъ не только лишній, но и помѣха въ домѣ. Какъ ни сокращаетъ онъ свои требованія, какъ ни прячется отъ живыхъ людей, все-таки онъ еще дышетъ, и этимъ однимъ напоминаетъ, что за нимъ нуженъ уходъ...

Ѳедота онъ, кажется, любилъ, даже больше, нежели матушка. Почему-то у него сложилось убѣжденіе, что старый слуга косвеннымъ образомъ ограждаетъ его. Покуда Ѳедотъ распоряжался барщиной, меньше встрѣчалось поводовъ для шума и крика. Рѣже кричали: „это все ты! все ты!“ Рѣже напоминали, что ему давно очистить мѣсто пора, что съ его стороны безсовѣстно праздно проводить время, бременить землю, тогда какъ все кругомъ работаетъ, въ котлѣ кипитъ. Но вотъ и Ѳедотъ умираетъ—всѣ старики умерли—всѣ! только одинъ онъ, старый малиновецкій владыка, ждетъ смерти и дождаться не можетъ.

Матушка хоть на короткое время старается позабыть о постигшей ея невзгодѣ.

Она внимательно выслушиваетъ вечерній докладъ Архипа и старается ввести его въ кругъ своихъ хозяйственныхъ взглядовъ. Но Архипъ непривыченъ и робѣетъ передъ барыней. Къ несчастію, матушка окончательно утратила всякое чувство самообладанія и не можетъ сдерживать себя. Начавши съ молчаливаго выслушиванія, она переходитъ въ поученія, а изъ поученій въ крикъ. Ошеломленный этимъ крикомъ, Архипъ уже не просто робѣетъ, но дрожитъ. Вслѣдствіе этого вопросы остаются неразрѣшенными, и новый староста уходитъ, оставленный на произволъ судьбѣ.

— Ничего-то онъ не смыслитъ!—жалуется матушка Акулинѣ.

— Очень ужъ вы, сударыня, кричите на него.

— Отчего же Ѳедотъ съ одного слова понималъ?

— На то онъ и Ѳедотъ былъ. Ѳедотъ-то лучше вашего всю подноготную зналъ, а этотъ вновѣ. Съ Ѳедотомъ-то вы, небойсь, тихимъ манеромъ разговаривали.

Матушка начинаетъ припоминать. Дѣйствительно, никогда она Ѳедоту худого слова не сказала, никогда на него не прикрикнула. Съ самаго начала у нихъ какъ-то скоро наладилось. Кто знаетъ?—можетъ быть, и изъ Архипа что-нибудь путное выйдетъ, если ладкомъ къ нему подступить? Матушка задумывается надъ этимъ вопросомъ, и обѣщаетъ себѣ *завтра* во что бы ни стало сдержать себя. Но является на другой день Архипъ, и принятое на-

канунѣ рѣшеніе сейчасъ же улетучивается. Онъ по-вчерашнему робокъ и ненаходчивъ, и по-вчерашнему же матушка, кромѣ безсодержательныхъ крикoвъ, ничего не находитъ сказать ему въ назиданье.

Охваченная одной и той же мыслью, матушка всѣ дѣла запустила. Примется за счеты — ничего не понимаетъ; задумаетъ кому-нибудь изъ бурмистровъ приказъ написать — ничего порядкомъ сообразить не можетъ. Придетъ въ дѣвичью — ко всему придирается; повару обѣдъ заказывать перестала: чѣмъ хочешь, тѣмъ и корми! Даже денегъ путемъ счесть не можетъ: тò ли всѣ цѣлы, тò ли разворовали. Повсюду ей мерещутся неисправности, порухи, ущербъ... Разумѣется, всѣ эти порухи и ущербы существуютъ только въ ея воображеніи, потому что заведенные Ѳедотомъ порядки у всѣхъ еще въ памяти, и дѣло покамѣстъ идетъ своимъ чередомъ. Но разъ воображеніе взбудоражено, она ужъ не можетъ справиться съ нимъ.

— Хоть бы ужъ поскорѣе... одинъ конецъ!—частенько мелькаетъ въ ея головѣ.

И сны ей снятся такіе, что не разберешь. То приснится, что Ѳедотъ ужъ умеръ, то будто онъ пришелъ въ дѣвичью и говоритъ: „а вѣдь я, сударыня, всталъ!“

„Вотъ кабы“...—начинаетъ она мечтать въ просонкахъ, и ждетъ не дождется утра, когда должна явиться дѣвушка-лекарка съ докладомъ изъ Измалкова.

— Ну чтò?—выбѣгаетъ она на-встрѣчу ей.

— Да все тоже. Не долго, должно быть.

Матушка въ волненіи скрывается въ свою комнату и начинаетъ смотрѣть въ окно. Слякоть по дорогѣ невылазная, даже траву на красномъ дворѣ затопило, а дождикъ продолжаетъ лить да лить. Она сердито схватываетъ колокольчикъ и звонитъ.

— Архипа!

Приходитъ Архипъ и заранѣе ужъ дрожитъ, предчувствуя барынинъ гнѣвъ.

— Сегодня не вѣяли?

— Какъ же въ такую погоду вѣять!

— Ступай вонъ... ротозѣй!

Архипъ уходитъ, но черезъ минуту, уже по собственному почину, возвращается.

— Вы бы меня, сударыня, уволили!—говоритъ онъ, стараясь придать своему голосу твердость,

— Это чтò за новости! Безъ году недѣля палку въ руки взялъ, а ужъ поговаривать началъ! Захочу отпустить—и сама догадаюсь. Знать ничего не хочу! Хошь на ладоняхъ у себя вывѣйте зерно, а чтобъ было готово!

Архипъ уныло уходитъ; матушка опять звонитъ.

— Бѣгите къ попу! скажите, чтобъ завтра чуть свѣтъ молебенъ объ вёдрѣ отслужилъ, да и объ Ѳедотѣ кстати помолился бы. А Архипкѣ ротозѣю прикажите, чтобъ всю барщину въ церковь согналъ.

Однако и молебенъ не поднялъ недужнаго съ одра. Ѳедотъ видимо приближался къ роковой развязкѣ, а дождь продолжалъ лить какъ изъ ведра.

Матушка самолично явилась въ ригу и даже руками всплеснула, увидѣвши громадные вороха обмолоченнаго и невывѣяннаго хлѣба.

— А вы, голубчики, все молотите да молотите!—крикнула она на молотильщиковъ, и тутъ же, обратясь къ Архипу, грубо распорядилась:—покуда ненастье на дворѣ, пусть мужики на себя работаютъ. Нечего баловать. А какъ только выйдетъ вёдреный день — всѣхъ людей поголовно на барщину гнать.

Наконецъ смерть утомилась ждать. Позднимъ вечеромъ Аѳонька прискакалъ верхомъ и доложилъ, что Ѳедотъ кончается. Несмотря на темень, матушка сейчасъ же отправилась въ Измалково.

Ѳедотъ умиралъ. Въ избѣ было душно и смрадно; цѣлая толпа народа —не только домашніе, но и сосѣди—скучились у подножія печки, на которой лежалъ больной, и громко гуторила.

— Уйдите всѣ! — крикнула матушка: — пусть остаются только Лукерья (Ѳедотова жена) да Аѳанасій.

Съ помощью Аѳанасья она влѣзла на печь и сѣла возлѣ умирающаго. Ѳедотъ лежалъ съ закрытыми глазами; грудь уже не вздымалась, такъ что трудно было разобрать, дышетъ ли онъ. Но старый слуга, даже окутанный облакомъ агоніи, почуялъ приближеніе барыни и коснѣющимъ языкомъ пробормоталъ:

— Молотьба...

Это было послѣднее его слово. Ѳедотъ пересталъ существовать. Матушка заплакала и наклонилась къ нему...

— Распоряженіе передъ смертью сдѣлалъ?—спросила она домашнихъ, когда все было кончено.

— Все, матушка, сдѣлалъ. И скотинку, и одежду свою... двадцать рублей денегъ было... все раздѣлилъ.

— Такъ и сдѣлайте, какъ онъ приказалъ.

Черезъ три дня Ѳедота схоронили. Вся вотчина присутствовала на погребеніи, и не было человѣка, который помянулъ бы покойника лихомъ. Отецъ до земли поклонился праху вѣрнаго слуги; матушка всю панихиду проплакала.

Прошло еще нѣсколько дней; погода разгулялась, и молотьба пошла своимъ чередомъ. Вмѣстѣ съ погодой повеселѣлъ и Архипъ. Смерть Ѳедота какъ будто развязала его, и онъ всѣ свои помыслы устремилъ къ тому, чтобъ оправдать рекомендацію покойнаго.

Но со смертью Ѳедота Малиновецъ уже опостылѣлъ матушкѣ.

Заканчивая этимъ разсказомъ портретную галерею домочадцевъ, образы которыхъ уцѣлѣли въ моей памяти съ наибольшею живостью, я считаю нелишнимъ оговориться. Читателю можетъ показаться страннымъ, что я не упомянулъ здѣсь о нянькахъ, которыя обыкновенно занимаютъ довольно значительное мѣсто въ семейныхъ воспоминаніяхъ. На это отвѣчаю слѣдующее: нянька, какъ профессіональное званіе, почти не существовала въ нашемъ домѣ.

Матушка понимала, что обычай присвоиваетъ этой должности извѣстный почетъ, который ставитъ няньку въ льготное положеніе. А такъ какъ общая система ея управленія не допускала никакихъ льготъ, то прислуга, которой поручались дѣти, мѣнялась безпрестанно.

XXVI.—Помѣщичья среда.

Помѣщиковъ въ нашемъ краю было много, но матеріальное ихъ положеніе представлялось не особенно завиднымъ. Кажется, наше семейство считалось самымъ зажиточнымъ; богаче насъ былъ только владѣлецъ села Отрады, о которомъ я однажды упоминалъ; но такъ какъ онъ живалъ лишь наѣздомъ, то о немъ въ помѣщичьемъ кругу не было и рѣчи *). Затѣмъ можно было указать на три-четыре среднихъ состоянія отъ пяти-сотъ до тысячи душъ (въ разныхъ губерніяхъ), а за ними слѣдовала мелкота отъ полутораста душъ и ниже, спускаясь до десятковъ и единицъ.

Были мѣстности, гдѣ въ одномъ селѣ скучивалось до пяти-шести господскихъ усадебъ, и вслѣдствіе этого существовала безтолковѣйшая черезполосица. Но споры между совладѣльцами возникали рѣдко. Во-первыхъ, всякій отлично зналъ свой клочокъ; а во-вторыхъ, опытъ доказывалъ, что ссоры между такими близкими сосѣдями невыгодны: порождаютъ безконечныя дрязги и мѣшаютъ общежитію. А такъ какъ послѣднее составляло единственный рессурсъ, который сколько нибудь смягчалъ скуку, неразлучную съ безвыѣзднымъ житьемъ въ захолустьи, то благоразумное большинство предпочитало смотрѣть сквозь пальцы на земельную неурядицу, лишь бы не соориться. Поэтому и вопросъ о размежеваніи черезполосныхъ владѣній, несмотря на настоянія начальства, оставался нетронутымъ: всѣ знали, что какъ только приступлено будетъ къ его практическому осуществленію — общей свалки не миновать.

Но иногда случалось, что въ подобной плотно замкнувшейся помѣщичьей мурьѣ появлялся кляузникъ, или просто наглый человѣкъ, который затѣвалъ судбища, и при содѣйствіи сутягъ-подъячихъ распространялъ кругомъ отраву. Подъ вліяніемъ этой отравы—мурья приходила въ движеніе: всякій начиналъ отыскивать *свое*; возникали разбирательства и постепенно втягивали въ себя всѣхъ сосѣдей. Споръ о клочкѣ въ нѣсколько десятковъ квадратныхъ саженъ переходилъ въ личную ссору, а наконецъ и въ открытую вражду. Вражда обострялась, дѣлалась неумолимою. Бывали случаи, что сосѣди-односельцы, всѣ поголовно, не только не посѣщали другъ друга, но избѣгали встрѣчъ на улицѣ, и даже въ церкви устраивали взаимные скандалы. Разумѣется, одолѣвалъ тотъ, кто былъ посильнѣе и помогутнѣе;

---

*) Я не говорю о немногихъ владѣльцахъ болѣе или менѣе значительныхъ оброчныхъ имѣній, которые имѣли усадьбы въ другихъ губерніяхъ, а въ нашей сторонѣ даже наѣздомъ не показывались.

слабымъ же и судиться было не на что. Послѣдніе по-неволѣ смирялись и, кругомъ обездоленные, являлись просить пощады. Тогда въ мурьѣ вновь возстановлялась тишь да гладь, да божья благодать.

Помѣщики, владѣвшіе особняками, конечно, были избавлены отъ сутолоки, составляющей неизбѣжную принадлежность слишкомъ близкаго сосѣдства, но за то они жили скучнѣе. Въ люди ѣздили рѣдко, охотой занимались только осенью, а хозяйство представляло слишкомъ слабый рессурсъ, чтобы наполнить жизнь. Страстные хозяева встрѣчались въ видѣ исключенія; большинство довольствовалось заведенными порядками, которые обезпечивали насущный кусокъ и давали достаточно досуга, чтобы имѣть право называться бариномъ или барыней. Не мѣшаетъ замѣтить при этомъ, что помѣщики, которые хоть сколько-нибудь возвышались надъ матеріальнымъ уровнемъ мелкоты, смотрѣли свысока на своихъ захудалыхъ собратій и вообще черезчуръ легко заражались чванствомъ.

Помѣщичьи усадьбы были крайне невзрачны. Задумавши строиться, ставили продолговатый срубъ, въ родѣ казармъ, раздѣляли его внутри перегородками на каморки, проконопачивали стѣны мхомъ, покрывали тесовой крышей и въ этомъ неприхотливомъ помѣщеніи ютились, какъ могли. Подъ вліяніемъ атмосферическихъ измѣненій, срубъ разсыхался и темнѣлъ, крыша пропускала течь. Въ окна дуло; сырость проникала безпрепятственно всюду; полы ходили ходуномъ, потолки покрывались пятнами, и домъ, за отсутствіемъ ремонта, вросталъ въ землю и ветшалъ. На зиму стѣны окутывали соломой, которую прикрѣпляли жердями; но это плохо защищало отъ холода, такъ что зимой приходилось топить и утромъ, и на ночь. Само собой разумѣется, что у помѣщиковъ побогаче дома строились обширнѣе и прочнѣе, но общій типъ построекъ былъ одинаковъ.

Объ удобствахъ жизни, а тѣмъ менѣе о живописной мѣстности не было и рѣчи. Усадьба ставилась преимущественно въ низинкѣ, чтобы отъ вѣтра обиды не было. Съ боковъ выстраивали хозяйственныя службы, сзади разводили огородъ, спереди — крохотный палисадникъ. Ни парковъ, ни даже фруктовыхъ садовъ, хоть бы въ качествѣ доходной статьи, не существовало. Рѣдко-рѣдко гдѣ можно было встрѣтить натуральную рощицу или обсаженный березками прудокъ. Сейчасъ за огородомъ и службами начинались господскія поля, на которыхъ съ ранней весны до поздней осени безостановочно шла работа. Помѣщикъ имѣлъ полную возможность изъ оконъ дома наблюдать за процессомъ ея и радоваться или печалиться, смотря по тому, что̀ ожидало впереди, урожай или безкормица. А это было въ жизни самое существенное и всѣ прочіе интересы отодвигало далеко на задній планъ.

Несмотря однакожъ на недостаточныя матеріальныя средства, особенной нужды не чувствовалось. Развѣ ужъ самые мелкотравчатые не успѣвали сводить концы съ концами и искали подспорья въ томъ, что перекочевывали съ дѣтьми отъ однихъ сосѣдей къ другимъ, играя незавидную роль буфоновъ и приживальцевъ. Причина такого сравнительнаго довольства заключалась отчасти въ общей дешевизнѣ жизни, но преимущественно въ крайней неприхотливости требованій. Ограничивались исключительно своимъ, некупленнымъ. Денежныхъ издержекъ требовала только одежда, водка и въ рѣдкихъ случаяхъ

бакалейные товары. Въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ семьяхъ (даже не изъ самыхъ бѣдныхъ) и чай пили только по большимъ праздникамъ, а о виноградномъ винѣ совсѣмъ было не слышно *). Настойки, наливки, квасъ, медъ — вотъ напитки, которые были въ ходу, а домашнія соленья и маринады фигурировали въ качествѣ закусокъ. За столомъ подавали все свое, за исключеніемъ говядины, которая, вслѣдствіе этого, употреблялась рѣдко. Домочадцы, не имѣя понятія о такъ-называемыхъ разносолахъ, удовлетворялись этимъ обиходомъ вполнѣ, да и гости претензій не заявляли. Было бы жирно и всего вдоволь—вотъ мѣрило, которымъ руководилось тогдашнее помѣщичье гостепріимство.

Сто, двѣсти рублей (ассигнаціями) считались въ то время большими деньгами. И вотъ, когда они случайно скоплялись въ рукахъ, то для семьи устраивалось что-нибудь прочное. Покупали сукна, ситцевъ и проч., и съ помощью домашнихъ мастеровъ и мастерицъ члены семьи обшивались. Дѣвы продолжали ходить въ старенькомъ; новое берегли для гостей. Завидятъ, что гости ѣдутъ—и бѣгутъ переодѣваться, чтобы гости думали, что гостепріимные хозяева *всегда* такъ ходятъ. Зимой, когда продавался залишній хлѣбъ и разный деревенскій продуктъ, денегъ въ обращеніи было больше, и ихъ „транжирили"; лѣтомъ — дрожали надъ каждой копѣйкой, потому что въ рукахъ оставалась только слѣпая мелочь. „Лѣто—припасуха, зима — прибируха", гласила пословица, и вполнѣ оправдывала свое содержаніе на практикѣ. Поэтому зимы ждали съ нетерпѣніемъ, а лѣтомъ уединялись и пристально слѣдили изъ оконъ за процессомъ созиданія предстоящаго зимняго раздолья.

Во всякомъ случаѣ на судьбу рѣдко роптали. Устраивались насколько кто могъ, и на лишніе куски не зарились. Сальныя свѣчи (тоже покупной товаръ) берегли какъ зѣницу ока, и когда въ домѣ не было гостей, то по зимамъ долго сумерничали и рано ложились спать. Съ наступленіемъ вечера, помѣщичья семья скучивалась въ комнатѣ потеплѣе; ставили на столъ сальный огарокъ, присаживались поближе къ свѣту, вели немудреные разговоры, рукодѣльничали, ужинали и расходились не поздно. Если въ семьѣ было много барышенъ, то веселая ихъ бесѣда за полночь раздавалась по дому,—но вѣдь разговаривать и безъ свѣчей можно.

Тѣмъ не менѣе, въ какой мѣрѣ это относительно безнужное житіе отражалось на крѣпостной спинѣ—это вопросъ особый, который я оставляю открытымъ.

Образовательный уровень помѣщичьей среды былъ еще менѣе высокъ, нежели матеріальный. Только одинъ помѣщикъ могъ похвалиться университетскимъ образованіемъ, да двое (мой отецъ и полковникъ Гуслицынъ) получили довольно сносное домашнее воспитаніе и имѣли средніе чины. Остальную массу составляли недоросли изъ дворянъ и отставные прапоры. Въ нашей мѣст-

*) Виноградное вино всѣхъ наименованій выдѣлывалось въ Кашинѣ купцомъ Терликовымъ. Не знаю, насколько эта смѣсь была безвредна, но во всякомъ случаѣ она стоила недорого. Впослѣдствіи, кромѣ Терликовыхъ, поддѣлкою винъ занялись Зызыкины (въ Кашинѣ же) и Соболевы (въ Ярославлѣ). Кажется, и по сю пору ихъ вина въ ходу.

ности изстари такъ повелось, что выйдетъ молодой человѣкъ изъ кадетскаго корпуса, прослужитъ годикъ-другой и пріѣдетъ въ деревню на хлѣба къ отцу съ матерью. Тамъ сошьетъ себѣ архалукъ, начнетъ по сосѣдямъ ѣздить, дѣвицу присмотритъ, женится, а когда умрутъ старики, то и самъ на хозяйство сядетъ. Нечего грѣха таить, не честолюбивый, смирный народъ былъ, ни въ высь, ни въ ширь, ни по сторонамъ не заглядывался. Рылся около себя, какъ кротъ, причины причинъ не доискивался, ничѣмъ, что происходило за деревенской околицей, не интересовался, и ежели жилось тепло да сыто, то былъ доволенъ и собой, и своимъ жребіемъ.

Печатное дѣло успѣхомъ не пользовалось. Изъ газетъ (ихъ и всего-то на цѣлую Россію было три) получались только „Московскія Вѣдомости", да и тѣ не болѣе какъ въ трехъ или четырехъ домахъ. О книгахъ и рѣчи не было, исключая академическаго календаря который выписывался почти вездѣ; сверхъ того попадались пѣсенники и другія дешевыя произведенія рыночной литературы, которыя вымѣнивали у разносчиковъ барышни. Онѣ однѣ любили отъ скуки почитать. Журналовъ не получалось вовсе, но съ 1834 года матушка начала выписывать „Библіотеку для Чтенія", и надо сказать правду, что отъ просьбъ прислать почитать книжку отбоя не было. Всего больше нравились: „Оленька, или вся женская жизнь въ нѣсколькихъ часахъ" и „Висячій гость", принадлежавшіе перу барона Брамбеуса. Послѣдній сразу сдѣлался популярнымъ, и даже его не совсѣмъ опрятною „Литературною лѣтописью" зачитывались до упоенія. Сверхъ того барышни были большія любительницы стиховъ, и не было дома (съ барышнями), въ которомъ не существовало бы объемистаго рукописнаго сборника, или альбома, наполненныхъ произведеніями отечественной поэзіи, начиная отъ оды „Богъ" и кончая нелѣпымъ стихотвореніемъ: „На послѣднемъ я листочкѣ". Геній Пушкина достигъ въ то время апогея своей зрѣлости, и слава его гремѣла по всей Россіи. Проникла она и въ наше захолустье, и въ особенности въ средѣ барышенъ нашла себѣ восторженныхъ поклонницъ. Но не мѣшаетъ прибавить, что слабѣйшія вещи, въ родѣ „Талисмана", „Черной шали" и проч., нравились больше, нежели произведенія зрѣлыя. Изъ послѣднихъ наибольшее впечатлѣніе производилъ „Евгеній Онѣгинъ", по причинѣ легкости стиха, но истинный смыслъ поэмы едва-ли былъ кому доступенъ.

Лишенная прочной образовательной подготовки, почти непричастная умственному и литературному движенію большихъ центровъ, помѣщичья среда погрязала въ предразсудкахъ и въ полномъ невѣдѣніи природы вещей. Даже къ сельскому хозяйству, которое, казалось бы, должно было затрогивать существеннѣйшіе ея интересы, она относилась совершенно рутинно, не выказывая ни малѣйшихъ попытокъ въ смыслѣ улучшенія системы или пріемовъ. Однажды заведенные порядки служили закономъ, а представленіе о безконечной растяжимости мужицкаго труда лежало въ основаніи всѣхъ разсчетовъ. Считалось выгоднымъ распахивать какъ можно больше земли подъ хлѣбъ, хотя, благодаря отсутствію удобренія, урожаи были скудные и давали не больше зерна на зерно. Все-таки это зерно составляло излишекъ, который можно было продать, а о томъ, какою цѣною доставался тотъ излишекъ мужичьему хребту, и думать надобности не было.

Къ этой общей системѣ, въ качествѣ подспорья, прибавлялись молебны о ниспосланіи вёдра или дождя; но такъ какъ пути Провидѣнія для смертныхъ закрыты, то самыя жаркія мольбы не всегда помогали. Сельско-хозяйственной литературы въ то время почти не существовало, а ежели въ „Библіотекѣ для Чтенія" и появлялись ежемѣсячно компиляціи Шелихова, то онѣ составлялись поверхностно, по руководству Тэера, совершенно непригодному для нашего захолустья. Подъ ихъ наитіемъ выискались двѣ-три личности — изъ молодыхъ да раннія — которыя пробовали дѣлать опыты, но изъ нихъ ничего путнаго не вышло. Причина неудачъ, конечно, прежде всего заключалась въ кругломъ невѣжествѣ экспериментаторовъ, но отчасти и въ отсутствіи терпѣнія и устойчивости, составляющемъ характеристическую черту полуобразованности. Представлялось, что результатъ долженъ придти сейчасъ же, немедленно; а такъ какъ онъ не приходилъ по желанію, то неудача сопровождалась потокомъ ничего не стоющихъ ругательствъ, и охота къ производству опытовъ столь же легко пропадала, какъ и приходила.

Нѣчто подобное повторилось впослѣдствіи, при освобожденіи крестьянъ, когда чуть не поголовно всѣ помѣщики возмнили себя сельскими хозяевами и, растративши попусту выкупныя ссуды, кончили тѣмъ, что стремительно бѣжали изъ насиженныхъ отцами гнѣздъ. Какъ стоитъ это дѣло въ настоящее время — сказать не могу; но уже изъ того одного, что землевладѣніе, даже крупное, не сосредоточивается болѣе въ одномъ сословіи, а испестрилось всевозможными сторонними примѣсями, — достаточно ясно, что старинный элементъ оказался не настолько сильнымъ и приготовленнымъ, чтобы удержать за собой главенство даже въ такомъ существенномъ для него вопросѣ, какъ аграрный.

Вопросы внѣшней политики были совсѣмъ неизвѣстны. Только въ немногихъ домахъ, гдѣ получались „Московскія Вѣдомости", выступали на арену, при гостяхъ, кое-какія скудныя новости, въ родѣ того, что такая-то принцесса родила сына или дочь, а такой-то принцъ, будучи на охотѣ, упалъ съ лошади и повредилъ себѣ ногу. Но такъ какъ новости были запоздалыя, то обыкновенно при этомъ прибавляли: „теперь ужъ, поди, нога зажила!" и переходили къ другому, столь же запоздалому извѣстію. Нѣсколько дольше останавливались на кровавой путаницѣ, происходившей въ то время въ Испаніи между карлистами и христиносами, но, не зная началъ ея, тщетно усиливались разгадать ея смыслъ. Францію считали очагомъ безнравственности и были убѣждены, что французы питаются лягушками. Англичанъ называли купцами и чудаками, и разсказывали анекдоты, какъ нѣкоторый англичанинъ бился объ закладъ, что будетъ цѣлый годъ питаться однимъ сахаромъ, и т. д. Къ нѣмцамъ относились снисходительнѣе, прибавляя однако, въ видѣ поправки: „что̀ русскому здорово, то̀ нѣмцу смерть". Этими краткими росказнями и характеристиками исчерпывался весь внѣшній политическій горизонтъ.

О Россіи говорили, что это государство пространное и могущественное, но идея объ отечествѣ, какъ о чемъ-то кровномъ, живущемъ одною жизнью и дышущемъ однимъ дыханіемъ съ каждымъ изъ сыновъ своихъ, едва ли была достаточно ясна. Скорѣе всего — смѣшивали любовь къ отечеству съ выполненіемъ распоряженій правительства и даже просто начальства. Ника-

кихъ „критикъ", въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, не допускалось; даже на лихоимство не смотрѣли какъ на зло, а видѣли въ немъ глухой фактъ, которымъ надлежало умѣючи пользоваться. Всѣ споры и недоразумѣнія разрѣшались при посредствѣ этого фактора, такъ что еслибъ его не существовало, то еще Богъ знаетъ, не пришлось ли бы пожалѣть о немъ. Затѣмъ, относительно всего остального, не выходящаго за предѣлы приказаній и предписаній, царствовало полное равнодушіе. Бытовая сторона жизни, съ ея обрядами, преданіями и разлитою во всѣхъ ея подробностяхъ поэзіей, не только не интересовала, но представлялась низменною, „неблагородною". Старались истреблять признаки этой жизни даже среди крѣпостной массы, потому что считали ихъ вредными, подрывающими систему безмолвнаго повиновенія, которая одна признавалась пригодною въ интересахъ помѣщичьяго авторитета. Въ барщинскихъ имѣніяхъ праздникъ ничѣмъ не отличался отъ будней, а у „образцовыхъ" помѣщиковъ пѣсни настойчиво изгонялись изъ среды дворовыхъ. Случались, конечно, исключенія, но они уже составляли любительское дѣло, въ родѣ домашнихъ оркестровъ, пѣвчихъ и т. п.

Я знаю, мнѣ могутъ сказать, что бывали историческіе моменты, когда идея отечества вспыхивала очень ярко и, проникая въ самыя глубокія захолустья, заставляла биться сердца. Я отнюдь и не думаю отрицать этого. Какъ бы ни были мало развиты люди, все же они не деревянные, и общее бѣдствіе способно пробудить въ нихъ такія струны, которыя, при обычномъ теченіи дѣлъ, совсѣмъ перестаютъ звучать. Я еще засталъ людей, у которыхъ въ живой памяти были событія 1812-го года, и которые разсказами своими глубоко волновали мое молодое чувство. То была година великаго испытанія, и только усиліе всего русскаго народа могло принести и принесло спасеніе. Но не о такихъ торжественныхъ моментахъ я здѣсь говорю, а именно о тѣхъ будняхъ, когда для усиленнаго чувства нѣтъ повода. По моему мнѣнію, и въ торжественныя годины, и въ будни, идея отечества одинаково должна быть присуща сынамъ его, ибо только при ясномъ ея сознаніи человѣкъ пріобрѣтаетъ право называть себя гражданиномъ.

Двѣнадцатый годъ—это народная эпопея, память о которой перейдетъ въ вѣка и не умретъ, покуда будетъ жить русскій народъ. Но я былъ личнымъ свидѣтелемъ другого историческаго момента (войны 1853—1856 г.), близко напоминавшаго собой двѣнадцатый годъ, и могу сказать утвердительно, что въ сорокалѣтній промежутокъ времени патріотическое чувство, за недостаткомъ питанія и жизненной разработки, въ значительной мѣрѣ потускнѣло. У всѣхъ въ памяти кремневыя ружья съ выкрашенными деревянными чурками вмѣсто кремней, картонныя подошвы въ ратническихъ сапогахъ, гнилое сукно, изъ котораго строилась ратническая одежда, гнилые ратническіе полушубки и проч. Наконецъ памятенъ процессъ замѣстительства ополченскихъ офицеровъ, а по заключеніи мира торговля ратническими квитанціями. Мнѣ возразятъ, конечно, что всѣ эти постыдныя дѣла были совершены отдѣльными личностями, и ни помѣщичья среда (которая, впрочемъ, была главною распорядительницей въ устройствѣ ополченія), ни народъ не причастны имъ. Охотно допускаю, что во всемъ этомъ настроеніи преимущественными виновниками являются отдѣльныя личности, но вѣдь масса присутство-

вала при этихъ дѣяніяхъ—и не ахнула. Смѣхъ раздавался, смѣхъ!—и никому не приходило въ голову, что смѣются мертвецы...

Во всякомъ случаѣ, при такомъ смутномъ представленіи объ отечествѣ не могло быть и рѣчи объ общественномъ дѣлѣ.

Къ похвалѣ помѣщиковъ того времени я долженъ сказать, что, несмотря на невысокій образовательный уровень, они заботливо относились къ воспитанію дѣтей, — преимущественно впрочемъ сыновей,—и дѣлали все, что было въ силахъ, чтобы дать имъ порядочное образованіе. Даже самые бѣдные всѣ усилія напрягали, чтобы достичь благопріятнаго результата въ этомъ смыслѣ. Не доѣдали куска, въ лишнемъ платьѣ домочадцевъ отказывали, хлопотали, кланялись, обивали у сильныхъ міра пороги... Разумѣется, всѣ взоры были обращены на казенныя заведенія и на казенный кошель, и потому кадетскіе корпуса все еще продолжали стоять на первомъ планѣ (туда легче было на казенный счетъ поступить); но какъ только мало-мальски позволяли средства, такъ уже мечтался университетъ, предшествуемый гимназическимъ куромъ. И надо сказать правду: молодежь, пришедшая на смѣну старымъ недорослямъ и прапорамъ, оказалась нѣсколько иною. Къ сожалѣнію помѣщичьи дочери играли въ этихъ воспитательныхъ заботахъ крайне второстепенную роль, такъ что даже и вопроса о сколько-нибудь сносномъ женскомъ образованіи не возникало. Женскихъ гимназій не существовало, а институтовъ было мало, и доступъ въ нихъ сопрягался съ немаловажными затрудненіями. Но главное все-таки, повторяю, самой потребности въ женскомъ образованіи не чувствовалось.

Что касается до нравственнаго смысла помѣщичьей среды нашей мѣстности въ описываемое время, то отношенія ея къ этому вопросу ближе всего можно назвать страдательными. Атмосфера крѣпостного права, тяготѣвшая надъ нею, была настолько въѣдчива, что отдѣльные индивидуумы утопали въ ней, утрачивая личные признаки, на основаніи которыхъ можно было бы произнести надъ ними правильный судъ. Рамки были для всѣхъ одинаково обязательныя, а въ этихъ общихъ рамкахъ обязательно же вырисовывались контуры личностей, почти ничѣмъ не отличавшихся одна отъ другой. Разумѣется, можно было указать на подробности, но онѣ зависѣли отъ случайно сложившейся обстановки, и притомъ носили родственныя черты, на основаніи которыхъ можно было легко добраться до общаго источника. Впрочемъ изъ всей настоящей хроники довольно явственно выступаетъ неприглядная сторона нравственнаго состоянія тогдашняго культурнаго общества, и потому я не имѣю надобности возвращаться къ этому предмету. Прибавлю одно: крайне возмутительнымъ фактомъ являлась гаремная жизнь и вообще неопрятные взгляды на взаимныя отношенія половъ. Язва эта была достаточно-таки распространена и нерѣдко служила поводомъ для трагическихъ развязокъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о религіозномъ настроеніи. Въ этомъ отношеніи я могу свидѣтельствовать, что сосѣди наши были вообще набожны; если же изрѣдка и случалось слышать праздное слово, то оно вырывалось безъ намѣренія, именно только ради краснаго словца, и всѣхъ такихъ празднослововъ безъ церемоніи называли пустомелями. Сверхъ того, довольно часто встрѣчались личности, которыя, очевидно, не понимали истиннаго смысла

самыхъ простыхъ молитвъ; но и это слѣдуетъ отнести не къ недостатку религіозности, а къ умственной неразвитости и низкому образовательному уровню.

Переходя отъ общей характеристики помѣщичьей среды, которая была свидѣтельницей моего дѣтства, къ портретной галереѣ отдѣльныхъ личностей, уцѣлѣвшихъ въ моей памяти, я считаю нелишнимъ прибавить, что все сказанное выше написано мною вполнѣ искренно, безъ всякой предвзятой мысли во что бы то ни стало унизить или подорвать. На склонѣ лѣтъ, охота къ преувеличеніямъ пропадаетъ, и является непреодолимое желаніе высказать правду, одну только правду. Рѣшившись возстановить картину прошлаго, еще столь недалекаго, но уже съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе утопающаго въ пучинѣ забвенія, я взялся за перо не съ тѣмъ, чтобы полемизировать, а съ тѣмъ чтобы свидѣтельствовать истину. Да и нѣтъ никакой цѣли подрывать тò, чтò уже само, въ силу общаго историческаго закона, подорвано.

Бытописателей изображаемаго мною времени являлось въ нашей литературѣ довольно много; но я могу утверждать смѣло, что воспоминанія ихъ приводятъ къ тѣмъ же выводамъ, какъ и мои. Быть можетъ, окраска иная, но факты и существо ихъ одни и тѣ же, а фактовъ вѣдь ничѣмъ не закрасишь.

Покойный Аксаковъ своею „Семейной Хроникой“ несомнѣнно обогатилъ русскую литературу драгоцѣннымъ вкладомъ. Но, несмотря на слегка идиллическій оттѣнокъ, который разлитъ въ этомъ произведеніи, только близорукіе могутъ увидѣть въ немъ апологію прошлаго. Одного Куролесова вполнѣ достаточно, чтобы снять пелену съ самыхъ предубѣжденныхъ глазъ. Но поскоблите немного и самого старика Багрова, и вы убѣдитесь, что это совсѣмъ не такой самостоятельный человѣкъ, какимъ онъ кажется съ перваго взгляда. Напротивъ, на всѣхъ его намѣреніяхъ и поступкахъ лежитъ покровъ фаталистической зависимости, и весь онъ съ головы до пятокъ—не болѣе, какъ игралище, безпрекословно подчиняющееся указаніямъ крѣпостныхъ порядковъ.

Во всякомъ случаѣ я позволю себѣ думать, что въ ряду прочихъ матеріаловъ, которыми воспользуются будущіе историки русской общественности, моя хроника не окажется лишнею.

XXVII.—Предводитель Струнниковъ.

Нашъ уѣздъ не пользовался хорошей репутаціей въ губерніи и на сословныхъ выборахъ игралъ очень незавидную роль. Не было примѣра, чтобъ изъ среды нашихъ помѣщиковъ избирались губернскіе предводители дворянства, да и на должность уѣзднаго предводителя охотниковъ отыскивалось мало. Равнодушіе къ общественному дѣлу было всеобщее; на выборы ѣздили очень немногіе, потому что это требовало расходовъ, а у нашихъ помѣщиковъ лишнихъ денегъ не было. Поэтому дѣйствующими лицами на сословныхъ

торжествахъ являлись преимущественно представители такъ-называемыхъ „складныхъ душъ“ (ихъ обыкновенно возилъ предводитель на свой счетъ) да помѣщики, которые сами намѣревались баллотироваться на должностныя мѣста.

Благодаря этимъ условіямъ, Ѳедоръ Васильичъ Струнниковъ много трехлѣтій сряду былъ избираемъ въ уѣздные предводители, не зная конкурентовъ. Каждые три года онъ ѣздилъ въ веселой компаніи въ губернскій городъ, наблюдая, чтобъ было на-лицо требуемое закономъ число голосовъ (кажется, не меньше семи; въ противномъ случаѣ, уѣздъ объявлялся несамостоятельнымъ и присоединялся къ сосѣднему уѣзду), и члены компаніи, подѣливъ между собою должностныя мѣста, возвращались домой княжить и володѣть. Это до такой степени вошло въ обычай, что никому и на умъ не приходило, что могъ существовать иной предводитель, кромѣ Струнникова, иной судья, кромѣ Глазатова, и иной исправникъ, кромѣ Метальникова.

Струнниковъ воспитывался въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, но отличался такимъ замѣчательнымъ тупоуміемъ и такою непреоборимою лѣностью, что начальство не разъ порывалось возвратить его родителямъ. Тѣмъ не менѣе онъ былъ уже на старшемъ курсѣ, когда умеръ его отецъ (мать умерла раньше). Не долго думая, молодой человѣкъ оставилъ заведеніе, не кончивъ курса, поступилъ юнкеромъ въ квартировавшій въ нашемъ городѣ драгунскій полкъ, дослужился до корнетскаго чина и вышелъ въ отставку. А двадцати-двухъ лѣтъ онъ женился на одной изъ помѣщицъ нашего уѣзда и вслѣдъ затѣмъ былъ выбранъ въ предводители.

Онъ имѣлъ изрядное состояніе, но собственныя его имѣнія находились въ другихъ губерніяхъ, а у насъ онъ пользовался цензомъ жены. Въ ея усадьбѣ онъ и жилъ на краю большого села, въ которомъ скучилось нѣсколько мелкопомѣстныхъ семей. Двухъ-этажный его домъ, выстроенный на пригоркѣ, господствовалъ надъ селомъ и держалъ въ решпектѣ живущихъ въ немъ. Домъ былъ обширный, но построенный на старинный ладъ и обезображенный множествомъ пристроекъ, которыя совсѣмъ были ненужны, потому что владѣлецъ жилъ въ немъ самъ-другъ съ женой и дѣтей не имѣлъ. Между прочимъ въ домѣ существовала большая зала въ два свѣта, которою Струнниковъ очень гордился. По зимамъ онъ задавалъ въ ней пиры, на которыхъ гремѣлъ домашній оркестръ и пѣли доморощенные пѣвчіе. Но ни парка, ни даже порядочнаго сада при усадьбѣ, какъ водится, не было.

Жилъ онъ на-распашку, не по состоянію. Имѣлъ отличныхъ поваровъ, выписывалъ изъ Москвы настоящее виноградное вино и всякую бакалею, держалъ открытый столъ для господъ дворянъ, а псовая охота его даже составляла гордость цѣлой губерніи, хотя собачій лай и визгъ, немолчно раздававшіеся на псарномъ дворѣ, положительно отравляли существованіе сосѣдей. Словомъ сказать, даже въ то льготное время онъ съумѣлъ такъ устроиться, что, не выѣзжая изъ захолустья, не только проживалъ свой собственный доходъ, но и не выходилъ изъ долговъ, дѣлать которые былъ великій искусникъ.

Въ то время отъ предводителя ничего иного и не требовалось. Уже гораздо позднѣе пошли въ ходъ всякіе „принципіи“, а тогда спрашивалось

только исправное и достаточно вмѣстительное чрево. Ежели при хорошемъ желудкѣ были на-лицо соотвѣтствующія матеріальныя средства и извѣстная доза тароватости, то на такого предводителя всѣ смотрѣли съ упованіемъ. Помѣщики говорили: „у насъ только и попить, и поѣсть, что у предводителя",—и безъ всякой совѣсти злоупотребляли гостепріимствомъ своего излюбленнаго человѣка, который проматывалъ сотни душъ и вылѣзалъ изъ кожи, чтобъ заслужить отъ господъ дворянъ похвалу.

Внѣшнимъ видомъ Струнниковъ похвалиться не могъ. Ростъ ниже средняго, ноги короткія, животъ обширный, на-тощакъ отвислый, а по принятіи пищи выдающійся впередъ и тугой какъ барабанъ. Жиру и сбоку, и спереди, и сзади—безъ конца. Голова маленькая, круглая, безъ малѣйшихъ неровностей, словно на токарномъ станкѣ выточенная, что̀ въ особенности ярко выступало вслѣдствіе того, что онъ стригъ волосы подъ гребенку. „Зеркало души" (лицо)—вылитый мопсъ. Выраженіе лица измѣнчивое: на-тощакъ — огрызающееся, по принятіи пищи — ласковое. Съ перваго взгляда на него можно сказать: вотъ человѣкъ, который отъ рожденія осужденъ на безпрерывную ѣду! И онъ, дѣйствительно, ѣлъ часто и много, и когда наѣдался, то все существо его наполнялось тихимъ мурлыканьемъ. Тогда проси у него чего хочешь—ни въ чемъ отказа не будетъ.

Насколько онъ былъ неблагообразенъ, настолько же пригожа была его жена. Это была въ полномъ смыслѣ слова писаная русская красавица, высокая, стройная, полногрудая, съ прекраснымъ оваломъ лица, большими сѣрыми глазами на выкатѣ и густой темнорусой косой. Она тоже любила покушать, и эта общая черта сближала ихъ настолько, что, несмотря на фатальную наружность мужа, супруги жили довольно согласно. Некогда было любоваться другъ другомъ; днемъ—передъ глазами тарелки; наступитъ ночь—темно, не видать. Одно только яблоко раздора существовало—это безплодіе Александры Гавриловны, на которое Ѳедоръ Васильичъ горько жаловался.

— Чтожъ ты не рожаешь! — то-и-дѣло укорялъ онъ жену: — срамъ сказать, сколько лѣтъ вмѣстѣ живемъ, а хоть бы дочку ты принесла!

На что̀ она совершенно резонно возражала:

— И хорошо дѣлаю, что не рожаю. Дочка-то, пожалуй, вышла бы въ тебя—кто бы ее тогда, мопса такого, замужъ взялъ!

— Ну-ну, ѣшь-ка, ѣшь! Мопсъ да мопсъ, заладила одно! Нынче мопсы-то въ модѣ, втридорога за нихъ даютъ!.. А котлетка-то, кажется, пригорѣла... Эй! кто тамъ! позвать сюда Сысойку повара!

Этимъ инцидентъ и заканчивался.

Глупымъ, въ грубомъ значеніи этого слова, Струнникова назвать было нельзя, но и уменъ онъ былъ лишь настолько, чтобы, какъ говорится, сальныхъ свѣчей не ѣсть и стекломъ не утираться. Вообще—обладалъ тѣмъ ординарнымъ смысломъ, который не удивляетъ громкими дѣлами, но совершенно достаточенъ для обезпеченія личной безопасности. Не чувствуя ни малѣйшей потребности устремляться въ неизвѣданныя сферы, и даже не имѣя понятія о подобныхъ сферахъ, онъ легко избѣгалъ ошибокъ, свойственныхъ выспреннимъ умамъ, и всегда имѣлъ подъ руками готовый афоризмъ, подъ сѣнію котораго и укрывался, въ полной увѣренности, что никто его тамъ не найдетъ.

Онъ могъ даже вести разговоръ въ обществѣ—разумѣется, не трудный—но говорилъ столь своеобразно, такъ сказать, очертя голову, что многіе его изреченій вмѣстить не могли.

— Есть когда мнѣ разговоры обдумывать!—оправдывался онъ передъ тѣми, которые оскорблялись неожиданными оборотами его рѣчей: — у меня дѣла по горло, а тутъ еще разговоры обдумывать изволь! Сказалъ, что̀ нужно—и будетъ!

Несмотря на несомнѣнное простодушіе, онъ, какъ я уже упомянулъ, былъ великій до̀ка заключать займы, и остряки-помѣщики не безъ основанія говаривали о немъ: „вотъ бы кого министромъ финансовъ назначить!" Прежде всего къ нему располагало его безграничное гостепріимство: совѣстно было отказать человѣку, у котораго во всякое время попить и поѣсть можно. Но, кромѣ того, такъ какъ онъ ни о чемъ другомъ серьезно не думалъ, то вслѣдствіе долговременной практики въ немъ образовалась своего рода прозорливость на этотъ счетъ. Верхнимъ чутьемъ угадывалъ онъ заимодавца и опытной рукой накидывалъ на него петлю. На однихъ дѣйствовалъ посуломъ значительныхъ процентовъ, на другихъ — ласкою и мелкими одолженіями. Или назовется окрестить новорожденнаго, или на свадьбѣ, въ качествѣ посажонаго отца, фигурируетъ. Пріѣдетъ въ мундирѣ, въ бѣлыхъ перчаткахъ—картина!—какъ тутъ отказать! Неудачъ не бывало; всѣмъ окрестнымъ помѣщикамъ онъ былъ долженъ, даже такимъ, которые сами были по уши въ долгахъ. Но не брезговалъ и богатенькими мужичками, и ежели гдѣ крупной суммы не дадутъ, то удовольствуется и малой, а остальное въ другомъ мѣстѣ выпроситъ. Заслышитъ, что у какого-нибудь мужика-крѣпыша кубышка завелась, заѣдетъ и начнетъ петлю закидывать.

— Ѣхалъ мимо,—скажетъ,—думаю, дай заѣду на кума посмотрѣть. Здорово, куманекъ! Чайку-то дашь, что-ли?

— Помилуйте, сударь! чего другого... Эй, вы! поворачивайтесь проворнѣе!

— Что̀, какъ дѣла?

— Дѣла какъ сажа бѣла! Похвалить нельзя.

— Ну, это ты врешь, кумъ. Кубышка-то въ подпольѣ непочатая лежитъ.

— Какая у насъ, сударь, кубышка!

— Извѣстно, какія кубышки бываютъ. Ну что̀, какъ крестный сынокъ? дочка посажоная какъ?

— Все слава Богу.

— Слава Богу—лучше всего. Я, братъ, простыня-человѣкъ, старыхъ пріятелей не забываю. Вотъ ты такъ спѣсивъ сталъ: и не заглянешь, даромъ что кумъ!

— Помилуйте! смѣю ли я!

— Чего „смѣю ли"! Всякаго, кто ни придетъ — всѣхъ милости просимъ! а для благопріятеля и подавно кусокъ найдется!

Выпьетъ чашку, выпьетъ другую, а потомъ шуточкой да смѣшкомъ и поведетъ настоящую рѣчь.

— Ну, такъ какъ же, другъ, намъ съ кубышкой твоей быть? Такъ безъ пользы у тебя деньги лежатъ, а я бы тебѣ хорошій процентъ далъ.

При этомъ вступленіи кумъ начинаетъ безпокойно шевелить лопатками.

— Право! мнѣ, братъ, немного и нужно. Рубликовъ двѣсти, триста на недѣльку перехватить.

— Что̀ вы, суда ръ! гдѣ же мнѣ эко мѣсто денегъ взять!

— А много, такъ три полсотни дай. Я тебѣ ихъ черезъ недѣлю возвращу, да бѣленькую за благодарность прибавлю... пользуйся!

— Что̀ вы! бѣленькую! словно ужъ много!

— Нѣтъ, я таковъ. Всякое дѣло по справедливости люблю дѣлать. Ты меня одолжишь, а я тебя за это благодарить буду.

И будетъ сидѣть и шутить до тѣхъ поръ, пока кумъ хоть двѣ полсотни не выложитъ на столъ.

Словомъ сказать, ужъ на что была туга на деньги матушка, но и она не могла устоять противъ льстивыхъ рѣчей Струнникова, и хоть изрѣдка, но ссужала-таки его небольшими суммами. Разумѣется, всякій разъ послѣ подобной выдачи слѣдовало раскаяніе и клятвы никогда впередъ не попадать въ просакъ; но это не помогало дѣлу, и то̀, что ужъ однажды попадало въ карманъ добрѣйшаго Ѳедора Васильича, исчезало тамъ какъ въ бездонной пропасти.

За то Струнниковъ не получалъ жалованья и велъ себя „благородно“, то-есть взятокъ не бралъ; за то онъ кормилъ и поилъ весь уѣздъ.

Надобно, впрочемъ, отдать справедливость Струнникову: обращеніе его съ крестьянами и дворовыми было очень миролюбивое. Всѣ выработанныя крѣпостной легальностью ограниченія, дававшія подневольному люду возможность вздохнуть, соблюдались имъ безусловно. Мужики жили исправно и черезъ мѣру барщиной не отягощались; дворовые смотрѣли весело, несмотря на то, что въ домѣ царствовала вѣчная сутолока, по случаю безпрерывно смѣнявшихъ другъ друга гостей. Одно въ немъ было скверно: ни одного лакея онъ не звалъ по имени, но для каждаго имѣлъ свой свистъ. Съ утра начинали раздаваться по дому разнообразнѣйшіе свисты, то короткіе, то протяжные, то тихіе, то рѣзкіе, то напоминавшіе какой-нибудь пѣсенный мотивъ. И бѣда „хаму“, который опрометью не прибѣгалъ на присвоенный ему свистъ: Ѳедоръ Васильичъ все готовъ былъ простить, кромѣ этого преступленія.

Но этимъ, такъ сказать, домашнимъ мягкосердечіемъ и исчерпывались добродѣтели Струнникова. Какъ предводитель, обязанный наблюдать за своими собратіями, онъ просто никуда не годился. И это было совершенно понятно, потому что кругомъ жили все заимодавцы, на дѣйствія которыхъ поневолѣ приходилось смотрѣть сквозь пальцы.

Впрочемъ, для того, чтобы еще яснѣе обрисовать личность нашего предводителя, я считаю не лишнимъ описать его будничный день.

Лѣтнее утро; девятый часъ въ началѣ. Ѳедоръ Васильичъ въ синемъ шолковомъ халатѣ появляется изъ общей спальни и черезъ цѣлую анфиладу комнатъ проходитъ въ кабинетъ. Лицо у него покрыто маслянистымъ глянцемъ; глаза влажны, слипаются; въ углахъ губъ запеклась слюна. Онъ останавливается по дорогѣ передъ каждымъ зеркаломъ, и припоминаетъ, что вчера съ вечера у него чесался носъ.

— Такъ и есть!—ворчитъ онъ:—вскочилъ-таки прыщъ... анаѳема!

Изъ устъ его вылетаетъ короткій свистъ, на который опрометью вбѣгаетъ камердинеръ Прокофій.

— Умываться готово!—докладываетъ онъ.

— Безъ тебя знаю. Погода какова?

— Съ утра дождичекъ шелъ небольшой, а теперь повеселѣло.

— Повеселѣло, такъ тѣмъ лучше. Сѣно сушить будемъ. Староста пришелъ?

— Въ лакейской дожидается.

— Умываться! живо!

Въ одну минуту Струнниковъ ужъ умытъ. Раздается новый свистъ, другого фасона, на который вбѣгаетъ буфетчикъ Тимоѳей и докладываетъ, что въ столовой накрытъ чай.

— Безъ тебя знаю. Скажи старостѣ, чтобъ дожидался. Какъ отопью чай, позову.

Въ столовой, на кругломъ столѣ, кипитъ самоваръ; на подносѣ лежитъ цѣлая груда домашняго печенья; сбоку стоитъ нарѣзанный ломтями холодный ростбифъ. Александра Гавриловна разливаетъ чай.

Она въ утреннемъ бѣломъ капотѣ и въ кружевной головной накидкѣ, придерживающей косу. Лицо у нея чистое, свѣжее, точно вымытое росой и только-что обсохшее подъ лучами утренняго солнца; сквозь тонкій батистъ капота отчетливо обрисовываются контуры наливныхъ плечей и груди. Но Ѳедоръ Васильичъ не засматривается на нее и кратко произноситъ:

— Сахару больше клади.

— Пей-ка, пей, нечего учить!

Струнниковъ выпиваетъ вмѣстительную чашку чая съ густыми сливками и съѣдаетъ, одну за другой, нѣсколько булокъ. Утоливши первый голодъ, онъ протягиваетъ женѣ чашку за новымъ чаемъ и взглядываетъ на нее.

— Всѣмъ бы ты хороша,—начинаетъ онъ шутки шутить:—и лицомъ взяла, и плечи у тебя... только вотъ дѣтей не родишь!

— Слышала. Надоѣлъ. Еще бабушка на-двое сказала, кто виноватъ, что у меня дѣтей нѣтъ.

— Ужъ не я ли? Да въ здѣшней во всей округѣ ни одной деревни нѣтъ, въ которой бы у меня дѣтей не было. Это хоть у кого хочешь спроси.

— Говорятъ тебѣ: надоѣлъ. Молчи, коли другого разговора нѣтъ.

— У меня-то нѣтъ разговора! Да я о чемъ угодно, что̀ угодно... сейчасъ!

Ѳедоръ Васильичъ пьетъ другую чашку и каждый глотокъ заѣдаетъ кускомъ ростбифа, который жадно разрываетъ зубами. Александра Гавриловна тоже кушаетъ апетитно.

— Вотъ мы утромъ чай пьемъ, — начинаетъ онъ „разговоръ", — а нѣмцы, тѣ кофей пьютъ. И Петербургъ отъ нихъ заразился тоже кофей пьетъ.

Александра Гавриловна молчитъ.

— Что-жъ ты молчишь? Сама же другого разговора просила, а теперь молчишь! Я говорю: мы по утрамъ чай пьемъ, а нѣмцы—кофей. Чай-то, сказываютъ, въ ихней сторонѣ въ аптекахъ продается, все равно, какъ у насъ шалфей. А все оттого, что мы не даемъ...

— Чего не даемъ?

— Чаю... Какая ты безтолковая! Къ намъ чай прямо изъ Китая идетъ, а кромѣ насъ китайцы никому не даютъ. Такой ужъ уговоръ: вы намъ чай давайте, а мы вамъ ситцы да миткали, да сукна... да все гнилые!

— Ишь вретъ! Свисти-ка да зови старосту. Только понапрасну человѣка задерживаешь.

— Не великъ баринъ—подождетъ!

— Да вѣдь для тебя же...

— Знаю, что для меня. А то для кого же? Ну-ну, не хорохорься! сейчасъ позову.

Раздается свистъ.

— Зови старосту! что̀ онъ тамъ торчитъ!

Входитъ староста Терентій, здоровый и коренастый мужикъ съ смышленою физіономіей. Онъ знаетъ барина какъ свои пять пальцевъ, умѣетъ угадывать малѣйшія его думы и взялъ себѣ за правило никогда не прекословить. Смотритъ не робко.

— Какъ дѣла?

— Дѣла середнія, Ѳедоръ Васильичъ; похвалить нельзя. Дожди почесть каждый день льютъ. Двѣ недѣли съ сѣномъ хороводимся — совсѣмъ потемнѣло.

— Ничего, съѣдятъ.

— Съѣсть—отчего не съѣсть; даже въ охотку съѣдятъ.

— А коли съѣдятъ, стало-быть и разговаривать не объ чемъ. Намъ не продавать.

— Зачѣмъ продавать! у насъ своей скотины довольно.

— А ты говоришь: потемнѣло! Коли съѣдятъ, такъ чего-жъ тутъ! Не люблю я, когда пустяки говорятъ. Въ поляхъ каково?

— Слава Богу. Рожь налила, подсыхать скоро начнетъ. И овесъ выкидывается.

— Ладно. У меня чтобы всего, и ржи, и овса—всего чтобы самъ-сёмъ было. Какъ хочешь, такъ и распоряжайся, я знать ничего не хочу.

— Чтой-то, Ѳедоръ Васильичъ, овса-то будто ужъ и многонько. По здѣшнему мѣсту и слыхомъ о такихъ урожаяхъ не слыхивали.

— Ну не самъ-сёмъ, такъ самъ-пятъ. Съ Богомъ; ступай!

Староста удаляется. Во время хозяйственнаго совѣщанія Александра Гавриловна тоже снялась съ мѣста и удалилась во-свояси. Раздается короткій свистъ.

— Одѣваться готово!—провозглашаетъ Прокофій.

— И безъ тебя знаю. Пошли на конный дворъ сказать, чтобъ ждали меня. Буду сегодня выводку смотрѣть. А оттуда на псарный дворъ пройду. Иванъ Ѳомичъ здѣсь?

— Въ кабинетѣ дожидается.

Иванъ Ѳомичъ Синегубовъ—письмоводитель Струнникова. Это старый подъячій, котораго даже въ то лихоимное время нашли неудобнымъ держать на коронной службѣ. Но Ѳедоръ Васильичъ именно за это и возлюбилъ его.

— Ужъ коли тебя изъ уѣзднаго суда за кляузы выгнали, значитъ ты дòка! — сказалъ онъ. — Переходи на службу ко мнѣ, въ убыткѣ не будешь.

Синегубовъ послѣдовалъ приглашенію, но по временамъ роптал, что предводитель жалованья ему не платитъ, а ежели и отдастъ разомъ порядочный кушъ, то сейчасъ же его взаймы выпроситъ. Такимъ образомъ долгъ росъ, и, вопреки здравому смыслу, запутывалъ не должника, а невольнаго кредитора. Неоднократно Иванъ Ѳомичъ сбирался бѣжать отъ своего патрона, но всякій разъ его удерживала мысль что въ такомъ случаѣ долгъ, доросшій до значительной цифры, пожалуй, пропадетъ безвозвратно. Напротивъ, Струнниковъ, воздерживаясь отъ уплатъ, разомъ достигалъ двухъ цѣлей: и отъ лишнихъ денежныхъ тратъ освобождался, и „дòку“ на привязи держалъ.

Ѳедоръ Васильичъ приходитъ въ кабинетъ и начинаетъ безъ церемоніи одѣваться передъ письмоводителемъ.

— Много дѣловъ?—спрашиваетъ онъ.

— Бумажка отъ губернатора пришла. Мудреная. Спрашиваетъ, какой у насъ духъ въ уѣздѣ.

— Какой такой духъ?

— Я и самъ, признаться... Мыслей, что-ли, какихъ ищутъ.

— А я почемъ знаю! Не жареное — не пахнетъ. Мыслей! Отроду не бывало, и вдругъ вздумалось!

— По поводу, говоритъ, недавнихъ событій... Французъ, стало-быть... Да вотъ извольте сами прочесть.

— Экъ ихъ! Французъ бунтуетъ, а у насъ—духъ! Не стану я читать; пиши прямо: никакого у насъ духу нѣтъ.

— Слушаю-съ.

— А теперь съ Богомъ. У меня своего дѣла по горло. На конный иду, да и на псарню давно не заглядывалъ. Скажите на милость... „духъ“ нашли!

Но Синегубовъ переминается съ ноги на ногу и не спѣшитъ уйти.

— Должку бы мнѣ, Ѳедоръ Васильичъ... хоть чàсточку!—произноситъ онъ нерѣшительно.

— На что тебѣ?

— Помилуйте! какъ же на что! своихъ денегъ прошу, не чужихъ!

— Я тебя спрашиваю, на чтò тебѣ деньги понадобились, а ты чепуху городишь. Русскимъ языкомъ тебѣ говорятъ: зачѣмъ тебѣ деньги?

— Все-таки... какъ же возможно!

— Одинъ ты, какъ перстъ, ни жены, ни дѣтей нѣтъ; квартира готовая, столъ готовый; одѣтъ, обутъ... Жаденъ ты—вотъ чтò!

— Ѳедоръ Васильичъ!..

— На табакъ ежели, такъ я давно тебѣ говорю: перестань проклятымъ зельемъ носъ набивать. А если и нужно на табакъ, такъ вотъ тебѣ двугривенный — и будетъ. Это ужъ я отъ себя, въ родѣ какъ подарокъ... Нюхай!

Струнниковъ отпираетъ бюро, достаетъ изъ кошелька двугривенный и подаетъ его письмоводителю.

— Съ Богомъ. А на бумагу такъ и отвѣчай: никакого, молъ, духу у насъ въ уѣздѣ нѣтъ и не бывало. Живемъ тихо, французу не подражаемъ... А насчетъ долга не опасайся: деньги твои у меня словно въ ломбартѣ лежатъ. Ступай.

Покончивши съ письмоводителемъ, Ѳедоръ Васильичъ отправляется на конный дворъ, но, пришедши туда, взглядываетъ на часы... Скоро одиннадцать, а ровно въ полдень его ждетъ завтракъ.

— Сегодня я недолго у васъ буду: дѣла задержали,—объявляетъ онъ: —выведите „Модницу“!

„Модница“ — молодая кобылка, на которую Струнниковъ возлагаетъ большія надежды. Конюхà знаютъ это, и заранѣе ее настегали, чтобъ она взвивалась на дыбы и „шалила“ передъ бариномъ.

— Зачѣмъ на дыбы становиться даете?—командуетъ баринъ, видимо однако довольный, что любимица его „шалитъ“.—Отпустите поводья, пусть смирно идетъ... вотъ такъ! Арапникъ дайте!

Старшій конюхъ становится по срединѣ площадки съ длинной кордой въ рукахъ; рядомъ съ нимъ помѣщается баринъ съ арапникомъ. „Модницу“ заставляютъ дѣлать круги всевозможными аллюрами: и тихимъ шагомъ, и рысью, и въ галопъ, и во весь карьеръ. Струнниковъ весело попугиваетъ кобылку, и сердце въ немъ начинаетъ играть!

— Ишь селезенкой хлопаетъ... да, изъ этой кобылы будетъ прокъ! — восклицаетъ онъ, натѣшившись минутъ двадцать.

— Какого еще коня нужно!—раздаются кругомъ льстивые голоса.

— Вывести „Илью Муромца“!

Выводятъ статнаго жеребца, который считается главнымъ производителемъ небольшого Струнниковскаго завода. Почуявъ кобылу, онъ тоже взвивается на дыбы и громко ржетъ.

— Ишь гогочетъ, подлецъ! знаетъ, чѣмъ пахнетъ!—восторгается баринъ, и ни съ того ни съ сего, вспомнивши недавній докладъ Синегубова, прибавляетъ:—а тутъ еще духòвъ какихъ-то разыскиваютъ!—вотъ это такъ духъ!

„Илью Муромца“ тоже заставляютъ всякіе аллюръ выдѣлывать; но Струнниковъ уже не съ прежнимъ вниманіемъ слѣдитъ за его работой. Онъ то-и-дѣло вынимаетъ изъ кармана часы и наконецъ убѣждается, что стрѣлка уже переходитъ за половину двѣнадцатаго.

— Будетъ; усталъ. Скажите на псарной, что зайду позавтракавши; а если дѣла задержатъ, такъ завтра въ это же время. А ты у мени, Артемій, смотри! пуще глаза „Модницу“ береги! Ежели чтò случится—ты въ отвѣтѣ!

— Чему случиться... оборони Богъ!

— То-то. Съ Богомъ; ведите жеребца назадъ.

Струнниковъ не торопясь возвращается домой, и для возбужденія апетита заглядываетъ въ встрѣчающіяся по пути хозяйственныя постройки. Зайдетъ на погребъ—тамъ дѣвчонки подъ навѣсомъ сидятъ, горшки со сметаной между колѣнями держатъ, чухонское масло мутовками бьютъ.

— Это вы чухонское масло для стола бьете? — молвитъ онъ: — бейте! Повару много масла нужно.

Или въ мучной лабазъ завернетъ; тамъ ключникъ муку пекарю отпускаетъ.

— Муку, что-ли, для стола выдаешь? — выдавай! Только смотри: выдавай вѣсомъ и записывай, что отпустилъ. А то вѣдь я васъ знаю!

— Мы, кажется, Ѳедоръ Васильичъ...

— Ладно. Знаю я, что я Ѳедоръ Васильичъ, а не Сидоръ Карпычъ...

Стрѣлка показываетъ безъ пяти минутъ двѣнадцать; Струнниковъ начинаетъ спѣшить. Онъ почти бѣгомъ бѣжитъ домой и какъ разъ поспѣваетъ въ ту минуту, когда на столѣ ужъ дымится полное блюдо горячихъ телячьихъ котлетъ.

— Корнѣичъ не приходилъ?—спрашиваетъ онъ, усаживаясь въ креслѣ за столъ, противъ Александры Гавриловны, и завѣшивая грудь салфеткой.

— Не приходилъ-съ.

— Черезъ часъ послать за нимъ. Сказать, что къ спѣху.

Ѳедоръ Васильичъ съѣдаетъ котлету за котлетой. Онъ рветъ мясо зубами, и когда жуетъ, то смотритъ вдаль, словно о чемъ-то думаетъ. Отъ наслажденія лицо его принимаетъ почти страдальческое выраженіе. Съѣвши три котлеты и запивши ихъ квасомъ (вина онъ совсѣмъ никакого не пьетъ), онъ въ недоумѣніи смотритъ на жаренаго цыпленка, какъ будто не можетъ дать себѣ отчета, сытъ онъ или не сытъ. Наконецъ, рѣшаетъ вопросъ въ отрицательномъ смыслѣ, захватываетъ добычу вилкой и тащитъ на тарелку. Покончивши съ цыпленкомъ, приступаетъ къ суфлѐ изъ грецкихъ орѣховъ. и столь же исправно дѣйствуетъ ложкой, какъ дѣйствовалъ вилкой и ножемъ. Наконецъ, наѣлся и утомился, словно пять верстъ пробѣжалъ. По комнатѣ раздается тяжкій и продолжительный вздохъ.

— О, Господи Іисусе Христе!—стонетъ Струнниковъ, закрывая глаза, и тутъ же за столомъ впадаетъ въ забытье.

Во снѣ онъ видитъ цѣлую эпопею. Снится ему тотъ самый бычокъ, котлеты изъ котораго онъ только-что ѣлъ. Бычокъ родился ровно шесть недѣль тому назадъ отъ коровы Красавки и подобно родительницѣ своей имѣлъ пеструю одежду. Съ первыхъ же шаговъ своего вступленія въ свѣтъ онъ обнаружилъ недюжинныя телячьи способности, обѣщая современемъ сдѣлаться умнымъ и степеннымъ быкомъ, надежнымъ руководителемъ ввѣреннаго ему стада. Но еще въ то время, когда онъ былъ въ утробѣ матери, въ сердцѣ Струнникова созрѣлъ уже умыселъ, рѣшившій его участь совсѣмъ по иному. Рѣшено было дать теленку солидное домашнее воспитаніе, то-есть отпаивать. Сначала поили его молокомъ матери, потомъ стали поить отъ двухъ коровъ. Ѳедоръ Васильичъ ежедневно заходилъ на скотный дворъ и радовался, видя, какъ онъ постепенно глупѣетъ. Глупѣлъ-глупѣлъ, наконецъ, легъ и сталъ приходить въ дремотное состояніе. Это былъ признакъ что домашнее воспита-

віе кончилось и что отнынѣ предстояло лишь пользоваться плодами его. Однимъ утромъ Струнниковъ пришелъ въ хлѣвъ, въ которомъ неподвижно былъ распростертъ обреченный бычокъ, приказалъ поднять его, собственными руками прощупалъ тушу и сдѣлалъ ребромъ ладони промѣръ частей, приговаривая: „задняя нога, другая нога, котлеты, грудина, печенка“ и т. д. А въ заключеніе, пришелъ въ такое восхищеніе, что поцѣловалъ теленка въ слюнявую морду, такъ сказать, „простился“ съ нимъ.

— Будетъ! завтра же колоть! а то, оборони Богъ, еще подохнетъ!— слетѣлъ съ его языка жестокій приговоръ.

Теленокъ вышелъ на славу. Четвертый ужъ день подаютъ его, въ разнообразнѣйшихъ видахъ за столъ, а все ему конца не видать. Покуда ѣсть еще въ охотку, но вѣдь и здѣсь, какъ и во всѣхъ человѣческихъ желаніяхъ и стремленіяхъ, предѣлъ положенъ. То-то вотъ горе, что жена дѣтей не рожаетъ, а кажется, еслибъ у него, подобно Іакову, двѣнадцать сыновъ было, онъ всѣхъ бы телятиной накормилъ, да еще осталось бы! А кромѣ того, какъ на грѣхъ, съ наступленіемъ рабочей страды и гости перемежились. Не минучее дѣло, придется съ сосѣдями дѣлиться. Корнѣичу ужъ снесли переднюю ногу,—не послать ли другую Псу Васильичу? Да, ему, именно ему, больше некому. Пускай старый песъ жретъ!

— А печенку сами съѣдимъ!—мелькаетъ въ его головѣ:—велю я ее въ сливочномъ маслѣ зажарить, да за завтракомъ и подать. Жирная должна быть печенка... аграмадная!

Многіе печенку въ сметанѣ жарятъ, но онъ этой манеры не придерживается. Сметана все-таки сметана, какъ ее ни прожаривай. А ежели она чуточку сыра, такъ хоть совсѣмъ не ѣшь. Печенка да въ сливочнымъ маслѣ— вотъ это такъ именно царская ѣда! Жевать не нужно; стоитъ языкомъ присосаться—она и проскочила!

Струнниковъ дѣлаетъ губами движеніе, словно присасывается. Онъ сладко издыхаетъ и хочетъ повернуться на бокъ, чтобы ловчѣе уснуть, но въ эту минуту въ передней происходитъ движеніе, которое пробуждаетъ его.

— Степанъ Корнѣичъ пришелъ,—докладываетъ Прокофій.

— Пришелъ? а? кто посылалъ? — спрашиваетъ баринъ, съ трудомъ приходя въ себя.

— Сами изволили посылать.

— Безъ тебя знаю. Зови!

Степанъ Корнѣичъ Пеструшкинъ — мелкопомѣстный дворянинъ, владѣющій въ одномъ селѣ съ предводителемъ пятнадцатью душами крестьянъ. Это пьяненькій и совсѣмъ согнутый старикъ, плѣшивый, съ краснымъ, обросшимъ окладистой бородой лицомъ, надъ которымъ господствуетъ сизый, громадныхъ размѣровъ носъ. Дома онъ почти не живетъ: съ утра бродитъ по сосѣдямъ; въ одномъ мѣстѣ пообѣдаетъ, въ другомъ поужинаетъ, а къ ночи, ежели ноги таскаютъ, возвращается домой. Въ особенности часто бываетъ онъ у Струнникова, при которомъ состоитъ въ качествѣ домашняго шута. Хозяйствомъ у него заправляетъ старуха жена да пожилая дочь, у которой одинъ глазъ вытекъ. Четверо сыновей находятся въ разбродѣ и не только не помогаютъ родителямъ, но очень рѣдко шлютъ извѣстія о себѣ. Бѣдность,

какъ говорится, непокрытая, такъ что даже Струнникову никогда не приходило на мысль занять у Корнѣича денегъ.

— А! Корнѣичъ! какъ поживаешь? каково прижимаешь? — шутливо привѣтствуетъ старика Ѳедоръ Васильичъ:—зачѣмъ пожаловалъ?

— Присылали, значитъ.

— Кто присылалъ? съ роду не присылалъ! Эй! водки! да вчерашней телятины на закуску нарѣжьте! Садись, гость будешь. Какъ дѣла?

— Дѣла какъ слѣдуетъ. Вотъ теперь лѣто, запасаемся всякаго нѣта, а зимой будемъ жить богато, со двора покато.

— Ври больше. У самого сусѣки отъ зерна ломятся, а онъ аллилуію поетъ! А я, братъ, распорядился: приказалъ старостѣ, чтобъ было у меня всего самъ-сёмъ—и шабашъ!

— Что вамъ безпокоиться, благодѣтель! Ежели бы вы и самъ-десятъ заказали, такъ и то какъ разъ въ самую пору было бы! Что̀ захотите, то̀ и будетъ.

— А что̀ ты думаешь! и то дуракъ, что не заказалъ. Ну, да еще успѣется. Какъ Прасковья Ивановна? У Аринушки новый глазъ не выросъ ли, вмѣсто стараго?

— Все-то вы, сударь, шутите!

— Нисколько не шучу. Намеднись въ городѣ судья мнѣ разсказывалъ: проявился въ Парижѣ фокусникъ, который новые глаза дѣлаетъ. Не понравились, напримѣръ, тебѣ твои глаза—сейчасъ къ нему: пожалуйста, мусье, севуплей! Живымъ манеромъ онъ тебѣ старые глаза выковыряетъ, а новые вставитъ.

— И видятъ?

— За сто верстъ видятъ. Хочешь, голубые, хочешь, черные — какіе вздумаешь. Ну, да тебѣ въ Парижъ пѣшкомъ далеко ходить; сказывай, гдѣ былъ, побывалъ?

— Ахъ, благодѣтель! бѣднякъ—что̀ муха: гдѣ заборъ, тамъ и дворъ, гдѣ щель, тамъ и постель. Брожу, покуда ноги носятъ; у Затрапезныхъ побывалъ!

— Экъ тебя нелегкая за семь верстъ киселя ѣсть носила!

— И то сказать... Анна Павловна съ тѣмъ и встрѣтила: „безъ тебя, говоритъ, какъ безъ рукъ, и плюнуть не на что! людямъ, говоритъ, дыхнуть некогда, а онъ по гостямъ шляется!“ А мнѣ, признаться, одолжиться хотѣлось. Думалъ, не дастъ ли богатая барыня хотя четвертачекъ на бѣдность. Куда тебѣ! разсердилась, ногами затопала! „Сиди, говоритъ, одинъ, коли пришелъ! заниматься съ тобой некому. А четвертаковъ про тебя у меня не припасено“.

— Обѣдать-то дала ли?

— Покормили. Супцу третьеводнишняго дала, да полото̀чка соленькаго съ душкомъ... Поѣлъ, отдохнулъ часокъ, другой, да и побрелъ въ обратную.

— Ишь вѣдь! по горло въ деньгахъ зарылась, а четвертака пожалѣла! Да развѣ тебѣ очень нужно?

— Ужъ такъ нужно, такъ нужно...

— Дѣлать нечего, придется, видно, для милаго дружка раскошеливаться. Приходи на-дняхъ—дамъ.

— По намеднишнему, небось, сдѣлаете! Мнѣ бы теперь...

— Теперь—не могу; за деньгами ходить далеко. А развѣ я намеднись обѣщалъ? Ну, позабылъ, братецъ, извини! За то разомъ полтинничекъ дамъ. Я, братъ, не Анна Павловна, я... Да ты чтожъ на водку-то смотришь — пей!

Корнѣичъ выпиваетъ одну рюмку, потомъ другую; хочетъ третью налить, но Струнниковъ останавливаетъ его.

— Будетъ. Сразу ошалѣть, видно, хочешь! пьетъ рюмку за рюмкой, словно нутро у него просмоленое!

Пеструшкинъ выпилъ и начинаетъ ѣсть. Онъ голоденъ, и сразу уничтожаетъ всю принесенную телятину; но все-таки видно, что еще не сытъ.

— Тебѣ икры не хочется ли?

— Кабы...

— Ладно. Приходи черезъ недѣлю — дамъ. А теперь выпей еще рюмку, и давай „комедіи" разыгрывать.

„Комедіи" — любимое развлеченіе Струнникова, ради котораго, собственно говоря, онъ и прикармливаетъ Корнѣича. Собесѣдники удаляются въ кабинетъ; Ѳедоръ Васильичъ усаживается въ покойное кресло; Корнѣичъ становится противъ него въ позитуру. Обязанность его заключается въ томъ, чтобы отвѣчать на вопросы, предлагаемые гостепріимнымъ хозяиномъ. Собесѣдованія эти повторяются изо дня въ день въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ, съ однимъ и тѣмъ же содержаніемъ, но незамѣтно, чтобы частое ихъ повтореніе прискучило участникамъ.

— Сказывай, каковъ ты есь человѣкъ?—вопрошаетъ Струнниковъ.

— Человѣкъ божій, обшитъ кожей, покрытъ рогожей. Издали ни то, ни сё, а что ближе, то гаже.

— Правду сказалъ. Отчего у тебя такой носъ, что смотрѣть тошно?

— Мой носъ для двухъ росъ,—одному достался. А равнымъ образомъ и отъ пьянства.

— И это правда. Зачѣмъ ты бороду отростилъ?

— Борода глазамъ замѣна: кто бы плюнулъ въ глаза — плюнетъ въ бороду.

— Хорошо. Сказалъ ты, что человѣкъ есь; а кромѣ того, еще что̀?

— Кромѣ сего, государя моего пошехонскій дворянинъ. Имѣю въ селѣ Словущенскомъ пятнадцать душъ крестьянъ, изъ коихъ двѣ находятся въ бѣгахъ, а прочія въ потѣ лица снискиваютъ для господина своего скудное пропитаніе.

— Что̀ такое есть русскій дворянинъ?

— Дворянинъ есть имя общее, знаменитое. Дворяниномъ называется всякій потомственный слуга Престолъ-Отечества, начиная съ Ѳедора Васильича Струнникова и кончая Степаномъ Корнѣевымъ Пеструшкинымъ и Марьей Маревной Золотухиной.

— Что̀ скажешь объ обязанностяхъ дворянина?

— Дворянинъ долженъ подавать примѣръ прочимъ. Онъ обязанъ быть

почтителенъ къ старшимъ, вѣжливъ съ равными и снисходителенъ къ низшимъ. Отсутствіе гордости, забвеніе обидъ и великодушіе къ врагамъ составляютъ лучшее украшеніе, которымъ гордится русскій дворянинъ.

Слѣдуетъ еще нѣсколько вопросовъ и отвѣтовъ непечатнаго свойства, и собесѣдники переходятъ уже къ настоящимъ „комедіямъ". Корнѣичъ представляетъ разнообразные эпизоды изъ житейской практики сосѣднихъ помѣщиковъ. Какъ Анна Павловна Затрапезная повару обѣдъ заказываетъ; какъ Пёсъ (Петръ) Васильичъ крестьянскіе огороды по ночамъ грабитъ; какъ овсецовская барыня мужа по щекамъ бьетъ и т. д. Все это Корнѣичъ продѣлываетъ такъ живо и образно, что Струнниковъ захлебывается отъ наслажденія.

Наконецъ репертуаръ истощился. Ѳедоръ Васильичъ начинаетъ потирать животъ и посматриваетъ на часы. Половина второго, а обѣдать подаютъ въ три.

— Хоть бы ты новенькое что-нибудь придумалъ, а то все одно да одно. —обращается онъ къ Корнѣичу: — еще полтора часа до обѣда остается — пропадешь отъ скуки. Пляши.

— Радъ бы, да не могу, благодѣтель: ноги не служатъ. Было время, плясывалъ я. Плясалъ, плясалъ, да и доплясался.

— Чего „доплясался"! все-то ты, старый песъ, кляньчишь! какого еще тебѣ рожна нужно!

— Оно, конечно... Чужую бѣду руками разведу... Да вѣдь и другая пословица на этотъ предметъ есть: бѣда не дудà; станешь дуть—слезы идутъ. Вотъ оно, сударь, чтò!

— А ты привыкай. Дуй себѣ да дуй. На меня смотри: слыхалъ развѣ когда-нибудь, чтобъ я на бѣду пожаловался? А у меня однихъ дѣловъ столько, что въ сутки не передѣлаешь. Вотъ это такъ бѣда!

— Какая это бѣда! плюнуть да растереть...

— Попробуй! Давеча губернаторъ съ бумагой взошелъ; спрашиваетъ, какой у насъ въ уѣздѣ духъ?—А я почемъ знаю!

— Тсс...

— Ему-то съ полàгоря: бросилъ камень въ воду, а я его вытаскивай оттолѣ! Чу! никакъ кто-то пріѣхалъ?

Струнниковъ прислушивается и ждетъ. Черезъ минуту въ передней слышится движеніе.

— Федулъ Ермолаевъ пріѣхалъ!—докладываетъ лакей.

Струнникова слегка передергиваетъ. Федулъ Ермолаевъ—капитальный экономическій мужичокъ, которому Ѳедоръ Васильичъ долженъ изрядный кушъ. Навѣрное онъ денегъ просить пріѣхалъ; будетъ разговаривать, надоѣдать. Кабы зараньше предвидѣть его визитъ, можно было бы къ сосѣдямъ уйти или дома не сказаться. Но теперь ужъ поздно; хочешь не хочешь, а приходится принимать гостя... нелегкая его принесла!

— Дожидайся! такъ я и отдалъ! — свирѣпо ворчитъ онъ сквозь зубы. —Зови!

Входитъ высокій и статный мужикъ въ синемъ суконномъ армякѣ, подпоясанномъ краснымъ кушакомъ. Это въ полномъ смыслѣ слова—русскій мо-

лодецъ, съ веселыми глазами, румянымъ лицомъ, обрамленнымъ русыми волосами и шелковистой бородой. Отъ него такъ и пышетъ здоровьемъ и бодростью.

— Федулъ Ермолаичъ! сколько лѣтъ, сколько зимъ! Садись, братъ, гость будешь! — привѣтствуетъ его Струнниковъ. — Эй! кто тамъ! водки и закуски!

— Не извольте безпокоиться—не стану!—отказывается гость, присаживаясь:—на минуточку я... дѣла въ вашей сторонѣ нашлись...

— Не успѣлъ взойти, а ужъ и „на минуточку"! Куда путь-дорогу держишь?

— Раидина Надежда Савельевна звала. Пустошоночка у нея залишняя оказалась, продать охотится. А мы отъ добрыхъ дѣловъ не прочь.

— Когда же ты отъ добрыхъ дѣловъ отказываешься! Скоро всѣ пустоша́ по округѣ скупишь; столько земли наберешь, что всѣхъ помѣщиковъ перещеголяешь.

— Гдѣ намъ! оно точно, что ва̀лошами *), по малости, торгуемъ, такъ скотинку въ пустошахъ нагуливаемъ. Ну, а около скотины и хлѣбопашествомъ тоже по малости занимаемся.

— Сказывай: „по малости"! Куры денегъ не клюютъ, а онъ смиренникомъ прикидывается!

— Зачѣмъ прикидываться! мы свое дѣло въ открытую ведемъ; слава Богу, довольны, не жалуемся. А я вотъ о чемъ васъ хотѣлъ, Ѳедоръ Васильичъ, просить: не пожалуете ли мнѣ сколько-нибудь должку?

— А я развѣ тебѣ долженъ?—шутитъ Струнниковъ.

— Да тысячекъ съ семь побольше будетъ.

— А я думалъ, только три. И когда вы, чортъ васъ знаетъ, накапливаете!

— Помилуйте! я и записочки ваши захватилъ. Половинку бы мнѣ... съ Раидиной разсчитался бы.

— Половинку! чудакъ, братецъ, ты! зачѣмъ же третьяго-дня не пріѣзжалъ? Я бы тебѣ въ ту пору хоть всѣ съ удовольствіемъ отдалъ!

— Какъ же это, сударь, такъ?

— Да такъ вотъ; третьяго-дня были деньги, а теперь ихъ нѣтъ... ау!

— Сколько ужъ времени, Ѳедоръ Васильичъ, прошло!

— И больше пройдетъ—ничего не подѣлаешь. Приходи, когда деньги будутъ—слова не скажу, отдамъ. Даже самъ взаймы дамъ, коли попросишь. Я, братъ, простыня-человѣкъ; есть у меня деньги—бери; нѣтъ—не взыщи. И закона такого нѣтъ, чтобы деньги отдавать, когда ихъ нѣтъ. Это хоть у кого хочешь спроси. Корнѣичъ! ты законы знаешь — есть такой законъ, чтобы деньги платить, когда ихъ нѣтъ?

— Не слыхалъ. Много есть законовъ, а о такомъ не слыхалъ.

— Вотъ видишь! ужъ если Корнѣичъ не слыхалъ—значитъ, и разговаривать нечего!

---

*) „Ва́лошами" называются въ нашей мѣстности волы.

Ермолаевъ слегка мнется, какъ будто у него въ головѣ сложилась какая-то комбинація, и наконецъ произноситъ:

— Вотъ что̀, сударь, я вамъ предложить хочу. Пустошоночка у васъ есть, „Голубиное Гнѣздо“ называется. Вамъ она не къ рукамъ, а я бы въ ней пользу нашелъ.

— Какъ тебѣ пользы не найти! Ты и самого меня заглотаешь—пользу найдешь.

— На что же-съ! Въ ней, въ пустошоночкѣ-то, и всего десятинъ семьдесятъ врядъ-ли найдется, такъ я бы на кругъ по двадцати рубликовъ заплатилъ. Ча́сточку долга и скостили бы, а остальное я бы подождалъ.

— Нельзя.

— Отчего же-съ? Цѣна, кажется, настоящая.

— Хоть разнастоящая, да нельзя.

— Помилуйте! что̀ же такое?

— А то и „такое“, что земля не моя, а женина а она на этотъ счетъ строга. Кабы моя земля была, я слова бы не сказалъ; вотъ у меня въ Чухломѣ болота тысяча десятинъ — бери! Даже еслибъ и женину землю можно было полегоньку, безъ купчей, продать—и тутъ бы я слова не сказалъ...

— Уговорить Александру Гавриловну можно.

— Попробуй!

Наступаетъ минута молчанія. Ермолаевъ испускаетъ тяжкій и продолжительный вздохъ.

— А я, было, понадѣялся,—произноситъ онъ:—и къ Раидинымъ надвое выѣхалъ; думалъ: ежели не сладится дѣло съ вами—поѣду, а сладится, такъ и ѣхать безъ нужды не для чего.

— Стало-быть, ѣхать нужно.

— И то, видно, ѣхать. Какъ же, сударь, должокъ?

— Присталъ! Русскимъ языкомъ говорятъ: когда будутъ деньги—все до копѣйки отдамъ!

Федулъ Ермолаичъ снова вздыхаетъ, но наконецъ рѣшается сняться съ мѣста.

— Нечего, видно, съ вами дѣлать, Ѳедоръ Васильичъ, — говоритъ онъ:—а я, было, думалъ... Простите, что побезпокоилъ напрасно.

Онъ ужъ совсѣмъ собрался уходить, какъ Струнникову внезапно приходитъ въ голову счастливая мысль.

— Стой!—восклицаетъ онъ:—лѣсу на срубъ купить хочешь?

— Не занимаемся мы лѣсами-то. По здѣшнему мѣсту дѣвать ихъ некуда. Выгоды мало.

— А ты займись. Я бы тебѣ Красный-Рогъ на срубъ продалъ; въ немъ сто десятинъ будетъ. Лѣсъ-то какой! соснякъ! Любое дерево на мельничный валъ продавай.

— Ничего лѣсокъ. Не занимаемся мы—вотъ только что̀. Да опять и лѣсъ не вашъ, а Александры Гавриловны.

— Ничего; на срубъ она согласится. Она, братъ, насчетъ лѣсовъ глупа. Намеднись еще говорила: „только доро̀ги эти лѣса портятъ, вырубить бы ихъ“.

— Это точно-что въ лѣсу дороги...

— Ну, вотъ; скажу ей, что нашелся простофиля, который согласился вырубить Красный-Рогъ, да еще деньги за это даетъ—она даже рада будетъ. Только я, другъ, этотъ лѣсъ дешево не продамъ!

— А какъ по вашему?

— Да по сту рублей за десятину—вотъ какъ!

Сказавши это, Струнниковъ широко раскрываетъ глаза, славно и самъ своимъ ушамъ не вѣритъ, какъ такая цифра слетѣла у него съ языка. Ермолаевъ, въ свою очередь, вскочилъ и начинаетъ креститься.

— За всю-то угоду, значитъ, десять тысячъ? — вопрошаетъ онъ въ изумленіи.— Прощенья просимъ! извините, что обезпокоилъ васъ.

— Чего? куда бѣжишь? Ты послушай! Я тебѣ что̀ говорю! Я говорю: десять тысячъ, а ежели это тебѣ дорого кажется, такъ я и на семь согласенъ.

— И семь тысячъ—много денегъ.

— Заладила сорока Якова: много денегъ! Вспомни, лѣсъ-то какой! деревья одно къ одному, словно солдаты, стоятъ! Сколько же по твоему?

— По моему, тысячки бы три съ половиной!

Торгъ возобновился. Наконецъ устанавливается цифра въ пять тысячъ ассигнаціонныхъ рублей, на которую обѣ стороны согласны.

— Только вотъ что̀. Уговоръ пуще денегъ. Продаю я тебѣ сто десятинъ, а женѣ скажемъ, что всего семьдесятъ-пять. Это чтобы ей въ носъ бросилось!

— Какъ же такъ? чай, условіе писать будемъ?

— И условіе такъ напишемъ: семьдесятъ-пять десятинъ, *или болѣе или менѣе*... Корнѣичъ? такъ можно?

— И завсегда такъ условія пишутъ.

— Видишь, и Корнѣичъ говоритъ, что можно. Я, братъ, человѣкъ справедливый: коли дѣлать дѣла, такъ чтобъ было по чести. А второе — вотъ что. Продаю я тебѣ лѣсъ за пять тысячъ, а женѣ скажемъ, что за четыре. Три тысячи ты долгу скостишь, тысячу женѣ отдашь, а тысячу—мнѣ. До зарѣзу мнѣ деньги нужны.

— А я, было, думалъ—всѣ пять тысячъ изъ долгу вычесть.

— Шутишь. Я, братъ, и самъ съ усамъ. Какая же мнѣ выгода задаромъ лѣсъ отдавать, коли я и такъ могу деньги тебѣ не платить!

Ермолаевъ съ минуту колеблется, но наконецъ рѣшается.

— Что̀ съ вами дѣлать! Только для васъ...—произноситъ онъ съ усиліемъ.—Долгу-то много еще останется: слишкомъ четыре тысячи.

— Я ихъ тебѣ на томъ свѣтѣ каленными орѣхами отдамъ. Къ Раидинымъ поѣдешь?

— Какъ же-съ; пустошоночка-то все-таки нужна.

— Ну, счастливо. Дорого не давай—ей деньги нужны. Прощай! Да и ты, Корнѣичъ, домой ступай. У меня для тебя обѣда не припасено; а вотъ когда я съ него деньги получу — синенькую тебѣ подарю. Ермолаичъ! жъ и ты расшибись! выброси ему синенькую на бѣдность!

Ермолаевъ вынимаетъ изъ-за пазухи бумажникъ и выдаетъ просимую сумму.

Корнѣичъ уходитъ домой, обрадованный и ободренный. Грубо выпроводилъ его отъ себя Струнниковъ, но онъ не обижается: знаетъ, что самъ виноватъ. Прежде онъ часто у патрона своего обѣдывалъ; но однажды случился съ нимъ грѣхъ: не удержался, въ салфетку высморкался. Разумѣется, патронъ разсвирѣпѣлъ.

— Коли ты, свинтусъ, въ салфетки сморкаться выдумалъ, такъ ступай изъ-за стола вонъ!—крикнулъ онъ на него—и не смѣй на глаза мнѣ показываться!

И съ тѣхъ поръ, какъ только наступаетъ обѣденный часъ, такъ Струнниковъ безпощадно гонитъ Корнѣича домой.

Обѣдать приходится самъ-другъ; но на этотъ разъ Ѳедоръ Васильичъ даже доволенъ, что нѣтъ постороннихъ: надо объ „дѣлѣ" съ женой переговорить. Начинается сцена обольщенія. Къ удовольствію Струнникова, Александра Гавриловна даже не задумывается.

— Гдѣ же это... Красный-Рогъ?—спрашиваетъ она совершенно равнодушно.

— А тамъ... не доходя, прошедши,—шутитъ онъ въ отвѣтъ.

— Много ли же Ермолаевъ даетъ?

— Четыре тысячи. Три тысячи долга похерить, а тысячу — тебѣ... чистоганомъ.

— Стало-быть, за тысячу рублей?

— Говорятъ: за четыре. Долгъ-то вѣдь тоже когда-нибудь платить придется.

— Все равно, денегъ только тысяча рублей будетъ.

Струнниковъ начинаетъ безпокоиться. Съ Александрой Гавриловной это бываетъ: завернетъ совсѣмъ неожиданно въ сторону, и не вытащишь ее оттуда. Поэтому онъ не доказываетъ, что долгъ—тѣ же деньги, а пытается какъ-нибудь замять встрѣтившееся препятствіе, чтобъ жена забыла о немъ.

— Ну, да,—говоритъ онъ,—всѣ тысячу рублей разомъ и получишь. Накупишь въ Москвѣ токовъ *) и будешь здѣсь зимой на балахъ щеголять.

— Ужъ, конечно, ни копѣйки тебѣ не отдамъ.

— Мнѣ на что, у меня своихъ денегъ дѣвать некуда.

Препятствіе устранилось. Мысли Александры Гавриловны разбрелись въ разныхъ направленіяхъ.

— Однако, дуракъ онъ! — произноситъ она, апетитно свертывая тоненькій ломтикъ ветчины.

— Кто дуракъ?

— Да Ермолаевъ твой. Всѣ его умнымъ человѣкомъ прославили, а по моему онъ просто дуракъ. Даетъ тысячу рублей за лѣсъ, а кому онъ нуженъ!

— И на старуху бываетъ поруха. Вотъ про меня говорятъ, что я простыня, а я, между прочимъ, умнаго-то человѣка въ лучшемъ видѣ обвелъ. Такъ какъ же, Сашенька,—по рукамъ?

*) Токъ—головной уборъ.

— Мнѣ что-жъ! только ежели условіе будемъ писать, такъ чтобъ онъ какъ можно скорѣе лѣсъ срубилъ.

— Это ужъ само собой.

Супруги выходятъ изъ-за стола довольные другъ другомъ. Александра Гавриловна мечтаетъ, что, получивши деньги, она на пять-сотъ рублей закажетъ у Сихлерши два платья. Въ одномъ появится 31-го декабря у себя на балу, когда сосѣди съѣдутся къ нимъ Новый годъ встрѣчать, въ другомъ— въ субботу на масляницѣ, когда у нихъ назначается folle journée. Первое будетъ свѣтло-лиловое, атласное, второе — изъ синяго гроденапля. Платья будутъ стоить не больше пяти-сотъ рублей, а на остальные пять-сотъ она брильянтиковъ купитъ. Надо же парюры освѣжить. Кстати: взглянуть, каковы-то у нея цвѣты? Она вынимаетъ изъ шифоньерки нѣсколько коробокъ съ искусственными цвѣтами, и разсматриваетъ, можно ли будетъ употребить ихъ въ дѣло. Оказывается, что цвѣты еще совсѣмъ свѣжи, точно сейчасъ изъ магазина вышли. Она считаетъ себя экономною, и находка очень ее радуетъ. Она подходитъ къ зеркалу и заранѣе отыскиваетъ мѣсто для цвѣтовъ. Вотъ этотъ букетъ она приколетъ къ корсажу; вотъ эту гирлянду—по юбкѣ пуститъ. Хорошо, что она сохранила цвѣты, а то, пожалуй, на два платья пяти-сотъ рублей и не хватило бы. Рѣшено. Осенью она ѣдетъ въ Москву и все устроитъ. А Ѳедору Васильичу ни копѣйки не дастъ. Будетъ. Пускай откуда хочетъ, оттуда и достаетъ—ей что̀ за дѣло!

Струнниковъ, съ своей стороны, тоже доволенъ. Но онъ не мечтаетъ, во-первыхъ, потому, что отяжелѣлъ послѣ обѣда и едва можетъ добрести до кабинета, и, во-вторыхъ, потому, что мечтанія вообще не входятъ въ его жизненный обиходъ и онъ предпочитаетъ проживать деньги какъ придется, безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія. Придя въ кабинетъ, онъ снимаетъ платье, надѣваетъ халатъ и бросается на диванъ. Черезъ минуту громкій храпъ возвѣщаетъ, что излюбленный человѣкъ въ полной мѣрѣ воспользовался послѣобѣденнымъ отдыхомъ.

Въ шесть часовъ онъ проснулся, и изъ кабинета раздается протяжный свистъ. Вбѣгаетъ буфетчикъ, неся на подносѣ графинъ съ холоднымъ квасомъ. Ѳедоръ Васильичъ выпиваетъ сряду три стакана, отфыркивается и отдувается. До чаю еще остается цѣлый часъ.

— Каково на дворѣ?

— Солнышко. Тепло-съ.

— У васъ всегда тепло. Шкура толста, не проймешь. Никто не пріѣзжалъ?

— Никого не было-съ.

— Ахъ, пёсъ ихъ возьми! Именно, какъ псы, по конурамъ попрятались. Ступай. Сегодня я одѣваться не стану; и такъ похожу. Хоть бы чай поскорѣе!

Струнниковъ начинаетъ расхаживать взадъ и впередъ по анфиладѣ комнатъ. Онъ заложилъ руки назадъ; халатъ распахнулся и раскрылъ нижнее бѣлье. Ходитъ онъ и ни о чемъ не думаетъ. Пропоетъ: „Спаси, Господи, люди Твоя“, потомъ „Слава Отцу“, потомъ вспомнитъ, какъ протодіаконъ въ Успенскомъ соборѣ, въ Москвѣ, многолѣтіе возглашаетъ, оттопыритъ губы

и старается подражать. По временамъ заглянетъ въ зеркало, увидитъ: вылитый мопсъ! Проходя по залѣ, посмотритъ на часы и обругаетъ стрѣлку.

— Ишь вѣдь, бредетъ не бредетъ! какъ стояла на четверть седьмомъ, такъ и теперь четверть седьмого показываетъ. А та бестія, часовая, и совсѣмъ не двигается.

Но вотъ уже близко. Раздается свистъ.

— Неужто никто не пріѣзжалъ?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Да вы, вороны, не просмотрѣли ли? Позвать Синегубова.

— Они, Ѳедоръ Васильичъ, лыка не вяжутъ-съ.

— Пьянъ? ну, чортъ съ нимъ!.. О-о-охъ!

Бьетъ семь. Приходится пить чай самъ-другъ.

Самоваръ поданъ. На столѣ цѣлая груда чищеной клубники, печенье, масло, сливки и окорокъ ветчины. Струнниковъ съѣдаетъ глубокую тарелку ягодъ со сливками и выпиваетъ двѣ большихъ чашки чая, заѣдая каждый глотокъ ветчиной съ масломъ.

— А я ужъ распорядилась съ деньгами, — сообщаетъ Александра Гавриловна.

— Ну, и слава Богу.

— Осенью въ Москву поѣду и закажу у мадамъ Сихлеръ два платья. Это будетъ рублей пять-сотъ стоить, а на остальныя брильянтиковъ куплю.

— Отлично.

— Только если этихъ денегъ недостанетъ, такъ ты ужъ доплати.

— Непремѣнно... послѣ дождичка въ четвергъ. Вотъ, коли родишь мнѣ сына, тогда и еще тысячу рублей дамъ.

— Опять ты за свои глупости принялся!

— Ей-Богу, дамъ. А дочь родишь—бѣленькую дамъ. Такой ужъ уговоръ. Такъ ты, говоришь, въ Москву поѣдешь?

— Разумѣется. Не дома же платья шить.

— Ладно; и я съ тобою поѣду... О-о-охъ! чтой-то мнѣ словно душно!

— Еще бы! хоть бы ты на воздухъ вышелъ.

— Это куда?

— Въ садъ, что-ли. Походилъ бы.

— Что̀ я тамъ позабылъ!

Чай выпитъ; дѣлать рѣшительно нечего.

— Эй, кто тамъ? староста не приходилъ?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Хороводится тамъ... Саша! давай въ дураки играть!

— Давай.

Начинается игра. Струнниковъ играетъ равнодушно; Александра Гавриловна, напротивъ, кипятится и на каждомъ шагу уличаетъ мужа въ плутняхъ.

— Это что за мода такая! началъ ужъ разомъ съ шести картъ ходить!

— Ну-ну, не важность. Вотъ ты мнѣ тройку подвалила—развѣ такія тройки бываютъ? Десятка съ девяткой — ахъ ты, сдѣлай милость! Отставь назадъ!

Но именно потому, что Александра Гавриловна горячится, она проигры-

ваетъ чаще, нежели мужъ. Оставшись нѣсколько разъ сряду дурой, она съ сердцемъ бросаетъ карты и уходитъ изъ комнаты, говоря:

— Вотъ ужъ правду пословица говоритъ: дуракъ спитъ, а счастье у него въ головахъ стоитъ. Не хочу играть.

— И не надо; для тебя же вѣдь я... О-о-охъ, что-то мнѣ ныньче съ утра душно!

„Динь-динь-динь!“ — раздается вдругъ колокольчикъ. Струнниковъ стремительно вскакиваетъ и прислушивается.

— Девятый часъ. Кого это нелегкая въ такую пору принесла? — ворчитъ онъ.

— Становой пріѣхалъ, — докладываетъ лакей: — одѣваться изволите?

— И такъ хорошъ. Зови.

Должность станового тогда была еще вновѣ; но ужъ съ самаго начала никто на этотъ новый институтъ упованій не возлагалъ. Такое ужъ было неуповательное время, что какъ, бывало, ни переименовываютъ — все проку нѣтъ. Были дворянскіе засѣдатели — ихъ куроцапами звали; вмѣсто нихъ становыхъ приставовъ завели — тоже куроцапами зовутъ. Ничего не подѣлаешь.

Входитъ становой, пожилой человѣкъ довольно жалкаго вида. На немъ вицъ-мундиръ, который онъ повидимому надѣлъ, въѣзжая въ околицу села. Ведетъ онъ себя передъ предводителемъ смиренно, даже робко.

— А! господинъ становой! тебя только недоставало! Сейчасъ будемъ ужинать. Куда Богъ несетъ?

— Господинъ исправникъ на завтра въ городъ вызываютъ.

— Зачѣмъ?

— И самъ, признаться, не знаю. Не объясняютъ.

— А коли вызываетъ да не объясняетъ, зачѣмъ—значитъ, пиши пропало. Это ужъ вѣрно.

— За что бы, кажется...

— За пакостныя дѣла—больше не за что. За хорошія дѣла не вызовутъ, потому не за чѣмъ. Вотъ, напримѣръ, я: сижу смирно, свое дѣло дѣлаю — зачѣмъ меня вызывать! Курица мнѣ въ супъ понадобилась, молока горшокъ, яйца — я за все деньги плачу. О чемъ со мной разговаривать! чего на меня смотрѣть! Лицо у меня чистое, безъ отмѣтинъ—ничего на немъ не прочтешь. А у тебя на лицѣ узоры написаны.

— Чтой-то ужъ, Ѳедоръ Васильичъ!

— Нечего „чтой-то“! Я, братъ, насквозь вижу. У меня, что-ли, ночевать будешь?

— Никакъ не возможно-съ. Въ Кувшинниково еще заѣхать нужно. Палъ слухъ, будто мертвое тѣло тамъ открылось. А завтра, чуть свѣтъ, въ городъ поспѣвать.

— Вотъ хоть бы мертвое тѣло. Кому горе, а тебѣ радость. Умеръ человѣкъ; поди, плачутъ по немъ, а ты веселишься. Пріѣдешь, всѣхъ куръ по дворамъ перешаришь, въ лоскъ деревню-то разоришь... за что, про что!

— Помилуйте! неужто же я злодѣй!

— И не злодѣй, а привычка у тебя пакостная: не можешь видѣть,

гдѣ плохо лежитъ. Ну, да будетъ. Жаль, братъ, мнѣ тебя, а попадешь ты подъ судъ—вѣрное слово говорю. Эй! кто тамъ! накрывайте живѣе на столъ!

Покуда накрываютъ ужинать, разговоръ продолжается въ томъ же тонѣ и духѣ. Безсвязный, безтолковый, грубо-назойливый.

Ужинъ представляетъ собой подобіе обѣда, начиная съ супа и кончая пирожнымъ. Ѳедоръ Васильичъ безпрестанно потчуетъ гостя, но такъ потчуетъ, что у того коломъ въ горлѣ кусокъ становится.

— Ѣшь, братъ! — говоритъ онъ:—у меня свое, некраденное! Я не то, что другіе-прочіе: я за все чистыми денежками плачу. Коли своихъ куръ не случится—покупаю; коли яицъ нѣтъ—покупаю! Меня, братъ, въ городъ не вызовутъ.

Или:

— Пей водку. Самъ я не пью, а для пьяницъ — держу. И за водку деньги плачу. Ты отъ откупщика даромъ ее получаешь, а я покупаю. Дворянинъ я — оттого и веду себя благородно. А еслибы я приказной строкой былъ, можетъ быть и я водку бы жралъ да по кабакамъ бы христарадничалъ.

Словомъ сказать, насилу несчастный земскій чинъ конца дождался. Но и на прощанье Струнниковъ не удержался и пустилъ ему въ догонку:

— Провожать я тебя не выйду — это ужъ, братъ, ау! А ежели со службы тебя выгонятъ—синенькую на бѣдность пожертвую. Прощай.

Пора спать. Ѳедоръ Васильичъ съ трудомъ вылѣзаетъ изъ кресла и, пошатываясь, направляется въ общую спальню.

— Староста дожидается,—напоминаетъ лакей.

— Некогда. Скажи, чтобъ завтра пришелъ.

Я могъ бы привести еще нѣсколько примѣрныхъ дней — пріѣздъ гостей, званые обѣды, балы и т. д. — но полагаю, что изложеннаго выше вполнѣ достаточно, чтобы обрисовать моего героя. Сосѣди ѣзжали къ Струнниковымъ часто и охотно, особенно по зимамъ, такъ какъ усадьба ихъ, можно сказать, представляла собой въѣзжій домъ, въ которомъ всякій ѣлъ, пилъ и жилъ сколько угодно. Ѣздили и въ одиночку, но больше сговаривались компаніей, потому что хозяинъ на народѣ просить деньги взаймы совѣстился. Наѣзды эти производили въ домѣ невообразимую суматоху; но послѣдняя уже сдѣлалась какъ бы потребностью праздной жизни, такъ что не она дѣйствовала угнетающимъ образомъ на нервы, а порядокъ и тишина.

Самъ Ѳедоръ Васильичъ очень рѣдко ѣзжалъ къ сосѣдямъ, да, признаться сказать, никто особенно и не жаждалъ его посѣщеній. Во-первыхъ, пріемъ такого избалованнаго идола требовалъ издержекъ, которыя не всякому были по карману, а во-вторыхъ, пріѣдетъ онъ, да пожалуй еще нагрубитъ. А не нагрубитъ, такъ денегъ выпроситъ,—а это ужъ упаси Богъ!

Шли годы; Струнниковъ изъ трехлѣтія въ трехлѣтіе переходилъ въ званіи предводителя, словно оно приросло къ нему. Явился-было конкурентъ, въ лицѣ обрусѣлаго француза Галопена, владѣльца—тоже по женѣ—довольно большого оброчнаго имѣнія, который вознамѣрился „освѣжить" нашъ край, возложивъ на себя бремя его предста[illegible] успѣха „под-

жарый французъ“ не имѣлъ, а только денегъ понапрасну цѣлую уйму извелъ. Пріѣхалъ онъ въ уѣздный городъ (устроенной усадьбы у него въ имѣніи не было) мѣсяца за два до выборовъ, нанялъ просторный домъ, убралъ его коврами и объявилъ открытый столъ для господъ дворянъ. И съѣли, и выпили у него за это время съ три прдпасти, но когда наступилъ срокъ выборовъ, то въ губернскій городъ отправились все тѣ же выборные элементы, какъ и всегда, и поднесли Өедору Васильичу на блюдѣ бѣлые шары. Это до того умилило Струнникова, что онъ прослезился и всѣхъ заслюнявилъ, цѣлуясь. А Галопенъ такъ съ пустомъ и уѣхалъ во-свояси.

Въ 1848 году показалось однако чуть замѣтное движеніе, которое возвѣстило Струнникову, что и для излюбленныхъ людей проходитъ пора безпечальнаго житія. Въ губернію пріѣхалъ новый губернаторъ и погрозилъ оттолѣ. Помѣщику Григорію Александровичу Перхунову, о которомъ дошло до свѣдѣнія, что онъ шумаркаетъ, велѣно было внушить, чтобы сидѣлъ смирно. А въ заключеніе, предводитель получилъ бумагу съ надписью: „весьма секретно“, въ которой уже настойчиво требовались свѣдѣнія о духѣ, господствующемъ въ уѣздѣ, и впервые упоминалась кличка: „соціалистъ“.

— Скажи ты мнѣ, что за спеціалисты такіе проявились? — тоскливо допытывался Өедоръ Васильичъ у Синегубова.

— Не знаю-съ. Стало-быть, „спеціями“ занимаются, — отвѣтилъ Иванъ Өомичъ.

Однако, спустя короткое время, пронесся разъяснительный слухъ, что въ Петербургѣ накрыли тайное общество злонамѣренныхъ молодыхъ людей, которые въ карты не играютъ, по трактирамъ не ходятъ, шпицбаловъ не посѣщаютъ, а только книжки читаютъ и промежду себя разговариваютъ. Струнниковъ серьезно обезпокоился, и самолично полетѣлъ къ Перхунову, который, какъ объ этомъ упомянуто выше, уже былъ однажды заподозрѣнъ въ вольнодумствѣ.

— Брось ты это, сдѣлай милость!—приступилъ онъ къ вольнодумцу.

— Что такое „это“?

— Книжки брось!

— У меня и книжекъ въ заводѣ нѣтъ. Купить—не на что; выпросить —не у кого.

— Ну, разговаривать брось.

— Неужто и разговарить нельзя?

— Стало-быть, нельзя. Вотъ я тебя до сихъ поръ умнымъ человѣкомъ считалъ, а выходитъ, что ни капельки въ тебѣ ума нѣтъ. Говорятъ, нельзя —ну, и нельзя.

Однако кутерьма кой-какъ улеглась, когда сдѣлалось извѣстнымъ, что хотя опасность грозила не малая, но начальственная бдительность задушила гидру въ самомъ зародышѣ. Струнниковъ уже снова впалъ-было въ забытье, какъ вдругъ зашумѣлъ турка, а вслѣдъ за тѣмъ открылась англо-французская кампанія. Прогремѣлъ Синопъ; за нимъ Альма, Севастополь...

Рекрутскіе наборы слѣдовали одинъ за другимъ; раздался призывъ къ ополченію; предводители получали бумаги о необходимости поднятія народнаго духа вообще и дворянскаго въ особенности; помѣщики оживились, откуп-

щики жертвовали винныя порціи... Каждому уѣзду предстояло выставить почти цѣлую армію, одѣтую, обутую, снабженную продовольствіемъ.

Я не говорю, чтобы Струнниковъ воспользовался чѣмъ-нибудь отъ всѣхъ этихъ снабженій, но въ глазахъ у него происходило самое наглое воровство, въ которомъ принималъ дѣятельное участіе и Синегубовъ, а онъ между тѣмъ считался главнымъ распорядителемъ дѣла. Воры дѣйствовали такъ нагло, что чуть не въ глаза называли его колпакомъ (въ нынѣшнее время сказали бы, что онъ стоитъ не на высотѣ своего призванія). Ему впрочемъ и самому нерѣдко казалось, что кругомъ происходитъ что-то неладное.

— Неразбериха пошла! въ отставку подавать пора! — твердилъ онъ, уныло поникая головой.

Но, разумѣется, въ отставку не подалъ, да и помѣщики наши не допустили бы его до этого, хотя Галопенъ, по случаю ополченія, опять посѣтилъ нашъ край, предлагая свои услуги.

Но все на свѣтѣ кончается; наступилъ конецъ и тревожному времени. Въ 1856 году Ѳедоръ Васильичъ съѣздилъ въ Москву. Тамъ уже носились слухи о предстоящихъ реформахъ, но онъ, конечно, не повѣрилъ имъ. Цѣлый годъ послѣ этого просидѣлъ онъ спокойно въ Словущенскомъ, упитывая свое тѣло, прикармливая сосѣдей и строго наблюдая, чтобы никто „объ этомъ“ даже заикнуться не смѣлъ. Какъ вдругъ пришло достовѣрное извѣстіе что „оно“ уже рѣшено и подписано.

Первый сообщилъ ему эту вѣсть вольнодумецъ Перхуновъ.

— Слышали?—произнесъ онъ шопотомъ, чуть не на цыпочкахъ входя въ кабинетъ.

— Чего слышать! всѣхъ глупостей не переслушаешь!—отрѣзалъ Струнниковъ совершенно увѣренно.

— Волю даютъ!

— А ты знаешь ли, что я тебя за эти слова къ исправнику отправлю, да напишу, чтобы онъ хорошенько тебя поучилъ!—пригрозилъ Ѳедоръ Васильичъ, не теряя самообладанія.

— Мнѣ чтожъ... отправляй, пожалуй! Я собственными глазами, два часа тому назадъ, въ „Вѣдомостяхъ“ читалъ.

— И это совралъ. Не могъ ты читать, потому что *этого* нѣтъ. А чего нѣтъ, такъ и въ „Вѣдомостяхъ“ того не можетъ быть.

— Да говорятъ же тебѣ...

— Нѣтъ этого... и быть не можетъ — вотъ тебѣ и сказъ. Я тебя умнымъ человѣкомъ считалъ, а теперь вижу, что ни капельки въ тебѣ ума нѣтъ. Не можетъ этого быть, потому ненатурально.

— Напечатано, тебѣ говорятъ.

— И напечатано, а я не вѣрю. Коли напечатано, такъ всему и вѣрить? Всегда были рабы, и всегда будутъ. Это щелкоперы французы выдумали: пермете-бонжуръ да команъ ву порте-ву—имъ это позволительно. Бѣгаютъ, куцые, да лягушатину жрутъ. А у насъ государство основательное, настоящее... У насъ, братъ, за такія слова и въ кутузкѣ посидѣть недолго.

Но не прошло и четверти часа, какъ прикатилъ Петръ Васильичъ

Кутяпинъ. И онъ вошелъ на цыпочкахъ словно остерегался, чтобы даже шаги его не были услышаны кому вѣдать о семъ не надлежитъ.

— Волю... волю дали!—началъ онъ, притаивъ дыханіе.

— Да что̀ вы взбѣленились, что-ли?—прикрикнулъ Струнниковъ, наступая на Кутяпина, такъ что тотъ попятился.

— Въ газетахъ... помилуйте!

За Кутяпинымъ съ села прибѣжали: Корнѣичъ, два брата Безкормицыны, Анна Ивановна Зацѣпова. Эти не читали въ газетахъ, но тоже слышали.

— Что жъ это такое, Ѳедоръ Васильичъ, съ нами будетъ?—приставала госпожа Зацѣпова.

— Что̀ будетъ, то̀ и будетъ — только и всего! Отстаньте, безъ васъ тошно!

Струнниковъ продолжалъ стоять на своемъ, но вѣстникамъ гибели все-таки удалось настолько его разбудить, что онъ взволновался.

— Эй! кто тамъ! водки и закусить. Гоните верхового къ старику Бурмакину! Сказать, что Ѳедоръ Васильичъ, молъ, кланяется и проситъ газету почитать.

Увы! „оно“ было дѣйствительно напечатано. Хотя повидимому дѣло касалось только западныхъ губерній, а все-таки... Однако Струнниковъ и тутъ не убѣдился.

— Ну чтожъ, такъ и есть! на мое и вышло!—торжествовалъ онъ:—тамъ поляки, оня бунтовщики, имъ такъ и нужно. А мы сидимъ смирно, властямъ повинуемся—насъ обижать не за что.

— Ладно; надѣйся! — поддразнивалъ Перхуновъ:—ты же все твердилъ: молчи да не разсуждай!—вотъ и домолчались.

— А по моему, за то, что мы болтали да вкривь и вкось разсуждали—за это насъ Богъ и наказываетъ!

— За то ли, за другое ли, а теперь дожидайся отъ губернатора бумаги. Ужъ не объ томъ будутъ спрашивать, зачѣмъ ты вольный духъ распускаешь, а объ томъ, отчего у тебя въ уѣздѣ его нѣтъ. Да изъ предводителей-то тебя за это—по шапкѣ!

И дѣйствительно, не прошло недѣли, какъ Ѳедоръ Васильичъ получилъ оффиціальное приглашеніе пожаловать въ губернію. Вспомнились ему въ ту пору его же вѣщія слова, которыми онъ нѣкогда напутствовалъ станового пристава: за хорошими дѣлами вызывать не будутъ.

Когда онъ пріѣхалъ въ губернскій городъ, всѣ предводители были уже на-лицо. Губернаторъ (изъ военныхъ) принялъ ихъ сдержанно, но учтиво; изложилъ *непремѣнныя* намѣренія правительства и изъявилъ надежду и даже увѣренность, что господа предводители поспѣшатъ пойти на-встрѣчу этимъ намѣреніямъ. Случай для этого представлялся отличный: черезъ мѣсяцъ должно состояться губернское собраніе, на которомъ и предоставлено будетъ господамъ дворянамъ высказать одушевляющія ихъ чувства.

— А теперь, господа, возвратитесь въ свои уѣзды,—сказалъ губернаторъ въ заключеніе, — и подготовьте вашихъ достойныхъ собратій. Прощайте, господа! Богъ да благословитъ ваши начинанія!

— Вы бы, вашество, заступились за насъ! — молвилъ Струнниковъ среди общаго молчанія.

— Чего-съ?

— Попросили бы, вашество, за насъ!

— Ахъ, Ѳедоръ Васильичъ, Ѳедоръ Васильичъ! — сообразилъ наконецъ губернаторъ:—я самъ дворянинъ, самъ помѣщикъ — неужто же я не понимаю! Н-н-н-о!

Онъ поднялъ указательный палецъ, развелъ руками и удалился. Совѣщаніе кончилось.

Въ половинѣ декабря состоялось губернское собраніе, которое на этотъ разъ было особенно людно. Даже нашъ уѣздъ, на что былъ лѣнивъ, и тотъ почти поголовно поднялся, не исключая и матушки, которая, несмотря на слабѣющія силы, отправилась въ губернскій городъ, чтобы хоть съ хоръ послушать, какъ будутъ „судить" дворянъ. Она все еще надѣялась, что господа дворяне очнутся, что начальство прозрѣетъ и что „злодѣйство" пройдетъ мимо.

Послѣдовалъ церемоніалъ открытія собранія. Очередныя дѣла, а въ томъ числѣ и баллотировку, обработали живо. Черезъ трое сутокъ наступилъ судный день. Всѣ съѣхавшіеся были къ полудню на-лицо въ залѣ собранія, такъ что яблоку было упасть негдѣ. Гулъ отъ множества голосовъ волнами ходилъ по обширной залѣ, тотъ смутный гулъ, въ которомъ ни одного членораздѣльнаго звука различить нельзя. Изъ буфета доносились соблазнительные звуки приготовляемой закуски. Наконецъ изъ общей толпы выдѣлился почтенный старичокъ, губернскій предводитель, и мѣрными шагами началъ всходить на возвышеніе, къ губернаторскому столу. Въ залѣ мгновенно воцарилась мертвая тишина.

— Господа! я имѣю предложить на ваше обсужденіе очень важное сообщеніе, — началъ губернскій предводитель взволнованнымъ голосомъ: — прикажете прочитать?

— Читайте! читайте!

Предводитель медленно, съ разстановкой, прочиталъ бумагу, въ которой присутствующіе приглашались къ принесенію очень важной жертвы, и высказывалась надежда, что они и на этотъ разъ, какъ всегда, явятъ похвальный примѣръ единодушія и содѣйствія.

— Господа! безъ преній!—провозгласилъ предсѣдатель собранія: — пусть каждый поступитъ, какъ ему Богъ на сердце положитъ!

И прослезился.

— Безъ преній! безъ преній!—загудѣло собраніе.

Предводитель прочиталъ другую бумагу—то былъ проектъ адреса. Въ немъ говорилось о прекрасной зарѣ будущаго и о могущественной длани, указывающей на эту зарю. Первую привѣтствовали съ восторгомъ; передъ второю—преклонялись и благоговѣли. И вдругъ кто-то въ дальнемъ углу зала пропѣлъ:

Заря утренняя взошла,
Съ собой радость принесла...

— Кто тамъ поетъ! стыдно-съ!—разсердился старичокъ-предводитель, и продолжалъ:—Господа! кому угодно? Милости просимъ къ столу! подписывать!

Всѣ какъ одинъ снялись съ мѣстъ и устремились впередъ, перебѣгая другъ у друга дорогу. Вокругъ стола образовалась давка. Въ какихъ-нибудь полчаса вопросъ былъ рѣшенъ. На хорахъ не ждали такой быстрой развязки, и съ нѣкоторыми дамами сдѣлалось дурно.

— Ай да голубчики! въ одночасье продали!—раздался съ хоръ чей-то голосъ.

Но излюбленные люди уже не обращали вниманія ни на что. Они торопливо подписывались и скрывались въ буфетъ, гдѣ черезъ нѣсколько минутъ уже гудѣла цѣлая толпа и стоялъ дымъ коромысломъ.

— А какую мнѣ икру зернистую сегодня изъ Москвы привезли!—хвастался содержатель буфета:—балыкъ! семга! словомъ сказать, отдай все да и мало!

Дѣйствительно, икра оказалась такая, что хоть какое угодно горе за ней забыть было можно. Струнниковъ одинъ цѣлый фунтъ съѣлъ.

Зала опустѣла. Только немногіе старички бродили по опустѣлому пространству и уныло между собой переговаривались.

— Бѣжали?—укоризненно говорилъ одинъ, указывая на буфетъ:—то-то вотъ и есть! Водка да закуска—только на это насъ и хватаетъ!

— Похоже на то!

— Позвольте!—убѣждалъ другой:—если ужъ безъ того нельзя... ну, положимъ! Пристроили крестьянъ—надо же и господъ пристроить! Неужто-жъ мы такъ останемся? Рабамъ—права, и намъ—права!

— Это ужъ опосля!

— То-то вотъ „опосля"! Опосля да опосля—смотришь, и такъ изморомъ изноетъ!

— Нѣтъ, вы мнѣ вотъ что̀ скажите!—ораторствовалъ третій.—Слышалъ я, что вознагражденіе дадутъ... Положимъ! дадутъ мнѣ теперича цѣлый ворохъ бумажекъ—не долго ихъ напечатать! Что̀ я съ ними дѣлать стану? Сѣсть на нихъ да сидѣть, что-ли?

— Въ ломбардъ положите...

— А ломбардъ что̀ съ ними будетъ дѣлать?

— Ну, ломбардъ найдетъ мѣсто...

— Вѣдь намъ теперича въ усадьбы свои носа показать нельзя,—безпокоился четвертый:—ну, какъ я туда явлюсь? ни панъ, ни хлопъ, ни въ городѣ Иванъ, ни въ селѣ Селифанъ. Покуда вверху трутъ да мнутъ, а насъ „вольные"-то люди въ лоскъ положатъ! Еще когда-то дѣло сдѣлается, а они сразу вѣдь ошалѣютъ!

— Ну, въ случаѣ чего и станового позвать можно!

— Дожидайтесь! пріѣдетъ онъ къ вамъ! да онъ ихъ же науськивать будетъ—вотъ увидите...

И такъ далѣе.

Вечеромъ того же дня въ залѣ собранія состоялся балъ. Со всѣхъ концовъ губерніи съѣхались дамы и дѣвицы, такъ что образовался очарова-

тельный цвѣтникъ. Съѣхались и офицеры расквартированной въ губерніи кавалерійской дивизіи; стало-быть, и въ кавалерахъ недостатка не было. Туалеты были прелестные, совсѣмъ свѣжіе, такъ что и въ столицѣ не стыдно въ такихъ щегольнуть. Попечительныя маменьки разсчитывали на сбытъ дочерей, а потому послѣдняя копѣйка ставилась ребромъ. На хорахъ игралъ бальный оркестръ одного изъ полковъ; въ залѣ было шумно, весело, точно утромъ ничего не произошло. Разумѣется, и Струнниковы присутствовали на балѣ. Александра Гавриловна, все еще замѣчательно красивая, затмѣвала всѣхъ и заставляла биться сердца.

Но Ѳедоръ Васильичъ по обыкновенію не воздержался отъ нахальныхъ привычекъ. Не будучи пьянъ, онъ прислонился къ одной изъ колоннъ и громогласно твердилъ:

— Рубашку сняли! шкуру содрали!

Ну, разъ сказалъ, другой сказалъ—можно бы и остепениться, а онъ куда тебѣ! заладилъ одно, да и кричитъ во всеуслышаніе, не переставаючи: —содрали!

На его несчастіе, тутъ же по близости стоялъ „имѣющій уши да слышитъ“ (должность такая въ старину была); стоялъ, стоялъ, да и привязался.

— Вы это объ комъ изволите говорить? —полюбопытствовалъ онъ.

Струнниковъ вытаращилъ глаза, но не струсилъ. Побѣжалъ къ губернскому предводителю и пожаловался. Губернскій предводитель побѣжалъ къ губернатору.

— Помилуйте, вашество!—ропталъ излюбленный человѣкъ всей губерніи:—мы жертвуемъ достояніемъ... на призывъ стремимся... Наконецъ, это наша зала, нашъ балъ...

— Успокойтесь! я все устрою! Ѳедоръ Васильичъ! прошу васъ! тутъ вкралось какое-нибудь недоразумѣніе!

— Какое недоразумѣніе! Я объ заимодавцѣ объ одномъ говорилъ, что онъ шкуру съ меня содралъ, а „онъ“ скандалы мнѣ дѣлаетъ! — солгалъ Струнниковъ.

Губернаторъ поманилъ пальцемъ „имѣющаго уши да слышитъ“ и пошептался съ нимъ. Затѣмъ послѣдній съ минуту какъ бы колебался—и вдругъ исчезъ безъ остатка.

— Такъ-то, братъ, лучше, впередъ умнѣе будешь! — процѣдилъ ему въ догонку Струнниковъ.

Справедливость требуетъ сказать, что Ѳедоръ Васильичъ восторжествовалъ и въ высшей инстанціи. Неизвѣстно, не записали ли его за эту продѣлку въ книгу живота, но во всякомъ случаѣ, черезъ недѣлю, „имѣющій уши да слышитъ“ былъ переведенъ въ другую губернію, а къ намъ прислали другого такого же.

Однако мрачныя предчувствія помѣщиковъ не сбылись. И крестьяне, и дворовые—точно сговорились вести себя благородно. Возвратившись домой, матушка даже удивилась, что „дѣвки“ еще усерднѣе стараются услуживать ей. Разумѣется, она нашла этому явленію вполнѣ основательное, по ея мнѣнію, толкованіе.

— Остались у меня все старыя да хворыя,—говорила она: — хоть сейчасъ имъ волю объяви—куда онѣ пойдутъ! Повиснутъ у меня на шеѣ —пои да корми ихъ!

Тѣмъ не менѣе нельзя было отрицать, что черная кошка ужъ пробѣжала. Какъ ни притихли рабы, а все-таки возникали отдѣльные случаи, которые убѣждали, что тишина эта выжидательная. Помѣщики приподнимали завѣсу будущаго и, стараясь оградить себя отъ предстоящихъ столкновеній, охотно прибѣгали къ покровительству закона, разрѣшавшаго ссылать строптивыхъ въ Сибирь. Но этому скоро былъ положенъ предѣлъ. Закона не отмѣняли, а распорядились административно, чтобъ каждый подобный случай сопровождался предварительнымъ изслѣдованіемъ.

Лѣтомъ 1858 года произошли по уѣздамъ выборы въ крестьянскій комитетъ. Струнникова выбрали единогласно, а вторымъ членомъ, въ качествѣ „занозы", послали Перхунова. Ѳедоръ Васильичъ, надо отдать ему справедливость, настоятельно отпрашивался.

— Увольте, господа!—взывалъ онъ:—усталъ, мочи моей нѣтъ! Шутка сказать, осьмое трехлѣтіе въ предводителяхъ служу! Не гожусь я для нынѣшнихъ кляузныхъ дѣлъ. Все жилъ благородно, и вдругъ теперь кляузничать начну!

— Просимъ! просимъ!—раздался въ отвѣтъ общій голосъ:—у кого же намъ и заступы искать, какъ не у васъ! А ежели трудно вамъ будетъ, такъ Григорій Александрычъ пособитъ.

— Радъ стараться!—отозвался Перхуновъ, которому улыбалась перспектива всегда готоваго стола у патрона.

Кончилось, разумѣется, тѣмъ, что Струнниковъ прослезился. Съ лѣтами онъ пріобрѣлъ слезный даръ и частенько-таки поплакивалъ. Иногда просто присядетъ къ окошку и въ одиночку всплакнетъ; иногда позоветъ камердинера Прокофья и поведетъ съ нимъ разговоръ:

— Радъ, Прокошка?

— Чему, сударь, радоваться!

— По глазамъ вижу, что радъ. Дашь ты стречка отъ меня!

— Неужто, сударь, вы такъ обо мнѣ полагаете? Кажется, я...

И такъ далѣе.

Поговоривъ немного, Ѳедоръ Васильичъ отошлетъ Прокофья и всплакнетъ.

— Добрый онъ! добрые-то и всѣ такъ... А вотъ Петрушка... этотъ какъ разъ... Что̀ тогда дѣлать? Сбѣжитъ Петрушка, сбѣжитъ ключница Степанида, сбѣжитъ поваръ... Кто будетъ кушанье готовить? полы мыть, самоваръ подавать? Поваръ-то сбѣжитъ, да и поваренка сманитъ...

Посидитъ, потужитъ—и опять всплакнетъ.

Струнниковъ еще не старъ — ему сорокъ лѣтъ съ небольшимъ, но онъ преждевременно обрюзгъ и отяжелѣлъ. Отъ чрезмѣрной ли ѣды это съ нимъ сталось, или оттого, что реформа пристигла—сказать трудно, но во всякомъ случаѣ онъ не только наружно, но и внутренно измѣнился. Никогда въ жизни онъ ничѣмъ не тревожился, и вдругъ почувствовалъ, что все его существо переполнилось тревогой. Всего больше его мучило то, что долги стало труд-

нѣе дѣлать. Сосѣди говорятъ: такое ли теперь время, чтобы деньги въ долги распускать! Богатѣи изъ крестьянъ тоже развязнѣе сдѣлались. Отказываютъ безъ разговоровъ, точно и не понимаютъ, что ему до-зарѣза деньги нужны. А нѣкоторые, которымъ онъ долженъ былъ по простымъ запискамъ, даже потребовали, чтобы расписки были замѣнены настоящими документами. Наконецъ сунулся онъ къ Ермолаичу, а тотъ ему:

— Нѣтъ, Ѳедоръ Васильичъ, вы и безъ того мнѣ десять тысячъ серебрецомъ должны. Будетъ.

Такъ и не далъ. Насилу даже всталъ, такой-сякой, какъ онъ къ нему въ избу вошелъ. Забылъ, подлая душа, что когда ополченіе устраивалось, онъ ему поставку портянокъ предоставилъ...

Благо еще, что ко взысканію не подаютъ, а только документы изъ года въ годъ переписываютъ. Но что̀, ежели вдругъ взбѣленятся, да потребуютъ: плати! А по нынѣшнимъ временамъ только этого и жди. Никто и не вспомнитъ, что ежели онъ и занималъ деньги, такъ за это двери его дома были для званаго и незваного настежъ открыты. И самъ онъ жилъ, и другимъ давалъ жить... Все позабудется: и пиры, и банкеты, и оркестръ, и пѣвчіе; одно не позабудется—жестокое слово: „плати!"

Чѣмъ жить? — этотъ вопросъ становился ребромъ. И безъ этого онъ кругомъ обрѣзалъ себя: псарный дворъ уничтожилъ, оркестръ и пѣвчихъ распустилъ,—не жить же ему, какъ какой-нибудь Корнѣичъ живетъ! И никто ему не поставитъ въ заслугу, что онъ, напримѣръ, на масляницѣ, ради экономіи, folle journée у себя отмѣнилъ, никто не скажетъ: вотъ какъ Ѳедоръ Васильичъ нынче себя благоразумно ведетъ — надо ему за это вздохнуть дать! Нѣтъ, прямо такъ-таки въ судъ и полѣзутъ. Хорошо, что еще судья свой братъ — дворянинъ, не сразу въ обиду дастъ, а что̀ ежели его шарахнутъ? Ахъ, жестокія нынче времена, немилостивыя!

Чѣмъ жить? — Въ Чухломѣ что̀ было залишняго — все продано; въ Арзамасѣ деревнюшка была — тоже продали. И продавать больше нечего. Александра Гавриловна, правда, еще крѣпится, не позволяетъ пустоша̀ продавать, да какая же корысть въ этихъ пустошахъ? Рыжикъ да бѣлоусъ на нихъ ростутъ — только слава, что земля! Да и она крѣпится единственно потому, что не знаетъ дѣйствительнаго положенія вещей. Вѣдь она почти по всѣмъ обязательствамъ поручительницей подписалась—будьте покойны, потянутъ и ее! И его чухломскіе мужики, и ея Словущенская усадьба—все въ одну прорву пойдетъ. Вотъ теперь крестьянъ освобождать вздумали—можетъ быть, деньги на нихъ выдадутъ... Да и тутъ опять: выдадутъ изъ казны деньги, а ихъ тутъ же по рукамъ расхватаютъ. И теперь ужъ, поди, сторожатъ.

Да, всплакнешь, ой-ой-ой, какъ всплакнешь, коли голова съ утра до ночи только такими мыслями и полна!

Между тѣмъ дѣло освобожденія уже началось. Съ изнурительною медленностью тянулось межеумочное положеніе вещей, испытуя терпѣніе заинтересованныхъ сторонъ. Шли пререканія; ходили по рукамъ анекдоты; отъ дѣла не бѣгали и дѣла не дѣлали. Вся несостоятельность русскаго куль-

турнаго общества того времени выступила съ поразительною яркостью. Несмотря на то, что вопросъ поставленъ былъ безповоротно и угрожалъ въ корнѣ измѣнить весь строй русской жизни, всѣ продолжали жить спустя рукава, за исключеніемъ немногихъ; но и эти немногіе сосредоточили свои заботы лишь на томъ, что подъ шумокъ переселяли крестьянъ на неудобныя земли, и тѣмъ уготовали себѣ въ будущемъ репрессаліи. Хорошо еще, что программу для собесѣдованій заранѣе сверху прислали, а то, кажется, въ губерніяхъ пошелъ бы такой разбродъ, что и не выбраться оттуда.

Наконецъ однако наступилъ вожделѣнный день 19-го февраля 1861 года.

„Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, русскій народъ!"—раздалось въ церквахъ, и вслѣдъ за этими словами по всей Россіи пронесся вздохъ облегченія.

Пріѣхали на мѣста мировые посредники, дѣти отцовъ своихъ, и привезли съ собой старыя пререканія, на новый ладъ выстроенныя. Открылись судбища, на которыхъ ежедневно возникали совсѣмъ неожиданныя подробности. Въ особенности помѣщиковъ волновалъ вопросъ о дворовыхъ людяхъ, къ которому въ теченіе предшествовавшихъ трехъ лѣтъ никто не приготовился. Сроки службы, установленные „Положеніемъ", оказались обязательными только на бумагѣ, а на дѣлѣ заинтересованныя стороны толковали ихъ каждая по своему. Бывали случаи, когда посредники разомъ увольняли въ какомъ-нибудь помѣщичьемъ домѣ всѣхъ дворовыхъ, такъ что домъ внезапно превращался въ пустыню. Но всего больше возмущало то, что посредники говорили „хамамъ" *вы*, и во время разбирательствъ сажали ихъ рядомъ съ бывшими господами.

Струнниковъ притихъ. Отсидѣвъ положенный срокъ въ губернскомъ комитетѣ, онъ воротился въ Словущенское, но жизнь его уже потекла по иному. Предчувствія не обманули его: Прокофій остался, но главнаго повара посредникъ отсудилъ раньше обязательнаго срока, за то что Ѳедоръ Васильичъ погорячился и далъ ему *одну* плюху (а поваръ на судбищѣ солгалъ и показалъ *три* плюхи).

— Это за плюху!—негодовалъ Струнниковъ:—да еслибы и всѣ три, что же такое!

Онъ впрочемъ и на судбище не явился, такъ что приговоръ состоялся заочный. Вообще онъ сразу сталъ съ посредникомъ въ контры и по обыкновенію во всеуслышаніе городилъ о немъ всякую чепуху. А тотъ, въ отместку, повара у него отнялъ, а у Митрофана Столбнякова не отнялъ, хотя послѣдній *навѣрное* далъ три плюхи, а не одну. Не мѣшаетъ однакожъ прибавить, что Струнниковъ отчасти былъ даже радъ этой невзгодѣ, потому что она освобождала его отъ обязанности дѣлать пріемы, которые были ему уже не подъ силу. Приходилось ограничиться поваренкомъ, который умѣлъ готовить одни битки.

— Надо объ этомъ подумать, — говаривалъ онъ по временамъ женѣ: —битки да битки — развѣ это ѣда! Да и Арсюшка, того гляди, стречка дастъ.

— Ничего! Мнѣ сестра пишетъ, что у нея въ Москвѣ кухарка на примѣтѣ есть отличнѣйшая!

— Кухарка-то?—не вѣрю! Скажите на милость! жилъ-жилъ, поваровъ да кондитеровъ держалъ—и вдругъ кухарка! Несогласенъ.

— А несогласенъ, такъ ѣшь Арсюшкины битки.

Скучно становилось, тоскливо. Помѣщики, написавши уставныя грамоты, покидали родныя гнѣзда и устремлялись на поиски за чѣмъ-то невѣдомымъ. Только мелкота крѣпко засѣла, потому что идти было некуда, да Струнниковъ не уѣзжалъ, потому что несъ службу, да и кредиторы слѣдили за нимъ. На новое трехлѣтіе его опять выбрали *всѣми* шарами, но на слѣдующее выбрали уже не его, а Митрофана Столбнякова. Наступившая судебная реформа начала оказывать свое дѣйствіе.

Вслѣдъ за окружнымъ судомъ губернія покрылась цѣлою сѣтью мировыхъ учрежденій. Хотя неудача на выборахъ не особенно взволновала Ѳедора Васильича, но, сопоставляя ее съ прочими обстоятельствами, онъ почувствовалъ, что она предвѣщаетъ ему скорый и немилостивый конецъ.

Кредиторы зашевелились. Только немногіе согласились переписать заемныя обязательства, а главная масса прямо подала ко взысканію. На первыхъ порахъ дѣлъ въ новыхъ судахъ было немного, и на Струнниковѣ почти на первомъ имъ пришлось выказать быстроту и правильность своихъ рѣшеній. Лично онъ въ судъ не являлся, а далъ довѣренность Синегубову, словно и самъ не сомнѣвался, что окончательно пропалъ. Дѣла ускореннымъ аллюромъ рѣшались одно за другимъ въ пользу истцовъ, и судебный приставъ то-и-дѣло ѣздилъ въ Словущенское съ исполнительными листами, назначая сроки для описи, оцѣнки и т. д.

Не снимая халата, Ѳедоръ Васильичъ бродилъ съ утра до вечера по опустѣлымъ комнатамъ и весь міръ обвинялъ въ неблагодарности. Въ особенности негодовалъ онъ на Ермолаева, который съ неутомимымъ безсердечіемъ его преслѣдовалъ, и обѣщалъ себѣ, при первой же встрѣчѣ, избить ему морду до крови („права-то у насъ еще не отняли!“ утѣшалъ онъ себя); но Ермолаевъ этого не желалъ и отъ встрѣчъ уклонялся.

— Смотрите, какія моды пошли! — громко роптал Струнниковъ на свою оброшенность: — пили-ѣли, и вдругъ всѣ бросили! Хоть бы-те одна собака забѣжала! Хоть бы одна христіанская душа нашлась, чтобъ сказать: вотъ вамъ, Ѳедоръ Васильичъ! въ виду прослуженныхъ вами девяти трехлѣтій и временныхъ затрудненій, которыя вы испытываете—извольте получить заимообразно кушъ!... Нѣтъ-таки! никто! Получаютъ-себѣ выкупныя ссуды, и никому въ голову не придетъ предложить! Помилуйте! развѣ я не отдамъ! Развѣ у меня нѣтъ имѣній! Стоитъ только на выкупъ подать—вотъ я и съ капиталомъ! Бери сколько хочешь; и долгъ, и проценты — все получай!

На выкупъ онъ однакожъ не шелъ: боялся, что выкупную ссуду подстерегутъ. Долговъ-то, пожалуй, не покроютъ, а его послѣдняго куска лишатъ, да еще несостоятельнымъ объявятъ... Но и тутъ фортель нашелся. Ждали-ждали кредиторы, да и потребовали принудительнаго выкупа. Получивши это извѣстіе, онъ совсѣмъ растерялся. Бездна разоренья, темная и

зіяющая, разверзлась предъ нимъ во всемъ ужасѣ нищеты. Онъ сидѣлъ, уставившись въ даль неподвижными глазами, и шепталъ безсвязныя слова.

Но если великъ былъ переполохъ, застигнувшій Ѳедора Васильича, то изумленіе Александры Гавриловны было просто-на-просто безпредѣльно. Разумѣется, ей было извѣстно, что мужъ по уши запутался въ долгахъ, но она и въ подозрѣніи не имѣла, что и ей придется отвѣчать за эти долги. Послѣдовалъ рядъ бурныхъ домашнихъ сценъ, но справедливость требуетъ сказать, что въ этомъ испытаніи жена оказалась неизмѣримо выше мужа. Она не только съумѣла овладѣть собой, но и рѣшилась всецѣло раздѣлить общую участь. Въ домѣ настала мертвая тишина, и пока Ѳедоръ Васильичъ роптал и малодушествовалъ, Александра Гавриловна дѣятельно приготовлялась. Ждать было нечего. Покуда производились описи да оцѣнки, Струнниковы припрятали кой-какія цѣнности, безъ шума переправили ихъ въ Москву, а вслѣдъ затѣмъ и сами туда же уѣхали. Проводовъ, разумѣется, не было; хорошо, что хоть кредиторы не задержали. Только Ермолаевъ (тогда ужъ первой гильдіи купецъ), притаившись въ одномъ изъ флигелей господской усадьбы, въ догонку крикнулъ:

— Ни ложки, ни плошки не оставили! Полонъ домъ серебра былъ, самоваръ серебряный былъ, сколько брильянтовъ, окромя всего прочаго,— все припрятали! Плакали наши денежки! дай Богъ двадцать копѣекъ за рубль получить!

Словомъ сказать, супруги ободрились. Какъ будто давившій ихъ столько лѣтъ кошмаръ внезапно разсѣялся, и передъ глазами ихъ открылся совсѣмъ новый просвѣтъ.

— Вотъ ты мнѣ говорилъ иногда, что я на браслеты да на фермуары деньги мотаю — анъ и пригодились! — весело припоминала дорогой Александра Гавриловна:—въ чемъ бы мы теперь уѣхали, кабы ихъ не было?

— Умница ты у меня! умница!—отзывался Ѳедоръ Васильичъ, любовно цѣлуя ручки жены и прижимаясь головой къ ея плечу.

Но угрозы еще не кончились. Нашлись безсердечные кредиторы, которые заговорили объ утайкѣ вещей и возбудили вопросъ о злостномъ банкротствѣ.

Какъ вдругъ разнесся слухъ, что Струнниковы исчезли изъ Москвы.

Года черезъ четыре послѣ Струнниковскаго погрома мнѣ случилось прожить нѣсколько дней въ Швейцаріи, на берегу Женевскаго озера. По временамъ мы цѣлой компаніей дѣлали экскурсіи по окрестностямъ и однажды посѣтили небольшой городокъ Эвіанъ, стоящій на французскомъ берегу. Войдя въ садъ гостинницы, мы по обыкновенію были встрѣчены цѣлой толпой гарсоновъ, и безпредѣльно было мое удивленіе, когда, всмотрѣвшись пристально въ гарсона, шедшаго впереди всѣхъ, я узналъ въ немъ... Струнникова!

Да, это былъ онъ. По прежнему онъ смотрѣлъ мопсомъ, но мопсомъ веселымъ, дѣятельнымъ и бодрымъ. Не только онъ не постарѣлъ, но даже словно лѣтъ десять у него съ плечъ скинули. Брюшко выдавалось впередъ

и было натянуто какъ барабанъ: значитъ, онъ былъ сытъ; глаза смотрѣли расторопно; круглая, остриженная подъ гребенку голова, какъ и въ прежніе годы, казалась только-что вышедшею съ токарнаго станка. Съ удивительной ловкостью игралъ онъ салфеткой, перебрасывая ее съ руки на руку; черный, съ чужого плеча и потертый по швамъ фракъ, съ нумеромъ въ петлицѣ, вмѣсто ордена, какъ нельзя больше шелъ ему къ лицу.

Я впрочемъ не повѣрилъ бы глазамъ своимъ, еслибъ онъ самъ не убѣдилъ меня, что съ моей стороны нѣтъ ошибки, воскликнувъ на чистѣйшемъ русскомъ діалектѣ:

— Узнали, небось! да, онъ самый и есть!

— Батюшка! Ѳедоръ Васильичъ! неужто вы?! — воскликнулъ я, въ свою очередь.

— Онъ самый. Господа! милости просимъ кушать ко мнѣ! вотъ мое отдѣленіе — тамъ! пригласилъ онъ насъ, указывая на довольно отдаленный уголъ сада.

Разумѣется, мы послѣдовали за нимъ.

— Да разскажите же... —началъ-было я, но онъ не далъ мнѣ продолжать и заспѣшилъ.

— Некогда, некогда—послѣ! Теперь я вамъ, господа, menu raisonné составлю. Вамъ какой обѣдъ? въ среднихъ цѣнахъ?

— Да, средній.

— Можно. Potage Julienne... идетъ?

— Ѳедоръ Васильичъ! Жюльенъ да жюльенъ... Кабы вы насъ разсольничкомъ побаловали, да съ цыпленочкомъ!

— Мало чего нѣтъ! Что̀ было, то̀ прошло! — молвилъ онъ и поникъ головой. Очевидно, воспоминанія роями хлынули и пронеслись передъ его глазами.—Здѣсь супъ только для проформы подаютъ. На второе что̀? Хотите pièce de résistance, или съ рыбы начать?

— Лучше съ рыбы, не такъ обременительно.

— Ну, sole au gratin. „Соль“ свѣжая, сегодня только изъ Парижа привезли. А на жаркое—canard de Dijon, или пуле́?..

— Утку! утку!

— На пирожное — разумѣется, мороженое. Вино какое будете пить? Понте-Кане... рекомендую! Ну, а теперь спѣшу!

— Да постойте! Александра Гавриловна... здѣсь?

— Со мной! въ кастеляншахъ здѣсь служитъ,—отвѣтилъ онъ ужъ на ходу.

Живо мы пообѣдали. Онъ служилъ расторопно, и, несмотря на тучность и немолодыя лѣта, какъ муха леталъ изъ сада въ ресторанъ и обратно, ничего не уронивъ. Когда подали кофе, мы усадили его съ собой, и, разумѣется, приступили съ разспросами.

— Все обошлось какъ по писаному, — повѣдалъ онъ намъ. — Прослышалъ я, что судить меня хотятъ, думаю: нѣтъ, братъ, это ужъ дудки! этакъ и въ Сибирь угодить не трудно!—и задумалъ планъ кампаніи. Продали мы серебро да Сашины брильянтики, выправили заграничный паспортъ —и удрали. Денегъ въ рукахъ собралось около двадцати тысячъ франковъ.

Разумѣется, первымъ дѣломъ въ Парижъ. Остановились въ Grand Hôtel'ѣ —куда обѣдать идти? Дней пять за табльдотъ ходили: сервируютъ чисто, порядокъ образцовый, столовая богатая, не хуже чѣмъ во дворцѣ; но ѣда не важная. Встанемъ изъ-за стола впроголодь, купимъ у ротиссёра пуле и съѣдимъ на ночь.—Нѣтъ, говорю, Александра Гавриловна, ежели ты хочешь настоящую парижскую ѣду узнать, такъ надо по ресторанамъ походить. Взяли Бедекера, увидѣли, гдѣ звѣздочка поставлена — туда и идемъ. И у Бребана, и у Фуа, и у Маньи, и въ Maison d'Or — вездѣ побывали. Надо чести французамъ приписать — хорошо кормятъ. Только ходили мы такимъ манеромъ по ресторанамъ да по театрамъ мѣсяца три—смотримъ, а у насъ ужъ денегъ на донышкѣ осталось. Стали мы себя сокращать, изъ Грандъ-Отеля къ „Мадленѣ" въ chambres meublées перебрались; вмѣсто Café Anglais, начали къ Дюрану ходить; тоже недурной ресторанъ, и тѣмъ выгоденъ, что тамъ за пять франковъ можно цѣлый обѣдъ получить. Ходимъ каждый день, платимъ исправно; я, съ своей стороны, стараюсь вниманіе хозяина на себя обратить. Подойду послѣ обѣда, и начну разсказывать, какія у насъ въ Россіи кушанья готовятъ. Вижу, что человѣкъ съ толкомъ, даже ботвинью понялъ: можно бы, говоритъ, вмѣсто осетрины тюрбо въ дѣло употребить, только вотъ квасу никакимъ манеромъ добыть нельзя. Пожуировали такимъ родомъ еще съ мѣсяцъ—видимъ, совсѣмъ матъ. Тогда я рѣшился. Собрался утромъ пораньше, когда еще публики мало, и, не говоря худого слова, прямо къ Дюрану. Такъ и такъ, говорю, не можете ли вы меня въ ресторанъ гарсономъ опредѣлить? Онъ, знаете, глаза на меня выпучилъ, думалъ, что я съ ума спятилъ. Какъ, говоритъ, un boyard russe! Да, говорю, былъ boyard russe, да весь вышелъ. Разсказалъ я тутъ, какъ насъ начальство обидѣло, какъ я въ Словущенскомъ открытый столъ держалъ, поилъ-кормилъ, и какъ меня за это отблагодарили. А теперь, говорю, пропадать приходится. И еслибы не Дюранъ—истинно бы пропалъ! Выслушалъ онъ меня, видитъ, что я дѣло смыслю, толкъ изъ меня будетъ — и принялъ участіе. „У себя, говоритъ, я вамъ ничего предоставить не могу, а есть у меня родственникъ, который въ Ниццѣ ресторанъ содержитъ, такъ я съ нимъ спишусь". И точно, дня черезъ четыре получается изъ Ниццы резолюція: ѣхать мнѣ туда въ качествѣ гарсона, а женѣ—кастеляншей. „Богъ да благословитъ васъ на новую жизнь! — сказалъ мнѣ мой благодѣтель: — неопытны вы, да съ вашими способностями скоро привыкнете!" Съ тѣхъ поръ я и скитаюсь. Зимой — на Ривьеру, лѣтомъ — въ Германію, либо сюда, на озеро. Цѣлой артелью съ мѣста на мѣсто переѣзжаемъ.

— Ахъ, Ѳедоръ Васильичъ! точно волшебную сказку вы намъ разсказали!

— И то сказка. Да ничего, привыкли. По началу, дѣйствительно, совѣстно было... Ну, да вѣдь не въ нигилисты же, въ самомъ дѣлѣ, идти!

— Это ужъ упаси Богъ! А помните, какъ вы, бывало, посвистывали!

— Было время, и всѣ посвистывали. А теперь самъ держу ухо вострò, не послышится ли гдѣ: pst! pst!

— Но чтò же вамъ за охота въ такую трущобу, какъ Эвіанъ, забираться?

— Недурно и тутъ. Русскихъ вездѣ много, а съ тѣхъ поръ, какъ узнали, что соотечественникъ въ гарсонахъ здѣсь служитъ, такъ нарочно смотрѣть ѣздить начали. Даже англичане любопытствуютъ.

— Положеніе у васъ хорошее?

— Положеніе среднее. Жалованье маленькое, за битую посуду больше заплатишь. Пурбуарами живемъ. Дай Богъ здоровья, русскіе господа не забываютъ. Только разъ одна русская дама, въ Эмсѣ, повадилась ко мнѣ въ отдѣленіе утромъ кофе пить, а тринкгельду два пфеннига даетъ. Я было ей назадъ: возьмите, молъ, на бѣдность себѣ!—такъ хозяину, шельма, нажаловалась. Чуть-было меня не выгнали.

— А насчетъ ѣды какъ?

— И насчетъ ѣды... Разумѣется, остатками питаемся. Вотъ вы давеча крылышко утки оставили, другой—ножку пуле́ на тарелкѣ сдастъ; это ужъ мое. Посхлынетъ публика—я сяду въ уголку и поѣмъ.

— Не безпокоятъ васъ кредиторы?

— Первое время тревожили. Пыталъ я бѣгать отъ нихъ, да ужъ губернатору написалъ. Я, говорю, все, что̀ у меня осталось—все кредиторамъ предоставилъ, теперь трудомъ себѣ хлѣбъ добываю, неужто-жъ и это отнимать! Стало-быть, усовѣстилъ: теперь затихло...

— Вотъ и прекрасно... Батюшка! да вѣдь у васъ ордена были! — вдругъ вспомнилось мнѣ.

— Какъ же! какъ же! Станислава вторыя, Анна.

— Надѣваете вы ихъ когда-нибудь?

— Надѣваю... Вотъ на будущей недѣлѣ хозяинъ гулять отпуститъ, поѣдемъ съ женой на ту сторону, я и надѣну. Только обидно, что на шеѣ здѣсь ордена носить не въ обычаѣ: въ петличку... ленточки однѣ!

Словомъ сказать, мы цѣлый часъ провели, и не замѣтили, какъ время прошло. Къ сожалѣнію, раздалось призывное: pst!—и Струпниковъ стремительно вскочилъ и исчезъ. Мы, съ своей стороны, покинули Эвіанъ и, переѣзжая на пароходѣ, разсуждали о томъ, какъ пріятно встрѣтить на чужбинѣ соотечественника.

Прошло и еще нѣсколько лѣтъ. Выдержавши курсъ водъ въ Эмсѣ, я пріѣхалъ въ Баденъ-Баденъ. И вдругъ, однажды утромъ, прогуливаясь по Лихтенталевой аллеѣ, очутился лицомъ къ лицу... съ Александрой Гавриловной!

Она еще была очень свѣжа; лицо ея по прежнему было красиво, только волосы совсѣмъ посѣдѣли. Въ рукахъ она держала большую корзину и, завидѣвъ меня, повернула-было въ сторону, но я не выдержалъ и остановилъ ее.

— Какъ вы устроились?—спросилъ я послѣ короткихъ взаимныхъ привѣтствій.

— Устроилась, слава Богу. Вотъ здѣсь, у князя М. М., въ экономкахъ служу.—Она указала на великолѣпную виллу, въ глубинѣ сада, обнесеннаго каменнымъ заборомъ.—По крайней мѣрѣ мѣсто постоянное. Переѣзжать не надо.

— И Ѳедоръ Васильичъ съ вами?

— Ахъ, нѣтъ... да откуда же, впрочемъ, вамъ знать?—онъ прошлой весной скончался. Годъ тому назадъ мы здѣсь въ Hôtel d'Angleterre служили, а съ осени онъ заболѣлъ. Такъ на зиму въ Ниццу и не попали. Кой-какъ мѣсяца съ четыре здѣсь пробились, а въ мартѣ я его въ Гейдельбергъ, въ тамошнюю клинику свезла. Тамъ онъ и померъ.

— Ну, а вы какъ? въ Россію возвратиться не разсчитываете?

— Что̀ я тамъ забыла... срамъ одинъ! Здѣсь-то я хоть и въ экономкахъ служу, никому до меня дѣла нѣтъ, а тамъ... Нѣтъ, видно, пословица правду говоритъ: кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ!

XXVIII.—Образцовый хозяинъ.

Іюль въ началѣ. Солнце еще чуть-чуть начинаетъ показываться однимъ краешкомъ; скучившіяся на восточной окраинѣ горизонта янтарныя облака такъ и рдѣютъ. За ночь выпала обильная роса и улила траву; весь лугъ кажется усѣяннымъ огненными искрами; на дворѣ свѣжо, почти холодно; ядреный утренній воздухъ напоенъ запахомъ увлаженныхъ листьевъ березы, зацвѣтающей липы и скошеннаго сѣна.

Часы показываютъ: три; но Арсеній Потапычъ Пустотѣловъ уже на ногахъ. Съ деревни до слуха его доносятся звуки отбиваемыхъ косъ, и онъ спѣшитъ въ поле. Наскоро сполоснувши лицо водой, онъ одѣвается въ бѣлую пару изъ домотканнаго полотна, выпиваетъ большую рюмку звѣробойной настойки, заѣдаетъ ломтемъ чернаго хлѣба, другой такой же ломоть, густо посоленный, кладетъ въ сѣтчатую сумку, подпоясывается ремнемъ, за который затыкаетъ нагайку, и выходитъ въ гостиную. Тамъ двери уже отперты настежъ, и на балконѣ сидитъ жена Пустотѣлова, Филанида Протасьевна, въ одной рубашкѣ, съ накинутымъ на плечи старымъ прадедамовымъ платкомъ и въ стоптанныхъ башмакахъ на босу ногу. Передъ балкономъ столпилось господское стадо — слишкомъ сто штукъ, — и барыня наблюдаетъ за доеніемъ коровъ. Этимъ дѣломъ, кромѣ двухъ скотницъ, занято около десяти крестьянскихъ бабъ, и съ балкона то-и-дѣло слышится окликъ:

— Чище! чище выдаивайте! чтой-то Голубка словно скучна нынче? а?

— Ничего Голубка...—доносится голосъ скотницы снизу.

— То-то ничего! у тебя всегда ничего! Коли что̀ случится, ты въ отвѣтѣ.

Арсеній Потапычъ заглядываетъ на балконъ и здоровается съ женой.

— Что̀, какъ Новокупленка?—интересуется онъ.

— Привыкаетъ понемногу. Сегодня ужъ полъ-ендовы молока надоила.

— Ну, и слава Богу. Прощай, душа моя, я въ деревню спѣшу; а ты, какъ отдоятъ коровъ, лягъ въ постельку, понѣжься.

Пустотѣловы —небогатые помѣщики. У мужа въ нашихъ мѣстахъ восемьдесятъ душъ крестьянъ, которыхъ онъ безъ отдыха томитъ на барщинѣ; у

жены—гдѣ-то далеко запропастилась деревушка душъ около двадцати, которыя обложены сильнымъ оброкомъ и нищенствуютъ. Жить потихоньку было бы можно, но Богъ наградилъ ихъ семьею въ двѣнадцать человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ только двое мальчиковъ, а остальныя—дѣвочки. Почти всѣ дѣти погодки; мальчиковъ успѣли сбыть въ аракчеевскій кадетскій корпусъ, но дѣвочки остались на рукахъ, и изъ нихъ двѣ настолько уже выровнялись, что хоть сейчасъ замужъ выдавай. А такъ какъ и мать, и отецъ еще не стары, то и отъ дальнѣйшаго приращенія семьи не застрахованы. Поэтому оба бьются какъ рыба объ ледъ; сами смотрятъ за всѣмъ хозяйствомъ, никому ни малѣйшей хозяйственной подробности не довѣряютъ. За то хозяйство у нихъ идетъ не въ примѣръ исправнѣе, чѣмъ у сосѣдей, и они по всей округѣ слывутъ образцовыми хозяевами.

Усадьба Пустотѣловыхъ, Послѣдовка, находится въ самомъ, какъ говорится, медвѣжьемъ углу нашего захолустья. Просторный домъ постепенно распространялся пристройками, и потому представляетъ собой неуклюжую груду срубовъ. Ни рощи, ни сада при усадьбѣ нѣтъ; ничего, кромѣ миніатюрнаго круга, посыпаннаго пескомъ и обсаженнаго старыми липами, да обширнаго огорода, въ которомъ разводится всякій овощъ, необходимый для зимняго запаса. По бокамъ господскаго дома — множество хозяйственныхъ построекъ, по большей части исправныхъ, свидѣтельствующихъ, что помѣщикъ живетъ запасливый.

Саженяхъ въ ста отъ усадьбы, какъ на ладони, виднѣется деревнюшка, а за нею тянутся поля, расположенныя по далеко раскинувшейся и совершенно ровной плоскости. На самомъ краю плоскости виднѣется небольшой лѣсъ, который Арсеній Потапычъ бережетъ какъ зѣницу ока. Земли у него довольно; поэтому онъ постепенно увеличиваетъ запашку, и теперь довелъ ее до шестидесяти десятинъ въ каждомъ полѣ. При восьмидесяти душахъ онъ, конечно, не могъ бы сладить съ такою запашкой, но, по счастью, верстахъ въ пяти находится большое и малоземельное экономическое село. Раза четыре въ лѣто сзываетъ онъ помочи—преимущественно женей—варитъ брагу, печетъ пироги, и при содѣйствіи трехъ сотъ, четырехъ сотъ бабъ успѣваетъ въ три-четыре праздничныхъ дня сдѣлать столько работы, сколько одна барщина и въ двѣ недѣли не могла бы сработать. Благодаря этому, жнитво у него всегда кончается во-время и зерно не утекаетъ.

Несмотря на суровыя матеріальныя условія, семья Пустотѣловыхъ пользуется сравнительнымъ довольствомъ, а зимой живетъ даже весело, не хуже другихъ. Но на все лишнее, покупное, въ домѣ наложенъ строжайшій карантинъ. Чай, сахаръ и пшеничную муку держатъ только на случай пріѣзда гостей; варенье и другое лакомство заготовляются на меду изъ собственныхъ ульевъ; съ солью обходятся осторожно; даже свѣчи ухитрились лить дома, тонкія, оплывающія, а покупныя подаютъ только при гостяхъ. Благодаря этимъ систематическимъ лишеніямъ и урѣзкамъ, удается настолько свести концы съ концами, чтобы скромненько обшить и обуть семью и заплатить жалованье дешевенькой гувернанткѣ.

Покуда Арсеній Потапычъ дошелъ до деревни, послѣдняя ужъ опустѣла. Бабы, которымъ еще нечего дѣлать на барской работѣ, погнали въ

стадо коровъ; мужики ушли поголовно на барщину. Почти у самой околицы около сорока косцовъ (Пустотѣлову на этотъ счетъ удача: мужички тяглятся исправно, голова на голову) обкашиваютъ довольно большой лугъ, считающійся лучшимъ въ цѣломъ имѣніи. Значительная часть его скошена еще вчера; остальную предстоитъ докосить сегодня. Лугъ еще влаженъ, и работа идетъ споро; косы быстро, въ тактъ, мелькаютъ въ воздухѣ, издавая рѣзкій свистъ. Трава нынче выросла хорошая; густые и плотные валы ложатся одинъ возлѣ другого, радуя сердце образцоваго хозяина. Онъ подходитъ то къ одному, то къ другому валу, перевернетъ палкой и посмотритъ, чисто ли скошено, нѣтъ ли махровъ. Ничего, кажется, все исправно.

— Чище косите! чище! чтобы не было ни махровъ, ни огрѣховъ! всякій огрѣхъ—на спинѣ!—кричитъ онъ вслѣдъ косцамъ.

Затѣмъ онъ укладываетъ копнушку скошеной травы, постилаетъ сверху обрывокъ старой клеенки и садится, закуривая коротенькую трубочку. Куритъ онъ самый простой табакъ, какіе-то корешки; не разъ закаивался и эту роскошь бросить, но привычка взяла свое, да притомъ же трубка и пользу приноситъ, не даетъ ему задремать. Попыхиваетъ онъ изъ трубочки, а глазами далеко впереди видитъ. Вонъ Митрошка словно бы заминаться сталъ, а Лукашка такъ и вовсе попусту косой машетъ. Вскакиваетъ Арсеній Потапычъ и бѣжитъ.

Какъ у образцоваго хозяина, у него все приведено въ систему. За первую вину—пять ударовъ нагайкой, за вторую—десять, за третью—пятнадцать, а за четвертую—не прогнѣвайся, счета не полагается.

Раздается крикъ, и черезъ минуту все приходитъ въ порядокъ.

Выкурилъ Арсеній Потапычъ трубку, выкурилъ другую и начинаетъ клевать носомъ. Задремлетъ чуточку, и сейчасъ же вздрогнетъ и протретъ глаза. Онъ мало спалъ ночью, и въ глазахъ у него мутится; чтобы развлечь себя, онъ вынимаетъ изъ сумки кусокъ хлѣба и ѣстъ, потомъ опять закуриваетъ трубку, и опять ѣстъ. Тоскливо, а уйти раньше восьми часовъ нельзя: самое благопріятное время для косьбы упустишь. Безпрестанно справляется онъ съ старинной серебряной луковицей, но убѣждается, что до урочнаго времени еще куда далеко. Солнышко хоть и согрѣло ужъ воздухъ, но ползетъ вверхъ съ удивительной медленностью. Отъ времени до времени онъ отлучается въ сосѣднее поле посмотрѣть, какъ наливается рожь, но сейчасъ же возвращается назадъ и опять начинаетъ ходить взадъ и впередъ по рядамъ валовъ, поглядывая въ то же время впередъ. Ему кажется, что косцы начинаютъ приставать, что косы двигаются вяло и валы укладываются не съ прежней быстротой.

— Пошевеливайся, ребята! пошевеливайся, пока трава не обсохла!—то-и-дѣло покрикиваетъ онъ.

Наконецъ урочное время настало. Баринъ провозглашаетъ: шабашъ!—и барщинѣ дается часъ для завтрака и отдыха.

Время, назначенное для отдыха, Арсеній Потапычъ проводитъ дома. Онъ завтракаетъ, обѣдаетъ и кончаетъ день одновременно съ мужиками, потому что иначе нарушился бы правильный надзоръ. Дома все уже готово. По срединѣ ничѣмъ непокрытаго стола, на деревянномъ кругѣ, лежитъ гро-

мадная ватрушка изъ ржаной муки, изрѣзанная на куски: это завтракъ семьи; а глава семейства довольствуется большой кружкой снятого молока, которое служитъ ему вмѣсто завтрака и вмѣсто чая, такъ какъ онъ, вставши утромъ, выпилъ только рюмку водки и поѣлъ чернаго хлѣба. Но ему не сидится на мѣстѣ; наскоро позавтракавши, онъ безпрестанно вынимаетъ изъ кармана луковицу, и ровно въ девять часовъ снова появляется на лугу.

Косцы ужъ взмахиваютъ косами, и такъ какъ лугъ совсѣмъ обсохъ, то прибѣжали съ деревни и бабы и разворачиваютъ скошенные наканунѣ валы. Солнце такъ и поливаетъ сверху зноемъ, и въ то же время съ сѣвера подуваетъ вѣтерокъ; вообще сушка предвидится отличная. Работа идетъ въ глубокомъ безмолвіи, потому что Арсеній Потапычъ празднословія не терпитъ. Онъ не сторонникъ веселой работы; любитъ, чтобъ дѣло шло ходко и бойко, а для этого не нужно разговоровъ, а требуется, напротивъ, чтобы все вниманіе рабочей силы обращено было на одну точку. Онъ проходитъ, посвистывая, между рядами бабъ, которыя, въ однѣхъ рубашкахъ, прилипшихъ къ потному тѣлу, высоко вскидываютъ граблями. Онъ не торопитъ ихъ, потому что, покуда онѣ дойдутъ отъ начала луга до конца, нужно, чтобъ верхній слой первыхъ валовъ сколько-нибудь прожарился. Только тогда работа пойдетъ безостановочно и не дастъ бабамъ понапрасну засиживаться.

Побродивши по лугу съ полчаса, онъ чувствуетъ, что зной начинаетъ давить его. Видитъ онъ, что и косцы позамялись, черезчуръ часто косы оттачиваютъ, но понимаетъ, что сухую траву и коса не скоро беретъ: станутъ торопиться—пожалуй, и покосъ перепортятъ. Поэтому онъ не кричитъ: „пошевеливайся!“ а только напоминаетъ: „чище, ребята! чище косите!“ и подходитъ къ рядамъ косцовъ, чтобы лично удостовѣриться въ чистотѣ работы.

Ничего, все идетъ какъ слѣдуетъ. Нагайка хоть кого выучитъ исправности. Изнемогая отъ жара, весь въ поту, возвращается онъ къ давешней копнушкѣ и закуриваетъ трубку. Мысль, что передъ его глазами работаютъ люди, которые тоже изнемогаютъ отъ жары, не приходитъ ему въ голову. Можетъ быть, въ былое время, когда онъ только-что на хозяйство сѣлъ, она временами и мелькала, но теперь онъ ужъ привыкъ. И они, думается ему, привыкли; не у него, такъ у себя въ такой же зной и такимъ же манеромъ работали бы. Всего лучше объ этомъ не думать, потому что безъ чего нельзя, такъ нельзя. Еслибъ была другая работа, въ родѣ пахаты, напримѣръ, онъ, конечно, въ такой жаръ на сѣнокосъ людей не послалъ бы, но въ началѣ іюля, кромѣ косьбы, и въ поле выходить не зачѣмъ.

— Чище, ребята, чище косите!—машинально покрикиваетъ онъ, чтобы подкрадывающаяся дремота не застигла его предательски врасплохъ.

А солнышко между тѣмъ дошло до зенита и стоитъ, словно деревянное, не опускается.

Арсеній Потапычъ надвигаетъ плотнѣе бѣлый картузъ на голову и сгибается, подставляя спину дѣйствію солнечныхъ лучей. Ему кажется, что въ этомъ положеніи лицо и грудь менѣе страдаютъ отъ зноя. Онъ складываетъ руки между колѣнъ и задумывается. Къ далекому прошлому мысль

его ужъ не обращается; оно исчезло изъ памяти, словно его и не было. Да и въ самомъ дѣлѣ, что̀ тамъ такое было? какая-то глупость — вотъ все, что̀ можно отвѣтить. Но въ настоящемъ что-то есть. По крайней мѣрѣ, онъ можетъ опредѣлительно сказать, что и вчера онъ колотился, и сегодня колотится, и завтра будетъ колотиться. За это его и называютъ образцовымъ хозяиномъ. Теперь идетъ сѣнокосъ, потомъ бабы рожь жать начнутъ, потомъ паровое поле подъ озимь двоить будутъ, потомъ сѣвъ, яровое жать, снопы возить, молотить. А рядомъ съ этимъ въ домѣ идетъ варенье, соленье, настаиваются водки, наливки. Вездѣ—онъ, вездѣ—его хозяйскій глазъ нуженъ. Проходятъ въ его воображеніи перспективы трудовыхъ дней. Новаго ничего не представляется; но такъ какъ онъ однажды вошелъ въ колею и другой не знаетъ, то и повтореній достаточно, чтобъ занять его мысль. Въ теченіе двухъ-трехъ мѣсяцевъ надо все до послѣдняго огурца къ зимѣ припасти. Онъ провѣряетъ въ умѣ количество домашней птицы, предназначенной на убой, и высчитываетъ, какой можетъ произойти до осени въ птичьемъ стадѣ уронъ. Потомъ мысль его переносится на скотный дворъ и опредѣляетъ количество молочныхъ скоповъ, сколько для домашняго обихода потребуется, сколько на продажу останется. И вотъ, наконецъ, наступаютъ и заморозки: надо птицу подкармливать. Всякая крошка у него на счету: всѣ остатки отъ трапезы господъ и дворовыхъ, все бережно собирается въ кучу и вмѣстѣ съ сывороткой и лишнимъ творогомъ превращается въ птичій кормъ. Зима все съѣстъ, да, кромѣ домашняго запаса, и денегъ не мало потребуетъ. Надо женѣ и дочерямъ хоть по одному новенькому платью сшить, а двумъ невѣстамъ, пожалуй и по два. Надо хоть фунта два чаю да двѣ головы сахару купить, водки, вина недорогого, свѣчей. Онъ высчитываетъ предполагаемый урожай, старается заранѣе угадать цѣны, опредѣляетъ доходъ и расходъ и, наконецъ, сводитъ концы съ концами. Много труда ему предстоитъ, но за то зимой онъ отдохнетъ. Домъ его наполнится веселымъ шумомъ, и онъ, какъ и въ прежніе годы, на практикѣ докажетъ сосѣдямъ, что и отъ восьмидесяти душъ, при громадной семьѣ, можно и себѣ, и другимъ удовольствіе доставить.

— Шабашъ!—кричитъ онъ, выходя изъ задумчивости и убѣждаясь, что часовая стрѣлка показываетъ ужъ часъ пополудни.

Косы и грабли мгновенно опускаются, и онъ спѣшитъ домой, гдѣ, наскоро пообѣдавши, ложится отдыхать, наказывая разбудить себя невступно въ три часа.

Покуда онъ отдыхаетъ, и на лугу царитъ глубокій сонъ. Надобно сказать, что въ имѣніи Пустотѣлова заведенъ такой порядокъ, что крестьянамъ разрѣшается топить печи только по воскресеньямъ. Распоряженіе это сдѣлано подъ предлогомъ устраненія пожарныхъ случаевъ, но, въ сущности, для того, чтобъ ни одной минуты барской работы, даже для приготовленія пищи, не пропадало, такъ какъ и мужики, и бабы всю недѣлю ежедневно, за исключеніемъ праздниковъ, ходятъ на барщину. Поэтому крестьяне горячей пищей пользуются только по праздникамъ, а въ будни довольствуются исключительно тюрей изъ чернаго хлѣба, размоченнаго въ водѣ.

Вообще, заведенные Арсеніемъ Потапычемъ порядки крайне суровы.

Онъ всецѣло овладѣлъ рабомъ въ свою пользу и даетъ ему управляться у себя лишь урывками. По праздникамъ (а въ будни только по ночамъ) мужики и бабы вольны управляться у себя, а затѣмъ, пока тягловые рабочіе томятся на барщинѣ, мальчики и дѣвочки работаютъ дома легкую работу: сушатъ сѣно, вяжутъ снопы и проч. Почти нѣтъ той минуты въ сутокахъ, чтобы въ послѣдовскихъ поляхъ не кипѣла работа; три часа въ теченіе дня и немногимъ болѣе въ теченіе ночи—вотъ все, что остается крестьянину для отдыха. Но, сверхъ того, Пустотѣловъ и прихотливъ. Онъ требуетъ, чтобъ мужичокъ выходилъ на барщину въ чистой рубашкѣ, чтобъ дома у него было все какъ слѣдуетъ, и хлѣба доставало до новаго, чтобъ и рабочій скотъ, и инструментъ, были исправные, чтобъ онъ, по крайней мѣрѣ, черезъ каждыя двѣ недѣли посѣщалъ храмъ Божій (приходъ за четыре версты) и смотрѣлъ бы весело. Онъ желаетъ, чтобъ про него говорили, что онъ не только образцовый хозяинъ, но и попечительный распорядитель.

Въ три часа Арсеній Потапычъ опять на своемъ посту. Рабочіе и на этотъ разъ упередили его, такъ что ему остается только признать, что заведенная имъ дисциплина принесла надлежащій плодъ. Онъ ходитъ взадъ и впередъ по разбросанному сѣну и удостовѣряется, что оно уже достаточно провяло, и завтра, пожалуй, можно будетъ приступить къ уборкѣ. Подходитъ къ косцамъ, съ удовольствіемъ видитъ, что къ концу вечера и лугъ будетъ совсѣмъ выкошенъ.

— Старайся, братцы, старайся!—поощряетъ онъ мужичковъ:—ежели раньше выкосите—домой отпущу!

Жаръ помаленьку спадаетъ: косцы, въ виду барскаго посула, удваиваютъ усилія, а около шести часовъ и бабы начинаютъ сгребать сѣно въ копнушки. Еще немного, и весь лугъ усѣется съ одной стороны валами, съ другой—небольшими копнами. Пустотѣловъ усѣлся на старомъ мѣстѣ и на этотъ разъ позволяетъ себѣ настоящимъ образомъ вздремнуть; но около семи часовъ его будитъ голосъ:

— Готово, Арсеній Потапычъ!

Лугъ выкошенъ окончательно; сѣно тоже сгребено въ копны; сердце образцоваго хозяина раздуется.

— Спасибо, молодцы!—произноситъ онъ благосклонно: — теперь можете свою работу работать!

— Ужъ и трава ныньче уродилась—изъ годовъ вонъ!—хвалятъ мужички.

— Да, хороша трава; далъ бы только Богъ высушить да убрать безъ помѣхи.

Онъ обращаетъ глаза къ западу и внимательно смотритъ, какъ садится солнышко. Словно бы на самомъ краешкѣ горизонта тучка показывается... или это только такъ кажется?

— Смотри, ребята, какъ бы солнышко въ тучку не сѣло!—безпокоится онъ.

— Помилуйте, Арсеній Потапычъ! какъ есть чисто садится! Самый завтра настоящій день для сушки будетъ!

— Ну, спасибо! расходись по домамъ!

По уходѣ крестьянъ, образцовый хозяинъ съ четверть часа [illegible] лугу и удостовѣряется, все ли исправно. Встрѣчаются по [illegible] махры, но вообще лугъ скошенъ отлично. Наконецъ онъ, [illegible] палку, направляется домой, проходя мимо деревни. Но [illegible] крестьяне отъужинали и исчезли на свой сѣнокосъ.

— Богъ труды любитъ,—говоритъ онъ, и чувствуя, какъ [illegible] овладѣла истома, прибавляетъ:—однако, какъ меня сегодня [illegible]

— Что сегодня больно рано? неужто ужъ пошабашили? — [illegible] его Филанида Протасьевна.

— Кончили. Усталъ до смерти. Хорошо бы теперь чайку [illegible] испить.

— Чтожъ, можно самоваръ поставить велѣть...

— Нѣтъ, что̀ ужъ! не велики бара, некогда съ чаями возится. Дай рюмку водки—вотъ и будетъ съ меня!

Пустотѣловъ выходитъ на балконъ, садится въ кресло и отдыхаетъ. День склоняется къ концу; въ воздухѣ чувствуется роса; солнце дошло до самой окраины горизонта и къ великому удовольствію Арсенія Потапыча садится совсѣмъ чисто. Вотъ ужъ и стадо гонятъ домой; его застилаетъ громадное облако пыли, изъ котораго доносится блеянье овецъ и мычанье коровъ. Быкъ, въ качествѣ должностного лица, идетъ сзади. Образцовый хозяинъ зорко всматривается въ даль, и ему кажется, что быкъ словно прихрамываетъ.

— Филанидушка!—зоветъ онъ жену:—смотри, никакъ быкъ-то хра̀мletъ!

— Ничего не хра́млетъ—такъ тебѣ показалось... быкъ какъ быкъ!—успокоиваетъ мужа Филанида Протасьевна, тоже всматриваясь въ даль.

— Эй, смотри, не храмлетъ ли?

На этомъ быкѣ лежатъ всѣ упованія Пустотѣловыхъ. Они купили его, лѣтъ шесть тому назадъ, въ „Отрадѣ“ (богатое имѣніе о которомъ я упоминалъ выше) еще теленкомъ, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ поступилъ на дѣйствительную службу, стадо замѣтно начало улучшаться.

Черезъ четверть часа стадо ужъ передъ балкономъ. Къ счастію Арсеній Потапычъ ошибся: быкъ не только не хромаетъ, но сердито роетъ копытами землю и, опустивши голову, играетъ рогами. Какъ есть красавецъ!

Повторяется тотъ же процессъ доенія коровъ, что и утромъ, съ тою лишь разницею, что при немъ присутствуетъ самъ хозяинъ. Филанида Протасьевна тщательно записываетъ удой и приказываетъ налить нѣсколько большихъ кружекъ парного молока на ужинъ.

Ужинаютъ на воздухѣ, подъ липами, потому что въ комнатахъ уже стемнѣло. На столѣ стоятъ кружки съ молокомъ и куски оставшейся отъ обѣда солонины. Филанида Протасьевна отдаетъ мужу отчетъ за свой хозяйственный день.

— Я сегодня земляники фунтовъ пять наварила, да бутыль наливки налила. Грибы показались, завтра пирогъ закажу. Клубника въ саду поспѣваетъ, съ утра собирать будемъ. Столько дѣла, столько дѣла разомъ собралось, что не знаешь, куда и поспѣвать.

— Ты бы дѣтокъ клубничкой-то полакомила.

— И лѣсной земляники поѣдятъ—такòвскія! Плохо клубника-то родилась, сначала вареньемъ запастись надо. Зима долга, вы же вареньица запросите.

— Умница ты у меня.

— А что я тебѣ хотѣла сказать! Хоть бы пять фунтиковъ сахарнаго вареньица сварить—неровёнъ часъ, хорошіе гости пріѣдутъ.

— Сахаръ-то, матушка, нынче кусается; и съ медкомъ хороши.

Ужинъ кончается быстро, въ нѣсколько минутъ. Барышни, одна за другой, подходятъ къ родителямъ проститься.

— Хорошо учились?—спрашиваетъ отецъ гувернантку Авдотью Петровну Веселицкую, которая присутствуетъ при прощаньи и машинально твердитъ: „embrassez la main, embrassez la main!“

— Ничего... не дурно.

— Кромѣ Варвары Арсеньевны, — жалуется Филанида Протасьевна. —Совсѣмъ по-французски учиться бросила. Сегодня, за лѣность, Авдотья Петровна ее цѣлый часъ въ углу продержала.

— Нехорошо, Варя, лѣниться. Учитесь, дѣти, учитесь! Не Богъ знаетъ, какіе достатки у отца съ матерью! Неровёнъ часъ—понадобится.

Дѣти расходятся, а супруги остаются еще нѣкоторое время подъ липами. Арсеній Потапычъ покуриваетъ трубочку и загадываетъ. Кажется, нынѣшнее лѣто урожай обѣщаетъ. Сѣнокосъ начался благополучно; рожь налилась, подсыхать начинаетъ; яровое тоже отлично всклочилось. Коли хлѣба много уродится, съ цѣнами можно будетъ и обождать. Сначала только часть запаса продать, а потомъ, какъ цѣны повеселѣютъ, и остальное.

— Помнишь, Филанидушка,—говоритъ онъ:—тѣ двѣ десятинки, которыя весной, въ прошломъ году, вычистили да навозцу чуть-чуть на нихъ побросали—еще ты говорила, что ничего изъ этой затѣи не выйдетъ... Такой ли на нихъ нынче ленъ выскочилъ! Щетка щеткой!

— Ну, и слава Богу, что ошиблась. И съ масломъ будемъ, и съ пряжей. Въ поляхъ-то какъ?

— И въ поляхъ хорошо. Рожь ужъ обозначилась: самъ-семь, самъ-восемь ожидать можно. Только бы Богъ благополучно свершить помогъ.

— А помнишь... три года назадъ?

— Да, тоже надѣялись...

Арсеній Потапычъ даже вздрагиваетъ при этомъ напоминаніи. И три года тому назадъ, въ это самое время, все шло весело, какъ вдругъ, въ самый разгаръ надеждъ, откуда ни возьмись градъ, и весь хлѣбъ въ одночасье въ грязь превратилъ. Уцѣлѣло только дальнее поле, мало удобренное, на которомъ едва на сѣмена собрали. Какъ только ихъ Богъ въ ту пору спасъ—онъ и не понимаетъ. Всю зиму онъ тогда колотился, скотъ чуть не переморилъ, держа на одной соломѣ, а для собственнаго продовольствія призанялъ у сосѣдей ржи, да и заперся въ усадьбѣ. Ни самъ никуда не ѣздилъ, ни у себя никого не принималъ, а дочки въ затрапезѣ проходили.

Ахъ, жизнь, жизнь! все равно какъ платье. Все цѣло да цѣло, и вдругъ гдѣ-нибудь лопнетъ. Хорошо еще, ежели лопнетъ по шву—зачинить легко;

а ежели по цѣлому мѣсту—пиши пропало! Какъ ни чини, ни заштопывай, а оно все дальше да дальше врозь ползетъ. И заплатки порядочной поставить нельзя: нитка не держитъ. Господи, да неужто ужъ Богъ такъ немилостивъ, во второй разъ такое же испытанье пошлетъ! Онъ ли не старается! онъ ли не выбивается изъ силъ!

Но нѣтъ, унывать не слѣдуетъ. Покуда еще все идетъ благополучно; отчего и впредь также не идти. Не зачѣмъ зараньше пугать себя да всякія напасти придумывать—грѣхъ.

Арсеній Потапычъ начинаетъ разсчитывать, какъ оно выйдетъ, если надежды на хорошій исходъ лѣта оправдаются. Сколько чего онъ продастъ, сколько чего купить придется, не предстоитъ ли чего экстреннаго. Вонъ въ скотной избѣ одинъ уголъ совсѣмъ на бокъ накренился—придется вѣнца три новыхъ подрубить. Своихъ плотниковъ у него въ деревнѣ нѣтъ, надо со стороны нанимать. И на конюшнѣ не все исправно: старый коренникъ припадать началъ. Свои подростки хоть и есть, да молоды и не съѣзжены—не миновать лишнюю лошадь прикупить И въ домѣ—покрышка на мебели въ гостиной совсѣмъ обилась... Ахъ, много прорѣхъ собралось, и не сообразишь сразу, сколько! Разсчитываетъ, разсчитываетъ Арсеній Потапычъ, даже на пальцахъ машинально выкладки дѣлаетъ, но въ заключеніе успѣваетъ-таки свести концы съ концами. Прекрасно. Успѣетъ онъ этотъ годъ уравновѣсить приходъ съ расходомъ... если лѣто сойдетъ съ рукъ благополучно... но и только. А потомъ наступитъ и еще годъ, и опять придется задумываться, опять разсчитывать...

— Ахъ, жизнь, жизнь!—произноситъ онъ вслухъ, вставая.—Поздно ужъ, Филанидушка, спать пора!

Супруги крестятъ другъ друга и отправляются на покой въ общую спальню.

Такъ проходитъ, день за днемъ, лѣто... ежели все обстоитъ благополучно. Къ концу страды образцовый хозяинъ худѣетъ и устаетъ,—словно онъ самолично и пахалъ, и сѣялъ, и жалъ, и косилъ. Но иногда случается и не совсѣмъ благополучно. Недѣли двѣ сряду, напримѣръ, идетъ въ природѣ невообразимая путаница. Польютъ дожди, ни къ чему рукъ приложить нельзя, такъ что барщина сама собой упраздняется. Мужики отдыхаютъ и управляются около домовъ; Арсеній Потапычъ тоже отдыхаетъ, но при этомъ глубоко страдаетъ. Съ досады онъ беретъ въ руку лукошко и отправляется въ лѣсъ по грибы. Все такъ хоть что-нибудь да достанетъ на зиму.

Но за то, какъ только выпадетъ первый вёдреный день, работа закипаетъ не на шутку. Разворачиваются почернѣвшіе валы и копны; просушиваются намокшіе снопы ржи. Ни пощады, ни льготы—никому. Ежели и двойную работу мужикъ сработалъ, все-таки, покуда не зашло солнышко, баринъ съ поля не спуститъ. Одну работу кончилъ—маршъ на другую! На то онъ и образцовый хозяинъ, чтобъ про него говорили:

— Ужъ на что̀, кажется, незада́шное лѣто ныньче было, а онъ—смотрите, какъ убрался!

Слава Богу, лѣто кончилось благополучно; все хорошо уродилось и исправно убрано. Подходитъ конецъ сентября; ужъ двѣ недѣли какъ началась молотьба, и пробные умолоты оказались превосходными. Воздухъ посвѣжѣлъ; раздаются удары цѣповъ, слышится запахъ гари, несущейся изъ риги. Бабы ужъ выколотили льняное сѣмя и намяли льну. Сѣмя начнутъ постепенно возить на ближайшую маслобойню; и масла, и избоины — всего будетъ вдоволь. Избоиной хорошо коровъ съ новотелу покармливать; но и дворовые охотно ее ѣдятъ; даже барышни любятъ изрѣдка полакомиться ею, макая въ свѣжее льняное масло. А ленъ-стланецъ раздадутъ на пряжу—будетъ чѣмъ занять въ зимніе вечера и сѣнныхъ дѣвушекъ, и ткачихъ. А покуда всѣ дворовые заняты въ огородѣ; роютъ послѣдній картофель, срѣзываютъ капусту. По вечерамъ изъ застольной доносятся звуки сѣчекъ, ударяемыхъ о корыта; это рубятъ капусту; верхніе листы отдѣляютъ для людскихъ старыхъ щей; плотные кочни откладываютъ на бѣлыя щи для господъ; кочерыжки приносятъ въ домъ, и барышни охотно ихъ кушаютъ. Словомъ сказать, тяжелая работа свалена, наступило почти-что веселье.

Сердце Пустотѣлова радостно бьется въ груди: теперь ужъ никакой неожиданности опасаться нельзя. Онъ зорко слѣдитъ за молотьбой, но дни становятся все короче и короче, такъ что приходится присутствовать на гумнѣ не больше семи-восьми часовъ въ сутки. И чѣмъ дальше, тѣмъ будетъ легче. Пора и отдохнуть.

— Кажется, заслужилъ?—шутитъ образцовый хозяинъ, обращаясь къ женѣ.

— Заслужилъ, мой голубчикъ! Посмотри на себя: весь ты за лѣто извелся.

— Коли заслужилъ, можно меня и лишней рюмочкой водки побаловать.

Но для Филаниды Протасьевны пора отдыха еще не наступила. Она больше, чѣмъ лѣтомъ, захлопоталась, потому что теперь-то, пожалуй, настоящая „припасуха“ и пошла въ развалъ. Бѣгаетъ она, какъ молоденькая, изъ дома въ застольную, изъ застольной въ погребъ. Вездѣ посмотритъ, вездѣ спроситъ; боится, чтобы крошка даже малая зря не пропала.

— Намеднись квасъ сливали—куда ты гущу изъ-подъ кваса дѣвалъ! —спрашиваетъ она повара.

— Птицѣ, сударыня, снесъ.

— Тебѣ велѣно птичницѣ съ рукъ на руки отдавать. Кому ты отдалъ?

— Простите, сударыня, самъ птицѣ въ корыто вылилъ.

— Врешь, негодяй, слопалъ!

— Помилуйте... зачѣмъ же мнѣ?

— По глазамъ вижу, что слопалъ! Вотъ скажу ужо Арсенію Потапычу, какъ ты барское добро бережешь—раздѣлается онъ съ тобой!

Побранившись съ поваромъ, побѣжитъ на скотную, велитъ отворить дверь чулана, гдѣ хранится мякина и пелёва, вороха которыхъ ежедневно приносятся съ гумна.

— Словно бы сегодня пелёвы меньше, чѣмъ вчера?

— Помилуйте, сударыня, куда-жъ ей дѣваться!

— Куда дѣваться! извѣстно, въ деревню къ родѣнькѣ въ подолахъ носите... Вотъ ужò раздѣлается съ вами Арсеній Потапычъ!

Со скотнаго двора въ застольную.

— Долго ли вы, команда безпорточная, съ капустой возиться будете? —покрикиваетъ она на сѣнныхъ дѣвушекъ:—за пряжу приниматься давно пора, а онѣ—натко!—ушли въ застольную да пѣсни распѣваютъ!

— И безъ пѣсенъ тошнехонько!—огрызается старая Агаѳья, которая нѣкогда выпѣстовала Арсенія Потапыча, а теперь состоитъ въ домѣ ключницей.

— Ты чтò, старая корга, грубишь! вотъ ужò раздѣлается съ тобой Арсеній Потапычъ!

И т. д.

Съ наступленіемъ октября начинаются первые серьезные морозы. Земля закоченѣла; трава по утрамъ покрывается инеемъ; вода въ канавкахъ затягивается тонкимъ слоемъ льда; грязь на дорогахъ до того сковало, что ѣзда въ телѣгахъ и экипажахъ сдѣлалась невозможною. Но за то черностопъ сбразовался отличный; гуляй мужичокъ да погуливай. Кабы на промерзлую землю да снѣжку Богъ послалъ—лучше бы не надо.

Въ усадьбѣ и около нея съ каждымъ днемъ становится тише; домашняя припасуха уже кончилась, только молотьба еще въ полномъ ходу и будетъ продолжаться до самыхъ святокъ. Въ домѣ зимнія рамы вставили, печки топить начали; послѣ обѣда, часовъ до шести, сумерничаютъ, а потомъ и свѣчи зажигаютъ; сѣнныя дѣвушки ужъ больше недѣли какъ усѣлись за пряжу и работаютъ до пѣтуховъ, а утромъ, чуть свѣтъ забрезжитъ, и опять на ногахъ. Наконецъ въ половинѣ октября выпадаетъ первый снѣгъ—прямо на мерзлую землю.

— Задашный ныньче годъ вышелъ!—радуется Арсеній Потапычъ:— и лѣто свершить удалось хорошо, и на озими надѣяться можно, не подопрѣютъ.

— Погоди еще хвалиться; пожалуй, еще оттепели пойдутъ.

— Нѣтъ, оттепелей не будетъ; это ужъ я замѣчалъ. Коли осень студеная стоитъ, да снѣгъ раньше ноября выпалъ—стало быть, и санный путь установится сразу.

Днемъ Арсеній Потапычъ ведетъ обычную дѣятельную жизнь. Съ ранняго утра надѣваетъ полушубокъ и большіе, смазанные ворванью сапоги и отправляется въ ригу. Отдыха теперь полагается всего какихъ-нибудь полчаса для обѣда; поэтому за шумомъ и стукомъ цѣповъ не видишь, какъ и время летитъ. Но длинные вечера наводятъ на Пустотѣлова тоску. Къ несчастью, онъ въ послѣднее время попивать началъ. Стоитъ у него въ залѣ, въ шкафчикѣ, графинчикъ съ настойкой; вотъ онъ походитъ-походитъ, да нѣтъ-нѣтъ и подкрадется къ шкафчику. И до тѣхъ поръ подкрадывается, пока до дна графинчика не очиститъ.

— Не будетъ ли? — отъ времени до времени остерегаетъ его Филанида Протасьевна.

— Не бось, пьяницей не сдѣлаюсь. Водка полезна для меня; звѣробой мокроту гонитъ.

— А по моему, выпилъ рюмку, выпилъ другую, и довольно. Привыкнешь, такъ послѣ трудно отвыкать будетъ.

— Такъ ты бы не цѣлый графинъ наливала; выпилъ бы я въ препорцію, сколько, по твоему, слѣдуетъ, и шабашъ.

— И то буду полъ-графина ставить.

— Скучно вѣдь, матушка! дорогъ настоящихъ нѣтъ, цѣны неизвѣстны... разсчитываешь, разсчитываешь—инда тоска возьметъ.

— Возьми терпѣнье, займись чѣмъ-нибудь. Не тоскую же я; у меня всегда дѣло найдется.

И дѣйствительно, у Филаниды Протасьевны дѣло, точно безконечная нитка, тянется. Покончивши съ домашними заготовками, она принимается за обшиваніе домочадцевъ. Всѣмъ нужно бѣлье подновить, а дочерямъ, на первое время, хоть ситцевыя платья для всякаго дня сшить. Вынула она изъ сундука нѣсколько новинъ полотна, вспомнила, что отъ прошлаго года цѣлый кусокъ ситца остался, выпросила у сосѣдей выкроечекъ, и теперь сидитъ въ залѣ, кроитъ и рѣжетъ, вмѣстѣ съ двумя швеями-мастерицами. Старшенькимъ, конечно, и получше платьица понадобятся, да за бездорожицей въ городъ ѣхать еще нельзя, а сверхъ того и денегъ пока нѣтъ.

Будутъ деньги, будутъ. Въ концѣ октября санный путь ужъ установился, и Арсеній Потапычъ то-и-дѣло посматриваетъ на дорогу, ведущую къ городу. Наконецъ пріѣзжаютъ одинъ за другимъ прасолы, но цѣны пока даютъ невеселыя. За четверть ржи двѣнадцать рублей, за четверть овса—восемь рублей ассигнаціями. На первый разъ впрочемъ образцовый хозяинъ рѣшается продешевить, лишь бы дыры заткнуть. Продалъ четвертей по пятидесяти ржи и овса, да маслица, да яицъ—вотъ онъ и съ деньгами.

Супруги ѣдутъ въ городъ и дѣлаютъ первыя закупки. Мужъ беретъ на себя что нужно для пріема гостей; жена занимается исключительно нарядами. Объѣзжаютъ городскихъ знакомыхъ, въ особенности полковыхъ, и всѣмъ напоминаютъ о наступленіи зимы. Арсеній Потапычъ справляется о цѣнахъ у настоящихъ торговцевъ, и убѣждается, что хоть онъ и продешевилъ на первой продажѣ, но немного. Наконецъ вороха всякой всячины укладываются въ возокъ, и супруги, веселые и довольные, возвращаются во-свояси. Слава Богу! теперь хоть кого не стыдно принять.

И въ самомъ дѣлѣ ноябрь еще въ половинѣ, барышнямъ едва успѣли новенькія платьица пошить, какъ ужъ по дорогѣ къ Послѣдовкѣ начинаютъ позвякивать колокольчики. Сначала пріѣзжаютъ полковые изъ эскадрона, расположеннаго по деревнямъ, да ближайшіе сосѣди. Въ домѣ становится шумно; единственный лакей, Асонъ, съ ногъ сбился, несмотря на то, что въ помощь ему дали двухъ мальчиковъ. Съ утра идетъ хлѣбосольство: чаи, завтраки, обѣды. Только не взыщите, а запасовъ, слава Богу, про всѣхъ хватитъ. Вечеромъ дешевенькая гувернантка на фортепьянахъ играетъ, а барышни и кавалеры танцуютъ. Въ большинствѣ случаевъ гости остаются ночевать: мужчины располагаются спать въ залѣ и въ гостиной въ-повалку на разостланныхъ по полу перинахъ; женскій полъ разводятъ по комнатамъ барышенъ, на антресоляхъ. Иные дня по два и по три гостятъ, съ прислугой и лошадьми, но хозяевамъ это не только не въ тягость, а даже удоволь-

ствіе доставляетъ; вѣдь они, въ свою очередь, у сосѣдей по два и по три дня веселиться будутъ.

Пріѣзды не мѣшаютъ однакожъ Арсенію Потапычу слѣдить за молотьбой. Всѣ знаютъ, что онъ образцовый хозяинъ, и понимаютъ, что кому другому, а ему нельзя не присмотрѣть за работами; но сверхъ того наступили самые короткіе дни, работа идетъ не больше пяти-шести часовъ въ сутки, и Пустотѣловъ къ обѣду ужъ совсѣмъ свободенъ. Иногда впрочемъ онъ и совсѣмъ освобождаетъ себя отъ надзора; придетъ въ ригу на какой-нибудь часъ, скажетъ мужичкамъ:

— Смотри у меня, ребята! чтобы все до послѣдняго зерна было цѣло! — и уйдетъ домой, увѣренный, что умолотъ будетъ весь на-лицо.

Но все это только цвѣточки. Приближается 13-е декабря, день ангела Арсенія Потапыча. Къ этому дню приготовляются очень дѣятельно, такъ какъ изстари заведено, что у Пустотѣловыхъ къ именинамъ хозяина съѣзжается цѣлая масса гостей. Филанида Протасьевна наскоро объѣзжаетъ сосѣдей и всѣмъ напоминаетъ о предстоящемъ празднествѣ. Арсеній Потапычъ тѣмъ временемъ продаетъ еще партію хлѣба и ѣдетъ въ городъ для новыхъ закупокъ.

13-го декабря, сейчасъ послѣ обѣдни, въ домѣ именинника происходитъ сущее свѣтопреставленіе. Гости наѣзжаютъ одни за другими; женской и мужской прислуги набирается столько, что бо́льшую часть ея отсылаютъ въ застольную; экипажи и лошади тоже, за недостаткомъ мѣста, размѣщаются въ деревнѣ по крестьянскимъ дворамъ.

Я не буду впрочемъ описывать здѣсь подробности праздника. Хлѣбосольство въ то время справлялось вездѣ одинаково, и потому составитъ предметъ особой главы, въ которой я намѣренъ изобразить общее пошехонское раздолье.

Зима живо проходитъ въ безпрерывныхъ пріемахъ и выѣздахъ, но въ особенности весело проводятся святки и масляница.

Дня за три до святокъ обмолачиваются послѣдніе снопы овса; стукъ цѣповъ на барской ригѣ смолкаетъ, и Арсеній Потапычъ на цѣлыхъ три мѣсяца можетъ считать себя вольнымъ казакомъ. Онъ пополнѣлъ; загаръ съ его лица исчезъ, даже заботливое выраженіе пропало. Ни одного съѣзда у сосѣдей не обходится безъ Пустотѣловыхъ; вездѣ они дорогіе гости, несмотря на то, что пріѣзжаютъ цѣлой гурьбой. Но, кромѣ сосѣдей, ѣздятъ и въ городъ, гдѣ господа офицеры устроили клубъ и даютъ въ немъ, отъ времени до времени, танцовальные вечера, для которыхъ барышни-невѣсты приберегаютъ свои лучшія платьица.

Пустотѣловымъ и насчетъ дочерей везетъ. Благодаря ласковости и гостепріимству, они успѣваютъ пристроить, въ теченіе зимы, двухъ старшихъ барышенъ. Одну за полкового лекаря помолвили, другую — за уѣзднаго стряпчаго Стрѣльбищева. Оба люди бѣдные, но нужда научитъ деньгу добывать. За то они богатаго приданаго не требуютъ. Сшила невѣстамъ Филанида Протасьевна по два лишнихъ платьица, бѣлья прибавила, да серебреца по полдюжинѣ столовыхъ и чайныхъ ложекъ купили—вотъ и все. У другихъ и съ богатымъ приданымъ Богъ дочкамъ судьбы не посылаетъ, а

Пустотѣловы всего-на-все двѣ зимы своихъ невѣстъ вывозили, и ужъ успѣли ихъ съ рукъ сбыть. Двухъ сбыли, а потомъ постепенно и остальныхъ сбудутъ. А все оттого, что Арсеній Потапычъ умѣетъ вò-время послѣднюю копѣйку ребромъ поставить, а Филанида Протасьевна приласкать и принять мастерица.

Одна бѣда: чѣмъ больше идетъ зима вглубь, тѣмъ меньше становится запасъ продуктовъ, назначенныхъ на продажу. Къ концу мясоѣда Пустотѣловы продали остатки хлѣба, отложивъ только то, что потребуется на сѣмена и на собственное продовольствіе, и засѣли на масляницу дома. Даже на folle journée къ Струнниковымъ не поѣхали, подъ предлогомъ, что барышни пожелали провести послѣдніе дни передъ постомъ съ женихами. Но годъ все-таки оправдалъ ожиданія образцоваго хозяина; онъ не только свелъ концы съ концами, но успѣлъ отложить небольшую сумму и для предстоящихъ свадебныхъ торжествъ.

Наконецъ наступаетъ и чистый понедѣльникъ. И Арсеній Потапычъ, и вся семья говѣютъ на первой недѣлѣ, изъ опасенія, чтобы бездорожье не воспрепятствовало исполнить христіанскій долгъ позднѣе. Постъ соблюдается строго; за столъ подаются исключительно грибы, картофель, капуста, рѣдька и вообще самое неприхотливое кушанье; только два раза, въ Благовѣщенье да въ Вербное воскресенье, господа позволяютъ себѣ рыбой побаловаться, но и этимъ лакомствомъ Пустотѣловъ зараньше запастись успѣлъ. Еще осенью, съ наступленіемъ первыхъ заморозковъ, выпросилъ у сосѣда Гуслицына позволенье въ его озерѣ рыбки половить, а у другого сосѣда неводомъ раздобылся. И такъ какъ онъ былъ на всѣ руки мастеръ, то ловля вышла обильная. И щукъ, и окуней, и язей насолили и заморозили пудовъ двадцать; всю масляницу и сами ѣли, и въ застольную отпускали, а остатки будутъ постомъ доѣдать.

Святая недѣля проходитъ тихо. Наступило полное бездорожье, такъ что въ Свѣтлое воскресенье семья вынуждена выѣхать изъ дома за-свѣтло и только съ помощью всей барщины успѣваетъ попасть въ приходскую церковь къ заутренѣ. А съ бездорожьемъ и гости притихли; сосѣди заперлись по домамъ и отдыхаютъ; даже женихи пріѣхали изъ города, рискуя на каждомъ шагу окунуться въ зажорѣ.

На красную горку Пустотѣловы справляютъ разомъ обѣ свадьбы. Но ни пріемовъ, ни выѣздовъ по этому случаю не дѣлается, во-первыхъ, потому что рабочая пора недалеко, а во-вторыхъ, и главнымъ образомъ, потому что денегъ мало.

Утромъ, сейчасъ послѣ обѣдни, происходитъ вѣнчальный обрядъ, затѣмъ у родителей подается ранній обѣдъ, и вслѣдъ за нимъ новобрачные уѣзжаютъ въ городъ, *къ себѣ*.

Двѣ дочери съ плечъ долой; остается еще восемь.

Но ни Арсенію Потапычу, ни Филанидѣ Протасьевнѣ скучать по дочерямъ некогда. Слава Богу, родительскій долгъ выполнили, пристроили — чего жъ больше! А сверхъ того и страда началась, въ яровое поле ужъ выѣхали съ боронами мужички. Какъ образцовый хозяинъ, Пустотѣловъ еще

съ осени вспахалъ поле, и теперь приходится только боронить. Вскорѣ послѣ Николина дня поле засѣютъ овсомъ, и опять вспашутъ и заборонятъ.

Словомъ сказать, постепенно подкрадывается лѣто, а вмѣстѣ съ нимъ и безконечный рядъ дней, въ теченіе которыхъ Арсенію Потапычу, по примѣру прошлаго года, придется разрѣшать мучительную загадку, свершитъ онъ, или не свершитъ, сведетъ ли концы съ концами, или не сведетъ.

-- Вотъ, Филанидушка, и опять лѣто-припасуха настало!—говоритъ онъ женѣ, стараясь сообщить своему голосу бодрость.

Но въ дѣйствительности тревога уже заползла въ его сердце и не покинетъ его вплоть до осени.

Крестьянская реформа застала Пустотѣлова, какъ и большинство помѣщиковъ нашего захолустья, врасплохъ. Несмотря на кровавыя изобличенія кампаніи 1853—55 гг., которая представляла собой лишь великій прологъ къ великой драмѣ освобожденія, ничто не предупредило тупо-самодовольный людъ, никогда не умѣвшій постигнуть внутренній смыслъ развертывающихся передъ его глазами событій. Корни жизни слишкомъ глубоко погрязли въ тинѣ крѣпостной уголовщины, чтобъ можно было сразу перемѣстить ихъ на новую почву. Тина эта питала прошлое, обезпечивала настоящее и будущее—какъ отказаться отъ того, что изстари служило регуляторомъ всѣхъ поступковъ, составляло основу всего существованія? какъ, вмѣсто довольства и обезпеченія, представить себѣ такой порядокъ, который долженъ, въ самомъ корнѣ, подсѣчь прочно сложившійся обиходъ, погубить всѣ надежды? Естественно, что при такой беззавѣтной вѣрѣ въ непогрѣшимость старыхъ устоевъ даже очевидность должна была представляться чѣмъ-то въ родѣ призрака, на который стоило только дунуть, чтобъ онъ мгновенно разсѣялся.

Пуще всего пугало будущее дѣтей. Положимъ, старики виноваты: не всѣ они олицетворяли собой типъ благопопечительныхъ патріарховъ — въ этомъ ужъ почти единодушно стали сознаваться—но за что же дѣти будутъ страдать? А на нихъ между тѣмъ и обрушатся всею тяжестью послѣдствія новоявленныхъ и ничѣмъ не вызванныхъ фантазій. Старики-то ужъ отжили вѣкъ, попользовались; имъ, пожалуй, и на погостъ пора, но дѣти... Развѣ они причастны прошлому? Несомнѣнно, что когда придетъ ихъ очередь сѣсть на хозяйство, они человѣчнѣе отнесутся къ крѣпостной практикѣ. Съ ихъ появленіемъ исчезнетъ крѣпостная уголовщина, отношенія пріобрѣтутъ характеръ правомѣрности, выраженіе: „вы наши отцы, мы ваши дѣти“ сдѣлается правдою. Чего еще нужно? Вотъ и теперь: сѣлъ на хозяйство молодой Бурмакинъ—у него и въ заводѣ нагайки нѣтъ. Лаской да добрымъ словомъ довольствуется—и все идетъ какъ слѣдуетъ. И вездѣ постепенно разведутся Бурмакины, потому что время къ тому идетъ. Нехорошо драться, нехорошо мужиковъ и бабъ на барской работѣ безъ отдыха изнурять, да вѣдь Бурмакинъ и не дѣлаетъ этого; стало-быть, можно и при крѣпостномъ правѣ по хорошему обойтись.

Но кромѣ того, ежели вѣрить въ новоявленныя фантазіи, то придется

вѣру въ святое писаніе оставить. А въ писаніи именно сказано: рабы! господамъ повинуйтесь! И у Авраама, и у прочихъ патріарховъ были рабы, а они съумѣли же угодить Богу. Неужто, въ самомъ дѣлѣ, ради пустой похвальбы дозволительно и вѣру нарушить, и завѣты отцовъ на поруганье отдать? Для чего? для того, чтобъ стремглавъ кинуться въ зіяющую пучину, въ которой все темно, все неизвѣстно?

Нѣтъ, нѣтъ! не можетъ этого статься! Рѣшимости не достанетъ, чтобъ безъ всякаго повода бросить въ народную массу такой злой и безумный переполохъ!

Такъ думало въ то время большинство, а Арсеній Потапычъ шелъ, пожалуй, дальше другихъ. Онъ былъ человѣкъ неглупый и между сосѣдями слылъ даже умницей. Но въ подобныхъ рѣшительныхъ случаяхъ на умниковъ находитъ затмѣніе легче, чѣмъ на самыхъ простодушныхъ людей. Постоянная увѣренность въ собственныхъ поступкахъ и намѣреніяхъ воспитываетъ упорство, съ которымъ трудно справиться. Поэтому Пустотѣловъ не только не измѣнилъ своего образа дѣйствій, въ виду возрастающихъ слуховъ, но просто-на-просто называлъ послѣдніе ахинеей. Гоголемъ расхаживалъ онъ по полямъ и помахивалъ нагайкой, ни на іоту не отступая отъ исконнаго урочнаго положенія: за первую вину—пять ударовъ, за вторую—десять и т. д.

А молва продолжала рости. Въ сентябрѣ 1856 года нѣкоторые сосѣди, ѣздившіе на коронацію, возвратились въ деревню и привезли новость, что вся Москва только и говоритъ, что о предстоящей реформѣ.

— Всѣхъ бы я васъ за языки перевѣшалъ, да и московскихъ тявкушъ кстати!—безъ церемоніи откликался на это извѣстіе Арсеній Потапычъ. — Тяфъ да тяфъ, только и знаютъ, что лаютъ дворняжки! Надо, чтобъ всѣ съ ума сошли, чтобъ этому статься! А покуда—до этого еще не дошло.

— Чудакъ ты, братецъ! точь-въ-точь Струнниковъ! тому, что ни говори, онъ все свое долбитъ!—убѣждалъ его Григорій Александрычъ Перхуновъ.

— Струнникова хоть и называютъ глупымъ, а, по моему, онъ всѣхъ васъ умнѣе.

— Разсуди, однако. Кабы ничего не готовилось, развѣ позволило бы начальство вслухъ о такихъ вещахъ говорить? Вспомни-ка. Вѣдь въ прежнее время за такія рѣчи ссылали туда, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ, а нынче всякій пащенокъ ротъ разѣваетъ: волю нужно дать, волю! — А начальство сидитъ да по головкѣ гладитъ!

— Белиберда пошла—оттого! Возжи распустили, бомбошкой заманиваютъ... Всегда такъ на первыхъ порахъ бывало.

— И я знаю, что белиберда, да къ белибердѣ-то къ этой готовиться надобно. Упадетъ она какъ снѣгъ на голову; очнуться придется, туда-сюда —анъ поздно!

— Отстань!.. сказалъ, что никогда этому не бывать—и не будетъ! Не къ чему готовиться.

Однимъ словомъ, ничто не могло его сломить. Даже Филанида Протасьевна, всегда безусловно вѣрившая въ правоту мужа—и та поколебалась.

Но разувѣрять его не пробовала, потому что боялась, что это только поведетъ къ охлажденію дружескихъ отношеній, изстари связывавшихъ супруговъ.

Въ то время старики Пустотѣловы жили одни. Дочерей всѣхъ до одной повыдали замужъ, а сыновья съ отличіемъ вышли изъ корпуса, потомъ кончили курсъ въ академіи генеральнаго штаба и ужъ занимали хорошія штабныя мѣста.

— Жить бы теперь да радоваться,—тосковала Филанида Протасьевна: —такъ нѣтъ же! послалъ подъ конецъ Богъ напасть!

И написала сыновьямъ, чтобъ хорошенько обо всемъ разузнали и осторожно увѣдомили отца.

Дѣйствительно, оба сына, одинъ за другимъ, сообщили отцу, что дѣло освобожденія принимаетъ все болѣе и болѣе серьезный оборотъ, и что ходящіе въ обществѣ слухи объ этомъ предметѣ имѣютъ вполнѣ реальное основаніе. Получивши первое письмо, Арсеній Потапычъ задумался и дня два сряду находился въ величайшемъ волненіи; но, въ заключеніе, бросилъ письмо въ печку и отвѣтилъ сыну, чтобъ онъ никогда не смѣлъ ему о пустякахъ писать.

Наконецъ, въ газетахъ появился извѣстный рескриптъ генералъ-губернатору западнаго края. Полковникъ Гуслицынъ прислалъ Пустотѣлову нумеръ „Московскихъ Вѣдомостей", въ которомъ былъ напечатанъ рескриптъ, такъ что, по настоящему, не оставалось и мѣста для какихъ бы то ни было сомнѣній.

— Вотъ видишь!—осмѣлилась замѣтить мужу по этому поводу Филанида Протасьевна.

— Что̀ вижу! что̀ слѣдуетъ видѣть, то̀ и вижу!—огрызнулся онъ точь-въ-точь какъ Струнниковъ: — извѣстно, полячишки! Бунтуютъ — вотъ имъ за это и...

Рескриптъ, можно сказать, даже подстрекнулъ его. Увѣрившись, что слухъ о предстоящей волѣ уже начинаетъ проникать въ народъ, онъ призвалъ станового пристава и обругалъ его за слабое смотрѣніе, потомъ съѣздилъ въ городъ и назвалъ исправника колпакомъ и такимъ женскимъ именемъ, что тотъ съ минуту колебался, не обидѣться ли ему.

— Вотъ я самъ за дѣло возьмусь, за всѣхъ за васъ наблюдать начну! —пригрозилъ онъ: — и перваго же „тявкушу", какого встрѣчу — мой ли онъ, чужой ли — сейчасъ на конюшню драть. Скажите на милость! во все горло чепуху по всему уѣзду городятъ, а они, хранители-то наши, сидятъ спустя рукава да посвистываютъ!

И дѣйствительно, онъ началъ наблюдать и прислушиваться. Въ Послѣдовкѣ страхъ покамѣстъ еще не исчезъ, и крестьяне безмолвствовали, но на сторонѣ ужъ крупненько поговаривали. И вотъ онъ однажды заманилъ одного „тявкушу" и выпоролъ. Конечно, это сошло ему съ рукъ благополучно—сосѣдъ, владѣлецъ „тявкуши", даже поблагодарилъ — но всѣ ужъ начали потихоньку надъ нимъ посмѣиваться.

— Посмотри на себя, на что̀ ты похожъ сталъ! — упрекалъ его Перхуновъ: — точно баба! только бабы нынче *этому* не вѣрятъ, а ты все

уменъ да уменъ былъ, и вдругъ колесомъ ходить началъ! Струнниковъ — и тотъ надъ тобой смѣется!

Наконецъ онъ надумалъ рѣшительную мѣру. Призвалъ приходскаго батюшку и предложилъ ему въ первый же праздникъ сказать въ церкви проповѣдь на тему, что никогда *этого* не будетъ. Но батюшка былъ изъ робкихъ, отъ роду проповѣдей не сочинялъ, а потому и на этотъ разъ затруднился. Тогда онъ предложилъ собственныя услуги. И дѣйствительно, не теряя лишней минуты, засѣлъ за дѣло, а часа черезъ два проповѣдь ужъ была готова. Въ ней онъ изложилъ, что и у Авраама были рабы, и у Исаака, и у Іакова, а у Іова было рабовъ даже больше, нежели овецъ. Однимъ словомъ, доказалъ все такъ ясно, что малому ребенку не понять нельзя.

Въ первое же воскресенье церковь была биткомъ набита народомъ. Съѣхались послушать не только прихожане-помѣщики, но и дальніе. И вотъ въ урочное время, передъ концомъ обѣдни, батюшка подошелъ къ поставленному на амвонѣ аналою и мягкимъ голосомъ провозгласилъ:

— Господа, мужички!—прошу подойти ближе! подходите ближе!

Толпа заколыхалась. Мужички слушали со вниманіемъ, и, повидимому, поняли; но—увы!—поняли какъ разъ наоборотъ ожиданіямъ Арсенія Потапыча.

Вслѣдъ за тѣмъ Струнниковъ съѣздилъ въ губернскій городъ на общее совѣщаніе предводителей и возвратился оттуда. Дальнѣйшія сомнѣнія сдѣлались ужъ невозможными...

Пустотѣловы заперлись въ Послѣдовкѣ, и сами никуда не ѣздили, и къ себѣ не принимали. Въ скоромъ времени Арсеній Потапычъ и хозяйство запустилъ; пошелъ слухъ, что онъ серьезно сталъ попивать.

— Вотъ онъ, образцовый-то хозяинъ! —говорили о немъ сосѣди:—и всѣ мы образцовые были, покуда свои мужички задаромъ работали, а вотъ, подика, теперь похозяйничай!

Въ 1865 году мнѣ пришлось побывать въ нашемъ захолустьи. Въ одинъ изъ небольшихъ церковныхъ праздниковъ отправился я къ обѣднѣ въ тотъ самый приходъ, къ которому принадлежали и Пустотѣловы. Церковь была совершенно пуста; кромѣ церковнаго причта да старосты, я замѣтилъ только двухъ богомольцевъ, стоявшихъ на небольшомъ возвышеніи, обтянутомъ потемнѣвшимъ и продыравленнымъ краснымъ сукномъ. То были старики Пустотѣловы.

Послѣ обѣдни я подошелъ къ нимъ, и удивился перемѣнѣ, которая произошла въ Арсеніѣ Потапычѣ въ какихъ-нибудь два три года. Правая нога почти совсѣмъ отнялась, такъ что Филанида Протасьевна вынуждена была безпрестанно поддерживать его за локоть; языкъ заплетался, глаза смотрѣли мутно, слухъ притупился. Несмотря на то, что день только-что начался, отъ него ужъ слышался запахъ водки.

— Арсеній Потапычъ! Филанида Протасьевна! наконецъ-то случай насъ свелъ!—привѣтствовалъ я знакомыхъ.

Филанида Протасьевна, увидѣвшись со мной, молча указала на мужа

и заплакала, но онъ, повидимому, не узналъ меня. Неподвижно уставивъ впередъ мутные глаза, онъ, казалось, вглядывался въ какой-то призракъ, который ежеминутно угнеталъ его мысль.

— Арсюша! старый знакомый съ тобой говоритъ! — крикнула ему въ ухо жена.

Онъ медленно повернулъ голову въ мою сторону, и чуть слышно, коснѣющимъ языкомъ, пролепеталъ:

— Уми-рать...

XXIX.—Валентинъ Бурмакинъ.

Валентинъ Осипычъ Бурмакинъ былъ единственный представитель университетскаго образованія, которымъ обладало наше захолустье.

Еще когда онъ посѣщалъ университетъ, умерла у него старуха-бабушка, оставивъ любимцу внуку въ нашихъ мѣстахъ небольшое, но устроенное имѣніе, душъ около двухсотъ. Тамъ онъ, окончивши курсъ, и пріютился отказавшись въ пользу сестеръ отъ своей части въ имѣніи отца и матери. Пріѣхавши, сдѣлалъ сосѣдямъ визиты, заявляя, что ни въ казнѣ, ни по выборамъ служить не намѣренъ, соперникомъ ни для кого не явится, а будетъ жить въ своемъ Веригинѣ вольнымъ казакомъ.

Сосѣди ему не понравились, и онъ не понравился сосѣдямъ. Думали: вотъ явится женихъ, будетъ по зимамъ у сосѣдей на вечеринкахъ танцы танцовать, барышнямъ комплименты говорить; а вмѣсто того пріѣхалъ молодой человѣкъ молчаливый, неловкій и даже застѣнчивый. Какъ есть рохля. По началу, его однакожъ заманивали, посылая приглашенія; но онъ ѣздилъ въ гости рѣдко, отказываясь подъ разными предлогами, такъ что скоро сдѣлалось ясно, что зимнее пошехонское раздолье напрасно будетъ на него разсчитывать.

Заперся онъ въ Веригинѣ, книжекъ навезъ, сидитъ да почитываетъ. Даже въ хозяйство не взошелъ. Призвалъ старосту Власа, который еще при бабушкѣ вѣрой и правдой служилъ, и повелъ съ нимъ такого рода разговоръ:

— Слушай, Власъ! Вѣдь ты честный человѣкъ? да?

Староста изумился при этомъ вопросѣ, и во всѣ глаза смотрѣлъ на молодого барина.

— Я тебя не подозрѣваю, а только спрашиваю: вѣдь ты честный человѣкъ? да? — приставалъ Бурмакинъ.

— Съ чего бы, кажется...—пробормоталъ Власъ.

— Вотъ и прекрасно. И ты честный человѣкъ, и я честный человѣкъ, и всѣ мы здѣсь честные люди! Я и тебѣ, и всѣмъ... довѣряю!

Валентинъ Осипычъ протянулъ руку, конечно для пожатія, но староста кинулся со всѣхъ ногъ [illegible] ралъ ее.

— Ахъ, что̀ ты! я совсѣмъ не для того... Пожалуйста, ты эти глупости оставь!

Очень возможно, что разговоръ этотъ былъ нѣсколько прикрашен кѣмъ-нибудь изъ остряковъ-сосѣдей, но въ примѣненіи къ Бурмакину он представлялся настолько вѣроподобнымъ, что обошелъ всю округу и составилъ предметъ общаго увеселенія.

Къ счастію, бабушкинъ выборъ былъ хорошъ, и староста, дѣйствительно, оказался честнымъ человѣкомъ. Такъ что при молодомъ баринѣ хозяйство пошло тѣмъ же порядкомъ, какъ и при старухѣ-бабушкѣ. Доходовъ получалось съ имѣнія немного, но для одинокаго человѣка, который особенныхъ требованій не предъявлялъ, вполнѣ достаточно. Валентинъ Осипычъ нашелъ даже возможнымъ отдѣлять частичку изъ этихъ доходовъ, чтобы зимой погостить мѣсяцъ или два въ Москвѣ и отдохнуть отъ назойливой суетолоки родного захолустья.

Это была чистая, высоко-нравственная, почти непорочная личность. Бурмакинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ беззавѣтныхъ идеалистовъ, благодаря которымъ во тьмѣ сороковыхъ годовъ просіялъ лучъ свѣта и заставилъ волноваться отзывчивыя сердца. Впервые, послѣ многихъ лѣтъ забитости, почувствовалось, что доброе и человѣческое не до конца изгибло, что человѣческій образъ, даже искаженный, не перестаетъ быть человѣческимъ образомъ. Разумѣется, возникшее въ этомъ смыслѣ движеніе сосредоточивалось исключительно въ литературѣ да въ стѣнахъ университета; разумѣется, оно высказывалось случайно, урывками, но эта случайность пробивалась наружу въ такомъ всеоружіи страстности и убѣжденности, что неизбѣжно оставляла по себѣ горячій слѣдъ. Свѣточъ горѣлъ одиноко, но настолько ярко, что впослѣдствіи, когда дальнѣйшее горѣніе было признано неудобнымъ, потребовались уже нѣкоторыя усилія, чтобъ потушить его.

Бурмакинъ былъ ученикъ Грановскаго и страстный почитатель Бѣлинскаго. Не будучи „учеными", въ буквальномъ смыслѣ этого слова, эти люди будили общественное чувство и въ высшей мѣрѣ обладали даромъ жечь глаголомъ сердца. А для того времени это было всего нужнѣе. На призывъ ихъ проповѣди откликнулась безвѣстная масса современной молодежи и, въ свою очередь, сѣяла горячее слово добра, человѣчности, любви. Сѣяла на свой рискъ, не останавливаясь ни передъ подозрительностью, которая встрѣчала проповѣдническій подвигъ, ни передъ мыслью о пучинѣ безвѣстности, въ которой этому подвигу предстояло утонуть.

Валентинъ еще въ университетѣ примкнулъ къ этому кружку страстныхъ и убѣжденныхъ людей, и искренно привязался къ нему. Онъ много читалъ, изрѣдка даже пробовалъ писать, но, надо сказать правду, выдающимися талантами не обладалъ. Это былъ отличный второстепенный дѣятель и преданнѣйшій другъ. Такъ понимали его и члены кружка, глубоко цѣнившіе его честныя убѣжденія.

Но какъ ни безупречна была, въ нравственномъ смыслѣ, убѣжденная восторженность людей кружка, она въ то же время страдала существеннымъ недостаткомъ. У нея не было реальной почвы. Истина, добро, красота — вотъ идеалы, къ которымъ тяготѣли лучшіе люди того времени, но, къ со-

жалѣнію, осуществленія ихъ они искали не въ жизни, а исключительно въ области искусства, одного безпримѣснаго искусства.

Это было впрочемъ понятно. Жизнь того времени представляла собой запертую храмину, ключъ отъ которой былъ отданъ въ завѣдываніе табели о рангахъ, и послѣдняя настолько ревниво оберегала ее отъ стороннихъ вторженій, что самое понятіе о „реальномъ" какъ бы исчезло изъ общественнаго сознанія. Музыка, литература, театръ стояли на первомъ планѣ и служили предметомъ пламенныхъ и безкорыстныхъ состязаній. Всѣмъ памятны споры о Мочаловѣ, Каратыгинѣ, Щепкинѣ и т. д., каждый жестъ которыхъ порождалъ цѣлую массу страстныхъ комментаріевъ. Даже въ балетѣ усматривали глашатая добра, истины и красоты. Имена Санковской и Геринò раздавались во всѣхъ кофейняхъ, на всѣхъ дружескихъ бесѣдахъ. Это были не просто танцовщикъ и танцовщица, а пластическіе разъяснители „новаго слова", заставлявшіе по произволенію радоваться или скорбѣть.

Оторванность отъ реальной почвы производила печальное двоегласіе и въ существованіи отдѣльныхъ индивидуумовъ. Крѣпостное право было ненавистно, но такихъ героевъ, которые отказались бы отъ пользованія имъ, не отыскивалось. Однажды установившаяся степень довольства и перспектива обезпеченнаго досуга были слишкомъ привлекательны, чтобы въ виду ихъ даже избранникъ рѣшился взять посохъ въ руки и идти въ потѣ лица снискивать хлѣбъ свой. Такимъ образомъ жизнь сама собой раскалывалась на двѣ половины: одна была отдана Ормузду, другая—Ариману.

Но кромѣ двоегласія въ личномъ существованіи, представлялась еще другая опасность, которую приводило за собой отсутствіе реальныхъ интересовъ... Опасность эту представляло вторженіе нѣкоторыхъ противорѣчивыхъ примѣсей, которыя угрожали возможностью измѣнъ въ будущемъ.

Одною изъ завѣтныхъ формулъ того времени была „святая простота". Въ ней заключалось нѣчто непререкаемое, и при упоминовеніи объ ней оставалось только преклоняться. Но употребляли ее неразборчиво и нерѣдко смѣшивали съ пошлостью и невѣжествомъ. Это ужъ было заблужденіе, которое грозило послѣдствіями очень сомнительнаго свойства. Крестьянство задыхалось подъ игомъ рабства, но за то оно было sancta simplicitas; чиновничество погрязало въ лихоимствѣ, но и это было своего рода sancta simplicitas; невѣжество, мракъ, жестокость, произволъ господствовали всюду, но и они представляли собой одну изъ формъ sancta simplicitas. Среди этихъ разнообразныхъ проявленій простоты дышать было тяжело, но поводовъ для привлеченія къ отвѣтственности не существовало.

Затѣмъ, рядомъ съ легендой о святой простотѣ, выработалась еще другая, гласившая, что существующее уже по тому одному разумно, что оно существуетъ. Формула эта свидѣтельствовала, что самая глубокая восторженность не можетъ настолько удовлетвориться исключительно своимъ собственнымъ содержаніемъ, чтобы не чувствовать потребности въ прикосновеніи къ дѣйствительности, и въ то же время она служила какъ бы объясненіемъ, почему люди, внутренно чуждающіеся извѣстнаго жизненнаго строя, могутъ не протестуя жить въ немъ. Разумѣется, это было возможно только при цѣлой системѣ такихъ оправданій и примиреній, откуда было недалеко и до совер-

шенной путаницы понятій. И будущее доказало, что измѣна очень ловко воспользовалась этими оправданіями.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни оторванъ былъ отъ жизни идеализмъ сороковыхъ годовъ, но лично своимъ адептамъ онъ доставлялъ по истинѣ сладкія минуты. Мысли горѣли, сердца учащенно бились, все существо до краевъ переполнялось блаженствомъ. Спасибо и за это. Бываютъ сермяжныя эпохи, когда душа жаждетъ, чтобы хоть шопотомъ кто-нибудь произнесъ: sursum corda!—и не дождется...

. . . . . .

Итакъ Бурмакинъ поселился въ родномъ гнѣздѣ и нимало не роптал на одиночество. Онъ читалъ, переписывался съ друзьями и терпѣливо выжидалъ тѣхъ двухъ-трехъ мѣсяцевъ, въ которые положилъ себѣ переѣзжать на житье въ Москву.

Какъ ни ревниво однакожъ ограждалъ онъ свое уединеніе, но совсѣмъ уберечься отъ общенія съ сосѣдями уже по тому одному не могъ, что по близости жили его отецъ и мать, которыхъ онъ обязанъ былъ посѣщать.

Старики Бурмакины жили радушно, и гости ѣздили къ нимъ часто. У нихъ были двѣ дочери, обѣ на выданьи: надо же было барышнямъ развлеченье доставить. Правда, что между помѣщиками жениховъ не оказывалось, кромѣ закоренѣлыхъ холостяковъ, погрязшихъ въ гаремной жизни; но въ уѣздномъ городѣ и по деревнямъ расквартированъ былъ кавалерійскій полкъ, а между офицерами и жениховъ присмотрѣть не въ рѣдкость бывало. Стало быть, безъ пріемовъ обойтись никакъ нельзя.

Поэтому въ домѣ стариковъ было всегда людно. Пріѣзжая туда, Бурмакинъ находилъ толпу гостей, преимущественно офицеровъ, юнкеровъ и барышенъ, которыми нашъ уѣздъ всегда изобиловалъ. Валентинъ былъ сдержанъ, но учтивъ; къ себѣ не приглашалъ, но не могъ уклониться отъ знакомствъ, потому что родные почти насильственно ему ихъ навязывали.

— Онъ у насъ бука,—говорили они,—а вы соберитесь компаніей, да и растормошите его!

Въ числѣ наиболѣе частыхъ посѣтительницъ стариковскаго дома была помѣщица Калерія Степановна Чепракова съ четырьмя дочерьми. Она была вдова и притомъ бѣдная (всего пятьдесятъ душъ, да и тѣ разоренныя), такъ что положеніе ея, при большомъ семействѣ, состоявшемъ изъ однѣхъ дочерей, было очень незавидное. Усадьба ея была расположена на высокомъ берегу рѣки Вопли, но домъ былъ до того ветхъ, что ежеминутно грозилъ развалиться. Сосѣди называли его старымъ аббатствомъ и удивлялись, какъ она не боится въ немъ жить. Полы ходуномъ ходили; изъ оконъ и изъ щелей стѣнъ дуло; зимой никакими способами ухититься было нельзя. Ремонтировать домъ было не на что, да, пожалуй, и незачѣмъ; надо новый домъ строить, а у вдовы не только денегъ, а и лѣсу своего нѣтъ.

Однакожъ вдова не унывала. Дочери у нея были погодки и всѣ очень красивыя, въ особенности младшая, которой только-что минуло семнадцать лѣтъ. Всѣ офицеры, и молодые и старые, поголовно влюблялись въ нихъ, а маіоръ Клобутицынъ даже основалъ дивизіонную штабъ-квартиру въ селѣ, гдѣ жили Чепраковы. Тамъ, притаившись въ отведенной ему крестьянской

избѣ, онъ, въ обществѣ избранныхъ субалтернъ-офицеровъ, засматривался на Чепраковскихъ барышенъ, покуда онѣ рѣзвились, купаясь въ Воплѣ, и нельзя поручиться, чтобъ барышни, въ свою очередь, не знали, что за ними слѣдятъ любопытные глаза.

По поводу этихъ наблюденій носились слухи, что вдова не очень разборчива на средства, лишь бы „разсовать" дочерей; но сосѣди относились къ этому снисходительно, понимая, что съ такой обузой справиться не легко.

— Извольте-ка,—говорили они,—отъ пятидесяти душъ экую охапку дѣтей содержать! Накормить, напоить, одѣть, обуть да и въ люди вывезти. По-неволѣ станешь въ рѣкѣ живыя картины представлять!

Неизвѣстно, де сыта ли кормила вдова дочерей, но всѣ четыре были настолько въ тѣлѣ, что ничто не указывало на недостатокъ питанія; неизвѣстно, въ какихъ платьяхъ онѣ ходили дома, но въ люди показывались одѣтыми не хуже другихъ. Вдова была изобрѣтательна; перешивала, перекраивала, выворачивала—и всегда у нея выходило хоть куда. Одно горе—отъ пріемовъ она должна была совсѣмъ отказаться: и средствъ нѣтъ, и домъ никуда не годится. Впрочемъ господа офицеры изрѣдка все-таки заглядывали къ Чепраковымъ, и проводили время не скучно. Только вмѣсто чаю пили молоко, вмѣсто пшеничныхъ булокъ ѣли черный хлѣбъ съ масломъ.

Положеніе Калеріи Степановны было тѣмъ болѣе непріятно, что у нея существовало сытое и привольное прошлое. Сама она принадлежала къ семьѣ Курильцевыхъ, изстари славившейся широкимъ гостепріимствомъ, а мужъ ея до самой смерти былъ такимъ же безсмѣннымъ исправникомъ, какимъ впослѣдствіи сдѣлался Метальниковъ. Весело имъ жилось, привольно; Чепраковъ добывалъ денегъ много и тратилъ безъ разсчета. Мужъ пилъ, жена рядилась и принимала гостей. Казалось, и конца раздолью не будетъ. Домъ ужъ и въ то время обращался въ руины, такъ что неминучее дѣло было затѣвать новый, а Чепраковъ все откладывалъ да откладывалъ — съ тѣмъ и на тотъ свѣтъ отправился, оставивши вдову съ четырьмя дочерьми. Умеръ онъ внезапно, ударомъ, запутавши дѣла до того, что и похоронить было не на что. День днемъ очищался, а о запасной копѣйкѣ и въ помыслахъ не держали. Еще наканунѣ домъ довольствомъ кипѣлъ, а на утро — хоть шаромъ покати.

Это случилось лѣтъ десять тому назадъ. Полились вдовьи слезы. Не скоро поняла Калерія Степановна свое положеніе; къ хозяйству она не привыкла, жила на всемъ готовомъ—натурально, что при первомъ же испытаніи совсѣмъ растерялась. Хорошо еще, что дѣти были невелики, большихъ расходовъ не требовали, а то просто хоть съ сумой побираться иди. Однако пришлось понять, что прежнее приволье кануло безповоротно въ пучинѣ прошлаго, и что впереди ждетъ совсѣмъ новая жизнь. И надо отдать вдовѣ справедливость: хоть и не сразу, но она поняла.

Пришлось обращаться за помощью къ сосѣдямъ. Больше другихъ выказали вдовѣ участіе старики Бурмакины, которые однажды, подъ видомъ гощенія, выпросили у нея младшую дочь Людмилу, да такъ и оставили ее у себя воспитывать вмѣстѣ съ своими дочерьми. Дочери между тѣмъ росли, и изъ хорошенькихъ дѣвочекъ сдѣлались красавицами-невѣстами. Въ особен-

— Вотъ видите! А тогда сидѣли бы вы вечеромъ такимъ же манеромъ, какъ теперь, жена бы чай разливала, а вы бы пуншъ пили.

— Хорошо бы-съ.

— За чѣмъ же дѣло стало?

— Хорошо бы... да не такъ, а этакъ-съ...

Вдова вскидывала на маіора удивленные глаза, и не понимала. Но вскорѣ все объяснилось. Клобутицынъ сталъ дѣлать такіе прозрачные намеки, которые даже сомнѣній не допускали...

Надежды на маіорское сватовство рухнули. Но вдова не унималась и дѣятельно предпринимала одинъ матримоніальный походъ за другимъ. Она появлялась всюду, гдѣ можно было встрѣтить военныхъ людей; и сама заговаривала съ ними, и дочерей заставляла быть любезными; словомъ сказать, изъ послѣдняго билась, чтобы товаръ лицомъ показать. Но ей положительно не везло. Самые невинные корнеты —и тѣ какъ-то загадочно косили глазами на красавицъ-невѣстъ, словно говорили: хорошо-то бы хорошо, да не такъ, а вотъ этакъ. Аббатство одинаково пугало и старыхъ, и молодыхъ.

Появленіе молодого Бурмакина какъ разъ совпало съ тѣмъ временемъ, когда Калерія Степановна начинала терять всякую надежду. Увидѣвъ Валентина Осипыча, она встрепенулась. Тайный голосъ шепнулъ ей: вотъ онъ... женихъ!—и она съ такою увѣренностью усвоила себѣ эту мысль, что оставалось только рѣшить, на которой изъ четырехъ дочерей остановится выборъ молодого человѣка.

Младшая дочь, Людмила, была красивѣе всѣхъ. Она не обладала ни дебелостью, ни крутыми бедрами, которыми отличались сестры; напротивъ того, была даже нѣсколько худощава, но въ мѣру, насколько приличествуетъ красотѣ, которая обѣщаетъ надолго сохраниться въ будущемъ. Высокая, стройная, съ едва намѣченною, дѣвственною грудью, она напоминала Венеру, выходящую изъ морской волны. Прелестное личико имѣло слегка избалованное выраженіе и было увѣнчано густой золотистой косой, которая падала ниже пояса. Вся ея фигура дышала женственностью, и это было тѣмъ привлекательнѣе, что она съ необыкновенной простотой носила свою красоту. Она не шла на-встрѣчу восторгамъ, а предоставляла любоваться собой, и чуть замѣтно улыбалась, когда на нее заглядывались, какъ будто ее даже удивляло, что въ глазахъ молодыхъ людей загорались искры, когда они во время танцевъ прикасались къ ея таліи.

Но насколько плѣнительна была Милочкина внѣшность, настолько же она сама была необразованна и неразвита, настолько же во всемъ ея существѣ была разлита глубокая безсознательность. Разговора у нея не было, но она такъ красиво молчала, что, кажется, вѣкъ бы подлѣ нея, тоже молча, просидѣлъ, и было бы не скучно.

— Что вы, Людмила Андреевна, молчите? скажите что-нибудь! — приставали къ ней кавалеры:—ну, напримѣръ, я васъ лю...

— Ахъ, нѣтъ, оставьте!.. мнѣ лѣнь,—отвѣчала она, закрывая глаза, точно собиралась уснуть:—какіе вы говорите пустяки!

И кавалеры оставляли ее въ покоѣ, и даже находили, что молчаніе

составляетъ одну изъ ея привилегій. Еще Богъ знаетъ, что̀ она скажетъ, если заговоритъ, а тутъ сиди и любуйся ею—вотъ и все!

Даже когда офицеры называли ее въ глаза „Милочкой", она и тогда не обижалась, а только пожималась, словно ее пощекотали.

— Людмила Андреевна! Милочка... вѣдь вы Милочка?

Молчаніе.

— Милочка! мы всѣ въ васъ влюблены!

— Вотъ нашли!

Встрѣтившись съ Людмилой въ домѣ своихъ стариковъ, Бурмакинъ сразу былъ пораженъ ея красотой. Красота была для него святыней, а „женственное" — святыней сугубой. Отъ вниманія его, конечно, не ускользнула крайняя неразвитость дѣвушки, но это была „святая простота", и тоже принадлежала къ числу идеаловъ, составлявшихъ культъ молодого человѣка. Одно не нравилось: господа военные какъ-то ужъ черезчуръ безцеремонно льнули къ красавицѣ, и она повидимому была не въ состояніи дать имъ отпоръ. Но вѣдь и это „святая простота", передъ которою преклоняться слѣдуетъ, принимая всецѣло, какъ она есть, и не анализируя. Придетъ время —сердце ея само собой забьетъ тревогу, и она вдругъ прозрѣетъ, и „въ небесахъ увидитъ Бога"; но покуда ея часъ не пробилъ, пускай это сердце остается въ покоѣ, пускай эта красота довлѣетъ сама себѣ.

Старики Бурмакины хвалили Милочку. Они отзывались о ней какъ о дѣвушкѣ тихой, уживчивой, которая нѣсколько лѣтъ сряду была почти членомъ ихъ семьи, и никогда никакой непріятности они отъ нея не видали. Правда, что она какъ будто простовата — ну, да это пройдетъ. Выйдетъ замужъ за хорошаго человѣка и разомъ очнется.

Говоря такимъ образомъ, они любовно посматривали на сына, словно угадывали зарождающееся въ немъ чувство и были не прочь поощрить его.

Калерія Степановна, въ свою очередь, почуявши въ Бурмакинѣ жениха, старалась вывести Милочку изъ оцѣпенѣнія.

— Ты что̀ же, рохля, зѣваешь!—говорила она ей:—во снѣ, матушка, мужа не добудешь!

— Я, маменька, кажется, ничего...

— То-то, что ничего! Ничего-то ничѣмъ и кончается. А ты умѣй человѣку отличіе показать. Прочимъ ничего, а ему — чего! Умная-то дѣвица ежели и лишненькое основательному человѣку позволитъ, такъ и то не бѣда; а она сидитъ какъ царевна да пожимается!

Вообще сближеніе между молодыми людьми произошло не скоро. Несмотря на материнскія наставленія, Милочка туго пробуждалась изъ состоянія вялости, которое присуще было ея природѣ. Бурмакинъ тоже былъ застѣнчивъ и лишь изрѣдка перебрасывался съ красавицей двумя-тремя незначащими словами...

Но вотъ наконецъ его день наступилъ. Однажды, зная, что Милочка гоститъ у родныхъ, онъ пріѣхалъ къ нимъ и, вопреки обыкновенію, не засталъ въ домѣ никого постороннихъ. Былъ темный октябрскій вечеръ; комната едва освѣщалась экономно разставленными сальными огарками; старики отдыхали; даже сестры точно сговорились и оставили Людмилу Андреевну

одну. Она сидѣла въ гостиной въ обычной лѣнивой позѣ, и не то дремала, не то о чемъ-то думала.

— О чемъ задумались?—спросилъ онъ, садясь возлѣ нея.

— Такъ... ни о чемъ...

— Нѣтъ, я желалъ бы знать, что̀ въ васъ происходитъ, когда вы, задумавшись, сидите однѣ.

— Чему же во мнѣ происходить!..

Она сдѣлала движеніе, чтобы полнѣе закутаться въ старый драдедамовый платокъ, натянутый на ея плечи, и прижалась къ спинкѣ дивана.

— Васъ ничто никогда не волновало? ничто не радовало, не огорчало? —продолжалъ допытываться онъ.

— Чему радоваться?.. Вотъ мамаша часто бранитъ,—ну, разумѣется...

— За что же она васъ бранитъ?

— За все... за то, что я мало говорю, занять никого не умѣю...

— Ну такъ чтожъ за бѣда!

— Нехорошо это. Она о насъ заботится, а я сама себѣ добра не желаю.

Бурмакинъ умилился.

— Милочка!—онъ, какъ и всѣ въ домѣ, называлъ ее уменьшительнымъ именемъ:—вы святая!

Она вскинула на него удивленные глаза.

— Да, вы святая! — повторилъ онъ восторженно: — вы сами не сознаете, сколько въ васъ женственнаго, непорочнаго! вы святая!

— Ахъ, что̀ вы! развѣ такія святыя бываютъ! Святыя-то круглый годъ постятся, а я и въ великій постъ скоромное ѣмъ.

Несмотря на явное простодушіе, отвѣтъ этотъ еще болѣе умилилъ Бурмакина.

— Вы олицетвореніе женственности, чистоты и красоты!—твердилъ онъ: — вы та святая простота, передъ которой, въ благоговѣніи, преклоняются лучшіе умы!

— И мамаша то же говоритъ, что я проста.

— Ахъ, нѣтъ, я не въ томъ смыслѣ! я говорю, что въ васъ нѣтъ этой вычурности, дѣланности, лжи, которыя такъ поражаютъ въ другихъ дѣвушкахъ. Вы—сама правда, сама непорочность... сама простота!

Онъ взялъ ее за руку, которую она безъ ужимокъ отдала ему.

— Скажите!—продолжалъ онъ:—вы никогда не думали о человѣкѣ, который отдалъ бы вамъ свою жизнь, который лелѣялъ бы, холилъ васъ, какъ святыню?

— Ахъ, что̀ вы!

— Скажите, въ состояніи ли вы были бы полюбить такого человѣка? раскрыли ли бы передъ нимъ свою душу? сердце?

Она молчала; но въ лицѣ ея мелькнуло что-то похожее на застѣнчивое пробужденіе.

— Скажите! — настаивалъ онъ: — еслибъ этотъ человѣкъ былъ я; еслибъ я поклялся отдать вамъ всего себя; еслибъ я, ради васъ, былъ готовъ погубить свою жизнь, свою душу...

Онъ крѣпко сжималъ ея руку, силясь разгадать, какое дѣйствіе произвело на нее его страстное изліяніе.

— А вы будете часто со мной въ гости ѣздить? будете меня въ платьица наряжать?

Она выговорила эти слова такъ увѣренно, словно только одни они и назрѣли въ глубинахъ ея „святой простоты".

Даже Бурмакина удивила форма, въ которую вылились эти вопросы. Еслибъ она спросила его, будетъ ли онъ ее „баловать" — о! онъ навѣрное отвѣтилъ бы: баловать! ласкать! любить! и, можетъ быть, даже бросился бы передъ ней на колѣни... Но „ѣздить въ гости", „наряжать"! Что-то ужъ черезчуръ обнаженное слышалось въ этихъ словахъ...

Онъ всталъ и въ волненіи началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Увы! дуновеніе жизни, очевидно, еще не коснулось этого загадочнаго существа, и весь вопросъ заключался въ томъ, способно ли сердце ея хоть когда-нибудь раскрыться на-встрѣчу этому дуновенію. Цѣлый рой противорѣчивыхъ мыслей толпился въ его головѣ, но толпился въ такомъ безпорядкѣ, что ни на одной изъ нихъ онъ не могъ остановиться. Разумѣется, побѣду все-таки одержало то рѣшеніе, которое уже заранѣе само собой созрѣло въ его душѣ и намѣтило своего рода обязательную перспективу, обѣщавшую успокоеніе взволнованному чувству.

— Людмила Андреевна! — сказалъ онъ, торжественно протягивая ей руку:—я предлагаю вамъ свою руку, возьмите ее! Это рука честнаго человѣка, который бодро поведетъ васъ по пути жизни въ тѣ высокія сферы, въ которыхъ безраздѣльно царятъ истина, добро и красота. Будемте мужъ и жена передъ Богомъ и людьми!

— Мамаша...

— Ахъ, нѣтъ, не упоминайте о мамашѣ! Пускай настоящая минута останется свѣтла и безъ примѣси. Я уважаю вашу мамашу, она достойная женщина; но пускай мы однимъ себѣ, однимъ внезапно раскрываемымъ сердцамъ нашимъ будемъ обязаны своимъ грядущимъ счастіемъ! Вѣдь вы мнѣ дадите это счастіе? дадите?

Она томно улыбнулась въ отвѣтъ и потянула его за руку къ себѣ. И вслѣдъ затѣмъ, какъ бы охваченная наплывомъ чувства, сама потянулась къ нему и поцѣловала его.

— Вотъ вамъ!—произнесла она, закраснѣвшись.

Когда старики Бурмакины проснулись, сынъ ихъ уже былъ женихомъ. Дали знать Калеріи Степановнѣ, и вечеръ прошелъ оживленно въ кругу „своихъ". Валентинъ Осиповичъ вышелъ изъ обычной застѣнчивости и охотно дозволялъ шутить надъ собой, хотя отъ нѣкоторыхъ шутокъ его изрядно коробило. И такъ какъ приближались филипповки, то рѣшено было играть свадьбу въ рождественскій мясоѣдъ.

Бурмакинъ былъ на верху блаженства. Онъ потребовалъ, чтобъ невѣста его не уѣзжала въ аббатство, и каждый день видѣлся съ нею. Оба уединялись гдѣ-нибудь въ уголокъ; онъ безъ умолку говорилъ, стараясь ввести ее въ кругъ своихъ идеаловъ; она прислонялась головой къ его плечу и томно прислушивалась къ его говору.

-- Истина, добро, красота—вотъ тріада, которая можетъ до краевъ переполнить существованіе человѣка, и обладая которой онъ имѣетъ полное основаніе считать себя обезпеченнымъ отъ всевозможныхъ жизненныхъ невзгодъ. Служеніе этимъ идеаламъ даетъ ему убѣжище, въ которомъ онъ укроется отъ лицемѣрія, злобы и безобразія, царствующихъ окрестъ. Для того и даются избраннымъ натурамъ идеалы, чтобъ иго жизни не прикасалось къ нимъ. Что̀ такое жизнь, лишенная идеаловъ? Это совокупность развращающихъ мелочей, и только. Струнниковы, Пустотѣловы, Перхуновы — вотъ люди, которыхъ можетъ удовлетворять такая жизнь, и которые съ наслажденіемъ погрязаютъ въ тинѣ ея... Нѣтъ, мы не такъ будемъ жить. Мы пойдемъ навстрѣчу сочувствующимъ людямъ, и въ обмѣнѣ мыслей, въ общемъ служеніи идеаламъ будемъ искать удовлетворенія высокимъ инстинктамъ, которые заставляютъ биться честныя сердца... Милочка! вѣдь ты пойдешь за мною? пойдешь?

— Я поѣду всюду, куда ты поѣдешь...

— Ахъ, нѣтъ, не то! я хотѣлъ спросить: понимаешь ты меня? понимаешь?

— Голубчикъ! вѣдь я еще глупенькая... приласкай меня!

— Нѣтъ, ты не глупенькая, ты святая! Ты истина, ты добро, ты красота, и все это облеченное въ покровъ простоты! О, святая! То, что̀ таится во мнѣ только въ формѣ броженія, ты воплотила въ жизнь, возвела въ перлъ созданія!

Онъ бралъ ея руки и страстно ихъ цѣловалъ.

— Скучно тебѣ со мной?—спрашивалъ онъ ее:—скучно?

— Нѣтъ, а такъ...

— Ну, вотъ, послѣ свадьбы поѣдемъ въ Москву, я тебя познакомлю съ моими друзьями. Повеселимъ тебя. Я вѣдь понимаю, что тебѣ нужны радости... Серьезное придетъ въ свое время, а покуда ты молода, пускай твоя жизнь течетъ радостно и свѣтло.

Покуда они разговаривали, между стариками завязался вопросъ о приданомъ. Калерія Степановна находилась въ большомъ затрудненіи. У Милочки даже бѣлья сноснаго не было, да и подвѣнечное платье сшить было не на что. А платье нужно шолковое, дорогое—самое простое приличіе этого требуетъ. Она не разъ намекала Валентину Осиповичу, что бываютъ случаи, когда женихи и т. д., но женихъ никакихъ намековъ рѣшительно не понималъ. Наконецъ, старики Бурмакины взяли на себя объясниться съ нимъ.

— Вѣдь невѣстѣ-то подвѣнечное платье сшить нужно,—сказала ему мать.

— А развѣ то, которое на ней, не хорошо?—спросилъ онъ удивленно.

— Ничего, платье какъ платье. Но подвѣнечное платье особенное. Да и вообще мало ли что̀ нужно. И бѣлье, и еще три-четыре платьица, да и тебѣ не мѣшаетъ о собственной обстановкѣ подумать. Все жилъ холостой, а теперь семьей обзаводишься. Та̀къ и разсчитывать надо...

— Что̀ же нужно?—скажите!

— Перво-на-перво для невѣсты приданое нужно; хоть простенькое, а все-таки... А потомъ и у себя въ домѣ надо кой-что освѣжить... для молодой жены гнѣздышко устроить. Деньги-то есть ли у тебя?

— Есть рублей триста, которые на поѣздку въ Москву отложилъ.

— Триста мало, хоть по старому счету это цѣлая тысяча. Даже на поѣздку въ Москву мало, потому что до сихъ поръ ты ѣздилъ одинъ, а теперь поѣдешь самъ-другъ. А кромѣ того, предстоятъ и свадебные расходы. Нужно по крайней мѣрѣ тысячи двѣ.

— Гдѣ же ихъ взять?

— Для такого случая разсчитывать на себя не приходится: можно или перехватить гдѣ-нибудь, или что-нибудь продать. Занимать впрочемъ не совѣтую; не трудно и запутаться. Продай лучше пустошоночку, хоть Филипцево, напримѣръ; тысячи полторы тебѣ съ удовольствіемъ Ермолаевъ дастъ. Вотъ ты и при деньгахъ.

Такъ и сдѣлали. Изъ полученныхъ за пустошь денегъ Валентинъ Осиповичъ отложилъ нѣсколько сотенъ на поѣздку въ Москву, а остальныя вручилъ Калеріи Степановнѣ, которая съ этой минуты водворилась въ Веригинѣ, какъ дома. Обивали мебель, развѣшивали гардины, чистили старинное бабушкино серебро, прикупали посуду и въ то же время готовили для невѣсты скромное приданое.

Это было первое серьезное столкновеніе молодого Бурмакина съ дѣйствительностью. Онъ охотно впрочемъ примирился съ нимъ, радуясь, что все устраивается помимо него, и не загадывая, что будущее готовитъ ему цѣлый рядъ подобныхъ же столкновеній.

— Какой ты однакожъ добрый! — сказала ему однажды Милочка: — прямо такъ и отдалъ деньги мамашѣ въ руки!

— Какъ же иначе можно было поступить?

— Ты могъ бы свою маменьку попросить заняться. Навѣрное, мамаша и для сестеръ изъ этихъ же денегъ туалеты подновитъ.

— Милочка! какія подозрѣнія... фуй! Бѣдная моя! надобно какъ можно скорѣе вырвать тебя изъ этой порочной среды... Воздуху надо! воздуху! Милочка! никогда такъ не говори! прошу тебя!.. никогда!

— Ахъ, Боже, да вѣдь это я такъ...

— Довольно объ этомъ. Грязи и мрака и безъ того черезчуръ достаточно. Ты должна оставаться чистою, непорочною, святою, какъ тотъ идеалъ, который свѣтитъ мнѣ среди тьмы.

По обыкновенію Бурмакинъ забылъ объ исходной точкѣ и ударился въ сторону. При такихъ условіяхъ Милочка могла говорить что угодно, оставаясь неприкосновенною въ своей невмѣняемости. Все ей заранѣе прощалось ради „святой простоты“, которой она была олицетвореніемъ, и ежели порою молодому человѣку приводилось испытывать нѣкоторую неловкость, выслушивая ея наивныя признанія, то неловкость эта почти моментально утопала въ превыспренностяхъ, которыми полна была его душа.

Въ началѣ рождественскаго мясоѣда сыграли свадьбу. Валентинъ заявлялъ желаніе, чтобы посаженымъ отцомъ у него былъ староста Власъ, а посаженой матерью ключница Ненила; но тутъ ужъ и старики Бурмакины взбунтовались, а Милочка даже расплакалась.

— Они честные люди! — восклицалъ онъ: — и въ ту минуту, когда я

вступаю на новый жизненный путь, благословеніе честныхъ людей для меня дороже, нежели генеральское!

Насилу его уломали, доказавъ, что когда родные отецъ и мать на-лицо, то въ посаженыхъ и необходимости нѣтъ. Но онъ все-таки настоялъ, чтобы свадьба была сыграна утромъ и совсѣмъ просто, и чтобъ къ вѣнчальному торжеству были приглашены только самые необходимые свидѣтели.

— Такъ, какъ мѣщанишекъ какихъ-нибудь и обвели кругомъ налоя, —горько жаловалась впослѣдствіи Калерія Степановна:—и зачѣмъ только подвѣнечное платье шили! Даже полюбоваться собой при свѣчахъ бѣдной дѣвочкѣ не дали!

Молодые заперлись въ Веригинѣ и цѣлую недѣлю безвыѣздно выжили тамъ. То была недѣля восторговъ и святыхъ упоеній, передъ которыми умолкла даже говорливая экспансивность Валентина Осиповича...

По истеченіи недѣли, Бурмакины исчезли въ Москву.

Москва была полна шума и гвалта, свидѣтельствовавшихъ, что зимній сезонъ въ полномъ разгарѣ. Милочку, которая никогда не выѣзжала изъ родного захолустья, сутолока московскихъ улицъ сразу ошеломила. Притомъ же Бурмакинъ, какъ человѣкъ небогатый и нетребовательный, остановился у Сухаревой, въ номерахъ, гдѣ тоже было шумно и вдобавокъ тѣсно и неопрятно. Тотчасъ же по пріѣздѣ у Милочки разболѣлась голова. Конечно, и она не была избалована, живя въ аббатствѣ, но тамъ все-таки былъ просторъ, тишина и воздуху много. А тутъ — шумъ, тѣснота, вонь и какая-то загадочная слякоть, отъ которой тошнило. Сквозь запыленныя и захватанныя стекла оконъ съ трудомъ можно было разобрать, что̀ дѣлается на площади, да впрочемъ и интереснаго эта площадь представляла мало. Съ утра до вечера гудѣлъ на ней базаръ, стояли ряды возовъ, около которыхъ сновали мужики и мѣщане.

— Я думала, что у тебя квартира въ Москвѣ, — брезгливо молвила Милочка, оглядывая номеръ, въ которомъ ей предстояло прожить около мѣсяца.

Бурмакинъ точно отъ сна очнулся. Въ самомъ дѣлѣ, это было что-то чудовищное. Такая красота, такая святыня и въ такой ужасной обстановкѣ! Это чудовищно, это почти преступленіе!

— Дѣйствительно, тѣсновато, — всхлопотался онъ: — но я къ этимъ номерамъ привыкъ, да и хозяинъ здѣшній хорошій, справедливый человѣкъ. Хочешь, я сосѣдній номеръ велю отворить, тогда у насъ будутъ двѣ комнаты вмѣсто одной.

— Помилуй, здѣсь жить нельзя! грязь, вонь... Ахъ, зачѣмъ ты меня въ Москву везъ! Теперь у насъ дома такъ весело... у сосѣдей собираются, въ городѣ танцовальные вечера устраиваютъ...

Увы! онъ даже объ обѣдѣ для Милочки не подумалъ. Но такъ какъ, пріѣзжая въ Москву одинъ, онъ обыкновенно обѣдалъ въ „Британіи“, то и жену повезъ туда же. Извозчики по дорогѣ попадались жалкіе, о какихъ теперь и понятія не имѣютъ. Шершавая крестьянская лошаденка, порванная сбруя и лубочныя сани безъ полости—вотъ и все. Милочка на-отрѣзъ отказалась ѣхать.

— Помилуй, тутъ вдвоемъ усѣсться нельзя: я на первомъ же ухабѣ вылечу вонъ,—чуть не плача говорила она.

Пришлось бѣжать на „биржу", нанимать лихача.

Въ „Британіи" дымъ стоялъ коромысломъ. Толпа студентовъ, бывшихъ и настоящихъ, пила, ѣла и въ то же время громко разговаривала. Шла рѣчь объ искусствѣ, о попыткѣ Мочалова сыграть роль короля Лира, о послѣдней статьѣ Бѣлинскаго, о предстоящемъ диспутѣ Грановскаго и т. д. Большинство присутствующихъ было знакомо Бурмакину и встрѣтило его съ распростертыми объятіями. Съ нѣкоторыми онъ познакомилъ и жену; двое-трое даже подсѣли къ ихъ столу. Бурмакинъ былъ счастливъ: атмосфера студенчества обступила его со всѣхъ сторонъ; разговоры затронули самыя живыя струны его существа. Онъ весь отдался во власть переполнившему его чувству, безпрестанно вскакивалъ съ мѣста, подбѣгалъ къ другимъ столамъ, вмѣшивался въ разговоры и вообще велъ себя такъ, какъ будто совсѣмъ забылъ о женѣ. Милочка блѣднѣла и кусала себѣ губы, едва отвѣчая на вопросы, которые любезно предлагали ей новые знакомцы.

Наконецъ обѣдъ кончился; Милочка заторопилась.

— Ну, братъ, убилъ бобра!—молвилъ Бурмакину шопотомъ Быстрицынъ, закоренѣлый студентъ-медикъ, который ужъ шесть лѣтъ посѣщалъ университетъ, словно намѣреваясь окаменѣть въ званіи студента.

— Помилуй! святая!

— Задастъ тебѣ копоти эта святая! Нѣтъ, другъ любезный! въ нашемъ званіи обзаводиться женой, да еще красавицей—не приличествуетъ!

Милочка вышла изъ трактира недовольная, измученная. Она не шла, а бѣжала по улицѣ.

— Неужели мы всякій день въ этотъ кабакъ ходить будемъ? — спросила она гадливо.

— Развѣ тебѣ не понравилось?

— Чему же тутъ нравиться! шумъ, вонь, грязь... голова заболѣла.

— Ну, вотъ, пріѣдемъ домой, тамъ отдохнемъ.

— Это куда же „домой"?—опять въ номера? изъ одной вони въ другую?

— Милочка! другъ мой! имѣй терпѣнье! Мнѣ обѣщали завтра же насъ въ центрѣ города устроить. Номера чистые, и насчетъ обѣда можно будетъ съ хозяйкой условиться, ежели ты не хочешь ходить въ „Британію".

Это была первая размолвка, но она длилась цѣлый день. Воротившись къ Сухаревой, Милочка весь вечеръ проплакала и осыпала мужа укорами. Очевидно, душевныя ея силы начали понемногу раскрываться, только совсѣмъ не въ ту сторону, гдѣ ждалъ ее Бурмакинъ. Онъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, ероша волосы и не зная, что предпринять.

— Ну, прости!—говорилъ онъ, становясь на колѣни передъ „святыней":—я глупецъ, ничего не понимающій въ дѣлахъ жизни! Постараюсь встряхнуться, вотъ увидишь!

На другой день, около обѣда, Валентинъ Осиповичъ перевезъ жену въ другіе номера. Новые номера находились въ центрѣ города, на Тверской, и были достаточно чисты; за то за двѣ крохотныхъ комнатки приходилось пла-

тить втрое дороже, чѣмъ у Сухаревой. Обѣдъ, по условію съ хозяйкой, былъ готовъ.

Милочка нѣсколько успокоилась. Покуда лакей и горничная разбирались съ вещами, она согласилась прогуляться съ мужемъ по Тверской. На дворѣ было уже темно; улица тускло освѣщалась масляными фонарями; въ окнахъ немногихъ магазиновъ и полпивныхъ уныло мерцалъ свѣтъ зажженныхъ лампъ. Но вечернее уличное движеніе было въ полномъ разгарѣ, и Людмила Андреевна безпрестанно вскрикивала, боясь, что на нее налетятъ сани. Зашли въ кондитерскую, выпили по чашкѣ шоколада, но молча, словно обоихъ приводила въ смущеніе непривычная обстановка.

Прошло нѣсколько дней, унылыхъ, однообразныхъ. Бурмакинъ сводилъ женý въ театръ. Давали „Гамлета". Милочку прежде всего удивило, что мужъ ведетъ ее не въ ложу, а куда-то въ мѣста за креслами. Затѣмъ Мочаловъ ей не понравился, и знаменитое „башмаковъ еще не износила", приведшее ея мужа въ трепетъ (онъ даже толкнулъ ее локтемъ, когда трагикъ произносилъ эти слова), пропало совсѣмъ даромъ.

— Ну, чтò? ты поражена?—допрашивалъ онъ ее, возвращаясь домой.

— Да... ничего...—отвѣтила она вяло.

— „Ничего"!—развѣ можно такъ говорить! Это чудно, дивно, божественно! Никогда Мочаловъ не былъ такъ въ ударѣ, какъ сегодня! Иногда онъ бываетъ неровенъ, но ныньче... Отъ перваго до послѣдняго слова все было въ немъ божественно! Къ сожалѣнію, онъ, кажется, запивать началъ.

— Ну, видишь ли... пьяница, а ты хвалишь!

— Я не пьяницу хвалю, а художника. Милочка! другъ мой! чтò съ тобой?

— Мнѣ... скучно...

— Ну, погоди. Вотъ черезъ три дня „Скупого" даютъ; Щепкина тебѣ покажу.

— Тоже... пьяница?

Бурмакинъ смирился. Онъ молча довелъ жену домой и, сказавъ ей, что хочетъ пройтись, оставилъ одну.

Цѣлыхъ два часа бродилъ онъ по умолкнувшимъ улицамъ, стараясь дать себѣ отчетъ въ происшедшемъ. Въ головѣ его все перепуталось. И Милочка, и Мочаловъ, и „пьяница", и „башмаковъ еще не износила". Трудно было разобраться въ этой путаницѣ, хотя онъ чувствовалъ, что началось нѣчто такое, чтò угрожало сразу нарушить его душевное равновѣсіе.

Ему сдѣлалось жутко. Что-то неясное, въ высшей степени жестокое [illegible]елькнуло въ его головѣ и острою болью отозвалось въ сердцѣ. Тѣмъ не [illegible], по мѣрѣ того какъ ходьба утомляла его, путаница, царившая въ его [illegible], улеглась, и онъ немного успокоился.

— Какой я однакожъ глупецъ! — сказалъ онъ себѣ:—женился, и не [illegible] что она еще ребенокъ, что ей нужны радости... Подавая ей руку, [illegible] что эта рука поведетъ ее по пути жизни, и, какъ честный чело- [illegible] сдержать свое слово. Я долженъ исполнить не тò, чтò нужно [illegible] надломленнаго жизнью человѣка, а тò, чего жаждетъ ея чи- [illegible] душа. И я обязанъ выполнить эту задачу, хотя бы мнѣ

пришлось, ради этого, отказаться отъ самыхъ дорогихъ привязанностей, отъ всего, на что донынѣ я смотрѣлъ какъ на святыню сердца! Милочка—вотъ моя святыня! она, одна она! И зачѣмъ только я въ Москву ѣхать затѣялъ! Вотъ ужъ именно некстати блажная мысль въ голову забрела!

Хотя послѣднее восклицаніе вырвалось случайно, но оно заключало въ себѣ горькую правду. Москва сразу раскрыла тò, чтò вѣроятно еще долгое время таилось бы подъ спудомъ. Покуда Милочка жила въ Веригинѣ, ничто необычное не возбуждало ея. Обоимъ было тамъ тепло и уютно; по цѣлымъ часамъ ходили они обнявшись изъ комнаты въ комнату, смотрѣли другъ другу въ глаза и насмотрѣться не могли. И вдругъ — Москва, вонючіе номера, „Британія", Мочаловъ — это и болѣе крѣпкую натуру ошеломить могло! Ему-то хорошо; онъ здѣсь въ родной атмосферѣ, а каково ей, одинокой, затерянной среди чужихъ людей, лишенной занятія, которое могло бы наполнить ея досугъ!..

Да, это была съ его стороны грубая ошибка, и онъ глубоко негодовалъ на себя, что не предвидѣлъ ея послѣдствій... Но въ то же время въ головѣ его назойливо складывалась мысль: общая жизнь началась такъ недавно, а раздѣльная черта ужъ обозначилась!

Когда онъ воротился въ номера, Милочка уже спала. Онъ потихоньку раздѣлся и, чтобъ не тревожить жену, улегся на диванъ.

Прошло еще нѣсколько дней. Свозилъ Бурмакинъ жену еще разъ въ театръ, но на вопросъ, понравился ли ей Щепкинъ въ „Скупомъ", встрѣтилъ прежній отвѣтъ:

— Да... ничего...

Не разъ предлагалъ онъ познакомить ее съ семейными домами, въ которыхъ онъ былъ радушно принятъ, но Милочкѣ всегда было некогда. Вставши поздно утромъ, она бродила по комнатѣ, не то думая о чемъ-то, не то просто „такъ". А онъ въ это время объѣзжалъ знакомыхъ, вспоминалъ студенческіе годы и незамѣтно проводилъ время въ разговорахъ. Обѣдали они вмѣстѣ, хотя его такъ и порывало въ „Британію". Наступалъ вечеръ, становилось тоскливо. Первые дни онъ разговаривалъ охотно, потомъ уже принуждалъ себя разговаривать и наконецъ сталъ втупикъ. Словъ не нашлось. Однажды вечеромъ онъ исчезъ, и воротился домой уже далеко за полночь.

— Милочка! чтò мнѣ сдѣлать, чтобы развеселить тебя? — приставалъ онъ къ ней.

— Мнѣ скучно... домой хочется,—отвѣчала она уныло.

Наконецъ однимъ утромъ къ нимъ пріѣхала Лариса Максимовна Каздоева, жена одного изъ самыхъ старыхъ друзей Бурмакина, и такъ убѣдительно просила Милочку посѣтить ихъ вечеромъ, что пришлось согласиться. На вечерѣ было людно и оживленно. Собралось довольно много молодыхъ людей, которые сгруппировались около Милочки и употребляли всѣ усилія, чтобъ расшевелить ее. И мужчины, и дамы — всѣ находили, что она красавица, и открыто выражали ей свое восхищеніе. Повидимому это поклоненіе ея красѣ, со стороны совсѣмъ новыхъ лицъ, польстило ей, такъ что къ концу вечера она и сама оживилась.

— Ну, что, весело тебѣ было?—спрашивалъ, возвращаясь домой, Бурмакинъ.

— Такъ... ничего, — отвѣтила она, впадая въ обычную вялость, но сейчасъ же спохватилась и продолжала: — да, весело... ничего! Только я хочу тебя объ одномъ попросить, да не знаю...

— Не просить, а приказывать ты должна!—воскликнулъ онъ восторженно:—говори! повелѣвай!

— Вотъ видишь... у всѣхъ дамъ сегодня туалеты были... ахъ, впрочемъ, нѣтъ! я такая еще глупенькая...

— Милочка! ради Бога! я горю нетерпѣніемъ...

— Хорошо, только ты не разсердись. У всѣхъ нынче плечи на платьяхъ гладкія, а мнѣ наша уѣздная портниха съ эполетцами сдѣлала...

— Новаго платьица захотѣлось? Чтожъ ты давно не сказала мнѣ? Завтра же поѣдемъ къ Сихлершѣ и по послѣдней картинкѣ закажемъ!

Платье заказали, но черезчуръ роскошное. Знакомые у Бурмакина были простые, и вечера у нихъ тоже простые. Понадобилось другое платье, простенькое. Бурмакинъ и тутъ не разсчиталъ. За другимъ платьемъ понадобилось третье, потому что нельзя же все въ одномъ и томъ же платьѣ ѣздить...

Выѣзды участились. Вечеринки слѣдовали одна за другой. Но онѣ уже не имѣли того праздничнаго характера, который носилъ первый вечеръ, проведенный у Каздоевыхъ. Восхищеніе красотой Милочки улеглось, а споры о всевозможныхъ отвлеченностяхъ снова вошли въ свои права. Милочка прислушивалась къ нимъ, даже принуждала себя понять, но безуспѣшно. Одиночество и скука начали мало-по-малу овладѣвать ею.

Съ своей стороны Бурмакинъ съ ужасомъ замѣтилъ, что взятыя имъ на прожитокъ въ Москвѣ деньги исчезали съ изумительной быстротой. А такъ какъ по заранѣе начертанному плану предстояло прожить въ Москвѣ еще недѣли три, то надобно было серьезно подумать о томъ, какъ выйти изъ затрудненія.

Очевидно, что Милочка запасалась туалетомъ не ради Москвы, которую не взлюбила, а ради родного захолустья, въ которомъ она надѣялась щегольнуть передъ кавалерами болѣе ей родственными по душѣ. Въ разсчетѣ добыть денегъ Бурмакинъ задумалъ статью: „О прекрасномъ въ искусствѣ и въ жизни“, но едва успѣлъ написать: „Ежели прекрасное само собой и, такъ сказать, обязательно входитъ въ область искусства, то къ жизни оно прививается лишь постепенно, по мѣрѣ распространенія искусства, и производитъ въ ней полный переворотъ“,—какъ догадался, что когда-то еще статья будетъ написана, когда-то напечатается, а деньги нужны сейчасъ, сію минуту... Кое-какъ однакожъ, съ помощью друзей, дѣло сладилось, и Бурмакинъ, ни слова не говоря женѣ, раздобылся небольшою суммою, которая, по разсчетамъ его, была достаточна на удовлетвореніе самыхъ необходимыхъ издержекъ.

Но тутъ опять случилась неожиданность: Милочка до такой степени затосковала, что отказалась отъ вечеровъ, а за нѣсколько дней до масляницы окончательно стала сбираться въ деревню.

— Ты доставилъ себѣ удовольствіе,—говорила она:—насмотрѣлся на своихъ пріятелей, наговорился съ ними — надо же и мнѣ что-нибудь... позволь хоть послѣдніе-то дни передъ постомъ повеселиться!

— А здѣсь!!—удивленно воскликнулъ Бурмакинъ.

— А здѣсь ужъ ты, коли хочешь, веселись.

Приходилось покориться.

Когда молодые воротились въ Веригино, захолустье гудѣло раздольемъ. Отъ сосѣдей переѣзжали къ сосѣдямъ, пили, ѣли, плясали до позднихъ пѣтуховъ, спали въ-повалку и т. д. Кромѣ того, въ уѣздномъ городѣ господа офицеры устраивали на масляницѣ большой танцовальный вечеръ, на который былъ приглашенъ рѣшительно весь уѣздъ, да предстоялъ folle journée у предводителя Струнникова.

Во всѣхъ этихъ веселостяхъ Бурмакины приняли дѣятельное участіе. Милочка совсѣмъ оживилась и очень умно распоряжалась своими туалетами. Платья, сшитыя передъ свадьбой, надѣвала въ дома попроще, а московскіе туалеты приберегала для важныхъ оказій. То первое платье, которое было сшито у Сихлеръ и для московскихъ знакомыхъ оказалось слишкомъ роскошнымъ, она надѣла на folle journée къ Струнниковымъ и рѣшительно всѣхъ затмила. Даже Александра Гавриловна замѣтила:

— Вотъ какъ Валентинъ Осипычъ васъ балуетъ. Сейчасъ видно, что туалетъ вашъ у Сихлеръ сдѣланъ.

Вообще она рѣзвилась, танцовала, любезничала съ кавалерами и говорила такія же точно слова, какъ и другіе. И даже, отъ времени до времени, въ самый разгаръ танцевъ, подбѣгала къ мужу, цѣловала его и опять убѣгала.

— Смотрите, какъ Милочка вдругъ развернулась! — удивлялись кругомъ:—откуда что̀ берется!

Наконецъ и послѣдній день масляницы канулъ въ вѣчность.

— Весело тебѣ было?—спросилъ Бурмакинъ, когда утромъ въ чистый понедѣльникъ они очутились одни въ Веригинѣ.

— Ахъ, какъ весело!—отвѣтила она, ласкаясь къ мужу: — спасибо! я вѣдь тебѣ всѣмъ этимъ обязана! Теперь я буду цѣлую недѣлю отдыхать и поститься, а со второй недѣли и опять можно будетъ... Я нѣкоторыхъ офицеровъ къ намъ пригласила... вѣдь ты позволишь?

— Помилуй! какъ тебѣ угодно!

Прошелъ мѣсяцъ, другой, и скромнаго веригинскаго дома нельзя было узнать. Веригино отстояло отъ города всего въ двѣнадцати верстахъ, и это было очень удобно. Утро господа офицеры отдавали службѣ, производили проѣздки, выѣздки, маршировали пѣшій по конному; къ обѣду они уже были свободны и могли разъѣзжать по гостямъ. Каждый день человѣкъ пять-шесть, а иногда и больше, наѣзжало въ Веригино, пило, ѣло и веселилось у Бурмакиныхъ. Съ своей стороны, и вдова Чепракова распорядилась очень удобно. Она не водворялась совсѣмъ у дочери, а раздѣлила семью на двѣ партіи. Въ воскресенье пріѣзжали двѣ сестры, а въ слѣдующее она приво-

зила третью, а первыхъ двухъ увозила на недѣлю въ аббатство. Устраивались танцы, и такъ какъ дамъ не всегда доставало, то, въ случаѣ недостатка, мужчина шелъ за даму, и это производило путаницу и общее веселье.

Бурмакинъ затворился въ кабинетѣ. Онъ видѣлъ жену только до обѣда, да и то урывками, потому что по комнатамъ безпрестанно мелькали сестрицы, неодѣтыя, нечесанныя, немытыя, да и сама Милочка рѣдко вставала съ постели раньше полудня, вознаграждая себя за вчерашнюю суматоху. Къ обѣду онъ, конечно, выходилъ въ столовую, прислушивался къ общему разговору и даже пытался принять въ немъ участіе, но изъ этихъ попытокъ какъ-то ничего не выходило. Не было ни одной общей точки соприкосновенія между нимъ и гостями; говорили они все объ чемъ-то такомъ, что̀ было для него совершенной загадкой. Никогда онъ не жилъ въ этомъ мірѣ, никогда подобныхъ разговоровъ не говаривалъ. Быть можетъ, съ его стороны это было непростительное самомнѣніе, но во всякомъ случаѣ онъ не въ силахъ былъ побороть свою изолированность и чувствовалъ себя совсѣмъ лишнимъ.

Иногда, въ самый разгаръ веселья, прибѣгала къ нему въ кабинетъ жена и звала къ гостямъ.

— Повеселись съ нами!—убѣждала она: что̀ ты все одинъ да одинъ! это, наконецъ, и невѣжество: дома гости, а хозяинъ спрятался, никому слова привѣтливаго не скажетъ.

Она брала его за руку и насильно увлекала въ залъ. Его ставили въ пару и заставляли протанцовать кадриль. Но, исполнивши прихоть жены, онъ незамѣтно скрывался къ себѣ и уже не выходилъ вплоть до самой ночи.

— Ахъ, какъ было весело!—слышалось ему поздно, когда онъ уже засыпалъ въ постели:

Это означало, что гости разъѣхались или разбрелись по комнатамъ, и жена пришла въ общую спальню.

Новые порядки волновали его. Офицеры не отходили отъ Милочки и не скрывали наглаго вожделѣнія, которое искрилось въ ихъ глазахъ. Не то чтобы онъ ревновалъ жену, но безцеремонность, которой онъ былъ свидѣтелемъ, возмущала его, опротивѣла, надоѣла. Въ особенности надоѣли ему три пана: Туро̀вскій, Бандуро̀вскій и Мазуро̀вскій. Они ѣздили въ Веригино чуть не каждый день, и, за неимѣніемъ въ городѣ конфектъ, потчивали Милочку финиками, изюмомъ и пастилою. Однажды, выйдя случайно изъ кабинета, онъ засталъ слѣдующую сцену: въ гостиной Милочка, держа съ одной стороны за руку пана Туровскаго, съ другой—пана Бандуровскаго, отплясывала передъ трюмо пятую фигуру кадрили. Сзади панъ Мазуровскій откалывалъ уморительныя колѣнца, а сестрицы, пріютившись въ уголку, безъ умолку хохотали.

— Ахъ, какъ весело!—вскрикнула Милочка, увидѣвъ его.

Онъ запальчиво хлопнулъ дверью въ отвѣтъ и исчезъ.

Да, она развилась. Всѣ данныя ей природой способности раскрылись вполнѣ, и ничего другого ждать было нечего. Но какъ быстро все объяснилось! какъ жестока судьба, которая разомъ сняла покровы съ его дорогихъ заблужденій, не давши ему даже возможности вдоволь налюбоваться ими! Ему и укрыться некуда. Вездѣ, въ самомъ отдаленномъ уголку дома, его на-

стигнетъ нахальный смѣхъ пановъ [illegible]
скаго.

Онъ вспомнилъ, что еще въ Москвѣ [illegible]
въ искусствѣ и въ жизни", и сѣлъ за работу [illegible]
сившую, что прекрасное присуще искусству, [illegible]
онъ съ помощью амплификацій объяснилъ [illegible]
мысли заняло не больше одной страницы. Но [illegible]
вліянія прекраснаго на жизнь, не давалась какъ [illegible]
валъ Бурмакинъ свою задачу, выходилъ только [illegible]
больше. Даже амплификаціи не приходили на умъ.

— Но вѣдь это само по себѣ ясно! это и доказательство [illegible]
—волновался Валентинъ Осиповичъ.

А тайный голосъ въ это время нашептывалъ:

— Положимъ, что ясно, но какая же это будетъ „статья" [illegible]
сколько печатныхъ строкъ! Развѣ такую статью гдѣ-нибудь напечатаютъ.

Промелькнули въ его воображеніи образы Мочалова, Щепкина, [illegible]
ковской; но все, что̀ онъ могъ сказать объ нихъ, уже давно было сказано
другими.

Такъ и вынужденъ онъ былъ окончательно бросить свое предпріятіе.

Тѣмъ не менѣе, домашняя неурядица была настолько невыносима, что Валентинъ Осиповичъ, чтобъ не быть ея свидѣтелемъ, на цѣлые дни исчезалъ къ роднымъ. Старики Бурмакины тоже догадались, что въ домѣ сына происходятъ нелады, и даже воздерживались отпускать въ Веригино своихъ дочерей. Но, не одобряя поведенія Милочки, они въ то же время не оправдывали и Валентина.

— Такъ по-людски не живутъ,—говорилъ старикъ-отецъ:—она еще ребенокъ, образованія не получила, никакого разговора, кромѣ самаго обыкновеннаго, не понимаетъ, а ты къ ней съ высокими мыслями пристаешь, молишься на нее. Оттого и глядите вы въ разныя стороны. Только ужъ что-то рано у васъ нелады начались; не надо было ей позволять гостей принимать.

— Помилуйте! я не брался играть роль тюремщика у своей жены! — возражалъ молодой Бурмакинъ.

— Не роль тюремщика, а надо было съ ней тѣмъ языкомъ говорить, который она понимаетъ. И въ Москву не слѣдовало ѣздить. Только избаловалъ бабенку да израсходовался. Сосчитай, сколько ты денегъ на свадьбу да на поѣздку истратилъ, а теперь пріемы эти пошли. Этакъ и разориться не долго.

Но всѣ эти совѣты и предостереженія были такъ безсодержательны, а главное, настолько запоздали, что никакого практическаго вывода изъ нихъ не вытекало.

И между сосѣдями разошлись слухи о несогласіяхъ въ молодой семьѣ Бурмакиныхъ. Но тутъ уже положительно во всемъ обвиняли Валентина, а къ женѣ его относились болѣе, нежели снисходительно.

— Бабочка молодая,—говорили кругомъ,—а мужъ какой-то шалый да ротозѣй. Смотритъ по верхамъ, а что̀ подъ носомъ дѣлается—не видитъ. Чѣмъ бы первое время послѣ свадьбы посидѣть дома да въ кругу близкихъ

повеселить молодую жену, а онъ въ Москву ее повезъ, со студентами сталъ сводить. Городятъ студенты промежъ себя чепуху, а она сидитъ, глазами хлопаетъ. Домой воротился, и дома опять чепуху понесъ. „Святая“ да „чистая“—только и словъ; а ей на эти слова плюнуть да растереть. Ну, натурально, молодка взбѣленилась.

Съ наступленіемъ лѣта, Бурмакинъ нѣсколько отдохнулъ. Полкъ ушелъ далеко, въ лагери; въ Веригинѣ стало тихо. Бурмакинъ вновь пытался сблизиться съ женой; но такъ какъ попытки эти носили тотъ же выспренній характеръ, какъ и прежде, то Милочка ихъ не поняла. Притомъ же на ней уже легло клеймо, которое неизбѣжно налагаетъ продолжительное обращеніе въ черезчуръ веселомъ обществѣ. Почувствовавши себя одинокою, она снова сдѣлалась вялою, тоскливо бродила цѣлыми днями по комнатамъ и на ласки мужа отвѣчала точно съ-просонья. То душевное оживленіе, которое раскрылось въ кругу родственныхъ по духу людей, вдругъ снова закрылось.

Между тѣмъ и по хозяйству дѣла шли плохо. Чтобы раздѣлаться съ долгами, пришлось продать и другую пустошь. А такъ какъ имѣніе было небольшое, то пустошь эта была послѣдняя, и затѣмъ оставалась только земля, замежеванная въ одной окружной межѣ, и рвать ее на клочки, для продажи частями, представлялось неудобнымъ. Староста Власъ выражалъ опасеніе, что съ продажей пустошей, пожалуй, и корма для скота не хватитъ. Но Валентинъ, вмѣсто того, чтобы общими силами разсудить, какъ помочь горю, по обыкновенію взвился на дыбы и заговорилъ совсѣмъ о другомъ.

— Власъ! ты честный человѣкъ! — апострофировалъ онъ его: — ты понимаешь меня! ты понимаешь, какъ я глубоко-глубоко несчастливъ!

— Это точно; и всѣ мы видимъ, что вамъ не пофартило...

— Ну, вотъ. А ты говоришь, что корму для скота не хватитъ!.. Развѣ я могу объ этомъ думать! Ахъ, голова у меня... Каждый день, голубчикъ! каждый день одно и то же съ утра до вечера,..

— Да, это точно-что...

Власъ уходилъ, оставляя барина въ добычу тоскливому одиночеству.

Однакожъ и то относительное спокойствіе, которымъ пользовался Бурмакинъ въ теченіе лѣта, постепенно приближалось къ концу. Наступилъ сентябрь, и полкъ снова расположился на зимнихъ квартирахъ. Первыми прилетѣли въ Веригино паны Туровскій, Вандуровскій и Мазуровскій, затѣмъ и сестрицы Чепраковы; гвалтъ возобновился въ той же силѣ, какъ и до лагерей. Валентинъ совсѣмъ потерялъ голову.

— Я уѣду въ Москву,—высказался онъ однажды отцу.

Старикъ задумался.

— Соскучишься, голубчикъ!—сказалъ онъ, покачивая головой.

— Помилуйте! о какой скукѣ можетъ быть рѣчь! Я каждый день только того и жду, что съума сойду!

— Ну, положимъ, уѣдешь ты; а вдругъ и она вслѣдъ за тобой въ Москву пріѣдетъ!

— Она! никогда!

— А можетъ и вотъ еще что̀ случиться: ты уѣдешь, а вмѣсто тебя тёща въ Веригинѣ поселится. Вѣдь она въ одинъ годъ все размотаетъ.

— И пускай. Неужели вы думаете, что меня это заботитъ!

— Все-таки, надобно и тебѣ чѣмъ-нибудь въ Москвѣ жить.

— Обо мнѣ безпокоиться нечего. Меня друзья какъ-нибудь пристроятъ. Ежели я къ литературной работѣ неспособенъ, то уроки давать могу.

— Коли такъ, то пожалуй... Чѣмъ мучиться, лучше и взаправду уйти. Только я совѣтую дать мнѣ довѣренность на управленіе имѣніемъ: я все-таки хоть сколько-нибудь Калерію Степановну уйму.

Нѣкоторое время Бурмакинъ однакожъ откладывалъ рѣшеніе, а сосѣди между тѣмъ уже громко говорили, что Милочка вошла въ интимную связь съ паномъ Мазуровскимъ, и что послѣдній даже хвалится этимъ. Старикъ Бурмакинъ не выдержалъ и пріѣхалъ въ Веригино.

— Уѣзжай!—сказалъ онъ сыну.

— Что̀ такъ приспѣло?

— Уѣзжай. Нехорошо.

Валентинъ понялъ. Ему вдругъ сдѣлалось гнусно жить въ этомъ домѣ. На̀скоро съѣздилъ онъ въ городъ, написалъ довѣренность отцу и началъ исподволь собираться. Затѣмъ онъ воспользовался первымъ днемъ, когда жена уѣхала въ городъ на танцовальный вечеръ, и исчезъ изъ Веригина.

Милочка возвратилась изъ города уже къ утру слѣдующаго дня и узнала объ отъѣздѣ мужа только проснувшись. Въ первую минуту эта вѣсть заставила ее задуматься, но Калерія Степановна тотчасъ же подоспѣла съ утѣшеніями.

— Помилуй! — сказала она: — да намъ безъ него еще лучше будетъ! Нашла о комъ жалѣть... о дуракѣ!

Къ обѣду пріѣхали паны Туровскій, Бандуровскій и Мазуровскій, и Милочка окончательно повеселѣла.

Что̀ сталось впослѣдствіи съ Бурмакинымъ, я достовѣрно сказать не могу. Ходили слухи, что московскіе друзья помогли ему опредѣлиться учителемъ въ одну изъ самыхъ дальнихъ губернскихъ гимназій, но куда именно —неизвѣстно. Конечно, отецъ Бурмакинъ имѣлъ положительныя свѣдѣнія о мѣстопребываніи сына, но на всѣ вопросы объ этомъ онъ неизмѣнно отвѣчалъ;

— Въ Москвѣ еще... Никакъ устроиться не можетъ.

Милочка не сдобровала. Подъ руководствомъ мамаши она завела такое веселье въ Веригинѣ, что и вмѣшательство старика Бурмакина не помогло. Сумма долговъ, постепенно возрастая, дошла наконецъ до того, что потребовалось продать Веригино. Разумѣется, Валентинъ Осипычъ изъявилъ полное согласіе, чтобы осуществить продажу.

Покуда шла эта неурядица, Калерія Степановна какъ-то изловчилась перестроить старое аббатство. Туда и переселилась Милочка, по продажѣ Веригина, такъ какъ мужъ рѣшительно отказался принять ее къ себѣ. Вмѣстѣ съ нею перенесли въ аббатство свои штабъ-квартиры и паны Туровскій, Бандуровскій и Мазуровскій.

А невдолгѣ послѣ этого старики Бурмакины умерли, предварительно выдавши дочерей замужъ. И такимъ образомъ фамилія Бурмакиныхъ совсѣмъ исчезла изъ нашего уѣзда.

XXX.—Словущенскія дамы и проч.

Я разумѣю здѣсь помѣщицъ-вдовъ, занимавшихся хозяйствомъ самостоятельно.

Ихъ было въ Словущенскомъ двѣ: Степанида Михайловна Слѣпушкина и Марья Марѣвна Золотухина, и обѣ жили черезъ дорогу, другъ противъ друга.

Слѣпушкина была одна изъ самыхъ бѣдныхъ дворянокъ нашего захолустья. За ней числилось всего пятнадцать ревизскихъ душъ, все дворовые, и не больше ста десятинъ земли. Жила она въ маленькомъ домикѣ, комнатъ въ шесть, довольно ветхомъ; передъ домомъ былъ разбитъ крошечный палисадникъ; сзади разведенъ довольно большой огородъ; по бокамъ стояли службы, тоже ветхія, въ которыхъ помѣщалось большинство дворовыхъ.

Несмотря на недостатки, она однакожъ не запиралась отъ гостей, такъ что отъ времени до времени къ ней наѣзжали сосѣди. Угощенье подавалось такое же, какъ и у всѣхъ, свое, некупленное; только ночлега въ своемъ тѣсномъ помѣщеніи она предложить не могла. Но такъ какъ въ Словущенскомъ существовало около десяти дворянскихъ гнѣздъ, и въ томъ числѣ усадьба самого предводителя, то запоздавшіе гости обыкновенно размѣщались на ночь у сосѣднихъ помѣщиковъ, да кстати и слѣдующій день проводили у нихъ же.

Степанида Михайловна рано осиротѣла. Восемнадцати лѣтъ она уже сдѣлалась вполнѣ самостоятельной хозяйкой, и принялась за дѣло съ такимъ умѣньемъ, что всѣ сосѣди дивились ей. При старикахъ (оба, и отецъ, и мать, были пьяненькіе) хозяйство пришло въ упадокъ, такъ что надо было совсѣмъ новые порядки завести. Съ величайшимъ рвеніемъ погрузилась она въ массу хозяйственныхъ подробностей, и онѣ полюбились ей. Съ утра до вечера, въ лѣтнюю пору, расхаживала она по своимъ владѣніямъ, разспрашивала, совѣтовалась, а порой и сама совѣтъ давала. Дворовые полюбили ее. Хоть положеніе ихъ было нелегкое, но барышня обращалась съ ними такъ просто и ласково, была такая веселая и бодрая, что, глядя на нее, и подневольнымъ людямъ становилось веселѣе. И барышня, и дворовые жили вмѣстѣ, въ одной усадебной оградѣ, общею жизнью. Даже въ пищѣ Степанида Михайловна старалась не отличаться отъ дворовыхъ. Словомъ сказать, ее называли не иначе, какъ веселою барышней, и въ будущемъ, когда ее посѣтилъ тяжелый недугъ, это общеніе сослужило ей великую службу.

За тѣмъ да за сѣмъ (какъ она выражалась) веселая барышня совсѣмъ позабыла выйти замужъ, и только достигши тридцати лѣтъ догадалась влюбиться въ канцелярскаго чиновника уѣзднаго суда Слѣпушкина, который былъ моложе ея лѣтъ на шесть и умеръ чахоткой, года полтора спустя послѣ свадьбы, оставивъ жену беременною. Мужа она страстно любила, и все время, покуда его точилъ жестокій недугъ, самоотверженно за нимъ ухаживала.

Это былъ кроткій молодой человѣкъ, блѣдный, худой, почти ребенокъ. Покорно переносилъ онъ иго болѣзненнаго существованія и покорно же умиралъ на рукахъ жены, на которую смотрѣлъ не столько [illegible]

зами облагодѣтельствованнаго человѣка. Считая себя какъ бы виновникомъ предстоящаго ей одиночества, онъ грустно вперялъ въ нее свои взоры, словно просилъ прощенія, что встрѣча съ нимъ не дала ей никакихъ радостей, а только внесла безплодную тревогу въ ея существованіе.

Черезъ нѣсколько недѣль послѣ того какъ она осталась вдовой, у нея родилась дочь Клавденька, на которую она перенесла свою страстную любовь къ мужу. Но больное сердце не забывало, и появленіе на свѣтъ дочери не умиротворило, а только еще глубже растравило свѣжую рану. Степанида Михайловна долгое время тосковала и наконецъ стала искать забвенія...

Забвеніе это она обрѣла въ винѣ, и изъ года въ годъ недугъ ея принималъ все бо́льшіе и бо́льшіе размѣры.

Пила она не постепенно, а запоемъ. Каждые два мѣсяца дней на десять она впадала въ настоящее бѣшенство, и въ теченіе этого времени домъ ея наполнялся чисто адскимъ гвалтомъ. Утративши всякое сознаніе, она бѣгала по комнатамъ, выкрикивала безсмысленныя слова, хохотала, плакала, ничего не ѣла, не спала напролетъ ночей.

Даже зимой, несмотря на двойныя рамы, крики ея слышались на улицѣ и пугали прохожихъ. Но что̀ всего хуже—подъ этотъ безумный гвалтъ росла ея дочь.

Клавденькѣ шелъ ужъ восемнадцатый годъ. Вышла она вся въ отца, такая же блѣдная, худенькая, деликатная. Училась, конечно, поверхностно, ходя ежедневно къ сосѣдямъ, у которыхъ была гувернантка, за что̀ впрочемъ мать ежегодно вносила извѣстное вознагражденіе домашними припасами. По началу пьяные припадки матери пугали ее, но чѣмъ болѣе приближалась она къ сознательному возрасту, тѣмъ больше испугъ уступалъ мѣсто глубокому состраданію. Она въ свою очередь была страстно привязана къ матери, и сердце ея наполнялось безпредѣльнымъ жалѣніемъ, какъ только показывались первые признаки приближающагося припадка.

Начиналось обыкновенно съ того, что все существо Степаниды Михайловны проникалось тревогой. Она пряталась отъ дочери, избѣгала свѣта, безпрестанно ощипывала и обдергивала на себѣ платье и дико озиралась, словно чего-то ища. Наконецъ запиралась въ спальнѣ, откуда вслѣдъ затѣмъ начинало раздаваться безсвязное бормотанье. Дочь молча плакала, но не пыталась стучаться въ дверь, зная, что въ подобныя минуты самое сердечное и мягкое вмѣшательство можетъ только раздражить. Дней черезъ пять когда пароксизмъ доходилъ до высшей точки и наступало настоящее бѣшенство, Степанида Михайловна съ шумомъ отворяла дверь своей спальни и прибѣгала къ дочери.

— Клавдюшка! подлячка у тебя мать? говори! подлячка?—раздавался во всѣхъ углахъ дома ея рѣзкій крикъ.

Этотъ страшный вопросъ повторялся въ теченіе дня безпрерывно. Повидимому, несчастная даже въ самыя тяжелыя минуты не забывала о дочери, и мысль, что единственное и страстно любимое дѣтище обязывается жить съ срамною и пьяною матерью, удвоивала ея страданія. Въ трезвые промежутки она не разъ настаивала, чтобы дочь на время запоя уходила къ сосѣдямъ, но послѣ[illegible]чалась.

— Нѣтъ, маменька, мнѣ дома лучше,—отвѣчала она, и въ безконечной деликатности даже не объясняла причинъ своего отказа, опасаясь, чтобы объясненіе не придало преувеличеннаго значенія ея жертвѣ.

Когда кончался запой, Степанида Михайловна приказывала истопить баню и парилась. Дня два послѣ этого она бродила по комнатамъ, тоскуя и не приступая ни къ какому дѣлу. Осунувшееся лицо выражало глубокое утомленіе, руки и ноги дрожали, глаза безъ мысли смотрѣли въ даль. Вино сразу дѣлалось ей противнымъ, апетитъ и сонъ черезчуръ медленно вступали въ свои права. Мало-по-малу однакожъ все приходило въ порядокъ. Она принималась за хозяйство,—но это была ужъ не та бодрая, совѣстливая и веселая барышня, какою ее знали лѣтъ двадцать тому назадъ. Такъ что ежели дѣло не совсѣмъ приходило въ упадокъ, то именно благодаря тому, что сами дворовые поддерживали установившіеся порядки.

— Марья Маревна!—отъ времени до времени перекликалась черезъ дорогу съ Золотухиной, своею сосѣдкой, Слѣпушкина:—зашла бы ты ко мнѣ.

Золотухина приходила, и между сосѣдками завязывалась бесѣда.

— Хоть бы ты къ себѣ Клавдюшку-то уводила, покуда я колоброжу,—сѣтовала Степанида Михайловна.

— И то сколько разъ пыталась, да никакъ уломать не могу. „Мое, говоритъ, мѣсто при матери“.

— Срамная я...

— Чего ужъ хуже! Воли надъ собой взять не можешь... Не вели вина давать—вотъ и вся недолга!

— А лучше будетъ, ежели я въ кабакъ дебоширствовать убѣгу?

— Чтой-то ужъ и въ кабакъ... спаси Богъ!

— Было уже со мной это—неужто не помнишь? Строго-на-строго запретила я въ ту пору, чтобъ и не пахло въ домѣ виномъ. Только пришло мое время, я кричу: вина!—а мнѣ не даютъ. Такъ я изъ окна ночью выпрыгнула, убѣжала къ Троицѣ, да цѣлый день тамъ въ одной рубашкѣ и чуделесила, покуда меня не связали да домой не привезли. Нѣтъ, видно, мнѣ съ тѣмъ и умереть. Того гляди, сбѣгу ночью, да гдѣ-нибудь либо въ рѣкѣ утоплюсь, либо въ канавѣ закоченѣю.

— Ахъ, грѣхъ какой!

— Ничего не подѣлаешь. Я впрочемъ не о себѣ, а объ дочкѣ хотѣла съ тобой поговорить. Не нравится мнѣ она.

— Чему жъ въ ней не нравиться — дѣвица какъ дѣвица. Смотрите! родная дочка уже разондравилась!

— Не о томъ я. Не нравится мнѣ, что все одна да одна, живетъ съ срамною матерью да хирѣетъ. Посмотри, на что̀ она похожа стала! Блѣдная, худая да хилая, все на грудь жалуется. Боюсь я, что и у нея та же болѣзнь, что у покойнаго отца. У Бога милостей много. Мужа отнялъ, меня разума лишилъ—пожалуй, и дочку къ себѣ возьметъ. Живи, скажетъ, подлая, одна въ кромѣшномъ аду!

— Ишь вѣдь ты какая! и въ Бога-то вѣрить перестала?

— Вѣрила я...

Слѣпушкина не доканчивала и задумывалась.

— Ничего, все обойдется благополучно,—утѣшала ее Марья Маревна. —Никакой болѣзни у Клавденьки нѣтъ—что̀ пустяки говорить! Вотъ черезъ годъ мой Мишàнка изъ-за границы воротится, въ побывку къ матери пріѣдетъ. Увидитъ Клавденьку, понравятся другъ дружкѣ—вотъ и женихъ съ невѣстой готовы!

— Ахъ, кабы...

Сосѣдки расходились, и въ сердцѣ пьяницы поселялась робкая надежда. Давно, признаться, она ужъ начала мечтать о Михайлѣ Золотухинѣ — вотъ бы настоящій для Клавденьки мужъ!—да посмотрить, посмотритъ на дочку, вспомнитъ о покойномъ мужѣ да и задумается. Что̀, ежели въ самомъ дѣлѣ отецъ свой страшный недугъ дочери передалъ? что̀, если она умретъ? Куда она тогда съ своей пьяной головой дѣнется? неужто хоть одну минуту такое несчастье переживетъ?!

Къ сожалѣнію, пьяная мать оказалась права. Несомнѣнно, что Клавденька у всѣхъ на глазахъ сгарала. Еще когда ей было не больше четырнадцати лѣтъ, показались подозрительные припадки кашля, которые съ каждымъ годомъ усиливались. Наслѣдственность брала свое, и такъ какъ помощи ни откуда ждать было нельзя, то дѣвушка неминуемо должна была погибнуть.

Повидимому она и сама это подозрѣвала. Отъ нея не умѣли скрыть, какимъ недугомъ умеръ ея отецъ, и она знала, что это недугъ наслѣдственный. Тѣмъ не менѣе, жажда жизни горѣла такъ сильно, что она даже въ самыя тяжелыя минуты не переставала вѣрить и надѣяться.

Ноги начинали подкашиваться, багровыя пятна на щекахъ рдѣли, голова тяжелѣла и покрывалась пòтомъ, а ей казалось, что на-встрѣчу идетъ чудо, которое вотъ-вотъ сниметъ съ нея чары колдовства.

Наконецъ и двигаться стало не въ мочь. Ее усадили въ кресло, неподалеку отъ окна, изъ котораго былъ виденъ палисадникъ и сквозь чащу акацій мелькала избушка Золотухиной, обложили подушками и для послугъ приставили ея любимую горничную.

— Ты бывала когда-нибудь больна, Паша?—спрашивала она свою собесѣдницу.

— Сколько разъ, барышня!

— Нѣтъ, вотъ такъ, какъ я?

— Во сто разъ хуже... Какая ваша болѣзнь!

— Отъ этой болѣзни, говорятъ, спасенья нѣтъ. Чахотка. Покойный папенька въ чахоткѣ умеръ. Вонъ какія у меня на щекахъ красныя пятна выступили!

— Что̀ вы, Христосъ съ вами! такъ, неможется вамъ... Простудились, должно быть. И пятенъ на щекахъ нѣтъ!—просто румянчикъ! Красавица вы у насъ!

Въ постепенномъ увяданіи прошло цѣлое лѣто. Съ наступленіемъ зимы пришлось закупориться; и палисадникъ, и улицу занесло снѣгомъ такъ, что и глазамъ не на что было порадоваться. Отсутствіе свѣта, духота комнатъ давили сильнѣе и сильнѣе. Настали изнурительныя безсонныя ночи, и такъ [illegible] существованіе еще не успѣло запастись внутреннимъ содержаніемъ. [illegible] другомъ не думалось, кромѣ представленія о зіяющей

безднѣ, которая съ каждымъ днемъ выступала яснѣе и яснѣе, ежеминутно готовая поглотить ее. Ужели судьба такъ жестока? безпрестанно жаловалось тоскующее сердце:—ужели она она не приготовила ей никакихъ радостей, одну только смерть?..

— Тяжело, Паша, умирать?—спрашивала она.

— Не знаю, не умирала,—отдѣлывалась Паша шуткой:—да что вы, барышня, все про смерть да про смерть! вотъ ужо весна придетъ, встанемъ мы съ вами, пойдемъ въ лѣсъ по ягоды... Еще такъ отдохнемъ, что лучше прежняго заживемъ!

Но положеніе по истинѣ дѣлалось страшнымъ, когда у матери начинался пьяный запой. Домъ наполнялся безсмысленнымъ гвалтомъ, проникавшимъ во всѣ углы; обезумѣвшая мать врывалась въ комнату больной дочери и бросала въ упоръ одинъ и тотъ же страшный вопросъ:

— Подлячка у тебя мать? говори! подлячка?

Пробовали запирать Степаниду Михайловну въ спальнѣ, но больная всякій разъ приказывала отворить дверь.

— Пускай входитъ! ей легче, когда она на свободѣ,—говорила она:—а я ужъ привыкла.

Наступило тепло. Въ воображеніи больной рисовалось родное село, поле, луга, солнце, просторъ. Она все чаще и чаще заговаривала о томъ, какъ ей будетъ хорошо, если даже недугъ не сразу оставитъ ее, а позволитъ хоть вынести въ креслѣ въ палисадникъ, чтобы свѣжимъ воздухомъ подышать.

Призвали наконецъ и доктора, который своимъ появленіемъ только напугалъ больную. Это былъ одинъ изъ тѣхъ неумѣлыхъ и неразвитыхъ захолустныхъ врачей, которые изъ всѣхъ затрудненій выходили съ честью при помощи формулы: „въ извѣстныхъ случаяхъ наша наука безсильна". Эту формулу высказалъ онъ и теперь; высказалъ самоувѣренно, безапелляціонно и, принявъ изъ рукъ Степаниды Михайловны (на этотъ разъ трезвой) красную ассигнацію, уѣхалъ обратно въ городъ.

Оставалось умереть. Всѣ съ часу на часъ ждали роковой минуты, только сама больная продолжала мечтать. Поле, цвѣты, солнце... и много-много воздуха! Точно живительная влага изъ полной чаши, льется ей воздухъ въ грудь, и она чувствуетъ, какъ подъ его дѣйствіемъ стихаютъ боли, организмъ крѣпнетъ. Она дѣлаетъ надъ собою усиліе, встаетъ съ своего одра, отворяетъ двери и бѣжитъ, бѣжитъ...

Вотъ она встала и озирается. Еще рано, но окна ужъ побѣлѣли, и весеннее солнце не замедлитъ позолотить ихъ. Рядомъ съ ея кресломъ сидитъ Паша и дремлетъ; нѣсколько поодаль догораетъ сальный огарокъ, и желтое пламя чуть-чуть выдѣляется изъ утреннихъ сумерекъ. Ей становится страшно; она протягиваетъ руку, чтобы разбудить Пашу, хочетъ крикнуть—и въ изнеможеніи падаетъ...

Смерть застигла ее какъ разъ во время запоя матери. Собрались сосѣди и съ помощью дворовыхъ устроили похороны. На этотъ разъ къ Степанидѣ Михайловнѣ приставили прислугу и не выпускали ее изъ спальни, такъ что неизвѣстно, поняла ли она что-нибудь, когда мимо ея оконъ проносили на погостъ гробъ...

Когда запой кончился, старуха по обыкновенію вымылась въ банѣ, потомъ зашла къ дочери и, увидѣвъ ея опустѣлую комнату, поняла.

— Ну, теперь и мнѣ готовиться надо,—произнесла она чуть слышно, и на цѣлыя сутки заперлась въ спальнѣ. Никто не видѣлъ ея слезъ, не слышалъ ея жалобъ; многіе думали, что она опять запила.

Но повидимому у нея уже задолго до того, въ виду возрастающаго недуга дочери, созрѣла завѣтная мысль, и теперь она торопилась осуществить ее.

Дня черезъ два она уѣхала въ городъ и всѣмъ дворовымъ дала отпускныя. Потомъ совершила на ихъ имя дарственную запись, которою отдавала дворовымъ, еще при жизни, усадьбу и землю въ полную собственность, а съ нихъ взяла частное обязательство, что до смерти ея они останутся на прежнемъ положеніи.

Сдѣлавши эти распоряженія, она спокойно стала ждать роковой минуты. Запой не замедлилъ. Несчастная кричала и бурлила больше обыкновеннаго, и хотя дворовые даже строже, чѣмъ прежде, наблюдали за нею, но на этотъ разъ она съумѣла обмануть ихъ бдительность.

Въ одну изъ ночей, въ самый пароксизмъ запоя, страшный, удручающій гвалтъ, наполнявшій домъ, вдругъ смѣнился гробовою тишиною. Внезапно наступившее молчаніе пробудило дремавшую около ея постели прислугу; но было уже поздно: „веселая барышня“ въ лужѣ крови лежала съ перерѣзаннымъ горломъ.

Въ виду всѣмъ извѣстнаго болѣзненнаго состоянія ее похоронили не какъ самоубійцу, а по христіанскому обряду. Все село собралось на погребеніе, а въ томъ числѣ и сосѣди. Говорили преимущественно о „странномъ“ распоряженіи, которое сдѣлала покойная относительно своего имѣнія.

— Нашего полку прибыло! вотъ и еще дворяне проявились у насъ на селѣ!—поздравляли другъ друга сосѣди.

Марья Маревна Золотухина была еще бѣднѣе Слѣпушкиной. Имѣніе ея заключалось всего изъ четырехъ ревизскихъ душъ (дворовыхъ) при сорока десятинахъ земли, да еще предводитель Струнниковъ подарилъ ей кучеренка Прошку, но документа на него не далъ, такъ что Золотухина находилась въ постоянномъ недоумѣніи—чей Прошка, ея или Струнниковскій.

— Стану я въ городъ ѣздить да купчія совершать!—отзывался Струнниковъ на ея настоянія закрѣпить за ней Прошку:—живетъ онъ у тебя— и будетъ.

Усадьбу ея, даже по наружному виду, нельзя было назвать господской; это была просторная изба, раздѣленная на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной, „черной“, помѣщалась стряпущая и дворовые, а въ другой, „чистой“, состоявшей изъ двухъ комнатъ, жила она съ дѣтьми.

Когда-то изба была покрыта тесомъ, но отъ времени тесъ сопрѣлъ, и новую крышу сдѣлали уже соломенную, такъ что и съ этой стороны жилье перестало отличаться от[illegible]ной крестьянской избы. Даже палисадника не существовало: [illegible] былъ разведенъ небольшой огородъ, въ

которомъ росли лишь самыя необходимыя въ хозяйствѣ овощи. При такой бѣдности и въ то дешевое время существовать было трудно.

Происходила Золотухина изъ духовнаго званія. Отецъ ея Марій (попросту Марей) Семенычъ Скорбященскій до конца жизни былъ настоятелемъ словущенской церкви и слылъ опытнымъ и гостепріимнымъ хозяиномъ. Марья Маревна никогда не могла назваться красивою, но полюбилась Гервасію Ильичу Золотухину, захудалому дворянину, родъ котораго издавна поселился въ Словущенскомъ. Она была ужъ немолода, когда выходила замужъ, а Золотухинъ лѣтъ на двадцать былъ старше ея и, кромѣ того, попивалъ. Долгое время дѣвица Скорбященская не рѣшалась отдать ему руку и сердце.

— Колотить ты меня, пожалуй, подъ пьяную руку, будешь?—говорила она своему обожателю.

— Ахъ, голубка! да ты мнѣ тогда...

— То-то! ты у меня это помни! я и сама одной рукой трехъ-пудовую гирю поднять могу! такъ тебя кулачищемъ окрещу, что свѣта не взвидишь!

Сдѣлавшись дворянкою, Марья Маревна прежде всего занялась перевоспитаніемъ стараго мужа. Держала его дома, не давала вина, а когда ему удавалось урваться на свободу, и онъ возвращался домой пьяный, то въ наказаніе связывала ему руки, а иногда и просто-на-просто била. Перевоспитаніе дѣйствительно удалось; Гервасій Ильичъ совсѣмъ пересталъ пить, но въ то же время заскучалъ и началъ хирѣть. Человѣкъ онъ былъ смирный, какъ листъ дрожалъ передъ женой, и потому въ избушкѣ, за рѣдкими исключеніями, господствовала полная тишина. И хозяйствомъ, и домоводствомъ полновластно распоряжалась жена, а мужъ по цѣлымъ днямъ уныло бродилъ по единственной свободной горницѣ, бормоча безсвязныя слова и завидливо прислушиваясь, не доносится ли съ Слѣпушкиной усадьбы гвалта, свидѣтельствующаго о началѣ запоя. По временамъ онъ выбѣгалъ въ сѣни, пріотворялъ дверь въ стряпущую и, просунувъ плѣшивую голову, шопотомъ обращался къ стряпухѣ:

— Ты бы, Ненилушка, хоть полстаканчика водки у вѣдьмы на кушанье выпросила!

Но на его горе всегда въ такихъ случаяхъ словно изъ-подъ земли выростала Марья Маревна и въ одинъ мигъ водворяла его на чистую половину.

— Вотъ тебѣ „вѣдьма"! вотъ тебѣ за „вѣдьму"!—кричала она, выталкивая его могучими руками въ шею и въ спину, такъ что онъ ежеминутно рисковалъ растянуться на полу и, пожалуй, расшибиться.

Результатъ этой системы перевоспитанія не заставилъ себя долго ждать. Не прошло и трехъ лѣтъ совмѣстной жизни супруговъ, какъ Гервасій Ильичъ умеръ, оставивъ на рукахъ жены двухъ мальчиковъ-близнецовъ. Снесла Марья Маревна мужа на погостъ и, какъ говорится, обѣими руками перекрестилась.

— Ну, теперь я, по крайности, хоть дѣтьми займусь! — [illegible] себѣ, и дѣйствительно всю страстность горячаго матерински[illegible] этимъ дѣтямъ.

По странному капризу, она дала при[illegible]

ныя имена. Перваго, увидѣвшаго свѣтъ, назвала Михаиломъ, второго—Мисаиломъ. А въ уменьшительномъ кликала ихъ: Миша́нка и Миса̀нка. Старалась любить обоихъ сыновей одинаково, но, помимо ея воли, безотчетный материнскій инстинктъ все-таки болѣе влекъ ее къ Миша̀нкѣ, нежели къ Миса̀нкѣ.

Несмотря на то, что смерть мужа въ значительной мѣрѣ развязала ей руки, вдова очень скоро убѣдилась, что при той бѣдности, на которую она осуждена, ей ни подъ какимъ видомъ не сдобровать. Будущее дѣтей наполняло ея сердце безконечной тревогой. Покуда они были малы, жизнь еще представлялась возможною, но вѣдь какія-нибудь пять-шесть лѣтъ пролетятъ такъ быстро, что и не замѣтишь. Подойдетъ „наука", и вотъ тогда-то начнется настоящее неисходное вдовье горе. Происходя изъ духовнаго званія, она хоть и смутно, но понимала, что мальчикамъ безъ „науки" не прожить. У нея было четыре брата, изъ которыхъ двое ужъ кончили курсъ въ семинаріи, а двое еще учились; было двѣ сестры замужемъ за священниками (одна даже въ губернскомъ городѣ), которые тоже считали себя причастными наукѣ. Самъ отецъ Марій хоть и позабылъ многое, а все-таки въ свое время кончилъ въ семинаріи курсъ, а иногда и теперь рисковалъ просклонять: mensa, mensae и т. д. Да и она была грамотная, и по части церковной и даже гражданской печати могла хоть кого угодно за поясъ заткнуть.

Да, нужна наука, нужна; и время, когда азбука всевластно опутаетъ существованіе невинныхъ дѣтей, подкрадется невидимо, яко тать въ нощи.

И дѣйствительно, оно наступило, когда мальчикамъ минуло шесть лѣтъ. Можно было бы, конечно, и повременить, но Марья Маревна была нетерпѣлива, и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, сама начала учить дѣтей грамотѣ.

Марья Маревна учила толково, но тутъ между дѣтьми сказалась значительная разница. Тогда какъ Миша̀нка быстро переходилъ отъ азбуки къ складамъ, отъ складовъ къ изреченіямъ, и съ какимъ-то упоеніемъ выкрикивалъ самыя неудобопроизносимыя сочетанія буквъ, Миса̀нка то-и-дѣло тормазилъ успѣшный ходъ учёбы своею тупостью. Нѣкоторыхъ буквъ онъ совсѣмъ не понималъ, такъ что приходилось подниматься на хитрость, чтобы заставить его усвоить ихъ.

Въ особенности его смущали буквы: *э*, *ѳ* и *г*.

— Какой ты, однако, глупый!—сердилась мать:—ну, помнишь пѣсню! *Эко сердце, эко сердце, эко бѣдное мое? Эко!* чувствуешь: *Э*...ко? ну, вотъ оно самое и есть!

Или:

— Ѳедора Васильича, предводителя, знаешь? Ѳедоръ... Фё-фё-фё... ѳё-ѳё-ѳё.... вотъ эта самая ѳита и есть!

Или:

— А ижицу самъ запомни. Вотъ она! стоитъ растопырей, словно вилы, которыми сѣно на стогъ подаютъ!

Разумѣется, въ концѣ концовъ Миса̀нка усвоилъ-таки „науку", только съ оятой долго не могъ справиться и называлъ ее не иначе какъ Ѳедоромъ Васильич[illegible] [illegible]нобо[illegible] [illegible]днажды онъ даже не мало огорчилъ мать, уви-

дѣвъ черезъ окно проѣзжавшаго по улицѣ Струнникова и закричавъ во все горло:

— Мамка! Ѳита ѣдетъ! Ѳита!

Марья Маревна не на шутку перепугалась, и, чтобы окончательно запечатлѣть образъ ѳиты въ умѣ Мисàнки, тутъ же высѣкла его.

Въ предвидѣніи предстоящей дѣтской учёбы, Золотухина заранѣе устраивала себѣ связи въ помѣщичьей средѣ. Дома ей рѣшительно нѐ у чего было хозяйствовать, а со смертью мужа и жить на одномъ мѣстѣ, пожалуй, не представлялось надобности. Поэтому она почти постоянно разъѣзжала въ рогожной кибитчонкѣ, запряженной парой рабочихъ лошадокъ, по помѣщичьимъ усадьбамъ, и у нѣкоторыхъ сосѣдей, въ семействахъ которыхъ жили гувернантки или окончившіе курсъ семинаристы, заживалась подолгу. Пріѣдетъ и ребятишекъ съ собой привезетъ; сама около хозяйки дома пристроится, разговорами занимаетъ, семейныя жалобы выслушиваетъ, домашнія несогласія умиротворяетъ, по хозяйству полезные совѣты подаетъ. Попросятъ ее на скотный дворъ сходить присмотрѣть—она сходитъ; попросятъ въ амбарѣ зерно перемѣрить—перемѣритъ.

— Заждались мы тебя! — говорятъ хозяева, привѣтствуя ея пріѣздъ: —слòва молвить безъ тебя не съ кѣмъ, даже хозяйство черезъ пень колоду пошло!

А мальчики между тѣмъ, усѣвшись въ классной комнатѣ, вмѣстѣ съ хозяйскими подростками на практикѣ познаютъ, что ежели корни ученія горьки, за то плоды его сладки.

Ѣздила она такимъ образомъ да ѣздила — и добилась своего. Хотя ученье, по причинѣ частыхъ кочеваній, вышло нѣсколько разношерстное, а все-таки, года черезъ два-три, и Мишàнка, и Мисàнка умѣли и по-французски, и по-нѣмецки нѣсколько ходячихъ фразъ безъ ошибки сказать, да и изъ прочихъ наукъ начатки усвоили. Имъ еще только по десятому году пошло, а хоть сейчасъ вези въ Москву да въ гимназію отдавай.

Конечно, этотъ результатъ достался не легкой цѣной, но ужъ и то было счастье, что среди постоянныхъ скитаній она удержалась на извѣстной чертѣ и не перешла въ буфонство. Это доказывало присутствіе въ ней такта, очень рѣдкаго въ бѣдной, мелкопомѣстной средѣ, всецѣло, ради сладкаго куска, отдающей себя на потѣху болѣе зажиточной собратіи. Она была толковита, совѣстлива, осторожна. Не всякое слово, какое на языкъ попадалось, выкладывала, вѣстей изъ дома въ домъ не переносила, и вообще старалась держать себя не какъ приживалка, а какъ гостья, на равной ногѣ съ хозяевами. Много ей въ этомъ случаѣ помогалъ Мишàнка, ласковый и экспансивный мальчикъ, всѣхъ приводившій въ восторгъ. Его не только нигдѣ не считали лишнимъ, но нерѣдко даже упрашивали мать оставить его погостить на продолжительное время. Но Марья Маревна пуще всего боялась, чтобы изъ сына не выработался заурядный приживалецъ, а сверхъ того у нея ужъ [illegible] расчетъ обоихъ дѣтей особенный планъ, такъ что она ни [illegible] нія не сдавалась.

— Нѣтъ, что̀ ужъ! — обыкновенно отв[illegible] онъ вамъ, да и не слѣдъ дѣтямъ отъ мат[illegible]

И возвращалась на короткое время домой или переѣзжала, по очереди, къ другимъ сосѣдямъ.

Повторяю: во всякомъ случаѣ Золотухина съумѣла огородить себя отъ тѣхъ надругательствъ, которыя такъ часто испытываетъ бѣдный людъ въ невѣжественномъ и грубомъ захолустномъ кругу. Только однажды предводитель Струнниковъ позволилъ себѣ сыграть надъ ней пошлую шутку, и вотъ въ какихъ обстоятельствахъ.

4-го іюля, въ день именинъ Струнникова, въ предводительскомъ домѣ давали обѣдъ. Народа собралось не меньше пятидесяти человѣкъ, а въ томъ числѣ и Золотухина. По окончаніи обѣда, начали разносить дессертъ, и между прочимъ шпанскія вишни, которыя въ эту пору года только-что появились. Набралось небольшое блюдо, ягодъ около полутораста, такъ что гости брали по одной и по двѣ ягоды, только чтобы отвѣдать. Но Марья Маревна не сообразила этого, и, когда дошла до нея очередь, взяла съ блюда цѣлую горсть, да и за другою полѣзла. Разумѣется, Струнниковъ не выдержалъ.

— Я знаю, Марья Маревна, что ты не для себя берешь, а дѣтокъ побаловать хочешь,—сказалъ онъ:—такъ я послѣ обѣда велю полную коробьюшечку ягодъ набрать, да и отправлю къ тебѣ домой. А тѣ, что взяла, ты опять на блюдо положи.

Марья Маревна сконфузилась, но, какъ женщина справедливая, поняла, что сдѣлала ошибку, и безпрекословно положила обратно на блюдо свою добычу. Возвратившись домой, она прежде всего поинтересовалась узнать, прислалъ ли Струнниковъ обѣщанную коробьюшку, и, получивъ утвердительный отвѣтъ, приказала подать ее.

Увы! коробьюшка была дѣйствительно полна вишнями... но мокрыми, побѣлѣвшими, изъ-подъ прошлогодней наливки!

Конечно, Золотухина и на этотъ разъ вынуждена была промолчать, но она кровно обидѣлась, не столько впрочемъ за себя, сколько за дѣтей. И къ чести ея слѣдуетъ сказать, что съ тѣхъ поръ нога ея не бывала въ предводительскомъ домѣ.

Наконецъ Марья Маревна сдѣлала рѣшительный шагъ. Мальчикамъ приближалось ужъ одиннадцать лѣтъ, и все, что захолустье могло ей дать въ смыслѣ обученія, было уже исчерпано. Приходилось серьезно думать о продолженіи воспитанія, и, натурально, взоры ея прежде всего обратились къ Москвѣ. Неизвѣстно, сама ли она догадалась, или надоумилъ ее отецъ, только въ одно прекрасное утро, одѣвши близнецовъ въ новенькія курточки, она забрала ихъ съ собой и раннимъ утромъ отправилась въ Отраду.

— Вы смотрите, чаще у княгинюшки ручки цѣлуйте!—твердила она дѣтямъ дорогой.

Владѣлецъ Отрады, князь Андрей Владимірычъ Кузьминъ-Перекуровъ по зимамъ обыкновенно жилъ въ своемъ домѣ въ Москвѣ *), а лѣтомъ пріѣзжалъ въ Отраду вмѣстѣ съ женой, бывшей французской актрисой Селиной Архиповной Бульмишь. Жили они роскошно, дѣтей не имѣли, принимали въ

ошибочно названъ Петербургъ.

имѣніи московскихъ друзей, но съ сосѣдями по захолустью не знались. Князь былъ однимъ изъ тѣхъ разслабленныхъ и чванныхъ представителей старинныхъ родовъ, которые повидимому отстаиваютъ корпоративную связь, но, въ сущности, пресмыкаются и ползаютъ, исключительно посвящая свою жизнь поддерживанію дворскихъ и высоко-бюрократическихъ отношеній. Онъ прошелъ всю школу благовоспитанныхъ и богатыхъ идіотовъ. Родился въ Парижѣ, воспитывался въ Оксфордѣ, прослужилъ нѣкоторое время въ качествѣ attaché при посольствѣ въ Берлинѣ, но далѣе по службѣ не пошелъ, и наконецъ поселился въ Москвѣ, гдѣ корчилъ изъ себя англомана и писалъ сочиненіе подъ названіемъ: „Рѣка времетеченія", въ которомъ каждый вечеръ, ложась спать, прибавлялъ по одной строчкѣ. И наружность онъ имѣлъ нелѣпую: ходилъ не сгибая ногъ и выпятивъ грудь и чванно несъ на длинной шеѣ несоразмѣрно большую голову съ лошадинаго типа лицомъ, расцвѣченнымъ желто-красными подпалинами, какъ у гнѣдого мерина. Ни въ какія распоряженія по имѣнію онъ не входилъ, ничего въ хозяйствѣ не смыслилъ и предоставилъ управляющему и бурмистру устраиваться какъ хотятъ, наблюдая только, чтобы малѣйшее желаніе Селины Архиповны было выполняемо точно и безотговорочно.

Золотухиной, которая вообще въ своихъ предпріятіяхъ была удачлива, посчастливилось и на этотъ разъ. Когда она явилась въ Отраду, супруги были одни и скучали. Впрочемъ князь, услышавъ, что пріѣхала „въ гости" какая-то вдова Золотухина, да притомъ еще Марья Маревна, хотѣлъ-было ощетиниться, но, по счастью, Селина Архиповна была въ добромъ расположеніи духа и приказала просить.

Марья Маревна вошла въ роскошную княжескую гостиную, шурша новымъ ситцевымъ платьемъ и держа за руки обоихъ дѣтей. Мишанка, завидѣвъ Селину Архиповну, тотчасъ же подбѣжалъ къ ней и поцѣловалъ ручку, но Мисанка, красный какъ ракъ, уцѣпился за юбку материнскаго платья и съ вызывающею закоснѣлостью оглядывалъ незнакомую обстановку.

— Иди, душенька, иди! — поощряла его мать: — поцѣлуй у княгинюшки ручку!

— Не пойду! — упорствовалъ Мисанка, зарывая лицо въ складки платья.

— Не безпокойте его!—вступилась за Мисанку Селина Архиповна:— онъ у васъ дикарь, не привыкъ. Вотъ познакомимся покороче, онъ и самъ увидитъ, что во мнѣ ничего страшнаго нѣтъ. Но какой у васъ этотъ прелестный мальчикъ!—прибавила она, любуясь Мишанкой: — просто заглядѣнье! какъ его зовутъ?

— Михайломъ, ваше сіятельство!

— Прелестное имя. Michel! вы меня будете любить?

— Я и теперь васъ люблю, ваше сіятельство!

— Ну, вотъ видите. И вы меня любите, и я васъ люблю. Вы добрый мальчикъ, ласковый. Я увѣрена, что мы подружимся.

Словомъ сказать, Мишанка сразу заполонилъ сердце добродушной француженки, тогда какъ Мисанка своею неблаговоспитанностью въ такой же мѣрѣ оттолкнулъ ее отъ себя.

Марья Маревна объяснила свой пріѣздъ настойчивостью дѣтей. Они такъ много наслышались объ Отрадѣ и ея чудесахъ, что непремѣнно требовали, чтобы мать показала имъ, какъ живутъ вельможи. Объясненіе это видимо польстило Селинѣ Архиповнѣ, которая вызвалась сама показать пріѣзжимъ и садъ, и паркъ, и оранжереи.

— Надѣясь, что передъ этимъ вы съ нами позавтракаете, — любезно прибавила она.

— А я между тѣмъ распоряжусь, чтобъ вашъ экипажъ отложили, — съ своей стороны отозвался князь: — вѣдь вы издалека?

— Верстъ двадцать-пять, ваше сіятельство, будетъ. Да какой у меня экипажъ! Кибитчонка рогожная — только и всего. Я ее на селѣ у мужичка покинула.

Селина Архиповна удивилась: дворянка — и въ рогожной кибиткѣ ѣздитъ! Но удивленіе ея возросло еще болѣе, когда Золотухина прибавила:

— Горевая я, ваше сіятельство, дворянка! и всего-то имѣнія у меня четыре души да сорокъ десятинъ земли — тутъ и въ пиръ, и въ міръ!

— Ахъ, Боже! четыре души... est-ce possible! Но какъ же вы живете?

— Таковская ужъ и жизнь, ваше сіятельство. Не живемъ, а колотимся. Дѣтей вотъ жалко.

Селина Архиповна совсѣмъ растерялась. Недоумѣло переглядывалась она съ мужемъ, и наконецъ изъ груди ея вырвался вопль:

— Но что же смотритъ правительство? Ахъ, какъ мнѣ жаль васъ! André! вѣдь правительство обязано поддерживать дворянское сословіе? вѣдь дворяне — это опора? Ты, конечно, напишешь объ этомъ въ своемъ сочиненіи... n'est-ce pas? Ахъ, какъ мнѣ жалко, какъ жалко васъ!

За завтракомъ Марья Маревна разсказала всѣ подробности своей скитальческой жизни, и чѣмъ больше развертывалась передъ глазами радушныхъ хозяевъ повѣсть ея непригляднаго существованія, тѣмъ больше загоралось въ сердцахъ ихъ участіе къ бѣдной страдалицѣ-матери.

Однимъ словомъ, день кончился полнымъ тріумфомъ для Золотухиной. Селина Архиповна сама показала гостямъ чудеса Отрады, и не только накормила ихъ обѣдомъ, но и оставила ночевать. Но что всего важнѣе — въ этотъ же день была рѣшена участь Мишанки и самой Марьи Маревны. Перваго князь взялся опредѣлить на свой счетъ въ московскій дворянскій институтъ; второй Селина Архиповна предложила мѣсто экономки въ московскомъ княжескомъ домѣ.

— Такимъ образомъ воспитаніе вашего сына будетъ обезпечено, — сказала она: — а въ то же время и вы будете неразлучны съ вашимъ сокровищемъ.

Объ Мисанкѣ въ этихъ переговорахъ ни словомъ не было упомянуто; очевидно, мальчикъ-дикарь не понравился. Съ своей стороны, и Марья Маревна не настаивала на дальнѣйшихъ милостяхъ...

Само собою разумѣется, впрочемъ, она не забыла и о другомъ сынѣ; но оказалось, что у нея внезапно сложилась въ умѣ комбинація, съ помощью которой можно [illegible] Мисанку легко пристроить. Одна изъ сестеръ Золоту-

хиной, какъ я уже упомянулъ выше, была выдана замужъ въ губернскій городъ за приходскаго священника, и Марьѣ Маревнѣ пришло на мысль совершенно основательное предположеніе, что добрые родные, какъ люди зажиточные и притомъ бездѣтные, охотно согласятся взять къ себѣ въ домъ племянника и помѣстить его въ губернскую гимназію приходящимъ ученикомъ. И какъ въ скоромъ времени оказалось,—надежда не обманула ея.

Такимъ образомъ оба мальчика были пристроены, и Марья Маревна свободно вздохнула. Въ концѣ августа она собралась изъ Словущенскаго; чистую половину въ избѣ заколотила и надзоръ за хозяйствомъ и дворовыми поручила старику-отцу. Цѣлыхъ семь лѣтъ, покуда длился учебный искусъ дѣтей, она только изрѣдка лѣтомъ навѣщала родное гнѣздо изъ Отрады, куда, въ качествѣ экономки, пріѣзжала вмѣстѣ съ „господами" изъ Москвы. Жилось ей повидимому недурно; „господа" дорожили ею, жалованье она получала хорошее, такъ что явилась возможность копить. Съ своей стороны, и старикъ отецъ продавалъ остававшіеся за прокормленіемъ дворовыхъ сельскіе продукты, и тоже копилъ.

Черезъ семь лѣтъ Мишанка кончилъ университетскій курсъ первымъ кандидатомъ и былъ посланъ на казенный счетъ за границу. Очевидно, въ недальнемъ будущемъ его ожидала профессура. Мисанка, конечно, отсталъ, однакожъ и онъ успѣлъ-таки, почти одновременно, кончить курсъ въ гимназіи, но въ университетъ не дерзнулъ, а поступилъ на службу въ губернское правленіе.

Разставшись съ Мишанкой и пославъ Мисанкѣ заочно благословеніе, Золотухина оставила княжескій домъ и вновь появилась въ Словущенскомъ. Но уже не ѣздила кормиться по сосѣдямъ, а солидно прожила лѣтъ шесть своимъ домкомъ и при своемъ капиталѣ. Умирая, она была утѣшена, что оба сына ея пристроены. Мишанка имѣлъ каѳедру въ московскомъ университетѣ, а Мисанка, въ чинѣ губернскаго секретаря, пользовался благоволеніемъ начальства и репутаціей примѣрнаго столоначальника.

На погребеніе ея пріѣхали оба сына. Подѣливши между собою наличный капиталъ (около пяти тысячъ), они рѣшили отпустить дворовыхъ на волю, безвозмездно предоставивъ имъ усадьбу со всей землей.

Послѣ Слѣпушкиной это былъ второй примѣръ помѣщичьяго великодушія въ нашемъ захолустьи.

Описанныя въ настоящей и трехъ предыдущихъ главахъ личности наиболѣе прочно удержались въ моей памяти. Но было и еще нѣсколько сосѣдей, о которыхъ я считаю нелишнимъ вкратцѣ упомянуть, ради полноты общей картины.

Прежде всего укажу на Перхунова и Метальникова, изъ которыхъ первый, выражаясь нынѣшнимъ языкомъ, представлялъ собой либеральный элементъ, а второй—элементъ консервативный.

Собственно говоря, кличекъ этихъ въ то время не существо[illegible] что ни о какой сословной или партійной розни и въ поминѣ [illegible] было глухое и темное. Правительство называли „начальст[illegible] леніе о внутренней политикѣ исчерпывалось [illegible]

вицы“ и „канцелярская тайна“. Послѣдняя покрывала все своимъ непроницаемымъ пологомъ и лишь изрѣдка нарушалась откровеніями „Московскихъ Вѣдомостей“ о цѣлодневномъ звонѣ съ ивановской и иныхъ колоколенъ, да зрѣлищемъ торговой казни, производимой публично черезъ палача, на городской площади. Однакожъ и тогда по мѣстамъ прорывались усобицы, которыя имѣли не столь низменный характеръ, какъ обыкновенныя захолустныя пререканія, и доказывали, что, несмотря на суровую регламентацію, изъ-подъ спуда общаго знаменателя все-таки порой выдѣлялись какіе-то тенденціозные пустяки, которые сообщали взаимнымъ отношеніямъ обывателей нѣкоторую партійную окраску.

Григорій Александрычъ Перхуновъ жилъ въ старинной родовой усадьбѣ неподалеку отъ Словущенскаго. Это былъ уже пожилой и закоренѣлый холостякъ, имѣвшій довольно хорошее состояніе, что̀ давало ему считать себя независимымъ. Отъ природы онъ былъ надѣленъ однимъ изъ тѣхъ непосѣдливыхъ темпераментовъ, которые заставляютъ человѣка тормошиться даже безъ особенно побудительныхъ поводовъ. Канцелярская тайна, царствовавшая окрестъ, подстрекала его любопытство и заставляла доискиваться смысла ежовыхъ рукавицъ, а эти исканія сообщали его личности нѣкоторыя своеобразныя черты, которыя до извѣстной степени выдѣляли его изъ общей массы собратій-помѣщиковъ.

Въ кругу „своихъ“ онъ слылъ вольнодумцемъ и острякомъ („бритва—язычокъ“, говорили про него), хотя въ дѣйствительности лишь въ самой слабой степени оправдывалъ эту репутацію.

Вольнодумство его ограничивалось довольно низменнымъ и неопрятнымъ кощунствомъ да назойливымъ критиканствомъ, для котораго онъ находилъ легкую пищу въ малограмотности и мелкихъ беззаконіяхъ и плутняхъ мѣстной администраціи.

Домъ его служилъ центромъ, изъ котораго выходили разнообразнѣйшія розсказни о дѣйствіяхъ приказной братіи, начиная съ судьи и исправника и кончая подъячими низшаго разряда. Къ сожалѣнію, онъ не отступалъ отъ анекдотовъ собственнаго изобрѣтенія, что̀ въ значительной мѣрѣ подрывало вѣру въ состоятельность его критикъ и сообщало имъ характеръ (какъ тогда выражались) шумарканья и фордыбаченья. Но во всякомъ случаѣ за предѣлы захолустной мурьи онъ не выходилъ, во-первыхъ потому, что у него не было достаточной подготовки для оцѣнки явленій высшаго порядка, а во-вторыхъ и потому, что кругъ этихъ послѣднихъ былъ такъ прочно замкнутъ, что не только въ захолустья, но и повыше ничего не проникало. Тѣмъ не менѣе, несмотря на безобидность его критическихъ упражненій, начальство смотрѣло на него косо и держало на счету безпокойныхъ людей. Нерѣдко ему даже дѣлали, черезъ предводителя, реприманды и указывали перстомъ въ ту сторону, куда Макаръ телятъ не гонялъ. Послѣ такихъ указаній онъ временно притихалъ, но потомъ опять принимался за прежнее, и, къ общему удивленію, прожилъ свой вѣкъ благополучно...

[illegible] умія, то въ этомъ отношеніи Перхуновъ удовле-
[illegible] едставленіямъ, сложившимся въ затхлой мурьѣ,
[illegible] верталъ имена и фамиліи, изобрѣталъ клички

и былъ неистощимъ на проказы, отъ которыхъ, несмотря на ихъ незатѣйливость, иногда приходилось жутко. Прозоветъ Калерію Степановну Чепракову —Кавалеріей Степановной; Тараса Прохорыча Метальникова—Тарантасомъ Прохорычемъ — и всѣмъ любо. Или судью Глазатова наградитъ кличкою „дѣвицы вольнаго поведенія“—и еще того всѣмъ любѣе. А если ночью въ гостяхъ кому-нибудь изъ „простенькихъ“ подложитъ подъ подушку кусочекъ вонючаго сыра или посыплетъ простыню солью, то и конца краю общему веселью нѣтъ. Разсказываютъ другъ другу о случившемся, шепчутся, хохочутъ...

За всѣмъ тѣмъ репутація вольнодумца и остряка сослужила Перхунову существенную службу. Благодаря ей, когда наступила крестьянская реформа, онъ, въ качествѣ „занозы“, былъ избранъ отъ нашего уѣзда въ губернскій крестьянскій комитетъ, а оттуда пробрался даже въ редакціонныя коммиссіи.

Тарасъ Прохорычъ Метальниковъ представлялъ совершенную противоположность Перхунову. Насколько послѣдній былъ недостовѣренъ и проказливъ, настолько же первый отличался достовѣрностью и серьезностью не только помысловъ, но и тѣлодвиженій. Все въ его міросозерцаніи было ясно, внушительно и безспорно; все доказывало, что онъ зараньше намѣтилъ себѣ колею, которая, такъ сказать, сама собой оберегала его отъ уклоненій вправо и влѣво. Въ вѣрноподданнической задумчивости онъ шелъ по жизненному пути, инстинктивно угадывая, гдѣ слѣдуетъ остановиться, чтобы упереться лбомъ въ стѣну. И тамъ, гдѣ Перхуновъ тормошился и восклицалъ: „на что похоже!“—онъ учительно и вполнѣ убѣжденно утверждалъ: „съ насъ будетъ и этого!“

Разумѣется, начальство репримандовъ ему не дѣлало, но благосклонно предоставляло совершать жизненный путь, на ряду съ другими, въ сладкомъ сознаніи, что если онъ никого не тронетъ, то и его никто не тронетъ (таковъ былъ тогдашній идеалъ мирнаго житія, которому большинство, отчасти добровольно, отчасти страха ради іудейска, подчинялось). Что касается до собратій-помѣщиковъ, то въ ихъ средѣ Метальниковъ слылъ мужемъ совѣта, и вездѣ, гдѣ онъ ни появлялся, его принимали съ радушіемъ и почетомъ. Это общее уваженіе нагляднымъ образомъ выразилось въ томъ, что Тарасъ Прохорычъ нѣсколько трехлѣтій подрядъ былъ избираемъ исправникомъ съ такимъ единодушіемъ, что о конкурентахъ и рѣчи быть не могло.

Перхуновъ и Метальниковъ постоянно враждовали другъ съ другомъ и рѣдко встрѣчались. Но за то когда встрѣчались, то начиналась безконечная потѣха. Задирой являлся, конечно, Перхуновъ, а Метальниковъ только щетинился; но оба были такъ „уморительны“, что встрѣчи эти надолго оставляли по себѣ веселый слѣдъ, сообщавшій живость и разнообразіе неприхотливымъ собесѣдованіямъ, оглашавшимъ стѣны помѣщичьихъ гнѣздъ въ длинные зимніе вечера.

Затѣмъ могу указать еще на братьевъ Урванцевыхъ, ближайшихъ нашихъ сосѣдей, которые остались у меня въ памяти, потому что во всѣхъ отношеніяхъ представляли очень курьезную аномалію.

Отецъ ихъ, Захаръ Капитонычъ Урванцевъ, [illegible] мѣщиковъ нашего края, принадлежалъ, по[illegible]

казниковъ", которыми, за отсутствіемъ умственныхъ и общественныхъ интересовъ, такъ таровата была тогдашняя безпросвѣтная жизнь. Но проказливость его была ужъ до того назойлива и цинична, что даже наше захолустье не признало его своимъ. Одиноко прозябалъ онъ въ своей берлогѣ, не принимая никакого участія въ общемъ помѣщичьемъ раздольи и растрачивая свою озорливость среди безотвѣтныхъ дворовыхъ и не щадя даже кровной семьи.

Двоихъ близнецовъ-сыновей, которыхъ оставила ему жена (она умерла родами), онъ назвалъ Захарами, а когда они пришли въ возрастъ, то опредѣлилъ ихъ юнкерами въ одинъ и тотъ же полкъ. Мало того: умирая, оставилъ завѣщаніе, которымъ подѣлилъ между сыновьями имѣніе (оно было, по несчастью, благопріобрѣтенное) самымъ возмутительнымъ образомъ. Господскій домъ раздѣлилъ на-двое съ такимъ разсчетомъ, что одному брату достались такъ-называемыя парадныя комнаты, а другому—жилыя; двадцать-три крестьянскихъ двора распредѣлилъ черезъ дворъ: одинъ дворъ одному, другой—рядомъ съ первымъ—другому и т. д. И что всего обиднѣе—о двадцать-третьемъ дворѣ ничего не упомянулъ.

Результатъ этихъ проказъ сказался прежде всего въ безконечной ненависти, которую дѣти питали къ отцу, а по смерти его, опутанныя устроенною имъ кутерьмою, перенесли другъ на друга. Оба назывались Захарами Захарычами; оба одновременно вышли въ отставку въ одномъ и томъ же поручичьемъ чинѣ и носили одинъ и тотъ же мундиръ; оба не могли опредѣлить границъ своихъ владѣній, и передъ обоими, въ видѣ неразрѣшимой и соблазнительной загадки, стоялъ вопросъ о двадцать-третьемъ дворѣ.

Къ довершенію всего, какъ это часто бываетъ между близнецами, братья до такой степени были схожи наружностью, что не только сосѣди, но и домочадцы не могли отличить ихъ другъ отъ друга. Да и въ духовномъ смыслѣ, въ большинствѣ случаевъ, оба жили и дѣйствовали подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же наитій.

Положеніе было безвыходное, почти трагическое, и служило предметомъ безконечныхъ розсказней, въ которыхъ играла главную роль мучительная семейная свара, въ смѣшливый часъ устроенная безпутнымъ старикомъ.

Я помню, что и въ нашемъ домѣ разсказывались по этому поводу совершенно невѣроятные анекдоты, особенно въ первое время послѣ смерти старика, когда путаница только-что еще разгаралась.

— Намеднись такая ли перестрѣлка въ Вялицынѣ (такъ называлась усадьба Урванцевыхъ) была—какъ только до убивства не дошло!—сообщалъ кто-нибудь изъ пріѣзжихъ гостей. — Вышли оба брата въ березовую рощу грибковъ посбирать. Одинъ съ одного конца взялся, другой — съ другого. Идутъ задумавшись на-встрѣчу и не замѣчаютъ другъ друга. Какъ вдругъ столкнулись. Смотрятъ другъ дружкѣ въ глаза—онъ ли, не онъ ли?—никто не хочетъ первый дорогу дать. Ну, и пошло тутъ у нихъ, и пошло...

— Нѣтъ, вы подумайте, каково положеніе крестьянъ! — перебивалъ другой гость:—намеднись одинъ братъ взялъ да всѣхъ мужиковъ у другого перепоролъ, а тѣ, дурачье, думаютъ, что ихъ *свой* баринъ сѣчетъ...

— Т[illegible] маскарадъ!

Или:

— Встанутъ съ утра, да только о томъ и думаютъ, какую бы родному брату пакость устроить. Услышитъ одинъ Захаръ, что братъ съ вечера по хозяйству распоряженіе сдѣлалъ—пойдетъ и отмѣнитъ. А въ это же время другой Захаръ подъ другого брата такую же штуку подводитъ. До того дошло, что теперь мужики, какъ завидятъ, что по дорогѣ идетъ Захаръ Захарычъ—свой ли, не свой ли—во всѣ лопатки прочь бѣгутъ!

Или наконецъ:

— Въ завѣщаніи-то старый пакостникъ такъ дѣтей подѣлилъ: такой-то крестьянскій дворъ—сыну моему Захару Урванцеву *первому*, а такой-то—сыну моему Захару Урванцеву *второму*. Вотъ судья, пріѣхавши ихъ дѣлить, и говоритъ: „ужъ вы, господа, какъ-нибудь уладьтесь! вы, Захаръ Захарычъ, будьте первый Урванцевъ, а вы, Захаръ Захарычъ—Урванцевъ второй. И чтожъ, не успѣлъ судья отвернуться, анъ и самъ не знаетъ, котораго Захара Захарыча онъ назвалъ первымъ, котораго вторымъ. Наконецъ догадался: взялъ да бумажки съ нумерами тому и другому на грудь пришпилилъ. Только такимъ манеромъ и успѣлъ раздѣлъ совершить.

И такъ далѣе.

Очевидно, что при такихъ чудовищныхъ условіяхъ совмѣстное существованіе было немыслимо. Поэтому Урванцевы не долго выдержали. Проживъ въ нашихъ мѣстахъ не больше двухъ лѣтъ, они одновременно и неизвѣстно куда исчезли, оставивъ и отеческій домъ, и деревнюшку на волю случайности.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ еще о Петрѣ Антонычѣ Грибковѣ, котораго всѣ единогласно называли Псомъ Антонычемъ.

Лично я его никогда не видалъ, но тò немногое, чтò привелось мнѣ въ дѣтствѣ слышать о немъ, было по истинѣ ужасающе. Это былъ, въ полномъ смыслѣ слова, извергъ, превосходившій въ этомъ отношеніи даже тетеньку Анфису Порфирьевну. Въ особенности возмутительны были подробности гаремной жизни, которую онъ велъ. Вслѣдствіе этого изъ сосѣдей не только никто не водилъ съ нимъ знакомства, но даже говорить о немъ избѣгали, какъ будто боялись, что одно упоминовеніе его имени произведетъ смуту между домочадцами. Нѣсколько разъ его судили, неоднократно устраивали опеку и выселяли изъ имѣнія съ воспрещеніемъ въѣзда, но, благодаря послабленіямъ опекуновъ и отдаленному родству съ предводителемъ Струнниковымъ, онъ преспокойно продолжалъ жить въ своемъ Олонкинѣ и безчинствовать. Но наконецъ его постигла казнь, еще болѣе жестокая, нежели та, жертвою которой сдѣлалась Анфиса Порфирьевна. Ночью человѣкъ тридцать крестьянъ (почти вся вотчина) оцѣпили господскій домъ, ворвались въ спальню и, повѣсивъ барина за ноги, зажгли домъ со всѣхъ сторонъ. Къ утру олонкинская усадьба представляла уже груду. Только немногіе изъ гаремныхъ узницъ успѣли спастись и впослѣдствіи явились по дѣлу доказ[illegible]цами.

Я помню, однажды семейный обѣдъ нашъ прошелъ совер[illegible]ливо. Отецъ былъ блѣденъ, у матушки по временамъ взд[illegible] Очевидно, совершилось нѣчто такое, чтò надлежало сохр[illegible]

тайнѣ. Но ничто не могло укрыться отъ любознательности брата Степана который и на этотъ разъ такъ изловчился, что къ вечеру намъ, дѣтямъ, были уже извѣстны всѣ подробности олонкинской катастрофы.

О прочихъ сосѣдяхъ умалчиваю, хотя ихъ была цѣлая масса. Въ памяти моей осталось о нихъ такъ мало опредѣленнаго, что обременять вниманіе читателей воспоминаніемъ объ этой безличной толпѣ было бы совершенно излишне.

XXXI.—Заключеніе.

Изъ элементовъ, съ которыми читатель познакомился въ теченіе настоящей хроники, къ началу зимы образовалось такъ-называемое пошехонское раздолье. Я не стану описывать его здѣсь во всѣхъ подробностяхъ, во-первыхъ, изъ опасенія повтореній и, во вторыхъ, потому, что порядочно-таки утомился и желаю какъ можно скорѣе придти къ вожделѣнному концу. Во всякомъ случаѣ предупреждаю читателя, что настоящая глава будетъ имѣть почти исключительно перечневой характеръ.

Мы, дѣти, еще съ конца сентября начинали загадывать объ ожидающихъ зимою увеселеніяхъ. На первомъ планѣ въ этихъ ожиданіяхъ, конечно, стояла перспектива свободы отъ ученья, а затѣмъ шумныя встрѣчи съ сверстниками, вкусная ѣда, бѣготня, пляска и та общая праздничная суета, которая такъ соблазнительно дѣйствуетъ на дѣтское воображеніе.

Въ особенности волновался предстоящими веселыми перспективами братъ Степанъ, который, несмотря на осеннее безвременье, безъ шапки, въ одной курткѣ, убѣгалъ изъ дома по направленію къ погребамъ и кладовымъ и тщательно слѣдилъ за процессомъ припасанія, какъ главнымъ признакомъ предстоящаго раздолья.

— Капусту рубленную въ прокъ набиваютъ!—возвѣщалъ онъ намъ:—въ маленькія кадушки—для господъ, въ чаны—для людей!

Или:

— Вчера изъ Васютина цѣлую бычью тушу привезли, а сегодня ее на части для солонины разрубаютъ! Пожирнѣе—намъ, а жилы да кости—людямъ. Сама мать на погребѣ въ кацавейкѣ засѣдаетъ.

И наконецъ:

— Ну, братцы, кажется, наше дѣло скоро совсѣмъ выгоритъ! Самъ сейчасъ слышалъ, какъ мать приказаніе насчетъ птицы отдавала, которую на племя оставить, которую бить. А ужъ если птицу велятъ бить, значитъ конецъ и дѣлу вѣнецъ. На все лѣто полотковъ хватитъ—съ голоду не помремъ.

Иногда съ Покрова выпадалъ снѣгъ и начинались серьезные морозы. И хотя въ большинствѣ случаевъ эти признаки зимы оказывались непрочными, но при наступленіи ихъ сердца наши били усиленную тревогу. Мы съ любо-[illegible] [illegible]конъ, какъ на прудѣ, подъ надзоромъ ключницы, д[illegible] [illegible]али въ водѣ и замораживали ощипанную птицу,

и заранѣе предвкушали то удовольствіе, которое она доставитъ намъ въ вареномъ и жареномъ видѣ въ праздничные дни.

— Гусь-то! гусь-то!—по временамъ восклицалъ въ азартѣ Степанъ: —вотъ такъ гусь! Ахъ, хорошъ старикъ!

Санный путь чаще всего устанавливался около 15-го ноября, а вмѣстѣ съ нимъ открывался и сезонъ увеселеній. Наканунѣ Введеньева дня нашъ околотокъ почти поголовно (очень часто больше пятидесяти человѣкъ) былъ въ сборѣ у всенощной въ церкви села Лыкова, гдѣ на завтра предстоялъ престольный праздникъ, и церковнымъ старостой состоялъ владѣлецъ села, полковникъ суворовскихъ временъ, Ѳома Алексѣичъ Гуслицынъ. Натурально, домъ послѣдняго служилъ убѣжищемъ для съѣхавшейся массы сосѣдей, большинство которыхъ оставалось гостить здѣсь на два и на три дня.

На этомъ первомъ сезонномъ праздникѣ я остановлюсь нѣсколько подробнѣе, такъ какъ онъ служилъ, такъ сказать, прототипомъ всѣхъ остальныхъ.

Раннее утро, не больше семи часовъ. Окна еще не начали бѣлѣть, а свѣчей не даютъ; только нагорѣвшая свѣтильня лампадки, съ вечера затепленной въ углу передъ образомъ, разливаетъ въ жарко натопленной дѣтской меркнущій свѣтъ. Двѣ дѣвушки, ночующія въ дѣтской, потихоньку поднимаются съ войлоковъ, разостланныхъ на полу, всемѣрно стараясь, чтобы неосторожнымъ движеніемъ не разбудить дѣтей. Черезъ пять минутъ онѣ накидываютъ на себя затрапезныя платья и уходятъ внизъ доканчивать туалетъ.

Но дѣти уже не спятъ. Ожиданіе предстоящаго выѣзда спозаранку волнуетъ ихъ, хотя выѣздъ назначенъ послѣ ранняго обѣда, часовъ около трехъ, и до обѣда предстоитъ еще провести нѣсколько скучныхъ часовъ за книжкой въ классѣ. Но имъ уже кажется, что на конюшнѣ запрягаютъ лошадей, чудится звонъ бубенчиковъ и даже голосъ кучера Алемпія.

По уходѣ дѣвушекъ, они въ восторгѣ вскакиваютъ съ кроватей и начинаютъ кружиться по комнатѣ, раздувая рубашонками. Топотъ, пѣнье пѣсенъ, крики „ура“ наполняютъ дѣтскую.

— Чу, колокольчикъ звякнулъ!—сообщаетъ Гриша, внимательно прислушиваясь.

— Запрягаютъ—это вѣрно!—подтверждаетъ Степанъ:—еще намеднись я слышалъ, какъ мать Алемпію приказывала: „въ пятницу, говоритъ, вечеромъ у престольнаго праздника въ Лыковѣ будемъ, а по дорогѣ къ Боровковымъ обѣдать заѣдемъ“.

— Ѣдемъ! Ѣдемъ!

Но восторги наши непродолжительны. Черезъ четверть часа уже раздаются въ коридорѣ шаги, заслышавъ которые мы проворно прячемся подъ одѣяла. Входитъ матушкина наперсница Ариша и объявляетъ:

— Маменька велѣли сказать, что сейчасъ съ розгой придутъ.

Разумѣется, это только угроза, но она уничтожаетъ всякій поводъ для дальнѣйшихъ самообольщеній. Какъ и въ прошлые годы, насъ засадятъ съ утра за книжку и вплоть до обѣда заставятъ томиться.

Утро проходитъ тоскливо. Къ счастью, Марья Андреевна на этотъ разъ снисходительна и безпрестанно выходитъ изъ классной посмотрѣть, какъ бы, укладывая, не смяли ея „матерчатаго" платья, которое у нея всего одно и бережется для выѣздовъ. Мы отвѣчаемъ уроки машинально, заглядывая въ окно и прислушиваясь къ шуму, который производятъ сборы.

Нетерпѣніе наше ростетъ съ каждой минутой, такъ какъ все обѣщаетъ, что поѣздка предстоитъ благопріятная. Отецъ еще за чаемъ объявилъ, что на дворѣ всего три градуса холода; а такъ какъ санный путь только-что сталъ, то лошади навѣрное побѣгутъ бойко и незамѣтно доставятъ насъ въ Лыково. Ни одного ухаба, дорога какъ полъ, въ тихомъ воздухѣ гулко раздается звонъ колокольчиковъ и громыханье бубенчиковъ... Для такихъ несчастныхъ узниковъ, какими были мы, поѣздка въ подобныхъ условіяхъ сама по себѣ представляла цѣлую перспективу наслажденій. Ахъ, кабы поскорѣе! Поскорѣе бы вырваться изъ этого постылаго Малиновца!

Наконецъ, бьетъ часъ, подаютъ обѣдать. Всѣ ѣдятъ наскоро, точно боятся опоздать; только отецъ, словно нарочно, медлитъ. Всегда онъ такъ. Тутъ, того гляди, къ третьему звону ко всенощной не попадемъ, а онъ въ каждый кусокъ вилкой тыкаетъ, каждый глотокъ разговорцемъ пересыпаетъ.

— А послѣ обѣда одѣваться да умываться начнетъ!—ворчитъ сквозь зубы братъ Степанъ.

И дѣйствительно, къ тремъ часамъ вся семья, укутанная по дорожному, уже въ сборѣ въ лакейской, а изъ отцовской спальни все еще доносятся звуки приводимаго въ движеніе рукомойника.

— Скоро ли?—въ нетерпѣніи кричитъ матушка.

Но вотъ укутали и отца. На дворѣ уже спустились сумерки, но у насъ и люди, и лошади привычные, и въ потьмахъ дорогу сыщутъ. Свѣжій, крѣпительный воздухъ съ непривычки волнуетъ намъ кровь. Но ощущенье это скоро уляжется, потому что черезъ минуту насъ затискаютъ въ крытый возокъ, и такъ, въ закупоренномъ видѣ, и доставятъ по назначенію.

— Какъ бы вѣтеръ не разыгрался!—выражаетъ опасеніе матушка.

— Не знаю, какъ сказать,—отвѣчаетъ Алемшій:—крутитъ по дорогѣ, да и сверху мжица мжитъ. Не впервые! Богъ милостивъ!

— Еще бы! цѣлый часъ папенька около рукомойника валандался! тутъ хоть какая угодно погода испортится!—негодуетъ братъ Степанъ.

— Цыцъ... пострѣленокъ!

До Лыкова считаютъ не больше двѣнадцати верстъ; но такъ какъ лошадей берегутъ, то этотъ небольшой переѣздъ беретъ не менѣе двухъ часовъ. Тѣмъ не менѣе мы пріѣзжаемъ на мѣсто по крайней мѣрѣ за часъ до всенощной и останавливаемся въ избѣ у мужичка, гдѣ происходитъ процессъ переодѣванія. Къ Гуслицынымъ мы поѣдемъ уже по кончаніи службы и останемся тамъ гостить два дня.

Гуслицыны, бездѣтные старикъ и старуха, принадлежатъ къ числу зажиточныхъ помѣщиковъ нашего околотка. И Ѳома Алексѣичъ, и жена его Александра Ивановна—очень усердные прихожане, и потому церковь залита огнями по праздничному. Почти всѣ гости ужъ на-лицо: Пустотѣловы, Бо-

ровковы, Корочкины, Чепраковы, маіоръ Клобутицынъ и съ нимъ человѣка четыре офицеровъ. Господа стоятъ впереди, одѣтые по праздничному; глубина церкви кишитъ простонародьемъ. Служба происходитъ парадная въ такъ-называемой „настоящей“ церкви (у праздника), которая, по случаю зимы, черезъ недѣлю закроется вплоть до Пасхи.

По окончаніи всенощной, всѣ подходятъ къ хозяевамъ съ поздравленіями, а дѣти по очереди цѣлуютъ у старой полковницы ручку. Старушка очень привѣтлива, всякому найдетъ доброе слово сказать, всякаго спроситъ: „хорошо ли, душенька, учишься? слушаешься ли папеньку съ маменькой?“ — и, получивъ утвердительный отвѣтъ, потреплетъ по щекѣ и перекреститъ.

Въ просторномъ домѣ Гуслицыныхъ все уже готово къ пріему дорогихъ гостей. Стѣны (по старинному, нештукатуренныя) и полы тщательно вымыты; въ комнатахъ слегка накурено ладаномъ; по угламъ, передъ образами теплятся лампадки. Въ большомъ залѣ накрытъ ужинъ, а для желающихъ подается и чай. Но конецъ вечера проходитъ тихо, почти въ безмолвіи. Во-первыхъ, гости съ дороги устали, а во-вторыхъ такъ ужъ изстари заведено, что большіе праздники встрѣчаютъ въ благоговѣйномъ умиленіи, избѣгая разговоровъ. Въ десять часовъ всѣ расходятся на покой, причемъ только самымъ почетнымъ гостямъ отводятся особыя комнаты, а прочихъ укладываютъ, какъ попало, по диванамъ и въ-повалку на полу.

На другой день съ утра начинается сущее столпотвореніе. Пріѣзжая прислуга перебѣгаетъ съ рукомойниками изъ комнаты въ комнату, разыскивая господъ. Изо всѣхъ угловъ слышатся возгласы:

— Параша! скоро ли умываться?

— Ѳеша! гдѣ же мой корсетъ?

— Маланья! опять мочалку забыла?

А въ залѣ, гдѣ размѣстили на ночь подростковъ, они повскакали съ разостланныхъ на полу пуховиковъ и въ однѣхъ рубашкахъ, съ крикомъ и хохотомъ, перебѣгаютъ изъ конца въ конецъ, по неровной поверхности, образуемой подушками и перинами, на каждомъ шагу спотыкаясь и падая. При этомъ происходитъ словесная перестрѣлка, настолько нецѣломудренная, что дѣвушки, стоящія у рукомойниковъ, безпрестанно покрикиваютъ:

— Ишь вѣдь что̀ говорятъ... безстыдники!

Кстати скажу здѣсь: вообще въ мое время дѣти были очень невоздержны на языкъ, и лексиконъ срамныхъ словъ самаго послѣдняго разбора былъ достаточно между ними распространенъ. Къ счастію, брань слетала съ языка скорѣе машинально, по наслышкѣ, въ родѣ хвастовства, нежели сознательно, такъ что дѣйствительное значеніе ея оставалось загадкой. По крайней мѣрѣ мнѣ помнится, что когда я, будучи десяти лѣтъ, поступилъ въ московскій дворянскій институтъ, гдѣ всякое срамное слово уже произносилось съ надлежащимъ смакомъ, то ровно ничего не понималъ, хотя самыя слова мнѣ были давно извѣстны.

По пріѣздѣ отъ обѣдни, начинается безпрерывная ѣда, такъ какъ въ этомъ, собственно говоря, и состояло наше захолустное раздолье. За чаемъ слѣдуетъ закуска, которая не снимается со стола вплоть до обѣда: послѣ

обѣда особо подаютъ дессертъ, затѣмъ пàужинъ и т. д. до самой ночи. Въ особенности барыни, какъ усядутся въ гостиной кругомъ стола съ закуской, такъ и не оторвутся отъ него. Изрѣдка ѣда перемежается тѣмъ, что кто-нибудь изъ барышенъ или изъ офицеровъ сядетъ за старыя клавикорды и споетъ романсъ. Любимыми романсами въ то время были: „Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою", „Не шей ты мнѣ, матушка", „Что̀ затуманилась, зоренька ясная", „Талисманъ", „Черная шаль" и т. д. Я впрочемъ не помню, чтобы встрѣчались хорошіе голоса, но хуже всего было то, что и пѣвцы, и пѣвицы пѣли до крайности вычурно; глотали и коверкали слова, картавили, закатывали глаза и вообще старались дать понять, что, въ случаѣ чего, недостатка по части страстности опасаться нѣтъ основанія. Заслышавши пѣніе, маменьки выползаютъ изъ гостиной въ залъ и устраиваютъ уже настоящую выставку талантовъ, а солидные мужчины, неохотники до дивертисментовъ, забираются въ бильярдную, гдѣ тоже ставится закуска и водка. У всякой барышни есть какой-нибудь танецъ, въ которомъ она спеціально отличается. Вѣрочка Чепракова танцуетъ „По улицѣ мостовой": одной ручкой подбоченится, другую подниметъ вверхъ и скруглитъ; затѣмъ поплыветъ по залѣ и пошевеливаетъ плечиками, подманивая прапорщика Синеусова, который изо всѣхъ силъ стучитъ сапогами, стараясь изобразить лихого русскаго парня. Ѳеничка Боровкова отлично пляшетъ по-цыгански. Откинетъ головку назадъ, разбѣжится изъ одного конца залы въ другой, потомъ обратно, потомъ начнетъ кружиться, а за ней то же самое повторяетъ прапорщикъ Завулоновъ, и никакъ не можетъ Ѳеничку изловить... Разумѣется, покуда дочки показываютъ товаръ лицомъ, маменьки хлопаютъ въ ладоши и по-очереди поздравляютъ другъ друга.

Такимъ образомъ утро проходитъ довольно однообразно. Гости, очевидно, еще не вошли въ праздничную колею. Барышни, показавши таланты, начинаютъ попарно ходить взадъ и впередъ по анфиладѣ комнатъ, перешептываясь съ офицерами; маменьки, похвастившись дочерьми, снова присаживаются поближе къ закускѣ; даже между дѣтьми оживленія не видать. Хотя старая полковница уже нѣсколько разъ предлагала имъ побѣгать и поиграть, но они не успѣли еще возобновить между собой знакомства, прерваннаго продолжительнымъ уединеніемъ, въ которомъ ихъ держала все лѣто сельско-хозяйственная страда. Чинно и смирно бродятъ они слѣдомъ за барышнями и разсказываютъ другъ другу небылицы въ лицахъ. Ваня Боровковъ сообщаетъ, что ихній кучеръ Пармёнъ недавно на всемъ скаку зайца кнутомъ пополамъ перерѣзалъ; Сашенька Пустотѣлова—что у нихъ корова Бѣлогрудка цѣлыхъ три года пропадала, и вдругъ прошлымъ лѣтомъ пошли въ лѣсъ, а она забралась въ самую чащу и ужъ съ тремя телятами ходитъ.

— Такъ безъ быка и отелилась?—удивляется Сонечка Корочкина.

— Нѣтъ, послѣ узнали, что быкъ къ ней въ гости ходилъ. Замѣтили, что онъ часто изъ стада пропадаетъ, и начали слѣдить...

— Нѣтъ, это что̀!—прерываетъ Петя Корочкинъ:—вотъ у насъ кучеръ такъ молодецъ! Прошлаго года зимой попалъ со всей тройкой и съ санями

въ прорубь; видитъ—бѣда неминучая, взялъ да и разогналъ подо льдомъ лошадей... И вдругъ выскочилъ изъ другой проруби!

Наконецъ, братъ Степанъ разсказываетъ, что въ малиновецкомъ саду такая лягушка завелась, что какъ только прыгнетъ, такъ изъ нея червонецъ вылетитъ.

— И много ты такихъ червонцевъ набралъ?—завидуютъ ему.

— То-то, братцы, что штука эта не простая. Пытался я хоть одну монетку подтибрить, да только-что наклонюсь, анъ она въ моихъ глазахъ и растаетъ!

Вообще хвастовство, какъ и сквернословіе, въ большомъ ходу между дѣтьми. Повидимому они наслѣдовали это качество отъ отцовъ и значительно пріумножали это наслѣдіе позаимствованіями, сдѣланными у челядинцевъ.

Насъ, дѣтей Затрапезныхъ, сверстники не долюбливаютъ. Быстрое обогащеніе матушки вызвало зависть въ сосѣдяхъ. Старшіе, конечно, остерегаются высказывать это чувство, но дѣти не чинятся. Они пристаютъ къ намъ съ самыми ехидными вопросами, сюжетомъ для которыхъ служатъ скопидомство матушки и та приниженная роль, которую играетъ въ домѣ отецъ. Въ особенности непріятна въ этомъ отношеніи Сашенька Пустотѣлова, шустрая дѣвочка, которую всѣ боятся за ея злой языкъ.

— Правда ли, что у васъ недавно бунтъ былъ изъ-за того, что ваша мамаша велѣла больную корову зарѣзать и людямъ въ застольную отдать?— пристаетъ она къ намъ.

Или:

— Правда ли, что папенька вашъ изъ старыхъ писемъ сургучныя печати вырѣзываетъ, а на внутренней сторонѣ конвертовъ письма старшимъ дѣтямъ пишетъ?

Нерѣдко приставанья эти длятся цѣлое утро. Поэтому понятно, что первое время мы ходимъ нѣсколько сконфуженные и ждемъ не дождемся обѣда, послѣ котораго обыкновенно затѣваются игры и заставляютъ нашихъ сверстниковъ и сверстницъ позабыть о Малиновцѣ и его порядкахъ.

Обѣдъ подается по праздничному, въ три часа, при свѣчахъ, и длится по крайней мѣрѣ полтора часа. Цѣлая масса лакеевъ, своихъ и чужихъ, служитъ за столомъ. Готовятъ три повара, изъ которыхъ одинъ отличается по части старинныхъ русскихъ кушаньевъ, а двое обучались въ Москвѣ у Яра, и выписываются въ деревню зимою на нѣсколько недѣль. Сверхъ того, для пирожныхъ имѣется особенный кондитеръ, который учился у Педотти и умѣетъ дѣлать конфекты. Вообще въ кулинарномъ отношеніи Гуслицыны не уступаютъ даже Струнниковымъ.

Разнообразная и вкусная ѣда на первыхъ порахъ оттѣсняетъ на задній планъ всякіе другіе интересы. Среди общаго молчанія слышно, какъ гости жуютъ и дуютъ. Только съ половины обѣда постепенно разыгрывается обычная бесѣда, темой для которой служатъ выяснившіеся результаты лѣтняго урожая. Оказывается, что лѣто прошло благополучно, и потому всѣ лица сіяютъ удовольствіемъ, и собесѣдники не прочь даже прихвастнуть. — И

урожай хорошъ, и заготовки вышли удачныя, только вотъ грибовъ не родилось: придетъ великій постъ, вò щи покинуть нечего! И замѣтьте, ужъ третій годъ безъ грибовъ сидимъ, а рыжика такъ и въ поминѣ давнымъ давно нѣтъ,—чтò бы за причина такая?

— А та и причина, что настоящихъ грибныхъ дождей не бывало! — разрѣшаетъ какая-нибудь опытная хозяйка.

— Нѣтъ, кажется и дождей не мало прошлымъ лѣтомъ было,—возражаетъ другая опытная хозяйка:—а такъ, должно быть, не къ году...

— Были дожди, да не грибные,—настаиваетъ первая: — иной разъ цѣлое лѣто льютъ дожди, а грибами и не пахнетъ. А отчего?—оттого, что дожди не тѣ! И вдругъ подъ самый конецъ грянетъ грибной дождикъ — и пойдетъ, и пойдетъ! И рыжики, и грузди, и бѣлые грибы... обору нѣтъ!

— Дивны дѣла Твои, Господи! вся премудростію сотворилъ еси!—отзывается голосъ съ мужского конца стола.

Наконецъ, подаютъ нетерпѣливо ожидаемое дѣтьми пирожное. Оно двухъ сортовъ. Сначала разносятъ фигурные вѣнчики, сдѣланные изъ нарѣзаннаго миндаля; потомъ — желé малиноваго цвѣта съ прилѣпленною во внутренней пустотѣ восковою свѣчей. Эффектъ, производимый этимъ своеобразнымъ освѣщеніемъ, всѣхъ приводитъ въ восторгъ.

— Ишь вѣдь, до чего дошли!—любуется Надежда Игнатьевна Корочкина:—не только для вкуса, да и для глазъ чтобы пріятно было! — Скоро ладиколономъ вспрыскивать будутъ, чтобъ и пахло хорошо!

— Эту новинку нашъ Сидорка-кандитеръ изъ Москвы принесъ,—сообщаетъ хозяйка:—ныньче, говоритъ, у главнокомандующаго всегда за парадными обѣдами такое желè подаютъ.

— Это еще чтò! каклеты въ папильоткахъ выдумали!—прибавляетъ полковникъ:—возьмутъ, въ бумагу каклетку завернутъ, да вмѣстѣ съ соусомъ и жарятъ. Мнѣ, признаться, Сенька-поваръ вызывался сдѣлать, да я только рукой махнулъ. Думаю: чтò ужъ на старости лѣтъ новыя моды заводить! А впрочемъ, колѝ угодно, завтра велю изготовить.

— Вели, сударь, вели! пускай дорогіе гости попробуютъ! — рѣшаетъ старушка-полковница.

Но вотъ гости съ шумомъ отодвигаютъ стулья и направляются въ гостиную, гдѣ уже готовъ дессертъ: моченыя яблоки, финики, изюмъ, смоква, разнообразное варенье и проч. Но солидные гости и сами хозяева не прикасаются къ сластямъ и скрываются на антресоли, чтобы отдохнуть часика два вдали отъ шума. Внизу, въ парадныхъ комнатахъ остаются только молодые люди, гувернантки и дѣти. Начинается дѣтская кутерьма.

Дѣтскія игры того времени были очень неразнообразны и притомъ совершенно чужды мысли о соединеніи забавнаго съ полезнымъ. Я помню только слѣдующія: въ лошадки, фанты, жмурки и „сижу-посижу“.

Первая была самая любимая, потому что въ ней принимали участіе исключительно дѣти, чтò совершенно устраняло какія-либо стѣсненія. Подбирались тройки, причемъ коренныхъ лошадей и кучеровъ изображали мальчики, а пристяжныхъ—дѣвочки. Коренники ржали и „шалили“, не сразу

трогались съ мѣста, перемѣняли аллюры, бѣжали и вскачь, и рысью, и иноходью; пристяжныя отвѣчали тоненькими голосами ржанью коренниковъ и скакали, завиваясь въ кольцо; кучера махали веревочными кнутами. Поднимался невообразимый гвалтъ. Тройки вскачь неслись по коридорамъ и комнатамъ; шагомъ взбирались по лѣстницамъ, изображавшимъ собой горы, и наконецъ, наскакавшись и набѣгавшись, останавливались на кормежку, причемъ „лошадей" разставляли по угламъ, а кучера отправлялись за „овсомъ" и, раздобывшись сластями, одѣляли ими лошадей.

Въ фантахъ принимали участіе и взрослые. Обыкновенно въ углу залы садилась одна изъ гувернантокъ и выкликала: „ворона летитъ! воробей летитъ!"—и вдругъ, совсѣмъ неожиданно: „Анна Ивановна летитъ!" Ежели слово „летитъ" было употреблено въ примѣненіи къ дѣйствительно летающему предмету, то играющіе должны были поднимать руку; если же оно было употреблено неподлежательно, то руку поднимать не слѣдовало. Преступавшіе это правило платили „фантъ", заключавшійся въ пѣніи какого-нибудь романса, въ чтеніи стиховъ, а иногда и въ томъ, чтобъ по очереди перецѣловать всѣхъ играющихъ.

Въ жмуркахъ и въ „сижу-посижу" одному изъ играющихъ по жребію завязывали платкомъ глаза. Въ первой игрѣ участвующіе бѣгали по комнатѣ, а играющій съ завязанными глазами долженъ былъ „ловить" и угадать, кого онъ поймалъ. Во второй участвующіе разсаживались по стульямъ, а играющій съ завязанными глазами садился по очереди ко всѣмъ на колѣни, и долженъ былъ угадать, у кого онъ сидитъ. Эту послѣднюю игру особенно любили барышни-невѣсты (а иногда и молодыя замужнія женщины), которыя подолгу засиживались на колѣняхъ у кавалеровъ. При этомъ нерѣдко кто-нибудь изъ дѣтей цинично восклицалъ:

— Что̀, словно налимъ о плотину, трешься! небось отлично знаешь, у кого на колѣнкахъ сидишь!

Къ семи часамъ, когда молодежь успѣла ужъ набѣгаться и наиграться, сходятъ съ антресолей солидные гости. Появляются лакеи съ подносами, установленными чашками съ чаемъ; за ними другіе разносятъ цѣлыя груды разнообразнаго печенья; дессертъ въ гостиной освѣжается. Словомъ сказать, полагается начало новой ѣдѣ, которая ужъ и не прекращается до глубокой ночи. Послѣ чаю хозяйка предлагаетъ молодежи протанцовать; за старыя клавикорды усаживаютъ одну изъ гувернантокъ, и пары танцующихъ съ шумомъ разстанавливаются вдоль и поперекъ большой залы.

Изъ мелкихъ танцевъ въ то время извѣстенъ былъ только вальсъ, который танцовался чинно подъ музыку на мотивъ: „Ach, mein lieber Augustin". Фундаментальными танцами считались: французская кадриль и мазурка, которыя существуютъ и понынѣ. Кромѣ того, танцовали „экоссезъ" и „русскую кадриль" (послѣднюю я впрочемъ только по имени помню), нынѣ совсѣмъ оставленные. Въ мазуркѣ принимали участіе и солидные гости, а въ особенности отличался Григорій Александрычъ Перхуновъ. Онъ облекался для этого въ польскій костюмъ, лихо стучалъ по полу каблуками и по окончаніи фигуры становился на колѣни, подавая руку своей дамѣ, кото-

рая кружилась около него, выдѣлывая па. Дама, съ своей стороны, бросала ему платокъ, который онъ ловилъ налету и, быстро вставши съ колѣнъ, дѣлалъ новый кругъ по залѣ, размахивая лѣвой рукой, въ которой держалъ свой трофей.

— Ни дать, ни взять, полякъ!—восклицали присутствующіе.

— Браво, браво, панъ Перхуновскій!—въ восторгѣ гудѣла вся зала, хлопая въ ладоши и передѣлывая на польскій манеръ фамилію расходившагося барина.

Около полуночи веселье прекращалось, и день заключался ужиномъ.

Слѣдующій день былъ повтореніемъ предыдущаго, но проводился нѣсколько проще. Во-первыхъ, было не такъ людно, потому что часть гостей ужъ разъѣхалась, а во-вторыхъ, и оставшіеся гости чувствовали утомленіе послѣ вчерашней ночной кутерьмы. За то ѣда какъ будто ожесточалась еще болѣе. Вечеромъ танцы хотя возобновлялись, но не надолго, и къ десяти часамъ гости уже расходились на ночлегъ, предварительно попрощавшись съ гостепріимными хозяевами, такъ какъ завтра утромъ часамъ къ девяти предполагалось выѣхать изъ Лыкова, а старики въ это время очень часто еще нѣжились въ постели.

По дорогѣ въ Малиновецъ мы обыкновенно заѣзжали къ Боровковымъ, у которыхъ проводили цѣлыя сутки, отъ Боровковыхъ — къ Корочкинымъ и т. д., такъ что домой возвращались нерѣдко черезъ недѣлю. Затѣмъ отдохнувши нѣсколько дней, объѣзжали другую сторону околотка, гостили у Пустотѣловыхъ и забирались въ Словущенское, гдѣ, начиная съ предводителя Струнникова, не пропускали никого и изъ мелкопомѣстныхъ.

Вездѣ пили и ѣли, но всего искреннѣе веселились въ Словущенскомъ, гдѣ, за исключеніемъ Струнниковыхъ, помѣщики были побѣднѣе и съ ними меньше чинились. У Слѣпушкиныхъ, напримѣръ, хотя и не танцовали, по причинѣ тѣсноты помѣщенія, но за то изо всѣхъ усадебъ собирали сѣнныхъ дѣвушекъ, которыя пѣли подблюдныя пѣсни (мнѣ, помнится, это развлеченіе нравилось даже болѣе, нежели танцы). На ночь всѣ размѣщались по разнымъ усадьбамъ, и такимъ образомъ нѣсколько дней сряду переходили изъ дома въ домъ.

Собирались раза два-три въ зиму и въ Малиновцѣ, и я долженъ сказать правду, что въ этихъ случаяхъ матушка измѣняла своимъ экономическимъ соображеніямъ и устраивала праздники на славу. Да и нельзя было иначе. Домъ былъ громадный, помѣщенія для всѣхъ вдоволь, запасовъ — тоже. Притомъ же сами всюду ѣздили и веселились—стыдно было бы и сосѣдямъ не отплатить тѣмъ же.

Дней за пять до Рождества раздолье на время прекращалось, и помѣщики разъѣзжались по своимъ усадьбамъ, чтобъ встрѣтить праздникъ въ тишинѣ, среди семействъ.

— En classe! en classe! — провозглашали гувернантки, къ великому горю дѣтей, которымъ даже опомниться послѣ длиннаго ряда праздниковъ не давали.

За нѣсколько дней до праздника весь малиновецкій домъ приходилъ въ волненіе. Мыли полы, обметали стѣны, чистили мѣдные приборы на дверяхъ и окнахъ, перемѣняли шторы и проч. Потоки грязи лились по комнатамъ и коридорамъ; цѣлые вороха паутины и жирныхъ оскребковъ выносились на дѣвичье крыльцо. Въ воздухѣ носился запахъ прокислыхъ помоевъ. Словомъ сказать, вся нечистота, какая таилась подъ спудомъ въ теченіе девяти мѣсяцевъ (съ послѣдняго Свѣтлаго праздника, когда происходила такая же чистка), выступала наружу.

Въ кулинарномъ отношеніи приготовленія были не такъ сложны. Откармливался на скотномъ дворѣ боровъ на буженину и ветчину, да для отца ѣздили въ городъ за свѣжей говядиной. Только и всего.

Ни ёлки, ни праздничныхъ подарковъ, ничего такого, что̀ предназначалось бы спеціально для дѣтей, не полагалось. Дѣти въ нашемъ семействѣ были не въ авантажѣ.

Къ сочельнику все было готово, и этотъ день проводили уже въ абсолютномъ бездѣйствіи и тишинѣ. Даже сѣнныя дѣвушки были освобождены отъ урочныхъ работъ и праздно толпились въ дѣвичьей и сосредоточенно вздыхали, словно ожидая, что съ минуты на минуту отдернется завѣса, скрывающая какую-то великую тайну. Никто, не исключая и дѣтей, до звѣзды не ѣлъ; обѣдать подавали не ранѣе пятаго часа, но отецъ обыкновенно и къ обѣду не выходилъ, а ограничивался двумя чашками чая, которыя выпивалъ послѣ всенощной на сонъ грядущій. Обѣдъ былъ строго постный и преимущественно состоялъ изъ сладкихъ блюдъ. Вмѣсто супа подавали „взварецъ" изъ сушеныхъ грушъ, чернослива и изюма; затѣмъ слѣдовали пудинги, облитые морсомъ, и наконецъ овсяный кисель съ медовою сытою.

Около семи часовъ служили въ домѣ всенощную. Образная, сосѣднія комнаты и коридоры наполнялись молящимися. Не только дворовые были на-лицо, но приходили и почетнѣйшіе крестьяне изъ села. Всенощную служили чинно съ мѵропомазаніемъ, а за нею слѣдовалъ длинный молебенъ съ водосвятіемъ и чтеніемъ трехъ-четырехъ акаѳистовъ. Служба кончалась не раньше половины десятаго, послѣ чего на̀-скоро пили чай и спѣшили въ постели.

Рождественское утро начиналось спозаранку. Въ шесть часовъ, еще далеко до свѣту, весь домъ былъ въ движеніи; всѣмъ хотѣлось поскорѣе „отмолиться", чтобы разговѣться. Обѣдня начиналась ровно въ семь часовъ и служилась на̀-скоро, потому что священнику, независимо отъ поздравленія помѣщиковъ, предстояло обойти до обѣда „со святомъ" все село. Церковь, разумѣется, была до тѣсноты наполнена молящимися.

По пріѣздѣ отъ обѣдни, дѣти цѣловали у родителей ручки, а иногда произносили поздравительные стихи. Къ чаю въ этотъ день вся семья собиралась вмѣстѣ, не исключая даже тетенекъ-сестрицъ. Старались провести время безъ ссоръ и избѣгали всякихъ поводовъ къ столкновенію. Матушка ласково заговаривала съ золовками; послѣднія умильно на нее посматривали. Отецъ, очень рѣдко обращавшій вниманіе на дѣтей, на этотъ разъ измѣнялъ своему обычаю и шутилъ съ нами. Но въ то же время было замѣтно, что всѣ

спѣшили отпить чай поскорѣе, чтобы какъ-нибудь ненарокомъ не проронить слова, которое праздничную идиллію какъ бы волшебствомъ обратило бы въ обыкновенную будничную свару.

Праздновали Рождеству три дня; въ теченіе этого времени дворня раздѣлялась на три смѣны, изъ которыхъ каждой предоставлялось гулять на селѣ по одному дню. Но мы, дѣти, надо сказать правду, проводили эти дни очень невесело. Безъ дѣла слонялись по парадным комнатамъ, вели между собой безсвязные и вялые разговоры, опасаясь замарать или разорвать хорошее платье, которое, ради праздника надѣвали на насъ, и избѣгая слишкомъ шумныхъ игръ, чтобы не нарушать праздничное настроеніе. Все въ домѣ смотрѣло сонно, начиная съ матушки, которая, не принимая никакихъ докладовъ, не знала, куда дѣваться отъ скуки, и разъ по пяти на дню ложилась отдыхать, и кончая сѣнными дѣвушками, которыя, сидя праздно въ дѣвичьей, съ утра до вечера дремали. Таковъ былъ общій тонъ, съ которымъ обязательно и мы должны были согласовать свое поведеніе.

Новый годъ весь уѣздъ встрѣчалъ у предводителя Струнникова, который давалъ по этому случаю балъ. Вереница экипажей съѣзжалась 31-го декабря со всѣхъ стороднъ въ Словущенское, причемъ помѣщики покрупнѣе останавливались въ предводительскомъ домѣ, а бѣдные — на селѣ у мелкопомѣстныхъ знакомыхъ. Впрочемъ о предводительскомъ балѣ я уже говорилъ въ своемъ мѣстѣ, и болѣе распространяться объ этомъ предметѣ не считаю нужнымъ.

Въ продолженіе всего рождественскаго мясоѣда безъ перемежки шли съѣзды и гощенія, иногда многолюдные и парадные; но большею частью запросто въ кругу близкихъ знакомыхъ. Въ числѣ этихъ собраній въ особенности выдавался балъ, который давалъ въ городѣ расквартированный въ нашемъ уѣздѣ полкъ. Этотъ балъ и новогодній предводительскій считались кульминантными точками захолустнаго раздолья.

Словомъ сказать, цѣлыхъ три мѣсяца сряду захолустье ѣло, пило и гудѣло, какъ пчелы въ ульѣ. Въ это же время и молодые люди сходились между собой. Происходили предварительныя ухаживанья, затѣвались свадьбы, которыя отчасти игрались въ рождественскій мясоѣдъ, отчасти отлагались на красную горку.

Масляницу проводили дома. Всѣ были настолько возбуждены, что казалось рискованнымъ перейти прямо къ безмолвію и сосредоточенности великаго поста. Поэтому масляницей пользовались какъ удобнымъ переходнымъ временемъ, чтобы отдохнуть отъ трехъ-мѣсячной сутолоки и изгнаніемъ мяса изъ кулинарнаго обихода подготовить желудокъ къ принятію грибной пищи.

Блины, блины и блины! Блины гречневые, пшеничные (красные), блины съ яйцами, съ снѣтками, съ лукомъ...

На первой недѣлѣ великаго поста отецъ говѣлъ вмѣстѣ съ тетеньками-сестрицами. Въ чистый понедѣльникъ до усадьбы доносился звонъ маленькаго церковнаго колокола, призывавшій къ часамъ и возвѣщавшій конецъ пошехонскому раздолью...

Post-scriptum. *Отъ автора.* Здѣсь кончается первая часть записокъ Никанора Затрапезнаго, обнимающая его дѣтство. Появится ли продолженіе хроники—обѣщать не могу; но ежели и появится, то, конечно, въ менѣе обширныхъ размѣрахъ, всего скорѣе въ формѣ отрывковъ. Я чувствую, что уже послѣднія главы написаны слабо и небрежно, но прошу читателей отнестись къ этому снисходительно. Масса образовъ и фактовъ, которую пришлось вызвать, подѣйствовала настолько подавляющимъ образомъ, что явилось невольное утомленіе. Поэтому я и кончилъ, быть можетъ, раньше, нежели предполагалъ, — но во всякомъ случаѣ съ полнымъ и непритворнымъ удовольствіемъ пишу здѣсь:—*Конецъ*!..

28 января 1889 г.

Конецъ девятаго тома.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ

КЪ ИЗДАНІЮ

«Сочиненій М. Е. Салтыкова»

ВЪ 9-ТИ ТОМАХЪ.

1856—1857 гг.—Губернскіе очерки (т. I).

Первоначально явились въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и частью въ „Библіотекѣ для Чтенія“.—Первое и второе изданіе въ 1857 г.; третье—1864 г.; четвертое—1882 г.

1857—1863 гг.—Невинные разсказы (т. I).

Первоначально явились, подъ разными заглавіями, въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, 1857 г.; „Библіотекѣ для Чтенія“ и „Атенеѣ“, 1858 г.; „Московскомъ Вѣстникѣ“, 1859 г.; „Современникѣ“, 1859—1863 гг.—Первое изданіе въ 1863 г.; второе—1881 г.; третье—1885 г.

1860—1862 гг.—Сатиры въ прозѣ (т. II).

Первоначально—въ „Современникѣ“, 1860—62, и имѣли до 1885 г., какъ и „Невинные разсказы“, три изданія.

1863—1873 гг.—Помпадуры и помпадурши (т. III).

Первоначально — въ „Современникѣ“, 1863 — 64 гг., и въ „Отеч. Зап.“, 1868—1871 и 1873 гг. — Первое изданіе въ 1873 г.; второе — 1877 г.; третье—1882 г.; четвертое—1886 г.

1866—1869 гг.—Признаки времени (т. II).

Первоначально—въ „Современникѣ“, 1866 г.; въ „Отеч. Запискахъ“, 1868 — 69 гг.—Въ отдѣльномъ изданіи появились вмѣстѣ съ „Письмами изъ провинціи“.

1868—1870 гг.—Письма изъ провинціи (т. II).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1868—70 гг.—Первое изданіе, вмѣстѣ съ „Признаками времени", въ 1870 г.; второе изданіе—1872 г.; третье—1885 г.

1869—1870 гг.—Исторія одного города (т. III).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", въ 1869—70 гг.—Первое и второе изданія въ 1870 г.; третье—1883 г.

1869—1872 гг.—Господа Ташкентцы (т. IV).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", въ 1869—72 гг.—Первое изданіе въ 1873 г.; второе—1881 г.; третье—1885 г.

1869—1879 гг.—Сворникъ (т. VI).

Первоначально — въ „Современникѣ" и въ „Отеч. Зап.", 1869—1879.—Первое изданіе въ 1881 г.; второе—1883 г.

1872—1873 гг.—Дневникъ провинціала въ Петербургѣ (т. IV).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", въ 1872—73 гг.—Первое изданіе въ 1873 г.; второе—1881 г.; третье—1885 г.

1872—1876 гг.—Благонамѣренныя рѣчи (т. V).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1872—76 гг.—Первое изданіе въ 1876 г.; второе изданіе—1883 г.

1872—1876 гг.—Господа Головлевы (т. V).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1872—76 гг.—Первое изданіе въ 1880 г.; второе—1883 г.

1873—1884 гг.—Недоконченныя Бесѣды (т. VII).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1873—75 гг. и 1882—84 гг. —Первое изданіе въ 1886 г.

1874—1877 гг.—Въ средѣ умѣренности и аккуратности (т. III).

Первоначально, подъ заглавіемъ: „Экскурсіи въ область умѣренности и аккуратности" (1874—76 гг.) и „Отголоски" (1876—75 гг.)—въ „Отеч. Зап.", 1874—77 гг.—Подъ общимъ заглавіемъ, первое изданіе въ 1878 г.; второе — 1881 г.; третье—1885 г.

1876 г. — Культурные люди (т. IV).

Первоначально — въ „Отеч. Зап"., 1876 г.—Особаго изданія не было при жизни автора.

— Итоги (т. II).

Тоже.

1877—1883 гг.—Современная идиллія (т. VII).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1877—78 и 1882—83 гг.— Первое изданіе въ 1885 г.

1878—1879 гг.—Увѣжище Монрепо (т. IV).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1878—79 гг.—Первое изданіе въ 1882 г.; второе—1883 г.

1879 г. — Круглый годъ (т. VII).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1879 г.—Первое изданіе въ 1880 г.; второе—1883 г.

1880—1881 гг.—За рубежемъ (т. VI).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1880—81 гг.—Первое изданіе въ 1881 г.

1880—1885 гг.—Сказки (т. VIII).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", „Недѣлѣ", „Русскихъ Вѣдомостяхъ" и „Сборникѣ литерат. фонда", между 1880—1885 гг.—Первое изданіе въ 1887 г.

1881—1882 гг.—Письма къ тетенькѣ (т. VI).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1881—82 гг.—Первое изданіе въ 1882 г.

1883—1884 гг.—Пошехонскіе разсказы (т. VII).

Первоначально—въ „Отеч. Зап.", 1883—84 гг.—Первое изданіе въ 1886 г.

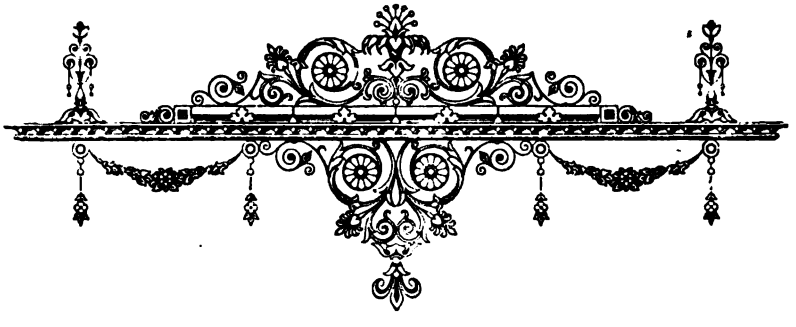
884—1886 гг.—Пестрыя письма (т. VIII).

Первоначально—въ „Вѣстникѣ Европы", 1884—86 гг.—Первое изданіе въ 1886 г.

886—1887 гг.—Мелочи жизни (т. VIII).

Первоначально—въ „Вѣстникѣ Европы", 1886—87 гг.—Первое изданіе въ 1887 г.

87—1889 гг.—Пошехонская старина (т. IX).

Первоначально—въ „Вѣстникѣ Европы", 1887—89 г.—Не имѣло особаго изданія при жизни автора.—Изданіе наслѣдниковъ автора, 1890 г.

NOV 5 - 1915